ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

# ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ


SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Известный литературовед Лидия Гинзбург (1902–1990), начиная с 20-х годов, писала прозу. Появившиеся в 80-х годах ее журнальные публикации вызвали большой интерес читателей — у нас и за рубежом — и получили высокую оценку критики. В новой книге — очерки-воспоминания об Ахматовой, Багрицком, Заболоцком, Олейникове, Эйхенбауме, а также записи 1920—1980-х гг., представляющие выразительные картины меняющегося времени. Глава «Четыре повествования» — о сохранении человеческого духа в нечеловеческих условиях блокады.


- Лидия Гинзбург
  - Эссе
    - Записи 1920—1930-х годов
      - 1925–1926
      - 1927
      - 1928
      - 1929
      - 1930
      - 1931
      - 1932
      - 1933
      - 1934
      - 1935
      - 1936
      - Конец 1930-х годов
    - Записи 1950—1960-х годов
    - Записи 1970—1980-х годов
  - Из воспоминаний. Современники
    - Проблема поведения. Б. М. Эйхенбаум
    - Ахматова. Несколько страниц воспоминаний
    - Встречи с Багрицким
    - Заболоцкий двадцатых годов
    - Николай Олейников
  - Четыре повествования
    - Возвращение домой
    - Мысль, описавшая круг
    - Заблуждение воли
    - Записки блокадного человека
    - Вокруг «Записок блокадного человека»
      - Записи в дни блокады
      - Оцепенение

■ Отрезки блокадного дня

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42

- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60



# Лидия Гинзбург
# Человек за письменным столом

# Эссе

# Записи 1920—1930-х годов

## 1925–1926

Тынянов — ученик Венгерова (как все). Он уверял меня, что Семен Афанасьевич говаривал: «Как! Вы собираетесь доказывать влияние Катенина на Пушкина… так ведь Катенин же несимпатичная личность!»

Потом Ю. Н. добавил:

— Зато он делал то, чего мы, к сожалению, с вами не делаем. Он натаскивал на материал. Помнится, мне нужна была какая-то статья Герцена; я спросил Сем. Аф., где она напечатана. Он возмутился: «Как, вы это серьезно?» — «Серьезно». — «Как, я вас при университете оставляю, а вы еще весь „Колокол“ не читали!»

Я только вздохнула… Меня вот оставляют при Институте, а много ли мы знаем?

Тынянов говорил, что бывают исследования, которые при правильном наблюдении фактов приводят к неправильным результатам, — и бывают такие, которые при неправильном наблюдении фактов приводят к правильным результатам.

На днях говорю Тынянову, что работа над Вяземским подвигается плохо: мне не нравится все, что я пишу. Он: «Я уже давно в таком же положении». И при этом ухмыляется удовлетворенно.

Была сегодня утром у Шкловского. В. Б. принял меня лежа на постели в коротенькой вязаной курточке и в какой-то вязаной чалме на голове. При мне к нему пришел молодой человек лет семнадцати, в очках. Он написал фантастическую повесть и давал Шкловскому рукопись на просмотр. Шкловский усадил его и стал ему объяснять, почему не нужно писать фантастические повести. «Попробуйте работать на реальном материале; тогда можно выучиться. Надо писать так, чтобы было немножко непохоже, это трудно; а писать совсем непохоже — слишком легко».

Шкловский рассказал о разговоре Бунина с каким-то молодым писателем.

Бунин: — Вот у вас сказано, что ваш герой — декоратор, а как вы этим дальше пользуетесь?

Да никак.

Э! так нельзя.

Не зря Шкловский так часто мелькает на этих страницах. Шкловский человек, который напрашивается на биографию, — сталкиваясь с ним, постоянно испытываешь потребность его «записать». Когда его слушаешь, попутно вспоминаешь его книги; когда его читаешь, вспоминаешь его разговоры. В «Сентиментальном путешествии» я слышу интонацию Виктора Борисовича; в рассказанном Шкловским анекдоте вижу его синтаксис, графическую конструкцию его фразы.

Интерес Шкловского к Стерну не случайность. Но сдвиги, перемещения и отступления являются для него литературным приемом, быть может, в гораздо меньшей степени, чем для Стерна; они производное от устройства его мыслительного аппарата.

Когда мы с Риной Зеленой возвращались от Шкловского, она сказала мне: «Вот человек, который не может быть несчастным». Очень верно уловленное впечатление. В самом деле, его нельзя представить несчастным, смущенным или испуганным, — и в этом, пожалуй, его прелесть.

О Рине он говорил мне сердито: «Она прочитала „Zoo“ и, вероятно, решила, что я худой и сентиментальный!» — «Нет, Виктор Борисович, я предупредила ее о том, что вы толстый».

Шкловский не курит, почти никогда не пьет и, кажется, не испытывает потребности в развлечениях.

Борис Михайлович рассказывал мне характерный эпизод. После московского диспута Эйхенбаум отправился ночевать к Шкловскому. Пришел он в очень возбужденном состоянии: «А знаешь, Витя, хорошо бы было выпить чего-нибудь». — «Да у меня ничего нет. И поздно теперь. Вот приедешь в следующий раз — я тебе приготовлю горшок вина».

После ужина Шкловский тотчас же начал укладываться спать. Борис Михайлович ахнул: «Помилуй, ведь мы еще не успели двух слов сказать» (Эйхенбаум уезжал на другой день). — «Нет, ты как знаешь, а я должен выспаться». И улегся.

На каком-то публичном выступлении Шкловский изобразил современную русскую литературу в притче:

«Еду я вчера на извозчике, а у него кляча еле плетется.

— Что же это ты так?

— Это, — говорит, — что! Вот у меня дома есть кляча, так это кляча! Серая в яблоках. Красота!

— Так что ж ты ее не запрягаешь?
— А у меня для нее седока нету.
Вот так и мы, писатели».

Шкловский вошел в дирекцию 3-й Госкинофабрики. Уверяют, что он телеграфировал Тынянову: «Все пишите сценарии. Если нужны деньги — вышлю. Приезжай немедленно» — и что Ю. Н. телеграфно ответил: «Деньги нужны всегда. Почему приезжать немедленно — не понял».

«Моя специальность — не понимать», — говорит Шкловский.

Шкловский говорит, что все его способности к несчастной любви ушли на героиню «Zoo» и что с тех пор он может любить только счастливо.

Про «Zoo» он говорил, что в первом (берлинском) издании эта книга была такая влюбленная, что ее, не обжигаясь, нельзя было держать в руках.

Совершенно неверно, что Шкловский — веселый человек (как думают многие); Шкловский — грустный человек. Когда я для окончательного разрешения сомнений спросила его об этом, он дал мне честное слово, что грустный.

В Москве у Мейерхольда я видела «Рычи, Китай». Там на сцене настоящая вода, и по ней плавают лодочки. Эта настоящая вода воспринимается как особый трюк. То есть все декорации и аксессуары кажутся менее бутафорскими (нарочными), чем эта настоящая вода. Таковы законы вторжения в искусство чужеродного материала. Это вроде волос и кусков газет, которые вклеивались в картины. Вообще говоря, волосы и газетная бумага реальнее, чем вещи, нарисованные красками, но в пределах данной конструкции они явно умышленны и потому напоминают о бутафории искусства.

Разумеется, в театре вовсе не всякая вещь специфически театральна. Актер может ходить с живым цветком в петлице и есть настоящий суп, и это никого не задевает. Все дело в том, что это моменты, во-первых, традиционные, во-вторых, случайные, то есть вводимые не с тем, чтобы на них было обращено внимание, — вода же у Мейерхольда нова и введена именно с тем. А как только чужеродный, то есть заимствованный из естественного мира, элемент становится в данной искусственной конструкции принудительно заметным — он тотчас же ощущается как элемент для нее неестественный. Хорошо ли это, или плохо

— это вопрос другого порядка.

В понедельник Тихонов читал в «Комитете» (современной литературы) новые стихи (прекрасные). Потом метры говорили. Все они говорят так, как будто им ужасно не хочется и они службу отбывают.

Потом заговорил Мандельштам. Говорит он шепеляво, запинается и после двух-трех коротких фраз мычит. Это было необыкновенно хорошо; это было «высокое косноязычие» — и говорил вдохновенный поэт. Он говорил о том, что стихотворение не может быть описанием. Что каждое стихотворение должно быть *событием*. (Я понимаю это в том смысле, что в стихотворении должно происходить движение и перемещение представлений.)

В стихотворении, он говорил, замкнуто пространство, как в карате бриллианта… размеры этого пространства не существенны… но существенно соотношение этого пространства (его микроскопичность) с пространством реальным. Поэтическое пространство и поэтическая вещь четырехмерны — нехорошо, когда в стихи попадают трехмерные вещи внешнего мира, то есть когда стихи *описывают*…

Такая мысль может предстать на плоскости. Простые смертные не должны высказывать такое. Но поэт говорил четырехмерно. Прекрасно смотреть на спотыкающуюся мысль поэта, на ее рождение, на мыслительный процесс, знакомый по стихам. Это было похоже. Это воспринималось так: вот пришел поэт, ему показали стихи другого поэта; он отверз уста — и возникла мысль… Вот ему покажут еще стихи или дерево, дом, стол — и родятся еще бесчисленные мысли. Но когда В. спросила Тихонова, понравилось ли ему то, что говорил Мандельштам, Тихонов ответил довольно равнодушно: «Я уже знал все это». Не значит ли это, что у Мандельштама есть несколько устойчивых мыслей, которые он годами выкипячивал из своего поэтического опыта.

Главное же — ощущение большого поэта. В первый раз я со страшной остротой испытала это ощущение, когда слышала, как Блок читает свои стихи. Это было в небольшой аудитории, в 21-м году, за несколько месяцев до его смерти. Блок читал «Возмездие» глухим и ровным голосом, как бы не видя и не чувствуя слушающих.

В. говорит, что Пастернак — поэт не стихов, даже не строф, но строчек. Что у него есть отдельные удивительные строки, которые контекст может только испортить, и что такая строка:

«Оно грандиозней святого писания…»

---

Кто-то говорил, что есть два рода дураков: зимние и летние. Летнего дурака видно сразу и издали. А зимний должен сперва снять калоши и шубу и размотать кашне — тогда уже все становится ясным. В. добавляет, что попадаются еще тропические дураки.

Икс из тех, кто, сняв с человека голову, интересуется потом, не растрепался ли у него при этом пробор.

Как странно, что мы с вами так редко встречаемся и так часто расстаемся. (Из письма.)

## *Поэты*

Недели две тому назад Борису Михайловичу <Эйхенбауму> в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что:

— Появился Поэт!

— ?

— Константин Вагинов!

Б. М. спросил робко: «Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?»

Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: «Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!»

Вот она, живая история литературы, история литературы с картинками.

Пастернак нуждается; он не умеет халтурить. Его не печатают. Пастернак является к редактору пятнадцатикопеечной серии «Огонька». Редактор отвечает, что напечатать его не может, потому что у него с прошлого года лежит 800 штук рукописей и он их пускает в порядке очереди.

— Послушайте. У вас ведь есть разные рубрики. У вас есть проза, есть критические статьи, есть хорошие стихи, есть плохие стихи… неужели я ни под одну не подойду?

---

Для нас крайне существенно общение с писателем: и не потому, чтобы оно могло разъяснить вопросы современной литературы, а потому, что мы постигаем удельный вес живого слова писателя, постигаем механику его теоретического высказывания. Это угол зрения, с которого лучше всего расценивается материал писем, дневников, воспоминаний, которым мы так жадно пользуемся. Разумеется, практическое значение имеет общение с писателем литераторствующим. Сумбурное, болтливое, зигзагообразное красноречие Тихонова — это первостепенный, живой, осязаемый исторический материал. За его речью следишь с чувством охотника, нет, вернее, с упорством рыболова: вот клюнет драгоценная черточка.

О Пастернаке он говорит сложно, и заинтересованно, и враждебно; говорит как глубоко и лично задетый человек. Он признается, что продирался через Пастернака. «Я на Пастернаке загубил около двенадцати стихотворений. Потом понял, как это делается, — бросил». С удовольствием передавал отзыв Маяковского (которого считает великим человеком). Спрашивает Маяковского, как ему «Спекторский». Маяковский плечами передернул: «„Спекторский“?.. Пятистопным ямбом писать… За что боролись?..» и Тихонов добавляет: «В самом деле, за что боролись?.. „Спекторский“ похож на поэмы Фета. Не на стихи, а именно на поэмы». Странная мысль — надо проверить.

Другая его мысль меня огорчила. Он говорит, что единственная настоящая книга Пастернака — «Сестра моя жизнь», что в «Темах и вариациях» он собрал остатки, случайный материал, не вошедший в «Сестру»[1], что «Сестра моя жизнь» — книга необычайная, безукоризненно построенная. Все это похоже на правду, но печально: мне всегда казалось, что я особенно люблю «Темы и вариации». Впрочем, возможно, что сюжетного Тихонова субъективно притягивает «Сестра моя жизнь» с ее расписанным по главкам и снабженным эпиграфом лирическим романом. Там для него приемлемее Пастернак, — Пастернак, упорядоченной связью стихотворений покрывающий их внутреннюю бессвязность.

Нельзя же в самом деле допустить, что такие вещи, как «Так начинают. Года в два…», как стихотворение с Вертером и смертью, или с пансионеркой — «чижи, мигрень, учебник», — что все это излишки, не нашедшие себе места в предыдущем сборнике, — ересь!.

Тынянов говорит, что для него существуют только те стихи, которые заставляют его двигаться в каких-то новых семантических разрезах. Что так он движется у Мандельштама и

Пастернака. Перестает иногда двигаться у Маяковского; не всегда ощущает движение у Тихонова.

Тихонов проводит вступительные испытания на Курсах техники речи. Приходят ребята от станка. Одного из ребят спрашивают:

— Что такое рассказ?

— ?

— Вы можете сказать, какая разница между рассказом и романом?

— В рассказе любви нет…

— Помилуйте! Мало ли рассказов, где любовь есть!

— Ну да, но в рассказе любовь короткая.

Тихонов говорит: отличное определение.

Разговор Маяковского с барышней:

— С одной стороны, мне жалко уезжать.

— Ну, и…

— Но я приехал с другой стороны.

Афоризмы Маяковского:

Не ставьте точек над «у» — оно в этом не нуждается.

Не плюй в колодец — вылетит, не поймаешь.

Маяковский говорил нам (Коварскому, Боре <Бухштабу>, мне): «Работайте на современной литературе. Бросьте заниматься филоложеством».

Горький недавно говорил Николаю Эрдману о Толстом: «Вы думаете, ему легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел писать. Он по девять раз перемарывал — и на десятый получалось наконец коряво».

Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не могут удовлетворить; требования, к ним предъявляемые, равны бесконечности. Чужие слова всегда находка — их берут такими, какие они есть; их все равно нельзя улучшить и переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют, как откровение или как давно искомая и обретенная формула. Отсюда обаяние эпиграфов и цитат.

Бернштейн рассказывал о том, что специфическая манера Кузмина читать стихи основана на его органическом недостатке

— заикании.

Этой зимой Шкловский назначил мне деловое свидание у Бриков. Он опоздал, и меня принимала Лиля Юрьевна. Одета она была по-домашнему просто, в сером свитере. По-видимому, мыла голову, и знаменитые волосы были распущены. Они действительно рыжие, но не очень, — и вообще на рыжую она не похожа. Тон очень приятный (не волос, а ее собственный тон).

Когда мы вышли, В. Б. спросил:

— Как вам понравилась Лиля Брик?

— Очень.

— Вы ее раньше не знали?

— Я знала ее только в качестве литературной единицы, не в качестве житейской.

— Правда, не женщина, а сплошная цитата?

Тынянов сказал вчера: «Литература живет не общим, а частным — ненужными частностями. Чем заметен Наполеон у Толстого? Тем, что от него пахнет одеколоном».

Тынянов говорил о Веневитинове: «Веневитинова проглядели из-за его безвременной смерти на 22-м году. Критики так занялись этой смертью, что для всего остального у них не хватило времени».

Вяземский писал: «Читая хорошие стихи без рифмы, мне всегда приходит в голову мысль: жаль, что эти стихи не стихами писаны». Мой слух тоже совершенно «не берет» нерифмованных стихов. Вернее, чтобы быть для меня совсем стихами, белые стихи должны быть такого масштаба, как «Вновь я посетил…», как мандельштамовское: «Я не увижу знаменитой Федры…», притом написанное строфически, с правильным чередованием мужских и женских окончаний — так, что оно как бы и не вполне белое.

Л. В. Щерба рассказал, что Бодуэн де Куртенэ вычеркивал в работах своих учеников тире, которое он называл «дамским знаком». Вслед за Бодуэном Щерба полагает, что тире, равно как и подчеркивания (в печати курсив), попало в литературу из эмоциональных форм: письма, дневника. «Сейчас письма не пишут. А прежде писали много, особенно женщины, — и многие очень хорошо писали». Он усматривает в употреблении тире и курсивов признак нелогичности или лености пишущего, который пользуется не прямыми, а добавочными средствами выражения мысли.

Я очень огорчилась — при моей орфографической бездарности тире было единственным знаком, кое-что говорившим моему уму и сердцу. Неужели у меня «дамская психология»!! Корн. Ив. Чуковский дал мне как-то менее уничижительное толкование этому пристрастию: «Тире — знак нервный, знак девятнадцатого века. Невозможно вообразить прозу восемнадцатого века, изобилующую тире».

Юр. Ник. Тынянов передавал свой разговор с Асеевым. Асеев сказал: «Мне надоело благополучие у Маяковского. Я решил писать неблагополучные стихи». Тынянов усматривает в этом авторском признании комментарий к эротической теме. Эротика стала существеннейшим стержнем литературы прежде всего как тема неблагополучная.

---

Позиция крайнего историзма дает сейчас Тынянову возможность расщеплять понятие жанра. «Нельзя писать об „историческом романе“. Исторический роман Толстого мы объясним тогда, когда сопоставим его с отнюдь не историческими романами той же эпохи, а не с историческим романом Загоскина».

Тынянов говорит: «Мне нравится „Третья фабрика“ потому, что я ее читаю ртом Шкловского». И еще: «Было бы лучше (логичнее), если бы Шкловский выпускал ее отдельными фразами… Самое лучшее там — несколько фраз: золотообрезанный Абрам Эфрос, выродившаяся мебель Бодуэна де Куртенэ и проч…»

Сегодня — забавное воскресное заседание. Пожаловал Шкловский, а с ним буйные староопоязовские традиции. Председательствовавший Тынянов взобрался на стол. Шкловский кричал ему: «Юрий Николаевич, ты председатель? Так не сиди на столе, а то вернется Жирмунский — что он скажет?»

Гуковский в свое время разругался с Тыняновым, сегодня на заседании со Шкловским.

Речь идет о каком-то приеме у Толстого.

Шкловский: — Вы очень смело говорите…

Гуковский: — Да, не менее смело, чем вы.

Шкловский: — Вот видите, мы оба очень смелы, а Толстой

был значительно менее смел, чем мы с вами.

Гуковский: — И хорошо делал… Меня несколько удивляет тот метод прений, который применяется сегодня.

Шкловский: — Это наш метод! Мы его применяем десять лет и применяли тогда, когда вы еще не занимались такими вещами.

Гуковский (вежливо): — Это еще не значит, что этот метод хорош.

Шкловский: — Вы должны его понять, если хотите работать с нами, — понять, как последователь Бориса Михайловича.

Гуковский (еще вежливее): — Я не последователь Бориса Михайловича.

На этом месте Борис Михайлович нежно улыбается.

---

Вчера в «Группе» был разговор о смерти Д. К. Петрова. Тынянов сказал: «Подумайте, этот человек умер от меланхолии! Что же нам тогда сказать? Нам остается умереть от приступа безудержного веселья».

Вид у Юрия Николаевича, кстати сказать, самый мрачный.

## *Гумилев*

У Гумилева по отношению к лирическим стихам была особая количественная теория строфики. Каждая количественная комбинация (в пределах «малого» стихотворения) обладала, по его убеждению, своей инерцией в развертывании лирического сюжета.

К сожалению, я не запомнила весь ход его рассуждений. Припоминаю, что пятистрофное стихотворение он как-то сопоставлял с драмой и пытался наметить тематические аналогии между строфами и актами. Зато в четырехстрофных стихах он отказывался признавать конструктивную закономерность и считал, что писать их вообще не следует. «Стихотворение в четыре строфы — это плохое стихотворение», — говорил он.

Если бы Гумилев осуществил задуманную им «Поэтику», то получилась бы книга, по всей вероятности, весьма ненаучная, весьма нормативная и нетерпимая, а потому в высокой степени ценная — как проекция творческой личности и как свод несравненного опыта ремесла.

Гумилев говорил: «Я понимаю, что в порыве первого вдохновения можно записывать стихи на чем попало, даже на

собственных манжетах. Но для того, чтобы работать над стихотворением, надо сначала взять лист белой бумаги, хорошие перо и чернила и аккуратно переписать написанное».

Гумилев рассказывал о том, что Мандельштам уже после основания Цеха поэтов еще «долго упорствовал в символистической ереси». Потом сдался. Стихи: «Нет, не луна, а светлый циферблат…» — были его литературным покаянием. Однажды поздним вечером, когда акмеисты компанией провожали Ахматову на Царскосельский вокзал, он прочитал их, указывая на освещенный циферблат часового магазина.

## *Дополнение 1979 года*

О Гумилеве все здесь записано по собственным моим воспоминаниям. К зиме 1920–1921 относится мое предварительное пребывание в Петрограде (до окончательного переезда в 1922-м). У меня в Петрограде не было тогда никаких литературных связей. Я так и не добралась в тот раз до Института истории искусств, но каким-то образом добралась до студии Гумилева. Я приходила туда несколько раз, ни с кем не познакомилась и не произнесла ни одного слова. Но как-то (дело шло уже к весне и к отъезду домой) в темном коридоре вручила Гумилеву свои стихи, — довольно гумилевские, кажется.

В следующий раз опять дождалась его в коридоре. Стихи он одобрил, сказал, что надо больше работать над рифмой, но что писать вообще стоит. В стихах шла речь о Петербурге, который стал тогда большим моим переживанием.

Помню строфу:

Покровы тьмы отдернув прочь,
Мотор, в ночи возникший разом,
Слепит глаза горящим глазом,
Чтобы чернее стала ночь.

После разговора с Гумилевым я шла по пустынным и темным петербургским улицам 1921 года в состоянии восторга. Это чувство обещанного будущего я испытала в жизни только еще один раз, когда Тынянов похвалил мой доклад, прочитанный у него в семинаре на первом курсе. Главное было даже не в похвале, а в том, что обсуждал его на равных правах, с полной серьезностью.

В дальнейшем у меня хватило ума не последовать советам Гумилева. Лет двадцати двух я навсегда перестала писать

лирические стихи. Стихи мои были не стихи (не было в них открытия), хотя, вероятно, они были не хуже многих из тех, что печатают и считают стихами.

Свою аудиторию Гумилев держал в чрезвычайном состоянии заинтересованности. Гумилев был резко и по-особенному некрасив, с косящими глазами. Казалось, он каким-то внутренним усилием все это преодолевает.

Почти одновременно выходят: книжечка прозы Пастернака и книжечка прозы Мандельштама. Так сказать, красивый жест книжного рынка! У Пастернака самый большой и самый «новый» рассказ — «Детство Люверс». У Мандельштама маленькие заведомо бесфабульные очерки, связанные единством автобиографического героя-ребенка. Поворотили на детей. «Котик Летаев» сделал функцию героя-ребенка совершенно явной: мотивировка остранения вещи etc, etc.

Интересно то, что, по-видимому, захотелось *вещи*, особенно вещи психологической. Но все ужасно обеспокоены: как это — опять Иван Иванович с психологией? Нет, уж пускай будет Ванечка: во-первых, темна вода; во-вторых, меньше прецедентов; в-третьих, больше парадоксов. Одна из лучших мыслей Шкловского — то, что психология начинается с парадокса.

«Напрасно стараться встать между дураком и его глупостью» (Джек Лондон). А между умным человеком и его глупостью тоже не следует становиться.

Известна (хотя, кажется, совершенно не изучена) традиция Полонского в поэзии Блока. Любопытно, что у Полонского существует линия, которая идет к самым сложным и интересным приемам Блока, к прозаическому в элегической лирике.

У Полонского стихотворение «Плохой мертвец»:

Схоронил я навек и оплакал
Мое сердце — и что ж, наконец!
Чудеса, наконец! Шевелится,
Шевелится в груди мой мертвец…

Ср. у Блока: «Сердце — крашеный мертвец».

Мир с тобой, мое бедное сердце!
…Жить хочу — выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
Стану я умирать, что за вздор!

Ср. хотя бы (цитирую по памяти):

Пристал ко мне нищий дурак,
Идет по пятам, как знакомый.
— Где деньги твои? — Снес в кабак.
— Где сердце? — Закинуто в омут.

Это, таким образом, линия позднего Блока.

---

Смутно и гадательно намечается сопоставление (впрочем, быть может, об этом где-нибудь и говорилось): считают, что поэзия Пушкина синтезировала и завершила литературные тенденции конца XVIII и начала XIX века. Пушкин не имел ни школы, ни преемников (непосредственных) — ничего кроме эпигонов. Блок, кажется, не имел даже и эпигонов, то есть сколько-нибудь литературных. Быть может, Блок был великим проявителем литературного негатива последних десятилетий XIX века. В нем вскрылись непроясненные тенденции Фета, Вл. Соловьева, Ап. Григорьева, Полонского, Некрасова. Все это дало огромные результаты, во-первых, потому что Блок был большой и новый поэт, во-вторых, потому что наша публика не читала ни Соловьева, ни Полонского, ни даже Фета, а Блока читала и удивлялась.

Хорошо лгут только правдивые люди. Они лгут только при полной уверенности, что ложь эта не может выйти наружу (а если может, то чтобы она оказалась «благородной»). Ложь же лживых людей, особенно женщин, несет на себе следы великолепной фантазии и полного отсутствия аккуратности. Они никак не могут свести концы с концами, тем более предусмотреть взаимоотношения людей, которым они рассказывают навыворот одну и ту же историю.

Есть тип женщин, которых уверенность в себе делает простодушными. В языке любви им недоступны тропы и фигуры.

«Я думаю только о вас», «Вне вас для меня ничто не существует» — мужчине эти слова представляются пафосом его жизни, женщине — распределением его дня. Она не представляет себе, как порой меняется влюбленный, выходя из ее комнаты. В

душе она чувствует себя задетой, когда ее отвергнутый поклонник разговаривает с людьми, ходит в кино, ест, пьет (т. е. когда он пьет чай; когда пьет сорокаградусную, то она понимает, что это с горя). Мужчина, даже самый фатоватый, никогда не бывает так доверчив.

Женщины этого типа ошибочно полагают, что люди либо лгут, либо говорят правду. Они не замечают, что люди, кроме того, драматизируют положение, удовлетворяют свою потребность в идеальном и патетическом, и еще льстят и боятся, и поддаются эротическому гипнозу.

Читаю я «Соборян», и меня берет тоска. Неужели старые (и даже не очень старые) прозаики, подобно средневековым живописцам, обладали невозобновимой тайной высокого мастерства? Сейчас под работой над языком сразу понимают фольклорную стилизацию, диалектизмы — лесковско-замятинскую линию или языковую кунсткамеру Зощенки… Как будто вне этого «курьезного» языка нет работы над оживлением нормального литературного слова (над выжиманием из каждого слова наибольшей силы выразительности). Можно подумать, что Лесков работал над словом, а Толстой не работал.

Ожегов рассказывал мне, как Виноградов говорил в университете о том, что когда наука еще не существует, она склонна открывать множество законов.

Это совершенно естественное явление. Вот когда недавно начала создаваться научная поэтика, то находили законы на основании одного произведения. Так и бегали звонить друг другу по телефону: «Я открыл закон!»

Соблазну трагическим отвечаю: вкусивши сладкого, и очень можно захотеть горького, но, вкусивши горького, не захочешь горького.

Когда перед московской комиссией по выпускному экзамену в Институте истории искусств предстал Коварский и назвал свою специальность, один из членов комиссии обратился к Назаренке:

— А, так у них есть литературный отдел! Я не знал.

— Как же, как же…

Член комиссии:

— Ага, припоминаю — это те самые, которые изучают литературу как художественное произведение?

———

В. говорит: «Если нужно записать что-нибудь важное, я всегда записываю на деньгах или на письмах любимого человека, потому что все остальное можно потерять».

Когда Гейне начинает разговор с возлюбленной с «Du Hast Diamanten und Perlen…»[2], мы знаем, что рано или поздно он скажет возлюбленной дерзость (по правилам тыняновской двупланности). А вот у Полонского настоящая слеза и тоска полулитературных романсов.

Так и видишь: три часа ночи, пьяная компания, пьяная голова, плохое пение под рояль, и кто-то, уже готовый заплакать над погибшей любовью. Кто с самой помутившейся головой и с самой безнадежной любовью будет плакать над: «Я вас любил. Любовь еще, быть может…» — ни один человек, почитающий поэзию. Бестактно обливать Пушкина слезами. Это не та реакция.

Другое дело — внелитературное, физиологическое действие ритма и трогательных слов.

Для того чтобы быть выше чего-нибудь — надо быть не ниже этого самого.

Н. Л., человек с самой благородной оригинальностью, какую я встречала в жизни, говорила:

— Прежде всего нужно быть как все.

Добавлю: все, чем человек отличается, есть его частное дело; то, чем человек похож, — его общественный долг.

Тынянов говорил о литературной биографии Пушкина: «Всем известно, что у Пушкина была няня… Я не сомневаюсь в том, что она делала для Пушкина все, что полагается няне, но все-таки не она научила его быть национальным поэтом. Ранний Пушкин прошел под знаком французов — к русскому фольклору Пушкин приходит гораздо позже, уже зрелым поэтом».

Говорим со Шкловским о «Zoo». Вспоминаю его фразу о человеке, которого обидела женщина, который вкладывает обиду в книгу. И книга мстит.

Шкловский: — А как это тяжело, когда женщина обижает.

— Я: Все равно каждого человека кто-нибудь обижает. Одних обидела женщина, других бог обидел. К сожалению, последние тоже вкладывают свою обиду в книги.

Я сказала Брику:

— В. Б. <Шкловский> говорит точно так же, как пишет.

— Да, совершенно так же. Но разница огромная. Он говорит

всерьез, а пишет в шутку. Когда Витя говорит: «Я страдаю», то это значит — человек страдает. А пишет он: я с-тр-а-да-ю (Брик произнес это с интонацией, которую я воспроизвела графически).

Сергей Третьяков перебранивается с Дмитрием Петровским.

У Петровского есть какое-то раздражающее сходство с Блоком. Как бы слегка шаржированный Блок последнего года жизни (таким я его видела). Сверх того у Петровского худые и цепкие неестественно длинные пальцы и светлые сумасшедшие глаза.

Костюм на нем серый и невыявленный: он не принадлежит ни к пиджакам, ни к френчам, ни к толстовкам. Его лучше определить — костюм арестантского покроя: глухая куртка и штаны, висящие балахоном.

Петровский главным образом ученик Хлебникова. Он хочет быть носителем традиций поэтического безумия.

Безбрежность моря сочинена людьми, не умевшими смотреть и описывать. Море (по крайней мере то, которое я знаю) всегда строго отграничено; края его срезаны твердой окантовкой горизонта. Это если смотреть прямо перед собой, а справа и слева — всегда берега, которые отовсюду кажутся близкими.

Знаю только одну ситуацию, при которой удается пережить размах моря. Бывают такие дни осенью, когда море в тяжелых и длинных волнах; ветер смахивает с воды грязную осеннюю пену и рвет ее о берег. Если тогда лежать лицом к воде — на спине или на животе, безразлично, то горизонта совсем не видно. Каждая волна сама по себе стоит перед глазами, и за ней существует бесчисленность последующих волн.

Мне пришлось слышать в жизни множество бессодержательных похвал, и личных, и академических, но никогда ни одного дурного отзыва, в котором бы не было смысла, по крайней мере которому нельзя было бы придать смысл.

Брань всегда, хотя бы очень косвенно, цепляется за свою первопричину. Не всегда только легко расшифровать язык злобы и поношения и возвести отрицательное впечатление к его истинной основе. У меня есть уверенность: каждый случайный упрек каждого глупого, злого, чужого человека — это средство для исправления иногда самых основных и скрытых пороков мысли и характера.

Еще Козьма Прутков говорил: «Смотри в корень!»

У младоформалистов, с благословения и по примеру

старших, выработались свои бытовые нормы; существует житейский тип, который сейчас традиционно передается в третье поколение.

Уважающий себя воспитанник Инст. истории искусств пишет стихи на случай (в молодости, то есть до 16-ти лет, писал всерьез), склонен к эпистолярной прозе и каламбурам (некоторые любят и анекдоты); он непременно пьет пиво (трудно будет отыскать формалиста, не бывавшего в «Баре»); он тщательно блюдет завет «неакадемичности», то есть не всегда почтителен со старшими и легко сближается с младшими вплоть до первокурсников; он любит кино и равнодушен к театру; он не любит науку и по мере возможности (не всегда это возможно) не занимается ею. Наши учителя тоже не любили науку, они любили открытия.

Младоформалист по природе прежде всего литератор. И ни один из нас не застрахован от поприща беллетриста. Мы можем цитировать наизусть Батюшкова и Ап. Григорьева, но мы не снобы; мы знаем вкус поденщины и халтуры — вкус ремесла.

Ученик опоязовцев непременно близок к современной литературе, и вообще он интеллигент своего времени по своим эстетическим вкусам и по всему мироощущению. Он скептик, притом самый закоренелый, потому что не замечающий своего скептицизма. Мы все, кажется, соединяем скепсис с порядочностью — это тоже своего рода традиция… В одном только младшие отступают от житейских традиций старших — они не травят друг друга.

Витя передавал подслушанный им разговор двух барышень:
— Я сшила себе в прошлом году новое пальто.
— А в каком это было деми-сезоне?

Представьте себе человека, до которого по проторенным дорожкам доходят только привычные страдания, а новое, даже большое несчастье он уже не в силах ощутить.

Несчастная любовь своего рода прерогатива мужчин; в том смысле, что она возможна для них без душевного ущерба. Она их даже украшает.

Смотреть на безответно влюбленную женщину неловко, как тяжело и неловко смотреть на женщину, которая пытается взобраться в трамвай, а ее здоровенный мужчина сталкивает с подножки.

М. Л. передавала мне сегодня свой разговор с Эйхенбаумом.

Они столкнулись поздно вечером на Литейном. Он продержал ее на морозе минут двадцать. Говорил патетически. Говорил о средневековом догматизме и о кучке «гуманистов, которые почему-то делают свое дело».

Он сказал еще, что его педагогическая задача выполнена, что у него есть дети (мое имя было упомянуто), но что ему больше нечему их учить.

Но ведь они так стремятся работать в ваших семинарах.

— Это они из любопытства…

Мне стало вдруг тяжело от этих слов. Я уже думала об этом. Мы жестокие ученики. У нас есть к учителям человеческая привязанность, есть благодарность и уважение (о, мы вовсе не наглы! — мы почтительны). Но нет уже веры и нет специфического пафоса ученичества (раньше был, в высшей степени). Тынянову все равно — он очень молод и очень силен. Другое дело Борис Михайлович…

Есенин повесился…

Почему-то теперь, когда человек вешается (особенно такой), то страшно оттого, что кажется — он избрал этот способ нарочно, для вящего безобразия. Это все, как будто, пошло от Ставрогина.

Проходя мимо дома, где жила когда-то его любимая женщина, Икс сказал задумчиво: «Лестница, по которой сходят с ума».

Наталья Викторовна слыхала, как пьяный в трамвае говорил: «А вот у нас управдома били всем домом, а секретаря одной лестницей».

Ум, порядочность, большие испытания — все это вещи, которые не следует писать у себя на лбу. Вообще человек сам у себя на лбу не должен быть написан.

Нельзя быть в течение многих лет странным на один манер.

## *В Гендриковом переулке*

Лиля Юрьевна жалуется на скуку.

Шкловский: — Лиличка, как тебе может быть скучно, когда ты такая красивая?

— Так ведь от этого не мне весело. От этого другим весело.

Присутствующие обсуждают вопрос, как рассеять скуку Л. Ю.

Разные предложения. Она соглашается только на одно — возобновить издание «Лефа». Маяковский объявляет: «Леф» будет.

Я: — Владимир Владимирович, пожалуйста, устройте «Леф». А то в самом деле скучно.

Маяковский: — С этими просьбами вы обращайтесь к Лиле Юрьевне. Это ее дело.

Испытанный способ льстить женщине. Уверять ее в том, что это не он пишет, что, в сущности, пишет она, что журнал издается не для читателей, а для нее, что она, ничем не занимаясь, понимает «во всем этом» гораздо лучше его, который весь век на этом сидел, что одно ее замечание стоит «всех наших» изысканий, что она может…

Сделать из своей творческой силы бонбоньерку и принести в подарок. Но из любовных игр эта еще не самая опасная, — потому что человек знает, где кончается его ложь.

Гумилева я сейчас уже, в сущности, не люблю (кроме «Огненного столпа»). То есть я испытываю артикуляционное, своего рода физическое наслаждение, читая его громко, но мне не хочется думать над его стихами.

Вероятно, традиция, приписывающая однолюбам способность к особо глубокому и сильному чувству, требует пересмотра. Скорее всего здесь-то чувство поневоле мельчает. Настоящее любовное страдание — болезнь слишком мучительная для того, чтобы стать хронической. Человек с единой (особенно несчастной) любовью на всю жизнь любит не желанием, а памятью. Любовь на всю жизнь — краса и гордость его биографии… Его право на биографию, покойно прилаженное бремя грусти; если уронить невзначай это бремя с сердца, ощущается тошнотворная легкость пустоты.

Любовь на всю жизнь — она либо помогает писать книги, либо не мешает работать, путешествовать, жениться и выходить замуж и производить детей. Она, пожалуй, мешает самому главному — быть счастливым. Но этому мешает многое.

Пятый день (под предлогом гриппа) лежу в постели, хотя могла бы и не лежать. Стоит так искусственно вырваться на несколько дней, и вся суета начинает казаться унизительной.

Иос. М. Тронский понимает такие вещи — может быть, от занятий античностью? Он заходил ко мне и уговаривал лежать как можно дольше.

— Единственное состояние, достойное человека.

— Но… если даже не иметь никаких обязанностей, то и тогда

нельзя провести жизнь в этом состоянии.

— Это означает только, что человек не способен проводить жизнь в достойном его состоянии.

Жена Виктора спрашивала его хладнокровно:

— Дружочек, ты когда вернешься сегодня — опять завтра?

Я сказала Т.:

— У тебя должен был быть большой опыт сплетен, попавших мимо цели, по случаю твоих отношений с N.

— Нет, это другое дело. То, что мой роман с N. не имел завершения, было непонятно и противоестественно. С такими вещами сплетники не обязаны считаться.

По мере приближения к социологии, — удаляйтесь от социологов!

Л. говорит:

— Люди, хорошо со мной знакомые, обычно подозревают меня во всех добродетелях, а малознакомые — во всех пороках. Мне, вероятно, никогда не удастся догнать свою репутацию.

## 1927

Юрий Ник. <Тынянов> о Ставрогине — это игра на пустом месте. Все герои «Бесов» твердят: «Ставрогин! О, Ставрогин — это нечто замечательное!» И так до самого конца; и до самого конца — больше ничего. Достоевский работал психологической антитезой, двумя крайними точками. Если бретера Ставрогина бьют по лицу, то бретер прячет руки за спину, если Дмитрий Карамазов потенциальный преступник, то святой старец кланяется ему в ноги. Если человек идиот, то он умнее всех. Тынянов говорил о назойливости толстовских «уличений» в «Войне и мире». Но толстовский парадокс (я разумею сейчас парадокс как «прием» изображения) никогда не шел по линии обязательного выворачивания наизнанку. Вместо этого обратного хода он пользуется разложением (остранением), целой шкалой дифференциальных приемов и ожиданных (в результате усвоения читателем писательского метода) неожиданностей.

Тынянов рассказывал нам, как он воспользовался толстовским ходом для одного места «Кюхли». Он несколько раз писал сцену, когда Кюхельбекер попадается в руки солдат, и она все ему не давалась, выходило плоско. Тогда он сделал так:

Кюхля заранее, мысленно переживает свою поимку — и все происходящее в действительности представляется ему грубым и неудачным повторением. Это толстовская система опровержения того, что персонажи о себе говорят и думают. Вроде: что это я говорю? Это совсем не то… Автор — умывает руки.

В ЛГУ в подсекции современной литературы, возражая докладчику, Гизети, между прочим, сказал: «Вы вот говорите — прием. А по-моему, в этом месте у автора по прием, а совершенно серьезно». Формула: «Не прием, а серьезно» — уже получила хождение.

Удачно сочетание лени и честолюбия. Эти свойства, корректируя друг друга, удерживают их носителя от распущенности и от карьеризма.

Приходите в четверг или в пятницу, — говорит женщина ласково и не понимает того, что она говорит. Для нее между пятницей и четвергом почти что не существует разницы. А влюбленный, который выслушивает приглашение, уже похолодел при мысли о том, как он будет час за часом переживать ту душераздирающую разницу, которая существует для него между четвергом и пятницей.

Дело в том, что если человек любит еще не до потери самолюбия, то он придет не в четверг, а именно в пятницу.

---

Эйхенбаум:

— Если они действительно сделают меня внештатным доцентом, то осенью я подам заявление: в 1925 году я был избран и утвержден штатным профессором, в 1926 году перешел на положение штатного доцента, в 27-м на положение внештатного. Ввиду того, что мне, по-видимому, предстоит в 1928 году занять должность старшего ассистента — я покидаю университет заблаговременно.

Маяковский по целым вечерам твердит строфу Пастернака, которую он назвал гениальной:

> В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
> Как трагик в провинции драму Шекспирову,
> Носил я с собою и знал назубок,

Шатался по городу и репетировал.

Пастернак пишет так, что прочтешь и задохнешься от удивления.

## *Багрицкий*

Эдуард Багрицкий. Большой человек, нескладный, как почти все люди, худые в юности и внезапно располневшие к тридцати годам. В нем ничто не раздражает и не вызывает отталкиванья, а могло бы: недостаток двух передних зубов, черные ногти, рвущий астматический кашель. Багрицкий — образцовый пережиток классической богемы. За ним числится множество дикостей и бессмыслиц, в точности похожих на дикости и бессмыслицы всех странствующих энтузиастов всех веков и народов. Он знает, что он энтузиаст и богема, и радуется этому, но это тоже ничуть не раздражает.

Он настоящий спец с квалифицированным пониманием стихов, со страстной, физиологической любовью к стиху произносимому. Восхищение Пастернаком, литературное и личное. Такая же литературно-личная неприязнь к Маяковскому. «Для того чтобы иметь дело с Маяковским, нужно подавать ему пальто; мы никому не хотим подавать пальто; у нас найдутся свои подавальщики…»

## *Литературная социология*

На днях разговор с Иос. М. Тройским, который как-то окончательно утвердил мои мысли последнего времени: нужна литературная социология. Два года тому назад Шкловский объявил публично: «Разве я возражаю против социологического метода? Ничуть. Но пусть это будет хорошо».

Нужно, чтобы это создавалось на специфических основаниях, которые могут быть привнесены специалистами историками литературы с учетом социальной специфичности писательского быта. Условия профессионального литературного быта могут перестроить исходную социальную данность писателя. В свою очередь эта первоначальная закваска может вступать с ними во взаимодействие.

Вяземский, в рассуждениях которого можно найти начатки

литературной социологии, выделял «писателей-аматеров», к которым причислял Державина, Дмитриева. Здесь и речи нет о дилетантстве в нашем понимании. Кто усомнится в том, что Державин был вполне человек от литературы. «Аматерством» Вяземский обозначал момент литературно-социологический, — именно экономическую независимость писателя от его литературного труда, — факт, который какой-то стороной и в какой то мере должен влиять на всю его производительность. На примере Пушкина просматривается как профессиональная, принципиальная меркантильность вступает в свои права за счет аристократического аматерства.

Вот огромное поприще, по которому предстоит идти с трудами и сомнениями. А вместо этого улыбающийся лектор предлагает студентам первого курса подвести социологический базис под «Месяц зеркальный плывет…» и проч. Борис Михайлович <Эйхенбаум> затеял книгу о писательском быте. Это как раз то, что он сейчас может и должен сделать.

Да, разумеется, «имманентность литературной эволюции» дала трещину, и, разумеется, много точек, в которых «формалисты» могли бы дружески пересечься с социологами литературы.

Ю. Н. <Тынянов> говорил как-то со мной о необходимости социологии литературы (он ведь не боится слов), но только могут ее написать не те, кто ее пишут. Я убеждена, что возможно будет работать тогда, когда поймут, что социологию литературы мудрено преподавать, потому что ее еще нет. Надо собраться с силами и задуматься над азами еще непроторенной дисциплины.

Тихонов говорил о том, как пастернаковский образ мертвеет в эпосе: «1905 год» — «это немые коридоры слов». Тогда же он говорил о том, как для него и для Пастернака одновременно встал вопрос о выходе за пределы малой формы, которая перестала удовлетворять; и как они искали способов, не прибегая к фабуле, продвигать лирический материал на большие расстояния. Он даже перечислил ровно шесть приемов этого продвижения, которые применены в «Высокой болезни», — к несчастью, я не запомнила.

## *Из московских разговоров осени 1926*

Брик назвал некоторых писателей плакальщиками. «Их слезы не внушают доверия».

Я сказала: «Так ведь плакальщики существуют не для того, чтобы внушать доверие к своему чувству, а для того, чтобы возбуждать чужое».

Тогда начался разговор на тему о литературной этике. Литература фактов, в которую верует Брик (если верует), вместо эстетики (буржуазной) имеет потребность в этике. Она должна быть честной. Писатель может совершить подлог чувства и обвиняется тогда в распространении фальшивых слез и вздохов. Брик изложил мне претензию одного человека. Человек прочел «Третью фабрику» Шкловского и растрогался; потом увидел Виктора Борисовича, плотного и веселого, — и обиделся. И Брик говорит: читатель прав, неэтично обманывать читателя.

В этой теории подкупает ее очевидная абсурдность. Она настолько антилитературна, что испытываешь потребность дойти до каких-то ее здравых корней.

### *Разговор со Шкловским*

— Не думайте, вы такой же сумбурный человек, как Тынянов…

— Да, я сумбурный человек, но я не настаиваю на своем сумбуре, а Юрий Ник. настаивает, — он хочет стабилизировать сумбур.

---

Дочитала сегодня «Москву под ударом» (вот и начала писать о ней ритмической фразой — это недаром). Вначале все раздражает; и больше всего то, что все, что было в прежних вещах Белого тенденцией, стало здесь, проявленной, почти аккуратной, системой. Ритмизация прояснилась до сквозного трехдольника (Тынянов утверждает, что «Москва» написана амфибрахием). Речетворчество свелось к тому, что все слова «новые», и проч. и проч. А потом, дальше больше, покоряешься автору (делай что хочешь), и неважным становится все это, как не важны нелепые фигуры: Фон-Мандро и прочие; вся эта рвань, неизвестно откуда (а если известно, то тем хуже) заскочившая. Важным оказывается одно, что пишет большой писатель; и плохая книга хорошего писателя отодвинула, расшвыряла хорошие книги плохих.

Ценность продукции Белого и Блока определяется не качеством хорошо сделанной вещи, но вневещным зарядом гениальности. Бессмыслица выискивать хорошие стихи Блока; важны типические, похожие… Все блоковское и бе́ловское в качестве отдельной, сделанной вещи — не держится.

Момент выдумки необязателен для литературы (может быть, для искусства вообще), первичны и обязательны моменты выборки (отбора) и пропуска — это те стороны процесса художнического изменения материала. Каждый сознательный и целеустремленный пропуск части признаков при изображении предмета является уже рудиментом искусства (какие бы он ни преследовал практические цели). К квалифицированному литературному описанию он относится примерно так, как языковая метафора относится к поэтической.

Тынянов говорит: «У Гейне в афоризмах и фрагментах есть необычайные фразы даже без подлежащего и сказуемого…»

В ответ на мои недоумения — почему это нужно непременно заниматься *любой* современной литературой, Брик говорил мне: «Вы все работаете в тылу. Разумеется, работать в тылу в своем роде нужно и полезно, но необходимо и почетно работать на фронте».

Я рассказала это Тынянову; тогда он как раз был не в ладах с москвичами, а потому говорил «они» и раздражался.

— А почему вы им не сказали, что они, со своей литературой факта, — генералы без фронта?.. Знаете вы, как кончилась мировая война? Генерал Гинденбург позвонил генералу Людендорфу по телефону: «Генерал, знаете ли вы о том, что у нас нет фронта?» — «Генерал, я знал об этом уже в 12 часов».

Ахматова утверждает, что главная цель, которую поставил себе Борис Михайлович <Эйхенбаум> в книге о ней — это показать, какая она старая и какой он молодой… «Последнее он доказывает тем, что цитирует Мариенгофа». (Рассказано Гуковским.)

Боря <Бухштаб> передал мне «по секрету» дошедшую до него фразу Тынянова о нас (об учениках, о «молодом поколении»): «Что же, они пришли к столу, когда обед съеден».

Мы умеем читать книги только в детстве и ранней юности. Для взрослого чтение — отдых или работа; для подростка — процесс бескорыстного и неторопливого узнавания книги. Все, что я в жизни прочла хорошо, я прочла до Ленинграда, до Института, до занятий литературой. Так я читала Пушкина, Толстого, Алексея Толстого (очень нравились баллады и шуточные стихи), Блока, «Приключения Тома Сойера»… и так я уже никогда не буду читать. И совсем не потому, что наука выбила из меня непосредственность; все это вздор, и никакая непосредственность для наслаждения чтением не нужна, — нужна бездельность. Нужна неповторимая уверенность молодости в том, что спешить некуда и что суть жизни не в результатах, а в процессах.

Нужно вернуться из школы, после четырехчасового слегка отупляющего безделья, прийти в свою комнату, наткнуться на знакомую книгу, завалившуюся в угол дивана, рассеянно открыть на любой странице (все страницы одинаково знакомы) — и читать, не шевелясь, иногда до вечера, испытывая то восторг от какого-нибудь нового открытия, то особый уют и почти хозяйскую уверенность оттого, что все слова известны.

А Толстого я читала так всего, с письмами, с народными рассказами, с педагогическими статьями, испытывая всегда одно и то же чувство, которое не могу назвать иначе, как чувством влюбленности. Статьи о вегетарианстве и «Фальшивый купон» доставляли мне наслаждение немногим меньшее, чем «Война и мир», — важен был неповторимый толстовский метод. И все, где только могла его узнать, представлялось мне равноценным.

Я всегда понимала, почему я изучаю русскую литературу XIX века, литературу первой половины XIX века и т. д., но иногда оказывалось неясным, почему именно я научаю литературу и почему человек вообще может посвятить свою жизнь этому занятию.

Если отвлечься от некоторых биографических причин, которые в сущности не причины, а только вспомогательные толчки, то для меня существует только одно успокоительное объяснение: я изучаю литературу потому, что люблю ее, и потому, что мне в высшей степени свойственно рационалистическое отношение к своим привязанностям, — то есть интенсивность в переживании того или иного и в том числе эстетического наслаждения повышается для меня прямо пропорционально степени логического прояснения и оформления переживания.

Наряду с этим существует и вопрос о том, *зачем* мы нанимаемся своей наукой. Здесь речь идет уже не о происхождении деятельности, а об оправдании индивидуально-практическом или этическом и социальном.

Оправдания бывают разные (моя старая мысль: человек должен заниматься не тем, чем он должен заниматься, и даже не тем, чем он хочет заниматься, а тем, чем он может заниматься). Оправдание тем, что изучение литературы не хуже, чем всякое другое, улучшает наше познание. Оправдание специфическим моментом сохранения культуры и даже попросту сохранения литературных произведений, которые перестают существовать, когда о них перестают говорить.

Не следует смешивать мотивировку явления с его стимулом. И если с мотивировками у литературоведов обстоит благополучно, то нельзя сказать того же о стимулах. Оказывается, что изучать палеографию естественнее, чем изучать литературу; к последнему же приходят откуда-нибудь, то есть литературоведение это дом с передней.

Приходили часто от общественных интересов, но и ход в литературу из литературы существовал всегда… Во все времена писатель, он же совершеннейший читатель своего времени,

говорил о литературе нужные вещи.

Символисты были отцами формалистов. Но символисты были слишком большими писателями для того, чтобы обосновать науку о литературе. И этому препятствовали не только те черты потусторонней трактовки литературного явления, которые были присущи их творческому опыту, но и совсем другие, ремесленные стороны этого опыта. У писателя всегда есть такие способы думать и говорить о своем материале, которые не могут пригодиться при построении системы исследования.

Здесь менее всего речь идет об интуиции, о непосредственном творческом вчувствовании и проч. Есть такие методы анализа совершенно конкретных признаков, их выделения и оценки, которых требует мастерство и избегает исследование. Пример тому — блистательные и притом отнюдь не интуитивные, а в высокой степени вещественные лекции Тихонова по современной поэзии. Речи Тихонова — это не расшифровка литературных фактов, а литературный факт, подлежащий расшифровке.

Нашу науку создали не символисты, а люди символистически-футуристической эпохи, авторы плохих стихов; дилетанты, совместившие начатки поэтического опыта, без которого невозможно приобщение к условной магии ремесла, с психологической возможностью подавлять этот опыт, подчинять его интересам чистого исследования и обобщения.

Ни в какой мере не случайно то, что Шкловский и Тынянов нынче беллетристы… это так же не случайно, как то, что 3/4 нашего семинара мечтает о «романе», как то, что на Инст. ист. искусств едва ли найдется десять человек, не умеющих при случае написать стихи.

Шкловский утверждает, что каждый порядочный литературовед должен, в случае надобности, уметь написать роман. Пускай плохой, но технически грамотным. В противном случае он белоручка.

В каждом формалисте сидит неудавшийся писатель, говорил мне кто-то. И это вовсе не историческое недоразумение, — это история высокой болезни. Неужели наша биография будет традиционно начинаться плохими стихами и кончаться романами… хорошими ли!

Мирное академическое процветание науки о литературе оказывается невозможным. Последнее десятилетие показало, что теоретические и исторические проблемы литературоведения недолговечны. Эта недолговечность казалась нам признаком ненаучности; иногда она оскорбляла; из-за нее мы ссорились с метрами (метры любовались собственными бросками с проблемы

на проблему, потому что они всё боялись стать похожими на профессоров). Словом, мы были недовольны. Но что делать — всякие попытки выращивать в тиши заготовленные лет десять тому назад вопросы срывались в невыразимую скуку. Вместо мирного развития наука о литературе оказывалась все же предназначенной к прерывистому росту, торопливому и раздробленному, как короткометражный монтаж.

Она не могла развиваться сама из себя, требовались внешние толчки и скрещивания с другими рядами. Боюсь, что мы паразиты, которым для того, чтобы не умереть от недостатка пищи (или от скуки), необходимо питаться либо социологией (эйхенбаумовский «литературным быт» и пр.), либо лингвистикой (Виноградов и пр.), либо текущей литературой. Для тех, кто ощущает себя не историками или теоретиками литературы по преимуществу, но шире того — литераторами, профессионалами слова, — отсутствие последнего рода связей и импульсов — губительно.

Боря <Бухштаб>, по ходу своих занятий эгофутуризмом, раскопал недавно Константина Олимпова (сына К. М. Фофанова), ныне управдома. Восхищенный тем, что встретил сочувствующую душу, Олимпов продержал Бориса целый день в давно не топленной комнате, подарил ему эгофутуристические книжечки и рассказал много замечательного, — между прочим, следующее.

Попалось ему в 1910 (кажется) году в газете слово «футурист» — речь шла об итальянцах. Понравилось. «Что ж, — думаю, — Игорь (Северянин) восемь лет пишет; я тоже немало. Никто внимания не обращает. Надо что-нибудь попробовать». Прихожу к отцу: «Папа, мы решили вселенскую школу основать — тебя предтечей…»

Папа закричал: «Не смей! Меня в „Новом времени“ печатать не будут! Вот когда умру, тогда делайте что хотите».

И действительно, Вселенский Эгофутуризм был декларирован только в 1911—12 годах, после смерти Фофанова.

После моей истории с К. я сказала Тынянову: «Вот прихожу в зрелый возраст и начинаю наживать себе врагов». Тынянов (восторженно): «О, вы не знаете, как быстро это пойдет дальше!»

У Державина есть стих:

Дымятся серым дымом домы

*(«Осень во время осады Очакова», 1788)*

Я уже второй день как не могу прийти в себя.
У Ломоносова нашла две строки совершенно хлебниковские:

Но враг, что от меча ушел,
Боится собственного следа.

Неблагодарность детей другого века: хватаем из стариков, что нам понравилось, и кричим: «А это наше, а это Хлебников, а это Пастернак».

Впрочем, это вздор, а суть вот в чем: есть элементы системообразующие, и они неотъемлемы, по ним познается мастерство эпохи и лицо мастера. А есть случайные открытия, стилистические пророчества; наше сознание усваивает их как заблудившиеся элементы позднейших систем. Разумеется, «Дымятся серым дымом домы» — это элемент, отбившийся от Андрея Белого и футуристов, и, разумеется, наше восприятие его совершенно фиктивно, так как во времена Державина он означал нечто другое или ничего не означал.

---

Старые опоязовцы умели ошибаться. Как все новаторские движения, формализм был жив предвзятостью и нетерпимостью. Имеет ли смысл сейчас методологическое злорадство: ага, они отрекаются от старых ошибок, от ошибок, на которые я (такой-то) указывал еще и таком-то году. Так вот, в таком-то году (например, в 1916-м) ошибки, будучи ошибками, еще были экспериментом. Наряду с понятием рабочей гипотезы следовало бы ввести понятие рабочей ошибки. (Оказывается, это понятие существует в логике.) Жирмунский, как-то творя со мной о новых взглядах Тынянова, заметил: «Я с самого начала указывал на то, что невозможно историческое изучение литературы вне соотношения рядов». Но тогда это утверждение ослабляло первоначальное выделение литературной науки как специфической. Борис Михайлович <Эйхенбаум> еще недавно отстаивал пресловутую теорию имманентного развития литературы не потому, что он был неспособен понять выдвигаемую против нее аргументацию, а потому, что хотел беречь свою слепоту, пока она охраняла поиски специфического в литературе. Нетрудно было усвоить разумную аргументацию Жирмунского и других — трудно было усвоить ее тогда и таким образом, чтобы из этого непосредственно вытекала тыняновская историческая теория функций.

Сейчас несостоятельность имманентного развития литературы лежит на ладони, ее нельзя не заметить. Если этого не замечали раньше, то потому, что литературные теории не рождаются из разумного рассуждения Казалось бы, под влиянием правильно построенной аргументации противника методы исследования могут замещаться другими. Так не бывает — литературная методология только оформляется логикой, порождается же она личной психологией в сочетании с чувством истории. Ее, как любовь, убивают не аргументацией, а временем и необходимостью конца. Так пришел конец имманентности.

## *ЛЕФ*

Вспоминаю свои хождения в Гендриков переулок. Там был Маяковский, были увлекательные разговоры с Осипом Макс. Но, как я теперь понимаю, вся официальная, лефовская, часть внушала мне по преимуществу обывательский интерес. Как всякому прохожему, мне было интересно поглазеть на Пастернака. Кстати, я не стыжусь интереса к великим людям. Соглашаюсь на эту провинциальную черту, потому что не чувствую себя провинциалом в стране литературы. Наталья Викторовна <Рыкова> презирает знакомство с писателями из дилетантизма. Как всякая каста, не производящая, а только наслаждающаяся продуктами производства, дилетанты имеют элитарные предрассудки.

Только в последний раз я поняла, что за пределами интереса человека, заглянувшего во встречные окна, мне было скучно и всем было скучно. Ни важные задачи борьбы с мещанством и халтурой, ни крюшон, ни американский граммофон, ни безошибочное остроумие Брика не могли скуку рассеять.

Дело не в журнале, дело в людях, которых мы уважаем. Люди эти, стоя в пустоте, полемически кричат в пустоту, а пустота не отвечает.

Несчастье Лефа в том, что он непрестанно держит речь, обращается; притом по преимуществу к тем, кто не может его понять или не хочет слушать. Особенно замечателен диалог, который в течение нескольких лет развертывается между Лефом и правительством. Леф уверяет правительство в том, что он ему необходим, что он его правая рука в деле культурного строительства. Правительство же уверяет Леф, что он ему нисколько не нужен, и скорее вреден, чем полезен. Для вящей убедительности его от времени до времени закрывают.

Шкловский: — Что ж, производственное искусство, фотомонтаж Родченки. В результате у Бриков на стенах развешаны фотографии, и Лиля на них красивая. Изменилась только мотивировка.

Мы с О. прогуливались по бульвару. Он уговаривал С. присоединиться; она сказала, что у нее гости, и просила позвонить через час. О. позвонил из автомата. По его репликам сразу было понятно, что С. не освободилась.

— Ясно, что сегодня из этого ничего не выйдет, — сказал О., вешая трубку.

В этой фразе мне показался интересным разрыв между вещественным смыслом слов и окраской словоупотребления. Разумеется, когда женщина говорит: «Я не пойду с вами на бульвар», то совершенно ясно, что «из этого ничего не выйдет». Но в нашем языковом сознании слово *ясно* неустойчиво; его назначение опровергать видимость благополучия.

О. сохранил за своей фразой оболочку логико-грамматической правильности, подменив притом ее функцию, и я поняла, почему так случилось. В этом контексте *ясно* вмещало еще горечь, разочарование и упрек. Тоска моего спутника, прячась от меня, смутно искала для себя форму. Поверх вещественного смысла тональность слова выдала тоску.

Филологическое любопытство… я не отказала себе в жестокости присмотреться к интересному словоупотреблению.

То есть, как это «ясно, что ничего не выйдет»? Ведь она тебе сказала, что несомненно…

Да я и говорю… сегодня несомненно не выйдет…

Так мы шли по бульвару, обмениваясь эмоциональными ореолами. И тайное становилось явным.

Человек, который не сумел устроиться так, чтобы гордиться своими несчастьями, — стыдится их. Хорошо воспитанный человек стыдится и чужих несчастий.

Г. Ф. принадлежал к числу тех снисходительных эгоистов, которых добро интересует не как потребность, но как их личное достижение.

Совершается методологическое самоубийство, а приспособляющиеся думают, что совершилась выгодная сделка, и радуются падению последнего праведника.

Нат. Викт. говорила о своей матери, которая интересуется

Мейерхольдом и, имея чуть ли не сорокалетнего сына, начала изучать английский язык: «Очевидно, у мамы сохранился какой-то запас здорового эгоизма, который делает ее необыкновенно легкой для окружающих».

---

Только что с заседания Комитета современной литературы (Зеленый зал). Тынянов читал рассказ «Подпоручик Киже».

Весело самому строить в хаотической данности нерасшифрованного материала прошлых столетий закономерность вкусовых и идеологических оценок; тех самых, которые делали вещи, поворачивали вещи, перевирали вещи. Но неуютно сидеть с закономерностями за одним столом; смотреть, как люди, осознавшие закон исторических переосмыслений, сами переосмысляют законно, но бессознательно.

Мы сейчас горячо и беспомощно ищем в литературе содержание, как его искали в 1830-х годах, все от Белинского до Булгарина и от Булгарина до Киреевского. И Борис Михайлович, вместо того чтобы говорить о том, что есть в «Подпоручике Киже», — об интересной, тщательно разработанной фабуле и фразе, говорит о волнующей философичности. Автор в заключительном слове говорит о том, как он понимает историю, и о своей концепции, павловской государственности, которая и есть самое главное.

Философия «Киже» — это традиционная символика казарменного и призрачного Петербурга, пустоты, регулярности, невсамделишных людей. То, о чем гениально писал уже Белый, талантливо писал Мережковский, с эффектом писали Пильняк и Алексей Толстой («День Петра Великого»). Как бы то ни было, Б. М. понравился рассказ, и он увидел в нем мысль; кому-то рассказ не понравится, и он непременно усмотрит в нем отсутствие мысли и исторической концепции. Меня занимает не конкретная оценка, но критерий. Он же *содержание*, которого взыскуют формалисты, как и все прочие.

Председательствует К. Он один сидит на всех заседаниях в шубе, как бы ни было натоплено в помещении, и поэтому кажется, что ему одному очень холодно. Он председательствует как добросовестный, но неумелый судебный следователь. То есть он считает необходимым вырвать у каждого из присутствующих признание, но не умеет при этом не вспугнуть.

К. милый, воспитанный, образованный, ни с кем не поссорившийся человек. Он был бы очень приятен в роли

интеллигента, слегка отстающего от века. Но он ни за что не хочет отстать; он положительно пристает к веку, занимаясь кино и современной литературой. Он со Шкловским на *ты*.

Забавно. Прежде официальные литературные заседания устраивали люди, относившиеся к официальным заседаниям серьезно. Иронические люди воздерживались или приходили на заседания со специальной целью испытать ощущение презрительного превосходства. Теперь, когда в нашей науке серьезные люди не находят широкого применения, заседания устраивают те самые шутники, которые над ними смеются. Смеется председатель и получает деньги (следовательно, он хорошо смеется). Секретарь смеется, денег уже не получает, тратит время на протоколы, которые выглядят необыкновенно серьезно. Остальные смеются безответственно и даже беспредметно.

Над кем смеется недоверчивый Борис Бухштаб, отправляясь на заседание, в котором председательствует иронический Тынянов и секретарствует скептический Степанов!

Я писала в одной из этих тетрадей о том, что для меня нравственное страдание необходимо определяется установкой на безнадежность, на непреходящесть переживания. Представить себе конец — значит покончить.

Но если твердо знать, что тоска пройдет, как твердо знаешь, что заживет порезанный палец… Раз это пройдет, то зачем ему быть? — не имеет смысла. Тогда появляется отношение к тоске такое же, как к зубной боли, к ревматизму. Неприятное ощущение… если не удается по уничтожить, надо его обойти, отвлечь внимание. Тогда человек, переживая тоску, в то же время ест, работает, переодевается, ходит за покупками, думает о посторонних предметах. Изредка, когда очень дергает, стискивает зубы.

Все сводится к бессмысленной боли, типа нытья, которую нельзя считать физической потому только, что ее трудно локализовать. Даже и не очень трудно. В сущности, мы знаем, где живет тоска — приблизительно под ложечкой.

Тоска — неизлечимая душевная лихорадка, ретроспективный взгляд на погибшее счастье, глухие поиски небывалых ценностей и целей… Или просто остановка. Прервалась жизненная инерция — непрерывное протекание вещей, скрывающее от человека ускользающую непостижимость существования. Он не тоскует больше ни над данным горем, ни над отнятой радостью. Тоскует от перемен: меняя квартиру, уезжая и возвращаясь, — в перерывах между двумя инерциями.

Отношения между нами и метрами все больше напоминают мне, разумеется в миниатюре, те отношения между Карамзиным и карамзинистами, о которых я писала в «Вяземском». Мы клянемся именем учителя на площадях, но дома («в тишине келейной») брюзжим. Принципиальные и личные связи все более порываются. Остается символ, флаг; да еще у многих — вкоренившаяся личная нежность к Борису Михайловичу.

«Не понимаю, — сказал мне Эйхенбаум задумчиво, — как это вы могли от моря, солнца, акаций и проч. приехать на север с таким запасом здравого смысла. Если бы я родился в Одессе, то из меня бы, наверное, ничего не вышло».

*(Июль 1927, Одесса)*

Жирмунский, который был близок с Мандельштамом, рассказывает, что Мандельштам умел как-то пощупать и понюхать старую книгу, повертеть ее в руках, чтобы усвоить принцип эпохи. Жирмунский допускает, что Мандельштам не читал «Федру»; по крайней мере экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Мандельштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке.

Насчет «Федры» свои сомнения В. М. подтверждает тем, что в стихотворении, посвященном Ахматовой, имелся первоначальный вариант:

Так *отравительница* Федра
Стояла некогда Рашель…

Мне кажется, это можно истолковать и иначе. Мандельштам сознательно изменял реалии. В стихотворении «Когда пронзительнее свиста…» у него старик Домби повесился, а Оливер Твист служит в конторе — чего нет у Диккенса. А в стихотворении «Золотистого меда струя…» Пенелопа вышивает вместо того, чтобы ткать.

Культурой, культурными ассоциациями Мандельштам насыщает, утяжеляет семантику стиха; фактические отклонения не доходят до сознания читателя. Виктор Максимович, например, обратил впервые мое внимание на странность стихов:

И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне…

Какие могут быть у оссиановских дружинников — шарфы?

После многих прочитанных и прослушанных сейчас вещей (прозаических) мы говорим: «Да, хорошо написано, но не то…»; потом поясняем: не ново, не открывает горизонтов, не пронзает; потом мы критикуем систему. Между тем дело не в системе, — дело в отсутствии нового большого писателя. Гоголевский метод, в каких-то общих чертах, был в то же время методом второстепенных писателей конца 1820—30-х годов, — но Гоголь сделал его убедительным.

Нам только того и нужно, чтобы нас убедили. Мы перебираем жанры, как капризная покупательница, мы брюзгливо толкуем о том, какая семантическая система нам больше к лицу, — и все это только попытка замотивировать наше литературное томление, оно же — томление по новому убедительному писателю, для которого есть две возможности: либо использовать наши плохие (то есть ощущаемые нами как недостаточные) формы в качестве хороших, либо заменить их новыми.

Впрочем, к постулируемому большому писателю особенно применим афоризм Шкловского: когда есть только два пути, это значит, что нужно идти по третьему.

Хлебников, у которого одни концы спрятаны, а другие не сведены, оказался темным, темным от глубины источником тех явлений, которые мы (не зная Хлебникова) получили прямо из рук больших практиков, поэтов для читателя: Маяковского, Пастернака, Тихонова.

Каждый из них пришел как поэт односистемный и потому в конечном счете понятный (то есть понятно, как это сделано). Хлебников был синтетичен, он и сейчас непонятен не смыслом, а непонятен в своем методе, как Пушкин, — то есть: как это сделано? и почему это хорошо?

Мы получили хлебниковское, расквартированное по чужим системам, лишенное мутящей разум хлебниковской наивности, его темной простоты, — хлебниковское уяснилось. Мы поняли, как это сделано, — и перестали настаивать на том, чтобы это делалось и впредь. Но тут, опаздывая, к нам пришел *сам* Хлебников, с его загадочностью, напоминающей загадочность Пушкина (как это сделано?). Это сопоставление носится в воздухе, а Клюйков даже пригвоздил его к стене, украсив комнату портретами Пушкина и Хлебникова — и только.

## *Пруст*

Может быть, западная литература находится накануне прустианства. У нас только что начали появляться переводы. У нас для ассимиляции Пруста есть препятствия. Пруст, с его гегемонией единичного, внутреннего человека, неприемлем, в какой-то мере, для человека современного (я подразумеваю русского человека). Эротическая тема в своем чистом виде не может быть для нас в настоящее время достаточной. Характерно, что в «Zoo» Шкловский все время подпирает любовь профессией. Аля шествует под прикрытием формального метода и автомобилей.

Воображаю себе Пруста, ассимилированного традициями русского психологического романа, — в результате, по-видимому, должен получиться проблемный самоанализ, вообще нечто чуждое духу Пруста. У Пруста запутаннейшие переживания в конечном счете разлагаются на примитивные, так сказать, материальные части. Сложным оказывается не душевное состояние героя, но метод его изображения. А простое переживание обладает неотразимой убедительностью.

Сложность Достоевского принципиально произвольна и неограниченна; читая об Иване-Царевиче — Ставрогине, мы точно так же не ощущаем принудительности материала, драгоценной «несвободы писателя», как если бы мы читали просто об Иване-Царевиче. Автор что хочет, то и делает.

Если даже предположить, что патология может снабдить некоторыми нормами психологию сумасшедших, то уж во всяком случае психологии святых, героев и гениев (Ставрогин ведь своего рода гений) закон не писан. Толстой изобразил себя в Левине не только минус гениальность, но и минус литературная профессия, — и считал, что это очень похоже. Левин только интеллигентный помещик — именно поэтому он доброкачественный герой психологического романа. Явно автобиографический герой Пруста хотя и литератор, но никак не может быть воспринят в качестве большого писателя (это у него в будущем). Психологизм, очевидно, требует некоторой степени посредственности героя, которая особенно остро сочетается с парадоксальностью описания.

Пруст принадлежит к тем новаторам, которые не изобретают элементы, а проявляют потенции, заставляют элементы по-иному функционировать. «A la recherche du temps perdu»[3] довело до абсурда французский адюльтерно-психологический роман. Поэтому новизна не в материале и не в отдельном приеме, — новизна отчасти даже в отрицательном качестве, в том, что впервые оказалось возможным построить роман без таких-то и таких-то конструктивных элементов. Количественный принцип

пришел на помощь: девять томов, написанных без того-то и того-то, довели новизну до дерзновения.

У Пруста презрение к фактическому событию; психологическая фабула завязывается, движется, разрешается, а герой все еще один лежит на кровати. От времени до времени Пруст бывает вынужден сообщить факт — и он делает это не то пренебрежительно, не то застенчиво. На протяжении десятков страниц огромное напряжение развивается вокруг желания героя попасть в дом Сванов, но о моменте осуществления этого желания (которое поворачивает фабулу) Пруст сообщает без всякого перехода в двух-трех строках; их скользящая интонация как бы свидетельствует читателю от имени автора: я никогда не унижусь до того, чтобы подготовлять, развертывать, педализировать материал фактического события.

Пруст передает физиологические ощущения, которые герой испытывает вблизи своей возлюбленной, той же интонацией, которой он описывает, например, как герой любуется пейзажем. Пруст не меняет голоса.

Пастернак, говорят, сказал: «Я купил Пруста, но не решаюсь его раскрыть».

Шкловский написал когда-то, что психологический роман начался с парадокса. В самом деле, у Карамзина хотя бы, да и вообще в тогдашней повести и романе душевный мир героя занимал не меньшее место, чем в психологическом. Но переживание шло по прямой линии, то есть когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал, и т. д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология.

Мандельштам якобы сказал про тыняновского «Вазир-Мухтара» — это балет.

## *Ахматова*

Этой весной я встретилась у Гуковских с Ахматовой. У нее дар совершенно непринужденного и в высокой степени убедительного величия. Она держит себя, как экс-королева на буржуазном курорте.

Наталья Викторовна <Рыкова> представила меня: это та самая, статью которой вы знаете, и т. д.

«Очень хорошая статья», — сказала Ахматова слегка наклоняя голову в мою сторону.

Жест получился, он соответствовал той историко-литературной потребности в благоговении, которую я по отношению к ней испытываю.

Ахматова явно берет на себя ответственность за эпоху, за память умерших и славу живущих. Кто не склонен благоговеть, тому естественно раздражаться, — это дело исторического вкуса. Ахматова сидит в очень спокойной позе и смотрит на нас прищурившись, — это потому, что наша культура ей не столько непонятна, сколько не нужна. Не стоит спорить о том, нужна ли она нашей культуре, поскольку она является какой-то составной ее частью. Она для нас исторический факт, который нельзя аннулировать, — мы же, гуманитарная молодежь 20-х годов, для нее не суть исторический факт, потому что наша история началась тогда, когда ее литературная история, может быть, кончилась. В этом сила людей, сумевших сохранить при себе ореол и характер эпохи.

Анна Андреевна удачно сочетает сходство и отличие от своих стихов. Ее можно узнать и вместе с тем можно одобрительно заметить: «Подумайте, она совсем не похожа на свои стихи». Впрочем, быть может, она как раз похожа на свои стихи — только не на ходячее о них представление. Ахматова — поэт сухой. Ничего нутряного, ничего непросеянного. Это у нее общеакмеистское. Особая профильтрованность сближает непохожих Ахматову, Гумилева, Мандельштама.

Гуковский говорил как-то, что стихи об Иакове и Рахили (третий «Стрелец») он считает, в биографическом плане, предельно эмоциональными для Ахматовой. Эти фабульные, библейские стихи гораздо интимнее сероглазого короля и проч. Они относятся к Артуру Лурье.

## *Маяковский*

С Маяковским в первый раз я встретилась при обстоятельствах странных. Шкловский повез как-то В. и меня в Гендриков переулок, где я втайне надеялась его увидеть. Брики сказали, что Володя сегодня, вероятно, не придет (он мог остаться в своей комнате на Лубянке) или придет очень поздно. Разочарование.

Вечер прошел, пора было уходить. И вот тут обнаружилось нечто совсем неожиданное для москвичей — наводнение. Москва-река вышла из берегов. Такси на упорные вызовы Шкловского не отвечало.

Мы остались сидеть в столовой. Чай остывал и опять горячий

появлялся на столе. Глубокой ночью вдруг позвонил Маяковский — он достал машину и собирается пробраться домой. Я ждала сосредоточенно. Для меня Маяковский — один из самых главных.

Маяковский пришел наконец. Должно быть, его развлекло московское наводнение — он был хорошо настроен. Он охотно читал стихи — стихотворение Есенину, «Разговор с фининспектором», еще другие. Слушать чтение Маяковского, сидящего за столом, в небольшой комнате — странно. Это как бесконечно уменьшенный и приглаженный макет его выступления. Потом я встречала В. В. неоднократно, в Москве и в Ленинграде. Но ни разу уже не видела его в столь добром расположении, таким легким для окружающих.

Мы досидели тогда в Гендриковом до утра. Часов в пять такси наконец откликнулось.

На днях видела совсем другого Маяковского, напряженного и мрачного.

Накануне моего отъезда мы, то есть Гуковские, Боря <Бухштаб> и я, прощались у В. (она болеет). Пришел Маяковский. Он на прошлой неделе вернулся из-за границы и имел при себе весьма курьезную шапочку, мягкую, серую, с крохотной головкой и узкими круглыми полями — вроде чепчика. Он держал ее на колене, и у него на колене она сидела хорошо, но нельзя было без содрогания вообразить ее у него на голове.

Влад. Влад. был чем-то (вероятнее всего, нашим присутствием) недоволен; мы молчали. Боря, впрочем, сделал попытку приобщить присутствующих к разговору, не совсем ловко спросив Маяковского о том, что теперь пишет Пастернак.

— Стихи пишет. Все больше короткие.

— Это хорошо, что короткие.

— Почему же хорошо?

— Потому что длинные у него не выходят.

Маяковский: — Ну что же. Короткие стихи легко писать: пять минут, и готово. А когда пишешь длинные, нужно все-таки посидеть минут двадцать.

После этого мы больше не вмешивались в разговор между хозяйкой дома и поэтом. Маяковский шутил беспрерывно, притом очень невесело. В большинстве случаев — плоско и для кого-нибудь оскорбительно, предоставляя понимать, что его плоскости умышленны (что вероятно, потому что он остроумен), а оскорбления неумышленны (что тоже вероятно, потому что он задевает людей не по злобе, а по привычке диспутировать).

Итак, мы молчали. В. вела разговор, Маяковский шутил.

Особенно часто он шутил на тему о том, что ему хочется пить. Наконец Наталья Викторовна вышла за водой на кухню. Вода — кипяченая (сырой Маяковский не пьет) — оказалась тепловатой.

— Ничего, — сказала Нат. Викт., придвигая стакан, — она постоит.

— Она постоит, — сказал Маяковский, — а я уйду.

И он ушел.

---

Когда Маяковский читает с эстрады стихи о себе самом, то кажется, что он на полголовы выше самой гиперболической из своих метафор. Не стоит обижаться на Маяковского, когда он обижает. Если бы Гулливер не боялся лилипутов, ему было бы трудно им не грубить.

Разговор о погоде — совсем не случайное явление. Настолько не случайное, что каждый из нас, сам того не замечая, пользуется им как выходом из явно безвыходных положений. Вот человек сидит, и нужно говорить, и говорить до такой степени не о чем, что горло сжимается. Через десять минут он удивленно чувствует, что стало легче; отчего бы это могло быть? И тут он замечает с испугом, что говорит о погоде. Это безошибочное средство, но, к несчастью, паллиативное.

Разговор о погоде не случаен, потому что ничего не может быть органичнее и естественнее. Разговор, который мы ведем, потому что он нас интересует, основан на узнавании. Напротив того, в разговоре поневоле — отсутствует неизвестное. Такой разговор избегает затрат мыслительной энергии, он тавтологичен и оперирует самоочевидностями.

Удобно констатировать факты, но не всякие факты удобно констатировать. Невозможно делать непринужденные замечания по поводу таких самоочевидностей, как наружность, костюм, привычки, родственники собеседника. Это потребовало бы осторожности, то есть соображения, то есть опять-таки затраты (бесполезной при пустом разговоре) мыслительной энергии. И вот я слегка поворачиваю голову к окну и выговариваю уютную, ничем не угрожающую фразу, в которой заключено сравнение московского климата с ленинградским.

Впрочем, во всем этом много легкомыслия, увлечения настоящим за счет будущего; говоришь и не думаешь о том, что не более чем через три минуты разговор окажется на прежнем месте.

Всякие нравственные страдания, в отличие от физических, сопровождаются иллюзией бесконечности. Размеры несчастья не идут в счет: неудачный экзамен, задетое самолюбие, погибшая любовь — в тот момент, как человек их переживает, в какой-то мере угрожают наложить отпечаток на всю его последующую жизнь. Отчетливо представить себе возможность прекращения нравственного страдания — это значит уничтожить его.

Люди выдерживают самые ужасные физические страдания и кончают с собой из-за душевных происшествий, которые, в случае неудавшегося самоубийства, через год оказываются не заслуживающими внимания. Не фактическая нестерпимость, а безнадежность сокрушает человека.

Тысячелетнего опыта человечества и многолетнего опыта личности едва достает на то, чтобы еще и еще раз додумываться до вечных формул: *все проходит и время — лучший целитель.* Утешать ими нельзя человека, потерявшего, скажем, ребенка или покинутого любимой женщиной: это даже рискованно, если этот человек вспыльчив. Формулы эти все еще плавают по поверхности человеческой практики: в момент страдания они кажутся человеку удивительно пошлыми, фальшивыми и применимыми к кому и к чему хотите, но не к нему. Тем же, кто утратил способность страдать или не нуждается в этой способности, они кажутся просто банальными.

Нравственное страдание, сопровождаемое сознанием его преходящести, — уже не страдание, а настроение. Напротив того, стоит нам ощутить физическую боль как не имеющую конца — и она перестает быть только физической болью. Мнительные люди привносят в физическое страдание элемент душевного переживания — они несчастны вдвойне.

N. говорит: «Несчастная любовь, как и счастливая, обращается в привычку. Возникает близость — односторонняя, но от этого не менее крепкая (не безразлично ли — испытывают иллюзию близости один или два человека). В конце концов человек любит женщину, которая выносит его с трудом, той остановившейся любовью, которая больше не ощущается, потому что она стала основой, принадлежностью душевного организма (как кровообращение); словом, той самой любовью, которая дается в результате долгих лет семейной жизни».

———

В статье Б. М. <Эйхенбаума> «Лев Толстой» («Литература», 1927 год) много говорится о «душевном стиле» Толстого. Слово «стиль» поставлено не иначе как для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что речь идет о душевном переживании как об источнике творческого воплощения.

Душевный стиль — это особая организация, вернее, искусственное осмысление внутренней жизни, свойственное людям умствующим и литературствующим. Но самое литературно оформленное переживание есть все-таки факт не литературы, а внутренней биографии. Если оказалось необходимым учесть психологические факты этого порядка, то почему не учесть и другие. Еще так недавно в теории имманентного развития открылась первая щель, а уже в эту щель на нас плывут и плывут запрещенные проблемы, а мы стоим, прижавшись к стенке, как княжна Тараканова в каземате…

Было время, когда я предпочитала плохую погоду всякой другой, потому что она ни к чему не обязывает. Я и сейчас люблю иногда плохое настроение, потому что оно приносит внезапное равнодушие к вещам, еще только что волновавшим, и отдых от проявления жизненной энергии. Плохое настроение, как дождливый вечер, как легкая простуда, — сразу снимает вопрос о способах развлечения и вообще о выборе жизненных путей.

Историко-литературные чертежи по воздуху: «А, — говорим мы, — Тихонов переходит к прозе — характерно!» — «Помилуйте, — говорит Тихонов, — всю жизнь только и делаю, что пишу прозу. Приходите ко мне — покажу: полные ящики».

Я еще ни разу в жизни не купила себе карандаша. Карандаши не приобретаются, а обретаются. Их тащат, выпрашивают у знакомых, находят в ящиках и карманах. Точно так же всякий знает, что психологически невозможно купить английскую булавку, — это потому, что английская булавка принадлежит к числу предметов полезных, но не запоминающихся.

Сегодня, устраивая новую комнату, я размышляла над пустотой своего письменного стола: кроме книг и бумаг — чернильница, перо, два карандаша (краденых), коробочка с кнопками, которая могла бы лежать и в ящике, но лежит наверху, очевидно для полноты картины; то есть я, собственно, думала над тем, откуда берутся у людей те глупые, но часто удобные вещи, которые стоят у них на столах: какие-то подставочки, какие-то там футлярчики для карандашей и перьев, какие-то уж совсем гибридные штучки… Не может быть, чтобы люди их покупали,

как бы дешево это ни стоило. Не может быть, чтобы человек, особенно мужчина, преднамеренно шел в магазин и спрашивал бы такую недифференцированную вещь. Все это, по-моему, заводится как-то помимо людей. Просто обнаруживается в семье и переходит от одного к другому. Поэтому у тех, кто обзаводится письменным хозяйством вне дома, в другом городе, ничего такого и нет.

Добраться до первоисточника этих предметов не умею. Нет ли тут самозарождения?

На вечере у соседей Шкловского Маяковский, очутившись рядом со мной, от нечего говорить расспрашивал про ленинградцев. Сначала про В., потом про Валю Р., потом спросил: «А что делает Тихонов?» — «Как вам понравилась последняя книга Тихонова, В. В.?» — «Я не читал», — ответил Маяковский рассеянно и при этом ничуть не подчеркнуто. Разговор происходил месяцев через пять после выхода «Поисков героя». Шкловский дал мне честное слово, что не читал «Архаистов и Пушкина»: «Вы же знаете, я этими вопросами не занимаюсь…»

А я даже не имею твердой уверенности в том, что это шутка.

Была сегодня на «Одержимом» Бестера Кейтона. Этот фильм — необыкновенно высокое искусство. Никогда театр не давал мне этого ощущения эстетической полноты и безукоризненной построенности вещи, ощущения стопроцентной конструктивности, то есть дана всепроникающая конструкция — и ничего в остатке. Надо думать, что театр, не располагающий принципом единства материала, и не может добиться этого эффекта. Другое дело, если бы театр остался при том мнении, что он есть искусство актера. Можно вообразить великую конструкцию человеческого голоса и тела (вот почему убедительна хореография, как искусство точное и однородное по своему материалу).

Нас же хотят уверить в том, что механизм современного театра очень точен. Да, конструкции, костюмы, свет работают аккуратно, а человек, как бы ни были выдрессированы его жесты, вторгается в это своим живым голосом со своим непредвиденным тембром, живым лицом со следами грима, пота и усталости. Когда же актер играет хорошо, как блестяще играют Ильинский, Бабанова, Зайчиков у Мейерхольда в «Рогоносце» (удивительный спектакль), то он играет отдельно, мимо конструкции.

У театральности есть разные аспекты… Пафос профессиональной театральности с антрактами, буфетом и пожарным у запасного выхода — прошел мимо меня (между тем

ему подвержены очень разборчивые люди). Полуэротическая, полубутафорская символика театра есть у Кузмина. Символика непременно закулисная и мелочная. Фетишизм всего неглавного, результативного и бокового в театре… до пыли на декорациях, которую можно бесцельно взять на ладонь, чтобы потом платком стереть ее с ладони.

Самым волнующим видом театральности является та, свойственная некоторым эпохам и некоторым культурным группам, символическая концепция, которая последовательно реализует старинную метафору: сцена — жизнь, занавес — смерть.

Это то, что переживал Блок, игравший Чацкого и Гамлета, писавший:

> Я Гамлет — холодеет кровь…

Об этом написал Гете в «Вильгельме Мейстере», где полулюбительские спектакли обрастают всей философией жизни и философией искусства, а судьба героя совершается между строк Шекспира, которого декламирует плохой актер.

Впрочем, то обстоятельство, что для меня закулисная пыль или молодой Блок в гамлетовом плаще дороже МХАТ'а и проч., свидетельствует более всего о том, что я не люблю и не понимаю театра. Мне нетрудно пренебречь профессиональной чистотой чужого искусства ради этой символики технических отходов и дилетантских блужданий у театрального подъезда, ради этих смысловых проекций на литературу — Гете, Блок, Кузмин.

> Как люблю я стены посыревшие
> Белого зрительного зала…

Зато в литературе мне чужды соблазны боковых эмоций.

---

> Я на солнечном восходе
> Про любовь пою,
> На коленях в огороде
> Лебеду полю.
>
> *А. Ахматова, «Вечер», 1912*

В голодные годы Ахматова живала у Рыковых в Детском Селе. У них там был огород. В число обязанностей Натальи Викторовны входило заниматься его расчисткой — полоть лебеду.

Анна Андреевна как-то вызвалась помогать: «Только вы, Наташенька, покажите мне, какая она, эта лебеда».

На днях в кружке — доклад Гофмана «Рылеев», умный, прекрасно написанный. В прениях пробиваются страхи о том, что им преступлены границы «эстетического восприятия». И исполненный чувства собственного достоинства ответ Гофмана: «Что мы знаем о природе „эстетического“ восприятия? Существует восприятие литературной вещи, и оно-то подлежит изучению». Далее он говорил: «Формализм вырос на эстетике футуризма, на эстетике формального словоупотребления. Последствия этого генезиса налицо: формальные методы исследования, замкнутые в пределах эстетического восприятия, оказываются достаточными по отношению к произведениям одного типа — и недостаточными по отношению к произведениям другого типа. По отношению к Рылееву они оказались недостаточными, то есть непригодными».

Меня страшит не то, что мы скрещиваемся то с социологией, то с идеологией, но то, что мы стали что-то слишком умны и что-то слишком много понимаем. Мне все мерещится, что именно наука «должна быть глуповата», вернее, немного подслеповата и однобока. Чего бы стоил Шкловский, если бы он в 1916 году все знал, все чувствовал, все видел.

Мне крайне неприятны в себе и в своих товарищах удовлетворенность собственными дерзновениями и пафос широких горизонтов. Идя в любую культурную деятельность (науку, искусство, философию), надо помнить: что легко — то плохо (как, идя в лавку, помнить: что дешево, то плохо); обзавестись же теоретически широкими горизонтами и всеприятием не в пример легче, чем сконструировать и использовать систему плодотворных односторонностей.

У Гуковского, у Бухштаба и у меня было одно и то же ощущение, которое сформулировалось: прекрасная работа, но в душе мы ждали открытия и не получили.

И не будет откровения (откровением были «Архаисты и Пушкин»), пока мы будем оперировать все теми же категориями литературных отношений и каждый раз отыскивать на той же сетке место для новой фигуры. Откровение наступит тогда, когда добудется вещь, которая окажется и исторической вещью, и вместе с тем *вещью*, а не бесплотной тенью литературной борьбы.

Речь идет не о «стилистике», а о семантике, которая в

виноградовском понимании есть все, то есть результат всех факторов, по крайней мере всех конструктивных факторов в их взаимодействии. Речь идет о том, чтобы узнать, как сделан смысл слова, а это значит узнать все остальное.

Именно потому, что работа Гофмана была так безупречно хороша, я почувствовала род усталости и глубокое нежелание работать дальше так, как мы умеем работать. Точнее, не нежелание работать, а нежелание закреплять результаты — скажем, писать статьи.

Гуковский говорил вчера: опоязовцы десять лет назад сумели увидеть в литературе принципиально новые объекты. Вопрос нашей научной жизни и смерти — это вопрос открытия других новых объектов.

С интересом смотрю на В. <Гофмана>; мне кажется, что это человек крепкой индивидуальности и воли. Все это аккуратно загнано внутрь и сказывается случайными признаками, например архаическим пристрастием к Ницше и Брюсову. Надо думать, что у него честолюбие большого размаха, настолько большого и превышающего наши возможности, что оно в корне нейтрализовано; в итоге этого обратного хода живет он так, как будто бы эта страсть никогда не касалась его. Он как-то почти со злостью говорил мне о том, что мы задыхаемся от отсутствия профессиональной конкуренции.

— Шесть месяцев я занимался вопросами ораторской речи. Уговаривали выступить с докладом. Я робел, и, пока робел, все было хорошо. Уговорили. После доклада люди, которые занимались этим всю жизнь, жали мне руки и говорили, что я основал науку. И сразу стало скучно. Руки опускаются.

— Как, и в науке опускаются руки?

— Это дело другое. Когда я занимаюсь наукой, я не думаю ни о чем другом. Но в быту — педагогическом, журнальном и прочем… подстерегает опасность халтурной легкости.

Притом нас ничем нельзя соблазнить, не потому, что мы выше соблазнов, а потому, что соблазны ниже… Не соблазн в самом деле зарабатывать 300 рублей в месяц или достигнуть той степени маститости, при которой формалистов печатает «Звезда».

«Писатели вообще происходят, — говорил мне Шкловский, — понимаете, как происходит ландшафт: течет река, стоит дерево, еще дерево, — в результате случился ландшафт — и хорошо! Так случаются писатели. Толстой, то есть „Война и мир“ случилась от семейного романа, плюс психология, плюс военные рассуждения».

Необыкновенны письма Блока к родным. Бессвязные

рубленые фразы, интонация монотонная и сухая, напоминающая блоковскую манеру чтения стихов, и столь же неотразимая. Среди фраз о журнальных и денежных делах, о еде, ванне и прислуге — тем же голосом сказанные фразы о том, что трудно и «холодно» жить, ударяют, как откровения внутреннего человека. Пушкин не писал о внутреннем человеке; люди 40-х годов писали о нем непременно на двадцати страницах и ничего не стыдясь.

Сам Блок в письмах к друзьям гораздо грубее и литературнее. Блоковские письма к матери учат (не знаю, сознательно или бессознательно) великолепному презрению к стилю, к эпистолярности, к круглым фразам. Каждое связное письмо начинает казаться фальшивым и не выполняющим назначения. Наши юношеские письма, замечу, были стилизаторскими. Своего рода пошатывание между Шкловским и Вяземским… Годится не более чем до двадцатитрехлетнего возраста. Может быть, эти удивительные письма Блока и могли быть написаны только к родным, то есть к людям, для которых не принято делать выборку материала, которым все интересно. Отсюда смелость и свобода сочетаний и высокая небрежность речи. Белинский, Бакунин, Герцен, Огарев — те писали все о самом *интересном*… Блок как бы говорит: «Я не стану нагибаться с тем, чтобы закруглять слова в письме, которое я пишу моей матери».

Блок в этих письмах — пример того, как великие стилистические явления возникают если не из пренебрежения к стилистическим проблемам, то по крайней мере из непринимания во внимание.

Это не только закон стиля, но шире. Литература очень удавалась тогда, когда ее делали люди, которым казалось, что они делают еще и что-то другое. Державин воспевал, Карамзин организовывал русский язык, Достоевский философствовал, Толстой рассуждал по военным вопросам, Некрасов и Салтыков обличали… Для того чтобы попадать в цель, литература должна метить дальше цели. Так Наполеон Толстого и Инквизитор Достоевского попали в два величайших русских романа, то есть попали в цель. Если стрелять только в цель (как учили футуристы) — литература огромной мишенью встает между писателем и миром.

Практические результаты уверенности писателя в том, что он делает именно литературу, и притом со знанием дела, — сомнительны. В стихах это даже люди, которые совершенно закономерно дошли до того, что могут писать только о том, как они пишут стихи.

По ассоциации: Брик рассказывал о своей работе по руководству литкружком рабкоров. Там были способные люди,

но, к своему ужасу, он обнаружил, что почти все предоставляемые ему *рассказы* написаны на темы «из быта рабкоров».

Брик долго объяснял, что смысл рабкорства как раз заключается в освещении быта тех социальных слоев, к которым рабкоры имеют доступ, и т. д. …Ничто не помогало: рабкорам интересно писать из своей жизни.

Славянофилы были запретным течением русской культуры; и они перекликались друг с другом от Шишкова до Розанова. Их всегда одолевал карамзинизм и европеизм — проникнутый преданностью России европеизм Карамзина, Пушкина, Белинского, Тургенева.

Славянофилы отличались от прочих тем, что всегда настаивали на невозможном (этой традиции положила начало абсурдная и трогательная деятельность Шишкова). Вечная оппозиция победоносному русскому европеизму… оппозиция умная, с оттенком безответственности и экспериментаторства.

Всяческий карамзинизм и русский европеизм нес ответственность за множество человеческих душ и умов; следовательно, он принужден был оперировать вещами выполнимыми, разумными и идущими в ногу с естественным культурным развитием страны. У славянофилов же был пафос вечного монолога, то есть пафос, который может быть искренним для актера, но остается фиктивным для зрителя. Они всегда говорили с Россией; и никто в России — ни правительство, ни народ, ни общество — их не слушал, по крайней мере не слушал серьезно. Монолог отчасти бредовая форма; у славянофилов было необыкновенно много визионерства политического, религиозного и литературного.

Славянофильство было запасом русской культуры, к которому прибегали каждый раз, как оскудевали победители. Брал оттуда Толстой, брал Герцен, брали символисты. Запрещенные к практическому употреблению, эти люди могли культивировать такую роскошь мысли, такую остроту вкуса и восприятия, которая оказалась бы просто недопустимой в руках победоносного направления: власть имущие (духовную власть) не могут расточать силу на тонкости — это одно; другое — власть имущие не должны соблазнять публику.

Именно славянофильская критика, при всей идеологичности, позволяла себе роскошь интересоваться самой литературной вещью, не только тем, что она отражает (пример — удивительная книга Леонтьева о Толстом).

Мы и метры… сейчас известно, что существуем «мы» и

существуют метры и что эти явления противопоставлены. В частности, метры нас презирают. У них была привычка к легким победам над учителями.

Был момент, когда они выжидали: не окажемся ли мы сразу умнее их, — мы не оказались умнее их.

Теперь они презирают нас за то, что мы не успели их проглотить, — и в особенности за то, что мы не испытываем потребности их проглотить. Они усматривают в этом недостаток темперамента.

В. М. Жирмунский не стал читать «Кюхлю» из опасения, что он не сможет отнестись достаточно объективно. Пускай это натянуто; человек всегда лучше в натянутом виде, чем в распущенном, что, впрочем, не свидетельствует в пользу природы человека.

Веселые времена обнажения приема прошли (оставив нам настоящего писателя — Шкловского). Сейчас такое время, когда прием нужно прятать как можно дальше.

Сейчас фраза является элементом прозы в том смысле, в каком строка является элементом стиха. Прозу стали писать строчками. Строчки могут порознь оцениваться. Это дело рук XX века. Раньше элементом, единицей прозаической речи оказывался какой-то больший и, главное, качественно иной комплекс. Даже Гоголь не мог расколоться на фразы, между прочим потому, что он любил периоды.

Шкловский дал современной русской литературе короткую, как бы не русскую фразу. Она скорее французская, хотя Шкловский французского языка не знает. Новая фраза — выход из предельно ощутимой, гениальной, но уже дегенерировавшей в чужих руках фразы Андрея Белого.

Из двух видов обывательской лжи, лжи хвастливой и лжи прибедняющейся, предпочитаю первую. Человек, который, получая 80 р. жалованья, уверяет, что получает 250, — может быть мил; тот же, кто поступает обратным образом, — всегда противен.

Хвастовство и фанфаронство имеют некоторую этическую опору в человеческом стремлении к размаху; напротив того, прибедняющиеся осуществляют низкие человеческие инстинкты.

---

Шкловский любит рассказывать о том, как он, работая в какой-то редакции в Берлине, выучил всех машинисток писать рассказы и фельетоны, и как от этого редакция немедленно распалась.

«Борис Михайлович — маркиз», — сказал мне Шкловский.

Из разговоров В.:
«Почему ты не выходишь замуж? — кричал на меня К. — Выходи замуж за Колю Н.». — «Оставь, пожалуйста! Ну что он обо мне подумает, если я за него выйду замуж».

В. М. говорит поучительно шестилетнему Леше: «Вот ты ешь руками, и за это тебя отправят в зоологический сад». — «Лучше в детский сад, — говорит Леша, — в зоологическом никто не ест руками».

Я с удивлением думаю о том, почему мне часто бывает так скучно разговаривать с N. N.. Недавно я догадалась: мы с ним вовсе не умеем разговаривать, хотя говорим много, потому что молчать друг при друге тоже не умеем.
Мы друг другу рассказываем. Я, например, об Институте истории искусств, он, например, о детстве… В конце каждый остается при своем рассказе, который он временно пустил в оборот. Тема разговора не возникает. Тема разговора, в отличие от темы рассказа, собственно не существует в природе и не имеет независимого бытия; она ничего не знает о своем ближайшем будущем.

В свое время быть стриженой означало быть синим чулком, эмансипированной женщиной. Мода переосмыслила бытовую символику. Бывший признак равнодушия к наружности, ее упрощения оказался в ряду признаков искусственного выделения.
С точки зрения здравого смысла было ясно, что всякие комбинации из длинных волос искусственны (следовательно, выдают заботу о наружности) по сравнению с возможностью просто остричь волосы.
Сейчас с точки зрения здравого смысла ясно, что искусственное подстригание волос выдает заботу о наружности, если сопоставить его с возможностью предоставить волосам расти так, как они растут. Лишний довод в пользу того, что здравый смысл явление растяжимое.

Человеческое сознание консервативно. Если воображение

часто оперирует несуществующими вещами, то память подсовывает вещи, переставшие существовать. Мы видим звезды, погасшие несчетное количество лет назад. Мы напоминаем вдову, которая ежевечерне набивает трубку и согревает ночные туфли покойного мужа. Если ты не хочешь носить при себе покойницкую всех вчерашних и позавчерашних дней, то учись узнавать сигналы времени. Жизнь, конечно, непрерывный процесс, но человек добыл ощущение ритма тогда, когда научился разлагать процесс непрерывного звучания или движения на условные отрезки, периоды.

Время выставляет безошибочные знаки конца — безошибочные, как тление мертвого тела. И сознание (то есть тот строй, тот состав сознания, который присущ человеку на данном отрезке жизни) должно покорно умирать по знаку.

Для того чтобы человек был жив, его сознание должно многократно умирать и возрождаться, уподобляясь Фениксу или «процессу производства, возобновленному на новых основах»… Иначе получаются плачевные вещи: моложавые старики; матери, ревнующие к дочерям; учителя, завидующие ученикам…

Хорошо уметь кончать периоды жизни по звонку времени.

## 1928

Наш групповой роман с метрами подходит к концу.

Есть люди, которые бытуют в нашей жизни всерьез, и есть бытующие нарочно. Значительная часть отношений навязывается или сочиняется — для развлечения, для удобства, для упражнения в чувствах и мыслях, для заполнения пробелов. Для меня метры были необыкновенно серьезным случаем жизни. Многие люди модифицируют нас понемногу, так что ощутительные изменения получаются из путаных комбинаций и сложения результатов. Они же, метры, как таковые, в чистом виде, изменили жизнь. Это я могу сказать еще только об одном человеке. Если бы не было Эйхенбаума и Тынянова, жизнь была бы другой, то есть я была бы другой, с другими способами и возможностями мыслить, чувствовать, работать, относиться к людям, видеть вещи. Отношения с метрами всегда были внешними. Отношение к метрам, хотя бы как к знакам жизненных значений, было до конца настоящим.

Пафос, который мы затрачиваем на нарочных людей, в конце концов наказывается самоосмеянием. Мы стыдимся и говорим: «Ах, бог мой! Это было почти что в детстве».

Я знаю, что в подлинном отношении к человеку есть нечто, что существеннее и долговечнее несведенных счетов,

раздраженного самолюбия, горечи и даже горя, — это благодарность за пережитый пафос, и особенно за то, что никогда не придется его стыдиться.

Речь Шкловского эстетически значима, притом не кусками, а вся сплошь. Это специфическая система, функционирующая уже независимо от его воли, — то есть своего рода диалект. Вот почему Шкловский не может заговорить непохоже; у него нет других слов. Он не может открыть люк в своем диалекте, через который собеседник увидал бы другой речевой пласт, домашний, хранимый про себя. Поэтому он нисколько не похож на салонного разговорщика или на эстрадного речедержателя, а более всего похож на диалектический экспонат. Есть множество самых нейтральных слов и словосочетаний, которые никак не могли бы быть им произнесены. Он, например, не может просто сказать: «Я совсем забыл, что мне надо зайти к Всеволоду Иванову».

Служащий работает в служебные часы. Ученый работает после работы. Он может работать (обдумывать) и за обедом, и на прогулке; но он может выделять для себя и часы полного отдыха, совершенной умственной пустоты, которая наступает внезапно и непостижимо, как сон. Только писатель (я разумею — настоящий писатель) не имеет возможности отдыхать: он должен безостановочно переживать жизнь. Для литературного быта 20-х годов все более характерным становится совмещение служащего, ученого и писателя в одном лице, — он же и киноспец. По-видимому, этот человек должен с утра быть на службе, днем писать, вечером ходить в кино, ночью спать, а думать в остальное время.

Счастливые люди не вызывают во мне зависти, даже если они очень счастливы, ни раздражения, даже если они очень довольны: вообще никогда не вызывают никаких дурных чувств. Способность быть счастливым — такая же психологическая конкретность, как ум, как мужество или доброта. Для меня важнее поговорить час со счастливым человеком, чем с умным. Я привыкла к умным людям; я знаю по опыту, что не так много нового и интересного может рассказать один умный человек другому (особенно, если они одной специальности). Зато счастливый человек, даже если он, что мало вероятно, филолог, — всегда откровение, овеществленное разрешение основной жизненной задачи.

Нелепо было бы утверждать, что следует избегать несчастных людей, но несомненно следует избегать людей принципиально несчастных. Есть люди принципиально несчастные, полагающие,

что быть несчастным достойнее, чем быть счастливым. Это староинтеллигентская разновидность, которую революция отчасти повывела из обихода. Есть люди принципиально несчастные от зависти, от жадности и от полусуеверной-полурасчетливой уверенности в том, что следует скрывать свое благополучие. Его честно скрывают, скрывают от самих себя. Это обывательская разновидность. Это домашние хозяйки, которые говорят: «Везет же другим», — которые честно уверены в том, что чужие мужья и чужие дети «удивительно умеют устраиваться».

Есть люди принципиально несчастные оттого, что они дошли до той степени душевной усталости или неряшливости, когда каждое усилие воли становится почти физической болью. Ужасно, что быть несчастным легко; счастье же, как все прекрасное, дается с трудом. За исключением редких избранных — все смертные должны добывать, изготовлять ценности прежде, чем ими наслаждаться.

Для принципиально несчастных людей несчастие служит верной мотивировкой их жестокости по отношению к людям и их удивительной нежности по отношению к себе.

«Моя жизнь испорчена, а тут еще этот со своими претензиями», — это одна формула.

Другая формула:

— Я не дам привить себе оспу.

— Почему же?

— Потому что эти ланцеты царапают. Даже до крови.

— А если вы схватите оспу?

— Так от оспы ведь чаще всего умирают. Чего же лучше.

«Я хожу только на свои доклады, — говорит Виноградов, — и то не всегда».

К проблеме городского фольклора.

Б<ухштаб> в поезде встретился с парнишкой, распевавшим блатные песни, в том числе одну, где имелся куплет:

В одну квартиру он ворвался,
На комиссара там нарвался,
С печальным шумом обнажался
И на Горохову попал.

Затаив любопытство, Б. небрежно заметил, что ему не совсем понятно — к чему бы это тут «с печальным шумом обнажался», и что оно, собственно, означает?

— Чего ж непонятного? — удивился парнишка. — Ну,

обнажался… забрали у него, значит, револьвер там… пальто… Обнажили. Ну и значит, грустно ему при этом было. Очень даже понятно.

В 20-м, кажется, году Блок присутствовал в Институте на каком-то заседании опоязовского толка. Говорили о стихах. Блок, по-видимому, чувствовал, что от него ждут отзыва, и поэтому сказал: «Все, что вы здесь говорили, — интересно и, вероятно, правильно, но я думаю, что поэту вредно об этом знать».

Этот вкус к неведению был у Блока совершенно личный, не менее чуждый символистической культуре, чем акмеистической и футуристической. Должно быть, этот вкус проистекал из каких-то тайных свойств психологической структуры Блока.

У Бориса Михайловича в работах много цитат. Помню его лекции 25—26-го года. Это было уже не цитирование, а откровенное чтение вслух избранных мест из Даля и Лескова. Никому другому такая метода не сошла бы с рук, — надо было иметь лекторское обаяние Эйхенбаума.

Кто-то говорил, что Б. М. на своих докладах цитирует «художественно». Совсем не в том дело: он цитирует — «исследовательски». Интонацией он расшифровывает и комментирует материал. Свой слушатель, слушатель посвященный, не нуждается в точках над i. Он удовлетворен улыбкой Бориса Михайловича и его голосом, безошибочно сигнализирующим сложнейшие историко-литературные ряды, в которые надлежит включить ту или иную цитату. Это один из видов знаменитого эйхенбаумовского остроумия. В печать цитаты поступают без улыбки.

Шершеневич рассказывал Типоту историю (якобы правдивую, но я не верю) одного издания. В 20-м, кажется, году, когда на севере не было бумаги, имажинисты отправили в Одессу для печатания альманах под названием «Бабочки в колодце». Альманах отпечатали, причем на обложках присланных экземпляров стояло: «Рыбочки в колодце».

На панический запрос имажинистов одесское издательство ответило, что слово «бабочки» оно рассматривало как явную описку, ввиду того что бабочки не могут находиться в колодце, и слово «бабочки» оно заменило словом «рыбочки» как наиболее естественным и даже напрашивающимся в данном контексте.

Человек рассказывает о том, как в 20-м году у него умер пятилетний сын от дизентерии; как он ушел из больницы,

уверенный в том, что ребенку лучше, вернулся на другой день и застал агонию. «Так он при мне и умер», — говорит отец, и эту последнюю фразу вдруг произносит улыбаясь, как бы над странным случаем. Я подумала о нелепости этой улыбки и о ее логичности. Вероятно, улыбка была единственным способом произнести такую страшную фразу. Может быть, она была актом вежливости по отношению к собеседнику.

«Ах, вы написали примечания? — сказал мне К. И. Чуковский. — Это значит: кто с кем и кто кого?»

Шкловский рассказал мне, что Ахматова говорила об одном литературоведе: «Он приходил ко мне и объяснял, какая разница между моими стихами и стихами Блока. Блока нельзя рассказать, а вот ваши стихи я могу передать своими словами так, что выйдет почти не хуже».

В конце концов человек делает счастливое открытие: душевное неблагополучие, даже хандра — не основание для того, чтобы уклоняться от дела. Вообще для нарушения регулярного образа жизни. Человек, для которого неблагополучие является пафосом, основным содержанием сознания, а все остальное более или менее удачной попыткой отвлечься, сменяется тогда человеком, для которого неблагополучие является только помехой, более или менее серьезной.

Гриша <Гуковский> говорит, что у него артикуляционное мышление, то есть лучшие мысли возникают у него в процессе говорения (особенного, лекторского).

Только что Нюша (домработница моей хозяйки) сообщила мне, что прачка обменяла мое мохнатое полотенце на чужое, немохнатое, а теперь принесла обратно.

Я: — Вот, очень хорошо. А то я уж сердилась, что никак не могу найти это полотенце.

Нюша (почти пренебрежительно): — Сердились! Разве вы умеете сердиться? У вас сердца нет.

Я не нашлась, что возразить на такую этимологию.

---

Белыми ночами прохожие выглядят неестественно. Днем у идущего по улице человека есть назначение; настоящей ночью у

человека на улице есть особая свобода, облегченность движений, которая дается сознанием собственной невидимости, отдыхом от чужого взгляда. Белой ночью люди нецелесообразны и в то же время несвободны.

В литературе меня не занимают раритеты. В условном мире чудаков, гениев, преступников, святых, безумцев и поэтов (литературных) я не чувствую упорства материала, силы сопротивления, необходимейшего условия эстетической радости. Святые же, уроды и гении быстро и беспрекословно принимают любую позу.

В человеке и в судьбе человека подлежит анализу не неповторимо личное, потому что оно есть последний и нашими способами неразложимый предел психического механизма; и не типическое, потому что типизация подавляет материал, но в первую очередь — все психофизиологически и исторически закономерное. Фатум человека, как точка пересечения всеобщих тенденций.

У человека бывает по нескольку фатумов: интеллектуальный, эмоциональный, профессиональный и проч.; они не у всех увязаны между собой. Не будучи исторической личностью, можно быть историческим человеком. Не бегая вперегонки с историей, можно ощущать давление времени в своей крови.

Оттенок чудачества и путаницы в человеческом материале литературы не удовлетворяет меня. Главное для писателя — отразить пафос закономерной человеческой судьбы. Что касается дневников, записных книжек, то автор их принужден идти по пятам за собственной жизнью, которая не обязалась быть поучительной.

Мне несколько раз приходилось расспрашивать о Ларисе Рейснер людей, знавших или видавших ее. Отзывы были всегда не по существу дела:

— Какая она была красивая!

— Лариса Рейснер! Она чудесно каталась на коньках.

— Лариса Михайловна прекрасно одевалась.

Боря <Бухштаб> рассказывал мне, что вскоре после ее смерти он подслушал на улице разговор: «Лариса Рейснер умерла… Красивая была баба…»

А в воспоминаниях о ней рассказывали о том, как она ходила в разведку плечом к плечу с солдатами.

И никто не утверждал: Лариса Рейснер хорошо писала очерки, — хотя она писала их хорошо. По-видимому, она была настоящим человеком; настоящих людей не оценивают по

основному признаку, потому что у них основной признак сам собой подразумевается.

— Я знаю, куда ты метишь, — сказал Боря, — ты хочешь, чтобы о тебе когда-нибудь сказали: она удивительно хорошо плавала.

Откровенность и скрытность не обязательно исключают друг друга. Они могут располагаться в разных слоях психики. N., например, крайне откровенно рассказывала о своих самых личных делах, если считала эти рассказы смешными или интересными. Мало кто знал о ее жестокой, на нее одну всей тяжестью ложившейся скрытности.

Для нее существовал круг вещей, которые человек должен крепко держать при себе. Таким частным делом каждого человека представлялись ей всякая беда, горе, болезнь. Она стыдилась страдания и скрывала его с выдержкой, иногда самоотверженной.

Не знаю, было ли это благовоспитанностью, целомудрием или бережным отношением эгоистичного человека к чужому эгоизму (к чему занимать людей незанимательными для них вещами).

Из разговоров с Борей:

— Смолоду мы унаследовали от футуристов бессмысленное восприятие стихов. Смысл для нас результативен; он с легкостью рождается из любого сочетания любых слов; отсутствие же смысла, то есть семантический перерыв, простое непонимание слова проходит незамеченным.

Занятия Пастернаком поставили Борю перед необходимостью покончить с этой эстетической недостаточностью. Мне же еще как-то жалко — хоть и нужно — с ней расстаться.

---

Шкловский — как человек с богемным прошлым — гордится своими детьми и своими книжными полками. На четвертом десятке Шкловский стал отцом, историком литературы и библиоманом. N. давно рассказывала мне о том, как он в гостях вскакивал после чая и принимался мыть чашки, потому что не выносит вида грязной посуды. Он сердится, когда чужие люди приходят отнимать у него время.

Есть люди, которые полагают, что Шкловский забавен, и обижаются, когда он на вечерах и заседаниях недостаточно забавно их забавляет. Между тем он ничуть не забавен. Это

человек с тяжелым нравом, печальный и вспыльчивый.

— Он удивительно человечный человек, — говорила N., — он способен серьезно интересоваться, ем ли я в достаточном количестве масло, хотя он никогда меня не любил.

В Москве бывали вечера, когда я шла к В. Б. согреваться разговорами о Вяземском и Матвее Комарове. Я думала о Матвее Комарове и о том, как соблазнительна деликатность человека, известного буйством всей России. Это бывало соблазнительно до поползновений попросить у него денег взаймы или сказать ему о том, что холодно жить. Впрочем, эти поползновения никогда не осуществлялись.

Сплетня развертывается на силлогизмах с недостаточными посылками; она учитывает факты, но не учитывает ни предназначенности, ни обусловленности фактов. Сплетня в своем роде логична, но логика ее призрачна, потому что она прямо перебрасывается от факта к факту, вытягивая их в единый ряд, тогда как судьбы разорваны, а куски собраны и прибиты не тупым гвоздем обиходного силлогизма, но невидимой точкой пересечения рядов.

Существуют разные соотношения между человеком и тенью, которая на него падает. Хуже всего приходится людям, похожим на то, что о них говорят. Свойства и проявления этих людей живут своими основными признаками. Они сморкаются с целью высморкаться, а не для того, чтобы скрыть слезу; кашляют вследствие простуды, а не от смущения; они говорят грубости, будучи невоспитанны, — вовсе не потому, что невысказанные чувства переполняют их сердца.

Сплетники не ленивы и любопытны. Но они легковерны и лишены воображения, поэтому упускают как раз самые плачевные тайны своих жертв. Тошнотворное замирание человеческой души перед сплетней — это страх упрощенной фантазии и неправильного силлогизма, который удивительно до чего похож на правильный.

## *Весна*

Ни одно время года не знает такого нелепого смешения одежд, как весна; особенно северная городская весна. Люди в шубах, в пальто, в костюмах и в майках ходят рядом, совершенно не удивляясь друг другу.

Человек сбрасывает калоши с наслаждением, потому что после долгих месяцев к нему возвращается его собственная

походка. Калоши — нивелирующий фактор. Без калош легче дышится, потому что легко ходится, а дыхание связано с темпом ходьбы.

С нарастанием весеннего тепла постепенно изменяется психология вставания с постели. Летом, когда человеку для того, чтобы вступить в утро, достаточно отбросить простыню, спустить босые ноги на тепловатое дерево пола и надеть на себя какую-нибудь вещь, ничем существенным не отличающуюся от ночной сорочки, — летом стирается ощущение перехода.

Зимой, как бы натоплено ни было в комнате и даже как бы ни было поздно, — вставание с постели есть всегда сознательный акт, осуществляемый ценой некоторого нравственного усилия. Это есть заведомое, полагающее границу, вступление в новую (хотя и бесконечно повторяемую) фазу существования.

Н. говорила о М-ых: эти женщины выбалтывали на всех углах самые неприглядные тайны своей семьи, но никому никогда не удалось узнать адрес их портнихи.

Разговор со Шкловским по телефону:

— Скажите, пожалуйста, Виктор Борисович, почему Маяковский ушел из Лефа?

— Чтоб не сидеть со мной в одной комнате.

— А вы остались в Лефе?

— Разумеется, остался.

— А кто еще остался?

— А больше никого.

Я думаю, что вменять человеку в нравственную обязанность страдание — безнравственно. От человека можно требовать выполнения своих обязательств, соблюдения приличий, уважения к правам другого человека. Но нельзя кощунственно вступать в ту тайную область, где каждый расплачивается своей жизнеспособностью и своим рассудком.

Ощущения не могут быть этически обязательными; этически обязательными могут быть только поступки, потому что только поступки могут быть измерены и согласованы с породившими их причинами. Быть может, Наполеон после Ватерлоо должен был застрелиться, но обязан ли он был страдать? Какой моралист укажет целесообразную границу человеческой тоске, границу выносимого, за которой тоска уже уничтожает человека. Какой моралист скажет: страдайте от сих пор до сих пор и постарайтесь вовремя остановиться.

Есть страдания, вносящие разнообразие в душевную жизнь и

вообще интересные. Есть страдания, психологический интерес которых ускользает от самонаблюдения, потому что они не оставляют в человеке ничего, кроме тупой и отчаянной воли к их немедленному прекращению. Благо людям, уверенным в том, что они успеют остановиться у границы благоразумной тоски.

Мы подаем нищему две копейки и говорим при этом: кажется, он вовсе не слепой, он симулирует. Человек хочет, чтобы за его деньги нищий был действительно слеп и безрук. Между тем стоять на улице и просить подаяние, симулируя слепоту, приятнее, чем быть на самом деле слепым, но ненамного. Это тоже стоит двух копеек и нашей никчемной жалости.

Впервые подъезжая к деревне, я волновалась, как волновались русские и немецкие художники, подъезжая к Риму. Пафос приобщения к первоистокам.

Есть люди, которые бывают особенно мрачны и неприятны в обращении вовсе не тогда, когда они чувствуют себя несчастными. Напротив того, это случается в периоды удовлетворяющей, напряженной внутренней работы. Дело даже не в том, что тогда нет времени следить за собой и прикосновение извне раздражает; главное, что дурное настроение служит самозащитой против людей, которые всю жизнь мешали нам, вернее, мы ими мешали себе работать.

Это дурное настроение не маскировка, но подлинное переживание, только плавающее по поверхности глубинных психических состояний. Именно под защитной коркой мрачности можно достигнуть своего лучшего душевного состояния, удовлетворенного и деятельного. У невеселых людей хорошее настроение тоже плавает по поверхности, но тогда под ним беспокоящая пустота. Для невеселых по природе людей хорошее настроение бесполезно. Оно не удовлетворяет и в то же время мешает работе.

Недавно к Жирмунскому на лекцию по введению в поэтику явился пьяный студент. Сначала пошатался стоя, потом сел и долго сидел смирно. Жирмунский заговорил о безглагольных предложениях.

— Довольно с нас безглагольных предложений! — закричал пьяный с необыкновенным жаром. Тут его вывели.

В настоящее время неправильно разделять наших историков литературы на тех, которые пользуются социологическими методами, и тех, которые ими не пользуются. Нас следует

разделять на тех, чьи социологические методы немедленно вознаграждаются (местами, деньгами, хвалами), и тех, чьи социологические методы не вознаграждаются.

Моя амбиция между прочим в том, чтобы принадлежать ко второй разновидности.

Володя Б. рассказывал об ужасе, который он испытал, когда к нему на улице подошла пожилая женщина и вежливо спросила: «Скажите, пожалуйста, где здесь останавливается букашка?» (Он не знал, что в Москве называют «букашкой» трамвай под литерой Б.)

Чего стоит идеология (в том числе религия), если она не помогает и не мешает человеку жить (то есть не требует от него жертв и не придает ему стойкость).

---

Юрий Николаевич <Тынянов> говорил как-то о том, что люди чересчур много и необоснованно улыбаются и что это принижает человека. В самом деле, назначение улыбки в нашем обиходе многообразно и неясно. Она не всегда является знаком веселости, или насмешки, или доброжелательства. Часто признаком смущения, слабости, притворства и равнодушия. Обесцененная улыбка механически сопровождает речевой процесс, как некое добавление к артикуляции. Попросту как легкий способ иметь выражение лица. Между тем улыбка может быть многозначительной и прекрасной.

После смерти Н. В. Икс говорила: «Я поймала себя на том, что два дня не улыбалась. Это поразило меня. У меня рот так устроен, что не улыбаться почти невозможно».

В течение ближайших дней после этой смерти мне несколько раз пришлось слышать о том, что Икс глупа. И это от людей, которым прежде не пришло бы в голову взвешивать ее интеллект. Думаю, что это неверно: дело вовсе не в глупости (Икс скорее умна), а в том, что она не имела дела со страданием, ни со своим, ни с чужим, и не знала, как на это явление реагируют. Она совершенно честна, потому что не понимает тех человеческих и человечных мотивов, по которым порой люди лгут и скрывают истину.

Вот человек, чьи добродетели вознаграждаются на земле. Это сочетание честности с житейским благополучием кажется

противоестественным, вероятно, только людям русской культуры. Он же устроен на европейский лад.

— Не думаете ли вы, что Шкловский в самом деле по формальному методу написал «Zoo» — самую нежную книгу наших дней?

Терпеть не могу кому-нибудь сниться. Неправомерно, что другой человек имеет власть видеть вас беспомощного, в любом виде, а потом еще вправе морщиться и говорить: «Что за ерунда!» — между тем как он сам виноват в своих снах.

---

Отношения, которые не были прекращены своевременно и поэтому остались навсегда, так сказать запущенные отношения…

Анна Андреевна ездила в Москву, где между прочим ей предложили принять участие в руководстве работой Ленинградского отделения ВОКСа. Шилейко сказал:

— Ну тогда в Москве будет ВОКС populi, а в Ленинграде — Вокс Dei[4].

В Советской России у людей, а может быть, только у интеллигентов, нет бюджета. Это обстоятельство крайне важное и почти в той же степени определяющее наш бытовой уклад, в какой его определяет то обстоятельство, что у нас нет денег. Не каждый из нас может позволить себе приобрести за 2 р. 50 коп. вязаные перчатки, никто из нас не покупает масло у частника. Но каждый может, незаметным для себя образом, пойти в ресторацию и поужинать там на 3 рубля, на 5 и на 10. Революция внушила нам глубокое недоверие и неискоренимое равнодушие к накоплению; она уничтожила в нас буржуазный интерес к деньгам, как таковым, к деньгам на черный день и на всякий случай; к деньгам, хранящимся в банке и приносящим проценты, к деньгам, хранящимся в чулке и приносящим спокойствие.

Наплевательство делает наш бюджет скудным и легким по сравнению с бытом европейца среднего достатка. В сущности это не столько легкость, сколько иллюзия легкости. Но мы дорожим этой иллюзией, — как бедные дети, не избалованные игрушками.

Человек не может начать писать, не накопив известного запаса горечи. Вовсе не обязательно указывать ее источники,

обязательно приобрести (потому что выдумать ее нельзя) интонацию подразумеваемой печали.

Икс принадлежит к числу тех людей, которые, когда идут под руку с женщиной, то повисают на ней всей своей тяжестью, — разумеется, сами того не замечая. Женщины, выходящие замуж за подобных людей, поступают неосмотрительно.

Нынешним летом я как-то отправилась в своем каюке с визитом к тете Хване. Разумеется, меня, как всегда, угощали. Как всегда, протестовать против водки и грязноватом стакане и нарезанных со свежим луком помидоров было так же невозможно, как протестовать против поцелуев тети Хвани или уверений Павла в том, что я его лучший друг. Спившийся фельдшер, он стал рыбаком, женившись на тете Хване. У него хранился затрепанный том Достоевского («Униженные и оскорбленные»), который он усердно читал.

Когда я вышла из хаты, положение вещей предстало передо мной в самом неблагоприятном свете. Усилился противный ветер, и море явно не предвещало ничего доброго; кроме того, я выпила, и это в самую жару, в час дня на солнцепеке. Вот что лежало на одной чашке весов; на другой чашке лежало то обстоятельство, что на мне не было ничего, кроме купального халата и купального костюма, следовательно, сухие пути возвращения на дачу были отрезаны. Кроме того, Павел спокойно заметил выпивавшему вместе с нами парнишке, что кого другого он, пожалуй, не выпустил бы в море по такой погоде, но Лидию Яковлевну!..

— О, Лидия Яковлевна, — сказала тетя Хваня, — да вы ее не знаете, да против нее тут на всем берегу ни один любитель ничего не стоит. Вот сейчас увидите!

Морское самолюбие едва ли не самое сильное и самое глупое из всех моих самолюбий. Оно неудержимо воспламеняется от самой элементарной лести и от самых сухих похвал. Я села в каюк, волнуемая желанием показать парнишке из дома отдыха, как Лидия Яковлевна отчаливает в дурную погоду. Тетя Хваня помахала ручкой, Павел Иванович, стоя на берегу, раскланивался с той безукоризненной вежливостью, которая отличала этого насмерть спившегося и полусгнившего человека.

Кстати, я уверена в том, что оба они действительно хорошо ко мне относились, что, будь они случайно трезвы в это утро, они все-таки не отпустили бы меня в море.

Мне твердо запомнилось это путешествие и то расчленение моего существа на плохо согласованные друг с другом части,

которое я тогда испытала с особенной силой. Прежде всего имелось соображение о том, что если волна ударит сбоку и я не успею затабанить, то меня непременно опрокинет и я тогда непременно утону, потому что не смогу плавать в таком состоянии. Это соображение не оставляло меня, но оно существовало само по себе и никак не могло перейти ни в какое чувство, менее всего в чувство страха. Другая же часть сознания исправно отвечала за действия, необходимые для того, чтобы все-таки не утонуть.

У человека, работающего переутомленной головой, то же ощущение, что у гуляющего в тесных ботинках. Когда обувь жмет, ходьба перестает быть непрерывным, бессознательным действием и каждый шаг входит в светлое поле сознания. При переутомлении мы ощущаем физическое протекание силлогизма.

На книжном базаре, когда торговали писатели, над каждым киоском была вывешена табличка: здесь продает книги такой-то.

В. подслушала разговор двух барышень:

— Давай, пойдем посмотрим на Эйхенбаума.

— Не стоит, он, кажется, не очень знаменитый.

Деревня Домкино, куда мы ездили из Задубья покупать рыбу, принадлежала когда-то астроному Глазенапу. Водившая нас по деревне крестьянка сказала Виктору Максимовичу, что бывший барин теперь в Ленинграде на хорошей работе — «он там звездосчетом».

Как-то вечером на пляже мы следили за пышной женщиной, купавшейся и очень настойчиво флиртовавшей. Между прочим, выходя из воды, она опиралась на плечо партнера и говорила спокойно: «Ах, я вся мокрая!»

___

Когда человек, пропустив последний трамвай, возвращается зимней ночью в санях, утомленный и недовольный прожитым днем, его сознание начинает заплетаться и путаться, хотя человек трезв. Тогда из неопределенности окружающих впечатлений отделяется и предстает глазам седока огромный зад и широко раскинувшаяся спина кучера. Совершенно независимо от натуральной величины извозчика, он, в этом своем облике, всегда кажется подавляюще большим и намного превышающим размеры седока и саней вместе взятых, он всегда кажется взрослым человеком, неловко присевшим на игрушечную мебель. Близко приставленная к нашим глазам, как предмет, на который хотят обратить внимание близорукого, большая спина в темном армяке — неизменна; все же остальное, как-то: дома, фонари, деревья, прохожие, встречные обгоняемые и обгоняющие извозчики, луна — движется мимо. Спина извозчика таинственна; она закрывает лошадь, везущую нас, и глубину улицы, по которой мы проезжаем; тем самым она закрывает перспективу нашего движения и его причину.

Вместо увозящей нас лошади мы видим на светлых местах только сопровождающую нас плоскую лошадиную тень, похожую не столько на лошадь, сколько на рыбу или на коня из Заболоцкого:

А бедный конь руками машет,
То вытянется как налим,
То восемь ног опять сверкают
В его блестящем животе.

Это тень, опрокинутая на снег, то усердно бежит вровень с санями, то вдруг как-то вкось смещается, как бы порываясь мордой и передними ногами достичь свой бегущий оригинал; то вдруг, при повороте, соскальзывает под полозья с тем, чтобы мигом развернуться с другой стороны саней.

## 1929

Секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит, состоит в том, что Ахматова обладает системой жестов. То есть ее

жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя. Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты.

Жестикуляция в широком смысле слова, то есть все внешнее, «физическое» поведение человека бывало конструктивно только в эпохи устойчивых бытовых форм. Уже буржуазная культура с ее нивелирующими тенденциями враждебна этой конструкции. В период дворянской культуры, даже не столь давней (хотя бы начало XIX века), — сложная соотнесенность условий определяла привычное поведение человека. Самая привычность могла образоваться только на основе устойчивых и ритуальных форм. Была ритуальность этикета, церемониалов и приличий; ритуальность религиознообрядовая, не только в церкви, но и дома; ритуальность чинопочитания и социальной и семейной иерархии. Кроме того, каждая социальная группа имела свое принудительное распределение времени. И это день ото дня повторявшееся распределение регулировалось не схемой обязанностей, но ритмическим импульсом жизни. В первой главе «Евгения Онегина» (впрочем, мои учителя учили меня, что литература является дефектным свидетельством о жизни) беспутная жизнь светского человека изображается как жизнь необыкновенно размеренная. Онегин каждый день встает в одно и то же время, потому что всегда ложится на рассвете. Он ежедневно отправляется на прогулку, обедает в ресторане, каждый вечер начинает театром, а заканчивает на балу. Быт светского бездельника оказывается предопределенным, как быт крестьянина, связанный работой и церковной службой, временем дня и силой обычая.

У нас же сейчас крестьянский быт, как архаический, быть может, и является единственным изнутри предопределенным и необходимо привычным. Нас, городских людей, регулирует только служебное время. Человек без службы испытывает смущающую легкость от сознания, что он может поворачивать куски своей жизни в любую сторону, начиная от часа, когда он встает, и вплоть до часа, когда он отправляется в кино. Впрочем, он может ходить в кино на утренний сеанс, а учиться вечером; он может уйти из дому без завтрака и опоздать к обеду; он головокружительно свободен. И если у него не кружится голова, если он не задыхается в полете разорванных кусков времени, — это оттого, что устойчивость жизни заменена ему однообразием.

В старой, особенно дворянской, культуре внешнее поведение

человека, помимо привычки, определялось принципом социальной дифференциации. В основе бытового склада лежала глубокая уверенность в том, что люди разнокачественны не только и не столько индивидуально, сколько социально, и в том, что дифференциация может и должна выражаться формальными признаками. Сословная одежда, позволявшая еще в первых десятилетиях XIX века отличать дворянина от буржуа и разночинца, не была только бренным покровом и украшением тела, но неотменяемым признаком социального качества, — признаком, прояснявшим и мотивировавшим жесты, — потому что в формальных элементах жестикуляции полагалось выражать необходимость повелевать или повиноваться; чувство собственного достоинства или трепет услужливости.

Церковный ритуал, придворный этикет, военный устав, салонный кодекс хорошего тона — все эти структуры включали в себя и оперировали законченными и нормативными системами жестикуляции, исходившими из единой предпосылки о контактах неравного и о внешнем выражении неравенства.

В наше время, когда одежда главы правительства не должна отличаться от костюма любого служащего, выразительная жестикуляция запрещена по крайней мере на службе. Она пробивается тайком и бессистемно в чересчур заметном поклоне или чересчур нежной улыбке служебного подхалима. И это не потому, конечно, что стерлось различие между отдающими приказания и приказания выполняющими, но потому (и этому начало положил уже буржуазный строй), что власть и подчиненность признаются служебными состояниями человека, — между тем как во времена сословного мышления власть и подчиненность являлись органическими качествами человека, признаками той социальной породы, к которой он принадлежал. Вот почему образ внешнего поведения переходил за пределы своего необходимого применения и распространялся на весь обиход человека. Мы же знаем только профессиональную и, следовательно, условную упорядоченность жестов. Устав предписывает жесты военным, условия ремесла предписывают жесты официантам и парикмахерам, — но для нашего сознания это только признаки профессии, которые человек слагает с себя вместе с мундиром и прозодеждой.

В текущей жизни люди, незаметным для себя и, к счастью, незаметным для окружающих образом, производят множество мелких, необязательных и смутных движений. По временам мы встречаем бывших военных, для которых служба была больше, чем временным занятием; старых профессоров, всходивших на кафедру тогда, когда с кафедры можно было импонировать,

профессоров со звучным голосом, бородой и комплекцией (Сакулин), — и их прекрасные движения кажутся нам занимательными и нарочными.

Что касается Анны Андреевны, натолкнувшей меня на все эти соображения, то ее жесты, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы — необыкновенно системны и выразительны, но то именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет жизненной системы, в которую они были бы включены. Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями.

События, протекающие только в сознании, могут достигать такого предела, после которого эмпирическое переживание уже ничему не может научить человека.

Хорошо и счастливо работается только тогда, когда работа заливает сознание. Я люблю писать по ночам, потому что ночью теряется рассеивающее ощущение движения времени. Днем только в самых редких случаях удается достигнуть этой окаменелости, глубокого безразличия к окружающему. День весь расчленен; он измеряется и управляется дробными величинами часов; причем каждый час имеет свою характеристику, настойчиво поддерживающую дробление. Одни часы ассоциативно связаны с профессиональными обязанностями, другие — с обедом (это сильное членение, дающее особую окраску часам предобеденным и послеобеденным), иные — с отдыхом. Словом, день очень заземлен, его этапы предназначены регулировать суету и не способствуют высокому оцепенению. Дневные часы наказывают нас отвратительным ощущением бестолковости, если мы нарушаем и смешиваем их функции; два часа дня и четыре часа — очень разные вещи. Два часа и четыре часа ночи — почти одно и то же. Все ночные часы в равной мере предназначены для сна; сон же представляется нам скорее потребностью, чем обязанностью. Пересилив эту потребность, мы чувствуем себя вправе искажать лицо ночи по нашему усмотрению. Ночные часы лишены индивидуальных признаков. Время не продвигается толчками, но сливается в поток, протекание которого неощутимо.

Человек за письменным столом слышит, как пульсирует кровь в его висках, разгоряченных работой. Он смотрит непонимающими глазами на циферблат, по которому без определенной цели движется часовая стрелка, до самого утра не имеющая власти над человеком.

Недавно у меня провел вечер Заболоцкий. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовом, белокуром и почти неестественно чистеньком. У него гладкое, немного туповатое лицо, на котором обращают внимание только неожиданные круглые очки и светлые, несколько странные глаза; странные, вероятно, потому, что они почти лишены ресниц и почти лишены выражения.

— Николай Алексеевич, помните, вы много говорили мне прошлой весной, что нужно и можно стать богатым. Вы оставили эти мысли?

— Да, я совсем оставил эти мысли.

— Знаете, для нас деньги больше всего соблазнительны тем, что они — время, время для своей работы.

— Есть другой способ выиграть время…

Он замолчал.

— Я знаю, что вы хотели сказать: что нужно по возможности устранять из жизни все, для чего нужны деньги.

— Да, без этого нельзя.

А прошлой весной он напомнил мне Подростка из Достоевского фантастической идеей возможного богатства, — идеей, лишенной каких бы то ни было контактов с миром нашей практики.

Не столько объективный возраст, сколько крутые психологические сломы определяют переход от возраста к возрасту. Вероятно, молодость человека кончается главным образом от ощущения, что есть разные вещи, которые уже «нельзя делать» или «поздно начинать». Но юность человека кончается иным и гораздо более катастрофическим образом. Это происходит именно в тот момент (момент, который иногда может быть определен календарной датой), когда человеку перестает казаться, что жизнь еще начнется, когда он внезапно, и всегда с болью, обнаруживает, что она уже началась.

Юность — это время приготовлений к жизни, и притом приготовлений не по существу. Как известно, каждый хороший мальчик хочет быть кондуктором или клоуном в цирке, и только самые скучные из мальчиков, хотевших «быть доктором», действительно кончают медицинский факультет. Хотеть быть кондуктором для интеллигентского ребенка психологически обязательно, потому что юность — это пора, когда человек не знает своего будущего и не умеет подсчитывать время (это умение еще быстрее старит людей, чем умение считать деньги).

Юность имеет занятия, но несовместима с профессией. В

жизни человека есть период, когда он мыслит себя господином неисчерпаемого запаса времени. Не по избытку здоровья, воли, жизнерадостности, но по избытку через край бьющего времени безошибочнее всего узнается юность. У взрослого человека время исчезает бесследно и навсегда. Так начинается приобщение к профессии. Ко всем профессиональным болезням следовало бы прибавить болезнь профессиональности — горячку недостающего времени, изнурительное психическое состояние, похожее на азарт и на муки совести.

В восемнадцать лет я считала, что всякий человек должен прежде всего получить общую естественно-научную подготовку, поэтому я поступила на химическое отделение, где училась прескверно. Еще я предполагала основательно изучить философию, прежде чем перейти к непосредственно интересующим меня предметам. Это была юность; мне казалось, что я стою у входа в неисчерпаемые пространства времени. В двадцать лет мне показалось, что я не успею сдать зачеты, какие требовались для перехода с первого на второй курс Инст. ист. искусств, — с тех пор я часто и подолгу бездельничала, но у меня уже никогда не было времени. Вначале Институт выглядел ничем не лучше моих предыдущих начинаний; что это серьезно, я знала про себя, угадывая серьезность по боковым признакам, как при игре в теннис по звуку мяча узнаешь, правилен ли удар.

Это был конец юности. Он сопровождался рядом психологических изменений. Время стало цениться как товар, по отношению к которому спрос превышает предложение. Жизнь перестала быть приготовлением к жизни. Будущее перестало быть сумасшедшим светящимся туманом; оно прояснилось в формулу «профессиональный литератор» и стало предвидимым с точностью до рецензий в органах печати. А главное — выяснился будущий человек. В детстве и юности человек делится на две части: на конкретно существующего, временного человека и на настоящего человека, пока существующего только предположительно. Первый думает о втором, как дети думают об обещанном госте: жадно, фантастически, недоверчиво и противоречиво. Вначале обе части далеко отстоят друг от друга. Так далеко, что совершенно реальные маленькие мальчики, вглядываясь в своего потенциального двойника, не могут установить с точностью — кондуктор он или полководец. Постепенно оба человека сближаются; сближаются они постепенно, а сливаются мгновенно и болезненно.

Юность — время романтических взаимоотношений с собственным, еще не найденным двойником; у взрослых начинается развитие единого человека. Возраст определяется

рядом признаков: паспортом, самочувствием, внешним видом (часто дело не в постарении, а в комплекции, высокие и толстые люди рано становятся взрослыми), определяется общественным положением и сексуальным ростом человека.

Умственное движение человека — непрерывный замкнутый процесс, развивающийся протеканием, а не толчками. Между тем познание времени целиком основано на счете, а счет регистрирует условные отрезки с их условными границами. Счет весь на крутых толчках и катастрофических сломах сознания: новый год наступает 31 декабря ровно в 12 часов, человек стареет на год в день своего рождения.

Анна Андреевна заговорила со мной о Б., нашей студентке, которая приходила к ней читать плохие стихи, ссылаясь, между прочим, на то, что она моя и Гуковского ученица.

Я: — Б. говорила мне, что пишет стихи. Но она предупредила меня, что это, собственно, не стихи, а откровения женской души, и я, убоявшись, не настаивала.

А. А. (ледяным голосом): — Да, знаете, когда в стихах дело доходит до души, то хуже этого ничего не бывает.

Анна Андреевна говорит: «Я иногда с ужасом смотрю напечатанные черновики поэтов. Напрасно думают, что это для всех годится. Черновики полностью выдерживает один Пушкин».

А. А. сказала, благосклонно улыбаясь: «В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен. Он тогда написал про меня: „столпничество на паркете“».

Добывание каждой жизненной ценности сопровождается избыточной тратой энергии или материала. Иногда перерасход очень значителен. Для того чтобы мгновенья настоящего счастья и страдания приобрели вес, по-видимому, нужно, чтобы на них всею тяжестью давили массы безвозвратно потерянного времени.

Жить по-настоящему, не растрачивая лишнего, нельзя, как нельзя сделать фильм, не истратив большого количества пленки, как нельзя писать, не вымарывая в черновиках. Принцип безошибочного попадания здесь ни к чему. Только чернорабочий труд расценивается по количеству времени, реально затраченному на данный трудовой процесс: квалифицированный труд измеряется количеством времени и сил, сделавшим данный трудовой процесс возможным. Так же и квалифицированные переживания.

И еще одно. Всякая формула внутреннего опыта является

выжимкой из большой массы недифференцированных и как будто бесцельных впечатлений. Иногда нужно загубить два месяца, прожить их в сумбуре обрывающихся ощущений, для того чтобы придумать одну фразу.

Я говорю о фразе, потому что для меня найденная формула — лучшая из наград. Все, не выраженное в слове (вслух или про себя), не имеет для меня реальности, вернее, я не имею для него органов восприятия. Выразить вещь в слове — не значит наименовать ее терминологически. Необходимо в каждом данном случае выдумать формулу, маленькую структуру, микрокосм сюжета, со своим собственным разрешением. Когда я вижу прекрасный пейзаж, не имея для него формулы, я испытываю ощущение ненужности происходящего, как если б я грызла семечки на лавочке в пыльном сквере. Все радости и горести жизни доходят какими-то словесными сгустками, как бы навязчивыми цитатами, надолго застывающими в сознании.

Т., человек со вкусом к литературе, и притом человек вольный, то есть не загруженный нашими кастовыми ассоциациями и ореолами, сказал о «Египетской марке» и «Шуме времени»: «Это все-таки немножко похоже на Веру Инбер». Я возмутилась от неожиданности, а потом присмирела. Речь, разумеется, не о качественной сравнимости, но о методологической опасности сплошной метафоризации мира. (Вера Инбер, кстати, в стихах и в прозе талантлива. Она пишет ни под кого; ее можно узнать.) Литературный текст становится многопредметным, его отличает пестрота и раздробленность на маленькие миры и системы замкнутых на себя фраз-метафор. Каждая фраза веселит душу в отдельности. Сравниваемое оказывается случайным, процесс сравнения — занимательным, а то, с чем сравнивают, разбухает и самостоятельно хозяйничает в книге. Так образуются стилистические раритеты: я их не люблю, так же как и раритетные характеры в литературе, потому что их удобно придумывать, они не имеют силы сопротивления.

Метод этот противоположен символическому: там вещи возводились к идеям, здесь идеи приводятся к вещам. Вот почему для истинного символиста — не в смысле принадлежности к *школе* — Мандельштама этот метод (речь идет о прозе) не сущность, но только видимость и опасность. При большом количестве и пестроте этих вещей-метафор они неминуемо должны быть взяты в малых масштабах. Вещи в миниатюре — игрушки; отсюда игрушечный мир, отсюда подозрительное изящество: на место предметов, больших, корявых, неудобных и даже невыразимых, подставляются вполне портативные

словесные модели вещей.

Я говорю сейчас не о произведениях, а об *опасности*, опасности для писателей, которые не умеют оставлять вещи в покое, которых вещь мучает до тех пор, пока они не загонят ее в метафору. Это — опасность безответственных сравнений, фальшивых масштабов, кунсткамерности и остроумия.

У меня есть запись о березовых дровах: «они лежали в своей светло-серой коре, как в хорошей фабричной упаковке». Быть может, это и неплохо, как наблюдение, но это все то же. Здесь, в самом синтаксисе, есть наивное стилистическое самодовольство, и вещь самая путаная радостно замещается простой и хорошенькой. Очень трудно бороться со стилистическими соблазнами. Все же необходимо следить за тем, чтобы по нашим книгам не бегали беспризорные метафоры.

Литературного вкуса не может быть у молодых людей, не понимающих своей современности. Не понимать современности могут позволить себе старшие, люди другой культурной эпохи. Молодые в этом положении оказываются людьми вообще без эпохи, следовательно, и без вкуса, потому что вкус всецело историчен.

Анна Андреевна жаловалась Шкловскому, что сидит по целым дням одна: «Люди, которые меня не уважают, ко мне не ходят, потому что им неинтересно; а люди, которые меня уважают, не ходят из уважения, боятся обеспокоить».

Как-то с Гришей мы говорили о том, что большинство людей, с которыми мы были связаны в жизни, — странные люди, и мы пытались определить это качество. Гриша сказал: странные люди это те, которые доходят и живут в сознании своими дифференциальными признаками.

Жизненная норма, обладающая неписаным, но ощутимым уставом, может выполняться людьми трех родов. Людьми с дифференциальными нравственными качествами, для которых приведение себя в норму является душевным сломом и самоудушением. Людьми с нулевыми нравственными качествами, которым норма представляется простейшим способом жизни. Именно чти люди скомпрометировали норму, сделав ее механической, плоской и бесчеловечной. Остаются — нормальные люди. Странные люди дают нам ощущение дифференциации, несовпадения, нормальные люди — радостное переживание точности, безошибочного совпадения с какой-то предощущаемой правильностью, одновременно отвлеченной и практической. Вся

структура нормального человека держится на одном из прекраснейших достижений внутренней человеческой культуры — на здравом смысле. Разумеется, это не то вульгарное здравомыслие, которое уплощает все отношения, искажает и загрязняет все факты в простодушной уверенности, что проницательность состоит в усмотрении низостей и слабостей, а практичность — в готовности на любые уступки. Словом, это не тот здравый смысл, который вернее было бы назвать обывательским бредом, горячкой тупоумного воображения, — но подлинный здравый смысл. Здравый поступок как бы управляется математическим требованием удачного и притом простейшего решения задачи.

Разговор с Натальей Викторовной.

Между прочим я сказала:

— Н. В., именно вы, должно быть, видели в жизни много людей, относительно которых казалось, что им закон не писан, что им можно то, чего нельзя.

— Да, сравнительно много.

— А вы видели когда-нибудь человека, относительно которого это оправдалось?

— Ни одного, никогда.

Люди очень по-разному аплодируют. Одни проделывают это рассеянно, глядя в другую сторону и переговариваясь с соседом. Другие аплодируют с ласковой и выразительной улыбкой, как бы вступая в непосредственное и даже интимное общение с исполнителем. Некоторые аплодируют вызывающе, с явной затратой физической силы, со злым лицом, по-видимому полемизируя с равнодушными.

И зло нужно уметь делать. На десятую долю тех обид и страданий, которые N. причинила людям, всякая толковая женщина могла бы устроить свою жизнь. Она же живет хуже самого хорошего человека.

Луга, покрытые цветами, напоминают близко приставленные к глазам полотна пуантилистов.

Н. Радлов пишет В. На первом сеансе он все пересаживал ее с места на место, подыскивал освещение. При виде одной из неудачных позиций Радлов воскликнул: «Пхе! — как сказал Пиквик в переводе Горлина».

Для Шкловского мои статьи чересчур академичны.

— Как это вы, такой талантливый человек, и всегда пишете такие пустяки.

— Почему же я талантливый человек? — спросила я, выяснив, что все, что я написала, — плохо.

— У вас эпиграммы хорошие и записки, вообще вы понимаете литературу. Жаль, жаль, что вы не то делаете.

Когда у человека погибает любовь, то он, по традиции, обманывает боль работой. Надо бы выработать методы самообмана на случай погибающей работы.

Человека, вредящего в силу убеждения, можно переубедить; человека, вредящего по личной злобе, можно смягчить. Только вредящий из страха неуязвим и непреклонен.

Я читала письмо, которое написал зятю отец, потерявший дочь. Там говорилось о светлой памяти, об общей их святыне… И все эти слова, которые люди нашего поколения и круга не могут произнести, были абсолютно полноценны.

Дело не в том, что мы выражаем те же переживания другими словами. Лингвистически неправомерно предполагать, что можно выразить разными словами *одно и то же*. Это значит рассматривать слово как оболочку, отчужденную от его существа. Дело в том, что в нас нет именно того, о чем люди старших поколений говорили в таких письмах. Для нас возможен пафос, возможен аффект, возбуждение чувства, и невозможно ровное благоговение, благолепие.

Есть люди с недифференцированной талантливостью и без определенного назначения. Талантливость их раздирает. У них нет дела, но есть то повышенное ощущение самого себя, которого лишен посредственный человек. Это самоощущение требует применения на практике (иначе оно становится неутихающей душевной мукой), и они упражняют его в бесплодных отклонениях от нормы. Отсюда вся эта беспокойная возня со своими надрывами и ребяческое довольство ими, по сравнению с которым спокойное самодовольство обыкновенных людей кажется разумным и чистым чувством.

Л. говорит:

— Я сближался с разными людьми, в том числе с непорядочными и глупыми, но никогда с людьми, лишенными чувства юмора.

Недостатки импонируют или забавляют тогда, когда они ассоциативно связываются с определенным положительным качеством. Принято (по-моему, зря) умиляться рассеянности и бестолковости ученых, но рассеянность и житейская беспомощность человека, лишенного интеллектуальных качеств, крайне раздражает.

— Какую уйму стихов вы знаете! Вам, может быть, следовало бы быть филологом?

— Нет, я не могла бы быть филологом. Там нечего делать руками. Я очень люблю делать что-нибудь руками.

В одесском трамвае кондукторша ссорилась с некоей гражданкой (речь шла о какой-то сдаче). Кондукторша была комсомольского вида, белобрысая, симпатичная. Гражданка была молодая, худая, с пляжным, тщательно добытым загаром, в повязке и бусах, с очень большим, толстогубым, зубастым и накрашенным ртом. Публика — несколько мужчин, двое с портфелями, сочувствовали кондукторше.

Я следила за тяжелым барахтаньем слова, которое пыталось быть орудием быстрой и неотразимой реплики.

— Я могу давать сдачу такими деньгами, какими хочу, — говорила кондукторша.

— Может быть, вы еще захотите на голове ходить, — быстро ответила гражданка.

Поразительно, что эта идиотская формула приобретает вес в таком примитивном споре, — она заставляет противника задуматься, искать выход из положения и требует от него достойного ответа.

— Ну уж это мои дела, это вас не касается, — говорила гражданка.

— Ваши дела меня очень даже касаются, — отвечала кондукторша.

— Нет, не касаются.

А через несколько фраз, в ответ на замечание пассажирки о ее правах, кондукторша сказала: «Не хочу я знать ваших дел».

В обоих случаях это только использование синтаксической формулы отрицания. Кондукторша, разумеется, не задумывалась над тем, следует ли ей или не следует интересоваться делами проезжающих в трамвае. В обоих случаях ей нужно было найти мгновенно парирующую фразу. Наивное словесное мышление и прибегает в споре к прямому отрицанию каждого данного положения противника. Любопытно, что воспроизведенный здесь

простейший механизм может служить прообразом многих дискуссий.

Я думаю о том, что, может быть, стоит быть скупым, то есть беречь деньги как эквивалент времени для себя. Нетрудно было бы отказаться от всяческих материальных благ, особенно от тех неустойчивых благ, какие существуют в нашем быту; труднее отказаться от очаровательного переживания легкости, свободы и уверенности, которое сопровождает нерасчетливую трату денег. Размеры траты несущественны. Существенно только их соотношение с бюджетом, их бюджетная чувствительность. В результате этого переживания — я не знаю, как отсюда выбраться (Ялта, 14.IX.29). Я уже отказалась от кино, шашлыка и винограда, но, кажется, все-таки придется просить рублей 15 взаймы.

---

Гофман жестко говорил о Г.: «Он думает, что можно взять академическую статью, прибавить к ней немного хамства — и тогда получится журнальный стиль».

Еще недавно вы встречали человека, который радостно сообщал: а меня, знаете, напечатали! Прошедшей зимой все мы встречали людей унылых или растерянных, которые тихим голосом говорили: подумайте, моих таки две статьи напечатали. Так первая еще ничего, пожалуй, пройдет незамеченной. А вот на вторую непременно обратят внимание.

Исторические романы и детские книги — для многих сейчас способ писать вполголоса. Самоограничение этих жанров успокаивает совесть писателя, не договорившего свое отношение к миру.

Запрещают у нас людей так же, как запрещают книги. После этого человеком не перестают интересоваться, но его перестают покупать и боятся ставить на видное место.

## 1930

Олейников за столом встает и объявляет, что написал поэму в честь такой-то присутствующей женщины (имена меняются). Читает же из поэмы всегда только одну строфу:

Я поднимаюсь
И говорю:
Я извиняюсь,
Но я горю.

Олейников говорит, что Маршак поэт для взрослых, которые думают, что он поэт для детей.

## *Маяковский*

О смерти Маяковского я узнала по пути в ГИЗ. В ГИЗе сама собой приостановилась работа, люди толпились и разговаривали у столов; по углам комнат, в коридорах, на площадках лестницы стояли в одиночку, читая только что появившийся вечерний выпуск. «Как в день объявления войны», — сказал Груздев.

Унизительно все-таки умирать и попадать без права возражения во власть чьей-то жалости и притворства. Замечательно, с какой охотой, с каким искренним смирением самые наглые и хамоватые люди воздают мертвецу внешние знаки почтения. Они бессознательно компенсируют себя чувством своего биологического превосходства над знаменитым покойником. В самый момент получения известия о смерти человека (особенно деятеля) мы производим, вернее, переживаем мгновенную его переоценку, быструю, как включение электрического тока. Это отчасти по́шло, потому что по́шло не любить живого неудобного человека и ждать, с нашим умилением наготове, пока человек помрет и утратит способность раздражать нас и беспокоить окружающих. В то же время это правильно: смерть неимоверно повышает долю историчности в нашем переживании человеческой судьбы. Человек, которого мы плохо видим оттого, что стоим с ним рядом, вдруг, в некоторый неуследимо короткий момент, резко отодвигается и занимает место среди исторических, ретроспективно обозримых явлений: как все отдаленные предметы, он, в отличие от близких, виден уже не по частям, а сразу в системе. Когда умер Пушкин, Полевой, травивший его изо дня в день, — рыдал, и, конечно, это было большое и нелицемерное горе. Мертвому Пушкину с разных сторон и многие простили. Одни простили шестисотлетнее дворянство, другие — литературные несогласия, иные — личные обиды. Та иерархия качеств и действий, которая складывается в повседневных встречах и отношениях, сменилась вдруг ясной

исторической перспективой, где части переместились и иное показалось важным.

В самый момент получения известия о смерти я с ужасом ощутила то, что ускользало в последнее время: что Маяковский великий поэт, что он написал «Облако в штанах», которое когда-то заполнило, вытеснив все остальное, несколько недель моей жизни.

Шкловский сказал мне после смерти Маяковского:

— Все вокруг записывали в дневниках, что он был несимпатичный. А статью о том, какой он замечательный поэт, вы хотели написать и не написали. Я тоже не написал. А может быть, Володе это было нужно?..

Вспомнила, что говорил Гуковский: «Если человек нашего поколения (старшие не в счет) не бродил в свое время в течение недели, взасос твердя строки из „Облака в штанах“, с ним не стоит говорить о литературе».

В. Б. <Шкловский> говорит об Алянском: «Я уважаю Ал. за то, что он четыре года пролежал собакой у ног Блока и лизал ему ноги, когда Блок был очень одинок».

В школе профтысячи я уважаю людей с честными намерениями. Они хотят быть инженерами; у них нет времени и никогда в жизни не было ни времени, ни привычки читать книги, но им по-человечески интересно. Поэтому в отрывке, который они выслушивают в классе, для них есть какая-то праздничность. Я поняла удовольствие говорить о литературе людям, в сознании которых литература не гипертрофирована, но занимает какое-то место, приблизительно нормальное для шкалы ценностей практического человека.

Хорошо уважать слушателей. Не могу не уважать людей, которые работают восемь часов на производстве, а потом шесть часов учатся, и еще находят в себе мужество интересоваться на третьем уроке психологией Рудина.

Я очень люблю закономерности. Понятие круговой поруки фактов для меня основное. Я охотно принимаю случайные радости, но требую логики от поразивших меня бедствий. И логика утешает, как доброе слово.

Есть такая зловредная для жизнеустройства формула: сегодня день все равно пропал, так пойдем уж вечером в кино.

Умственная деятельность может механизоваться, стать бессознательной в такой же мере, как физическая. При этом она не теряет своей объективной и практической ценности. Но субъективно, про себя человек начинает ощущать ее как одну из бессознательных, почти низших функций организма. Это случается, когда пишешь слишком много и непрерывно. Под конец умственная деятельность, целиком вложенная в очередную работу, перестает доходить до сознания. Сохранив полностью способность к расчленению материала и частным обобщениям, человек теряет высшую интеллектуальную способность к осознанию своей жизни и работы со стороны. Ту художническую способность узнавания и интеллектуального переживания мира, которая одна только выводит вещи из механической пустоты не осознавшего себя существования. Можно писать неплохие статьи, читать специальные книги или книги со специальной целью, правильно мыслить и при этом находиться на стадии темной бессознательности. Умственная работа подлежит осознанию, как всякая другая. Вероятно, научная работа радостна тогда, когда создается своя система, или еще в пору молодого патетического ученичества.

В числе многих других подразделений может существовать подразделение людей на серьезных и юмористических. Серьезные люди употребляют слова в прямом смысле, имеют твердую шкалу ценностей, где ценности находятся в прочном соотношении друг с другом и не зависят от контекста; еще они отличаются тем, что могут говорить о самом главном в любое время. Когда серьезные люди Толстой или Блок — это хорошо. Что касается средних серьезных людей, то с ними трудно. Слова у них облезшие от частого прямого употребления (только редкое прямое употребление важных слов сохраняет за такими словами, как *любовь, смерть, правда*, — ореол необычайности и силу удара). Что касается ценностей, то люди без юмора легче, чем какие-либо другие, теряют способность отличать большое от малого — и это потому, что для них величина является предустановленной иерархической догмой, а не функцией живой, движущейся вещи или идеи.

Я читала как раз «Записные книжки» Блока (очень похожие на

дневники и письма) и сначала не могла разобраться в особом, странном и тяжелом ощущении, сопровождавшем это чтение. Потом догадалась, что прозаический слог Блока страшен, как лицо, не улыбающееся ни при каких обстоятельствах.

И вдруг ни на что не похожая запись: «Студент (фамилию забыл) помешался на Дмитрии Ивановиче. Мне это понятно. Может быть, я сделал бы то же самое, если бы еще раньше не помешался на его дочери». Это — не то случайный каламбур, не то неудавшийся комплимент; это, конечно, не острота, но нечто отдаленно и как-то дико ее напоминающее.

Мы давно знаем, что такие формы бытия, как дружба, любовь, доброта, как отношение к природе, к искусству, к смерти, вполне обусловлены и историчны. Тынянов когда-то очень интересно говорил о том, что во времена Пушкина и декабристов смерти не боялись и совсем не уважали ее. Вяземский и Пушкин забавнейшим образом описывают, например, смерть Василья Львовича, которого оба любили. Вяземский, — добавлю, — со всей его литературной чопорностью и глубоким чувством приличий, не постеснялся написать в письме, а потом переписать в записную книжку, что Козодавлева соборовали кунжутным маслом (Козодавлев был сторонником его применения).

Страх смерти, говорил Тынянов, в России придумали позже — Тургенев, Толстой (у которого никогда не было недостатка в личной храбрости); страх обуял целые поколения, все возрасты — вплоть до Леонида Андреева. Потом опять пошел на убыль.

Историчным, социально продиктованным является и самое интимное сознание человека. Мне пришлось наблюдать, как среди моих сверстников с отроческого возраста быстро и уверенно складывался тип интеллигента с надрывом (душевные глубины, крайняя автопсихологическая заинтересованность, перебои психического аппарата, которые сразу эстетизируются) — и как этот унаследованный склад оказался решительно не к истории.

Благо тем, кого исторический вкус, жизненное чутье, молодость уберегли от дальнейшей идеологизации надрывов. На потенциального, полуготового человека произошло наложение другого человека с другими социальными качествами.

Время сообщило поколению уважение к душевному и физическому здоровью, к действию, приносящему результаты; интерес к общему; восприятие жизни в ее социальных разрезах. Время сообщило ему профессионализм, небрезгливое отношение к поденному, черновому труду; легкую брезгливость по

отношению к душевным безднам, самопоглощенности и эстетизму.

Даже в тех случаях, когда русским политическим деятелям и мыслителям бывала свойственна умеренность требований и целей, — они не знали умеренности средств и тона. Многие из декабристов желали не очень крутых политических изменений, но «умысел цареубийства» их не ужасал (даже Артамон Муравьев вызывался совершить этот акт). То же и Герцен. Герцен в 50-х годах ожидал добра от правительства, готов был жить в худом мире и твердил в «Колоколе» о том, что царь одною мыслью об освобождении крестьян с землей поставил себя в ряду величайших деятелей человечества. Но каким тоном все это говорилось; как Герцен стоит лицом к лицу с Александром II: поощряет его, понукает, одобряет или стращает неудовольствием «образованного меньшинства».

Между прочим, Покровский утверждает, что народовольцы были довольно умеренны в своих политических вожделениях; они считали нужным ориентироваться на поддержку передовой буржуазии и не хотели отпугивать ее внесением откровенно социалистических требований в свою программу. Очевидно, они считали, что видом взлетающих на воздух сановников русскую буржуазию не отпугнешь.

Молодой преподаватель одного из колледжей Оксфорда рассказал Анне Андреевне, что среди молодых английских интеллектуалов принято ездить в Вену к Фрейду лечиться от комплексов. «Ну и как, помогает?» — спросила Анна Андреевна. «О да! Но они возвращаются такие скучные, с ними совсем не о чем разговаривать».

Н. Н. Пунин — царскосел. Он учился в гимназии, где директором был Иннокентий Анненский.

Отец Пунина сказал ему как-то: «Странный у вас директор. Вчера я с ним возвращался из Петербурга. Подъезжаем к Царскому, а он вдруг говорит: „Город в ожерелье огней“…» (Рассказал мне Пунин.)

Ахматова сказала как-то Мандельштаму: «Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь». (Рассказала А. А.)

Заболоцкий сидит в «Еже». Он солидно одет. Он стал совсем гладкий, полный (впрочем, без всякой рыхлости), нежно-розовый. В обращении неприятен. Мы говорили минут пятнадцать. Он явно

не хочет говорить о литературе и не хочет читать стихи. Меня поразило сочетание этого физиологического золотисто-розового благополучия с внутренним холодом и депрессией. Он служит, сидит дома с женой, не встречается даже с Хармсом и Введенским, занимается, кажется, химией и математикой.

Мы с Анной Андреевной говорили о Случевском.

Я: — Случевский — это уже декадентство. Сплошь поэтические формулы: розы, облака и проч., но совершенно все разболталось, все скрепы, — система гниющих лирических штампов… на этом фоне возможно все, что угодно.

А. А.: — На этом фоне оказывается, что у мертвеца сгнили штаны — и он сам заявляет об этом.

А. А.: — По сравнению с Пушкиным, Вяземским символисты кажутся узкими. Те на все смотрели как на свое личное дело — на политику, на светскую жизнь, вообще на жизнь. В их письмах жизнь кажется интересной, а в дневниках Блока и Брюсова она совершенно ненужная.

Я: — Но и тогда это быстро прекратилось. Уже в тридцатых годах появились люди, которым ни до чего не было дела.

А. А. (быстро): — Это и есть романтизм.

Женя рассказывала про Алешку: перед сном начитался чего-то (вероятно, детских исторических повестей). Ночью — кошмары, крик, плач; все сбегаются… Алешка (рыдая): «Когда мне позволят читать книги для взрослых! Детские книги все такие страшные…»

Гофман сказал, что напрасно мы, в сущности, кочевряжимся. Что мы всё не можем расстаться с устаревшей шкалой человеческих ценностей, в которой литературная, словесная, вообще гуманитарная культура стояла очень высоко. В иерархическом же сознании современного человека гуманитарная культура имеет свое место, но очень скромное. Следовательно, нам нужно умерить требования к жизни.

Я ответила, что это, вероятно, правильно, но психологически неосуществимо. Человек устроен так, что может удовлетвориться, считая себя мелкой сошкой, безвестно работающей в какой-то самой важной и нужной области, но он никогда не примирится с положением замечательного деятеля в никому не нужном деле. И это делает честь социальному чутью человека.

Чем дальше заходит жизнь, тем яснее, что сейчас для меня

основная жизненная проблема — проблема работоспособности. Шкловский написал мне: «Жить можно, главное не уставать физически». Это сухое и грустное мировоззрение, но честное. Проблема сохранения трудоспособности осложнена тем, что сейчас невозможно жить, не утомляясь. Утомления от нас требует и общество, и наш личный инстинкт. Впрочем, и утомляться мало — надо переутомляться; недостаточно работать — надо перерабатывать. Меня сейчас успокаивает и освежает только самая крайняя степень работы, работа, дошедшая до отчаяния, когда времени жалко уже на то, чтобы чихнуть.

Мы живем очень обнаженной и прямолинейной жизнью, в которой бесконечно сократилось пространство, лежавшее некогда между человеком и его прямым назначением и заполнявшееся прикрасами. Значение работы расширилось до предела. Работа — источник заработка, средоточие интересов, поприще честолюбия, сфера творчества. Отдыхают люди бесформенно, не уважая свой отдых (особенно стыдятся ходить в гости). Я, например, умею отдыхать только летом, а зимой, в нормальных условиях моей комнаты никогда не знаю, что нужно делать для того, чтобы отдыхать.

Для нас невероятно, что индийский йог может стоять десять лет и думать одну мысль, — это по ту сторону нашего понимания. Но не все люди понимают, что можно без всякой необходимости писать, писать, отвалиться от стола, отлежаться и опять писать. Несоизмеримые, конечно, вещи, но исходящие из общего принципа.

Предпринятая сейчас идеологизация труда содержит первостепенной важности условия для человеческого счастья.

Быть может, мысли о старости, иногда даже о зрелости, угнетают потому, что человеку кажется, что в старости он будет хотеть делать то же, что делает сейчас, — но тогда это будет невозможно или смешно. На самом деле все обстоит много утешительнее, то есть рост и заключается в том, что перестает хотеться одних вещей и начинает хотеться других.

В двадцать лет человеку, между прочим, доставляет удовольствие заниматься по ночам хоровым чтением стихов. Он знает, что в сорок лет это перестанет доставлять ему удовольствие, и поэтому ему кажется, что очень плохо быть сорокалетним. Если бы дети не были одержимы глупым желанием стать взрослыми, то они должны были бы с ужасом думать о том, что настанет время, когда им не захочется больше прыгать на одной ножке или кувыркаться по ковру.

— Вы написали мне упадочное письмо. Какую-то повесть о бедной чиновнице… — сердито сказал мне Шкловский по поводу письма, в котором говорилось о вторых и третьих профессиях человека, лишившегося первой.

---

В последний же раз при встрече В. Б. сердился на то, что я не ответила ему на письмо.

— Безобразие! Вы отнеслись к этому как к литературе и собирались писать мне историческое письмо; надо было ответить открыткой.

В. Б. угадал — я не написала ему «историческое письмо», но обдумывала его несколько дней.

Когда В. Б. писал между прочим о том, что жить можно, если не уставать физически, он подразумевал, конечно, и так называемую умственную усталость — одну из гнетущих разновидностей усталости физической.

С месяц тому назад у меня был долгий разговор с Чуковским. Основная его мысль: время для нас хорошо тем, что не дает зажиреть. Вот он был изобретателем журнальной манеры. «Русское слово» и пр. рвали у него каждую строчку из рук; деньги, слава и пр. Оставалось исписаться. В 1917 с революцией он остался вроде новорожденного. Он выдумал детскую литературу. К 1930 году он почувствовал, что начинает уже писать под Чуковского; тут его как раз и прикрыли. Все правильно совпало. Придется изобретать дальше.

Есть мысли принципиально научные и мысли академические. Принципиальная мысль расходится концентрическими кругами; она обладает способностью влиять в очень разных контекстах и на очень больших расстояниях от породившего ее текста. Академические мысли идут не кругами, а прямыми линиями, от учителей к ученикам, сверху вниз и только сверху вниз; это неотъемлемый их признак.

В жизни есть упорная инерция жестов, слов, психических рефлексов, уже потерявших первоначальное содержание. Вот почему эмоции замещаются порой своим интеллектуальным отражением. Они как бы выпадают из оболочки сознания. Оболочка остается; она повторяет их форму, тем самым — их

сущность, как подобие, достаточно подобное для того, чтобы чувство можно было узнать, достаточно отчужденное для того, чтобы чувство претворялось в концепцию и по макету чувства разум с точностью вычислял всю цепь вытекающих из него импульсов и реакций.

Здравый смысл — это по преимуществу верное чутье на масштабы и иерархию вещей. Между прочим, это понимание того, что можно делать неподобающие вещи: вмешиваться в чужие дела, говорить правду, разговаривать до утра, писать письма с одной улицы на другую, — но что все это можно делать только когда нет выбора и не остается делать ничего другого.

Разговор с Д. о его катастрофическом опыте последних лет.

Безнадежная любовь не оставляет надежд, даже надежды на отмщение. Лелеемая мстительная мечта несчастной любви — показать когда-нибудь равнодушие. Пока равнодушия нет, его нельзя показать. Когда равнодушие наступило, показывать его не хочется и не нужно. Его даже скрывают из вежливости, — это и есть признак равнодушия, самый верный.

У кого-то из французов (не помню) есть рассказ о том, как человек, многие годы любивший женщину, которая над ним издевалась, остальную часть жизни употребил на подготовку мести. Все удалось. Он приезжает насладиться результатами и находит беспомощную нищую старуху. Он понимает с ужасом, что вторая половина его жизни была еще бессмысленнее первой. Потому что он мстил *не тому* человеку.

История эта страдает излишней наглядностью. На самом деле для превращения человека в не того не требуется ни морщин, ни лохмотьев. Вполне достаточно — перераспределения его элементов и признаков. Для любящего основной признак любимого — именно то, что он любим. Чувство исчезло, и с ним вместе — основной признак. Ничто теперь не может вернуть *не тому* человеку его прежнюю сущность, с которой можно было бы сводить счеты.

— Подумайте, — говорит писатель (хороший), вернувшийся из поездки, — нас было восемь человек, и материалу столько, что не только каждый набрал на три-четыре листа очерков, но еще Л. пишет большой рассказ; наверное, и я напишу.

Меня поразила полная отчетливость этого перевода впечатлений на листаж. Эта уверенность в объективном существовании некоторого материала, который можно недобрать или взять про запас, которого может хватить или не хватить на

восемь человек из расчета по три листа на человека.

Привалова рассказывала соседям о каком-то заседании в ГИЗе:

— Подумайте, после Герценовского института, непривычная для меня картина — двадцать человек мужчин и я одна женщина.

Домработница (молодая, деревенская):

— Ай, Катерина Петровна, и вы не боялись?

Есть активное честолюбие, основанное на потребности воздействовать. И пассивное честолюбие, основанное только на потребности быть известным. Служебный карьеризм может быть противен и непонятен пассивному честолюбцу.

Тынянов говорил, что Николай I был карьерист.

В разговоре с Чуковским для меня, кажется, впервые вполне уяснилось, что между самой верхней и самой нижней культурой установилось правильное обратно-пропорциональное отношение.

В 1921 году кто-то из профессоров сказал публично: у нас происходит ликвидация грамотности. Это справедливо в той же мере, в какой и несправедливо. На самом деле у нас относительно уменьшилось число людей безграмотных в прямом смысле и увеличилось число людей безграмотных — в переносном. Чем выше учебное заведение, чем ближе к высшему учебному заведению — тем оно хуже (то есть я имею в виду заведения гуманитарные или в их гуманитарной части). Всевозможные школы первоначального обучения в общем, вероятно, удовлетворительны; трудовая школа — явление спорное, университет (опять в гуманитарной его сфере) бесспорно не удовлетворяет. Нельзя было бесследным для культуры образом подвергнуть первоначальной культурной обработке всю эту массу новых людей. Культура ослабела наверху, потому что массы оттянули к себе ее соки. Я вовсе не думаю, что нужно и социально полезно упрощаться; я думаю, что снижение культурного качества — не вина правительства и не ошибка интеллигенции, что снижение качества на данном отрезке времени — закономерность.

В данный момент я и люди, которых я обучаю на рабфаке, любопытным образом уравновешены. То, что они учатся и вообще чувствуют себя полноценными людьми, соотнесено с тем, что у меня отнята какая-то часть моей жизненной применимости; то, что они читают «Обломова» (почему именно «Обломова»?) соотнесено с тем, что я не могу напечатать статью о Прусте.

Никаких чувств, кроме самых добрых, я к ним не испытываю. Во-первых, потому, что у нас у всех неистребимое народничество в крови; во-вторых, потому, что мы жадны на современное; в-третьих, потому, что профессиональная совесть и профессиональная гордость ученого и педагога не терпит нереализованных знаний; в-четвертых, потому, что если пропадать, то лучше пропадать не зря.

Как ни далека я от добродушия и от того, чтобы радостно выполнять свой долг в качестве скромного работника на ниве народного просвещения, но и в себе я ощущаю невытравленный след интеллигентской самоотреченности (оценивая ее критически). Социальное самоотречение это раскаяние в своих преимуществах. Кающееся дворянство заглаживало первородный грех власти; кающаяся интеллигенция — первородный грех образования. Никакие бедствия, никакой опыт, никакой душевный холод не могут снять до конца этот след.

Кетлинской не понравилась статья К. для сборника «Детская литература». Она с удивлением сказала Татьяне Александровне (Богданович):

— Когда мы заказываем формалистам марксистские статьи, они их обыкновенно хорошо пишут.

Не знаю даже, имелся ли здесь сознательный цинизм или насмешка; скорее всего — трезвое отношение к частнику, которого при случае можно использовать.

---

Перед отъездом у Гр. был тяжелый разговор с К. из-за деятельности его в «Литучебе». Меня вызвали в качестве арбитра. Гр. обличал, охваченный восторгом говорения правды в лицо. У Гр. вообще есть физиологическая потребность крика и склонность трогать чужую психику (как неврастеники перебирают вещи руками). Так как он к тому же дидакт, то это легко принимает форму дружеской беспощадности и правды в лицо. Как человек деспотический и с необузданным темпераментом Гр., вероятно, испытывает особое наслаждение от возможности говорить самые страшные слова и кричать, особенно кричать на друзей и на людей, к которым он хорошо относится. В таких случаях у него получается патетическая грубость, которая на мой вкус не многим лучше обыкновенной.

Он кричал, а К. морщился и защищался:

— Товарищи, вы мудрите. А я целиком отдаюсь своему

времени.

Я сказала:

— Нельзя терять стиль. Ошибка в том, что ты, настоящий словесник, неплохой стилист, пишешь мутными фразами. Кому мы нужны без нашей словесной культуры? Если ты будешь писать как рапповцы — рапповцы окажутся умнее, нужнее, увы… честнее тебя.

К. волновался и морщился:

— Вы не правы, товарищи, вы все хотите быть умнее времени. А я сейчас радостно отрекаюсь от себя.

— Ты неразборчив. Время это не все, что кричит на нас. Я верю в то, что пятилетка — время. Но рапповцы — не время. Они, слава богу, не современны, а временны.

Один самоотрекается, а другой разговаривает. У него в этом духе составлена и формула поведения: «Разговаривая со своим временем, надо сохранить свой голос, но найти общие темы для разговора».

Гофман же говорит: «Активизуйтесь!» И говорит с такой твердостью, что никто не догадается посмеяться над тем, что он говорит это из своего угла.

А Гр., который все привык делать патетически, пытался этой зимой свертываться с помпой. Аффектация науки для себя. Наука по системе Мюллера: три часа в день, чтобы не разучиться думать.

---

Кто-то сказал: сейчас, в числе других, появились панические марксисты.

Эволюция формалистов, субъективно искренняя и исторически необходимая (Тынянов, с его интересом к жизни произведения вовне, уперся всей своей системой в социологические категории писательского и читательского сознания), вместе с тем объективно выгодна. Все же вокруг, партийные и беспартийные, еще чересчур русские интеллигенты для того, чтобы уважать людей за деятельность, приносящую им пользу.

В «Литучебе» Цирлин, зеленый и унылый, улыбается замогильно. Берусь написать статью.

— Л. Я., я должен поставить вопрос прямо: вы будете согласны на все изменения?

— Я буду согласна на изменения, но не на все.

— В таком случае я не могу дать вам гарантии, что статья будет напечатана.

— Я не столь простодушна, чтобы ожидать гарантий.

Приходим к соглашению.

Часов в одиннадцать звоню Чуковской; ее нет дома, у телефона Корней Иванович. Разговаривали около часу (ему хорошо, у него грипп, и он разговаривает лежа). Упреки за мою рецензию на Сергеева-Ценского: старые заслуги (выражаю сомнение); человек споткнулся на чуждом ему материале (говорю, что не надо так спотыкаться); наконец, это значит толкать падающего, в то время как мы принуждены молчать о явлениях более безобразных.

— Вот это, Корней Иванович, правда, — но если так, то, может быть, лучше совсем не писать.

— Лучше не писать о современности.

— Нет, нестерпимо быть литератором и не иметь права говорить о современном.

— Да, в молодости это трудно.

Потом я отправляюсь к К. И. за библиографией по Твену; библиографию не получаю, но провожу у него целый день. Он один в городской квартире, болеет гриппом. Исхудал, обрил голову. Мурочка страшно больна. Мы говорим о Маяковском, о Тынянове, об Уайльде, об изданиях Некрасова, о судьбе современного литератора. Читает и показывает мне Чукоккалу (слишком много патентованных людей). Едим суп и кашу (прислуга его больна). Он необыкновенно умен, хитер и обаятелен. Пишет хуже, чем он есть на самом деле. Не то нарочно, для доступности; не то по связи со старыми своими литературными традициями.

*1930*

Итоги года 29–30… Я служу, я в ссоре с людьми, вскормившими меня своими идеями; меня уже назвали печатно идеалистом, меня уже твердо и вежливо не печатают — словом, я обзавелась всеми признаками профессионального литератора. Эта зима уничтожила стеклянный колпак Института, под которым нам казалось, что мы «тоже люди», потому что нас слушало сто человек студентов и 5—10 из них — с пользой. Из-под колпака нас вынесло если не на свежий, то на очень холодный воздух.

Я уважаю эту зиму за то, что она произвела жестокий отбор. Из нашей профессии сразу повывелись все барышни, все домашние философы. В нашей профессии остались практические,

или талантливые, или решительно не способные ни на что другое.

Мы, то есть младоформалисты, остались по какой-нибудь или по комбинации из этих категорий, но вид явили скорее плачевный. Все, что мы умеем делать, — слишком теоретично для того, чтобы служить здоровым сырым материалом, и недостаточно обобщенно для большой науки. Шкловский, поднявший вокруг своей жизни и работы бурю расходящихся кругов, из которых последние замирают в самых отдаленных сферах, не мог переварить наших соображений, имеющих «частный интерес».

Этот год был еще отмечен странной переменчивостью масштабов. Вещи и события растягивались и сокращались по каким-то почти непостижимым законам. В сущности происходило вот что: с нами случались новые для нас события, место которых в иерархии жизненных фактов не было нам известно, — поэтому их размеры плясали и плыли перед глазами.

Так было с М., присланным в ГИИИ вправлять мозги. М. вошел в жизнь тяжелыми шагами командора. Он был событиен, трагичен и неотвратим. Потом вредоносность его чрезвычайно упростилась; не то чтобы М. врезался в судьбу, а скорее — М. напакостил.

Так было в этом году и с метрами. Ссора совершилась под шум фраз, взятых в чересчур высоком регистре. Потом на месте осталось чувство неопределенного сожаления и неловкости.

Думаю, что совершенно точное и убедительное место в иерархии переживаний имеют только физическая боль или нравственные страдания, связанные с утратой одного из основных ежеминутных содержаний жизни (утратой любимого человека, любимого дела, трудоспособности, свободы и т. п.) Все прочее — горести самолюбия, разрывов с друзьями, житейских обид и поражений — мы не ощущаем непрерывно. Оттого тяжесть этих страданий по памяти — почти произвольна. Ракурсы и масштабы. Легкий поворот вещи превращает беду в неприятность.

Только наивные и далекие от науки люди воображают, что они писали бы хорошие статьи, если бы их печатали. Многие могли бы сообщать интересные соображения по частным вопросам и, вероятно, никто ничего общезначимого и общеволнующего (оттого, вероятно, Тынянов, не привыкший к пафосу частных соображений, вовремя бросил науку, не только для печати, но и для себя). Все это говорю не столько из скромности, сколько из самолюбия; из нежелания принять для своего поколения мирную судьбу полуталантливой и навсегда

подражательной науки.

Конкретная продукция, готовая или имевшаяся в работе и не увидевшая света, так мало способна взволновать умы, сорганизовать творческую волю, — как волновали и собирали вокруг себя первые брошюры Шкловского, сборники ОПОЯЗа, лекции Тынянова, — что из-за этого не стоит тягаться и меряться с современностью. Если что-нибудь и стоит предъявления счета, — это человеческие творческие потенции, рабочая энергия, научная совесть, которые можно сорвать и растратить в немоте, в путанице, в ежедневных обидах и соблазнах; не ненапечатанные статьи, а только это, быть может, стоит предъявления счета.

Главными обидами осени 1929-го были отказ ГИЗа от сборника по современной поэзии и наш собственный отказ от «Ванны Архимеда» (с обериутами). Сборник о поэзии получался средний. С «Ванной» получалось и того хуже. В этом, по замыслу боевом, молодом, несколько вызывающем, вообще ответственном, сборнике исторический смысл имели только стихи — Заболоцкий, Введенский, Хармс; остальное оказывалось довеском, частью доброкачественным, частью же прямо халтурным.

Увлеченные болью первого серьезного удара палкой по голове, мы не заметили нелепости положения: мы мучительно, даже патетически, отказывались от дела, в котором, кроме трех поэтов, не было ничего истинно принципиального.

Из всего запрещенного и пресеченного за последнее время мне жалко этот стиховой отдел. Жаль Заболоцкого. Если погибнет, «не вынесет» этот, вероятно, большой и единственный возле нас поэт, то, вот это и будет счет; не знаю, насколько серьезный в мировом масштабе, но для русской литературы вполне чувствительный.

Я давала Ахматовой кузминскую «Форель» (интересно, что ей пришлось прибегнуть ко мне). Возвращая книгу, она поморщилась:

— Здесь очень много накручено. Кроме того… очень буржуазная книга.

— Какая неожиданная с вашей стороны оценка.

— Совсем нет. Я сказала бы то же самое 15 лет назад.

Литература попала в хвост всего движения. В литературе хозяйничают люди, не пригодившиеся на настоящих местах. Такая литература не может создать из себя свои бытовые и производственные формы. Вот почему наш официальный литературный быт весь сколочен из форм и категорий, надерганных из других областей. Литературно-бытовое

злоупотребление понятиями контроля масс, ударничества, соцсоревнования, технизации — это иногда результат массового словесного гипноза и той кратковременной, но невероятно сильной универсальности и всепроникаемости, которую приобретают у нас выбрасываемые на языковую поверхность лозунговые слова; в других случаях это результат вполне цинического расчета литературных спекулянтов. Чаще всего здесь та смесь недомыслия, лукавства и воображения, которая заставляет ребенка ставить спичечную коробку на две опрокинутые катушки и утверждать, что это паровоз.

Литература сейчас какой-то особый детский мир, как всякий детский мир, очень жестокий и произвольный, управляемый законами подражания, фантазии и условности. Как во всяком детском мире, в нем самое главное и серьезное — быть похожим на взрослых.

Основной пафос детского мира, его своеобразная диалектика в том, что с настоящими вещами поступают как с игрушками, а с игрушками — как с настоящими вещами (ребенок говорит про куклу: это человек, но про зонтик: это кукла).

Любопытна, например, судьба одной жизненной формы, перенесенной в детскую из настоящих областей. Я имею в виду форму коллективного труда. Решили сразу, что очень хорошо, если несколько писателей вместе пишут одну книгу. Многим здесь даже смутно мерещится некая гарантия большей идеологической выдержанности.

Я думала об этом на первом заседании Детской секции, когда президиум неутомимо допытывался, нельзя ли зарегистрировать какие-нибудь писательские кружки и не пишет ли кто-нибудь что-нибудь вместе с кем-нибудь. Если бы мы писали с Гофманом не вдвоем, а хотя бы втроем, то нами бы страшно заинтересовались, хотя из этого следовало бы только то, что книга имеет шансы быть не вдвое, а уже втрое халтурнее.

На том же заседании Коля Чуковский с гордостью рассказывал о деятельности «Северной бригады» Союза писателей. Это он, Спасский, Ел. Тагер и Куклин; они ездили в Карелию и совместно написали книгу.

Очевидно, что важно работать коллективно на производстве; очевидно, что важно и хорошо коллективно ездить в дикие места, потому что экспедиция имеет практические возможности, которых лишен одинокий путешественник; но почему хорошо, если четыре писателя напишут книгу совместно?

Будущим историкам литературы придется научиться распознавать эти словесные аберрации, эти пересаженные лозунги и игрушечные смыслы.

Замечательно, что, несмотря на дефицитность бумаги, сейчас в литературном деле автор и его произведение еще более дефицитный товар, чем бумага. В «Литучебе» стон стоит (я сама слышала, как стонет Ворковицкая), потому что у них сделан расчет на 10 номеров и нет материала. В «Звезде», говорят, нет статей. «Academia», говорят, мечется по городу в поисках историко-литературной книжки, которую как-нибудь можно было бы издать. Роман (если только он не до невозможности плох и не очень хорош) — продать легко.

Научно-литературные и литературные организации, в сущности, прекратились, а с ними «атмосфера», порождавшая своеобразную инерцию писания. Сейчас, за прекращением инерции, понадобились побудительные причины.

Вчера об этом любопытно говорил Гриша (Гуковский). После революции литературный труд был один из самых выгодных. Еще год-два назад оплата даже в 150–180 рублей за лист казалась нам высокой. Сейчас это вообще уже небольшие деньги, но главное, литературный способ добывания этих денег перестал казаться выгодным и соблазнительным сейчас, с прекращением безработицы, с огромным повышением спроса на интеллигентный труд, с необычайным улучшением оплаты педагогического труда (на рабфаках, вечерних курсах и т. п.). У Гриши очень простой и убедительный расчет: при четырехрублевой оплате академического часа, 16 часов в декаду дают 190 рублей с лишним, притом это гораздо легче, чем написать печатный лист. Прибавьте сюда еще всякие подробности: неудобство всегда неверной гонорарной системы заработка, неаккуратную выплату; опасность того, что вас не напечатают, уверенность в том, что вас обругают и что во всяком случае вы не услышите ни одного доброго слова.

— Представьте, — говорил Гриша, — что вы выпускаете книгу. Всерьез научной книги вы сейчас не напишете, а если напишете, ее не возьмут. Но вот книга, которую вы можете напечатать… Что она вам даст? Чести она вам не прибавит. Вряд ли доставит удовлетворение. Она даст деньги, которые вы можете заработать менее хлопотливым способом. В сущности, что она вам принесет?

Я: — Неприятности.

— Сейчас будет то же, что было когда-то. В свободное время и при наличии соответствующих побуждений люди будут писать книги, а потом, буде представится возможность, издавать их. Мы же все эти годы сначала издавали вещи, а потом их писали.

То, о чем говорит Гриша, это замена внешних побуждений внутренними. Но ясно, что внутренние импульсы излишни для того, чтобы писать то, что все пишут сейчас: статьи для «Литучебы» и романы для юношества.

Педагогический опыт этого года (рабфак) убедил меня в том, что из всей новой поэзии массовый читатель знает и любит по преимуществу Есенина. Безыменский и пр. им просто скучен. Маяковский плохо понятен. По отношению к Маяковскому чаще всего враждебность (та самая инстинктивная неудержимая враждебность, которая превратила в такой ад и в такой трагический балаган последние выступления поэта); в некоторых случаях сухое, внедренное апрельскими газетами, почтение с добавлением из: «плохо понимаю, очень трудно».

Читатель, которого я имею в виду, вовсе не городской обыватель; это профтысячник, рабфаковец, часто партиец. Он слыхал, что Есенин упадочный, — и стыдится своей любви. Есенин, как водка, как азарт, принадлежит в его быту к числу факторов, украшающих жизнь, но не одобряемых.

Шкловский говорил когда-то, что формализм, идеализм и проч. — это вроде жестянки, которую привязали коту на хвост. Кот мечется, а жестянка громыхает по его следам. «И так всю жизнь…»

Кажется, в 1923 году к Жирмунскому пришла объясняться сотрудница, которой приписывали неблаговидный поступок (при каких-то денежных расчетах с Институтом). После длительного разговора он сказал, что не считает больше возможным быть с ней знакомым, и отвел руку, когда она хотела попрощаться; потом проводил ее в переднюю и подал пальто. «Какая неуместная вежливость!» — горько сказала сотрудница. «Простите, — сказал Ж., — я могу вам подать пальто, но руки подать не могу».

---

Разговор В. с обойщиком.

— Я вот на фабрике восемь рублей в день получал и ушел, потому что мало; а у жены расширение зрачков.

— Это что же, профессиональная болезнь?

— Нет, зачем? Вот вы хорошо одеты? — так ей тоже хочется.

С. пишет о Достоевском. Он по телефону просит Борю <Бухштаба> разыскать ему литературу о Победоносцеве.

— Только, пожалуйста, что-нибудь ортодоксальное.

— Где же я тебе возьму ортодоксальное? Нет у нас сейчас ортодоксальных историков. Покровский, ты сам знаешь, опровергнут.

— Ну, не скажи… Покровский только что признал свои ошибки.

Боря говорит мне с отчаянием:

— Понимаешь, до чего можно дойти, бегая за истиной; теперь ему кажется, что если человек признал свои ошибки, то от этого самого его ошибочные мысли становятся ортодоксальными!

Данько уверяет, что в описании петербургских достопримечательностей есть фраза: «И старик-сторож ежедневно сметает с дворцовой мебели вековую пыль».

Бориного «Героя подполья» перевели на тюркский язык. Олейников говорит по аналогичному поводу: «Я переведен на все языки, кроме иностранных».

N. говорит: «Я готов быть терпимым к разврату и к расчету в отдельности, но их сочетание непереносимо».

В отношениях, приближающихся к концу, есть характерный этап. Это когда человек уже не может доставить радость, но еще может причинить боль. Между прочим, на этом этапе достигается максимум бескорыстия. Уже иссяк эгоизм любви, еще не упрочился эгоизм равнодушия.

## 1931

Вчера днем в ФОСПе меняли папиросные карточки и обеденные талоны. В очереди за мной стоял Г. Е. Горбачев.

— Что вы делаете? — спросил Горбачев.

— Разумеется, пишу роман для юношества.

— Что делает Шкловский? — спросил Горбачев.

— Когда я в последний раз видела Шкловского, он работал в кино.

— Историки литературы, — сказал Горбачев, — пишут романы или работают в кино, а я решил всецело уйти в историю литературы. Символисты, например, брюсовской линии…

Литературная неурядица, по-видимому, выражается в том, что каждый занимается не тем, чем ему свойственно

заниматься, — хотела я сказать, но воздержалась.

Вчера вечером в переполненном трамвае меня столкнуло с Иваном Ивановичем Соллертинским. Этот уже прямо спросил:

— Не пишете ли вы роман о Чаадаеве?

— Нет, — сказала я, — я пишу совсем другой роман.

— Не едете ли вы в Институт истории искусств?

— Нет, я больше не имею к нему отношения.

Оказывается — он ехал туда заседать по поводу переименования ГИИИ в Академию искусствознания в связи с ликвидацией и передачей в Комакадемию и в Институт агитации ИРКа, недавно переименованного из ИЛЯЗВа.

Эта стихийная игра имен всегда ассоциируется у меня со стихийным стремлением к переезду из одной комнаты в другую и обратно, которым одержимы отделы ГИЗа.

Гриша <Гуковский> рассказал о желтом французском романе с эксцентричной и добродетельной русской девушкой и замечательным предисловием. «В характере героини нет ничего неправдоподобного, — пишет автор, — так как все это совершенно в русских нравах. Героиня самой их популярной комедии „Горе от ума“ каждую ночь проводит с молодым человеком, не занимаясь ничем, кроме музыки. И в течение ста лет в России никто в этом не усомнился».

Без разговора о современности для нас сейчас не только пресна большая проза — роман, но все вплоть до лирических стихов. Самое главное из Пастернака — «Высокая болезнь». Прекрасная любовная лирика Пастернака в «Новом мире» прекрасна, как пятнадцать, десять и пять лет тому назад. Она больше не помогает и не мешает жить. Другое дело — последние стихи Мандельштама.

Вообще же, есть книги, которые мы читаем с разной степенью удовольствия, и книги, с которыми мы живем. И тогда не об удовольствии речь, а о том, как книга распорядится нашим сознанием. Так у меня было в разное время и в разной степени с Толстым, с Прустом, с Гейне, с Пастернаком, кажется с «Zoo», отчасти с «Confessions»[5] Руссо. Таких книг, перерастающих себя и растущих дальше в человеческой жизни, по-видимому, нет сейчас и на Западе. Если бы были, мы слыхали бы о них, как мы слыхали о Прусте задолго до того, как смогли его прочитать. Должно быть, это признак того, что гуманитарная культура отодвигается на третьи и четвертые места. Во Франции и в Америке по-прежнему много хорошо написанных книг… но все это не насыщает.

В ИРКе Малахов сказал: Коварский — не наш, он что-то барином ходит. Степанов действительно старается, но за ним надо присматривать. Кроме того, есть еще Бухштаб и Гинзбург, которых никуда не пускают, но надо следить внимательно, как бы они куда-нибудь не проникли…

Недавно у него зарезали книжку или предисловие к книжке, где он между прочим написал: «…классовая борьба в совхозах…»

Н. Л. перевернула расхожую формулу. Она говорила: «Si jeunesse pouvait, si vieillesse savait…»[6].

---

Вот уже в течение нескольких лет почему-то к Новому году скопляется гнет. Теперь это главным образом отмирание импульсов, профессиональная ущемленность.

У меня нечто вроде гриппа, шум в голове, и ничего не слышу правым ухом. Это состояние, позволяющее при желании ходить по редакциям и на службу, с поправкой на дурное самочувствие, а при желании позволяющее заболеть. Я поспешила заболеть, и это меня успокаивает. Успокоению, как род загородки, способствует больное ухо (я все-таки надеюсь не оглохнуть?).

Главная тяжесть, должно быть, от книги, которая почти что месяц безответно лежит в редакции, где с ней что-то делают злые люди. Собственно, делать они пока ничего не могут, но они думают о ней грубо и небрежно, и это преследует меня, — вплоть до физической жалости к рукописи, к 220 страницам, отпечатанным на машинке. Все-таки я почти никогда не теряю сопроводительного ощущения, что жить хорошо и интересно, и вообще стоит того. Я теряю это ощущение только когда переутомление превышает у меня ту норму переутомления, которая принята в нашем быту.

Мы пишем и знаем, что бывают разные случаи: книгу не примут и ничего не заплатят; заплатят аванс и не напечатают; заплатят 60 % и не напечатают; не напечатают — и заплатят все; продержат полтора, два, три года и напечатают. Во всех случаях попутно на нас будут кричать и во всяком случае радости не будет. Ни в одном из всех возможных случаев не будет ни тени радости.

С того момента, как я сдала рукопись и получила первые намеки на «необходимость серьезной переработки», — мною утрачены все отрадные ощущения: ощущение сделанного дела,

ощущение удачи, ощущение открывающихся возможностей. Мне только скучно оттого, что нечего делать, и противно оттого, что люди, не заслуживающие доверия, по-хозяйски роются в словах, которые я написала. Остаться с документально-детективным романом на руках не почетно и не трагично, а глупо. Не говорю уже о деньгах. Я как-то полгода писала заведомо бесплатную статью о Прусте. Но есть книги, на которых даже с историко-литературной точки зрения необходимо заработать — это своего рода жанровый признак.

Труду творческому по преимуществу (наука, искусство) свойственны специфические опасности и соблазны. Например, опасность бесплатной работы по формуле: все равно не могу не писать! Мы согласны творить бесплатно, но мы не согласны мало зарабатывать. Немногим счастливцам удалось увязать творчество с профессией и профессию с заработком. Большинство из нас живет в литературе и литературой, простодушно смешивая рвачество с бескорыстием. Преобладающее ощущение — занятость, непрестанная тоска по недостающему времени.

Кроме труда и отдыха есть еще любовь. Но любовь наша исторически не характерна и не оформлена идеологически — она не определяет ни быта, ни бытия. Мои современники счастливую любовь задвигают, а несчастную перетирают на ходу.

Взамен несчастной любви предшественников нам придумана мука несчастной профессии. Тяжесть бесплодной творческой воли. Черная тень от нерожденных вещей.

> Il y a deux malheurs au monde:
> celui de la passion contrariée
> et celui du dead blank (vide complet).
>
> *Stendhal*[7]

Как если бы из меня выкачали воздух. Я сплю до двенадцати, и в комнате всегда темно, и на улице всегда темно. Впрочем, улица до меня никак не доходит. Я не знаю, как выглядит зима. А я думала осенью, что у меня будут лыжи. Вместо этого не хватает энергии пройти от Канала до Садовой.

Сегодня ночью я не спала часа два и на меня нашли страшные мысли. Днем человек беспрестанно отвлекается разрешением каких-то мелких задач, — мысли о жизни по-настоящему мучительны ночью, когда нельзя ничего предпринять.

Я поняла, что то, о чем избегали думать вплотную, — случилось, что за полтора-два года многие из нас и я тоже

потеряли специальность. В пору, когда расшатались понятия потери положения и имущества, нам осталось терять специальность и терять человека.

Оказалось, что это не временное занятие другими делами, а непоправимое перерождение судьбы. Что без взаимосвязанности и преемственности собственных занятий и интересов — мы отвыкли; скажем прямее: перестали иметь отношение к истории литературы и к науке вообще. Это следовало заметить давно. Только это открытие, которое нелегко додумать до ясности, а потом проходит еще полгода, пока выговоришь его словами. Люди перерождались, холодели, забывали, под условным прикрытием откладывания. Совсем не так давно, до смешного даже недавно я впервые выговорила словами, что моя диссертация — книга о поэзии 1830-х годов — никогда не будет написана.

Остальное я поняла только на днях — и странным образом. Я очень долго писала разные вещи подряд и читала по поводу. Около 8-го декабря я перестала писать, и тут обнаружилось вдруг, что я не знаю, что мне читать, и что у меня нет интересов. Для человека, который десять лет был специалистом, — это одно из тех невозможных ощущений, какие бывают только во сне. Что это, vide complet?

Дикая свобода — бесспорный симптом прекращения той непрерывности интересов, которая составляет основу сознания человека, имеющего отношение к науке. Мне больше не интересно! — прошло полтора года, прежде чем я выговорила это словами.

Я не имею отношения к науке, ни к литературе. По-видимому, я вольный литератор, с которым довольно охотно заключают договоры на детскую книжку о консервах. Таких сейчас много, это нечто среднее между литературным спецом и халтурщиком.

Вчера со страху мне даже показалось, что мне вообще не хочется читать и никогда уже не захочется. Конечно, это безумная аберрация переутомленного мозга. Глядя в темноту, я думала, как лучше написать об этом. Инстинкт осмысления и реализации в слове этой ночью удержал меня от отчаяния. Так человек утилизирует обиды, горе и даже пустоту, обращая их в материал.

В тот час, когда и это перестанет быть интересным, — я погибну; я буду писать маленькие книжки по договорам с «Молодой гвардией» и преподавать на рабфаке; я не буду читать книги за отсутствием побудительных причин.

Я смею думать, что не копаюсь в глубинах, как таковых, и вообще не занимаюсь собой. Я ощущаю себя как кусок вырванной

с мясом социальной действительности, которую удалось приблизить к глазам, как участок действительности, особенно удобный для наблюдения. Действительность, мучившая и растившая меня, — несмотря ни на что она вошла в кровь, приспособила к себе мысль и стала необходимой. Она дала нам такую степень познания и такое отношение к вещам, от которых не откажешься за многие соблазны.

Икс, собираясь 15-го выступить в ИРКе с докладом о «социальных корнях формализма», говорит: «Надо иметь мужество признаваться в своих ошибках». Б. сказал по этому поводу:

— Я перестаю понимать, чем, собственно, мужество отличается от трусости.

## 1932

На днях с Кс. читали Блока (II и III том). Я открыла книгу с недоверием, осторожно, как открывают старые дневники. Оказалось — это доходит, и очень сильно. Но только доходит уже вроде Аполлона Григорьева, то есть с явственным привкусом стиля и историчности.

Слабохарактерные люди склонны к крутым и непоправимым разрывам. Они ликвидируют отношения, не умея их регулировать. Чтобы упорядочить отношения, нужна воля. Для того чтобы рвать, не нужно ничего, кроме оскорбленного самолюбия, усталости, потребности выговорить давно отстоявшиеся слова. Этой внезапной легкости я боюсь в деловых разговорах. Легкость накатывает волной, подымает высоко; на какое-то быстротекущее мгновение становится до восторга приятно и до бесконечности все равно — и вы разваливаете вмиг налаженное дело. Так люди теряют уже обещанные гонорары. Так мы безрассудно ссорились с метрами. Все та же нездоровая легкость, ощущение ложного и туманящего подъема — как на качелях.

Поспешные разрывы, сердечные и деловые, сопровождаются временной подменой действительности — как в картах. Особенно если играешь фишками. На время игры суммы теряют бюджетный и бытовой объем. Остается соотношение незаполненных величин, условных знаков азарта. Игра кончилась, и действительность возвращается к нам достоверностью проигранных денег, непринятых рукописей, отношений, погубленных навсегда.

Анна Андреевна в высшей степени остроумна и безошибочно реагирует на смешное. И это совсем не понадобилось ей в стихах.

Жить без профессии нельзя. Единственный ресурс заполнения и осмысления жизни — работа. Работа должна быть поднята если не до пафоса, то хоть до профессии, иначе она раздавит бездушностью.

А. Л. говорил на днях: «В конце концов, из чего я бьюсь в тресте, сокращая и еще сокращая накладные расходы. Ну, будут или не будут расходы…» Я ответила: «Если вы не будете лезть на стену, сокращая эти расходы, чем вы будете жить? Можно халтурить попутно, но жить халтурно нестерпимо».

Классическая книга выделяла из себя ходячие знаки эмоциональных и социальных смыслов. В сознании интеллигента она жила плотностью общекультурных ассоциаций. «Евгений Онегин» — что это, собственно? И из чего это состоит? Из статей Белинского? Из смерти Пушкина на дуэли? Из оперы, где перед гибелью Ленский с чувством поет пародийные стихи? Из стихов Пушкина? Из стихов Лермонтова?

> Воспетый им с такою чудной силой,
> Сраженный, как и он, безжалостной рукой…

Поди разбери. Поди прочитай «Онегина», как такового. В интеллигентской среде это удавалось разве детям, читающим книги, которые им еще рано читать.

Другое дело — человек приобщающийся. На рабфаке я ужасалась сперва, на вопросы об основных свойствах Манилова или Плюшкина получая порой самые неподходящие ответы. Потом я привыкла и поняла: при отсутствии культурно-исторической апперцепции мгновенная связь понятий не необходима. Оказывается, толковый человек нашего времени может прочитать «Ревизора» и не заметить, что Хлестаков врет. У него нужно еще создать апперцепцию. Это и есть дело преподавателя.

В годы военного коммунизма, когда положительные наследственные профессии оказались сугубо непрочными и частью неприменимыми, интеллигентская молодежь толпами шла в аккомпаниаторы, в актеры, в писатели, в журналисты, обращая в профессию домашние дарования и развлечения. Здесь была какая-то легкость и мгновенная применимость, что-то похожее на сумасшедший напор и переменчивость времени, что-то

соответствующее зрелищу навсегда обвалившегося старого мира. К тому же это был хлеб, и никто тогда не догадывался, какой это трудный хлеб. В аудиториях, куда студенты приносили по полену дров, а профессор — краденую электрическую лампочку; за кулисами, среди декораций, написанных в лучшем случае на собственной простыне, среди безумного реквизита, извлеченного из семейных сундуков; в редакциях, где в одном лице совмещались обязанности писателя, художника, редактора, выпускающего и рассыльного, — хлеб науки и искусства казался веселым хлебом.

Впрочем, я тогда не занималась наукой, а к искусству имела отношение близкое, но не прямое. Я дергала тогда занавес в полулюбительском театре. И когда там шла моя пьеса в стихах, в которой главную роль играл скелет, я тоже дергала занавес, — что, вероятно, единственный случай в истории мирового театра.

Анна Андреевна очень больна. Три дня лежала под морфием. «Не понимаю морфинистов. Перед вами опускается вроде темной занавески. И по ней проходят разные вещи — совершенно вам ненужные. Например, большая зеленая муха. Ну к чему это?»

Есть род людей, обреченных на неудачу: они дают любимому человеку все, чего тот от них хочет, — и еще сверх того. Им ничто не поможет.

Икс говорила Игреку:

— Поймите, — мне неинтересно. Потому что, если я вдруг скажу, что мне не нравится ваше пальто, вы его тут же на морозе снимете и забросите в подворотню.

## *Психологический разговор*

— Сегодня — первое… Этот человек вас любит? Его самолюбие ущемлено?.. Он позвонит вам девятого.

— Боже мой… почему?

— Когда человека мучит самолюбие и любовь, он назначает интервалы. Мы мыслим сейчас вместо недель — декадами. Декада, следовательно, естественный срок. Значит — десятого. Но когда человека мучит любовь, он ослабевает почти всегда накануне срока.

Для меня шутка ни в какой мере не является выражением легкости существования. Шутка для меня выражает скорее семантическую сложность бытия; отсутствие точных смыслов,

вечное несовпадение слов со словами и слов с предметами.

Шутка не исключает и не исключается никакой катастрофой. Шутка не исключается ничем, кроме глупости или абсолютных истин. Абсолютные истины состоят из слов, совпадающих со своим предметом.

Трудно постичь человека, умирающего равнодушно. Но понятен человек, способный перед смертью шутить.

Первое страдание так же качественно неповторимо, как первая любовь, первое сражение, первая корректура. Первое страдание (в любой области — эмоциональной, профессиональной…) застает врасплох и вызывает удивление и протест. Удивление и протест запоминаются навсегда как его специфика.

Кроме того, первое страдание похоже на процесс выдергивания здорового зуба. Оно должно развалить еще крепкую человеческую душу; и душа сопротивляется. С годами вырабатывается терпеливое отношение к душевной боли. И душевная боль с годами перестает непременно идеологизироваться, эстетизироваться. Она может переживаться теперь как временное состояние психики, с которым нужно обращаться так, чтобы оно как можно меньше мешало делу.

Психологические неурядицы как скарлатина — если уж нужно это проделать, то чем раньше, тем лучше. Первое страдание в зрелом возрасте крайне опасно и разрушительно для организма.

Шварц говорит в Ленкублите за обедом:

— Есть все-таки в жизни тихие радости. Вчера, например, что-то попало в глаз. Потом, когда оно вышло, полчаса испытывал такое облегчение!.. Сегодня опять-таки подавился…

Мое «Агентство Пинкертона» (настоящее сыскное агентство с секретным назначением — борьба против рабочего движения) — документально-детективный роман для юношества; этим все определено заранее и все прозрачно.

Документальные источники и литература просвечивают при каждом движении. Все просвечивает и напоминает (суть именно в напоминании) не книги, которые можно назвать по имени, но абстрагированные жанровые начала. У меня было много уже придумано про жизнь; много заготовок, в частности описаний. Следовательно, неотступный соблазн — вставить. Каждый раз это была совершенная неудача, и приходилось все выкорчевывать как можно скорее. После выкорчевывания оставались следы, на

которых меня ловили Шварц и Олейников, потому что они очень умны.

— У вас попадаются фразы, которые почему-то неловко слушать, — говорил Олейников и указывал фразу пальцем. Это и была редакторская работа. Он каждый раз попадал на инородное тело наблюденной реальности или личного опыта, залетевшее в книгу двойных отражений.

Как можно полтора года с усилиями, с интересом писать не свою книгу? Олейников отвечает на это:

— Есть разный писательский опыт. Есть неглавный опыт правильно сделанной условной вещи.

Когда я пожаловалась Боре, что написала чужую книгу, он ответил:

— Нет, отчего же… Это похоже. Все герои острят.

---

Боря: — Как же с твоей книжкой?

Я: — Не знаю. Ответа еще нет. Но мне это вдруг стало неинтересно.

— А если все-таки она выйдет? Может быть, станет опять интересно?

— Не знаю… Очень может быть.

— Но ведь ты на этом конфликте построила жизненную теорию профессиональной работы и творчества про себя. Как же с этим?

*(Пауза)*

— Знаешь, в конечном счете лучше, если пропадет теория, чем если пропадет книга… Но если пропадет книга — останется, по крайней мере, теория.

Олейников уверял, что завредакцией возьмет мою сторону в деле о «Пинкертоне».

— Так он ведь, по вашим словам, за книгу-учебник?

— Это было раньше. Вы знаете, люди сегодня говорят одно, а завтра другое.

— А послезавтра что они говорят?.. Самое неприятное — попасть на послезавтра.

Разговор с Борисом <Бухштабом> об Олейникове:

Б.: — Он удивительно умен. Он как обезьяна — все понимает и говорит мало…

— Ты уверен в том, что обезьяны мало говорят?

— Так думают дикари. Они думают, что обезьяна не говорит, чтобы ее не заставили работать.

— А, вот это на Олейникова… действительно, очень похоже.

Вольпе — бакинец. В начале 1920-х бакинскую молодежь наставлял Вячеслав Иванов. Вольпе вдруг зачитался Некрасовым и решил, что Некрасов замечательный *забытый* поэт. Вольпе прибежал к Вячеславу Иванову: «Вот Некрасов — замечательный, несправедливо забытый поэт». — «Вы думаете, несправедливо?..» — задумчиво спросил Вячеслав Иванов. (Рассказал Вольпе.)

---

«Человек должен быть всегда погружен в свои мысли, если хочет чего-нибудь достичь…» — писал Левенгук. Конечно, работа, над которой человек думает, пока пишет (как на службе), — многого не стоит.

N. говорит: «Разговаривать со знакомыми это сейчас исследовательская работа».

Все служащие академическо-литературных учреждений подразделяются сейчас на два вида: те, которые хотят уйти со службы и их не пускают, и те, которые хотят остаться на службе — но их выгоняют.

Небывалое взаимо- и самосожжение ученых и литераторов в недалеком будущем должно прекратиться. Кто-то сказал, что оно прекратится — за отсутствием сражающихся. Кроме того, перестанут выходить книги, потому что опубликованная книга — это почти самоубийство. Придется либо закрыть литературу, либо успокоить обезумевших от страха людей.

После критики Z. немедленно написал доклад о футуристах, в котором, во-первых, получилось все наоборот, а, во-вторых, подверглись разоблачению покойники и живые — особенно снабжавшие его материалом.

Прежде чем выступить в ИРКе, он прочитал доклад Вите. Посредине чтения вдруг спросил:

— А может быть, так неудобно?

— Не знаю, — сказал Гофман (должно быть, своим дидактическим голосом), — я ведь этим не занимаюсь; так что мне трудно сказать, что именно удобно, а что неудобно.

Бедный Z., вероятно, так и ушел в уверенности, что Виктор «не занимается» историей литературы.

На покаянии в Институте историк Р-ль сказал:

— Всякая чистка и проверка ценна для меня тем, что она нейтрализует то объективное зло, которое я представляю.

К. имеет мужество признавать ошибки Бориса Михайловича Эйхенбаума.

Речью Постышева стихийную проработку затормозили раньше, чем можно было ожидать. Вчера все и всюду говорили о выступлении Марра. Марр, по-видимому, очень кричал. Марр — ученый. Он, вероятно, догадывается о том, чего стоит наука без упрямства и слепоты. Сейчас некоторые примитивные вещи, произнесенные публично, производят потрясающее действие. Он между прочим сказал, что в лингвистике иногда нужно иметь мужество не признавать свои ошибки.

Детской секции, как видно, приходит конец. Сегодня — экстренное заседание бюро. Тат. Алекс., Данько и другие — волнуются. Как говорит Б.: «Они никогда не теряли серьезных вещей».

О, сколь печальный иммунитет! Иммунитет больших потерь, упавших на самое начало жизни, на 20 лет. А в 23–24 года испытать такое ощущение деятельности (не в смысле достижений, конечно, а в смысле потенций), чтобы к 30-ти годам всякое отношение к человеку и всякое дело казались пресными.

— Если «Молодая гвардия» доведет меня до точки, я обращусь в Издательство писателей.

— Это им совсем не подходит.

— Почему?

— Они ведь издают только идеологически невыдержанные книги…

— Правда — моя книга идеологически выдержана… Но это компенсируется моей фамилией.

О, наши имена! Они недостаточно известны, чтобы это могло принести нам честь. И достаточно известны для того, чтобы испортить жизнь.

Разговор с Брискманом у кассы ОГИЗа.

Я: — А я расплевалась с Библиографическим институтом. Больше не аннотирую.

Б: — Вам что! Вот я так действительно счастлив, что с ним расплевался (он там служил).

Я: — Хорошо вам, что вы сели в спокойное место (он служит

теперь в Публичной библиотеке).

Б: — Да. Если бы только они лучше платили…

Я: — Вы не правы. Платят за беспокойство. Например, на рабфаках можно спокойно работать, потому что ставка 2 р. 75 к. Но получать 4.50 в час и выше — уже вредно для здоровья. Заметьте, даже Библиографический институт стал беспокойным только с тех пор, как они в три раза повысили расценки.

ИРК занимает теперь верхний этаж бывшего Зубовского дворца. Назаренко сказал про сотрудников Института истории искусств: «Эти голубчики утонули в первом этаже и выплыли в пятом!»

Икс кричит, что теперь он должен быть жесток до конца; он должен поставить точку над i, сжечь свои корабли, проклясть все, чему поклонялся, и пр. В результате Икс помогает Малахову травить Эйхенбаума, приняв позу человека, который имеет силу воли и дерзость мысли не щадить вскормивших его учителей.

Все это не столько ложь, сколько защитная окраска, которую слабые души выделяют против собственной интеллигентской совести.

Религиозный интеллигент не постится, но разговляется, — и разговляясь думает сделать угодное богу.

11-го я попала на пленум правления Союза советских писателей (ВССП). Оглашался список исключенных и условно перерегистрированных. Что делать с Ивановым-Разумником? Одни считали, что нужно предложить ему признать свои ошибки; другие находили это бесполезным.

— Под какими условиями можно оставить Иванова-Разумника в Союзе писателей?

— По-моему, — сказал Садофьев, — при условии, что он откажется от литературной деятельности.

Я теперь поняла, чем раздражает А. — он бездарный истерик. Душевная неуравновешенность терпима только как последствие или условие талантливости. Как общий источник, из которого возникает то несносное поведение, то творческий акт.

Мы (Александр Леонович и я) обменивались с В. опытом писания детских книг: «консервы» и «техника безопасности». Мы сказали, что у В. замечательно написано, а В. сказала, что у нас очень хороший материал. В. говорит по этому случаю: «Помните о

бревне в своем глазу и о соломинке? Когда пишешь такую книгу, получается наоборот. Чужая книга непременно кажется соломинкой, а собственная бревном».

Человек может жить не думая по целым дням. Когда из головы выходят случайные мысли и прочая мелочь — в ней ничего не остается. Он смотрит на людей, на вещи, даже читает, и по этому поводу ему ничего не приходит в голову. Очень странное состояние… Вроде того как если бы есть, не ощущая никакого вкуса.

Мироощущение спеца, а не строителя. Отношение складывается из сочувствия, из созерцания и из профессиональной честности (тот именно вид честности, который я могу теоретически обосновать). Строители занимаются политикой и техникой. В литературе пока преобладают имитаторы, спецы, халтурщики и прихлебатели.

Высокий профессионализм — обращенное в профессию творчество. Это мудрено в условиях, когда самые главные для человека вещи не оплачиваются и не печатаются. Иногда даже оплачиваются (по договорам, заключенным в силу редакционного недосмотра), но не печатаются никогда.

Хороши Толстой-помещик и Шкловский-шофер. То есть хорошо, когда вторая профессия не похожа на первую и поэтому служит ей источником опыта и материала. У нас вторая профессия пародирует первую. Преподавание литературы в профшколах — травести науки. Книжки о консервах и дирижаблях — травести писательства. Профессионализм подмененных профессий прививает дурные привычки и подлые слабости. Мы теряем вкус к знанию и опыту, накопленному впрок; к трудам, исчисленным на годы вперед; к вещам, не нуждающимся в заключении договора. О, торопливые, рабские ухватки глупого практицизма!..

Уберечься трудно. Нужно слишком много денег. У нас на этот счет развито фатовство. Людей, зарабатывающих 120 р. в месяц, не уважают. Мы хвастаем гонорарами как последним неверным знаком признания. Все-таки — это рвачество par depit[8]. Я торгуюсь и подписываю экзотические договоры; но будь у меня свое бесплатное дело, я села бы есть суп и кашу.

Ситуация не позволяет двигаться по той линии, где у человека расположены мысли, ценности и самолюбие. Помню отчаяние осени 28-го года. Сборник о поэзии XX века, за который уже получен аванс, издать нельзя, сборник с обериутами («Ванна Архимеда») тоже издать нельзя. Что это — гражданская смерть?

Потом оказалось, что несчастье произошло от попытки продвигаться по главной линии. Что не возбраняется ходить боковыми линиями, и что за это платят деньги и дают карточки I категории А. Оказалось, что способность писать находит довольно широкое применение, если только она направлена на предметы, которые не волнуют писателя. Борис Михайлович <Эйхенбаум>, вероятно, сейчас единственный историк литературы, который с научной целью занимается наукой. Он до сих пор пишет о самом для себя главном; и это выглядит старомодно.

Начинать, кстати, проще, чем продолжать. Мне легче сейчас написать роман, чем статью. И легче написать роман мне, чем Шкловскому.

Судьба писателей похожа на судьбу учреждений. Университет душат претензии, в колесах у него застревают обломки времен, когда там учили других людей, с другой целью. В техникумах, рабфаках, профшколах, комвузах, напротив того, можно работать, потому что они образовались из предпосылок эпохи, которую должны обслужить. Если они плохи — их нужно улучшить.

Лесков, Андрей Николаевич, за неизданные рукописи отца запрашивает высокие цены. В издательствах ему говорят:

— Помилуйте… вещи ведь все-таки посмертные…

Андрей Николаевич взмахивает руками:

— Да, но стиль-то, стиль-то каков!

Боря говорит:

— Для спокойствия очень важно состоять в нетях в каждый данный момент. На службе говорить: «Я, видите ли, главным образом детский писатель». А в ВССП: «Я, собственно, педагог».

На рабфаке мое инкогнито раскрыл новый сослуживец. Говорили о Лейтингер.

— Знаю ее, — сказала я, — я ей сдавала истмат.

— В Герценовском?

— Нет.

— А где?

— В Институте истории искусств.

*(Пауза)*

— Скажите… вы Лидия Гинзбург?

— Да.

— Знаю. Читал ваши работы.

*(Пауза)*

Наклоняясь к моему уху, он говорит:

— Между нами говоря, формалистический метод.
— Естественно. Я ученица Эйхенбаума.
Он (тихим и грустным голосом):
— Надо изживать, надо изживать…

При ближайшем рассмотрении слово оказалось каламбурным:

Не помогло рапполепство.
За упокой РАППá божия… *и проч.*

Я не имею никаких иллюзий. Я пережила его ликвидацию бескорыстно, как удовольствие этического порядка.

Творится мифология, злободневная и скоропреходящая. Один из московских мифов привез Брик: в ночь на 23 апреля Авербах ночевал у Шкловского — единственное место, где — он был уверен — его не станут искать.

---

— Товарищи, товарищи, — сказал Шкловский сердито, — вы не правы. Нельзя писать для того, чтобы зарабатывать. Надо зарабатывать для того, чтобы писать.

Уверяют, что 25 апреля кто-то из лапповцев выступал на заводском литкружке с речью о гегемонии РАППа. Голоса с мест:
— Бросьте! Нет вашего РАППа.
— Что такое?
— Почитайте газету. Постановление ЦК. РАПП ваш закрыт.
— Постановление!.. Не может быть!

Мне хотелось бы подсмотреть изменение мозговых извилин, душевную судорогу среднего рапповца, читающего постановление от 23 апреля. На протяжении отрезка времени, нужного, чтобы прочесть пятнадцать строк газетной печати, человек этот должен превратиться в собственную противоположность, сгореть и родиться из пепла готовым к тому, чтобы говорить, утверждать, признавать, предлагать обратное тому, что он говорил десять лет подряд и еще тому назад две минуты.

На прениях по докладу Слонимского о поездке в Москву — М. К., обращаясь к рапповцам, простодушно сказал:

— Побываете вы теперь в нашей шкуре, увидите, каково перестраиваться.

Олейников говорит, что Олеша плохой писатель, и доказывает это цитатой: «Вещи падали по законам физики».

— Я ясно понял, что он такое, когда где-то у него прочитал: «Я умру среди заноз и трамвайных билетиков», — подумаешь, какая изысканная смерть.

Олейников говорит, что из «Молодой гвардии» его выгнали за безыдейное ржание.

Заболоцкий принес в Издательство писателей материал на новый сборник. В конце концов сказали, что попробуют, но кое-что нашли неудобным.

Неудобным нашли:

Осел свободу пел в хлеву.

Заболоцкий сел и тут же исправил:

Осел природу пел в хлеву.

Нашли неудобным: «в красноармейских колпаках». Заболоцкий исправил: «в красноармейских шишаках». Нашли неудобным: «стоит как кукла часовой». Заболоцкий немедленно исправил: «стоит как брюква часовой». Но это нашли еще более неудобным.

Анна Андреевна массами получала письма от незнакомых людей. Еще в Мраморном дворце она как-то получила письмо, в котором человек выражал настоятельное желание с ней встретиться. Письмо заканчивалось: «Если неудобно дома — выйдите на мост» (имелся в виду Троицкий мост).

— Очевидно, он думал, что на мосту удобно, — спокойно говорит Анна Андреевна.

Я написала не свою книгу («Агентство Пинкертона»). Как кто-то сказал: сознательный литературный фальсификат. Настоящая вещь — выражение и поиски способов выражения, заранее неизвестных. Здесь — условия заданы и вообще даны те элементы, которые являются искомыми в процессе настоящего творчества. Здесь нужно только что-то сделать с этими элементами — и получается вещь не своя, но для самого себя интересная; творческое удовольствие особого качества. Удовольствие состоит в отыскании правильного соотношения уже

существующих элементов. Вам почти кажется, что даже само соотношение уже существует где-то: как правильное решение задачи на последней странице учебника.

Сразу с разных сторон, разными, но одинаково настоятельными путями, в особенности путем исключения возможностей, — приходят к выбору жанра. Это даже не выбор, а отбор; естественный отбор, в своем роде.

Книга историческая, книга для детей, книга мелодраматическая и авантюрная, книга с заранее известными выводами и готовым отношением к действительности — все это виды защитной окраски и приспособления. Главное же — снятие творческой ответственности. Между писателем и его книгой выстраиваются промежуточные и вспомогательные ряды. Пройдя через них, книга становится отражением этих рядов и перестает быть выражением человека. Человеку, создавшему литературную условность, легко дышится. За его идеологию отвечает государство, за материал история; за его литературную манеру отвечают жанры. Жанровые абстракции — авантюрная, мелодраматическая, историческая и проч., и проч. Сам он только разрешал задание, то есть передвигал элементы внутри жанра, внутри темы. Сам он отвечает только за ловкость своих движений.

Это неплохая и небесплодная школа для людей, пишущих потому, что они избрали себе профессию писателя. И это страшный, непоправимо опустошающий разврат для писателя, то есть человека, который пишет, потому что не умеет иначе относиться к действительности.

Любопытно следить, как жанр рождается из обстоятельств. Из отсутствия бумаги. Из исключения тем не только враждебных, но и нейтральных. Из социального заказа, который становится социальным соблазном — соблазном нужного дела или точного ответа на вопрос. И тотчас же опять взрыв нетерпения и бросок за писательской свободой. Когда свобода невозможна, суррогатом свободы становится условность. Оказывается, что условные темы менее обусловлены, потому что в них меньше контактов с действительностью. Писатель бежит от реальной темы к условной. По дороге он стукается лбом о многочисленные закрытые двери, пока не влетает в полуоткрытую дверь детской литературы, за которой меньше опасных контактов.

Неясно, что будет с нашей литературой впредь. Но последний ее период был отмечен вопросом: как сочетать социальный заказ с личным опытом и интересом?

Трагедия рапповцев (искренних) была в бездарности — если

это можно назвать трагедией. Трагедия попутчиков была в том, что они шли туда же, но не оттуда. Шли от вещей, которым они научились до революции, помимо революции, сбоку у революции. Эти другие вещи и составляли авторский интерес. Потом к внутреннему интересу подбирается наиболее подходящий социальный заказ, и получается вздор. Я хочу сказать, что мы не можем хорошо написать о колхозе, если наш импульс — деревенские пейзажи.

Данько, например, — «Мир искусства». У нее два импульса, один авторский — старые вещи, другой общегражданский — желание быть с временем заодно. На перекрестке двух импульсов она пишет «Историю Зимнего дворца», где изображается, какие цари были скверные и в каких красивых комнатах они жили.

Когда писал свой роман Сережа Хмельницкий, его занимала археология, средневековая романтика, звучание латинских и старофранцузских слов. Материализм и восстание ткачей в Тулузе — это социальный заказ, честно воспринятый и плохо приделанный к авторскому импульсу. Умирает Вега. Император Карл говорит придворным: «Умер великий полководец и поэт; оплачем первого, потому что вторые — бессмертны». В книге, естественно разворачивающейся из романтического импульса, нельзя не увлечься такой фразой. Но социальный заказ? И Сережа добавляет: «Император сказал это потому, что, как все императоры, он считал, что должен сказать что-нибудь при таких обстоятельствах». Совершенно некстати Сережа разоблачает императора Карла, как Толстой Наполеона. Хмельницкий честный человек, его сочувствие тулузским ткачам и материализму не внушает сомнений. Внушает сомнения согласование темы с заказом.

Выбор темы в наши дни одна из труднейших проблем литературного дела. Наибольшим распространением пользуются два способа.

1. Исходя из социального заказа, писатель из наличных тем выбирает самую стопроцентную. Этот способ порочен, потому что тема не работает без зарядки авторским импульсом. Так получаются вещи идеологически выдержанные и скучные.

2. Писатель выбирает тему по признаку смежности и с авторским импульсом и с социальным заказом. Способ этот порочен, потому что в произведении получается чересполосица. Одна полоса — под социальный заказ, и она выглядит уныло. Другая полоса — под внутренний опыт писателя, и она выглядит испуганно. Следущая полоса опять под заказ и т. д. Так получаются вещи идеологически невыдержанные и скучные.

Пастернак, Мандельштам, еще два-три человека писали более

или менее прямо о том, что для них было важно, и это походило на дерзость. Дерзости дозволены большим людям (это исторически справедливо). Что делать обыкновенному человеку? Обыкновенный человек должен отказаться от мысли писать (для печати) о вещах, интересующих его по преимуществу. Он должен начать с темы и выбрать тему, которая поможет ему обойтись без лжи, халтуры и скуки.

Тему нужно уважать и беречь. Определенные идеологические комплексы стали уже жанровым качеством печатной литературы нашего времени. Это нужно понять. Правильно решаемая задача не терпит последующего подбрасывания идеологических элементов. Идеология должна сразу быть в теме, двигаться с темой вместе; идеология должна обладать сюжетообразующей силой. Отсюда исторические романы и удачные книги для детей старшего возраста.

Для книги, написанной из внутреннего опыта, тема почти безразлична. Потому что каждая вещь может послужить поводом для выражения отношения человека к действительности. Другое дело условная литература. Выбирая для нее тему, помните, что вещь должна быть честной, — честной, как преподавание русского языка в вечерней школе для взрослых. Выбирайте тему достаточно близкую, для того чтобы можно было писать, и достаточно далекую, для того чтобы можно было печатать.

Пожалуй, я буду присматривать тему — чтобы без лжи, без халтуры, без скуки. Но никогда я не соблазнюсь жанром авантюристов — годными для печати травести главного внутреннего опыта.

Становится все яснее: писать для печати нельзя — можно только халтурить. Несомненны только две вещи: бескорыстное творчество и халтура. Во всяком случае ни то ни другое не унизительно. Наша сложная постройка из видов промежуточных между творчеством и халтурой — не оказалась ли она порочной?

Пушкинская формула «пишу для себя, печатаю для денег» разорвалась. Одни вещи пишу для себя, другие печатаю для денег.

Если зарезали стихи Заболоцкого, то Заболоцкий компенсирован тем, что он написал замечательные стихи. На какую компенсацию могу я рассчитывать, если у меня зарежут «Пинкертона»?

Прошлой зимой ВССП устроил чашку чая с заключением договоров на соцсоревнование. Стенич сказал: «Я выпью чашку чая и уйду, потому что я рвач».

Сейчас литератору невозможно жить здоровой практической жизнью. Можно опуститься. Опускаться соблазнительно и легко. Как заснуть после горького и трудного дня. Удерживает только присущий мне с детства физиологический страх пустоты. Но если не опускаться — остается подниматься. Ликвидировать суету. Жестоко воспитывать себя для медленной, молчаливой работы. Работы без сроков сдачи рукописи в печать.

Маяковского годами попрекали тем, что Хлебников умер, а он живет, теперь Асеева и Брика попрекают тем, что они живут, а умер Маяковский.

Если когда-либо люди кровью сердца писали книги, то сейчас они печатают книги кровью сердца. Писательские муки, подъемы и катастрофы, непредвиденные аспекты вещей, карусель надежды и унижения — все это покинуло процесс творчества и начинается с момента представления рукописи в редакцию.

Во время прений по докладу профессора N. N. аспиранты ГАИСа обсуждали вопрос — существовали бы байронические поэмы Пушкина, если бы не существовало Байрона? Они высказали мысль, что форма «Кавказского пленника» была бы другая, а содержание то же самое. На что докладчик, не сморгнув глазом, ответил: «Товарищи, вы допускаете механистический разрыв между формой и содержанием». Когда бог хочет наказать профессора, он отнимает у него чувство юмора.

Доклад вызвал возражения, но был признан серьезной марксистской работой. Аспиранты ГАИСа восхищены тем, что у них собственный настоящий профессор, которого они воспитывают и поощряют. Как они академичны — аспиранты из ГАИСа! Как они уважают университетскую науку, переходящую на советские рельсы. До чего филистерские у них интонации. И как им все это неинтересно.

Есть люди, не умеющие страдать. К страданию приспосабливает привычка, психические склонности, социальная подавленность (угнетенным классам и группам исторически свойственно ощущать жизнь как сочетание закономерных бедствий и случайных и непрочных передышек).

При отсутствии надлежащих условий катастрофы плохо удаются. Нынешней осенью крушение произошло у Х. Она жаловалась в банальных и бессмертных выражениях на то, что она стареет, что жизнь проходит даром и скоро будет поздно. Она

даже советовалась со знакомыми по вопросу о том, разводиться ей или не разводиться.

Это было зрелище отчасти трагическое, — потому что всегда трагичны люди, особенно женщины, стареющие без всяких ресурсов — без быта, без семьи, без дела. Отчасти нелепое — настолько в ее психике, в прошедшей судьбе, в социальной ситуации отсутствовали те элементы, с помощью которых человек апперцепирует горе. Очевидно было, что она страдает урывками. Страдает, например, в 11 часов вечера, а в 4 часа дня за обедом забывает о том, что жизнь проходит даром и что надо разводиться (не забывается, а забывает, т. е. переходит к состоянию сознания, в котором элементы горя исключены, а не подавлены).

Организм Х. усваивал страдание так плохо, что в конце концов ей пришлось отказаться от переживаний этого порядка. Она уехала на два месяца отдыхать и по возвращении больше не страдает, хотя жизнь по-прежнему проходит даром.

Что им делать с нашей болью — этим людям не своего времени, которых старый мир задумал веселыми, праздными[9] и неспособными думать?

Они не могут ни побороть боль, ни терпеть ее в силу уверенности угнетенных в том, что жизнь заведомо плачевна; ни гордиться ею в силу уверенности интеллигентов в том, что боль почетна; ни обращать ее в опыт и материал.

Из всех ресурсов им оставлено одно удивление… Х. перед зеркалом мизинцем оттягивает кожу под глазом: Боже мой, сколько морщин… Что будет дальше? Дальше вы не будете их рассматривать. После тридцати лет люди перестают замечать у себя морщины под глазами.

Различаю три категории деятельности: творчество, работа и халтура. Прибавим к этому две категории возможных (или невозможных для нас) благ: активизация и деньги. Различные соотношения этих элементов и образуют формы нашего профессионального бытия.

На первой стадии (институтской) была установка на творчество плюс активизация. В высшей степени наивная установка, которая окончательно провалилась около 1928 года.

Вторая стадия характеризуется установкой на работу плюс активизация и деньги (профессионализм). Для меня — и не для меня только — эта установка провалилась в исходе 1932 года.

Начинается третья стадия, в которой я усматриваю сочетание творчества с халтурой (за халтуру платят). Халтура имеет перед поденной работой то преимущество, что она оставляет голову относительно свободной. Не хочу быть больше животным,

которое 10 часов в день пишет не очень хорошие книги.

---

Л. говорит:

— Я очень спокоен… Издательский застенок искоренил во мне нетерпение, самолюбие, славолюбие. Мне осталось одно корыстолюбие — из всех пороков.

Пушкин принимался говорить о деньгах всякий раз, как у него были цензурные неприятности.

## *В деревне*

Здешняя крестьянка говорит:

— У меня батя не понимал, что мертвецов нужно бояться.

Сосед Гаврила Федорович разрубил себе ногу топором при постройке моста. Ногу отняли. Из штанины у него торчит деревянная нога. Рассказывает о том, как ездил в район добиваться декретной пятидесятипроцентной скидки с налога.

Пришел на своей деревяшке.

— Они на меня посмотрели и спрашивают: «А есть у вас удостоверение в том, что вы инвалид?»

— Ну, а вы?

— А я им в ответ: «Ах, вы, мать вашу… (он воспроизвел полностью). Есть у меня удостоверение».

И положил бумажку на стол.

Фрейд утверждает, что талантливость происходит от сочетания сексуальных уклонений с работоспособностью.

Я сказала об этом Боре. Он ответил:

— Это меня не устраивает. Я в высшей степени нормален и мало работоспособен. И мне все же хочется быть талантливым.

Лишенные мыслей, эмоций, стимулов деятельности, лишенные даже простейших верных инстинктов, — они предоставлены расчетам беспомощного ума.

Какие плачевные выгоды! Какие унизительные ошибки!

---

«Пишите. Только, пожалуйста, не извиняясь, что вы пишете. Потому что от этого письма не становятся ни короче, ни лучше». (Из старого письма.)

Именно с морем так крепко и печально сопряжены память и сожаление о первой юности. О прозрачности жизни перед непочатым будущим, о жизни, которая еще неизвестно как будет выглядеть; о неначавшейся жизни.

Но совсем, безнадежно взрослой я стала только недавно. С тех пор как поняла, что нечто уже поздно и, главное, что ничто уже не рано.

В горах трудно различимы туман, облака и снег. Становится вдруг понятной тождественность их вещества как производных воды. Туман поднимался. Туман или облака отделялись от горы, как прилипшая вата, которую отдирают с усилием. И она оставляет за собой просвечивающие и неровные хлопья.

Облако сидело поверх горы, как старик, который поднял руку к лицу, чтобы высморкаться. Но через мгновение оно уже свернулось, поджав края, и стало эмбрионом в банке.

Далекие горные ручьи напоминают след улитки, проползшей по камню.

Боря: — У тебя дар понимания людей.

— Да, конечно. Только при этом я ошибаюсь, а верно определяет В. Г., который необыкновенно туп на людей. Что ж — у него правильнее, а у меня интереснее.

Боря (сердито): — И ты, с твоим релятивизмом, думаешь, что раз все равно на самом деле человека нет… так пусть по крайней мере будет интересно.

Новая книга Пастернака «Второе рождение». Любовь, природа и политика. Интереснее всего политика, конечно. Поразительные стихи «Весеннею порою льда…», где политика наложена верхним слоем на весну и природу. Темой, размахом они напоминают «Высокую болезнь». Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты). До последнего времени (особенно до 23 апреля) попутчики отличались от рапповцев тем, что их не принимали в РАПП. Литературу в основном составляли люди, хотящие быть стопроцентными; из которых одни сподобились (рапповцы), а другие не сподобились (члены ВССП). И почти все писали в одну точку с разной степенью приближения.

Пастернак выражает сознание интеллигента, сознающего себя

таковым. Как человек этой социальной категории, он, приемля, не столько не хочет, сколько не может преобразоваться до конца. То есть не может преобразоваться, не разрушив какие-то важные категории своего сознания. Для меня, вообще для «бывших формалистов», это был бы скепсис и юмор; для Пастернака это, скажем, идеализм. Подобные компоненты не обязательно выше того, что предлагает современнику современность, но в сознании интеллигента дореволюционной формации они конструктивны, следовательно, они позволяют творить. Самодовольство тут неуместно. Это в самом деле болезнь, но настолько неизлечимая, что лучше ее использовать. Как Пруст обратил в творчество — астму.

Пастернак это знает и сказал по этому поводу:

> Здесь места нет стыду.

Он же говорит:

> Хотеть, в отличье от хлыща
> В его существованьи кратком,
> Труда со всеми сообща
> И заодно с правопорядком.

Будто бы М. сказал: «Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем — у него профбилет в кармане». Но у него же стихи полны пространством, которое поэт оставляет между собой и обыденностью. От этого они так тревожны и трагичны.

> Столетье с лишним — не вчера,
> А сила прежняя в соблазне
> В надежде славы и добра
> Глядеть на вещи без боязни.
> … … … … … … … … … … … … …
> Но лишь сейчас сказать пора,
> Величьем дня сравненье разня:
> Начало славных дней Петра
> Мрачили мятежи и казни.

Стихи страшные смелостью, с которой он берет на себя ответственность за пушкинские «Стансы». «Стансы», опозоренные замалчиванием, оправдыванием, всеми подозрениями, он

поднимает на высоту новой политической мысли. Первое отпущение греха, возникшее из глубины нашего опыта. Впервые сострадательная и товарищеская рука коснулась того страстного, остро социального желания жить, а тем самым оправдывать жизнь, которым так трагичен Пушкин конца 20-х годов.

Чуковский предложил статьи для нового Некрасова («Academia») Грише, Боре и мне. Это значит — действительно передышка. Одни простодушно радуются, другие пользуются случаем заработать; а иным невесело.

Мыслей нет — это очевидно. С нами поступили очень диалектично: прежде чем немножко разрешить — опустошили. Нам осталась голая талантливость, и она бьется, как заблудившийся пульс, и бессмысленно теребит нервы. Предполагается, что, в качестве лиц, не имеющих мыслей, мы употребим свою талантливость на то самое, на что многие употребляют свою бездарность, — и получится полезное действие. Предпосылка жестокая, но не лишенная практического смысла.

Дурно то, что за последние два года мы научились писать — и неплохо — не имея мыслей. Это от работы в не своем деле (детская литература и т. п.) А свое дело лежало покуда в стороне и выветривалось. Оно настолько выветрилось теперь от пафоса, от мыслей, от нетерпимости, что за него предлагают взяться.

Что же — жалеть о формализме? Нет. Будем жалеть о напряжении сил, сопровождавшем формализм.

Шкловский, этот страшно неуживчивый человек, писал, что время не может быть виновато. Во всяком случае человек сам виноват, если у него нет мыслей.

Профессия больше всего похожа на любовь. А в любви каждый имеет то, чего он заслуживает.

Шкловский напечатал в Литгазете статью (я не читала) с упоминанием о Тынянове, так его рассердившем, что он послал Шкловскому письмо с разрывом.

— На сегодняшний день это уже не исторично, — говорим мы с тем равнодушием к их праву на частные человеческие чувства, которое принято по отношению к историческим людям.

Гофман рассказал с восторгом: К. встретил в коридоре ГИЗа Тынянова и не поклонился. На семейном совете Юр. Ник. сказал: «То, что он мне не поклонился, — неслыханная наглость. Впрочем, если бы он мне поклонился, я бы, конечно, не ответил

ему на поклон».

— Скажи, пожалуйста, откуда Коля знает, что происходило на семейном совете у Тынянова?

— Как откуда? Ведь Оксман-то был на семейном совете.

— А!

Я понимаю, что можно рвать отношения с друзьями, но стоит ли рвать со знакомыми? Понимаю, что можно поссориться при встрече, но у нас ссорятся за глаза, втемную.

В. говорила когда-то:

— Не кланяться после разрыва — это психология невоспитанных людей.

На Хармса теперь пошла мода. Вокруг говорят: «Заболоцкий, конечно… Но — Хармс!..» Боятся проморгать его, как Хлебникова. Но он-то уже похож на Хлебникова. А проморгают опять кого-нибудь ни на кого не похожего.

Олейников говорит, что стихи Хармса имеют отношение к жизни, как заклинания. Что не следует ожидать от них другого.

Ахматова говорит о сборнике Пастернака: «Он там уговаривает жену не огорчаться по поводу того, что он ее бросил. И все это как-то неуверенно. И вообще, это еще недостаточно бысстыдно для того, чтобы стать предметом поэзии».

Юмор — это пространство, оставленное между словом и словом, между словом и вещью и заполняемое произвольно. Но есть иные способы сдвинуть действительность с насиженного места. У Толстого не было юмора. У него юмору равносильно недоверие к словам и предметам.

Брик не приемлет историко-литературные работы Шкловского («Левшин и Чулков» и проч.). Брик говорит: «Когда-то Витя вступил в неизвестную страну теории литературы и стал давать вещам имена. Получалось очень сильно. Но по истории нельзя ходить как по новой земле. И вещи там не нуждаются в назывании, так как имеют библиографию».

В профкоме писателей парнишка кричал: «У вас дают только тем, кто целый день здесь торчит, а кто сидят дома и раскидывают мозгами, как бы получше написать, — те ничего не получают».

Гриша говорит: вот замечательное определение творческого процесса.

## 1933

### *Мандельштам*

Мандельштам читал у Анны Андреевны «Разговор о Данте». Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами, как переполнен мыслями и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам — с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках.

Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком, — расстояния, которое составляет сущность европейского уклада. А. А. говорит: «Осип — это ящик с сюрпризами». Должно быть, он очень разный. И в состоянии скандала, должно быть, он натуральнее. Но благолепный Мандельштам, каким он особенно старается быть у А. А., — нелеп. Ему не совладать с простейшими аксессуарами нашей цивилизации. Его воротничок и галстук — сами по себе. Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье.

Его бытовые жесты поразительно непрактичны. В странной вежливости его поклонов под прямым углом, в неумелом рукопожатии, захватывающем в горсточку ваши пальцы, в певучей нежности интонаций, когда он просит передать ему спичку, — какая-то ритмическая и веселая буффонада. Он располагает обыденным языком, немного богемным, немного вульгарным. Вроде того как во время чтения он, оглядываясь, спросил: «Не слишком быстро я тараторю?» Но стоит нажать на важную тему, и с силой распахиваются входы в высокую речь. Он взмахивает руками, его глаза выражают полную отрешенность от стула, и собеседника, и недоеденного бутерброда на блюдце. Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом «этого…», беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно. Не забывая все-таки хитрить и шутить.

Мандельштам — это зрелище, утверждающее оптимизм. Мы

видим человека, который хочет денег и известности и огорчен, если не печатают стихи. Но мы видим, как это огорчение ничтожно по сравнению с чувством своей творческой реализованности, когда оно сочетается с чувством творческой неисчерпанности. Видим самое лучшее: осуществляемую ценность и человека, переместившегося в свой труд. Он переместился туда всем, чем мог, — и в остатке оказалось черт знает что: скандалы, общественные суды. Люди жертвовали делу жизнью, здоровьем, свободой, карьерой, имуществом. Мандельштамовское юродство — жертва бытовым обликом человека. Это значит — ни одна частица волевого напряжения не истрачена вне поэтической работы. Поэтическая работа так нуждается в самопринуждении поэта; без непрерывного самопринуждения так быстро грубеет и мельчает. Все ушло туда, и в быту остался чудак с неурегулированными желаниями, «сумасшедший».

Он полон ритмами, мыслями и движущимися словами. Он делает свое дело на ходу, бесстыдный и равнодушный к соглядатаям. Было жутко, как будто подсматриваешь биологически конкретный процесс созидания.

Мандельштам говорит, что символисты ошибочно полагали, будто есть культура — и это хорошо, и есть цивилизация — и это дурно. Мандельштам говорил: «Цивилизация выдумала культуру».

## *Из рассказов Ахматовой*

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка; при бабке имелась племянница. А. А. как-то сказала ей: «Знаете, не совсем удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в два часа ночи». — «Ну, Анна Андреевна, — сказала племянница бабки, — вы в своем роде, и я в своем роде…»

А бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень… И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные — как я им пальто подаю».

Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать — означало сочинять стихи.

В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и

бормотала (жужжала).

Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

*Мандельштам*

Как видно, отсутствие денег — это новый для нас вид переутомления. Как всякая усталость, оно возбуждает желание остановки. Человек с натруженными руками воображает себе покоящееся, раскинутое, расслабленное состояние этих рук. Я сейчас представляю себе: хорошо бы хоть два дня не думать о том, пообедать ли за 1 р. 20 к. или 1 р. 60 к.

Но я выбираю нищету, когда предстают на выбор нищета и то единственное, что может от нее спасти: безостановочная работа для денег, не оставляющая места ни мыслям, ни свежему воздуху. Пародийное и копеечное литераторство, в котором животная бессознательность постыдно сочетается с переутомлением мозга.

Это даже не делает мне чести. Может быть, это делает честь нашей стране, в которой все, что можно достать за деньги, поразительно ничтожно.

Т. говорит:

— Я думаю с ужасом, что, при моем бюджете среднего театрального работника, могу позволить себе самую высшую роскошь, какая существует в обиходе, — то есть нанять такси, поужинать в «Европейской» и пригласить девушку за 100 рублей.

Самые нехорошие люди — раскаявшиеся декаденты. В них все зло, которое порождало декадентство, сочетается со всем злом, которое порождает раскаяние.

Л. говорит: мое отношение к Х. состоит сейчас главным образом из уважения к собственным горестям. Это академическая любовь. Она напоминает академические издания, в которых преобладает уважение издателей к своим трудам.

Всеядные в литературе в лучшем случае могут читать, но никогда ничего не напишут (то есть хорошего).

Анна Андреевна говорит, что всю жизнь с отвращением чувствовала себя врачом, который каждому пациенту твердит: у вас рак, у вас рак, у вас рак…

Но месяц тому назад к А. А. пришла московская девушка и прочитала, кажется, хорошие стихи. Это оголтелая романтика,

какой давно не было, — явно талантливая.

Возможно, что все впечатление ритмический дурман, или даже эмоциональный? У Маруси Петровых наружность нежная и истерическая. И немного кривящийся рот.

Пильняк в заграничных очерках написал: «…между грушей и сыром…» Мандельштам говорит:

— Скажите, пожалуйста, с нашей точки зрения, что́ такое может быть между грушей и сыром — очередь?

С.: — Все-таки Л. глупа.

Я: — Она не глупа. Она искренний человек и изливает душу на окружающих.

— Я тоже искренний человек!

— Да. Но у вас нет души. Так что окружающим ничто не угрожает.

Он больше не думает, только придумывает; даже не пишет, вместо того диктует. Очень много зарабатывает и очень много разговаривает. Для писателя это вредно. Боюсь, что он уже написал свои лучшие книги. Что касается N., то это человек, который, кажется, уже написал и свои худшие книги.

Лучше не иметь иллюзий. Люди нашей квалификации бывают нужны только тогда, когда они необходимы. Во всем, что я делаю сейчас, я вполне заменима. Скажем даже, другой напишет текст радиопередачи немного хуже, чем я. Во-первых, от этого передача в конечном своем назначении не потеряет, а, может быть даже выиграет. Во-вторых, с этим другим, лишенным стеснительного излишка знаний, мыслей и раздражительности, дело иметь приятнее. Всякий редактор это знает или чует бессознательно. И в самом деле, если ту же операцию с одинаковым успехом выполняет сложная машина и простая машина — целесообразнее пользоваться простой.

С. определяет дружбу: «хочу видеть, но могу и не видеть».

Paress sans loisir, inertie inquiète,
voila le resultat de l'autocratie boréale.

*«La Russue en 1839»*[10]

Кюстин, при всем незнании и непонимании фактов — граничащем с клюквой, — многое понял в свойствах и тенденциях

империи Николая I. Он понял, что основу светского общежития составляют скука, неискренность и страх. В сочетании дикости с регулярностью он угадал предпосылку бюрократического строя.

Этот ревностный католик говорит по поводу революционных потенций семинаристов: «Вот что значит разрешить священнику иметь жену и детей!»

В: — Не понимаю, почему говорят, что Шварц преуспевает, у него за последнее время не вышло ни одной книги.

— Это не имеет отношения к делу. Симптом преуспеяния — приглашение на банкеты.

Шварц растолстел, но не утратил юмора — и говорит: «Мне приказано пополнеть».

N. N.. говорит: «Чтобы существовать, человек должен работать; чтобы существовать прилично, он должен работать квалифицированно; чтобы работать квалифицированно, он должен работать добросовестно, то есть убежденно разделять господствующее мировоззрение».

Кто-то сказал: «Пушкинисты никогда не читают Пушкина в оригинале».

## 1934

Шкловский: — Вся моя надежда на вашу литературную славу в том, что вы когда-нибудь состаритесь, рассердитесь и напишете о людях, что вы о них думаете.

Я: — Вы были бы разочарованы. Когда я пишу серьезно, я пишу о людях хорошо. Потому что остроумие заменяю пониманием.

Шкловский: — В таком случае постарайтесь писать несерьезно.

---

Шкловский: — Знаете, что говорил Маяковский? Лошади никогда не кончают самоубийством, потому что, будучи лишены дара речи, они не имеют возможности выяснять отношения.

В. спросила Шкловского — в чем счастье?

— В удачно найденной мысли.

## 1935

А. А. подписала с издательством договор на «Плохо избранные стихотворения», как она говорит.

В издательстве ей, между прочим, сказали: «Поразительно. Здесь есть стихи девятьсот девятого года и двадцать восьмого — вы за это время совсем не изменились».

Она ответила: «Если бы я не изменилась с девятьсот девятого года, вы не только не заключили бы со мной договор, но не слыхали бы моей фамилии».

При предварительном отборе, между прочим, изъяли стихотворение со строчкой «Черных ангелов крылья остры» — очевидно, думая, что чугунные ангелы (с арки на Галерной) слетают с неба.

Гуковский говорит, что:

> Но клянусь тебе ангельским садом,
> Чудотворной иконой клянусь
> И ночей наших пламенным чадом…—

это — клятвы Демона… Вообще, литературная мифология 1910-х годов.

Попытка издательства привести сборник в почти цензурный вид — неудачна. Что за принцип — много бога нельзя, а немножко сойдет? Такие стихи Ахматовой следовало бы печатать откровенно, как печатают Жуковского и даже Блока. Для живого поэта это жутко, но она все равно поняла это и уже сказала Левину: «Главное неудобство в том, что я еще не умерла, но это поправимо».

О Мандельштаме, разговор с А. А.

— Так что же, рука у него совсем отнялась?

— Нет. Но он диктует, и вообще это неважно: он всю жизнь был такой беспомощный, что все равно ничего не умел делать руками.

Анна Андреевна:

— Коля говорил мне — ты неспособна быть хозяйкой салона, потому что самого интересного гостя ты всегда уводишь в соседнюю комнату.

Малевича хоронили с музыкой и в супрематическом гробу. Публика стояла на Невском шпалерами, и в публике говорили:

наверно, иностранец!

Малевич умирал от рака, и к нему долгое время каждый день ходил врач, который его не вылечил и даже не лечил (за безнадежностью), но Малевич научил его понимать левую живопись.

Супрематический гроб был исполнен по рисунку покойника. Для крышки он запроектировал квадрат, круг и крест, но крест отвели, хотя он и назывался пересечением двух плоскостей. В этом проекте гроба есть отношение к смерти, чужой и своей.

В нашей речи слова не прилегают к реалиям. Между реалией и словом остается свободное пространство, произвольно заполняемое ассоциациями.

В речи символистической интеллигенции с большой буквы писались и серьезно произносились слова: *Бездна, Вечность, Искупление.* Это были слова с положительным знаком, выражавшие несомненные идеологические ценности. В речи народнической интеллигенции так же ценностно звучали слова: *личность, лучшие порывы, на страже общественных интересов, Высшие женские курсы…*

Обе культуры кончились. Символизм кончался в очень сложных условиях. Знаменитый кризис символизма — это было крушение идеологических ценностей символизма, которое намного предупредило гибель символистического стиля. Символистический стиль еще целиком достался Гумилеву. Но именно о фактах такого рода Анненский сказал в статье «О современном лиризме»: «Мы в рабочей комнате. Конечно, *слова* и здесь все те же, что были там (у символистов — *Л. Г.*). Но дело в том, что здесь это уже *заведомо только слова*». Символистический стиль Гумилева уже только эстетика молодой школы, ее литературный диалект.

Какие-то пласты символистической речи временно задержались в культуре акмеизма. Но в то же время символистическая речь неудержимо быстро спускалась к обывателю. Во все эпохи обыватель наряду со своим обиходным, разговорным языком (средним штилем) имеет и свой высокий обывательский стиль, закрепляемый в литературе. Это, так сказать, провинциальная литература, не потому, что она непременно издается в провинции, но потому, что она идет по пятам больших идеологических движений и подбирает упавшие слова в тот момент, как они теряют свой смысл. Слова, пустые, как упраздненные ассигнации, слова, не оправданные больше ни творческими усилиями, ни страданием, ни социальными потрясениями, в свое время положившими основания их

ценности.

В обывательском высоком слоге, подобранном по признаку красивых слов, безразлично смешивается терминология разных культур и противоречивых идеологических систем. В дореволюционную эпоху последки символистического слога составляли основу обывательской литературы, начиная любительскими романами гимназистов, студентов и актрис и кончая такими образцами этой литературы, как Арцыбашев.

Потеряв свое счастье, человек с облегчением почувствовал, что можно вернуться к нормальному образу жизни.

— Я не могу не писать, — сказала я Грише, — когда я не пишу, я не думаю.

— Что ж, каждый думает как может. Некоторые думают, когда пишут; другие (я, например) — когда говорят.

— Если бы я попала на необитаемый остров, я, вероятно, стала бы писать на песке.

— Вы и так пишете на песке, — сказал Гриша.

---

— Все-таки Н. очень умный.

— Он очень умный, и он понимает людей. Но как только доходит до него — начинаются заслоны. А вот вы до странного без заслонов. Почему-то вы видите самые жестокие для вас вещи.

— Не потому, что я умнее. Должно быть, я вижу их потому, что могу о них написать и что тем самым они для меня не смертельны.

Люди, которые очень любят психологические удобства, не хотят согласиться с тем, что две вещи не могут одновременно занимать одно и то же пространство. Надо понять, что каждый поступок состоит из положительного и отрицательного элемента.

Поступок есть *выбор* некоторой ситуации и, тем самым, отрицание других возможных ситуаций. Выбирая эмоцию, отказываются от покоя; выбирая труд, отказываются от легкости; выбирая подхалимство, отказываются от творчества.

О великих писателях прошлого принято говорить подхалимским тоном. Они своего рода начальство.

Есть сейчас такая манера письма, при которой слово

раскатывается словами и не может остановиться. Слова истекают из слов, и так до бесконечности, до каких-то первичных слов, давно потерявших связь с реалией. Это система смысловых производных, слишком ленивых для того, чтобы пробиться дальше близлежащего слоя понимания.

Между тем новое понимание действительности возможно только когда каждая словесная формулировка добывается из нового опыта; не как разматывание неудержимого словесного клубка, но как очередное отношение к вещи. И о любой вещи спрашивают — что она, собственно, такое? Непрерывно возобновляемое в писательском опыте соизмерение слов и реалий.

## 1936

Лиля Брик уже почти откровенно стареющая, полнеющая женщина. Сейчас она кажется спокойнее и добрее, чем тогда в Гендриковом. Она сохранила исторические волосы и глаза. Свою жизнь, со всеми ее переменами, она прожила в сознании собственной избранности и избранности своих близких, а это дает уверенность, которая не дается ничем другим. Она значительна не блеском ума или красоты (в общепринятом смысле), но истраченными на нее страстями, поэтическим даром, отчаянием.

По радио передавали концерт Бандровской, и после каждого номера слышался непонятный, похожий на тарахтенье телег, шум аплодисментов, восторга.

— Слышите? Вам хотелось бы иметь такой успех? — вдруг сказала Л. Ю.

Проблема такого успеха настолько не моя, что я даже сразу не догадалась, что не хотела бы… И ответила только:

— Не знаю… Никогда об этом не думала.

Но есть род женщин, которых всегда касается проблема актерского успеха, и потому Л. Ю. сказала:

— А мне бы не хотелось. Мне все равно.

В сущности, ей может быть все равно. Бандровская попоет свое время и забудется, а Лиля Брик незабываема.

Мы сидели за круглым столом, и мои мысли о поэтическом бессмертии этой женщины вовсе не шли вразрез с самоваром или с никелевой кастрюлькой, где в дымящейся воде покачивались сосиски. Ведь одно из прекрасных лирических открытий, для которых она послужила материалом, — это:

Не домой,

не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковники
несу
за зеленый хвостик.

— Ося должен написать, — говорит Л. Ю., — для последнего тома биографию Володи. Это страшно трудно. У Володи не было внешней биографии, он никогда ни в чем не участвовал. Сегодня одна любовная история, завтра другая — это его внешняя биография.

Л. Ю. говорит о любовных историях. А Шкловский когда-то, после смерти Маяковского, сказал мне: «Говорят, что у Маяковского не было биографии. Это неправда. Он двенадцать лет любил одну женщину — и какую женщину!»

Л. Ю. рассказывает: в 23-м году они поссорились. Поссорились, потому что Маяковский, приехав из-за границы, где он кутил и ничего не делал, объявил лекции «Что Берлин, что Париж!» и говорил что попало. Она сказала ему, что он идет на дно, что она с ним не хочет на дно. Чтобы он прекратил хождение к знакомым, романы и карты и подумал бы о душе. Что она дает ему сроку два месяца. И он два месяца сидел дома. В это время он написал предсмертную записку, которая у нее хранится. В условленный день она получила от него в конверте билет в Петербург. Они встретились в вагоне. И ночью в купе он прочел ей «Про это». Он читал всю ночь и, читая, плакал, плакал без удержу.

Большую часть того, что люди делают в жизни, он не делал или делал плохо. Он умел только любить и писать стихи. Вот почему к нему относились настороженно.

— Он был очень добрый, — продолжает Л. Ю., — и очень наивный. Его легко было огорчить. Виноваты литературные бывшие люди. Они расстраивали его разговорами о настоящем искусстве. Виновата актерская компания — среди них он казался себе старым. Дома, со своими мне очень хорошо, но если я пойду к балеринам, я почувствую себя старой лахудрой, и у меня сделается катценъяммер, и может быть, мне захочется пустить себе пулю в лоб. Виноват еще грипп.

Володе всегда было очень трудно жить. Если бы не революция, он бы давно застрелился. Революция замедлила конец.

Гуковский: — У меня сейчас тринадцать работ в печати.

— Сколько из них, из этих тринадцати работ, — работы?

— Работа… одна — моя книга.

— А на остальные двенадцать вы тратили силы и время.

— Забавно, что если что-нибудь доставит мне деньги, положение, успех, то именно остальные двенадцать.

— Не следует ли нам все-таки выяснить — для чего мы живем? Странно — если для того, чтобы зарабатывать деньги.

— Да.

— Несмотря ни на что думаю, — хотя не знаю, почему я так думаю, — человек должен выполнить свой максимум. Вам темперамент не позволяет. Хватаетесь за все.

— Но вы должны знать — если у вас нет места в иерархии, если вы ушли в пустыню…

— Там надо питаться акридами…

— Да.

Мне же сидеть в пустыне позволяет то обстоятельство, что мир не проявляет ко мне никакого интереса. Настоящая проверка на стойкость была бы, если бы он надумал меня искушать.

Эйхенбаум: — Что же нашли в редакции?

Я: — Что ничего страшного. Местами у него вульгарный социологизм. Помните, нашу коктебельскую врачиху? Она всем говорила по очереди: «Ну, у вас небольшой невроз сердца, но у кого его нет?» Вульгарный социологизм — в этом роде.

— Притом он тоже невротического происхождения. Человек садится писать. Социальное обоснование не получается. Он начинает нервничать, из чего возникает вульгарный социологизм.

Б. надоел Е., и она всячески его избегала. Он был как раз в разгаре увлечения психоанализом. Как-то они столкнулись в трамвае, и он сказал ей:

— Скажите, вам не приходит в голову, что вы подсознательно не хотите меня видеть?

Селин все-таки настоящий писатель. Но он скучен монотонным цинизмом и обгаживанием всех вещей подряд. Оно безошибочно действует на обывателя. Благонамеренные обыватели испытывают негодование, а эмансипированные обыватели — восторг.

## Конец 1930-х годов

«Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником», — написал Чехов в письме к Суворину.

Пушкин хотел и иногда надеялся. Лермонтов — хотел. Тургенев еще боялся. Толстой — и хотел, и надеялся, и боялся.

N. — еще имеет шансы быть художником. Он боится — смерти и жизни. Впрочем, быть может, и той и другой недостаточно сильно.

Представим себе человека в одиночке. Представим себе: он просыпается; сначала он ничего не помнит. У него пустое сознание, в которое может войти что угодно — что он у себя дома, например. Потом вместе с каким-нибудь табуретом или углом стола в него входит действительность. Это момент за весь день самый ужасный. В этот момент расторгнута связь привычки, которая здесь единственная связь жизни. Это возвращение. Все в нем сопротивляется, кричит против этого невозможного возвращения к зажавшим его стенам. Он просто уверен, что невозможно, психологически невозможно встать и начать жить (побудка уже началась). Потом он вспоминает, что оденется, будет мыться, потом подметать свою камеру, потом ему принесут кипяток и хлеб. И от ряда привычных предстоящих действий возвращение становится возможным.

## *Энгельгардт*

Энгельгардт так мало эгоистичен, что в нем даже нет защитного творческого эгоизма, и он с большой простотой жертвовал творчеством семье. Притом жалуясь на нужду, на болезни домашних, на тесноту.

— Голова разваливается. Совсем не могу работать.

Никто из нас, эгоистов, не сделал бы такого признания. Может ли эгоист через полгода после женитьбы говорить о тягости семейного существования? Для него это означало бы, что он сожалеет, упрекает жену, что он не великодушен; и эгоист симулирует твердость духа.

Энгельгардт же человек с таким корневым чувством ответственности, пониманием соотнесенности хорошего и дурного, что соображения щепетильности не приходят ему в голову. То, что он взял, он взял навсегда, со всеми возможностями счастья и печали; принял до неотделимости от себя… И почему бы ему не сказать после того, что ему трудно, что он измучен и не может работать.

В Энгельгардте сочетание необыкновенного развития логико-познавательных способностей с отлично организованным практическим мышлением. И с высокой, хотя несколько архаической, бытовой культурой. Он знал всех, знает все и все умеет; в частности, все умеет делать руками.

Богатство чувственного опыта служит ему материалом для концепций. А концепции для своего подтверждения подыскивают единичное и конкретное. Философствует он по любому поводу. Так он на днях говорил об эстетике молодого крымского вина и о том, как снижается познавательный смысл путешествий по Крыму, если не иметь денег на вино. Он с разбором и вкусом покупает сыр и сардинки. Одет он кое-как и архаично, но жена жалуется, что не может купить ему материал на костюм, потому что он находит все недостаточно хорошим.

В центре же этой чувственно-познавательной системы — ребенок, чужой ребенок, девочка, которую он усыновил. С ней он вступает в завороженный мир. Своими худыми пальцами Борис Михайлович перебирает на столике мишку, конфетные бумажки, превращенные в лодочки, обозначающие каких-то персонажей пуговицы, и говорит:

— Как я люблю это хозяйство.

Если различать две основные формы культурной деятельности — творчество и профессию, то можно различать и две их основные разновидности — высшую и низшую. Тогда получается градация: 1. Творчество — на душевном пределе и для себя. 2. Творческая работа — всерьез и для печати. 3. Профессиональная работа — добросовестное выполнение редакционных заданий. 4. Халтура — многоликая и самозарождающаяся.

Каждый, действующий в культурной области, соотносится с какими-либо из этих категорий приложения сил, а некоторые из нас имеют отношение ко всем четырем, что ведет к большой путанице и повсюду обеспечивает неудачу.

Первая категория как социальная деятельность вообще закрыта; ее представители существуют только под условием пребывания не на своем месте. Все же эта сфера мешает всем остальным. Она не только прожорливо поглощает время и энергию, но пронизывает всякое другое действие тревогой и обидой творческой совести. Самым непосредственным образом творчество, понятно, давит на примыкающую к нему сферу творческой работы; та же, в свою очередь, размывает творчество неодолимыми соблазнами социального осуществления. В любой

форме творчество мешает автоматизировавшейся профессиональной работе, образуя излишек, который раздражает работодателя. А профессиональная сфера инерцией добросовестности создает помехи халтуре. Халтура же, если ее не изолировать (что трудно), угрожает всем другим сферам навыками растления.

Моральные люди существуют тогда, когда существует мораль как норма, как целенаправленная система оценок. Вне этого могут быть люди добрые, храбрые… Доброта, храбрость сами по себе не суть этические категории; это только психофизиологический материал для образования этических категорий (как социальных). При отсутствии общественной или религиозной нормы отдельный человек иногда претендует на то, что имеет принципы, находится на высоком нравственном уровне. И вот оказывается, он делает *то же самое* только со скрипом и разговорами. Это как более долгий (и потому неправильный) способ решения той же задачи. Но человек так нуждается в иллюзиях относительно самого себя, что эта затрудненность процесса приспособления вызывает в нем чувство превосходства над другими, незатрудняющимися.

Превосходный пример Z. Он сформировался на другой основе и вошел в эту жизнь, кичась (он вообще кичлив) строгостью, ответственностью своего поведения. А в конечном счете он делает то же самое. Но так как он делает это с внутренним сопротивлением, с домашними сценами и с небольшими ограничениями, то ему кажется, что он может продолжать кичиться. Такова сила и безошибочность действия механизма, что поступать иначе нельзя; то есть можно (кое-кто поступал, но это равносильно отказу от социального бытия, иногда и от физического.

В сущности, на любые места уже можно сажать любых людей, и они, невзирая на свои небольшие индивидуальные различия, будут делать то же самое. Можно было бы даже сажать на места порядочных, образованных, талантливых; если этого не делают, то по вкоренившейся привычке к недоверию. Образованные и талантливые сделают то же самое даже несколько лучше, потому что внесут в дело знание и умение. А. С. говорит: «Все держится на брюзжащих, а не на кричащих „ура“, потому что только первые работают добросовестно».

Редакционный работник: — Неизвестно, что делать с этой рукописью: множество проблем поставлено и ни одна не решена.

— Да, обыкновенно у вас наоборот — все проблемы решены и

ни одна не поставлена.

Средняя литература бывает интересна для современников (по разным причинам) и для историков литературы. Позднейший читатель читательски ее не воспринимает.

Во времена Института истории искусств мы любили, под руководством Эйхенбаума, открывать забытых второстепенных писателей XIX века. Но прелесть тогда для нас была не в писателе, а в открытии.

Все еще держится в поэзии и в жизни дряхлая романтическая позиция: поэт и толпа, непонятая личность, самозарождение духовной жизни. Что такое самостийный человек? Пещерное существо. А духовная жизнь — это жизнь в слове, в языке, который нам дан социумом, с тем чтобы мы от себя вносили в него оттенки.

Наряду с полным вытеснением содержаний психической жизни в бессознательное существует двойное сознание одних и тех же вещей. Хаос и космос душевной жизни. Хаос — толчея несформулированных, неупорядоченных душевных движений. Из нее человек отбирает и строит свой космос — автоконцепцию, то, что он хочет или вынужден знать о себе и о мире. Остаток образует второй психический план. Резерв, из которого то одно, то другое поступает в светлое поле сознания. Это вовсе не бессознательное, не подсознательное; не вытеснение, но оттеснение, двойной взгляд. Нечто, например, нечто унижающее, постыдное, и существует и не существует одновременно, в зависимости от установки — постоянной или моментальной. Невозможное для логической мысли возможно для интуитивных внутренних самоохватов, синхронных и многозначных.

М. сказала мне по поводу моих соображений о двух планах:

— Я никогда сразу не засыпаю. Я вспоминаю свой день, продумываю его в первом плане, очень подробно. Потом, перед тем как заснуть, мгновенно соскальзываю во второй план. И там можно в секунду охватить все, что угодно. Совсем другие темпы сознания.

Игровое начало предельным образом выражено у детей. Ребенок отлично знает, что палка есть палка, но в игре она для него меч или ружье. И то, что происходит с палкой в качестве меча, возбуждает в нем самые подлинные переживания горя или радости. Игровое двойное отношение к вещам присуще и взрослым.

Двойное отношение характерно для людей — особенно

женщин, — сочетающих сильную игровую потребность с трезвой расчетливостью ума. Есть и другой тип, противоположный. Игровая сублимация — в частности, эротическая — направлена уже не на объект, а на его концепцию; объект остается заземленным. Явление, описанное Прустом. Двупланность тогда не возникает, потому что объект и концепция распались. Вместо двойного видения одной вещи — отношение к двум разным вещам.

Психическое устройство многоэтажно. Внизу шевелится хаос. В верхнем этаже нередко самозащитная надстройка сознательной лжи и подтасовки для публики. А в промежутке — смена прояснений и затемнений для себя самого.

И вот оказывается, люди легкие, с разорванным на отдельные моменты сознанием, могут знать о себе много жестокого. Это знание принадлежит у них мгновению, которое задвинется следующим, потом вернется опять. Понимание не разрушает их, именно в силу бессвязности их сознания. А сосредоточенные и рефлектирующие часто поражены по отношению к себе удивительной слепотой. Они сопротивляются знанию, разрушительному для целостного образа, выработанного с трудом и усилием.

Берег реки у дачного поселка. Жухлая травка, подернутая соломенной проседью, — вся в консервных банках, скомканных газетных обрывках, растоптанных коробках от папирос. Лепешки коровьего дерьма среди всего этого выглядят удивительно благородно.

Ходасевич говорит, что удачно занимались жизнетворчеством те, кто не были большими поэтами.

Беда в том, что жизнь в целом не поддается эстетизации. Производится искусственный отбор; следовательно, это не жизнетворчество, а сотворение спектакля из материалов, мало к тому пригодных.

Другое дело — стремление в жизни все осознать, присущее именно большим писателям.

Воспоминания Горького о Толстом — принадлежат к лучшему из написанного Горьким, и, сколько я знаю, они лучшее из написанного о личности Толстого.

Беда воспоминаний о великих людях в том, что часто их писали дураки, приживальщики, дамы и т. п. Глупому человеку легче понять слова умного человека (общий их смысл), нежели воспроизвести эти слова. Воспроизвести их он не может (если он

не стенографистка), сколько бы он ни старался быть точным, как не может неграмотный человек передать текстуально речь интеллигента, хотя бы он понимал ее смысл и направленность.

Поэтому сочетание: Горький о Толстом — редкостное и очень существенное.

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский писал: «Они <благородные> разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается *вполне* только тогда, когда *благородный* вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье. Не то хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним, по службе, например, в условно-административных формах, или даже так, просто по-дружески, в виде благодетеля и в некотором смысле отца, — никогда самой сущности не узнаете. Все будет только оптический обман и ничего больше… Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо…»

Герцен в детстве был хоть и полу-, но все же барчонком, следовательно, с дворовыми общался в качестве «благодетеля». И в «Былом и думах» он посвятил дворовым — друзьям своего детства — умиленные страницы. Но юный Белинский, нищий, больной, выброшенный из университета на улицу, ни для кого не был барином, несмотря на свое формальное дворянство. В 1837-м году Белинский писал своему родственнику Иванову: «Я не признаю неравенства, основанного на правах рождения, чиновности и богатства, но признаю неравенство, основанное на уме, чести и образованности. Я не посажу с собой за стол сапожника, не потому, что он не дворянин родом, не коллежский регистратор, а потому, что он свинья, скотина по своим грубым понятиям, привычкам и поступкам. Можно обходиться… без гордости, без презрения, ласково, уважая в них доброту и рассудительность и честность, а за отсутствием всего этого, хотя образ человеческий, если не душу, которой у них нет; но не дружиться, не допускать короткости, не сажать лакея или портного на стул; не говорить ему *вы* с прибавлением *с*, как это делаешь ты».

Разумеется, это не голос помещика, для которого сажание лакея за стол вообще не могло быть вопросом. Лакея он не сажал, а если бы и сажал (в особом каком-то случае), то на правах «в некотором смысле отца» (по словам Достоевского). Это крик замученного бедняка и разночинца, которому угрожало ежеминутно подвергнуться лакейской грубости и презрению. Для позднейших интеллигентов-разночинцев все это было не столь уж

существенно, потому что они уже вступали в жизнь с определенным социальным самосознанием. Но для молодого Белинского — недаром завороженного премухинской идиллией — культура, в том числе бытовая культура, была еще делом дворянским. В дальнейшем он сумел победить в себе этот комплекс, — не одним только разумом, но и демократическим чутьем.

## *Разговоры с Ахматовой*

— У Блока лицо было темно-красное, как бы обветренное, красивый нос, выцветшие глаза и закинутые назад волосы, гораздо светлее лба. В последний год жизни Блок очень постарел, но особенным образом: он ссохся, как ссыхаются вянущие розы.

А. А. рассказывала о трех встречах с Блоком. Одна из них самая известная: Блок на платформе железнодорожной станции, Ахматова — на площадке вагона. Вторая встреча на премьере кукольного театра. Блок сказал: «Вы что-то изменились. С кем вы теперь чаще всего бываете?»

О третьей (последней) встрече Ахматова написала в «Воспоминаниях» о Блоке. Но был у нее устный вариант. В 1921-м, за несколько месяцев до смерти Блока, устроен был его вечер в Большом Драматическом театре.

Ахматова: — Встретились на блокослужении. Все оборванные. Он (недобро): «Где же испанская шаль?»

Е. говорит:

— Ведь не три же раза в жизни она с ним разговаривала. Они разговаривали, конечно, о ее стихах и о другом. Но она помнит эти три встречи, уязвившие женщину.

— Четвертого меня приняли. Вы ничего не слыхали об этом?

— Нет.

— Собственно, я уже была принята в Москве. Но они здесь решили устроить прием Василия Львовича, с шубами. Приехали Наташа и Лозинский в машине и повезли меня. Миша Слонимский председательствовал. Миша сказал: «Я должен сообщить присутствующим радостную новость — Анна Андреевна с сегодняшнего дня член нашего Союза». Потом Лозинский говорил речь, в которой я с ужасом услышала, что когда русский язык станет мертвым языком, то мой голос будет звучать, как сейчас голос Овидия. Там было множество народу. Все аплодировали. Я раскланивалась в глубоком ужасе.

— Это они специально для вас сделали помпу.

— Да. Потом там принимали еще троих, уже без всяких разговоров. Я так расстроилась, что, никого не дождавшись, ушла одна, в темноте. А там ждала машина. Они потом три дня звонили, дошла ли я.

*1940*

— Л. Я., поедемте в Детское. Литфонд хочет, чтобы я ехала в Детское.

— Они вам сейчас предлагают?

— Сейчас! Когда угодно! Они просто выживают меня отсюда. А я не знаю…

— Поезжайте непременно. Главное, вы отдохнете от всяких этих домашних забот.

— Знаете, я так мало забочусь…

— Все-таки надо каждый день печку топить.

— Печка это не забота, это развлечение. Вот еда… Но в конце концов Таня Смирнова обыкновенно что-то такое мне приносит с рынка. Я что-то ем.

— В Детском, в бывшем доме Толстого очень хорошо.

— Наконец догадались, что для отдыха человеку нужна отдельная комната.

— Об этом пока не догадались. Дело в том, что там не Дом отдыха, а…

— Да, Дом творчества. Между прочим, я почти все «Anno Domini» написала в санатории, где нас было пять в одной комнате.

— Пожалуйста, никому не рассказывайте об этом.

— Нет, нет. Я понимаю. Это может внушить вредные мысли… Из Москвы пришло извещение — три тысячи от Литфонда.

— Давно бы так.

— Вы думаете? Знаете, я прихожу к заключению, что деньги совершенно излишняя вещь. Я лежу дома, одна, и чувствую, что деньги мне не нужны. Для них я чувствую себя слишком плохо.

— Анна Андреевна, а что с книгой?

— Моей?

— Да.

— Ничего не знаю. Шварц говорил мне, что она печатается.

— Как? Печатается! Это ведь страшно важно! Что же будет…

— Ничего не будет. Будет то, что всегда. Подержат три года, потом вернут. Просят, потом почему-то пугаются. Они каждый раз забывают, что это такое.

Н. Н. сказал мне, что мои стихи женская работа.

— Какой неслыханный вздор! Я всегда говорю, что в ваших стихах нет ничего женского, кроме темы. Они рационалистичны.

— Я знаю. Вы говорите, что это рационалистично…

— Вот у Пастернака в самом деле много иррационального.

— Какой он был чудный, когда приходил в последний раз ко мне в Москве. Мне так жаль, что он не успел прочитать мне своего «Гамлета».

— Он не читал вам?

— Нет. Слишком о многом нам нужно было переговорить в эти два вечера. Но мхатовцы в восторге. Они говорили мне, что это необыкновенно театрально.

— Спасский без конца звонит, чтобы я написала стихи для сборника о Маяковском.

— Да, подготовляется сборник.

— Это было бы прекрасно — написать стихи о Маяковском. Но ведь это должно прийти. Я так не могу.

Стихотворение «Маяковский в 1913 году» появилось в «Звезде» в 1940-м.

А. А. рассказывает о том, как сходила с ума подруга ее детства. А. А. навещала больную, пока ее не забрали в больницу.

— Волосы у нее изумительные. Огромные, темные до сих пор. Она не позволяла их расчесывать, не позволяла дотронуться. У нее образовался колтун. Все как-то поднялось кверху и стояло над головой. Я теперь поняла, почему так изображали ведьм — в средние века. Всегда с этой темной стоящей копной волос.

Знаете, пока она говорила про этих тигров и что ее бывший муж вовсе не он, а совсем другой человек, — я ее не жалела. Но потом она вдруг замолчала, прижала так руки ко лбу и сказала совсем простым голосом: «Боже, что я сделала со своими волосами…» Это так было жалко… Чудовищно!

Анна Андреевна внутренне напряженно занята своим писательским делом. В то же время она удивительно непрофессиональна. За всю жизнь она не приобрела даже простейшие навыки этого рода, не научилась даже читать корректуру.

Еще одна черта: ее внутренний опыт, питающий творчество, скрыт, отключен от психологической поверхности. Иначе, чем у Маяковского, Пастернака, Мандельштама, у которых устройство ума, восприятия, речи прямо переливалось в их стиховую речь.

Ахматова «научила женщин говорить», создала модель

женщины 1910-х годов. Но сама она лишена таких традиционных женских свойств, как уют, домашность. Она безбытна, бездомна, не только по обстоятельствам, но и по природе. У нее выработанная театрализованная система жестов, которыми она представительствует, как поэт, как явление культуры, странно сочетается с беспомощностью бытовой жестикуляции. Неловкими движениями она ставит чайник, режет колбасу. И этих домашних движений она стесняется.

Тюремный счет времени. Какое счастье, что прошел еще день заточения. То есть какое счастье, что уменьшилась порция — чего? Драгоценнейшего, что есть, — жизни. Есть страшное расхожее выражение — убить время.

— Вы говорите, я мало зарабатываю? Для вас это признак слабости. Хорошо. Предположите, что я зарабатываю много и на заработанные деньги покупаю не дорогую еду, не вещи, даже не книги, — а время для своей работы, что это стоит очень дорого и заставляет нуждаться во всем остальном. Это покажется вам убедительным? Вообразите, что я произвожу такую финансовую операцию.

## *Психологические чертежи. (Из жизни А.)*

**I**

Это была любовь эпохи военного коммунизма. Когда любовь можно было весить и мерять куском хлеба, полешком дров. Вокруг человека осталось немного вещей, самых необходимых. И, когда жизненная необходимость встречалась с любовью, это выглядело очень торжественно. Самые пустяки выглядели торжественно. Об этом у Маяковского:

Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковники
несу
за зеленый хвостик.

Любовь А. развертывалась по этим законам. Потом все обрушилось. Она вышла замуж. Уехала. И вот, в первый же вечер одиночества, среди приступов отчаяния, стала маячить некая

мысль. О свободе действий и о себе, о самообслуживании. Давно утраченный опыт. Среди рыданий всходила эта любопытная, странная своей новизной мысль о том, что теперь в его непосредственном окружении у него нет никого в большей степени достойного внимания, чем он сам. Что он может, например, купить себе пирожное. В это время как раз начало появляться давно не виданное масло, появились первые пирожные, но чай еще пили с сахарином.

Лежа поперек кровати, уткнувшись в подушку, заглушавшую тоску, он, среди множества других разорванных мыслей, пропустил через сознание мысль о маленьком кафе или «буфете» на той улице, по которой он каждый день ходил туда.

Поутру, после ночи — то бессонной, то глушившей удушливым сном, — он вышел на улицу и пошел привычной дорогой. Им владело безвольное удивление перед необходимостью жить и совершать множество бытовых действий, та смесь пустоты и тяжести, которая бывает после сильного перепоя. По намеченному плану он вошел в маленькое кафе. Он купил пирожное, очень плохое пирожное эпохи кончающегося военного коммунизма. В кафе не было ни души. Он сел лицом в угол к черному мраморному столику и медленно ел пирожное с промасленной бумажки. А. был всегда равнодушен к сладкому. Но за последний год он изголодался. И его потянуло к приторному, отдающему мылом крему. Он насыщался, вводил в организм сахар. Он с интересом присматривался к себе, совсем новому предмету собственного внимания. Он слушает свою боль, утешает себя, вот он кормит себя пирожным… Тоска вдруг задергала с новой силой. Он прижал к глазам ладонь, сгорбил плечи, чтобы верней заслониться. Он торопился теперь доесть и последний кусок глотал вместе с всхлипываниями, подступившими к горлу.

**II. Переутомление**

Трудно сказать, когда именно это началось, но с годами как-то так постепенно случилось, что тело выделилось из первоначального единства личности; оно порой становилось чуждым и неподатливым. Оно оказалось как бы самым ближним, самым неизбывным тяжким звеном в цепи явлений внешнего мира.

Отчетливо это обнаружилось в начале летнего отпуска. Реакция на оборвавшееся напряжение работы. С ломотой и нытьем болела голова, болела спина, глаза набухали, а по утрам бывало такое ощущение, как будто бы под веками соринки, в коленях и пальцах стояла слабость, по ночам почему-то болели даже пятки. И в довершение нелепости все это называлось

умственным переутомлением. Эта боль в пятках, в спине, эта тяжелая истома и задыхание на каждом подъеме — это усталость нервов и мозга. И тут с унизительной ясностью открывалась физическая суть умственного процесса. Муки серого вещества. А. располагал туманными сведениями по анатомии. Он представлял себе, как на раскрашенной картинке, серое мозговое вещество и синие сплетения нервов, расходящиеся по организму.

Лежа в ботинках на кровати, он с тупой заинтересованностью вспоминал в последовательности все, что было сделано за последнее время — год, два. Он вспоминал это в каком-то предметном и физиологическом разрезе — ряды книг, тысячи и тысячи букв, по которым прошлись глаза, стопки исписанной бумаги. От воспоминания болят виски, болит спина. Как он мог это делать и еще воображать, что это интересно. Какое отвращение при мысли о том, что натруженные глаза могут опять начать перебирать ряды букв; что мозг должен снова и снова перерабатывать таинственную материю мысли. А яснее и обиднее всего воспоминание о халтуре, о халтурах…

В свое время, около 1930 года, ему и другим, оставшимся при своем мнении, было предложено — нет, не умереть с голоду. Даже не переменить профессию, но перейти в нижние этажи той же профессии, отведенные халтурщикам. Там им предоставлялось применять свои дарования. Мозг, зрение, нервы, безвозвратно вложенные в мертвые рядоположения слов, без следа прошедших. Вот она, халтура, давит и ноет внутри. Может быть, он несправедлив, — была не только халтура, но и работа. Но сейчас ему трудно быть справедливым. У него началась болезнь отдыха. Тело отключилось, оно отказывалось быть послушным проводником нужных ощущений; оно оказалось, скорее, заслоном между я и миром.

А. знал наизусть до подробностей тот ряд ощущений, прелестных, знакомых с детства, который тело его должно было испытывать здесь, на отдыхе. Горячая дорожная пыль под босыми ногами, нежный ветер, холодящий волосы на потном лбу… По часам расписанная последовательность впечатлений, сменяющих друг друга. Утром, при пробуждении, ему следует испытать чувство прозрачной подымающейся легкости, физической радости от полноты и нерастраченности предстоящего дня. В полдень он лежит на речном песке. Что-то есть первозданное и успокаивающее разум в чистоте и резкой определенности четырех цветов речного пейзажа: белый песок, голубая вода, синее небо, зеленая зелень. Голубая река петляет вокруг зеленых стриженых островков с желтыми стогами. Каждый островок обведен темной каймой — это заросли тростника. В эти часы тело должно быть

ленивым, прогретым солнцем, пропитанным водой. Когда выходишь из воды, оно на несколько мгновений защищено от лучей невидимой оболочкой прохлады и влаги. В это время начинает посасывать голод и приятно думать об обеде, а к концу обеда приятно думать о сне. Лечь и прикрыть слегка обожженную спину тугой простыней. А в часы клонящегося солнца — пылающие сосны, а из-под сосен стелется глубокая тень. В эти часы мы ищем ритма далеких прогулок.

То есть все это так должно быть. На самом же деле тело стало деформатором ощущений. Его реакции несостоятельны, хотя до мельчайших подробностей человек знает, как должно бы реагировать.

А. лежит под сосной. Над ним пылающий ствол, напротив березы, и охваченная солнцем и ветром листва несется на него с ветвей. Но он ничего не понимает. Он с раздражением чувствует, что у него под лопаткой сосновая шишка, что он лежит на иглах, что тело его покрыто испариной и ногу ему искусали муравьи, что по руке у него ползает мокрая сонная муха. У него переутомление. На его самосознании повисло постороннее, тяжелое тело; и под видом этого тела враждебный внешний мир приник к нему неразрывно и плотно. Сидеть под сосной больше назачем. Надо внутренним усилием поднять отчужденное тело, протащить его до дому и бросить на кровать.

**III**

А. стал рано седеть, и потому первые седые волосы его не расстроили. Как все люди переходного возраста, он по утрам рассматривал в зеркале морщины или потемневший зуб. Но все это проходило по поверхности сознания. Началось с другого, — преимущественно с документов. В заявлении, например, он написал, что окончил вуз в таком-то году; получилось, что он окончил вуз четырнадцать лет тому назад. Еще сильнее почему-то вдруг подействовала анкетка, ежегодно заполняемая в Публичной библиотеке. Там есть вопрос: с какого года посещаете читальный зал П. Б.? И вдруг он увидел, что отвечает: посещаю его двадцать лет. Это был шок. Недавно в коридоре издательства А. встретил своего старого учителя. Они были сейчас в холодных отношениях, виделись и разговаривали редко. Именно потому каждая встреча была резким напоминанием прошлого. Разговаривая в коридоре, он с необычайной силой испытал это томительное ощущение идентичности. Он не вспоминает себя, он переживает в себе того двадцатилетнего человека. Какой-то интонации, какого-то оборота речи достаточно, чтобы вызвать это чувство, страшно конкретное и одновременно призрачное.

Где доказательства роста? Только лысеющая голова, только

библиотечная анкета — свидетельство о годах, канувших в бездну неприменимости.

## *Фрагменты*

### I. Заметки о прозе

Пишущий дневник продвигается наугад, не зная еще ни своей судьбы, ни судьбы своих знакомых. Это поступательная динамика, исполненная случайностей и непроверенных событий. Роман обладает ретроспективной динамикой, предполагающей закономерности и оценки.

Пусть мемуарист выдумал себя и своих знакомых… Пусть романист потерял по дороге героя или кончил рассказ на самом интересном месте… Но в книге о жизни должен быть *принцип связи*, в котором реализуется эмоциональность движущейся судьбы и обобщенность последнего творческого понимания.

Для действительности Толстого принцип связи — противоречие. И Толстой поэтому так внимателен к ощущению, которое, по сравнению с чувством, особенно текуче и единично и которому свойственно с чувством не совпадать. Несовпадение элементов и множественность причин упорядочиваются в толстовском рационализме. И Толстой *разъясняет* с присущей ему поразительной смесью дидактизма и скепсиса.

Пруст написал книгу в девяти томах и, дописав ее, сразу умер. Он считал: не имеет, собственно, смысла писать разные романы, когда тема одна — отношение писателя к миру. Во всяком случае, покуда роман пишется, пусть он пишется как единственный в жизни.

Изображение жизни Пруст заменил изображением размышления о жизни. Получилось произведение новой реалистичности. Потому что словами нельзя адекватно изобразить, скажем, стол (получится только словесный портрет стола), но мысль о столе, выраженная словами, более или менее равна себе самой. От многотомности литературное время приближается к настоящему. Что нужды — девять лет или девять томов? — если достигнуто ощущение неделимой и естественной протяженности.

Материя прустовского романа — это то интеллектуальное (но совсем не логическое) переваривание жизни, которое свойственно человеку больших культур. Душевная жвачка, — столь же непрерывная, как самое чувство жизни, — в процессе которой тема качается из стороны в сторону, вьется неисчислимыми повторениями и вариациями.

Материя этой интеллектуальной переработки жизни — эмоциональная. Но это эмоциональность тем, составивших первооснову прустовского мира, — время и смерть, память, любовь и ревность, творчество, неутолимая жажда и вечно возвращающееся желание. Экзистенциальные темы у Пруста не замкнуты. Они выходят в монументальный ряд предметов его анализа — характеров, отношений, социальных ситуаций.

Психологизм великих романистов — это объяснение душевной жизни, по качеству совершенно отличное от ее содержания. Будь то психологический комментарий Флобера, Толстого, Достоевского, Пруста — все равно это интерпретация, то есть нечто находящееся вне рассматриваемого предмета. Непосредственное же состояние сознания, его разрез и моментальный образ — вещи еще не существующие и на которые почти еще нет намеков. Этого еще не увидел никто, и тот, кто увидит, начнет с ощущения дикого несходства между этим и всеми прежде бывшими анализами душевной жизни.

Впрочем, нечто подобное пытался уже сделать Джойс. Пытался фиксировать реальное протекание мысли, со всей головокружительностью и скрытой логикой ассоциаций. Это преследование действительности в откровении непосредственного опыта — волнует, не удовлетворяя. Здесь ведь с гораздо большим правом, чем относительно внутренних монологов Толстого, может быть поставлен вопрос — похоже ли? И оказывается — не похоже. Никакие ассоциации слов, никакие слова (даже нечленораздельные) все равно не равны таинственной материи сознания, непостижимой, неразложимой, последней реальности жизни.

Когда литературная система приходит к концу, то оказывается, что сильнее всего в ней успела износиться иллюзия реальности. Эти герои, встающие и садящиеся, и раскуривающие папиросу, и думающие словами, которые придумал автор, — литературный факт, в каком-то последнем счете, быть может того же порядка, что единство места или цезура на второй стопе. Воспроизведение трехмерного мира, кажется, исчерпало себя в великих литературных системах XIX века. После Толстого стремиться к материальной протяженности романа — бесцельно.

Если объективному повествованию угрожает условность пространства, то для повествования мемуарного — опасность скорее в ложном времени. Время, охлажденное воспоминанием… отодвинутое от человека. И самый человек — тоже, может быть, ложный, или, по крайней мере, двусмысленный; ведь неизвестно, как он переживает жизнь — как *теперь* или как *тогда*. Быть может, для нашей жажды реального нужна динамика

историческая и вместе с тем поступательная. Чтобы в свете конечного понимания совершающееся предстало бы совершившимся и все же продолжающим совершаться. И не нужен этот камерфурьерский отбор, который так любит подобное мемуарам. Узкие ряды причин и следствий, факты с обрубленными ветвями, изолированные от путаной ткани жизни… Холод отодвинутого времени.

Если бы, — не выдумывая и не вспоминая, — фиксировать протекание жизни… чувство протекания, чувство настоящего, подлинность множественных и нерасторжимых элементов бытия. В переводе на специальную терминологию получается опять не то: роман по типу дневника или, что мне все-таки больше нравится, — дневник по типу романа.

Очень личным, очень взволнованным образом люди моего поколения переживают Хемингуэя. Даже не Хемингуэя, собственно, а «Прощай, оружие!» — вещь, в которой, как это случается, сосредоточено главное, что имеет сказать писатель. Хемингуэй — не мировой гений, открывающий нового человека, но какие-то участки действительности он несомненно открыл, и это дало ему власть над умами. Так, он открыл новую реальность человеческого разговора, бессвязного и поверхностного, с глубоко проходящими подводными темами[11]. Хемингуэй обратил, между прочим, внимание на то, как люди разговаривают в постели; и оказалось, что они разговаривают обо всем на свете. Эти разговоры любовников — самое сильное в «Прощай, оружие!» и единственно сильное в «Иметь и не иметь». За этими разговорами стоит хемингуэевская концепция любви современного западного человека.

В одной рецензии на «Прощай, оружие!» было сказано с неодобрением, что там изображена торопливая и грубая солдатская любовь. Это как нельзя более верно. Это любовь солдатская потому, что это любовь человека безбытного и непрочного, человека, для которого неуверенность в завтрашнем дне — вовсе не метафора. Это любовь, с точки зрения XIX, XVIII и других веков, — грубая, потому что в ней физическое начало приобретает новое и решающее значение.

Не только романтизм, но и весь XIX век со всем позитивизмом, реализмом и проч. — стоял на том, что плотская любовь нуждается в отпущении. Иные, как поздний Толстой, считали, что ее ничем нельзя оправдать; большая часть полагала, что оправдать ее можно страстью, или сродством душ, или деторождением. Но все считали нужным оправдывать. Исключения были, например — пятая из Римских элегий Гете,

лучшее, что он написал, — кроме «Фауста», конечно.

Sehe mit fuhlendem Aug, fühle mit sehender Hand…[12]

Это признание плотской любви настолько не вязалось с христианско-романтической культурой, что оно было понято как стилизация под античность, не имеющая отношения к поведению современного человека.

Хемингуэй, писатель современный своему времени, в противовес всем средним и новым векам, утверждает физическую любовь как не требующую никаких оправданий. Но утверждение это неотделимо от трагической сущности любви, открытой Хемингуэем в обществе XX века. Любовь, особенно большая любовь, — состояние, которое не может длиться. Оно предназначено для того, чтобы соединить двух людей; для того же, чтобы двое могли оставаться в соединении, любовь должна закрепиться на другом социальном материале (быт, дом, дети). Первоначальное чувство — совершенно беспримесное — попробуйте мысленно продолжить до бесконечности. Вы получите сразу трагическое, непосильное, никуда не ведущее напряжение, которое граничит с необходимостью катастрофы. В «Прощай, оружие!» — большая любовь, ни во что не переходящая (этот ребенок, которого они рожают, им ведь совершенно не нужен). И скоро мы начинаем понимать, что это не может кончиться и не может длиться. И когда Кэт умирает от родов, мы понимаем, что это еще не самое худшее из всего, что могло там случиться.

Так любит человек безбытный и изолированный в мире, где все движущееся (например, война) угрожает ему уничтожением, а все стабильное и спокойное угрожает пустотой. Он отчаянно борется с изоляцией, нестерпимой для социального человеческого существа. Любовь же несет иллюзию эквивалентности мира единственному человеку. В любви XX века эта идея разрослась. Ведь достаточно еще одного человека, второго человека, своего человека, чтобы прервать изоляцию. И тогда — уже не домостроительство, но цепляние друг за друга и сцепление двух человек в пустоте. Но чтобы быть несомненным, вполне реализованным, это сцепление должно материализоваться.

«Прощай, оружие!» книга действительно как бы грубая, но в сущности вовсе не эротическая. Потому что физическое начало любви предстает в ней меньше всего в своем качестве наслаждения. Дело не в наслаждении, а в том, что двое цепляются и прячутся друг за друга. В поисках своего человека — средство присвоить себе этого человека. Реализация понятия близости, по сравнению с которой сродство душ кажется недостаточно

достоверным.

Литература христианской эры (включая психологический роман XIX века) твердила одно: мужчина любит женщину большой любовью, пока любит ее конфликтно или безнадежно. Удовлетворенная любовь в лучшем случае переходит в чувство, которое XIX век называл привязанностью к жене и матери своих детей.

Хемингуэй, писатель XIX века, утверждает обратное: мужчина открывает в себе большую, беспокойную, трагическую любовь — только когда женщина стала его любовницей, — и только поэтому. Кэт молода и красива, что несколько дезориентирует читателя. Гораздо яснее та же мысль выражена в неудачном романе «Иметь и не иметь». Единственное, что в нем хорошо, — это отношения бандита Гарри с женой. Эту стареющую, дурнеющую, накрашенную женщину, бывшую проститутку, он любит крепко и, как говорят рецензенты, грубо и по-солдатски. Он любит ее не как домостроительницу, — хотя чета позволяет себе иллюзию семейного очага и даже респектабельности, но хрупкость этого бандитского домика очевидна; он рухнет от первого толчка полиции. Он любит ее не как мать своих детей, так как оба они не любят своих детей, глупых и чопорных девчонок, и не знают, что с ними делать. Из всех существующих женщин ему нужнее всего его накрашенная, обрюзгшая жена, без которой он был бы изолирован в злобном мире. И Гарри с женой болтают в постели по-товарищески. Постель их — не «ложе нег»; это крепость или оазис, это дом-передвижка, который хемингуэевский герой водружает на любом перекрестке, иногда в госпитале, иногда в гостинице.

Олейников — человек трагического ощущения жизни, потом как бы подтвердившегося его трагической судьбой, — говорил когда-то:

— Надо быть женатым, то есть жить вместе. Иначе приходится каждый день начинать сначала. Начинать — стыдно. Но главное, надо быть женатым потому, что страшно просыпаться в комнате одному.

Есть люди, которые боятся засыпать и особенно просыпаться, потому что этот акт разрывает пелену условных действий, оставляя человека лицом к лицу с голым существованием, с чувством жизни как таковой, с чистым протеканием жизни, нестерпимым для органических пессимистов.

Им нужна темнота, длящаяся как можно дольше, теплота, чужая теплота, смешанная с их собственной, сохраняющая особое качество — качество присутствия второго человека, единственного, заменившего мир. Им нужна любовь достоверная,

уплотненная. Тогда уже сон не провал в небытие, потому что на дне своего сна они ощущают присутствие, и присутствие они ощущают на поверхности своего пробуждения. Больше всего органические пессимисты боятся внезапной утренней ясности сознания. Но от чужого тепла, от второго дыхания, стелющегося по подушке, сознание мутится и теплеет, как стекло.

**II. Полет**

Импрессионизму принадлежат великие открытия. Но современное художественное мышление (также и в литературе) не должно быть импрессионистическим. Сейчас надо видеть форму — контуры и пределы вещей. Незаменимый опыт такого видения мы получаем с высоты самолета[13]. Полет — удар по импрессионизму, потому что оказывается — теперь уже несомненно, — что все в мире имеет форму, связь, назначение; и это, в свою очередь, потому, что все имеет видимую границу. Цвет в этом зрелище служит форме именно как несомненная граница вещей или их элементов. Полет, сокращая вещи до полной обозримости, смывая оттенки до торжества основных тонов, уплотняет предметность. Сущность впечатления именно в этом; вовсе не в том, что все вещи маленькие. Напротив того, в процессе непрестанного соизмерения вещей некоторые из них поражают объемностью. Вдруг — стог, который больше дома, или отдельное дерево при дороге с широко разметавшейся тенью.

Русская изба с пристройками — сверху выглядит «покоем» или прямоугольником с пустотой двора посередине. Это не игра пятен, не кусок стены в косом ракурсе, не отрез окна, вправленного в безразличный для зрителя хаос, — но дом, материал и форма, ясная человеческая мысль. Полет отрицает эмпиризм восприятия, импрессионистический или натуралистический — все равно; ибо я вижу мир не в случайности его оттенков и ракурсов, но в общих чертах, и потому все в мире я вижу как форму и вместе с тем как концепцию.

Так, предметом оказывается не только дом, но в целом деревня с ее деревьями и домами, отрезающими участок дороги. Предметны поля, вообще возделанная земля, в которой нет уже ничего землистого; вся она нарезана разноцветными плоскостями (больше всего зеленых лугов и темно-золотого жнива), причем цвет — чистый цвет, без всяких уступок, — сам собой образует форму, потому что цвет здесь единственное условие разграничения пространств. Предметом оказывается лес, с его вьющимися, заходящими друг за друга вершинами; лес, который мшистым куском лежит на плоской земле. А ведь лес — если идти лесною дорогой — вещь самая импрессионистическая:

таинственная, обрывающаяся на каждом шагу светотень. Так же, как город для пешехода — только мгновенные сочетания людей, домов и автобусов.

Сверху лес — предмет, город — предмет и земная поверхность — предмет. Земля макетна, картографична. У нас на глазах происходит реализация географических понятий. И на воздушном пути из Украины в Россию вы видите с учебно-экскурсионной наглядностью, как кончаются белые, зеленые, сумбурные деревни, как начинаются деревни голые, деревянные, пополам разделенные дорогой. А река здесь не то, что все знают с детства: узко текущая вода, скользкая глина обрыва, песок, мутные, лиловеющие на закате заросли камыша и тяжелые кувшинки. Река — голубая и круто изогнутая — теперь в самом деле впадает и вытекает…

Выясняется, что водные пути, или лесостепь (то есть степь с раздробленными участками леса), или русская равнина — не отвлеченные понятия, но реальность; или, быть может, выясняется реальность отвлеченных понятий.

**III. Что такое линия?**

Как бесполезно предписывать себе состояния души, покуда они не наступили. Не бесполезнее ли предписывать их, когда они наступили? Нет, это своевременно. Состояние сознания устанавливается незаметно. Человек по ошибке продолжает жить на старых основаниях, — прежде чем обнаружит и сформулирует перемену.

В двадцать лет, после первого несчастья, мы принимаем решение быть равнодушным, одиноким и посвятить свою жизнь труду. Как план поведения это бесполезно. Как предсказание — страшно. Потому что через десять лет человек, давно позабывший свои детские намерения, застанет себя поглощенным одиночеством и трудом. Так изменяют любовь, боль, даже чувство земли — от босых ног на пыльной дороге, от молодой ржи, затопленной зеленым воздухом, как водой.

Писатель это человек, который, если не пишет, — не может переживать жизнь. Тем же, кто может жить иначе, — вовсе не следует писать. Это понимал и об этом говорил Толстой.

Представим себе человека, лежащего на пляже. Спиной он ушел в колющий спину песок. Его колени расслаблены. Солнце остановилось у него на губах и веках. Закрыв глаза, он слышит, как шипит и как потухает волна. Раскрывая глаза, он следит за волной, сначала движущейся в ряду других. Волна — все отчетливее и ближе; она идет, наконец, первой волной прибоя.

Увеличиваясь, вдруг заворачивается вовнутрь и вспыхивает пеной; разворачивается плоско, течет назад, оставляя за собой пузырчатую пену, всасывающуюся в песок. Человеку на пляже нравится лежать в песке и на солнце и смотреть на волну. Но какое-то происходящее в нем движение не может на этом остановиться. Зачем мне, собственно, солнце? Затем, что это доставляет мне удовольствие. А зачем испытывать удовольствие?.. Скорее всего гипотетический человек на пляже не произносит этот внутренний монолог. Но так точнее всего расшифровывается его душевное беспокойство. В беспокойстве он начинает думать; он думает о песке и про себя называет его колючим, щекочущим, жестким, или, напротив того, нежным; ему приходит в голову, что чувствительная кожа губ сильнее, чем остальная поверхность тела, отзывается на солнечные лучи, и он формулирует: солнце остановилось на губах и веках. Ему приходит в голову разложить прибой на несколько последовательных движений. И когда это сделано — беспокоиться больше не о чем. Песок, солнце и море нашли себе применение.

С таким же успехом гипотетический человек мог бы задать вопрос… зачем я назвал песок, на котором лежу, — нежным, или рассыпчатым, или колючим? Это интересно? А зачем, собственно, чтобы было интересно… Он мог бы спросить, но он не спрашивает. Это значит, что он нашел то, что в разных контекстах называют смыслом, счастьем, ценностью, назначением, — неразложимую самоцель жизненного процесса.

Только не пытайтесь понять здесь что-либо с помощью гедонизма. Гедонизм, опороченный кадровыми философами, задержался в житейской философии, где, кстати сказать, особенно очевидна его несовместимость со здравым смыслом. Гедонизм (включая «разумный эгоизм») предполагает, что человек добровольно жертвует собой, потому что это доставляет ему удовольствие. Эта нескладная мысль может только внушить стремление во что бы то ни стало искать удовольствий там, где их действительно можно найти.

Между прочим, люди, никогда не писавшие, полагают, что когда человек ест шоколад — ему приятно; когда пишет стихи — ему еще приятнее. И, если дело доходит до выбора, понятно, что поэт готов отказаться от шоколада ради возможности писать стихи. На самом деле между переживаниями едящего шоколад и пишущего стихи разница вовсе не количественная. И пишущие пишут, даже когда писать им трудно, мучительно или противно.

Поведение человека в высшей степени диалектично, поскольку человеком управляет частью собственная шкура,

частью неистребимая уверенность в том, что существуют ценности, то есть вещи высокие, прекрасные и заслуживающие жертвы. Почему они прекрасны и в особенности почему заслуживают жертвы — этого нельзя вывести из предпосылок эгоцентрического сознания, но это ежечасная интуиция, самый достоверный опыт человеческого сердца.

Чем выше поднимаешься по шкале человеческих целей, тем ощутимее жизненный импульс, в силу которого человек должен сделать все, что он может сделать. Он называет это своим назначением и осуществляет его вопреки всему, вопреки себе самому и своей иронии. Здесь не только нет места гедонизму, но, напротив того, выполнение назначения начинается там, где человек уясняет вдруг, что все равно — будет ли при этом ему приятно или неприятно. Скорее всего, ему будет неприятно.

Ведь высшие достижения, по сравнению с низшими, не только трудны, но даже неутешительны для самолюбия. Ни одного обывателя (разве что сумасшедшего) не оскорбляло еще, что он не гений. Но великий поэт считает себя непоправимо униженным, если ему не даются низшие блага, убаюкивающие самолюбие. Ничем, никакой сублимацией, не утишить эту боль. Так нам под руку подворачиваются соблазны и суррогаты.

Среди нас слишком много лукавых рабов, норовящих зарыть свой талант; поэтому, может быть, лучше, когда суррогаты явно недоброкачественны. Когда комфорт — убог; когда успех превращается в унижение; когда любовь превращается в лохмотья. Наступает предел, за которым и лукавому рабу нечем соблазниться. Я имею в виду лукавых рабов с талантом, потому что для бездарных рабов нет предела.

Трудно человеку уйти от мира, но если мир уходит от человека — не надо держать его за полы. Есть люди, которым проще расти: им фатально не удается все, кроме самого главного. Только самое главное заслуживает усилий, упорства, смирения. В остальном стыдно соглашаться на неудачи.

Вот вещи, которые могли быть моими!.. Так вот уходи, не глядя… Когда человек осуществляет самое главное — все остальное может найти свое место, даже неудача. Неудача претворяется в слово.

Интеллектуальный утилитаризм, грубый своей полнотой и тонко зашифрованный в своих проявлениях, спасает заблудившееся чувство от последних провалов. Он дает неудаче пригодность материала; он успокаивает боль формулой: в конечном счете не я для них, а они для меня. «Слова мстят», — писал Шкловский, который знал толк в словах. «Слова мстят» — это значит: ты говоришь, что тебе «это ни к чему», а я опишу, как

ты говоришь это, опишу, если захочу, как ты при этом раскрываешь рот и что ты при этом думаешь.

Кто победил? Это спорно. Да и предлагает ли жизнь победу?.. Скорее, выбор.

> Wer dieser Blumen eine brach begehre
> Die andre Schwester nicht.
> Geniesse, wer nicht glauben kann, Die Lehre
> Ist ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre!
> Die Weltgeschichte ist das Weltgericht[14].
>
> *(Шиллер)*

— Поняли вы, что такое линия?

— Это… что человек может и чего человек не может.

Сознательно или бессознательно, — человек защищает то, что он может, и защищается против того, чего он не может. Это закон реализации преобладающей способности (согласно Аристотелю в беспрепятственном применении этой способности состоит счастье). Он определяет желания человека и воззрения человека, в особенности его профессиональные воззрения.

Чуковский говорил мне: «Не понимаю, как М., этот элементарно непорядочный человек, может быть так чист в своем деле?» Очень просто. Всякий настоящий писатель чист в своем деле, потому что с той минуты, как он не чист, — он уже не писатель.

Талантливые люди профессионально всегда честнее бездарных. Я имею в виду не обязательно элитарную талантливость, но любую — в любом деле и на каждом участке. Талантливым прирождено представление об иерархии вещей и о несовместимости высшего с низшим. Бездарный же человек не интересуется тем, что он делает; поэтому он человечен только в той мере, в какой подчинен внеположным нормам. Предоставленный самому себе, бездарный человек — антисоциален, потому что он моральный эмпирик.

То, что мы можем, и то, чего мы не можем, определяет границы нашего понимания.

Соотношение невозможного, возможного, настоятельно нужного образует линию судьбы. Она вычерчена закономерностями реализации человека, препятствиями к его реализации, преодолением, обходом этих препятствий или их торжеством. Кроме закономерностей в каждой жизни есть случайности, стихийные бедствия, давление обстоятельств. Но линия берет свое. И если человек не способен любить и быть любимым, то этого с ним не случится, хотя бы в течение дня, или

месяца, или года ему казалось, что готовое счастье упало ему в руки. И если человек может писать и притом не может ничего другого, то он будет писать, хотя бы вся жизнь вокруг кричала ему, что писать ему незачем и не для кого.

# Записи 1950—1960-х годов

## *О старости и об инфантильности*

Это как в самолете, когда не качает. Вы знаете, что движетесь страшно быстро, но лично вы не чувствуете движения; вы повисли в пространстве. Движение слишком быстро для того, чтобы привычное, на других масштабах воспитанное ощущение скорости могло возникнуть.

В XIX веке поколения обгоняли поколения с удивительной быстротой (особенно в России). Карамзин еще пишет свои повести в 1800-х годах, Гоголь начинает писать в 20-х. Шестидесятники рассматривали людей 40-х годов как обитателей другого мира. Ритм культуры совпадал с ритмом социально-политических изменений. В XX веке между ними разрыв. События движутся столь стремительно, что человек со своими стихами, романами, вообще психическим строем и мышлением не попадает в темп. Не только искусство, но гуманитарное вообще — оказалось в другом измерении. Самолет движется, превышая умопостигаемую скорость, а пассажир повис в пространстве.

Поколения, десятилетия не отрываются больше броском от предыдущих. Они другие, конечно, но не потому, однако, чтобы они несли другую культуру.

Удивительным аберрациям подвержен не только возраст людей, но и хронология книг. Французский роман двадцатилетней давности — новинка. Пруст — современный писатель; Джойс — до того современный, что мы все еще собираемся его прочесть.

Нерасчлененности поколений соответствует инфантильность человека.

Пишущий должен печататься. Писать ни для кого, ни для чего — это акт холодный, ленивый и неприятный. В виде некоторого промежуточного удовлетворения могут существовать персональные читатели (слушатели). И этот эрзац (жалкий, несмотря на высшую их читательскую квалификацию) вызывает до странного сходную реакцию авторских опасений, честолюбивых волнений и надежд.

Впрочем, при этом едва ли можно хорошо писать. Особенно прозу. Возникает зловещая легкость. Нет железной проверки на нужность, и потому нет критерия оценки. Пусть это талантливо, пусть действует, но, быть может, это еще не достигло форм выражения общественно значимых, быть может, это литература

для знакомых, в чье сознание она непосредственно вводит невыраженную жизненную материю.

Есть сейчас дилетанты, сами не знающие о том, что втайне они спасаются от ответственности, от железной проверки успехом, от страха читателей, от страха и стыда увидеть себя в руках рецензента. Иные из них избегают перепечатывать свои стихи на машинке. Корявые строки на разнокалиберных листках кажутся им не вполне еще отделившимися от сознания, не взаправду вступившими в объективный, враждебный мир. Рукопись для них еще почти физиология творчества; чем хуже почерк, тем физиологичнее. Какое-то внутреннее усилие — и, кажется, корявые знаки уйдут обратно в сознание. Я вас не писал никогда…

В процессе писания читатель всегда представим. Но представление это тем действеннее, чем оно неопределеннее, чем больше оно включает людей невидимых и неведомых. Написанное в стол, к сожалению, не лежит там спокойно. Время, отказавшее этой продукции в нормальной социальной жизни, не отказывает ей в смерти, в распаде. Пятидесятилетний, скажем, автор насчитывает уже несколько периодов творчества в стол — раннее, зрелое, позднее… Он может следить, как написанное, лежа в столе, теряет своевременность; как в нем проступают черты наивности или безвкусицы; как загнивает нежившая материя.

Может быть, по сравнению с прочим, это вообще несущественно? Не думаю. В конечном счете это общезначимая проблема продуктивных сил, приостановленных силами автоматическими.

Нереализовавшийся человек на неизбежном пути своей деградации проходит разные стадии; в том числе — желание быть бездарным. Легче думать, что, собственно, ничего и не было, — только юношеский просчет в своих силах, навсегда оставшийся непроверенным. Смирение и покой.

Трудно думать о зарытом таланте. Это вроде раскаянья. Раскаянье же — мука, обладающая необыкновенной, от нас не зависящей материальной достоверностью. Время облегчает раскаянье, но нереализованность время растравляет. Пока в своей социальной неприменимости узнается наконец двойник старости.

Старость имела традиционные признаки. Будущее из таинственного, исполненного непроверенными возможностями (это считалось всегда основным переживанием юности) становится ограниченным и предвидимым, не в своем фактическом содержании, конечно, но именно в своих возможностях. Люди открывали это обычно как-то внезапно и жаловались, что с этим открытием жизненный центр из будущего

сразу перемещался в прошлое. Изменялось тем самым и восприятие прошлого (второй основной признак). Для старого (стареющего) человека прошлое — область его наивысшей реализации, мыслит ли он себя как личность или как представителя поколения. В прошлом мы были передним краем общественного сознания — теперь другие.

Старость — явление столько же социальное, сколько биологическое, и даже в большей мере социальное. Есть, конечно, телесное одряхление, но решает судьбу человека гражданская старость. Две эти старости отнюдь не всегда совпадают.

Классические, зафиксированные мировой литературой признаки старости (как факта сознания) — социальны. В конечном счете они соотносятся с предпосылкой исторического движения, с образом сменяющихся, уходящих с культурного поприща и вступающих на культурное поприще поколений. Измененное восприятие будущего и прошлого — это старость. Третий основной признак старости — перерождение чувства настоящего.

Настоящее больше не попадает в темп — томительно отстает или с жуткой быстротой ускользает в прошлое. Уже не стоит… Все равно не успеть… Поздно, поздно, поздно — формулы томительных перебоев настоящего. Формулы, проверенные практикой жизни и в то же время какие-то иллюзорные. Почему, собственно, поздно? Что именно не стоит? Почему, например, в тридцать лет не поздно начать изучать неизвестное, а в пятьдесят поздно? Не потому ли, что двадцать лет назад оставалось, быть может, тридцать лет жизни, а теперь остается, быть может, десять? Что, на тридцать лет стоило приобретать новые знания, а на десять не стоит? Но во всем этом вовсе нет логики. На самом деле тут совсем другое: эти знания должны были быть добыты давно, своевременно, чтобы стать питательным элементом свершений, которых требует протяженность жизни, возраст. Но нет этих свершений; вероятно, их никогда не будет, а если что-нибудь будет, то никогда уже не придет оно молодым, блестящим, легко вступающим в жизненный ритм; оно будет неутешительное, отяжелевшее от горечи опоздания. Вот откуда: *не стоит* — формула гражданской старости.

Гражданская старость — несоответствие между протяженностью жизни и ее насыщенностью. В одном и том же возрасте можно быть старым доцентом и молодым академиком.

Изнутри гражданская старость — это сознание нереализованности возможностей вместе с сознанием, что их своевременная реализация упущена навсегда. Своевременность (приносящая счастье) — понятие социальное. Определяют ее

принятые данным обществом нормы развития человека. Для некоторых жизненных ситуаций величайшее значение имеет биологический возраст — для настоящих женщин, для актеров и балерин, для циркачей и футболистов. Но биологический фактор тем самым преобразован уже в профессиональный, социальный.

Насыщенность прожитого времени свершениями, опытом — не старит, а молодит человека. Мы непрестанно соизмеряем: как он молод еще для всего, чего он достиг, что испытал… Многоопытность старит только если истощает.

Абсолютное соответствие между возрастом и опытом — это мужество, зрелость. В идеале гражданская старость может до бесконечности отдаляться, вытесняемая зрелостью, интенсивностью жизненного движения. Нет старости для больших политических деятелей, например.

Ненасыщенность бытия дает обратные результаты. Соизмерение непрестанно напоминает, что человек опоздал, что он стар для своей жизненной функции (*старый студент* и т. п.). И вот у некоей последней грани старчество переходит в свою противоположность.

Противоположность старчества — в то же время его подобие — инфантильность. Это давно известно: старые и малые, впасть в детство… Мутно-голубые глаза. Мутное младенчество. И старчество и детство противостоят мужеству, зрелости, совершеннолетию. Зрелость, продолженная, углубленная возрастом, — в народном представлении это мужи, старцы, старейшины, — совсем не то, что старики, старички, — это накопляющийся опыт мысли и действия, нарастающая ответственность, соразмеренные с мерой возраста, с протяженностью личного бытия. Но есть и другой переход к старости — минуя зрелость; предсказанная Блоком тема *стареющего юноши.*

Для русских людей XIX века тридцать лет — это был уже возраст большого опыта, большой жизни позади. Пушкин двадцати шести лет написал «Бориса Годунова», Лермонтов умер двадцати шести лет, Добролюбов — двадцати пяти (неполных). Добролюбов считался все же *молодым*. Но Чернышевский, учитель и вождь поколения, изъят был из жизни тридцатичетырехлетним (общепринятый ныне возраст начинающих подавать надежды литераторов).

Дворянская Россия все делала *развитием спеша*. Подростки были студентами, молодые люди полковниками. Ранняя половая жизнь, ранние военные и гражданские карьеры, ранняя власть над живыми душами. Опыт мысли приходил к ним преждевременно, и умы, не загруженные опытом бытия и быта, работали с

первозданной силой. Разночинная Россия, та рано начинала свою борьбу. В быстроте единичных развитий отражена — революционной потенцией порожденная — небывалая интенсивность исторического движения.

Было бы интересно исследовать возрасты проблемных героев русской литературы. Сколько лет Ивану Карамазову? На этот вопрос правильно отвечают очень редко. Почти все удивляются, узнав, что Ивану Карамазову двадцать три года.

Если зрелости не будет, если сознание стабильно, совершается только биологический процесс одряхления. Чем крепче организм, тем дольше сознание будет стабильным. Загадочность будущего — основной признак молодости, по понятиям XIX века. Человек XX века, не знающий, что именно случится с ним завтра, представляет себе зато, что ждет его через год, через десять и двадцать лет. В его развитии предвидимо все — образование, предприятие, учреждение, местопребывание. Теоретически учреждение и местопребывание пожизненны (места ведь меняют не от хороших причин). Это, конечно, в идеале, не беря в расчет цветущий эмпирический беспорядок.

В свое время люди, наследственно торговавшие, служившие, возделывавшие землю, занимавшиеся ремеслом, довольно отчетливо представляли себе свое будущее и будущее своих детей. Но дети все чаще отказывались выполнять отцовскую программу. Они сочиняли собственные программы, исполненные жертвенности и тщеславия, бескорыстия и эгоцентризма. Еще в начале 20-х годов мы имели возможность наблюдать этих детей.

Вот случай, один из многих: человек восемнадцати лет, с резкими гуманитарными способностями, с отсутствием всяких других способностей, вообразил, что для воспитания ума, для полного философского развития необходимо заложить естественнонаучную основу. И вот он в теплушке, по фантастическому графику 20-го года, пробирается в Москву — закладывать естественнонаучный фундамент будущей гуманитарной деятельности. Среди еще неизжитой разрухи и голода у него никаких материальных ресурсов и ни единой мысли о том, как же, собственно, практически от заложенного фундамента (на это уйдет, очевидно, несколько лет) переходить потом к освоению профессиональных знаний и *что есть при этом*… Им казалось тогда, что они мрачные и скептические умы. На самом деле, сами того не понимая, они гигантски верили в жизнь, распахнутую революцией. В этом как раз их историческое право называться людьми 20-х годов.

Известно, что будет творчество (не совсем еще, правда, известно какое…) и что еда приложится. А в настоящем нищета

была легкой, бездомность — высокомерной.

Была восхитительная зыбкость границ и неизвестность возможного. Так что еще ни о чем нельзя было с уверенностью сказать: я этого никогда не увижу, не узнаю, не испытаю, не напишу.

Было игровое отношение к вещам — каждое явление мира могло еще пригодиться. Нищета — это материал; и неудача тоже. И любовь, ломавшая человека, — это тоже был материал, который он держал в руках, чтобы некогда придать ему форму — какую захочет.

Была неповторимая своевременность успеха; был успех, которому молодое честолюбие раскрывалось доверчиво и просто. Вторгаясь в долгую череду неудач и обид, успех потом всегда приходил слишком поздно. Нечаянные маленькие удачи годились еще, чтобы на мгновение умиротворить червя неполноценности. Но успех опаздывал закономерно и неуклонно, потому что уже никогда не мог попасть в ритм честолюбия.

Молодость — своевременное настоящее, прошлое, вместе с нами растущее в нашей творческой памяти, горе, ставшее словом, которое еще будет сказано. Мерцающий туман будущего…

Ты, некогда всех обольщений друг,
Сочувствий пламенный искатель,
Блистательных туманов царь — и вдруг —
Бесплодных дебрей созерцатель.
Один с тоской, которой смертный стон
Едва твоей гордыней задушен.

«Тот, кто умирает при многих свидетелях, — умирает всегда мужественно», — говорит Вольтер по поводу смерти Людовика XIV. Эта истина всегда была очевидна. Но притом как-то упускают из вида, что мужественно жить без свидетелей тоже очень трудно. Можно проводить восемь часов на службе и остальные в коммунальной квартире, — живя без свидетелей. Свидетели — это среда, апперципирующая поступки человека, оценивающая его жизнь согласно определенным этически-эстетическим нормам. Где есть среда, там в каждой личности действует мощный закон сохранения принятого нравственного уровня.

Молодость этого поколения прошла при свидетелях. Потому она и была молодостью — в социальном смысле слова. Аскетическое упорство безвестных творческих усилий — это казалось выбором, гордостью, стилем жизни. Без свидетелей форма распадалась. Не человек отказывался от соблазнов мира

сего, а человеку отказывали от места. Отсюда долгие, дорогостоящие старания — жить как люди живут… Не получалось.

Неудача — больше не материал, потому что она не пригодится; проигранная жизнь не форма, потому что на нее никто не смотрит со стороны.

«Я узнал пределы всех…» — с отвращением писал стареющий Герцен, имея в виду себя и Огарева. Старость — это нестерпимо ясные пределы того, что мы делаем. Таинственные ростки будущего, листы, которые складываются в стол, — теперь не более чем следы павших замыслов.

Рассеялся мерцающий туман будущего — порождение мелкобуржуазного сознания, как известно, анархического и хаотического, и в своей хаотичности вынашивающего не решенные заранее возможности. Переживание молодости качественно изменилось — выпали неизвестность, непредрешенность человека. Тем самым отпал один из классических признаков старости.

Между нами и теми, кто на двадцать пять, на тридцать лет моложе, разница заметная, но в основном негативная. Они тем-то не интересуются, того-то не знают или не любят, о том-то не думают. Но те из них, которые думают, — думают довольно похоже. Вместо того чтобы рвать нас молодыми зубами (по правилам XIX века), они смотрят ласково.

Трагедия отброшенных с переднего края истории, исконная, традиционная, бессчетное число раз описанная, перестала совершаться. От одного страдания человек XX века все же избавлен — от трагической зависти к растущему и вытесняющему. В виде компенсации, что ли, ему дана если не вечная молодость, то, по крайней мере, вечная моложавость.

Инфантильность стариков еще не самое плачевное; плачевнее инфантильность молодых.

Об инфантильности говорится между прочим в «Легенде о Великом инквизиторе», где предусмотрена даже художественная самодеятельность: «…Но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками». С невинными. Танец не должен вызывать эротические ощущения, поэтому в клубах особенно поощряется падекатр.

Стихия инфантильности символически воплощена концепцией всеобщего воспитания; она определяет современность, как просветительная философия определяла XVIII век. Все умы — от яслей до академий — считаются воспитуемыми. Чиновники же понимают воспитание как

возможность отрегулировать тот механизм словоизъявлений и действий, который для данного момента (иногда очень непродолжительного) признан наиболее уместным.

Ни служба, ни семья сами по себе не делают человека взрослым. Взрослеет он от возрастающей ответственности, возрастающей независимости, возрастающего благосостояния. Нужен именно процесс общественного роста, непрерывность иерархии, накопление. Если нет продвижения по установленной социальной колее, если с бредовой легкостью человека отбрасывает к давно уже бывшему, то человек этот инфантилен. Десять лет тому назад у него было столько же детей, сколько сейчас, — один; столько же комнат, сколько сейчас, — скажем, две; денег ему не хватало примерно столько же, сколько не хватает сейчас. Многие обладают даже физической легкостью людей, не объедающихся, не страдающих подагрой, которую к сорока годам наживали наши отцы.

Сложнейшая иерархия вещей, отношений, наружности, интонаций отделяла чиновника начинающего от чиновника, завершающего свой путь; столь громоздкая, что завершающему превратиться опять в начинающего казалось невозможным.

Для женщины с замужеством изменялось все. Из своей комнаты она переходила в свой дом — хозяйкой, то есть облеченной авторитетом и властью. Изменялось имущественное положение, распорядок дня, круг знакомых. Это был возрастной скачок. Семнадцатилетняя девочка становилась женщиной. Но если двадцатипятилетняя женщина с ребенком и мужем остается в той же комнате, на той же службе, с тем же бюджетом, в том же пальто, с теми же приятелями и сослуживцами, — она остается девочкой.

Если не возрастает с годами ни ответственность, ни независимость, ни монументальность быта, то нет, собственно, никаких оснований из юного становиться зрелым. И человека тогда числят в молодых — годами, десятилетиями. Числят, пока это становится физиологически невозможным. Всем уже видно, что у него отрастает брюхо, сереют виски, складки повисают над воротничком. Он непосредственно переходит в разряд немолодых.

Во время академических проработок 49-го года сорокалетние лысеющие мужчины, перегрызая горло противнику, тут же скорбели о себе, о молодых затираемых кадрах. Научных работ они не имели и поэтому искренне считали себя молодыми.

Гражданский возраст — не счет годов, но отношение между количеством прожитых лет и качественным их содержанием.

В *этом* возрасте штопали внукам носки, сидя в покойных

креслах. В этом возрасте писали густые книги, книги проверенных опытов, последних обобщений.

Мы всё еще сами себе удивляемся. А пора бы привыкнуть к ненакопляющим и согласным все продолжать и все начинать сначала, к наделенным двусмысленным даром вечной моложавости.

Дорогие сверстники, ведь вы старики, мы уже старики… И всё вы как-то не так себя ведете.

Из незаполненного, ненасыщенного жизненного пространства выходит навстречу стареющий юноша, — призрак инфантильного сознания.

*1954*

Трагедия Пушкина — одна из немногих трагедий девятнадцатого века, выдерживающих резкий воздух двадцатого. И нам, которых не удивишь зрелищем боли человеческой, до сих пор от этого больно.

Хорошо осведомленные современники недоумевали: Пушкин все как-то не так себя ведет. И в самом деле, ни ревность, ни ненависть, ни социальная травма, ни темперамент не объясняют всего до конца, если не учесть самое главное — творческие помехи.

Когда застрелился Маяковский, и все искали причин, и, в частности, толковали о любовной лодке, которая разбилась о быт, Корней Ив. Чуковский сказал мне: «Все вздор. В пятнадцатом году он не так еще был влюблен. Однако не застрелился; напротив того, написал „Облако в штанах“».

Пушкин, начиная с рубежа 20-х годов («Руслан и Людмила»), нес на себе русскую литературу, при невероятной напряженности движения от этапа к этапу. Этапами были большие вещи — по жанру; по объему они (кроме «Онегина») были, в сущности, небольшими.

После «Медного всадника» ему нужен был опять этап, поворот. И в западне, которую ему расставили, он, вероятно, не мог сосредоточиться на главном.

Герцен говорил: бездействие превращает силы в яд. Чем могущественнее силы, тем ядовитее яд.

Каждому настоящему писателю (независимо от масштаба), то есть человеку, который только актом писания переживает жизнь, знакомо тоскливое раздражение, злое, сосущее беспокойство — этот психический след бесплодно, необратимо истекающего времени. Писатель силен, пока он не знает отпущенной ему меры возможного и невозможного. Пока будущие его творения для него непредставимы. Но вот он понял, как напишет то, что еще

напишет, — и заскучал. Может быть, Пушкин умер оттого, что ему уже было видно, как он будет редактировать «Современник», работать над историей Петра, даже писать стихи.

«Медный всадник» написан в 1833 году, лирика последних лет — предел гениальности, но лирика всегда была для него сопровождением. Ни «Современник», ни история, ни проза не были самым важным. Когда нет самого важного, все становится неважным, и все неважное становится важным, и любое может стать смертельным. О, как они тогда беззащитны!

А письма Герцена последних лет, брюзгливые, с длинными денежными расчетами, с вечным ужасом перед тем, что все вокруг бестолковы, и никого нельзя научить вести хозяйство, и покупать мебель, и жениться. Все это у него началось после падения «Колокола».

Личность сильна только как носительница общественной динамики… Иным казалось, что это марксистское положение опровергнуто практикой. Напротив того, оно подтверждено практикой. Дело в том, что деструктивная сила отдельной личности действительно огромна. Власть имеющая, она может причинить неограниченное количество зла. Отсюда у пострадавших аберрация ее всесильности. Но конструктивные возможности той же личности — пусть гениальной — строго ограничены историческими предпосылками.

И четырехлетний ребенок, играя спичками, может сжечь деревню или деревянный город.

Торжество заката. Как если бы все прекрасное сбежалось сюда со всех сторон и остановилось в его широком свете. Низко стоят большие снежные облака. Выгнутое поле не шевелится. Вдоль долины не видной отсюда, сверху, реки — леса, а отроги их, оторвавшиеся от массива, перечертили долину. Все зеленое, и этот зеленый цвет — многих цветов, от салатного и серебряно-серого до черного. Другое, не зеленое, — только золото кормовых трав, прострочившее луч у склона холма. Все неподвижно и все динамично в изменяющемся свете заката. Свет все нежнее и радужнее, а тени все резче. Тень лепит глубину расходящихся тропинок; теперь они розовой своей плотью врезаны в зелень земли. Тень чертит редкую зеленую щетку далеких, покато лежащих огородов. И каждый поднявшийся над уровнем колос (колосья еще не пожелтели) — со своими усиками и плотно прижатыми зернами — являет тонкую структуру тускло-прозрачной светотени. Стечение вещей, прекрасных формой, цветом, запахом, шорохом, тишиной. Красота, но теперь

гложущая красота.

Ее некому подарить. Она слишком богата подспудными смыслами, чтобы просто в ней отдохнуть. Можно о ней написать. Но так ли уж нужно написать: редкая зеленая щетка огородов. У сравнения открытого и скрытого большие возможности, слишком большие, отсюда его соблазны. Если оно не подменило предмет, оно с большой и грубой силой может вызвать его материальный образ. Но самую вещь оно не берет. Его не любили ни Пушкин, ни Толстой.

Когда-то красота не мучила. Подразумевалось, что непременно будет найдена та творческая связь, в которой все понадобится, как понадобится всякое горе и радость. А покуда еще можно брать, набирать как можно больше; покуда далек еще срок, когда каждый опыт безотлагательно потребует формы.

Призванные — в силу своей преобладающей способности — к созиданию форм и не реализовавшие эту способность, в хаосе несозданного, недодуманного, неосознанного испытывают всегдашнее тупое беспокойство — гнет несуществования. Они присутствуют при том, как кто-то параллельный и подмененный бессмысленно проживает их жизнь.

Разговор о том, что жизнь пустая и глупая шутка, — самый несвоевременный. Поскольку современность предлагает слишком много средств для прекращения жизни личной и общей. Вспомним хотя бы биографии наших знакомых. Каждый имел настолько больше возможностей не существовать, чем существовать, что уж не ему рассуждать еще о тщете существования. А тем паче сейчас, рядом с атомными бомбами.

Ах, вам не нравится? Пожалуйте направо, или налево, или прямо…

Когда Толстой писал «Исповедь», — ему — здоровому, кряжистому, гениальному, с его бессмертной славой, землей, семьей, — казалось, что из жизни уйти очень трудно, что это невесть какое сложное дело. Иван Ильич — ничтожен, но смерть его грандиозна и замедлена до предела. Ахматова рассказывала, что как-то она сказала Гумилеву:

— Как ужасно умирает Иван Ильич…

— Да, но так люди не умирают.

Будем надеяться, что так люди не умирают.

А поэт 30-х годов написал о легкой смерти (он не мог пройти мимо этого):

Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин…

Ее не сопровождает отчаянное удивление людей XIX века: был человек и нет человека? А возможно ли это? Да. Легкость смерти нашего времени, к несчастью, вовсе не в отсутствии смертной муки. О, нет. Она в той бесследности и простоте, с которой индивид изымается из общих связей.

Легкую смерть видели мы повседневно в блокадную зиму, когда ссохшиеся люди исчезали без видимых усилий. Помню, как в писательскую столовую в последний раз пришел Виктор Гофман, в прошлом человек резко выраженной индивидуальности. У него были уже темно-красные, запекшиеся губы. Он был в какой-то короткой шубе. И спереди, на животе, из шубы был почему-то вырван большой клок, так что торчала вата. Он просыпал на тарелку немного сахарного песку и стал подбирать крупинки пальцами и губами. Дня через два в столовой узнали, что он умер. И кто сказал бы тогда: был и нет? Да как же это возможно? Не верю… Это было именно самым возможным.

Люди второй половины XIX века поносили жизнь и вопияли против смерти. Это противоречие можно им простить, приняв во внимание, что они были людьми потерянного рая. Недавно, у всех на памяти, рассеялся рай абсолютов, разных — от католической догмы и Декларации прав человека до Гегеля. Понятно, что, потеряв абсолютные ценности и, больше того, бессмертие души, можно было сгоряча несколько десятилетий кричать о том, что жизнь обман и шутка. Но когда до бесконечности повторяют, что жить бессмысленно, и притом живут и живут, и очень неохотно умирают, и продолжают писать о том, что не стоит жить, как если бы писать об этом во всяком случае стоило, — то все это уже не может питать ни теоретическую мысль, ни искусство.

Вот почему знакомство с заколдованными дарами новой живописи и литературы так часто становится нерадостным узнаванием сказанного лет пятьдесят тому назад, то есть на той стадии, к которой изгнанное из рая буржуазное сознание пришло в начале XX века. На этом пути ничего больше и не будет, кроме обманчиво новых (если они на высоком уровне) повторений. Потому что именно в XX веке кончился давно начатый разговор о тщете жизни и начался другой разговор — о том, как бы выжить и как бы прожить, не потеряв образа человеческого.

Чем больше говорит искусство об этом, тем оно современнее. И еще современное искусство, по-видимому, должно говорить также о счастье и красоте. Потому что счастье и красота — реальный наш опыт, и только этот опыт дает страданию цену и отрицанию диалектический смысл. Красота, радость жизни, творческая сила — это то *разрушаемое*, против чего работают

небытие и оскудение, унижение и боль. Само себя гложущее несчастье никогда не загорится трагическим огнем.

На нашей памяти конфликт литературного персонажа стал опять внешним конфликтом, как во времена допсихологические. Внутренний конфликт психологической литературы XIX и начала XX веков был *свободным* конфликтом в том смысле, что интеллектуальный человек, — не довольствуясь сопротивлением вещей и обстоятельств, — сам создавал его и сам разрешал (по возможности). До крайности довел свободу конфликта Пруст. Но хемингуэевский человек совсем уже отрешен от самозарождающегося конфликта, в частности от любовного. У Хемингуэя двое, которые могут соединиться в пустом и враждебном пространстве, бросаются друг к другу с поспешностью, не позволяющей им терять ни минуты на проволочки психологического порядка. Хемингуэевские девушки, мужественные и нежные, становятся любовницами в первый же день знакомства, понимая, что до второго дня можно и не дожить.

Девятнадцатый век канонизировал несчастную любовь. Наши лучшие современники пишут о счастливой любви. Она оказалась катастрофичнее несчастной.

Отказ от внутреннего конфликта — одна из предпосылок отмирания интеллектуального героя — идеолога или самоаналитика, — любовно выношенного русской литературой. Герой Хемингуэя, не будучи идеологом, еще сознательно выбирает свое поведение. Позднее безмерно распространится другой персонаж, открытый Чаплином и Кафкой, — человек, которого тащат за собой силы, непонятные или понятные — не так уж существенно.

Вместо свободного мира идей — предельно необходимый и давящий мир объективного ужаса жизни. Герой — страдательный, маленький человек, просто человек. Функция его в корне изменилась. Он стал теперь выразителем всех — больших и малых, глупых и умных, умудренных и малограмотных. В этом демократизм современного сознания.

Человек Чаплина совсем не Акакий Акакиевич — предмет отчужденного сострадания. В нем, а не в совопросниках мира сего (формула Аполлона Григорьева) поколение узнает свои страдания. Это — всеобщность нищеты и бездомности, всегдашней смертной угрозы и полицейского запрета, хлеба насущного и любви, отчаянно цепкой и всему противостоящей.

Замечу еще, что XIX век редко изображал физические страдания, не считая их типичными.

Эстетика индивидуализма, непосредственно нам представшего в своей поздней позитивистской формации,

состояла в терзаниях по поводу заведомо неразрешимых противоречий. Индивидуализм, столь соблазнительный, раз навсегда запнулся о факт смерти. Теоретически справиться с этим фактом он никогда не мог и, главное, не хотел. Без нерешенных противоречий индивидуализм терял высокое содержание. И оставался один скучный эгоизм.

Жизнь, по самой своей биологической сути, неотделима от смерти. Индивидуализм (без идеализма) не может понять и принять смерть, прекращение личного сознания. Следовательно, он не может принять жизнь.

Великие индивидуалисты прошлого века — логические самоубийцы Достоевского; они-то и объявили, что жизнь бессмыслица, злая шутка и прочее. Очень логично; но совсем не логично было то, что они продолжали жить, и не просто жить — это можно было бы объяснить физиологическим страхом самоуничтожения, — но продолжали творить, любить, радоваться радостному и прекрасному. Они вели себя так, как если бы жизнь являлась осмысленной непрерывающейся связью, независимой от обреченности личных сознаний. Как если бы сам по себе удивительный факт жизни — сам в себе нес свое оправдание. Это противоречие стало содержанием великих творений, застыло в вечных формах.

Противоречия, подвергшиеся стабилизации, больше не продуктивны. Нам больше не хочется ими любоваться. А это значит, что все же совлечен ветхий Адам XIX века.

То, что в искусстве Запада работает еще на классических антиномиях индивидуализма (такого, по-видимому, еще много), — непродуктивно. Продуктивно искусство, которое объясняет — почему человек живет (ведь не из одной же трусости), показывает или стремится показать этическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф XX века.

О возможности жить написан «Колокол» Хемингуэя. Для Хемингуэя самоотвержение, героика, самая смерть в борьбе — это заданное условие достоинства человека, цена полноценности самосознания. Тем самым это еще личное дело сильного духом. Люди же не могут не искать норму, годную для поведения всех.

Индивидуализм XIX века довел до того, что самое существование человека стало логической ошибкой, *пробелом разумения* — как выразился по другому поводу Чаадаев.

С позитивистическим индивидуализмом надо кончать. Найти новую связь с общим едва ли было доступно заквашенным девятнадцатым веком, переходящим в двадцатый. Формация эта родилась с непониманием жизни (при всей практической в ней заинтересованности); с тем прожила и умирала — не видя логики

в смерти.

## *Добавление*

В литературе продолжается маленький человек и даже больше — или меньше — чем маленький. У нас только что появился недавно написанный роман Фолкнера «Особняк». При чтении первая реакция — надоели ублюдки… Потом постепенно примиряешься.

Роман сделан сильной рукой, очень эффектен (слишком). В нем много мыслей, хотя не самых важных; вернее, не на самой большой глубине.

Две основные идеи. Одна из них связана с интеллектуальным и любимым героем Фолкнера — Гэвином Стивенсом, Юристом. Это старая, даже вечная тема — Пьеро и Коломбины. Коломбина здесь называется Прекрасной Еленой. У Жироду («Троянской войны не будет») Елена Прекрасная — инертная материя, абсолютное, но вполне негативное зло, которое, — как сказал в разговоре об этой пьесе Д. Максимов, — проистекает из отсутствия добра. Концепция Фолкнера другая. У его Елены безмерные требования; поэтому зло, которое она причиняет, имеет некое нравственное оправдание в неосуществленности предъявленных требований. Что касается Пьеро, то Гэвин Стивенс — это тот человек, которого женщины любят больше всех, без которого жить не могут, которого чтут и помнят до конца своих дней и от которого всегда уходят с Арлекином. Причем Арлекин вовсе не обязательно прощелыга. В данном случае, у Фолкнера, он художник и герой испанской войны.

Это старая тема… А новая тема романа, напротив того, воплощена неинтеллектуальным героем, притом в самой крайней его форме. Маленький человек «Особняка», Минк, 38 лет просидевший в тюрьме, почти совсем идиот. Но Минк восстанавливает моральное равновесие. В первый раз он убивает того, кто растоптал достоинство человека. Во второй раз он убивает насильника и лицемерного негодяя. И Минк вовсе не случайное орудие; все, что он делает, он делает сознательно. Поэтому проблематика жалкой жизни Минка: справедливость и возмездие, и ненависть к оскорбляющим, и свобода, и подневольный труд — касается всех. И Минк равен всем. Так что в последних строках романа об этом сказано уже прямо в лоб: «… И не разберешь, где кто, да и разбирать не стоит, и он тоже среди них, всем им ровня — самым добрым, самым храбрым, неотделимый от них, безымянный, как они: как те, прекрасные,

блистательные, гордые и смелые, те, что там, на самой вершине, среди сияющих видений и снов, стали вехами в долгой летописи человечества: Елена и епископы, короли и ангелы-изгнанники, надменные и непокорные серафимы».

Что поделаешь, если неинтеллектуальные герои явно недостаточны, а с интеллектуальными не получаются новые темы (так же примерно обстоит и в нашей молодой прозе). Один из возможных выходов (как все выходы, неокончательный) состоит в том, чтобы слово взял интеллектуальный автор — для прямого разговора о жизни.

Когда у человека нет работы, и он сидит один в тиши и одновременно в шуме коммунальной квартиры, и ждет как развлеченья телефонного звонка, — ему непонятно, как люди, которые ему нужны, не находят для него двадцать минут времени. Между тем при определенной системе существования эти двадцать минут действительно трудно найти; особенно, когда их требуют многие. Каждый в известных обстоятельствах (так называемых благоприятных) сразу же превращается в человека без времени, и ему уже до злобы непонятны люди, пытающиеся располагать этим его отсутствующим временем.

Нехорошо, например, что известный писатель, продержав рукопись полгода, вернул ее непрочитанной, — вместо того чтобы снять трубку и сказать: «Признаюсь, открыл ее нехотя и — зачитался, просто зачитался…» Что к другому знаменитому писателю (он мог бы помочь) без серьезного блата невозможно прорваться на дачу, где он воспитывает собак и выращивает тюльпаны. Нехорошо. Но происходит все это, помимо других причин (включая невежливость), оттого, что им неинтересно. Но написавшему труднопроходимую рукопись остальное тоже неинтересно.

Литературоведы наших дней иногда интересуются своей работой, чужой же никогда. Читают по специальности — для ловли ошибок, для присвоения чужих мыслей или для отыскиванья своих, для цитат или для вузовских лекций, — читают мало и медленно. Думают же об этом, пока пишут, и не думают и не говорят в остальное время (в наши студенческие годы в Институте истории искусств об этом говорили денно и нощно). Оно как служба, которая каждый вечер до следующего служебного дня вылетает из головы. Вот международным положением литературоведы интересуются, потому что это действительно касается всех. Я тоже не хочу читать литературоведческие книги. Плохие вызывают скуку, хорошие — могли бы вызвать зависть… Но для зависти не хватает

заинтересованности.

М. говорит — литературоведение потеряло ключ к духовной жизни человека. В 20—30-х годах оно еще владело ключом. В 30-х годах, перед войной, нам казалось еще — мы будем долго идти вперед, по прямой. На самом же деле, — как всегда в истории культуры, — это была волна, и с гребня волны мы уже валились вниз, в ничто. Волна теоретической и историко-литературной мысли поднялась из недр большой литературы. Ждать новой такой волны нам, быть может, уже не по возрасту.

Долго еще казалось, что нам просто мешают, что только бы отделаться от заградительного издательского механизма… Когда туман рассеялся, выяснилось, что мешать уже нечему и — хуже всего — некому (разве что трем-четырем задержавшимся).

Самые же стоящие молодые ушли в другие области.

Мы решаем проблему. Например, декабристы — просветители или романтики? В 40-х годах мне казалось это существенным. Со злобным нетерпением мы переживаем издательские проволочки. Проходят годы (многие), работа выходит в свет. И оказывается тогда, что нет уже ни одного человека, для которого проблема была бы проблемой, что поэтому никто не заметил ее решения.

Охотно или неохотно, но специалисты все же следят за выходящей специальной литературой. Но трудно себе представить, чтобы кто-нибудь, кроме оплачиваемых редакторов и рецензентов, прочитал в наши дни историко-литературную рукопись. У любого специалиста — бегающие глаза, едва только в разговоре забрезжит опасность, что отверженный автор вдруг скажет: а не прочитать ли вам мою рукопись?.. Они все искренне верят, что это интересно, но у них огорченные, бегающие глаза; у них защитный рефлекс против попытки занять их время необязательным, неслужебным делом. Вышедшая книга — это ведь для специалиста дело служебное; он должен ее прочитать, если не прочитать, то купить и перелистать, если не перелистать, то понюхать. У отверженного автора на их месте тоже были бы бегающие глаза и потребность самозащиты.

В 45—46-м годах после войны и блокады возвращение к исследовательскому труду проникнуто было энергией, чувством вновь дарованной жизни. Незаинтересованность приходила потом, разными путями. В том числе путем испуга. Оказалось, что историко-литературные соображения могут стать ценой хлеба и крови. Величайший интерес приобрели тогда обусловившие эту возможность закономерности; но сами концепции потеряли значение.

N. N. рассказывал историю печатанья или непечатания своей

книги. Он вспоминал свои просительные интонации (эти непроизвольные модуляции голоса — он их помнит ясно, до омерзения), скучные лица и бегающие глаза собеседников, их защитные и закругленно-отталкивающие жесты, их заградительных жен, по телефону выясняющих возможность не подпустить просителя… Хотя проситель добрый знакомый.

Книга — пять лет безвыходных оскорблений. Чтобы жить, нужно было не то что не понимать свое положение (невозможное дело!), но придерживать это понимание в одном каком-то участке сознания, чтобы оно не разлилось и не загрязнило все вокруг. Это было самосохранением, жизненно необходимым, поскольку и все дальнейшее должно было состоять из оскорблений. Сейчас это уже не обязательно, — именно потому обида поднялась на поверхность (можно теперь позволить себе эту чувствительность). Когда он звонит такому-то, и тот говорит, что не может сейчас лично увидеться, потому что у него затянулся ремонт, а потом он уезжает в командировку; когда он звонит другому, и тот просит позвонить еще через несколько дней, потому что он только что вернулся с дачи, то все это нормально, вполне в рамках; но от звонка к звонку растет тоска — еще раз…

Перед каждым звонком, перед каждым заходом в издательство — до физической боли дошедшее чувство угнетенности и страха. И оказывается, это не страх событий (очередной подметной рецензии или расторжения договора), страх событий был прежде, и это прошло, и уже не повторится с прежней силой. Теперь человек боится не решений, не последствий, а самого процесса унижения.

В те годы, когда людей вызывали и требовали от них предательства, и за отказ от предательства угрожали уничтожением, — бывало так, что воображение с ужасом обращалось не к предстоящей гибели, но к предваряющему ее, сопровождающему — к оскорблениям или к тесноте, духоте пересыльного вагона.

Какая-то здесь темная аналогия с тем, что человек боится уже не уничтожения книги, в которую вложены время, ум, труд, — но боится своих интонаций и скользящих жестов члена Редакционного совета.

*1954*

В компании художников, как известно, говорят о филармонии, а в компании архитекторов — о балете. Ал. Ал. Смирнов интересуется только шахматами и музыкой, Эйхенбаум изучает теорию музыки и коллекционирует пластинки. Томашевский, завидя гостя, бросается к

проигрывателю. Я могу прочитать добровольно книгу по любой доступной мне отрасли знания, но литературоведческие произведения читаю только в случаях крайней необходимости.

Так случилось, что какая-то часть моей библиотеки отразила не лучшее в моей жизни (как у подлинных книголюбов), но худшее. Составилась она поздно, довольно быстро, с целями практическими, и для порядка (как у людей). Среди прочих опытов — были и такие. Есть две-три полки, которые я ненавижу. Там, спрессовавшись нетронуто гладкими корешками, стоят страшные книги — колья, забитые в гроб блистательной и трудолюбивой советской истории литературы.

Приобретают эти книги для профессионального употребления, но их не употребляют. Их не употребляют, но они стоят. Если б очистить полки, снести это все к букинисту… Но книги стоят, потому что профессионал должен иметь библиотеку, как у людей; потому что может понадобиться справка… Хотя справляться в них решительно не о чем.

И оттого что они стоят — при всей своей ненужности, — они стали обидой, напоминанием всех крушений. Они свидетельствуют о случайном и принудительном, о неизбираемости вещей и поступков, а может быть, и людей, о времени, которое не поддается памяти.

Человек — раб лукавый и ленивый, в особенности ленивый. Для виду он ропщет, на самом же деле его устраивает принудительная праздность духа. Только никогда не писавшие думают, что писать приятно. Тут же не подкопаешься: у меня нет времени думать, потому что я расставляю запятые в чужих сочинениях (очень классических).

Книги-паразиты, книги-враги — это кое-что объясняет в психике литературоведов, играющих в шахматы, коллекционирующих пластинки, говорящих о чем угодно — только не об этом.

Профессионал если не всегда сознает, то всегда ощущает несуществование сферы, в которой работает, фиктивность принадлежащих ей понятий. Это безошибочно. Но это еще не все. Несуществующая сфера — это вместе с тем область ведомственной скуки и склоки, погибших замыслов и неувядаемых обид; это место, где он врал и унижался, где он предавал, где его предавали, где стыдно. Неужели же и в неслужебное время еще думать, еще толковать об этом… La toile! La toile![15] — как говаривал Герцен.

N. в числе преуспевающих и, как все преуспевающие из порядочных, охотно подчеркивает признаки отличия от прочих

преуспевающих. Один из признаков — уважение (по гамбургскому счету) к непреуспевшим.

— Да, это настоящий человек… Вот это жизненная позиция…

Это разговор после двух-трех рюмок, когда его у себя принимает непреуспевший; приятный и беспредметный разговор. А вот разговор, когда он принимает (по делу) непреуспевшего:

— Занят я сумасшедшим образом. Вы не представляете, что делается. Телефон обрывают. Какие-то предисловия, отзывы, выступления. Только что звонили из журнала.

— Зачем же вы на все соглашаетесь?

— Невозможно. В каждом случае невозможно. Так же, как я не могу вам отказать…

Между этими людьми существуют многолетние отношения, вовсе не похожие на эту фразу. Фраза же эта — непосредственная, наивная реакция организма на ситуацию. Узнавание ситуации, которая выражается формулой короткой, жесткой и освященной веками: проситель и покровитель. Ситуация точно сработала, и автоматически выскакивают слова: «Вам же я не могу отказать…»

Вообще механизм социальной иерархии действует замечательно наглядно и точно. Особенно когда на него не наброшен покров истинной вежливости. Но истинная вежливость встречается редко; да и покровы самой вежливой вежливости прозрачны.

Социальная иерархия, как и всякая иерархия, — это механизм по сути своей формальный. И все, кто к нему прикосновенны — а прикосновенны к нему почти все, — вольно или невольно действуют по его формальным законам. Даже оценивающие по гамбургскому счету. Когда существует чрезвычайный разрыв между действующей иерархией и гамбургским счетом, оказывается: цена по большому счету — это абстракция, тогда как иерархия, хотя бы литературная, — это воплощение силы совершенно реальной.

Органы СП, например, — Литфонд в том числе, — очень хорошо знают, что даже не по гамбургскому, а по открытому сейчас счету Ахматова это мировое имя, вошедшее в историю и прочее. Они знают притом, что сейчас им не только не возбраняется, но даже вменяется в обязанность ее опекать. Они знают также, что Икс или Игрек, скажем, — не бог весть что, и даже те премии получали по третьему разряду. И столь же твердо они знают, вернее, ощущают всем своим существом, что А. А. может жить в безобразной бытовой обстановке, а Икс-Игрек не может, что ему нужно предоставить условия. Что заболевшего Икса никак нельзя сунуть в районную больницу, в палату на шесть человек, а Ахматову можно. И сунули.

Мировая слава Ахматовой и ее поэтическое бессмертие — это факт умозрительный; о нем всякий раз приходится вспоминать специально. А положение Икса в иерархии — даже не очень значительное — есть частица реальной силы, включенная в общую сеть силы и власти. Об этой силе не нужно вспоминать и помнить. Вещественно воплощенная, она возбуждает соответствующие условные рефлексы у всех — от членов правления до дежурной у телефона поликлиники.

Закономерностям этим подвластны, к сожалению, не только медсестры и члены правления. Самые из нас неказенные, общаясь с хорошими писателями лет даже 27-ми, не могут удержаться от патриархального с ними обращения, — и это потому, что, согласно нынешней иерархической шкале, молодые писатели сами усвоили поведение литературных мальчиков. Молодые отвечают игрой рефлексов, столь же бессознательной и точной. По гамбургскому счету они ценят, кого надо. Но как-то без ощущения дистанции. Чувство дистанции, монументальная затрудненность общения — это остается за отягченными признанием. Если человек признан только в кругу домашних, друзей и ценителей, то сами домашние и ценители ежеминутно забывают о том, что они открыли большого человека, и практически поступают с ним как с малым. В этой неувязке коренятся даже иные любовные конфликты.

Из людей, общавшихся с Мандельштамом, некоторые уже понимали, какой он поэт, но никто так с ним не обращался. Настолько он не умел, не хотел и по внешним причинам не мог прибегнуть к каким бы то ни было сигналам литературного величия.

Опять собрание в Союзе с докладом о языке художественной прозы. Докладчик и участники прений, гордясь собой, утверждают: язык художественный — это не то же самое, что язык нехудожественный; у писателя должна быть индивидуальность; редактор не должен вписывать в чужую рукопись все, что ему вздумается.

Когда расходились, К., показывая, что знает цену подобным наивностям, сказал: «От этого сотрясения воздуха лучше писать не будут». Еще бы! Разумеется, от разговоров о языке художественной прозы книги не станут лучше, но люди станут лучше, хоть немного. Следовательно, в дальнейшем могут стать лучше и книги.

Они пришли сюда не для того, чтобы рвать сочеловеков зубами. Они пришли не для того и потому чувствуют себя хорошими. Они пришли, чтобы поговорить о том-то и том-то; не

для того, чтобы кого-нибудь славить или топтать, или осуществлять еще иные внеположные задачи, при полном равнодушии к судьбе и смыслу вещей, о которых идет речь. Заинтересованность в вещи как таковой распрямляет дыхание. Что-то есть в этом от первичного узнавания мира.

Стоит кто-то на кафедре и говорит о том, какие замечательные неологизмы встречаются у классиков. И в качестве замечательного неологизма приводит чеховское: «дьячок окоченел от наслаждения». И вид у говорящего этот вздор почти счастливый, как у человека, который раскрыл глаза и увидел вещь, реальность. Выздоравливающий учится говорить и ходить. И первые шаги, и первое «папа-мама» лысеющего мужчины радостны ему и окружающим.

*1956*

На предсъездовском собрании писателей в Ленинграде замечателен был N. во время речи Матвеева. Горман Матвеев кричал, что надо уничтожить литературных чиновников, что от них все качества… грозил огнем и мечом. Реакция N. была неожиданной — он хихикал, ерзал на стуле, шептал на ухо соседу, в самых крепких местах кивал в такт головой: «Здорово же он их… этот Матвеев!» Он был страшно доволен.

Что за странность! Казалось бы, разговор о чиновниках и их вредоносности — смерть для N.. конец. Ничем умственным он заниматься не может, может только давать указания.

А дело все в том, что, если не по должности, то по натуре, N. *бедный чиновник*. Речь же шла о чиновниках министерских, реперткомских, главполиграфиздатских, всю жизнь больно его пинавших. А теперь пнули господ, публично, безнаказанно. И над господами можно хихикать, особенно сидя на хорах, где довольно темно. И он испытывает непосредственную, физиологическую радость мимолетного освобождения.

О том, что может из этого выйти для него лично, он не думает, не по легкомыслию, но потому, что его инстинкт, нюх твердит ему, что вообще из этого ничего не выйдет, что это только приятно возбуждающие слова.

*1955*

P. S. Когда, лет через пять, его все же сняли, он резонно сказал про своего преемника: «Не понимаю… И чем он лучше меня?»

На серењком, мокроносом, моргающем лице редактора — лице недотыкомки — отпечатлелась цепкая борьба за жизнь, за

место, за то, чтобы не растерли сапогом. По-видимому, он хочет и все не может сказать: «Ох, мне бы ваши заботы. И охота вам торговаться о том, психологизм у него или не психологизм. До того ли… Люди пожилые, умные, — хочется ему сказать, — видавшие то, что они видели (а в числе прочего мы действительно видели, как историко-литературные соображения становились ценой хлеба, чести, жизни), люди почтенные — не для денег, не для звания, а в самом деле занимаются тем, кто там классик и кто романтик. И вам не стыдно?»

С какой отвратительной безошибочностью расшифровывается затягивающая логика страха, усталости и растления. Еще немного, и, может быть, и я захочу сказать: «Брат мой! Недотыкомка серая!.. Мне тоже, кажется, все равно…»

Но по косности человеческой ни он, ни я, мы ничего этого вслух не скажем. И разойдемся, не оценив друг друга.

При Николае I (особенно в пору «мрачного семилетия») люди правительственного аппарата подразделялись на мерзавцев, полумерзавцев и полупорядочных. Мерзавцы помощью мракобесия продвигались выше и душили также и по собственной инициативе. Полумерзавцы мракобесием удерживались на своих местах и душили по приказанию. Полупорядочные от полумерзавцев отличались тем, что приказать им можно было почти все, но не все без исключения. Для некоторых надобностей их не употребляли. Что же делали порядочные? — они не принимали участия. У них были имения, и они имели эту возможность.

## *Вернувшиеся…*

Все они, особенно мужчины, рассказывают об этом приглушенно и как-то со стороны. Как будто цель их рассказа сообщить слушающим страшную и объективно интересную историю. Жалобы, негодование прозвучали бы неожиданно, ненужно. Самую же суть этой манеры составляет отсутствие удивления, совершенное отсутствие удивления. Удивление перед лицом общественного зла было детищем XIX века. Они же рассказывают о том, чего и следовало ожидать от двадцатого. «Закономерности всем известны, а вот вам еще характерный случай; случай этот — я». В прошлом веке так рассказывали (если верить литературе) русские дворовые о судьбах своих и своих собратий. Они знали цену поведению господ, но у них не хватало душевной силы, чтобы удивиться.

Говорят, Z., когда его исключали, вместо того чтобы выкручиваться, вдруг сказал приблизительно следующее: «Тогда было такое время. На меня могли донести. Я решил — лучше, если я сам буду доносить на всех».

Это заявление доконало его (по-видимому, он не только прикидывается, но отчасти действительно сумасшедший). Оно бросило страшный отблеск на прошедшую жизнь присутствовавших, и поэтому возбудило ожесточение.

*1956*

N. N.: — Многие говорят — им хотелось бы, чтоб вернулись самые молодые годы, студенческие. А я ни за что не хотела бы еще раз прожить молодость. Такую, как моя… Тупую… в полном непонимании всего.

N. N. — около тридцати лет.

— Разве тогда о нем плакали? — сказал Л. — О себе плакали. Одни плакали от страха; другие — думая о прошлом или о будущем. Все — иногда сами того не зная — о том плакали, что прожитого не исправить.

У классиков были всякие конфликты, но они ничего не знали про коммунальную квартиру в качестве возможной творческой площадки. В коммунальной же квартире, если только рассредоточиться, — все оказывается важным и в высшей степени действительным. В коммунальных ссорах именно все действительно и все совершенно правы. Я даже думаю, что скандалов необоснованных почти не бывает. Соседи в самом деле поставили под дверью соседей корзину с грязным бельем, не дают проветривать кухню или, напротив того, устраивают сквозняки, не гасят свет в коридоре (а мы за них платим), в самом деле сдвинули кастрюльку, заняли конфорку, не закрыли мусорное ведро. Это все ведь человеческие обиды, из высокомерного далека дач и собственных квартир называемые склоками.

В коммунальных квартирах примирения растлевают больше, чем ссоры; люди мирно общаются после всего, что они сказали друг другу, после всех видов, в которых друг друга видели. Эренбург в одном из своих романов с мягким юмором изобразил, как жители жизнерадостной коммунальной квартиры по утрам занимают очередь в уборную. Сублимировать внутриквартирные очереди в уборную, вообще вещи, озлобившие, унизившие поколения самых разных людей, может только писатель, отрешенный от жизни. Ильф и Петров не сюсюкали над Вороньей

слободкой.

Замечательно, что организациям, проводившим обсуждение Дудинцева, официально поставлено в вину то, что дискуссии «вышли за пределы литературы». В этом стихийно-наивном формализме непроизвольно раскрылось укоренившееся представление о литературе как замкнутой системе условного правдоподобия (иногда довольно ловкого), которую нужно тщательно оберегать от соприкосновения с действительностью — иначе она взорвется.

На провокационные вопросы английских туристов Зощенко ответил, что он не может признать правильным сказанное о нем в постановлении. Это сочли криминалом, и местные организации решили возобновить травлю. Зощенко пытался объяснить: обладающий человеческим достоинством не может согласиться с тем, что он подонок, трус и предатель своего народа. Не может. Это было логично и наивно, потому что совсем не о том шла речь. Писатель — зодчий оттенков слова — хотел договориться с теми, для кого слова не имели не только оттенков, но и вообще никаких значений. Слова стали чистым сигналом административного действия. Событие, о котором шла речь, протекало в области полностью запредельной значащим словам и отраженным в них жизненным реалиям.

Вот подлинная структура события, его костяк: абсолютная сила сочла нужным применить к такому-то первые попавшиеся — из своего словарного запаса — слова, пригодные в качестве сигналов уничтожения. По заведенному ритуалу такой-то должен был выслушать и покаяться. И тогда непогрешимая сила, которая объявила его подонком и изменником, быть может, объявит его человеком, признавшим свои ошибки. Всем участникам этой опасной игры известны ее правила, и они бешеным раздражением встречают любую попытку разбудить значение попутно употребляемых слов. Для них это бестактность и глупость — по меньшей мере.

Зощенко выступил на общем собрании ленинградских писателей. Он говорил очень долго. Он мучительно бередил реальные смыслы слов. Объяснял, что человек может признать ошибки, но не может, не может признать, что он подлец, изменник. «Меня назвали предателем, трусом…» И он говорил о Георгиевском кресте, полученном за войну 14-го года. То, что он говорил, дышало неосуществленным самоубийством. Его слушали напряженно. Этот монолог утолял томившую тогда жажду очищения.

Некоторые, впрочем, всполошились сразу и уже в перерыве толковали о том, что это может всем повредить. При мне в перерыве состоялся разговор между Х. и его рецензентом. Попробуем восстановить внутренний процесс, которым разговор этот сопровождался.

Х. думал с неодобрением: «Как некоторые сразу забегали…» Он тоже чаял очищения; он был человеком группового сознания (интеллигенция), разделявшим общие потребности и интересы. И тут же вдруг обнаружилось, что происходящее имеет ближайшее отношение к его личным интересам, — по-видимому, и к общим, взятым в другом разрезе. В перерыве это объяснил ему человек, который как раз в эти дни писал рецензию на его книгу, решавшую участь книги.

У рецензента было гипсовое лицо и бегающие глаза (знакомый и дурной признак). Рецензент сказал доверительно и угрожающе: «Что он натворил! Вы даже не знаете, что он натворил. Это каждый из нас почувствует…» Это интимное «нас», «мы» как-то не предвещало ничего доброго. «Ну, — сказал Х., — это выступление настолько безумное, больное, что, может быть, это так и поймут».

Нервы, только что еще страшно взвинченные, улеглись, и он вяло сказал то, что говорили порядочные люди. Но рецензент, в последнее время охотно говоривший все, что говорят порядочные люди, на этот раз вовсе не клюнул. Он был испуган и зол.

Х. отошел, размышляя о любопытном душевном состоянии рецензента. Понемногу до сознания доходила, определялась опасность этого состояния. Из него должна была проистечь рецензия совсем другая, нежели предполагалось первоначально. И по мере того как определялся страх, возникало то самое, что Х. только что увидал в глазах рецензента, бегающих в прорезях гипсового лица, — злоба, злоба, обращенная к человеку, который ненужно, навязчиво разрушил спасительную условность ритуальных слов. Из которых ведь выдохлось все — и смысл, и кровь, и стыд. Чрезвычайная ненужность. Подумаешь… болезненное явление… интеллигентская слюна в кулуарах. На самом деле — эгоизм истерика. Нечто вроде рвоты при публике. Вот где действительно живой стыд — не в словах со снятыми смыслами… Вообще мне нет до этого дела. И никому нет дела; хотя кое-кто вообразил, что у них исторические переживания. На самом деле у всех разыгрались нервы.

Такова реконструкция воображаемого внутреннего монолога.

*1957*

— У меня все пребывание в санатории было испорчено, —

сказала Анна Андреевна, — ко мне каждый день подходили, причем все — академики, старые дамы, девушки… жали руку и говорили: как мы рады, как рады, что у вас все так хорошо. Что хорошо? Если бы их спросить — что, собственно, хорошо? Знаете, что это такое? Просто невнимание к человеку. Перед ними писатель, который не печатается, о котором нигде, никогда не говорят. Что же хорошо? Да, крайнее невнимание к человеку.

— Нет, все понятно, — хорошо, что о вас не пишут.

Это столь верно, что в тот же день М. при встрече сразу сообщил:

— Знаете, у Зощенки обстоит все блестяще.

— Что же случилось?

— Им там сказали, что ничего особенного не произошло, чтобы его оставили в покое, дали ему работу. — Но он сказал… — Ну и что, что сказал, — ответили им, — пусть видят, что каждый говорит что хочет… Ему предложили работу. Перевод, что ли. Он ответил, что плохо себя чувствует и работать пока не может.

В общем, у Зощенки все очень хорошо.

Ахматова права, как, впрочем, правы и поздравлявшие ее академики, девушки и старые дамы. Невежливо, конечно, говорить писателю, что все хорошо, когда он не пишет. Но в разговоре том было и верное чувство реальности, поскольку это разговор о разрешении существовать. Направляемые чувством реальности, они полагали, что едва ли сейчас есть писатель, для которого писать важнее, чем жить.

Рядом со мной собирается перейти через улицу благообразная женщина средних лет. Обращаясь ко мне:

— Боюсь я теперь переходить. Очень страшно. С тех пор как они перестали гудеть. В Москве, говорят… У меня в Москве родственники. Так в Москве, говорят, в первую неделю ужас сколько было случаев. Потом ничего, привыкать стали. А в первую неделю…

Перешли. Она продолжает идти рядом.

Я: — Ну, да. Но вообще это лучше. Пришли к заключению, что без гудков безопаснее. Когда со всех сторон гудят, человек нервничает, оглядывается. Может пойти не туда, куда нужно. А так меньше несчастных случаев.

— Нет, почему же меньше. Теперь если он вас сам пощадит — хорошо. А так он вас объезжать не обязан, только на дорожке для перехода.

— Как так?

— На дорожке, значит, для перехода — там он отвечает.

Должен затормозить. А если вы в другом месте переходили; в непоказанном, тогда пожалуйста, сами виноваты. Он может вас сбить и переехать, и даже номера его не запишут. Так и поедет дальше. А если он вас не до смерти переедет и вы потом выздоровеете, так вы же потом еще заплатите штраф за переход не в том месте.

— Ну, что вы. Да как это может быть…

— А как же! Так ведь для чего эти новые правила — чтобы транспорт быстрее ходил. Движение ведь большое. Надо побыстрее. А так, если каждого начнешь объезжать… А теперь без гудков пойдет быстро. Всякий сам будет знать — не попадайся. А шофер теперь может гнать, потому что он только на переходной дорожке отвечает.

И она, и, вероятно, ее московские и ленинградские родственники — не удивились. Не удивились тому, что теперь, для быстроты городского транспорта, шоферам разрешено давить людей всюду, кроме отчерченных белыми полосами площадок для перехода, и, задавив, ехать дальше — не останавливаясь.

Попробуйте сказать ей истинную правду, — что мера эта принята для того, чтобы нервы городских жителей не страдали от уличного шума, — подобное соображение покажется ей наивным, ничего общего не имеющим с ее представлением о действительности, и притом лишенным государственного смысла.

Умер Зощенко, и где-то уже напечатали, что некоторые его произведения подвергались серьезной критике. Кто это написал? Циник, ругающийся над прахом замученного? Едва ли. Скорее всего, кто-нибудь добродушный, который жалеет и почитывает. Он написал это, во-первых, потому, что так ему полагалось по занимаемой в редакции должности; во-вторых, потому, что покойнику сейчас уж все равно. Главное же потому, что такие слова давно уже потеряли для него свое предметное, да и всякое другое, значение. Это только сигнальная система, предназначенная с помощью условных обозначений доводить до сведения, что на такое-то жизненное явление надлежит так-то отреагировать.

В данном случае сигнал означает, что этот труп следует погребать снисходительно (отчасти даже простив ему его страдания), с ужимкой и оговорочкой.

Адская сила этих механизмов именно в том, что бесчеловечные дела совершают самые обыкновенные люди. Для этого формулы должны воспроизводиться текстуально, — необходимое условие омертвения слова. Отклонение от текста может разбудить слово и вызвать случайный его контакт с

действительностью. В определенных случаях нельзя, например, сказать: барское отношение или пренебрежительное отношение (вдруг получится контакт), но непременно — барски-пренебрежительное. Тогда получится то, что надо, — сигнал к чьей-нибудь травле.

Что может хотеться этакой глыбе?..

Люди, которые дня не могут прожить без участия и поддержки, думают, что есть такие, которым это не нужно. Вроде того как никогда не писавшие думают, что писать приятно.

Железных людей нет. Есть люди деревянные.

Тратить значительные суммы у нас труднее, чем зарабатывать их. Тягостные усилия начинаются на уровне холодильников и продолжаются классическим набором — машинами, квартирами, дачами. Далее наше воображение иссякает. Всякое крупно преуспевающее семейство держится на разделении труда — одни зарабатывают, другие тратят. Труд тратящих менее квалифицированный, но более утомительный и нервный.

## *Разговоры Н. Я. Мандельштам*

— Иногда мне казалось, что жить уже больше нельзя, что невыносимо… А Ося вдруг говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива?» Это удивительно помогало, и до сих пор помогает.

Н. Я. как-то сказала Суркову: «Какая нелепость получилась с „Живаго“, насколько умнее было бы его напечатать». — «Нет, — отвечал он, — это было невозможно. У нас молодежь к таким вещам не привыкла. Мы уже сорок лет не даем ей ничего такого». — «Тем, — сказала Н. Я., — кому вы сорок лет не даете, сейчас уже шестьдесят…»

Сурков промолчал.

## *«Мы с тобой на кухне посидим…»*

В этом стихотворении у Мандельштама все — и нищета, и нищетой заостренное восприятие вещей в их простоте, наготе и бездонной значительности; и любовь — укрытие, любовь —

защита от страшного мира; и страх, и тщетное желание выжить.

Настоящее слово в искусстве — если оно еще возможно, — вероятно, могли бы сказать именно мы. И не потому, что мы видели самое страшное, — там тоже многое видели. Но потому, что только мы на собственной коже испытали год за годом уход XIX века. Конец его великих иллюзий, его блистательных предрассудков, его высокомерия… всех пиршеств его индивидуализма.

## *Ненапечатанный поэт*

Внешне П. один из самых нереализовавшихся, из занимающихся не своим главным делом. А по сути — он вполне поэт. Он живет как поэт. Он сделал, вероятно, все, что мог. У него сборники, отдельными стопками, с заглавиями, у него — периоды. И стихи у него ведут свое сложное непечатное существование. Нет, он не лукавый раб, под разными, внешними и внутренними, предлогами уклоняющийся от работы.

Горько скрывать сделанное, не горше ли скрывать свою человеческую цену. Знают способного критика (критик с идеями и наблюдениями), нервного, пьющего человека, со склонностью к состоянию испуга (в общественной жизни). Никто не знает поэта, с одержимостью, с идеалом красоты (он называет ее простотой) и правды.

Это мандельштамовский тип поэта (в другом масштабе, конечно). Мужество, неподкупность, терпеливый труд, высокий строй нравственных требований — все ушло в писательское дело, поглотилось, оставив от человека небрежно сработанную оболочку — неряшливое поведение, случайные поступки. «Пока не требует…»

Д. Максимов как-то добивался, как я думаю — было ли в Мандельштаме чувство человека, *соседа*? Было ли в нем то самое, что есть, скажем, в стихах про Александра Герцевича (Максимов сомневался). Я отвечаю: да, потому что поэт (настоящий) не может написать о том, чего в нем нет. В искусстве ложь рассыпается прахом. Раз написал — значит, было. Но как было, где, в каком участке сознания, как относилось к его эмпирическому поведению — это другой вопрос.

Я говорю — все ушло в поэтическую мысль. Но поэтическая мысль — шире написанных стихов. Для поэта — это само переживание жизни, непрерывная ткань восприятий и реакций.

Когда П. не боится, не озирается, особенно когда несколько пьян (не слишком) — все вдруг в нем становится прозрачно. Из

него бьет та самая речевая стихия, из которой рождаются его стихи (Мандельштам говорил точно так же, как писал стихи, — только что не в рифму). Так что ясна необходимость этому человеку быть поэтом; даже если вы считаете, что поэтом сейчас быть странно, неловко и в особенности не нужно.

На этом градусе возбуждения мысли он необыкновенно говорит о стихах и прозе. Он ничего почти не объясняет, а просто рассказывает, жадно ощупывая маленькими, цепкими руками драгоценную ткань слов, он роется в них, зарывается. Он рассказывает о том, как поутру просыпается Лукашка, как Марьянка с Устинькой лежат под телегой, как Раскольников после ночи убийства идет по точно обозначенным улицам Петербурга, — и вас захватывает физически конкретное, трудное переживание творческого акта. Как бессильно по сравнению с этим все, что он может сказать о писателе в своих критических и прочих статьях. Маленький, круглоголовый, в недавно сшитом монументальном костюме, он слегка покачивается, ежится, шевелит руками, отражая биение какого-то корявого ритма.

И шестикрррыылый серафим
На перепутьи мне явился…

Читает он страстно, раскачиваясь и растягивая звуки.

О большом деле его жизни не знает, по крайней мере не знал до сих пор, никто, кроме нескольких человек. Утешала же его атрофия поэзии. Это была выключенная область, довольно спокойная, с условными разговорами в печати, которые он сам вел, получая за это гонорары. Вдруг стало тревожно.

— Что вы думаете о Борисе Слуцком?

И сразу его прорвало:

— Борис Слуцкий очень талантливый, он замечательно строит стихи, очень крепко. Но он рационалист. Поэтому у него фабула никогда не прерывается, а фабула должна прерываться. Он рационалист. Я это заметил — как завистливый сосед.

Слово сказано. Это зависть. Это зависть талантливых, которые если завидуют, то завидуют таланту. То есть они могут завидовать и машинам, и дачам, — но всерьез, с болью и злобой, а порой с любовью, они завидуют только осуществленному познанию мира. Все можно вытерпеть — бедность и кляп во рту, безвестность и неудачи, но когда другой находит то самое, нужное слово — это нестерпимо, хотя, быть может, и восхитительно.

— Я ему завидую, — говорит П., — я ему завидую, потому что он крепко строит. И я с ним непременно встречусь и все скажу.

Семенов с ним знаком; ему я нарочно прочитал мои стихи — ну, какие-то старые, новые я ведь почти никому не читаю. И он сказал, что это лучше. Слуцкий, он позволяет отрубать в стихотворении строфу. Если это настоящие стихи, то без одной строфы это уже не те стихи. И это не те стихи, если в строфе убрать одно слово. Он позволяет. А я никогда не позволю. Зачем мне тогда это печатать? Я лучше статью напишу. Пожалуйста. И получу деньги. Я стихами не торгую. Нет. Вы читали Пастернака стихи в журнале? Я прочитал и увидел, что я могу сейчас лучше.

— О-о-о!

— Он сейчас не может. Раньше мог. И как еще! Я потому и примериваюсь. Не к пустякам же примериваться.

Какая боль долгие годы бродила под немотой и прорвалась раздраженным вниманием к товарищам по немоте, отверзающим уста.

Творящему свойственно томительное ощущение ускользающего, даром растраченного времени, как ему свойственно мучиться тем, что сделал меньше, чем мог сделать. Иначе расценивают достигнутое люди со стороны, особенно те, для кого данный человек стал уже фактом истории. Они судят его только по делам его. Нам важно, что Грибоедов создал «Горе от ума»; мы равнодушны к тому, как он мучился тем, что не создал ничего другого. Не все ли нам равно, что Пруст начал писать в сорок лет, раз он успел написать все, что нам нужно от Пруста. Но каково было великому писателю жить до сорока лет, не имея силы преодолеть душевную лень. Дарование — самая жестокая совесть.

*То ревность по дому*, Тревогою сердце снедая,
Твердит неотступно: *Что делаешь, делай скорее*.

У нас есть «Анна Каренина», и что нам за дело, если Толстой, работая над «Анной Карениной», говорит в письмах о своем отвращении к этому роману, о том, что ему нужно совсем другое.

В нашем отношении к творцам есть какая-то торопливая утилитарность. Нас интересует продукция, а остальное — причуды знаменитых людей, частное дело на разживу биографам.

Люди рационалистические со слабо развитыми инстинктами равнодушны к своему детству. Они его плохо помнят. Чем больше у человека нутра, интуиции, тем тверже он убежден в подлинности своих невозможно ранних воспоминаний. Толстой не сомневался в том, что он помнит, как его годовалого или

двухгодовалого купали в корыте.

Один матерый редактор развивал как-то с впечатляющей искренностью передо мной свое кредо. Он считает, что в книге автор большого значения не имеет, так как автор несет за книгу незначительную долю ответственности. «Ну, что вам, например, такое сделается? Ну, обругают и оставят. А уж меня, как редактора, так будут таскать и таскать, будут с песком протирать на каждом совещании, на каждом заседании… через пять лет не забудут».

А теперь у них новая беда: литературная жизнь опять колебнулась в либеральном направлении. Предыдущее колебание напугало аппаратчиков. Им представилось, что вдруг обнаружится, что без них можно обойтись. Что общего государственного руководства (плюс главлит) окажется достаточным для того, чтобы литература выполняла предназначенные ей функции. Они так испугались, потому что при первой возможности неудержимо поползло во все щели желание избавиться от них, тоска по их небытию. Был период, когда об этом говорили на всех собраниях; и не было молодого рифмача, который не выступал бы и не говорил об этом в уверенности, что только редактор мешает ему быть поэтом. Это было смешно, но аппаратчики не смеялись. Потом выяснилось опять, что нужно предотвращать, и они совсем было успокоились. И вот опять ситуация ускользает.

При непоследовательности оперативных действий административно-литературная система сразу начинает распадаться, а при последовательности — того хуже: наступает несуществование предмета воздействия, то есть литературы.

Имея неограниченное право централизованного руководства той или иной областью бытия, очень трудно воздержаться от руководства. В каждом данном случае администратору кажется — он знает нужное решение и может беспрепятственно его осуществить. Неужели же искусственно — из теоретических соображений — самому создавать проволочку, дебаты, борьбу мнений? Неужели нарочно сделать быстрое тягучим, прямое — извилистым, ясное — запутанным, шумным, бестолковым… Представьте себе человека, добровольно отказывающегося от возможности осуществить то, что он считает правильным или выгодным, — психологически невероятно. Следовательно, единственный практический выход состоит в том, чтобы у людей не было бесконтрольных возможностей. Чтобы они перестали владеть волшебной палочкой.

Замечательно, что — при определенной писательской установке — психика писателя может не отразиться в его творениях. Романы Гончарова даже утомляют своей нормальностью. Между тем это был полусумасшедший человек с тяжелейшими депрессиями и маниями.

Федор Петрович работал на паровом молоте. На этой работе пенсионный возраст — пятьдесят лет. Вышел на пенсию. Скучает, ищет подсобные заработки.

Когда говорит о ком-нибудь, особенно о своих близких, непременно сообщает, какую кто получает зарплату, особенно если зарплата хорошая. Совсем как бизнесмены, определяющие, кто сколько стоит.

Федор Петрович недавно потерял сына двадцати одного года. Умер от белокровия. Водил к профессору, профессор сразу сказал — безнадежно. После смерти сына стал пить. Сын ему все мерещился.

— И что это такое случилось? Здоровый был, физкультурник. Учился хорошо. Не пил. Ничего. Он в больнице лежал, так врачи и сестры все удивлялись — какой терпеливый. Я сам четыре ночи у него просидел. Работал крановщиком. Сто двадцать рублей получал.

---

В 1880-х годах, живя в Москве, Толстой не хотел пользоваться услугами водоносов и сам возил воду в бочке. Одна из его великих наивностей. Ведь кто-то обзаводился телегой и бочкой, которыми он пользовался. Кто-то кормил, поил, держал в конюшне лошадь, возившую воду. Для того чтобы иметь наготове лошадь, телегу, бочку, даже не зная, откуда они взялись, нужно было располагать большим наемным персоналом, нежели тот водовоз, чьими услугами не хотел пользоваться Лев Николаевич. Это наивность человека, воспитанного еще на крепостных услугах, которые он десятилетиями привык не замечать. Эту самую наивность Лев Николаевич внес в свою утопию царства божия на земле. Ибо духовная жизнь этого царства требовала, например, издания хороших, нравственных книг, то есть сложных машин и кем-то организованных механизмов книгопечатания.

Поведением управляют устремления и интересы, превращающие человека в устройство, приспособленное, биологически и социально, для жизни.

Логика поведением не управляет, — логически мыслящие от других отличаются пониманием нелогичности своих поступков.

Творчество есть род общения. Можно писать для многих и для немногих (даже для трех человек знакомых), для потомства, для воображаемого читателя… Но творить для себя — это сумасшествие.

Есть еще люди, которые верят, что элитарность интересна, что непременно интересен человек, если он, скажем, понимает стихи Пастернака. На самом деле все это запросто превращается в элитарную скуку, если информация дублирует нашу информацию. Интересны нам люди осознанием опыта, не тождественного нашему собственному, притом доступного им не понаслышке. Ум человека — выражение его осознанного опыта. Поэтому образование, не ставшее культурным опытом, ума не прибавляет. Просвещенные широко пользуются и чужим опытом; им проще заполнять пустоту. От непросвещенного требуется больше самородного. Вообще же скучными, равно как и интересными, бывают и элитарно образованные и малограмотные.

Достоевский изображал по преимуществу интеллектуального человека, что естественно для романа идей. Но он не считал интеллектуальность обязательной принадлежностью напряженной и сложной душевной жизни (в этом отношении Горький ученик Достоевского). Свидетельством тому Рогожин, Федька в «Бесах», в своем роде Смердяков, в своем роде и Митя Карамазов. «Записки из Мертвого дома» держатся на этом убеждении. Достоевский прямо говорит там, что среди самых отпетых каторжных «встречал черты самого утонченного развития душевного…».

Почему человек искренне осуждает в другом то, что делает сам? Выработавшийся в нем собственный образ не пропускает то, что ему не подходит. Он не забывает свой неприглядный поступок, даже не всегда его вытесняет, но ощущает его как временный и случайный, как не имеющий отношения к его пониманию жизни (откуда проистекают моральные критерии и оценки), к инварианту его человеческой сущности. Другого же он судит по результатам как подлежащего соответствующим оценкам.

Во время войны побуждения людей могли быть эгоистическими, но обстоятельства вырабатывали норму,

принуждавшую к поведению такому, какое нужно было социуму. Побуждения могли вступить в противоречие с обстоятельствами, но поведение соответствовало этическому идеальному пределу, который всегда предложен социальному человеку. Поэтому ретроспективная схема собственного поведения — в своем роде верная схема. Из нее удаляется всякое частное малодушие, уклонение, личность уже мыслит себя не уединенно, а в человеческом пласте, например в пласте *ленинградцев*.

XX век — век высокой бытовой культуры, бытового оформления, дизайна. Откуда взялась у нас (и твердо стоит на своем) грандиозная, агрессивная бытовая безвкусица?

После революции авангардисты пытались взять на себя эстетическое оформление жизни. Авангардистов отменили. Но явлений без формы не бывает, — в вакуум хлынули вкусы почтово-телеграфных чиновников прошлого века. Последний эстетический опыт городской массы и вышедших из нее местных начальников.

С тех пор мы окружены неимоверными вещами, возбуждающими настоятельное желание их не иметь. Зеленый и розовый плюш, неправдоподобные альбомы с розами на крышке были канонизированы в качестве единственно адекватной советской и национальной продукции. Изделия XX века отметила печать низкопоклонства перед Западом и вообще неблагонамеренности.

Одно из основных свойств бюрократической системы состоит в том, что ничто ей не нужно по существу и в своем собственном смысле, но все нужно только применительно к протекающим в этой системе процессам. Бюрократия, в том числе и литературная, мыслит процессами и категориями. И если человек вошел в категорию допущенных к благам, то от него ждут усердия. Если же не вошел, то не стоит ему и стараться.

Во всяком случае, не пытающиеся всюду открыть какую-нибудь пакость могут понять что-либо в поведении человека.

Добро есть. Не буду здесь вдаваться в вопрос — что оно такое? Мы все приблизительно это знаем и спорим только о формах его обязательности.

Но добро требует сложной системы возбудителей, тогда как злу — в том числе жестокости — надо дать только естественный ход. Аффекты любви, сострадания — такая же психологическая действительность, как жестокость и злоба. Но аффекты мимолетны и непрочны, если они не воспитаны социальными

средствами. Они требуют социальной культуры — давления среды, разветвленной системы норм, ценностей, идеалов.

Переживание общих связей — предпосылка, условие, делающее возможным и рационалистическую этику неверующих, и смутную этическую рутину повседневной жизни, и непосредственную практику добра. Чтобы быть сильным, действенным, чувство общего должно быть реальным (болтовня на эти темы неэффективна) на данном конкретном участке, обещающем человеку достижение вожделенных для него ценностей. Это дело истории, и если истории удалось создать условия добра, то возникают удивительные явления массовой духовной красоты. Одним из удивительнейших движений этого рода было русское народничество и народовольчество. Здесь в принципиально безрелигиозном сознании чувство связи достигло уже формы религиозной (любовь — предельное проявление чувства связи).

Могут сказать: и эти люди вносили в свое дело земные страсти, своего рода карьеризм, тщеславие — пружину, которую открыл Ларошфуко, изучая поведение развращенной аристократии XVII века. Да, конечно. Но есть ведь разница — выдвинуться ли, отправляясь на каторгу за други своя, или выдвигаться путем предательства и раболепства. Человек не бывает бескорыстен; и христианскому мученику нужно было, чтобы лев съел именно его, не кого-нибудь другого. Чем выше исторический уровень добра, тем парадоксальнее формы, которые принимает корысть человеческая. В «Воскресении» Толстого замечательная классификация побуждений, которые привели людей в революцию. Энергию многих побуждений историческая ситуация перерабатывает в жертвенную энергию. Людям других ситуаций это уже непонятно; в любовь к ближним и особенно к дальним, как, впрочем, во всякую любовь, невозможно поверить, никогда ее не испытав.

Мне пришлось долго и близко наблюдать человека с необыкновенно счастливым предрасположением к добру. Точное нравственное чувство, традиция русской совести, способность к жалости и готовность к любви. Все было, и как быстро ничего не осталось, — разве что легкие следы.

В сфере общего для этого нужно было встретиться с историей, к добру не располагающей. В сфере частного достаточно было смолоду нарваться на пустое сердце. Из породы:

> Пускай она поплачет,
> Ей ничего не значит…

Неплачущие, кстати, лучше. Они дают возможность уйти.

---

Предвесна — пора, когда нет еще ни травинки (на севере это тянется иногда очень долго), а зима кончилась, и остались от нее только пятна недотаявшего, грязного снега. Люблю эту пору, — как люблю белые ночи, не сами даже белые ночи, а длящиеся, бездонные вечера, — за протяженность жизни, за то, что все еще впереди.

Все начавшееся устремлено к своему концу, и особая, только ей принадлежащая прелесть самой ранней весны — в том, что она еще не началась; и ни крупицы еще не растрачено из обещанного нам счастья.

Осенью грустно, потому что красиво. Природа все теряет, роняет. Роняет багрец и золото лесов, роняет последние лепестки. Грустна и оттепель, убивающая морозную легкость дыхания, драгоценный, искрящийся снег. Но в предвесенний промежуток земле уже нечего терять, а нам ничего не жаль. И это бодрит сердце, на миг снимая с него ношу бесплодных сожалений.

Земля некрасива — корявая, болотистая и сухая. Рыжая, желтая, серая, мутно-зеленая путаница — опавшие рыжие иглы, соломенные пасмы и пучки прошлогодней травы, спрессованные, преющие листья, пористый снег с налипшими листками, обломки коры, наросты мха, сучья, шишки. Ничто из этого, ничто на этой земле не умрет, потому что все мертво давно. Земле нечего терять; все, что должно теперь на ней совершиться, будет чистой прибылью, чистой радостью. Есть уже предвестия радости — в дрожащих, тянущихся ветках, в высоком полете облаков.

Все какое-то осторожное (даже в дрянном дачном лесу) — безлюдье, прерывистый голос птицы… Слабое солнце тихо дотрагивается до лба.

А мы-то редактируем, комментируем. И сейчас, когда жизнь уже ближе к концу, чем к чему бы то ни было, — всё редактируем, комментируем, расставляем запятые.

Мозг, высосанный поденщиной, растлеваемый ленью. Нет, не с дрожью отвращения мы садимся к столу сверять основной текст с первоисточником; не без удовольствия садимся, предвкушая занятие ровное, прозрачное, как пустота, защищающее от муки последних усилий познающей мысли. Торжество лени; не сладкой лени бездельников, но печальной и скучной лени рожденных тружениками и созидателями.

Апрельская земля — голая, безобразная, и в легком небе

летящие облака… Как это хорошо. Чья это радость? Чья-то странно двоящаяся радость. Человека, которого давно уже нет — молодого, корявого, аскетичного, презирающего комфорт и покой. Перед ним захватывающе огромный труд познания мира. Еще не начавшийся труд — еще не початого мира.

## *В начале шестидесятых…*

Приходил Игорь. Двадцать два года, студент-технолог четвертого курса и поэт. Двадцать два года — это те, которые не успели еще испугаться. Игорь должен нравиться девушкам. Одет при этом в спортивно-небрежном духе, и ногти не в порядке. Это тоже избранные личности. Но отнюдь не стиляги. Наоборот. Если так пойдет, то о стилягах еще пожалеют. Быть может, среди них были мечтатели, соперничавшие с дочерью Вандербильда, но большинство пафос прожигания жизни черпало из круга представлений, ограниченного трехкомнатной квартирой, машиной, рестораном «Москва», американским джемпером. Не знаю, есть ли уже стиляги, ставшие взрослыми. Возможно, что они вырастают предупредительными чиновниками и процветающими взяточниками. Протест — продукт молодости и скуки — выветривается, а жадность остается.

Эти же упоены бузой и тем, что они — молодежь и что они действуют вроде как взрослые (как раз взрослые так не действуют) — требуют, предлагают, решают. И все это сосредоточилось в слове студенчество, прозвучавшем традиционно и ново. И притом подавай им футуристов, Хлебникова, ОПОЯЗ.

Люди лет на пятнадцать — двадцать нас моложе удивляли эклектизмом своих вкусов. Лишенные опыта своего современного искусства (мы застали еще финал русского поэтического Ренессанса) — знают искусство понаслышке, — как бы они его ни любили читательски, сколько ни занимались бы им профессионально. Тем, кому сейчас тридцать пять — сорок лет, могут нравиться символисты, и Анатоль Франс, и Уайльд, и многое такое, что любили гимназистами и что отвергли еще первокурсниками люди 20-х годов, жесткие в своих эстетических вкусах и застенчивые в выражении чувства. Отвергли за эстетство, за то, что красиво, — пугала и жупелы 20-х годов. Мы тогда воображали себя деятелями литературы, то есть будущей литературы, что и обязывало к нетерпимости. Потом пришли безответственные читатели с широким взглядом на вещи.

Эти же новые, двадцатилетние, собираются строить искусство — и в прошлом ищут то, что в прошлом всегда искали все активные направления, — нужную традицию, патронов. Если людям, которым сейчас тридцать пять и больше, нравится то, что нам нравилось в пятнадцать и что в двадцать мы уже презирали, то люди, которым сейчас двадцать лет, — прогрессивнее. Им

нравится то, что нам нравилось тоже в двадцать лет (лет тридцать пять тому назад) и что мы в тридцать лет преодолели.

Они библиофильски охотятся за футуристической книгой, оценивают ее по нормам книжной биржи. То, что мы сделали, и то, что мы сделаем, им не понравится. У нас — политика, история, социальность, неистребимые, в кровь вошедшие, кровью проверенные. В эту правду они никогда не поверят, потому что ход к ней загородили знакомые формулы. Для нас не в том суть; для них это симптом, уничтожающий всякую суть.

Настоящие литераторы от ненастоящих отличались не отсутствием ритуальных формул, но тем, что у ненастоящих заклинания составляли содержание работы, а у настоящих — сопровождение. Мы наловчились сквозь заклинания видеть и оценивать мысль (если она есть). Мы забываем, что свежий глаз, свежий ум воспринимает иначе: его мутит сразу. Они могут проглядеть правду, но — сами взращенные на фальшивых тонах — их-то они узнают безошибочно и отворачиваются со скукой.

Горькая расплата. И, как всегда, за общий грех против духа расплачиваются лучшие, потому что остальным-то наплевать…

— Герцен… Вы меня извините, но это, кажется, что-то скучное. У меня это впечатление со школьных времен. А есть у вас что-нибудь, что писали *тогда* формалисты?

Им это нужно потому, что особенно непохоже. И потому, что они ищут там профессиональный разговор в чистом виде, разговор специалистов. И потому, что им нравится моральная атмосфера. Это смело (говорит что хочет), это честно (говорит что думает), и чем непохожее говорит на то, что говорят другие, тем больше его одобряют. Разговор без унижения, вдруг обнажающегося интонацией, оговоркой, ссылкой, вихляющим оборотом. Им нравится атмосфера недоверия и профессионального пафоса, иронии и скандала. Последнее особенно важно.

— Ну, и все любят такие стихи?

— Не все, конечно, Есть такие, которые все понимают по-старому. Серая масса (избранная-то личность заговорила!). Вы бы видели, какая серая масса. Но поскандалить-то хочется всякому. Очень хочется поскандалить (усмехается).

Старики всегда недовольны новым (поэтому почти всегда ошибаются). Но главный аргумент стариков: непонятно, как может нравиться то, что нравится новому поколению. Мы же слишком хорошо это все понимаем, — как свою молодость, ясно до тоски.

Старики учат молодых чувству современности…

Что же делать с парадоксальностью этих отношений?

Постараться их объяснить.

В культуре прервался исторический опыт, накапливание, из которого броском вырывается новое. Фикции заменили опыт художественного выражения реальных содержаний. Теперь они хотят подключиться и ищут оборвавшееся звено. И иногда не то им попадается.

Один из последних разговоров с Гуковским, — может быть, даже самый последний:

— И все-таки, если можно будет, у нас найдется еще, что сказать.

— Оставьте эти мечты. Если можно будет, мы скажем одно: ныне отпущаеши…

Ему не пришлось сказать — ныне отпущаеши.

## *Добавление*

С тех пор прошло несколько лет. Многое из тогдашнего улеглось, кое-что развернулось. В числе других подросли задумавшие пройти мимо. Они негромкие, они более или менее аккуратно выполняют свои обязанности. В творческой же своей сфере пытаются вести себя так, как если бы они были сами по себе. Вероятно, они имеют на это право. У раскаяния свои немилосердные законы — оно превращает воспоминание в искупление; оно живет анализом, как наука, подробностями, как искусство. Подобно грешникам, мы пригвождены к своей истории. Пусть же невинные и молодые идут мимо, если могут. Но право еще не равносильно удаче.

Не берусь утверждать, что вообще плохо, чтобы искусство уводило от действительности; может, оно и своем роде и хорошо, — только это не всегда и не для всех возможно.

Мимоидущие вольно или невольно включаются в мировую реакцию против историзма и социальности, в поток новейшего антиисторизма. Но раз открыв историзм, едва ли можно всерьез от него отказаться, то есть отказаться победоносно. Уйти от категорий истории — то же, что уйти от соотнесенной с ними категории современности. Современность же новейший антиисторизм утверждает всячески — от философии до последней марки автомобиля.

Современность — историческая форма осознания текущей жизни. Вообще история — это форма (а потому и идея), если под формой понимать отношение элементов. Абстрактное искусство запуталось, между прочим, в попытках создать невозможное — внеисторическую форму.

Радикально преодолеть историю, вероятно, можно только непосредственным мистическим опытом (это не для нас) — отказом от формы ради вечного и субстанционального в чистом виде. Бесформенна нирвана.

Антиисторизм обвиняет историю в том, что самодовлеющие вещи становятся в ее руках пустыми звеньями причинно-следственного ряда. Это непонимание великой двойственности истории. Она поток и остановка. Она не только перегоняет прошлое в будущее, но претворяет прошлое в навеки нам принадлежащую реальность. Подобно искусству.

После Гегеля никто, кажется, не определял искусство с такой силой, как Пруст. В последнем томе он объяснил, зачем нужно искусство, и тем самым — почему оно было и будет. Искусство — найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет — остановка времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу — остановил реку, в которую нельзя вступить дважды.

«Только мгновенье прошлого? — Быть может, гораздо больше: нечто, что как бы одновременно принадлежит прошлому и настоящему, — гораздо существеннее того и другого». В щель между прошлым и будущим бессмысленно и неустанно ускользают настоящее, время, жизнь. Только искусство, по Прусту, снимает противоречия времени. Математика или медицина искони были науками; история же веками была искусством и стала наукой очень поздно, в середине XIX века.

Верую в историю, потому что знаю, как она переделывает души. Когда мы, поколение начала века, стояли еще на пороге событий, в наших умах царила гигантская путаница. Была она следствием скрещения двух эпохальных веяний — веяния революции, не затухавшего в России от Радищева до 17-го года, и веяния русского модернизма. Парадоксальную слиянность этих двух стихий жестоко и сильно показал Горький в «Климе Самгине».

Чего только не вмещали пятнадцатилетние головы — социализм и солипсизм, футуристы и проповедь Льва Толстого, Софья Перовская и «Радость, о Радость-Страданье / Боль неизведанных ран…». Нам все не терпелось страдать… То ли в царской тюрьме (еще Герцен в «Былом и думах» заметил, что это подлинно русский склад детских фантазий), то ли совсем на других аренах.

Сочинения Фрейда — это был справочник, в котором умудренные мыслью подростки 10-х годов выбирали себе будущую трагедию. Клинические комплексы венских буржуа в сознании русского интеллигента (по Блоку, он тогда истекал еще

клюквенным соком) волшебно преображались в идейные комплексы, в идеологию, например, принципиально неутоляемой жажды. Несколько позднее мы узнали из Пруста, что жажда неутолима, потому что интеллектуальна.

О, какими ветрами все это замело! В частности, интерес к себе, который у меня, например, иссяк окончательно к тридцати годам.

Заменяя задуманную трагедию другой, ничуть на нее не похожей, история дотла изменяла человека.

## *Нужно ли путешествовать?*

Здесь мы услышали слово «сервис»,
что означает — обслуживание.

*Ильф и Петров*

По утрам с террасы вид на неподвижное, тускло-голубое море и на три убогие пальмы. Хороша убогая осина, но убогая пальма, надо сказать, — никуда не годится.

По утрам особенно неотвязен мираж другого моря. Моря моей юности. Сохнущие на ветру переметы и неповоротливые шаланды; на дне хлюпает вода, и в ней еще дышит и шевелится рыба. Сладостный крен парусного бота — одно из самых пронзительных ощущений, доступных человеку. Символика просмоленного каната, весла, покачивающегося на плече, пока несущий весло перебирает босыми ногами горячие камни берега. Рыбаки, говорящие «сидайте» и в лютый зной угощающие самогоном и помидором.

Кто вкусил практику моря и символику морских вещей, всегда будет равнодушно смотреть на отчужденное море — с террас и набережных, с шоссе и палуб, и пляжей.

Здесь чувство моря приходило редкими мгновениями. Внезапно. Так было раз ночью, на пароходе (недалеко от Батуми). За иллюминатором вместо неба, моря и берега стояла совершенная чернота. Но, глядя из иллюминатора вниз, можно было у самого борта, в электрическом отсвете трюма, увидеть вдруг воду до изумления дневную, голубую и хрустально-зеленую, пузырящуюся кругами белой пены. Высвобожденный светом клочок живой воды возвращал сразу к ощущению моря, убеждал, что непроглядная чернота вокруг — это море во всей его протяженности и силе.

В другой раз непосредственное, физическое чувство моря пришло на маленьком катере (большой пароход абстрагирует

водный путь, как поезд — по сравнению с машиной — абстрагирует дорогу), когда качало и заливало нос и тугая волна была в тяжелом, как ртуть, неярком солнечном блеске.

Вспомнились вдруг давнишние мои усилия описать море. Мне все хотелось поймать его цвет. И все это, кажется, кончилось формулой: *море морского цвета*. Тогда казалось, что начинается узнавание мира, что спешить еще некуда; казалось, что поставлен эксперимент, который может надолго затянуться. С тех пор прошла жизнь, в основном занятая другими делами. Существовало сознание, которое могло осознать — и смалодушествовало, под предлогом не зависящих от него причин.

Бунин в «Лике» замечательно точно показал, как будущий писатель учится накрывать вещи словом. И какой это всякий раз восторг, когда — готово! — найденное слово защелкнуло предмет. Лукавые, ленивые, малодушные, читая «Лику», могут терзаться завистью к молодому, который предвкушает свое поэтическое владение миром, к старому, который в конце, до краев полный сказанными словами, написал о своих началах.

Бунин — очень мрачный писатель — утверждает: нет спасения ни религиозного, ни социального от смерти и разъедающего страдания. И это ужасно потому, что мир прекрасен, безмерно соблазнителен. Бунин проникнут тяжелым, чувственным обожанием жизни — в природе, в эротике, в интеллектуальных и поэтических наслаждениях. «Митина любовь» — это тоже о красоте жизни, красоте издевательской, которую нельзя остановить. Самое нестрашное у него произведение — «Господин из Сан-Франциско», потому что там изображена пакостная и глупая жизнь, которую совсем не жалко.

Чехов гораздо больше Бунина, но он не так страшен. Уже потому, что чеховский человек не любит жизнь, которой он живет. И потому, что Чехов, как все люди XIX века, до известной степени верил в спасение от социальных зол социальными средствами. Что же до писателей всеоплевывающих, то с ними совсем не опасно. Ибо если все гиль, то не все ли равно, как и когда эта гиль перестанет существовать.

Безвыходно чувственная и безжалостно интеллектуальная, бессмысленно преходящая прелесть бытия — вот чем Бунин бременит сердце. Ранний Бунин — совсем другое; «Суходол» и прочее — еще смесь великих традиций с периферийным символизмом. На старости же он стал очень современен.

*Я слово позабыл, что я хотел сказать* — стихи Мандельштама о познанном и о непознанном, невыраженном мире.

И выпуклая радость узнаванья…
… … … … … … … … … … … … …
Как я боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья…

*Выпуклая радость узнаванья* — это о подробностях мира, столь милых готовящимся к труду его познания; пустых и обременительных, когда они уже не впрок. *Слепая ласточка* — несказанное слово.

---

Для познания нужен опыт и размышление над опытом. Но вот нужно ли ездить и смотреть новые места?

Спрашивающим отвечаю: да, очень интересно. Несколько утомительно, но многое удалось посмотреть. Отвечать так и нужно, потому что следует, по возможности, говорить правду; но близлежащую правду. О дальнейшей же правде уже нужно писать.

Если решать вопрос по большому счету, то многое сразу становится подозрительным. Самое настоятельное из подозрений — не предаемся ли мы специально туристическому удовлетворению? Состоит оно, как известно, в том, что неувиденная вещь переходит в разряд увиденных. Туризм поэтому, по своему психологическому качеству, ближе всего к коллекционерству. Точнее, есть разновидность коллекционерства.

Коллекционерство оперирует вещами, выведенными из их естественного строя, вещами без назначения и содержания. Поэтому мало пригодными для опыта и размышлений. Коллекционерство в особенности угрожает плавающему и путешествующему, если сомнительны ценности, свойственные самой сущности путешествия, три его основные радости: радость познания, радость созерцания, чистая радость движения.

*Интересно* — традиционный ответ вернувшихся из поездки, — очевидно, относится к познавательным возможностям процесса перемены мест. Чем больше ездишь, тем меньше веришь в эти возможности; тем навязчивее представляешь себе заранее — очень похоже — то, что предстоит увидеть. Так что и видеть это как-то уже не обязательно. Из нескольких поездок выносится сумма элементов, которые потом достаточно уже переставить. Так, скажем, заданы могут быть слагаемые, из которых состоят (для туриста) города Прибалтики, крымские побережья, горные местности, северные озера…

Увидеть, познать в самом деле новое, очевидно, можно только выйдя в мир других отношений. N. говорит: проще сидеть дома. Потому что люди и вещи все равно одни и те же.

Люди одни и те же, потому что местные различия поглощаются единообразием социальных определений. Вещи — разные только в кустарных магазинах (впрочем, и там вырабатывается подозрительное единство), а в остальных магазинах вещи охвачены гигантским тождеством ширпотреба.

Вот почему в этих странствиях практически познается совсем другое. Не пестрота жизненных форм, а точность общественных закономерностей, в непривычных условиях особенно наглядная.

Не лучше обстоит у туриста и с эстетическим созерцанием многообразия природы.

Гегель говорит, что прекрасное — «есть индивидуальное оформление действительности, обладающее специфическим свойством являть через себя идею». Эстетическая деятельность совершается в нашем сознании непрерывно. Искусство — только предельная ее ступень, как наука — предел логически-познавательной деятельности, также совершающейся непрерывно. В искусстве эстетическая деятельность отвлекается от других функций сознания, концентрируется, усиливается чрезвычайно, благодаря заданному материалу и организованному его оформлению (стиль). Искусство предлагает воспринимающему комплекс ассоциаций, предмет, содержащий в себе условия эстетического переживания. В быту, напротив того, человек — одновременно художник и зритель — сам строит для себя эстетический объект, сам вяжет цепь ассоциаций, в которую он включен. Вовлеченность воспринимающего в общую связь эстетического объекта — необходимая предпосылка эстетики жизни. Но и этот род эстетической деятельности требует определенных условий.

Ритуальные действа — богослужения, военные парады, придворные и гражданские церемонии — располагают сильным эстетическим механизмом, который охватывает, затягивает участников, оформляет их поведение. Эстетика природы, города, частной жизни гораздо больше нуждается в личной инициативе.

Приятно, конечно, наслаждаться произведениями искусства в особой, *с настроением*, обстановке; но это не обязательно. Мы вполне воспринимаем картину в толчее и убожестве выставочного окружения. Можно ли, однако, воспринимать природу из тесного, грязного и галдящего автобуса? Как ни странно, — можно (если не кричит радио), но только так, как воспринимают картину на выставке. Происходит подстановка. Сложное, многосоставное эстетическое переживание жизни заменяется подобием

восприятия искусства. Весьма обедненным подобием, потому что природа, воспринимаемая как картина, — хуже картины. Восприниматься же она должна иначе, по законам практической эстетики.

Пропп, тонкий фотограф-пейзажист, говорит очень верно: «Когда бродишь с аппаратом, возникает иллюзия соучастия».

Считалось всегда, что знают в природе толк — охотники, рыболовы, садоводы, помещики (сочетавшие специальный опыт с досугом). Эстетика природы несводима к созерцанию. На нее работают все пять чувств; а пять чувств одновременно работают только у участвующего в действии. Эстетическое восприятие жизненного процесса есть тем самым и самовосприятие.

В природе прекрасное — это также и запах, и ветер, коснувшийся потного лба, и утренняя роса на сапогах. Или это вкус соли, стынущий во рту, ладони, натертые веслом, смесь сухо раскаленного с мокрым и хлюпающим и пахнущим рыбой и смолой. И всякий знает, что когда хочешь с тоской земли и воды, то вспоминается *это*, — не восходы и не закаты, не дали, не потоки, бегущие с гор…

Любители видов говорят о грибниках — что за охота топтаться, упершись в землю, ничего не видя вокруг. А у грибника под ногами расстилается пейзаж несравненной интимности, микропейзаж, в котором прорастающие дубки равновелики голым кустикам земляники, а травы качают вершинами, и между трав, как радостное открытие, возникает кряжистое, скользкое тельце гриба.

Виды, открывающиеся с высоты, не шуршат и не пахнут. Важнее стог и дерево, к которым можно притронуться. Форма вещей, фактура вещей. Желтизна соломы и тьма листвы, распаленная солнцем. Сухость соломы, тяжесть холодного яблока.

Не следует смешивать это восприятие с бездумной и чувственной радостью. Это интеллектуальная символика чувственного; мощная и диалектически снятая чувственность эстетического объекта как духовно-вещного единства.

Придумать нарочно условия, благоприятные эстетическому переживанию природы, — трудно. Искусственно созданные, они непрочны, неверны. Их легко разрушает ворвавшийся инородный элемент. Но традиционные, веками испытанные действа заведомо обеспечивали сложную связь символических переживаний. Люди охотились и удили рыбу, ходили на сенокос, ночевали на сеновале, разводили костры над рекой. Это эстетика практическая и игровая, то есть осуществляющая классическое условие целесообразной бесцельности.

Люди, вжившиеся — иногда бессознательно — в символику

природы, равнодушны к перемене мест. В меру своих способностей они бесконечно возобновляют эстетический акт познания знакомой земли, все той же речки, — радостно узнавая вечные знаки, остро фиксируя новые приметы. Активной и страстной эстетической жизнью живут не мчащиеся и озирающиеся, но копающиеся в своем саду, но каждый год забрасывающие удочку в том же затоне.

Передвигающимся остается пассивное созерцание. Неполноценное, в частности, потому, что турист не в силах выключить из данных ему предметных сочетаний инородные, антистилистические элементы, как их выключает художник. Дети также отлично это понимают. И говорят, кому следует: уходите! Вы нам испортили всю игру.

У нас существуют целые организации, систематически занятые разрушением эстетических иллюзий. Именно организации, принадлежащие к сети курортно-туристского и просто пассажирского обслуживания. Зеленофанерные киоски в старых парках, «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» — в горах Кавказа, в водах Валаамского архипелага… неотвязный и торжествующий, как у Достоевского «Ach, mein liber Augustin» в исполнении Лямшина.

Но и без «Augustin'a» не получается созерцание там, где следовало бы участвовать в игре. В переживание дальних странствий созерцание входит только составным началом. Это стремительное движение вдоль жизни, выраженное физиологической символикой езды на больших скоростях, лентой пейзажа, струящейся в стекле. Это выход из привычных, давящих связей в поток столько раз воспетых безымянных дорог, чужих городов, ничьих номеров в гостинице, — с их пустыми, звонкими ящиками, — напоминающих легкое дыхание, веселящую прозрачность первых дней начинающейся любви, когда нет в ней еще ни сожалений, ни страха, ни ответственности, ни человечности.

Поэтика путешествий располагает двумя методами. Один из них — рюкзак, костры, палатка или ночевка в машине, — когда неудобства и трудности становятся эстетическим фактом (дорожный романтизм); второй — странствия с комфортом и сервисом, суть которых в стремительности, в невесомости быта.

Роскошь и нищета, подобно искусству, создают ощутимость вещей. Комфорт — негативен; он только снимает косное сопротивление быта. Он любит вещи гладкие и обтекаемые и, в сущности, поглощает вещи, оставляя от них только нужные функции и результаты. У нас же дорожный быт разрастается в

катастрофу, в апокалипсическую громаду Антисервиса.

Русская интеллигенция классического своего периода самый разговор о комфорте сочла бы неприличным. Бытовые удобства даны были ей от рождения, и она их не замечала. Она замечала бытовые удобства для того только, чтобы их стыдиться, или презирать, или отвергать их нигилистически.

Один только Герцен, замечу попутно, умел враждовать с мещанством и тонко ценить буржуазный комфорт. Парадоксальное обаяние Герцена в том, что он обладал качествами революционеров своего времени, не имея их недостатков. Но он все же не обладал основным качеством русского революционера — неограниченной готовностью к гибели.

Изменилась апперцепция. Для старой интеллигенции комфорт входил в комплекс мещанства, вернее — интерес к комфорту (этим пользуются и об этом не говорят). Для поколений, чьей повседневностью были войны, нищета, голод, страх, — обтекаемый быт ассоциируется не с тупой сытостью и духовным убожеством, а с миром и благоволением, с покоем и достоинством человека. Ассоциации эти отчетливо видны у Ильфа и Петрова, подаривших нам слово *сервис*.

Дорожный Антисервис неотвратим, если иметь дело с изначальным алогизмом — с системой курортов для бедных и туризма для бедных. Не для бедных и молодых, весело шагающих с рюкзаком за плечами, но для немолодых бедных, жалующихся на печень.

Больницы и столовые для бедных — это горькая необходимость. И в обществе, не располагающем еще избытком материальных благ, честное дело. Но организации этого рода, призванные содействовать наслаждению жизнью, — фальшивы по самой своей сути. Они исходят из убеждения, что подведомственный им человеческий материал пребывает на уровне, позволяющем отдыхать в условиях, которые нормальному человеку могут привидеться только в страшном сне (четырнадцать отдыхающих в одной комнате, под неумолчный вой громкоговорителей и радиол), позволяющем наслаждаться тем, что у нормального человека должно вызывать отвращение — загаженными парками, жидкими, усохшими лесами, запыленными видами, смутно мелькающими сквозь автобусную давку. К несчастью, система эта пока что нужна, потому что для многих и многих это единственный способ отдыхать и лечиться и даже получать удовольствие. И это внушает организациям успокоительную уверенность в том, что люди согласны — по незнанию другого — находиться на том бытовом уровне, на

котором они находятся. В этой уверенности нет ни малейшего демократизма, а есть холуйское презрение к человеку *неважного чина* (как говаривали в XVIII веке).

Деньги и привилегированность смягчают систему, но не позволяют вырваться за ее пределы (только уж самая большая привилегированность). Все плавающие и путешествующие находятся в плену Антисервиса, то есть механизма обслуживания людей массовидных.

Антисервису способствует, разумеется, общий беспорядок, но социология его восходит к началам более исконным и далеко идущим. Прежде всего это исходное противоречие личного обслуживания в порядке государственной службы. Толстой сущность господской жизни видел в том, что все грязное, трудное, скучное в своем личном быту барин бесстыдно взваливает на другого человека. Что может принудить взять на себя чужую грязь, отбросы чужой жизни? Если не рабство, то выгода.

Сколько ни внушайте человеку, что, в качестве трудящегося, его нормальная функция убирать плевки и объедки другого, равного ему трудящегося, — он в эту норму не верит. Отсюда чрезвычайная нервность и грубость проводников, уборщиц, официанток, санитарок — особенно в учреждениях, где на чай не дают или дают невесомо мало. У них вырабатывается нечто вроде личной ненависти и физического отвращения к обслуживаемому. Курортный персонал относится к массе своих клиентов как к орде, гадящей, крадущей, все разрушающей на своем пути, чьи вожделения он, персонал, призван пресекать в корне.

Когда после курортных окликов: «А ну-ка, граждане, что это вы по разным столам расселись… Давайте-ка я вас разом всех обслужу!» — попадаешь в первый раз в московский ресторан, то вид снисходительного официанта умиляет. Московские и ленинградские рестораны обычно посещают не люди с рассчитанным на двадцать четыре дня отпускным бюджетом, но, напротив того, — хотящие красиво пообедать или поужинать. С возрастанием чаевых уменьшается интенсивность Антисервиса, но принцип остается в силе.

Ни беспорядок и равнодушие, ни материальная незаинтересованность не исчерпывают суть Антисервиса. Государственное личное обслуживание алогично; тем паче в неиндивидуалистическом государстве. Оно либо превращается в свою противоположность (взаимная травля обслуживающих и обслуживаемых), либо оно кое-как держится чаевыми, то есть пародийным вторжением частнособственнических экономических отношений.

Кампания против чаевых, которую по временам проводят газеты, имеет, надо сказать, характер истинно общественный. Читатели во множестве пишут письма. Возмущение идет не сверху, где чаевые дают или где и без того обеспечены услугами, и не снизу, где их берут. Исходит оно от некоего среднего слоя, который не привык платить за бесплатное, хотя и убежден, что все бесплатное плохо.

Для осуществления сервиса требуется либо его механизация, либо признанное неравенство. На Западе, как известно, только очень богатые люди могут позволить себе держать прислугу. Сервис устремлен к предельной механизации. Безлично-механическое обслуживание не унижает. Все же, что унижает, переваривается психологически, благодаря открыто действующему экономическому неравенству. Говорят, впрочем, что в американизированном мире не существует понятия унизительных занятий. Но для этого труд нужно понимать особым, нам несвойственным, образом — как бизнес, как то, за что платят деньги.

Наше обслуживание, со всеми его особенностями, неотделимо от противоречивой и смутной природы социальной дифференциации в современном некапиталистическом обществе. Чудовище Антисервиса оказывается двуликим. Если один его лик — дикость и канцелярское высокомерие, то в другом неожиданно проступают человеческие черты. И в конечном счете вы узнаете лицо человека, который, подтирая чужие плевки, не считает, что все в порядке, поскольку и плюющий и подтирающий — члены профсоюза. Разрешить противоречие может только новый тип профессионального самосознания.

Пока что любое организованное общество есть общество дифференцированное. Близлежащая задача в том, чтобы облечь эти соотношения в пристойную современную форму, освободив их от безобразных остатков патриархального уклада.

Девушки из деревни неохотно идут в няньки и домработницы, хотя это выгодно (больше остается на чулки и блузки); не идут отчасти потому, что стыдно в этом признаться кавалеру, провожающему с танцплощадки.

У нас неравенство факт (крайне болезненный), факт, — но в него не верят. До конца в него верят разве что жены ответственных работников. Стоит кому-нибудь проговориться, как вспыхивает реакция завистливых обид и наивной гражданской гордости. В 59-м году в «Литературной газете» состоялась полемика вокруг статьи Д. Милютиной (научного работника) «Поговорим о „прозе“ жизни». Для освобождения женщины от домашних хлопот Милютина предлагала создать при

домоуправлениях специальный штат уборщиц.

«Товарищ Милютина, о какой „прозе“ жизни вы печетесь? Скажу правду, решение вопроса выглядит у вас несколько мещанским. Меня удивляет ваше паническое восклицание о какой-то домашней „проблеме“. Давайте разберемся, можно ли назвать проблемой уборку комнаты? Капитан-лейтенант А. Уваровский. Мурманская область».

«Постирать для сына „нехитрую одежонку“, как вы выразились, для меня удовольствие. У нас всю домашнюю работу мы делаем вместе. Не подумайте, что это приносит ущерб отдыху, основной работе. Все можно успеть, если умело распределять время, а не мечтать об уборщицах. Есть еще, к сожалению, женщины, которые и сами не работают, и домработниц имеют. Ходят по кабинетам косметики, по портнихам, по магазинам. Заняты только собой, живут только для себя. Позор! Учительница Р. Лямина. Ижевск».

«Мы боремся за сокращение обслуживающего персонала. За то, чтобы у нас больше людей было занято в сфере производства. А тов. Милютина предлагает, чтобы уборщицы „чувствовали бы себя такими же служащими, как миллионы других“. Выходит, есть у нас миллионы служащих — умножим их ряды еще миллионами, которые будут нам мыть посуду».

Д. Милютина, подобно Гельвецию, виновата лишь и том, что открыла секрет, известный всем и каждому (le secret de tout le monde).

В буржуазных условиях (да и в феодальных) низшие вопиют против несправедливости, ненавидят и хотят изменить положение вещей. И все же неравенство для них не только социальный факт, со всеми его психологическими последствиями, но и некая метафизическая реальность, не поддающаяся ни логике, ни диалектике революционной мысли. Практика неравенства в какой-то мере уцелела, но органическое его переживание как непреложной (пусть ненавистной) реальности уничтожено социальной революцией. Процесс, оказавшийся необратимым, — обстоятельство очень важное и недооцениваемое.

Ни те ни другие не верят в правомерность неравенства. Одни если и не подвержены интеллигентской стыдливости, то вынуждены заметать следы; во всяком случае, жуировать молча. Другие не только завидуют — что естественно при любом социально дифференцированном укладе, — но рассматривают имущих как жуликов, пойманных с поличным; совсем не то, что отвлеченные соображения насчет прудоновского: «Всякая собственность — это воровство». Было обещано — не нам, так отцам, — что всем будет одинаково. И то, что не всем одинаково

плохо, — обман. Жулики и бездельники как-то достигли того, что им недостаточно плохо, и завели что-то вроде господской жизни. Господа же они не настоящие, считает обыватель (как были прежние господа или как, например, иностранцы), потому что в общем все одним миром мазаны.

Одним миром мазаны — формула чрезвычайной важности для общественных отношений. Неравенство, мучительно резкое в своем психологическом рисунке, в то же время практически незначительно. В Канаде, положим, уборщица получает немногим меньше профессора. Об этом кричат, кивая на Восток, но выводы из этого передернуты. Потому что групповое различие жизненного уровня определяется там в основном не заработной платой, а накоплениями, в значительной мере наследственными.

Если у профессора с семьей две комнаты в коммунальной квартире, то он, сравнивая, считает себя стоящим ниже человеческого бытового минимума. Но, обернувшись в другую сторону, профессор увидит соседей, живущих сам-пять и сам-шесть в одной небольшой комнате, и, если у него есть еще старая интеллигентская совесть, сразу почувствует себя вздернутым на уровень постыдного неравенства. Потому что жить в двух комнатах вдвоем и даже втроем можно, а жить впятером в одной комнате, собственно, нельзя. Дистанция же между возможностью и невозможностью жить так велика, что с ней не сравнится никакое расстояние между достатком и самой разнузданной роскошью.

Соответственно всей системе навыков и возможностей верхний предел низок (исключение составляют, быть может, лица совсем особого разряда). Для крупного аппаратчика трехкомнатная квартира — достижение; и это на семью, с бабушками, с домработницей. Не между хижинами и дворцами располагается шкала благ, но между комнатой в коммунальной квартире и отдельной квартирой из трех комнат. И оказывается, чем теснее шкала, тем болезненнее психологический разрыв.

Чем меньше дистанция, тем виднее подробности чужой жизни. Никакие абстрактные сведения о чужих доходах не могут так распалить, как запах мяса в коммунальной кухне, вздымающийся над соседской кастрюлей. Владельцы вилл и дворцов — в мире неимущих имеют непосредственный, притом строго ограниченный, контакт только со своей прислугой (особая социальная разновидность), но двое из двух комнат непрерывно соприкасаются с пятью из одной комнаты той же квартиры. Двое стесняются (если они не нового кряжа), пятеро ненавидят; в частности, потому, что считают себя обманутыми. Многообещающая концепция.

Особую лютость вызывает преуспеяние тем же миром мазанных. Так ненавидели в деревне кулаков, в казарме фельдфебеля.

Солдат, в виде исключения, мог стать офицером, попович — чиновником, мужик — богачом. Из одной социальной категории в другую переходили единицы, а принцип разобщенности оставался. Разобщенность общественных групп есть и сейчас, но между формами их бытового существования нет пространства и нет ясных границ. Каждый в основном прикреплен к какой-нибудь форме, но как-то зыблется на ее краю и совершает многократные переходы.

Хорошо оплачиваемый (по местным понятиям) часто, несмотря на деньги и чрезвычайные усилия, не в состоянии удержаться на собственном материальном уровне. Вот он живет в отдельной двухкомнатной квартире и привередничает насчет рисунка обоев. А вот он заболел и угодил в переполненную, плохо проветренную больничную палату, где не дозовешься сиделки. Ему срочно нужно выезжать, и вместо обычного для него мягкого вагона он может попасть в комбинированный, где внизу сидят шестеро и двое лежат наверху; он не достал номер в гостинице (хотя готов оплатить самый дорогой) — и снимает у хозяйки койку в комнате на четверых с ходом через коммунальную кухню. Притом немолодые люди, владеющие собственными квартирами, дачами и машинами, прошли через войны, голод, сыпнотифозные вагоны, а многие через тюрьмы и лагеря.

Теснота пространства придает неравенству физиологическую наглядность. Преуспевшие этой формации видали виды, и их видали во всяких видах. Они не живут за семью печатями. Напротив того, все в них понятно. Узурпаторы, они лишены иррациональной субстанции барства. Их жизнь просматривается — как вражеская позиция с удобного наблюдательного пункта — со всех сторон, во всех направлениях.

Между мягким вагоном (сверхпривилегированные ездят в международных; оставим это в стороне) и комбинированным (шестеро сидят, двое лежат, не имея возможности сойти вниз и сесть), даже просто плацкартным разница большая — и в то же время ничтожная. Не потому даже, что и в мягких вагонах довольно грязные уборные, плохая вентиляция и не слишком вежливый персонал, но потому, что в жизни поезда, как и вообще в жизни, — та же зыбкость границ, отсутствие дистанции. Совсем это не те времена, когда

Молчали желтые и синие,

В зеленых плакали и пели…

Наше поколение по воспоминаниям детства знает, что существовал круг вполне состоятельных людей, которые ездили всегда вторым классом. Это так же входило в их бюджет, как квартира из пяти-шести комнат, две прислуги (кухарка и горничная) и немка при детях. Первым классом ездили люди, державшие лакея и при детях француженку.

Сейчас разница в стоимости проезда практически невелика. При небольших сравнительно расстояниях купейный вагон обходится дороже рублей на тридцать[16], мягкий на пятьдесят — шестьдесят. Иначе это и быть не может, поскольку мягкими и купейными ездят по преимуществу командированные. Бюджет определяет не только возможности, но и привычки. Человеку, который, скажем, запросто покупает пол-литра, жалко на билет истратить лишнюю тридцатку, хотя она может превратить поездку из муки в относительно приятное препровождение времени.

Курортный сезон. Ночь на одной из тех станций, с которых невозможно уехать. Замусоренный каменный пол, тоскливые гладкие скамьи в узлах и чемоданах, неприступно грязные уборные, люди, звереющие у окошек билетных касс, а остальное время до ужаса тихие и терпеливые на лоснящихся скамьях. Как только подойдет поезд, они опять встрепенутся и озвереют, а разместившись по вагонам, станут опять терпеливыми. И медленной вокзальной ночью вы начинаете неотступно думать о будущем своем защитном купе. Придет поезд, и вы перейдете в иную социальную категорию — за лишние свои пятьдесят рублей. Но помните, — прежде, чем это случится, вы разделяли со всеми вокзальную ночь, и давку и злобу у кассы, и скамью, и буфет с блюющими посетителями… и потому никто из не имеющих лишней полсотни или предпочитающих ее пропить или проесть не поверит в ваше право на вагон другого класса.

Когда билет необходимо и невозможно достать (обычное летнее положение), — берут что дают. Типовой пассажир мягкого и типовой пассажир жесткого вагона запросто меняются местами. В «Господине из Сан-Франциско» Бунин показал очень точно, что специфический быт действительно богатых людей возможен только как быт для всех прочих непроницаемый, управляемый двумя, только этому быту принадлежащими, силами — безграничностью требований (наслаждения, комфорта, сервиса) и безграничной возможностью и готовностью эти требования оплачивать.

Отсутствие непроницаемости чревато удивительными бытовыми парадоксами. На линии Ленинград — Петрозаводск курсируют небольшие теплоходы, комфортабельно сконструированные в Германии. Каюты первого класса выходят на верхнюю палубу с тентами и плетеными креслами. Второй класс палубы не имеет; третий расположен в трюме. Сугубо ясное социальное расслоение, то есть ясное для немцев, приученных пользоваться именно тем, за что они заплатили. Но наш человек, не обладающий врожденным чувством почтения ни к власть имущим, ни вообще к имущим, стихийно ниспровергает иерархию. И правильно делает, потому что водного пассажира можно оставить без плетеных кресел, но лишить его возможности дышать воздухом — это изощренное свинство.

Целый день палуба забита всеми обитателями теплохода, среди которых безропотно, на общем основании жмутся пассажиры первого класса. За свои деньги они даже не смеют домогаться плетеных кресел. Не из вежливости, конечно, — попробуйте обойти их в очереди или наступить им на ногу в автобусе, — но потому, что нет у нас открытого, признанного права на неравенство. Кто посмеет сказать: за свои деньги я купил право греться на солнце, а ты ступай в трюм. Сказать это вслух не хватит ни бесстыдства, ни просто физической храбрости.

Наступает прекрасная ладожская ночь. Все понемногу расходятся по своим местам. И пассажир первого класса собирается спать или, открыв окно, любоваться Ладогой. Напрасно он собирается любоваться… С разных сторон на палубе возникают пьяные мужчины с полупьяными женщинами. Темными кучками они рассаживаются под окнами кают. Они пьют, едят, изрыгают песни и витиеватый мат. Пассажир из соседней каюты не вынес и ночью побежал вниз, к помощнику капитана. Ему объяснили — волноваться не нужно, потому что так бывает каждую ночь, это едут с каких-то строек до Вознесения; с пяти же часов утра будет совершенно спокойно. Вот чего не предусмотрели немцы, спроектировавшие трюм для одних пассажиров и палубу для других.

После бессонной ночи отправляемся завтракать в салон первого класса. Салон мил, весь застекленный, чтобы, поглощая пищу, пассажир мог одновременно любоваться водным простором. Но, жуя за столиком что-то не совсем свежее из буфета, мы видим не только водные пространства. Но еще и парня, который расположился за стеклом в плетеном кресле первого класса. Он тоже жует какую-то снедь, завернутую в бумажку, и рассматривает нас сквозь стекло задумчиво взвешивающим взглядом, порой прижимая скуластое лицо к

стеклу. Так мы и завтракаем вместе, сидя впритык по обе стороны стекла — он на палубе, мы в немецком салоне.

Еще и не такие бывают салоны.

Огромный черноморский теплоход имеет много палуб, плавательный бассейн и несколько общих помещений, непонятного, в наших условиях, назначения, одно из них с надписью: салон для дам. В салоне для дам, как и в просто салоне, не было никого сначала, потом забрели двое-трое любопытствующих, постояли молча, посмотрели на красный плюш, на неописуемые портьеры…

Неподалеку от забвенью брошенного салона для дам расположен монументальный ресторан первого класса (тоже с плюшем). Его запрудила, сидя за столиками и стоя в проходах, голодная и раздраженная толпа, переругивающаяся с еще более раздраженными официантками. Ресторан и буфеты второго и третьего класса — полупустые. Пассажирам первого класса (протестовать против вторжения прочих классов они, конечно, не смеют) обидно за свои деньги обедать во втором. Остальные же, пользуясь случаем, хотят пообедать — притом выпить и закусить — истинно по-курортному, красиво. И вместо того чтобы с удобствами съесть во втором классе тот же сомнительный обед, они, бранясь, стоят в очереди за столиком.

На глаз иерархическую принадлежность пассажиров иногда можно установить, по большей части трудно. Вот за столиком пара, оба тихие, полнеющие (он постарше), симпатичные. Он заказывает много, сосредоточенно, заказывает графинчик, закуску, подумав — еще бутылку вина. Случайно выясняется — едут третьим классом, то есть суток восемь внизу, в отчаянно душной общей каюте. Но каюта получше — это уже излишества; а вот пообедать с женой, не слишком себя стесняя, в ресторане первого класса — это именно то, что отпускник должен себе позволить.

Дождаться следующего блюда, чаю, расплатиться с официанткой — невозможно. Обедающие пропустили уже розово-зеленый закат, пропускают знаменитое приближение к Батуми. Некоторые идут объясняться с директором ресторана.

— Зато, товарищи, выполняем план… — шутит директор, облекая символ веры Антисервиса бюрократической улыбкой.

**Диалоги в эриванской гостинице:**

— Послушайте, прямо над моей кроватью осыпалась штукатурка. Балки в таком состоянии, что в любую минуту потолок может обвалиться.

— Э! Потолок уже два с половиной года в таком состоянии.

Ни на кого еще не свалился. И на тебя не свалится. Успокойся.

— Сколько я ни просил дать мне отдельный номер — за любую цену — вы сунули меня в номер с посторонним человеком. Так по крайней мере дайте второй стакан.

— Второй стакан. Зачем второй стакан?

— Зачем?.. Воды напиться…

— Нет лишний стакан. Из одного можно напиться. Ничего особенного.

Антисервисом так глубоко поражен весь бытовой механизм, что даже в писательских Домах висят в рамочке необыкновенные документы:

«Находящимся в Домах творчества запрещается:

а) Выносить из комнаты одеяла, простыни, подушки и т. п., а из столовой посуду.

б) Выезжать из Дома творчества с ночлегом, без согласования с директором Дома творчества.

в) Самовольно размещаться и перемещаться по комнатам».

Установлен примерный распорядок дня для Домов творчества:

«Завтрак от 9 до 10 часов

Часы творческого труда с 10 до 14 часов

Обед от 14 до 16 часов

Часы отдыха от 16 до 17 часов

Чай от 17 до 18 часов

Ужин от 20 до 21 часа

Часы отдыха от 21 до 23 часов

Отход ко сну в 23 часа».

Кто бы ни сочинял эту шигалевщину, эту казарменно-безграмотную фантастику, но подписало ее правление Литфонда СССР, в котором числятся знаменитые писатели.

Разумеется, в писательских Домах, где персонал получает на чай, а администрация побаивается творящих, — все это отношения к реальности не имеет. Правила в рамочке не читали не только те, кто их подписал, но и те, против кого они направлены. Едва ли кому-либо из завсегдатаев Домов творчества известно, что он не имеет права *перемещаться по комнате и уезжать с ночлегом*. А все-таки они висят! — бледное отражение идеологии и практики Антисервиса[17].

Бедность, некультурность и беспорядок сами по себе не в состоянии еще создать зрелый Антисервис. Ибо с бедностью, некультурностью, беспорядком может совместиться доброжелательность, намерение услужить человеку, сделать ему

приятное. Правила поведения, выношенные и развешанные курортно-туристско-транспортной администрацией, — памятники вполне целостного миропонимания. Носители его прежде всего стремятся обуздать всякого, кто подвергается их обслуживанию.

Пассажирам катеров, курсирующих вдоль Крымского побережья, в числе прочего запрещается «снимать верхнюю одежду». Составители правил, как видно, считают, что верхняя одежда — это юбки и брюки. Правила, вывешенные на крымских лодочных станциях, насчитывают до пятнадцати пунктов запретов и наставлений — как обращаться с *плавсредствами*.

«Лодки должны уступать дорогу парусным и моторным судам.

Лодкам запрещается выстраиваться в ряд, за исключением спортивных соревнований.

Запрещается раздеваться и загорать при катании на лодках».

О, щедринские игры административного воображения! Катающийся на лодке, как и всякий отдыхающий, турист, экскурсант, — это совсем не тот человек, чью жизнь надо сделать легкой и прекрасной. Это антагонист: тот, кто может потерять инвентарь, неуместным образом снять штаны, утонуть, вообще сделать любую пакость. И все это следует предусмотреть и пресечь.

Чтобы он, этот отдыхающий, знал свое место, для него разработан даже специальный словарь, унижающий человека. У него не кровать, как у свободных и мирных людей, а койка (есть даже неправдоподобный термин — *койко-день),* не еда, а питание, не чаепитие, а полдник — притом полдник в пять часов, — не прогулка, а экскурсия, не лодка с веслами, а плавсредства, и приставлен к нему — культурник.

Если исследовать семантические ореолы этого словаря, то оказывается — основная его тенденция в замене индивидуальных понятий массовыми. Кровать — это предмет личного обихода, но койка — принадлежность казармы (в военной обстановке вполне уместная). Прогулка — это человек идет, видит что хочет и понимает увиденное как может; экскурсия — это когда людей ведут и через культработника сообщают им, что именно они видят перед собой.

Антисервису вообще присуща отрицательная реакция на предметы личного пользования (не считая зубных щеток и т. п.). Все созданное для удобства или удовольствия отдельного человека ему подозрительно — гостиницы, рестораны, такси… Это явления, подрывающие устои Антисервиса, и он стремится ассимилировать их себе на потребу. В местах курортного скопления вещи, предназначенные для личного удобства,

неотвратимо превращаются в источник коллективных бедствий. Такси — в маленький автобус, с давкой и перебранкой; номер в гостинице, мечта усталого туриста или задумчивого странника, — в общежитие. В нем кровати, но не верьте глазам своим — это уже не кровати, это койки. Вы спускаетесь в ресторан, где стоят столики как столики, но каждый из них — уже не столик в ресторанном смысле этого слова. Это стол, за который вас будут сажать до полного комплекта, чтобы обслужить *всех сразу*.

Антисервис встречает сопротивление. Кое-что ему приходится уступать противоборствующим силам. Не заклинаниям, конечно, но реальности. Реальности существования людей, упорно стремящихся создать для себя и своих мир вещей личного пользования. Люди эти стоят на разных общественных ступенях. Одни покупают «Волгу», другие вызывают такси; некоторые строят дачи, другие хотят иметь номер в гостинице. Объединяет их наличие требований; и многие из них уже понимают, что за удовлетворение требований надо платить, официально и неофициально.

Административные намерения и указания в самой незначительной степени могут улучшить сервис. Уровень обслуживания соответствует только требованиям и возможностям обслуживаемых и потребляющих. Что такое курортный Антисервис во всей его наготе? Это грубый расчет на нормального обитателя коммунальной квартиры, на человека без требований, на человека, который хочет, чтобы его отдых и удовольствия (исключая, быть может, выпивку) обошлись ему по казенному минимуму. С такой человеческой единицей и оперирует Антисервис. За ее пределами начинаются уже люди с претензиями — господа. Произносится это слово не только со злобой — что естественно, — но с издевкой и некоторым презрением, основанным на уверенности в том, что господа-то ненастоящие. Самые бесспорные господа — интуристы, наделенные таинственной наглостью, сказочной свободой от действующих норм поведения. Выбрасывая нас при появлении иностранцев из кают и гостиниц, администрация всячески насаждает это иррациональное подхалимство.

Впрочем, и среди соотечественников персонал гостиниц, поездов, пароходов точно угадывает принадлежность клиента к категории имеющих требования и готовых требования оплачивать.

Утром в пароходном буфете молодая официантка снисходительно-игриво разговаривает с мужчинами, заказывающими водку и пиво, и довольно грубо с прочими

пассажирами. Входят московский профессор с женой; оба лет семидесяти. Сели. Жена профессора — благообразная и старомодная — внимательно рассмотрела меню и сказала официантке:

— Знаете, милая, моему мужу ничего этого есть нельзя. У вас, вероятно, найдется рис. Так вот, пожалуйста, пусть нам сварят рисовую кашу. Только, пожалуйста, не размазню. А такую, знаете, рассыпчатую. И масло подадите.

Каша гораздо дешевле любого из блюд, перечисленных в меню. Подобный заказ, казалось бы, должен был вызвать самый презрительный отпор. Но в тоне заказа звучала непобежденная привычка требовать и видеть свои требования выполненными. И то, что речь шла о ничтожной каше, было своего рода обнажением приема, обеспечившим безошибочность. Официантка кротко ответила — да, рис, конечно, найдется… Да, да, можно сделать рассыпчатую…

В ожидании парохода ночь на вокзале в Сочи, и общежитии для пассажиров. Заснуть невозможно, так как до рассвета горит висячая лампочка без абажура. Часов с четырех присаживаются к столу, раскладывают на газете огурцы, режут хлеб, вздыхают. Пароход теперь вожделенное место, где можно заснуть. Наконец — каюта; ставлю чемодан. В каюту входит дежурная — средних лет, обыкновенная — и смотрит на меня с ненавистью:

— Сдайте ваш чемодан в камеру. Здесь первый класс. Здесь нельзя ездить с чемоданами.

Чемодан небольшой. Каюта довольно большая, двухместная. Второго пассажира нет.

— Чемодан никому не мешает. И там вещи, которые мне нужны.

— Я вам говорю… Здесь не третий класс — располагаться с чемоданами.

В сознании ее живет идея пассажира первого класса. Неосуществленностью этого идеального представления она оскорблена в своей — тоже идеальной — амбиции проводника первого класса. У нее застарелый, плачевный опыт другого пассажира, неспособного — по ее мнению — понять, где он находится. Этого ненужного ей человека она ненавидит заранее.

В каюте мрачно. Хочу выйти на палубу — посмотреть, как будем отчаливать. Беру стоящий в углу складной стул. Дежурная подозрительно следит за каждым движением:

— Вот так их возьмут на палубу и бросят. А кто потом будет платить…

— Платить буду я, — говорю я с отвращением к тому, что говорю, но понимая уже — это единственный способ

самозащиты. — А что касается чемодана, то каюту для того и берут, чтобы ехать удобно и спокойно…

Молчание, и в молчании — я знаю — совершается некая перемена. Не углубляясь в перемену, ухожу на палубу. Через час в каюте меня встречает та же дежурная, — очень славная, хлопотливая женщина.

— А ваш чемоданчик мы поставим вот так, чтоб вам проход был побольше.

— Спасибо. Я и так пройду. Скажите, пожалуйста, как у вас насчет душа?

— А у меня ванна минут через двадцать освободится. Вы не сомневайтесь, мы ее хлором прекрасно моем. Я вам постучу, только будьте готовы. У нас ванны очень хорошие! Две кабины…

Она искренне доброжелательна, потому что считает сейчас, что в каюте все в порядке. Цена же этому пустяковая — каких-нибудь пятнадцать рублей. Очень грустная история.

История грустная и как будто бы старая, такая же старая, как гипнотическое воздействие интонаций профессорши, заказывающей кашу. А есть и новое: обнажились психологические несовместимости сервиса.

Антисервис — великая чересполосица хамства и человечности.

Путешествовать же, очевидно, нужно, потому что поезда и пароходы, гостиницы и дома отдыха — незаменимый микрокосм социологии быта.

*1960*

Володя Муравьев сказал об одной очень хорошей литературоведческой книге: «симуляция метода».

В этом есть правда, — в той мере, в какой это разговор об авторе, оставшемся без общего направления, без возможности подключиться к эпохальной мысли. В молодости подключались к формализму. Но, как сказал Тынянов, не любивший своих учеников (может быть потому, что сам чувствовал себя молодым, ученики не вписывались в его психологическую картину): «они пришли, когда обед съеден».

Мое научное поколение пришло в пору благоразумных поправок к первоначальному великолепному неблагоразумию школы.

Про издание 1958 года Анна Андреевна говорила: — Эту книгу следовало назвать «Сады и парки». Эта дама любила гулять. Все остальное выбросил Сурков — по тем или иным причинам. Где — бог, где про любовь не так, как надо.

Гумилев боялся смешного. Он был недоволен, когда выяснилось (вскоре после свадьбы), что Анна Андреевна пишет стихи.

— Муж и жена пишут стихи — в этом есть что-то комическое. У тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом…

*(Из рассказов Ахматовой)*

Вот человек талантливый, очень образованный, который в молодости якшался с разгромщиками и проработчиками, с рапповцами в основном. Теперь, в середине 60-х годов, он говорит о них плохо (о себе хорошо) — сквернословы, честолюбцы, душители. Любопытно, что он осуждает и тех из другого лагеря, которые шли им на уступки. У других он видит грубые результаты, у себя закономерные процессы. Процесс необходимого приспособления мысли, сохраняющей притом свою изысканность. В том-то и дело.

Приспособление же представляется и тогда и сейчас изначальной предпосылкой (хотя были и не приспособлявшиеся), само собой разумеющейся. Условия меняются, а привычки остаются.

Какой долгий, изматывающий опыт нужен иногда, чтобы выжать потом из него несколько строк.

Письмо неадекватно сознанию современного человека. Для переписки требуется — исключительные случаи бывали всегда, но, как правило, требуется: в тот момент, когда А читает письмо, полученное от Б, и А и Б должны находиться приблизительно в том же состоянии, в котором они пребывали, когда Б писал это письмо. Относительная стабильность бытия — необходимая предпосылка переписки. Даже телеграмма отстала от темпа и оказалась устарелой формой связи между близкими. Адекватен, пожалуй, только междугородный телефонный разговор.

Абстрактные художники нередко дают своим полотнам заглавие. Они вводят тем самым в специфически живописную (чистую) структуру то, чего больше всего боятся, — литературу, инородный смысловой фактор; притом наделяя его решающим эстетическим значением, — поскольку заглавие организует ассоциации воспринимающего.

Если некое сочетание цветовых плоскостей снабжено

заглавием *Лошадь*, то зритель не то что увидит лошадь, но он в этом направлении будет искать воспринимаемую им форму. Назовите ту же цветовую комбинацию *Весна* — и движение ассоциаций изменится.

Образ же, построяемый искусством, — это и есть пучок ассоциаций, с большей или меньшей точностью (в зависимости от стилистического принципа) предопределенный художником. Без относительной предопределенности, ограниченности ассоциаций эстетический факт невозможен. Обдуманное создание художника подменилось бы произвольными интуициями зрителя.

Если эстетическую жизнь абстрактного (заумного тож) произведения решает заглавие, в других системах служащее лишь придатком, то непоправимо подорван самый принцип абстрактности как воздействия только живописными средствами.

Права дурная литературная традиция, изображающая ученого и художника диким, заросшим, чудаковатым и проч. Дело даже не в отсутствии свободного времени (без передышки все равно нельзя работать), а в необходимости свободного от всего лишнего сознания.

Есть три возможности: свалить быт на других; поддерживать быт самому с тяжелым ущербом для работы; отречься от быта и зарастать, ради работы, — так в одиночестве и поступают люди с действительно мощными творческими потребностями.

Это я уважаю теоретически. Практически же оно мне противно, и я уважаю умеющих жить и обуздывать жестокую стихию быта.

Любовь сначала — ожидание счастья. Тот, кто любим, — чудесный аккумулятор счастья, сообщающий эту драгоценную силу всем вещам, даже самым неподходящим, всем явлениям мира, с ним разделяемым. Потом любовь — ожидание покоя, хотя бы успокоения.

Классическое ожидание, с которым усталый человек всякий день возвращается к своему очагу. Когда и это проходит, приходит ожидание боли, которая может теперь поразить ежеминутно, по каждому поводу.

За этой третьей ступенью есть и четвертая: скорее провал, чем ступень, — когда больше не ждут.

Жестче всего сталкиваются люди, еще связанные и стоящие уже на разных ступенях отношений.

Один еще ожидает счастья, а другой тишины. Один еще чувствует боль и потому хочет боль причинять; другой, который уже ничего не хочет, — оскорбительно неуязвим.

Один выигрывает, а другой проигрывает — вот смысл хорошего расчета. Свойство же дурного расчета состоит в том, что проигрывают оба.

Лелеемая могила, на которую только что принесли сирень, тюльпаны и розы. Дорожки кладбища посыпаны крупной галькой. Вдруг на сухой, светлой гальке у самого края могильной плиты вижу большого сизо-черного, блестящего червя. Он извивается быстро и часто, как бы с усилием стремясь пробиться сквозь гальку под край плиты. Во всяком случае он пришел оттуда или направляется туда. Что ж — это он обнажает тщету безрелигиозной, но выстраданной человеческими сердцами символики кладбищенских украшений. Впрочем, и символику червя можно преодолеть (уж мы как-нибудь справимся с антитезой могильных цветов и могильных червей). Одно только нельзя преодолеть нашими средствами: вдруг поднявшуюся, похожую на бесконечную скуку, заполнившую, нет, не заполнившую, — опустошившую мир достоверность несуществования.

Старушка Пелагея Петровна, бывшая уборщица Переславльского музея, хозяйка домика, где останавливаются приезжающие, поит меня чаем и рассказывает разные разности. Между прочим — о чьей-то внезапной смерти: «И вскрикнуть не успел».

Легкая смерть — предмет всеобщих желаний.

Пелагея Петровна задумалась: «А я б не хотела так умирать. Я хотела бы поболеть сначала. Что-нибудь такое сказать перед смертью…»

Лирика и лирическая проза, всякий вообще неопосредствованный авторский разговор подстерегаем великим соблазном. Состоит он в том, что писатель сверх всего, что ему нужно сказать о себе и о мире, говорит еще о себе то, что знать никому не нужно, — поддаваясь щекочущей, инфантильной потребности приподымания завесы над тайным, или проще — самолюбованию и кокетству.

Беда писателю, если слово его написано не для дела, а для того, чтобы показать свою образованность, или из ряда вон выходящее благородство, или суровую солдатскую прямоту, или изощренность и искушенность в разных тонкостях жизни, или латентный огонь своего сердца.

Пушкин — по мнению современников, суетный и тщеславный

— был поэтом предельной чистоты. Нет у него слова, написанного *не с той целью*, замутненного контрабандными, непретворенными в поэтическое познание эмоциями.

На худой конец можно хвастать и кокетничать в быту, выжигая из своего общественного слова двух этих непотребных двойников лирического самосознания.

П. Громов говорит, что искусство всегда работает на интеллектуальных предпосылках, и всегда на неверных интеллектуальных предпосылках.

Самый непримиримый и всепроникающий этический пафос встречается у людей практически аморальных. Вполне закономерно. Для аморального это область прекрасных философских абстракций. Он не знает того, что знает порядочный человек, из каких нерадостных усилий слагается эта порядочность.

С годами в этой психике износились и вышли из строя механизмы, не пропускающие на поверхность эгоизм, тщеславие, недоброжелательство, зависть. Ничем не прикрытая душа предстает как чудовищная перед растерянными наблюдателями. Между тем при безотказном действии камуфлирующих механизмов она существенно не отличалась бы от других. Душа как душа.

Человек ходит без дела по улицам, и ему кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, чтобы зайти наконец к N N, или — я воспользовался визитом к N N, чтобы наконец вечером прогуляться.

Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия одного нужного.

Мы — аналитики, кичащиеся человековедением, — мы умеем ошибаться в людях, как никто другой. Как никто, потому что, когда нам нужно не понимать, мы не понимаем грандиозно, с концепцией. Концепция работает, вытесняя из поля зрения факты, видимые самым простым глазом.

## *Разговоры о любви. Условная запись подлинных признаний*

*Разговор с N.*

— Ну, вы и добились развода и одиночества. Чего вам еще? Уже скучно?

— Одиночество… Нехорошо человеку быть одному… это так. Семья, как известно, — одна из форм разделения труда. Одному непосильно нести в себе все содержание жизни, помнить все, что с ним происходит, отвечать за все, что его касается. Человеку необходимо знать, что есть какие-то области жизни — его собственной, — в которых он имеет право не принимать решений. Пусть это будет меню завтрашнего обеда.

Вы хорошо знали Лялю. У нее были способности, разные. Притом она всегда делала плохо все, что делала. Удивительно плохо. Вместо интереса к делаемому, к вещам, заинтересованность в тех инородных целях, которым вещи могут служить, — вот сущность двух эпохальных явлений: халтуры и приспособленчества. Ну, это в скобках. Так вот — все бытовое для меня и вокруг меня делалось плохо или вовсе не делалось; но это было не так уж важно, — считалось, что бытовым занимается кто-то другой, и важнее всего было то, что поэтому я тоже мог им не заниматься.

Постепенно мы оборвали все связи, какие только бывают, — бытовые, чувственные, умственные, даже связи привычки. Она потеряла мою любовь, и свою, конечно, но власть сохранила и тогда. Потому что за моей злобой, за равнодушием — довольно искренним — она чуяла глубоко сидящую слабость, скрытый узел не до конца истребленных ожиданий. Меня до ярости раздражало это наваждение — неизвестно чего ожиданий от женщины, которая не нужна. Потом я понял… Одолевало меня бессмысленное ожидание, что кто-то — то есть она, больше некому — когда-нибудь что-то сделает за меня, возьмет на себя какую-то часть моей жизни. Что, может быть, можно будет хоть что-нибудь не решать; например, куда девать старое пальто, которое второй год без толку висит в передней.

Ненужная была нужнее всех, потому что только она была моим неодиночеством, вернее, иллюзией или, пожалуй, чистой абстракцией моего неодиночества, то есть разделенной жизни.

*Разговор с N. N.*

— Чего ты хочешь? Того, что было?

— Нет. О, нет. Как я могу хотеть того, что было? Я с содроганием вспоминаю…

— Или ты хочешь, чтоб это вернулось к тебе обновленным?

— Обновленным?.. Запятнанное всеми уступками, непрощаемыми обидами, разговором про деньги, грубостью и

ложью… Такое не возвращается.

— Зачем же ты мучаешься? Ты же все время сосредоточенно мучаешься. Не хочешь ли того, что могло бы быть?

— Не хочу. Потому что со мной, с таким — ничего быть не могло. Ничего другого.

— Так зачем же ты…

— Я хочу не невозможного. Подумаешь — невидаль. Все хотят невозможного. Я хочу алогического. Хочу, чтобы именно она, но совсем другой, была бы со мной, который был бы совсем другим. И этот алогизм мучит, как самая трезвая реальность.

*Разговор с N. N. N.*

— Да, я действительно думаю, что в жизни типового интеллектуального человека нашего поколения имели место три типовые любви, три драмы. Теория эта, как все, так сказать, гуманитарные теории, — приблизительна. Не законы, но только тенденции. Я сказал — нашего поколения… Мы — это те, кто тоже *получили от детства* вековую культуру любви и занесли ее в век совсем других катаклизмов. Как оно обстоит у следующих поколений — неясно; у них, кроме всего прочего, никогда уже не было свободного времени, что необходимо для культуры любви.

— Так три типовые драмы…

— Две из них имеют классическую формулу: первая любовь и последняя. Предлагаю ввести еще одно звено — вторая любовь.

— Ммм… Почему именно вторая?

— Да нет. Не в том дело. Она может быть третьей или четвертой. Как, впрочем, и первая любовь далеко не всегда бывает первой. Это понятие качественное. Понятие жанра. Классическая первая любовь интеллектуального человека — великая, неразделенная, неосуществленная (она втайне не хочет осуществления). Никогда уж для нас в царстве любви не будет ничего пронзительнее молодой тоски, смертельнее первой боли; она должна смять еще нетронутую душу, и душа отчаянно сопротивляется. Чем крепче зуб, тем зубная боль нестерпимей. Потом придут наркозы усталости, гнилое терпенье, гнилое прощенье… А вторая любовь — это та, на которой человек отыгрывается. Она непременно должна быть счастливой, взаимной, реализованной. У Пруста это сделано очень точно: Жильберта и Альбертина — первая и вторая любовь. Настоящий человек понимает, что неразделенная любовь — это один раз красиво, а во второй раз — смешно. У Гейне, помните:

Glaub nicht, das ich mich erschiesse,
Wie schlimm auch die Sachen stehn!
Das alles, meine Süsse,

Ich mir schon einmal geschehn[18].

Вторая любовь — любовь человека, который хочет, чтоб его любили, и на меньшее не согласен.

— А дальше что?

— Дальше начиналась драма второй любви (она, впрочем, могла повторяться). Нет уже этой беспримесно прозрачной боли, но драма счастливой любви как-то гнетущее драмы — несчастной. Уже тем, что несчастье не входит в ее эстетику, в ее идеологическую программу. Совершается она в два приема. Сначала человек теряет возлюбленную, потом он теряет любовь, меняя тоску на скуку.

— А если человек сначала теряет любовь…

— Ну, тогда это не драма. По крайней мере не драма счастливой любви.

— А драма так уж обязательна?

— Почти что. Если только любовь не переходила в семью (там свои удачи и просчеты). Я говорю ведь о нас, о прошлом. Обязательность драмы была, вероятно, в том, что мы почему-то довольно долго сохраняли некий досуг. А досуг, породивший науку и искусство, порождал и душевные катастрофы — во всяком случае, начиная с восемнадцатого века.

— А как же третья типическая драма?

— Третья… Да минует нас эта любовь… Ну, та, которая и блаженство и безнадежность…

«Они собрались в молодежном кафе. Это было мероприятие, не предусмотренное никаким расписанием… Не могу сказать, чтобы все на этом вечере мне понравилось. Но мне понравилась сама затея, сама заинтересованность жить интересно, то есть жить интеллектуально… Необходимо противопоставить шалману, забегаловке культурный столик, необходимо противопоставить унылой танцплощадной давке человеческую непринужденность, необходимо противопоставить скуке „мероприятий“ молодую заинтересованность». — так пишет «Литературная газета». В Ленинграде есть уже два молодежных кафе; там между столиками читают свои стихи молодые поэты. Но посетители, по-видимому, недовольны тем, что у поэтов утвержденная программа. Опять получается мероприятие. Раз-два послушают мероприятие и пойдут в пивную. Следовательно, чтобы кафе отвлекало от пивной, требуется свободное чтение (кафе Монмартра, «Бродячая собака», «Стойло Пегаса»…); но чтобы чтение это не призвало, например, — назад в пивную! — требуется, чтобы свободное чтение было отрегулированным. И вот оказывается — создать фикцию литературы гораздо легче, нежели фикцию кабачка.

В СП мне случайно пришлось присутствовать при телефонном разговоре одного из прикосновенных к работе с молодыми писателями:

— А, да. Так мы вам направляем группу из литобъединения издательства. Да, им сказано, чтобы они всё читали из своих книг. У них у всех представлены книги. Пусть и читают… — Я? Нет, я приходить не собирался. Я уже в прошлую субботу там маялся. Так же невозможно! Что же я, в свой свободный вечер никогда не смогу в театр пойти? Даже в баню нельзя сходить (это шутка). — Ну, может быть, я и зайду. Но пусть, вообще, не рассчитывают. У вас есть телефон П. Вот вы с ним и свяжитесь. Мы ему это дело доверили. Он очень хорошо понимает. — Нет, я не понимаю… Чего вы хотите? Свободное чтение… Чтобы всякий, кто хочет, читал что хочет?.. — А… Ага… Кто же это возьмется проверять на месте? Вы все-таки поймите — обстановку. Там люди сидят, пьют вино… Как же это так на ходу? Нельзя в такой обстановке объясняться с поэтом. — Нет, вы поймите — мы серьезная литературная организация. Если к нам обратились, мы подходим серьезно. Мы вам даем программу. Понятно? Даже цирк, возьмите даже цирк — чисто зрелищное предприятие, — и у того есть программа. Не может быть, чтобы посреди представления вдруг зритель спрыгнул с галерки и показал фокус. Это в цирке… — Нет, мы вам даем программу. Им сказано читать из книг. Если что не входит в книги — представить заранее. Хотя бы П. Он прекрасно понимает… — Ну, не знаю. В конце концов я не могу им запретить. — Но за такое дело кто же возьмется отвечать? — Какая это инстанция хочет — свободное чтение? — Ах так! Пусть они сами и отвечают. А мы серьезная литературная организация. Мы не можем. Вы понимаете, что это такое — каждый, с улицы, выходит и читает что хочет. Вы только представьте себе. Ведь есть графоманы. Есть сумасшедшие. Да, самые настоящие. И графоманы. Прочитать могут что-нибудь нехудожественное. Или вообще черт знает что… — И как же это — про свободное чтение будет на афишах написано? — Ну, все равно — это же разнесется по городу. Мигом. Вот и придут… Лучше подумать, не ввести ли там обсуждение стихов. — Вы даже не знаете, что пишут. Вот Н. нам принесла тридцать девять стихотворений. А потом сама согласилась, что готовых у нее четыре. А с остальными еще надо подумать. А принесла в литобъединение тридцать девять. Ее же товарищи, очень так осторожно, чтоб не обидеть, ей объяснили, что непонятно, что она пишет. Просто непонятно. Это все так субъективно, что она теперь пишет. Уже только она сама себя понимает. И это — Н., у которой есть уже книга… Именно. Так вот представьте, что вам

принесут в кафе, на свободное чтение.

*1962*

## *«Не юбилейте!»*

По случаю герценовского юбилея — торжественное заседание в Театре драмы. Излагает Иовчука кандидат философских наук из Университета. Герцену люди воздвигли великолепный памятник, — говорит молодая преподавательница из Герценовского института. Пауза. Что это еще за памятник? Где такой памятник? — успеваете вы подумать, прежде чем она четко заканчивает фразу: этот памятник — Герценовский институт. Представитель заводской молодежи говорит о Герцене как предшественнике всего последовавшего: «Нет у нас ни одного молодого человека, который не читал бы его замечательные произведения: „Сорока-воровка“, „Доктор Крупов“, „Былое и думы“…» Последней выступает рослая, лет пятнадцати школьница из кружка литераторов Дворца пионеров. У нее на листочке написано, что клятва на Воробьевых горах нашим ребятам понятнее и ближе, нежели сверстникам Герцена.

Школьница в крахмальном белом переднике с пелериной, с белым полубантом-полунаколкой, в прическе, сделанной, может быть, даже у парикмахера, с белым зубчатым рюшем на воротнике. Банты и рюши школьницы — не думайте, что это просто Мариинская гимназия и «Задушевное слово»; это факт гораздо более эпохальный. Одна из улыбок сталинизма, еще не стертых временем.

— «…И, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу…»

В какой, должно быть, спешке мама гладила ей этот передник. Сбоку на лоснящейся крахмальной поверхности — легкий шрам, плохо отглажено. Вероятно, она огорчилась и рассердилась, и поссорилась с мамой, и, может быть, даже заплакала, и не сомневалась в том, что все ее выступление и, главное, ее появление в президиуме совсем испорчены. Гладить же заново уже не было времени, потому что она ужасно опаздывала; хотя пришла, понятно, одной из первых.

Может быть, ничего такого и не было. Не пролились слезы на недоглаженный передник. Но если пролились — то были самым *человечественным* (как говорил Герцен) явлением в системе этого юбилея.

*1962*

## *О сатире и об анализе*

Сатира — это не то, что мне нужно. Сатира — принципиальная односторонность, принципиальная несправедливость, гиперболический и сдвинутый мир… А нужен мне анализ, целесообразность слова, точность. Главное, точность. Иногда называют сатирой — анализ, только направленный не на целостного человека, а на некоторые аспекты его бытия.

Начну с того, что я верю в возможность добра. Отвергаю наивный этический нигилизм, пошлый опыт, вообразивший, что анализ непременно приводит к пакости в качестве первоисточника любых деяний. Верю в этический акт. Но для того, чтобы этический акт мог совершиться, восторжествовав над первичными, естественными вожделениями (только просветители чтили безгрешность естественных импульсов), — необходимы основания и условия.

Есть ли вообще поступки, свободные от корысти и тщеславия? Возможен ли беспримесный этический акт? Вне экзальтации, вероятно, почти невозможен. Но не в том дело. Нам нужна не чистая культура этического переживания, но определенная направленность поступка. И критерии для нее существуют. При всем многообразии этических систем, этический акт всегда мыслится как иерархический, как пожертвование низшим ради высшего (оно и есть благо, добро; вопрос о конкретном его содержании оставим пока в стороне).

Никто ничем не жертвует зря. Человек принуждаем к жертве извне или изнутри (законами своей реализации). В каждом данном случае позволительно спросить — есть ли жертва? Есть ли основания для жертвы? Жертва должна быть ценой некой жизненной ценности. Если этого нет, то, расшифровывая данный поступок, смело спускайтесь по иерархической шкале вниз. Пустоты в этом деле не бывает; при отсутствии высших интересов действуют низшие.

Каким образом человек делает не то, что ему приятно, а совсем другое? Этика начинается с несовпадения между импульсами поведения и первичными вожделениями и отталкиваниями. Даже в биологической и полубиологической сфере, управляемой наслаждением и болью, существует уже самоограничение *чувством реальности* или расчетом — в порядке дальнего прицела. Социальный же человек начинается с сублимации, с того, что непосредственные двигатели — удовольствие-неудовольствие — замещаются интересами (учение о происхождении всеобщих интересов блистательно разработал молодой Маркс) и ценностями.

Гедонизм, утилитаризм, разумный эгоизм и прочее никогда ничего не могли понять в социальном поведении. Получалось, что человек сам шел на войну, на казнь, на каторгу, потому что это было ему *приятнее*, нежели сидеть дома со всеми удобствами. Получался психологический абсурд.

Труды и муки, смертная угроза и сама смерть — это *условие*, железное условие личной реализации всеобщих ценностей; потенциально они существуют в общем сознании, практически реализуются — единичным. Этические нигилисты не понимают законов жизни и основного из них: человек — хочет он того или не хочет — непрерывно оценивает все сущее с точки зрения общей и внеположной данному человеку. И это независимо от степени его эгоизма, от механики его собственного поведения.

Для социальной и нравственной жизни переживание ценности столь же необходимая форма, как причинность, время, пространство — необходимые формы восприятия внешнего мира. Человек может признавать или не признавать их объективность, но вырваться из них ему не дано. Человек знает, что на самом деле нет ни цвета, ни звука, ни осязаемого вещества, но жить, не видя, не слыша, не осязая, он не может, если бы и хотел.

Когда ценности не безусловны, когда человек их не в силах обосновать, они все же работают как система иллюзий. Столь мощных (они ведь условие, вне которого социальная жизнь должна была бы прекратиться), что даже умы, понимающие иллюзорность иллюзий, продолжают жить по их законам.

Впрочем, единичные умы. Ценности типового социального человека должны быть сверхличными или должны обладать огромной принудительной силой. Если нет ни того, ни другого, то этический механизм приходит в полное расстройство.

Коренной вопрос этики — обоснование акта пожертвования менее ценным более ценному. Проще всего обстоит с этим в области религиозных переживаний, не обязательно осознанно религиозных и направленных на божество, но и тех религиозноподобных переживаний любви, растворения в высшем и целом, которые сопровождали исторические движения, совершавшиеся под знаком заступничества за угнетенных. Человек происходит от обезьяны, а *потому* надо приносить себя в жертву, — говорил о людях русской революции XIX века Владимир Соловьев, с насмешкой, в которой таилось уважение.

Релятивистам жизнь предстала как непрочная связь ценностей, относительных и условных, понимаемых, собственно, как *правила игры*. Но, покуда игра идет, для играющих нет ничего, что было бы обязательнее ее правил.

Игры есть игры для взрослых только, когда им присуща

беспощадная серьезность. Относительные ценности приобретают реальность в меру давления среды, выносившей их в своем сознании. Заведомые пустяки становились атрибутом чести, заведомые условности оплачивались дуэлями или пулей в лоб. Сила давления среды определяется теми благами, которые среда может дать живущему по ее законам, тем ущербом, который она может нанести. Это реальность. А сверх того есть еще болтовня, на которую никто не обращает внимания.

Индивид очень точно отделяет словесную фикцию от этических реальностей, от условий, которые действительно ему предложены, если он хочет оставаться действующим членом данной среды. В старой армии, например, офицер твердо знал, что *не прелюбодействуй* — это церковная фразеология, а вот сплутовать в карты в самом деле нельзя: это гражданская смерть.

Что существует в общем сознании? Действительно ли оно существует? Что среда может дать и что она может отнять? Если она может отнять только путем административным — наступает царство безнравственности.

Тогда человеку в качестве источника ценностей и этических действий остается еще область индивидуально-психологическая, со всеми ее парадоксами. Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя — сердцевина этического акта). Человек в себе самом ищет то, что выше себя. Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта — любовь, сострадание, творчество, — в своей имманентности, однако, не утоляющие жажду последних социальных обоснований.

Творчество, которое не живет нормальной социальной жизнью, — это самоутешение, и самое неутешительное. К тому же творчество не всем дано, а этика для немногих — противучеловечна. К тому же любовь и сострадание должны быть воспитуемы, культивируемы, идеологически оформлены; иначе они глохнут с поразительной быстротой и исчезают с ужасной бесследностью.

Субъективно-героическое миропонимание, подвиги, чтобы доказать себе свою силу, жертвы ради реализации собственных дарований, — все это частные случаи из жизни человеческого духа. Этика как закон поведения требует норм — абсолютных или относительных, — но всеобщих и жестких.

Вне абсолютов, вне непререкаемых требований общего сознания — как возникает этический акт в обиходе обыкновенного человека? Что может изнутри ограничить (извне его ограничивают чувство реальности, страх, расчет) вожделения этого человека? Разве что этическая рутина. С детства воспитанные привычки, иррациональные остатки, потерявшие

содержание и сохранившие форму реликты прошлых моральных систем, самолюбие, естественное стремление к среднему, принятому уровню, болезненное чувство, возникающее у многих при виде чужих страданий (особенно физических), — все это образует этическую рутину, важный, положительный фактор общежития. Этическая рутина не поддается теоретическому обоснованию, но в обычных условиях человек предпочитает ее придерживаться. Ему с ней удобнее, спокойнее. В определенной среде, например, не крадут. Человек этой среды, чтобы разрешить себе красть, должен еще подумать, придумать нечто вроде домашней теории — *все дозволено*. Ибо красть просто, наивно можно только имея такую привычку с детства. Не красть проще, — подсказывает этическая рутина. Можно даже найти резоны… Вроде того, что красть *противно*. Или что не красть разумно, так как если все начнут…

Моральная рутина в высшей степени неустойчива. Она быстро приспособляется к новым соотношениям интересов, она легко уступает вожделениям и страху. Человек моральной рутины — это человек ситуаций, от самых больших исторических до мимолетнейших житейских.

Так вот, возьмите этого человека, которому ситуация не дала оснований для этического выбора между низшим и высшим, проанализируйте его не в текучей полноте его душевного опыта, но в его относительно постоянной общественной функции, — и вы получите то, что, к вашему удивлению, назовут сатирой.

Так называемая сатира получается потому, что рассмотрение отчужденных функций, во-первых, абстрагирует человека, во-вторых, дает его не изнутри, а извне. Операция эта может убить не только конкретность эмпирической личности, но и конкретность исторического деяния. Кто такой Пушкин? Пушкин, — говорила вульгарная социология, — помещик крепостной поры; то есть тот, кто архаическим, феодальным способом эксплуатировал крестьян. Пушкин в самом деле был помещик, и это даже сказалось на его отношении к разным вещам, например к русскому бунту. Но не в этом, однако, общественная функция Пушкина. Анализируя человека, надо следить, чтобы мнимые его функции не заслонили действительных. Искать же функции, механизмы, структуры мы привыкли. Это методология XX века.

Но и действительная социальная функция человека отчуждает его от личных качеств и суммирует с обладающими совсем другими личными качествами. Существует аберрация совпадения личных качеств с общественными поступками. Это наивный реализм этического мышления.

У нас, начиная с 40-х годов, это приняло форму государственного наивного реализма, в силу которого, например, все великие писатели изображались в равной мере добросердечными, и главное, целомудренными.

Нас окружают соблазны прямолинейных соответствий. Бездарные люди, занимающие место, откуда вытеснены умелые и способные, — что может быть свойственно такой общественной категории? Тупость, раздраженное самолюбие, неразборчивость в средствах (честными средствами трудно удержаться не на своем месте), зависть? Да. Но ситуация втягивает в себя многообразный человеческий материал. И в рядах узурпаторов социального положения можно встретить доброжелательных, скромных людей, отчасти преувеличивающих свои возможности (кто же в силах списать себя в человеческий брак), отчасти смущенных и резонно утешающих себя тем, что если они освободят место, то займут его не более, а еще менее достойные.

Функция человека устанавливается извне. Все знают, что есть негодяи. Они действительно есть. Но негодяйство не психологическое качество, не особое внутреннее состояние, осознав которое человек приходит к выводу: я — негодяй. Нет, это оценочная формула, которая накладывается извне на некую связь поступков. Обозначаемое этой формулой в известных условиях становится ведущей функцией (как говорил Салтыков: «Только мерзавцы на солнышке стадами играют…»).

Но изнутри человек видит другое — конкретные и разные причины таких-то своих поступков. Как к этому приходят? Одни — от бездарности и невежества, порождающих необходимость всеми силами удерживать место, которое занимать они не могут; другие — от страха; третьи — более способные — от жажды жизни, власти, удовольствий; большинство от сочетания причин. Каждый раз, в каждом отдельном случае причины, приводящие к поступку, предстают не как единообразное негодяйство, но как страх, или самозащита, или страстное желание удовольствий. То, что изнутри есть процесс, единичность и множественность, не уловимая словом, то извне — форма, сумма, название.

Конечно, человек иногда говорит о себе: я — сплетник, или: я — чиновник, но это уже в порядке кокетства, если не самоуничижения. Вообще же человек не верит, что разные импульсы разных его поступков можно покрыть одним словом.

Вот, например, — скандалист, склочник; извне это не подлежит сомнению. Но изнутри он знает, что всякий раз у него были основания для скандала, — и совсем разные. К каждому скандалу он пришел каким-то для него убедительным путем. В одном случае он протестовал против несправедливости, в другом

— не выдержали нервы, в третьем — возмутило хамство, в четвергом — он терпеть не может этого типа. И будто все это одно и то же, и все называется склока.

N. рассказал мне, как он однажды, во время блокады, ударил жену. «Всегда я знал, что есть люди, которые бьют своих жен, и что *они* ничего общего со мной не имеют. Началось это все с неправильно отоваренных карточек, с того, что дочка кричала от голода. Я ударил и хотел ударить еще раз, но споткнулся от слабости… И вообще именно с блокады я понял, что все имеют между собой много общего».

Полярный сатире психологический анализ XIX века брал человека в целом и изнутри. Без остатка детерминировав поведение, он снял с личности вину и возложил ответственность на среду, обусловившую человека. Нет ни плохих, ни хороших, — заявил психологический анализ, — не бывает храбрецов и трусов, но, в зависимости от обстоятельств, человек может быть расположен к храбрости или к трусости.

Мы больше этого не хотим. Мы — современники тех, кто бывал расположен сделать себе портсигар из человеческой кожи. Наш детерминирующий анализ имеет предел, перед которым он останавливается. У зажегших печи Освенцима и у всех им подобных нет психологии; дом их не потрясают несчастия, у них не умирают дети. Они — чистая историческая функция, которую следует уничтожать в лице ее конкретных носителей.

Ну а как же теория ситуаций? Современное этическое чувство не приемлет детерминированности в качестве отпущения вины. Ему ближе глубокие и жестокие слова Евангелия: «Соблазн должен прийти в мир, но горе тому, через кого он придет».

Если от больших исторических злодеяний обратиться к повседневному моральному блуду, то оказывается — явления качественно близкие мы практически рассматриваем то извне, то изнутри.

Д., например, рассматривается извне. Он стал уже было вполне прогрессивен. Ситуация изменилась. Его пнули и пинали до инфаркта. Он испугался и все, что из этого следует… Из фактически точных формулировок получается сатира. Но процессы очень сходные, переживаемые людьми другого разряда мы рассматриваем изнутри, и тогда получается психология, драма.

Речь не идет о неправедных и праведных (праведные не сохранились), о стоящих ошую и одесную. Речь идет о переходах, количественных или качественных — это спорно; во всяком случае, психологически зыбких.

Что могут противопоставить полуправедные неправедным?

Этическую рутину, несколько более стойкую и столь же лишенную обоснований? Может быть, способности? Творческая способность (в самом широком смысле, отнюдь не только интеллектуальная или артистическая) стала этическим фактом. Бездарный — равнодушен. Поэтому корысть, страх, тщеславие владеют им невозбранно. Способность содержит в себе возможность. Возможность порождает потребность. Жгучую потребность реализации. Имманентный человек находит в себе то, что выше себя. Любовью и творчеством он выходит из себя. И нет ничего более важного для человека. Но и способный подвластен страху, корысти, честолюбию. Этически аморфный, он вовлечен в сложное, переменное взаимодействие этих сил с творческой ценностью.

Соотношение это имеет свои типовые разновидности.

Например:

— Я всегда избегал сакральных формул. Всю жизнь я просидел из-за этого в углу (это человек большого ума и слабого жизненного напора, которому нужны обстоятельства, оправдывающие бездеятельность). Но, когда я увидел, что за это уничтожают — не только за сказанное, но и за несказанное, — я стал говорить все (притом он совсем не трус; трусы говорили все с самого начала). И еще Белинский заметил, что сила подлецов в том, что порядочные люди поступают с ними как с порядочными людьми. С ними нужно применять их же методы. Ну, не доносы, конечно, — этого мы не можем. Но хоть цитаты.

— Каждая деятельность имеет свои условия, — говорит человек другой разновидности (сильный напор, острая жажда реализации), — необходимые, заранее данные. Хочешь действовать — надо их принять. И даже вынести за нравственную скобку.

Замечу, что эта скобка прихлопнула многих.

Если сильная воля к реализации сочетается с дидактическим складом, с расположением к пафосу — возникает необходимость не только деятельности, но и моральных ее оправданий. Тут гегельянская выучка незаменима.

— Конечно, отходы истории. Много жестокого, безобразного. Но высшая историческая правда… Но всемирно-исторический гений… Но выбор между авангардом и обозом… И вообще, разговором о конъюнктурах мы злоупотребляем. Вещи предстают в разных познавательных связях. Дело не в модах и не в приказах — просто изменяющаяся современность предлагает нам разные грани истины. То одну, то другую грань.

Вариант без этического пафоса:

— Хочу реализовать мои мысли. Настоящие, стоившие всех

жертв и усилий, каких требуют мысли. Для этого пользуюсь защитными формулами. Даже не считаю их неверными. Собственно, я не лгу. Просто — это не мой язык. Это, если хотите, — стилистическая ложь.

Множество градаций. Градации внутренних состояний — от полного цинизма (хочу жить как можно лучше и, главное, безопаснее) до почти полного самообмана. Градации слов — от принципа «масло каши не портит» до стилистических самоутешений: у меня самый, ну, самый минимум — и не гениальные, а просто труды, и не указал, а сказал…

Конечно, изящество слога спасало отчасти от неизбывного срама, куда заводило сочетание страха с суконным языком.

Еще один говорит:

— Не могу без мучения перечитывать то, что тогда писал. Так вот мне казалось тогда, что мои работы очень чистые, благородные (в своем роде оно, вероятно, так и было, потому что их годами не хотели печатать); мне казалось, что почти, почти со всем, что я говорю, я в каком-то смысле почти согласен. А теперь читать это страшно. Следишь, как мысль идет, идет, и вдруг ее что-то дернуло — вывих. Вывихнуло ее словами не то чтобы лживыми (не обязательно), но попавшими сюда по другим причинам. И каждый раз у себя, у других так омерзительно точно узнаешь, как именно сработала здесь машинка.

Действовали разные силы. Заполнявший сознание страх, тот самый, что приучил многих засыпать только утром, потому что им особенно не хотелось быть внезапно разбуженными. Или вполне рационалистическая перестраховка (нет, так не пройдет; а вот так, ну, еще немножко, и уже, может быть, пройдет). Действовала всеохватывающая словесная среда; она проникала, как проникает неодолимо туземная речь в сознание иностранца. Как ни странно, действовала своего рода добросовестность, человек вдруг говорил или писал именно то, чего от него ожидали. Ему смутно при этом мнилось, что иначе он обманет работодателя.

— Читаешь лекцию, — говорил N. N., — и совсем неожиданно, без подготовки выскакивает у тебя формула, ссылка, цитата. Совсем это не обязательно. Но какой-то гипноз. Но по глазам видно, что именно здесь они этого ждут. Получается — взялся за дело, и сделал не то. Неловко.

Это продуктивные, те, кому нужно реализовать свою мысль. Ну, а те, кто без мысли? Для кого это все только заработок, карьера, способ отсидеться? Для них — масло каши не портит. И у них даже был свой азарт прямого попадания в директиву. Бутафорской стрельбы по условным целям — как в тире.

Где границы психологических переходов? Где количество переходит в качество, где кончается анализ и начинается сатира?

Это еще о словах. Но были и дела. Они тоже имели свою шкалу. Молчать, голосовать, отмежеваться, осудить, — утешая себя тем, что все равно это ничего не меняет, практически не повредит… До этого предела мы анализируем изнутри — так, что ли? За этим пределом не утешаются тем, что это не повредит; еще немного — и с удовольствием вредят… И это мы рассматриваем извне. А ведь можно продолжить и рассмотрение изнутри.

Можно изобразить, например, как проработчики 49-го года после проработки возвращались домой и, хватаясь за сердце, говорили своим женам:

— Вымотало меня вконец. Ты не можешь себе представить… Вся эта свора, всю жизнь они нас топтали; трусы, теперь юлят, предают… Хоть бы один человек нашелся. Я всегда говорил…

Или можно, например, рассмотреть изнутри, как Д. начал вредить; вернее, как возобновил причинение вреда, после того как некоторое время был хорошим. По ходу одного из острых проработочных рецидивов он был проработан за одобрительную рецензию на книгу, которую не следовало одобрять.

И вот наступила ночь. Он не спал. Тихо звякала рюмка с микстурой; подушка была горячей и — как ни поверни ее — неудобной. В глубине тошнотворно замирало сердце. И в бессонной ночи начинается внутренний монолог:

— Ужасно, ужасно. Ведь они убьют. Еще раз — и непременно убьют. Ну, мы прорабатывали когда-то. Правда. Но разве мы убивали? Собственно, людям мы не хотели зла. Это было чисто идейное… Вон сердце опять куда-то уходит… И зачем я ввязался? Ну, не все ли равно. Я при чем. Слова, слова, слова… А тут жизнь — единственная, другой не выдадут. Только бы выбраться, выбраться — и я все прекращу. И я скажу все…

Хватит! Этот психологический роман уже написал девятнадцатый век. А дописал Горький «Караморой». «Ведь мы — чтобы жить, человек — чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?»

В «Караморе» неправедные показаны изнутри. Как же быть с полуправедными? Психологические границы оказываются зыбкими, этическая рутина текучей. А граница все-таки есть — граница взятой извне социальной функции. По одну ее сторону стоят люди мысли. Она не была ни свободной, ни чистой, ни гордой. Но она была — когда все вопияло о ее донкихотской ненужности. Мерили ее мерой жизни, чести и хлеба. Об этом написано:

Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей…

Сам лишился, а до людей донес. Вот и выполнил свою функцию.

## *«Пока не требует поэта…»*

Ахматова говорит, что стихи должны быть бесстыдными. Да. Но, быть может, поэты должны быть застенчивыми.

Что делать Пушкину? По своему историческому самосознанию он был русским джентльменом; и он спустил бы с лестницы всякого, кто без спросу сунулся бы в его частные дела. Но вот он, порядочный человек, — в пушкинском, дворянском понимании этого слова — всенародно рассказывает о том, как он плачет, или целует женщину, или как ему больно жить. Еще добро бы слезы и пени, как прежде, принадлежали бы жанру, а человек сам по себе. Но Пушкин именно тот, кто постепенно отделял лирический материал от жанра и передавал его человеку.

Из этой неловкости возникло «Пока не требует поэта…». Потом возник Чарский, чей разговор был самый пошлый. Джентльмен Чарский, объедающийся на дипломатических обедах, нужен для того, чтобы прекрасный его двойник мог говорить о своих муках. Чарский стережет вход в царство *другого* слова, где нет стыда и тайны принадлежат всем.

В стихах переключение происходит автоматически (лирическая же проза — род литературы самый рискованный, подстерегаемый многими соблазнами). Искони словесное искусство — поэзия. Чтоб не было никаких сомнений. Только конец XVIII века, с его *обмирщением искусства* (Гегель), канонизировал прозу. Тогда начались неясности, и Чарский стал особенно нужен. Чарский — это «хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана…».

У Тютчева, например, в этой функции его светское дилетантство, изученное презрение к своим стихам. После смерти Денисьевой он писал Георгиевскому, ее родственнику: «Вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимопоэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных… Вы знаете, она, при всей своей поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во

всеуслышание… Вы меня поймете, почему не эти бедные, ничтожные вирши <среди них — „Весь день она лежала в забытьи…“>, а мое полное имя под ними я посылаю к вам… для помещения хотя бы, например, в „Русском вестнике“».

Блок так много о себе сказал, что ему необходимо было укрыться от мистических буффонад друзей, провозгласивших вселенское значение Любови Дмитриевны, от фамильярности литераторов и любопытства читающей публики. У него были разные заслоны; в их числе — педантичность. «В комнате и на столе, — рассказывает Чуковский, — у него был такой страшный порядок, что хотелось хоть немного намусорить… Вещи, окружавшие его… казалось, сами собою выстраивались по геометрически правильным линиям… Портфелей он не любил и никогда не носил, а все рукописи, нужные для заседаний, обертывал необыкновенно изящно бумагой и перевязывал ленточкой. Все письма, получаемые им от кого бы то ни было, сохранялись им в особых папках, под особым номером, в каком-то сверхъестественном порядке, и, повторяю, в этом порядке было что-то пугающее».

Этот леденящий порядок, очевидно, тоже заграждал вход.

Джентльменство отличало Тютчева от романтиков, Блока от символистов. Романтики спутали жизнь с искусством (неслиянное и нераздельное); поэтому они были абстрактны в стихах, а в жизни бесстыдны. Переписка друзей Станкевича исполнена признаниями, по сравнению с которыми эпистолярная похабщина людей пушкинского круга кажется нам первозданно простодушной. Когда Белинскому все это стало надоедать, он заявил, что Мишель несносен тем, что с одинаковых позиций рассматривает достоинства холодной телятины и учение Канта о категориях познания.

Романтики расщепили бытие на идеальное и реальное. Но они хотели, чтобы *та же* личность, качественно не изменяясь, восходила и нисходила от реального к идеальному и обратно.

Герцен хотел подвергнуть суду международной демократии Гервега в качестве любовника своей жены. Романтизм спас Герцена от дуэли. Пушкин же по складу своему был классик, и, как все классики, — формалист в делах чести.

Символисты пытались обновить романтическое сознание, воспроизвести жизнетворчество. В XX веке жизнетворчество настолько было неуместно, что символисты сами осмыслили его как мистическое шутовство, буффонаду.

Что же касается нас, то мы устали и мы слишком всегда спешим, чтобы заниматься чем-либо подобным.

Мысль логическая и мысль поэтическая — это борьба с

небытием и бесформенностью. Условны поэтому усилия искусством ловить неуловимое; в том числе, например, *поток сознания*. Попытки ввергнуть искусство обратно в хаос, противный его природе победителя хаоса, обличают слабость теоретических предпосылок. Искусство — это *другое*, потому что неопосредствованное дологическое и доэстетическое переживание жизни есть неразбериха из элементов разного качества, а искусство — организация и единство материала.

В предисловии к «Возмездию» Блок сказал о «нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики». На искусство работает не весь человек, но лишь некоторые функции человека. Некрасов в быту был картежник и покровитель красивых женщин, но то, что он писал о горе народном, было его реальным духовным опытом. Народолюбивые же имяреки — иногда просто врут. Сравнив результаты, можно измерить разницу.

Чтобы понять отношение между литературой и жизнью, надо отделить реальность духовного опыта (здесь требования, предъявленные художнику, неумолимы) от растяжимой эмпирии данных житейских ситуаций.

Есть сюжеты, которые не ложатся в прозу. Нельзя, например, адекватно рассказать прозой:

Человек непроницаем уже для теплого дыхания мира; его реакции склеротически жестки, и о внутренних своих состояниях он знает как бы из вторых рук. Совершается некое психологическое событие. Не очень значительное, но оно — как в тире — попало в точку и привело все вокруг в судорожное движение. И человек вдруг увидел долгую свою жизнь. Не такую, о какой он привык равнодушно думать словами Мопассана: жизнь не бывает ни так хороша, ни так дурна, как нам это кажется… Не ткань жизни, спутанную из всякой всячины, во множестве дней — каждый со своей задачей… Свою жизнь он увидел простую, как остов, похожую на плохо написанную биографию. И вот он плачет над этой непоправимой ясностью. Над тем, что жизнь была холодной и трудной. Плачет над обидами тридцатилетней давности, над болью, которую не испытывает, над неутоленным желанием вещей, давно постылых.

Для прозы это опыт недостаточно отжатый, со следами душевной сырости; душевное сырье, которое стих трансформирует своими незаменимыми средствами.

В старости не следует (по возможности) бояться смерти, потому что из теоретической области смерть перешла в практическую. В старости нельзя жаловаться, потому что кто-нибудь может в самом деле пожалеть… Нельзя опускать руки, потому что в старости это жест чересчур естественный.

Мы завидуем молодости — нет, не ее весельям. Молодость мы испытали в свое время и знаем, как она нерадостна и пустынна. Мы завидуем праву ее на страх, на чужую жалость, на глупость, на слабость и слезы в ночи… Ей можно, потому что где-то, на большой глубине, она не уверена, что все окончательно и всерьез. Неуверенность эта прокладывает тайные, путаные пути даже самоубийству; статистика ведь свидетельствует, что самоубийцы в большинстве своем — молоды.

Вот какие права дарованы юности. Мы же, если хотим жить, должны быть очень бодрыми и гордыми.

Сизая Нева медленно шевелится в своем граните. Легкий ветер над тяжелой водой. Безвозрастный ритм дыхания, шага и дыхания.

Бывают сейчас состояния, странно похожие на воспоминание юности; но это не воспоминание… Какая-то обнаженность, молодая беспощадность сознания или *последняя прямота*. Торжественное стояние перед лицом еще не распахнувшейся жизни или перед придвигающимся концом.

А в промежутке — чего только не было. Вспышки невозможного счастья и бухгалтерски точные, до скуки предсказуемые катастрофы. Неблагословенный труд. Безмолвствующий страх. И попытки жить не как люди живут, и опыты — быть как все. Хотя жить не как все — это не способ жить, а быть как все — вовсе не материал для опытов.

*И возненавидел я весь труд мой,*
*которым трудился под солнцем,*
*потому что должен оставить его*
*человеку, который будет после меня…*
*И обратился я, чтобы внушить сердцу*
*моему отречься от всего труда,*
*которым я трудился под солнцем…*

*Екклесиаст 2, 18, 20*

К тому, что сказал Екклесиаст об абсурде жизни и абсурде смерти, все последующие принципиально нового прибавили удивительно мало. А всё продолжали и продолжают свои вариации, потому что очень уж припекает.

Важна еще, впрочем, поправка Паскаля: если всмотреться, это так ужасно, что непременно, безотлагательно нужен бог. Слишком ужасно, чтобы выдержать. Выдержать без бога могут уравновешенные, заведомо убежденные в его несуществовании (нас таких много). Не такие мощные, как Толстой, не такие нервные, как Паскаль или Шестов. В Толстом соединилась мощь духовная с чувственной. И, при личной его высокой храбрости, он тем самым был подвержен двойному страху; потому что интеллектуальные люди боятся небытия, а чувственные — умирания.

Давнишняя запись разговора с Сашей о старости. Моя оптимистическая (относительно) теория — до конца работающих механизмов иллюзии. Вот автоцитата:

«…Все мы зажаты механизмом ценностей или иллюзий, работа которого прекращается только с физическим или психическим распадом личности. Механизм приводит в действие вожделения и обиды, суетность и творческую страсть. Молодому кажется, что в шестьдесят лет это уже невозможно, шестидесятилетнему кажется, что ему еще можно, но вот в восемьдесят лет это, действительно, странно… А в восемьдесят лет человек с небывалой силой хочет быть избранным в академики… Кара, придуманная для смертников, и состоит и том, что их ставят в условия принудительной, непрерывной

сосредоточенности на предстоящей казни; тогда как люди всех возрастов обычно живут по законам отвлекаемости и вытеснений».

Прошло несколько лет. И вот оказалось, что нельзя положиться на собственные свои механизмы. Что обязательность писать (винт, на котором сидело все рассуждение) ни из чего, собственно, не выводима. В особенности это относится к произведениям, оставляемым «человеку, который будет после меня…» — в ненапечатанном виде.

Сен-Симон в старости создавал свое огромное творение, зная, что никогда не увидит его в печати. Но Сен-Симон был настолько человеком объективных связей, что для него это просто не имело значения. Для него существование в боге, в будущих поколениях своей касты, в своих наследниках, продолжателях рода — было абсолютной реальностью.

Но в стол писали и мы. В столах наше творчество превращалось из раннего в зрелое, из зрелого в позднее, в особенности из нужного в ненужное. Я-то знаю, как молодые пишут в стол. С надеждой, конечно. Но главное не надежда даже, а темная уверенность в том, что все пригодится, что это опыт. И самое прекрасное, что не знаешь, для чего именно понадобятся эти слепки любви и боли, победы и унижения, — потому что еще не знаешь, что ты можешь и чего не можешь написать. Это совсем не то, что писать в стол для посмертного собрания неизданных сочинений. Потому что идея посмертного успеха имеет в себе нечто крайне раздражающее. «Наплевать!» — говорит человек, хотя ему же почему-то не наплевать на перспективу своего посмертного поношения.

Итак, ненадежным, необеспеченным оказалось самое решающее — обязательность действия (хотя бы психологическая, субъективная). Действовать, впрочем, продолжаем, потому что работает потребность приложения еще не иссякшей энергии, автоматически приводя в движение смолоду освоенную модель человека, который должен сделать все, что может сделать (модель эту придумал еще Гюйо).

Мы — атеисты, — конечно, всю жизнь говорим о бессмыслице. Но это мы говорим, чувствуем же ее только припадками. А теперь бессмыслица стала незатухающим переживанием, свинцовым психологическим фоном.

— А кто говорил, что жизнь прекрасна? Не только ужасна, но прекрасна?

— Да. Но свинцовый привкус у меня не проходит.

— А ведь будет хуже. Пожалеешь о том, что не радовался, пока можно было дышать, и смотреть, и думать.

— Пожалею.

В молодости мысли о смерти бывают остры, но есть в них теоретическая неторопливость. Кажется, что каждый должен решить для себя вопрос, что решение это определит склад предстоящей жизни. Потом вдруг оказывается, что жизнь и так в основном прошла (*остаются только детали*, как сказал, умирая, Кузмин), худо ли, хорошо, обойдясь без решения вопроса.

Это дело теперь практическое — с того момента (есть такой возрастной момент), как обозначилась черта, за которой уже никак не скажешь: *успеется, мы еще в этом разберемся*; а пока еще можно, на всякий случай, жить так, как если бы все это имело смысл.

Настоящая молодость — «блистательные туманы». За упомянутой же чертой, напротив того, лежит зона отвратительной ясности — всего, вплоть до столько раз виденной похоронной возни. Так и видишь, как из соответствующего бюро звонят N. N.-у, что надо, мол, что-нибудь сказать, выступить, и N. N. сначала отказывается, а потом соглашается и составляет конспект, который можно предсказать с большой степенью приближения. Уехать бы своевременно из родного города, чтобы не знать, по крайней мере, все ноты. Заметьте, когда человек в свое время знал, какую и как над ним пропоют панихиду, это не было ему противно; скорее, даже успокоительно.

За упомянутой чертой откладывать мысль о смерти больше некуда, но жить, не расставаясь с этой мыслью, нормальному человеку не свойственно. У тех, кому не даны абсолютные смыслы, откладывание сменяется отвлечением. Отвлекаемость человека обеспечена его потребностями и способностями, тщеславием и самоутверждением.

Отвлекаемость осуждали. С религиозной точки зрения ее осудил Паскаль. Хайдеггер в повседневном *бегстве от смерти* видел подтасовывающую деятельность возведенного им в символ неопределенного местоимения «Man» (man stirbt)[19]. Но «Man» (безлично-общее), дающее нам язык и культуру, дает и возможность жить, зная о смерти и не веря в бессмертие. Социальный человек в процессе своей социализации (то есть обучения у «Man») приспосабливается к этому знанию, как он приспосабливается, по возможности, ко всему, мешающему жить. Труднее всего вынести знание срока или ежесекундную возможность гибели. Хладнокровие в бою, перед казнью, перед дуэлью расшифровывается как мужество, беспечность дряхлой старости, болтающей о том, о сем, — как малодушие.

Страшный прообраз этих соотношений — камера смертников, о которой мне рассказывал М.; случилось так, что он провел там

несколько дней, хотя и с другим приговором. Считалось, что на расстрел уводят только ночью. И по ночам они метались, не спали или бредили. А с рассветом наступала дневная безопасность, начиналась какая-то повседневность, с разговорами, песнями, бранью, спорами из-за миски каши и окурка. И так до вечера.

Отвлекаемость существует на разных уровнях. На высшем — творческом, с его принудительностью и самопроизвольной постановкой целей. На уровне профессиональных интересов, деловых, бытовых, семейных задач, потребностей деятельности и самолюбия.

Между прочим, общественное мнение ничего не прощает старости — ни общительности (старческая суета или старческая болтливость), ни влюбленности (старческая эротика), ни хорошего аппетита (старческое гурманство). Прощается только высшая духовная деятельность — светский эквивалент спасения души.

Наконец, третий уровень — это уже отвлечение в чистом виде, когда человек занимает себя едой, телевизором, хождением в гости.

Любой разговор о смерти содержит оценку жизни. Проблема смерти всегда есть проблема жизни, и даже Уже — проблема образа жизни (об этом «Смерть Ивана Ильича»). Вот почему мы охотно подменяем недостаточность жизни неизбежностью смерти (оно безответственнее). Там, где мы хотим видеть последнее, необратимое равнодушие, — может быть, жизненные импульсы действуют лишь с недостаточной силой.

Вот человек, прогуливаясь, размышляет — в который раз — о том, что довольно, что все уже все равно. Но в этот самый момент он, скажем, поскользнулся и сломал ногу. Или, напротив того, в этот самый момент он узнал, что ему дали Нобелевскую премию, что он избран в академики, что у него родился внук…

Счастье — это когда не спрашивают «зачем?» (пусть этот пресловутый вопрос с годами звучит все настойчивее). Это единственное точное определение счастья можно найти в «Пире» Платона: «И незачем спрашивать — почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть».

Неистребима в хладеющем человеческом сердце непосредственная реальность страдания и радости. Но она должна быть реальностью. Безрадостную жизнь (это случается и в сорок, и в двадцать лет) мы спутали с приближающейся смертью. Они подменяют друг друга, и трудно уже разобраться, куда принадлежит тот или иной оттенок депрессии. Мы констатируем: «Ага! Значит, система иллюзий работает, примерно, лет до

семидесяти, после чего она недействительна». Но для системы иллюзий нужна жизнь, способная предложить иллюзии. Биологический факт смерти, философская идея смерти имеют свой социальный коррелят.

Мое поколение в молодости видело людей, служивших целям, которые были им дороже жизни, своей и чужой. Оно прошло потом через пустыню страха (там, впрочем, образовалась своя повседневность с хождением в кино, поездками на дачу и научными интересами) и слепого желания выжить, которое обеспечивает спасительную непрерывность разрешаемых задач. Потом мы посильно участвовали в ренессансе, а в 70-х годах дожили до общества потерянных целей.

Очень хорошо, когда в образовании ценностной сферы участвует безусловное. Но достаточно для этого и такого-то количества людей (среда), убежденных в том, что данная сфера существует. И тогда все, что относится к ней, насыщено интересом, значением, спорами, восхищением, завистью. Все очень важно.

Пока существовал Институт истории искусств, было крайне важно, не для специальной работы, а для жизни, решить — что́ есть пиррихий? Об этом разговаривали до света. Пока существовал балет и балетоманы, захватывающе важным было, как и сколько раз повернется Дудинская вокруг своей оси. Напрасно в свое время смеялись над дискуссиями о том, курил ли Пушкин. Существовал тогда Пушкинизм — ценностная ориентация богослужебного типа; и каждая частица священного — подобно частице мощей — не могла не быть в равной мере священной.

Вступающие в жизнь подключаются к тем или иным ценностным сферам. Это акт социально обязательный; ситуация, обстоятельства, психологические данные определяют выбор в ограниченном кругу возможностей. А потом участники бывших культов с тщетным усилием силятся вспомнить то душевное состояние, которое превращало в систему символов наборы самим себе равных вещей. Все то же поколение присутствовало на своем веку при распаде множества ценностных ориентаций, от самых больших, глобальных, до очень малых, но в своем роде действенных. Мечтания 20-х годов и действительность 30-х, и кино, и стихи, и формальный метод, и потом движение 50-х годов, структуралисты… Какими завалами асимволических, размагниченных вещей откладывается прошлое! С. говорил мне: вы перестали слышать стихи; вы не замечаете этого, потому что все перестали слышать.

И не только стихи. Покуда готовилась и писалась последняя

книга, все другое на несколько лет было отложено, в том числе эти записи. Считалось, что мои читатели меня подождут. Но сейчас, возобновляя работу, вижу, что читатели психологически меня не дождались. Они перестали быть ценностно ориентированной средой, а каждому в отдельности уже неинтересно. Чтобы как-то держаться, литература сейчас должна быть номенклатурной: классика, современная печатная продукция, оформленный самиздат.

Но не это моя тема. Моя тема: как человек определенного исторического склада подсчитывает свое достояние перед лицом небытия. Положим, его книги читают и цитируют. Но эти цитаты — обрывающиеся нити. Нет связей, готовых для приема новой мысли, и потому она не работает, — как работала в нас мысль наших учителей, доходившая самым главным, искавшая немедленного применения.

Ему говорят, что он имеет успех. Но в бессвязном обществе успех бывает бессвязен. Так что успех сам по себе и человек сам по себе. Он где-то там у себя живет как может, и иногда до него доходит слух о его успехе. От слуха пробегает мгновенная тень удовольствия, столь мимолетная, что ее даже трудно узнать. Притом запоздалый успех безрадостен. Его всегда мало. Потому что любая его ступень — это ступень, которая давно уже должна была остаться позади. Несвоевременный успех раздражает, но еще больней раздражало бы его отсутствие.

С таким достоянием как сопротивляться небытию? Как, не любя, сопротивляться?

В любви именно величайшая сила сопротивления, потому что любовь есть та непосредственная реальность, которая тоже не знает вопроса — «зачем?». Но любовь, всякого рода любовь, иссякает вместе с ожиданием. Без ожидания — счастья или катастрофы — от любви остается тягомотина, годная только для вялых душ.

Человек уже не любит. Но так страшно остановить механизмы. И он проделывает все для порядка. И на всякий случай. Все, что нужно для деятельности. И он по-прежнему знает толк в явлениях мира, достойных любви и восхищения.

Только бы не остановиться…

*1973*

А. прочитал последний опус. Совсем не заметил тему смерти. Бросился на тему бесцельности. Хорошо, конечно, что каждый находит для себя тему. Так начался любопытный разговор — ближе всего ему мысль о необязательности писать. Писать необязательно и очень противно. Но жизнь уже устроилась так,

что не писать нельзя. Ну, разные издательские авантюры — что-то заключается, перезаключается, переиздается, получается аванс, аванс засчитывается под другой договор, и прочее.

— Хорошо, авантюры авантюрами, а жить, не пиша, вы можете?

— Нет, конечно. Но очень бы хотел. Я, понимаете, уже раз навсегда так устроен. Но хотел бы всерьез жить без этого…

Это происходит распад писательского опыта. Были писатели настоящей жизни (Толстой — офицер, помещик, педагог, семьянин). Были писатели, замкнутые литературными отношениями; и это тоже был опыт, потому что литература — это тоже была действительность своего рода.

Теперь же многие остались без опыта — нелитературного и литературного. Они отделываются от своих профессий поспешно, при любой возможности; и давно перестали жить — как люди живут. Литературный же процесс у них подменен.

У поэта питающая его система устроена несколько иначе. А прозаику (талантливому) часто писать нечем.

## *Вариант старой темы*

Что так оно именно будет, было мне известно заранее, со свойственной мне мучительной точностью. Много раз испытанная послерабочая тоска… Но сейчас — как и следовало ожидать — это, собственно, даже не тоска. Тоска больнее, труднее, но это хуже — двигатель выключается; мысли не хотят приходить в голову. Так что все, написанное мною о старости, было всякий раз забеганием вперед. Мы вообще смолоду и потом всю жизнь забегаем вперед, толкуя о неконтактности, о равнодушии. И с каждым последующим опытом предыдущий кажется только наметкой. Я и сейчас забегаю вперед — и так до самого последнего конца.

Ново же то, что нет теперь чувства временности, остановки. Это обрыв, по крайней мере, одной из двух жизненных нитей. Полвека (уже больше) я веду двойной разговор — о жизни и о литературе. Полвека длится двоящееся беспокойство: когда о литературе — значит, занимаюсь не главным делом; когда о жизни — занимаюсь нереализуемым.

Разговор о литературе питался когда-то молодым пафосом ученичества, потом волей к исследованию. В невылазной, все затопившей на этом участке скуке (после 30-х годов) развилась постепенно неприязнь даже к самому этом слову — *литературоведение*[20] (что-то в нем есть ханжеское). Неприязнь,

облекавшая обиду: зачем паразитировать на чужом понимании жизни тому, кто может сказать о своем?

Паразитирование же нужно, потому что реализуемо. В жажде реализации сходятся суетность с правдой глубинного социального инстинкта. Но, кажется, больше уже не могу. Ум еще действует, но сорвана рабочая эмоция — как срывается голос. Эмоция, без которой и самому рационалистическому человеку невозможно решить даже самую аналитическую задачу.

С прекращением эмоций я тоже давно забегаю вперед. Как будто отказываешься от любви впрок — и отказ становится все буквальнее, все тотальнее. Но и сейчас это еще не все.

Рядом с разговором о литературе был всегда запасной выход разговора о жизни. Но я нащупываю его в страхе, и не могу найти. Исход был, пока было тайное, лукавое ожидание, что все непременно еще пригодится, войдет материалом в еще неизвестную биографическую связь. Теперь уже знаю, что о жизни пишу в никуда. А посмертные жанры меня не прельщают. В представлении о загробной известности есть что-то душемутительное.

Смертен не только писатель, смертен и читатель, и с каждым кончается сознание, вмещавшее произведение. Для произведения, ведущего нормальное печатное существование, это не важно. У него есть суммарный, абстрагированный читатель, представимый, но незнакомый и временем не ограниченный. Другое дело — кустарные читатели ненапечатанного. Десять человек знакомых, и каждый из них невосполнимый носитель произведения. Он конкретен, и с его уходом всякий раз исчезает произведение. Приходится начинать сначала.

Лет пятьдесят тому назад — привычное пробуждение в комнате, где беззвучно стоял темный декабрьский воздух. Мне казалось: это мир меня никуда не зовет. Потом пятьдесят лет проходили своей чередой. Звали меня разные дела и разные люди. Опять в комнате оцепенелый декабрьский свет, и утренние мысли о том, как не хочется делать все, что буду делать — вставать, одеваться, есть, гулять, писать… Но без этого оставалось бы не шевелясь вглядываться, ждать без движения. От действия к действию ведет не потребность, ищущая удовлетворения, а защитный рефлекс, — плохая защита от зажавшей сердце бесцельности.

Пока есть чувство судьбы, биографически ответственной личности — интеллектуальные задачи требуют решения. Духовная жизнь изнашивается, и нерешенные вопросы перестают беспокоить. Оказывается, можно жить и в особенности умирать с нерешенными вопросами. В молодости мы, к счастью, не знаем об

этом.

Зачем же я вот сейчас, в это именно мгновение, держу перо и пишу?

Кроме отношений с богом, все остальное, согласно Паскалю, только отвлечение, развлечение — divertissement[21]. Голое, предназначенное к уничтожению существование и отвлечение от него. Выносимо ли существование в чистом виде? — смотря по тому, как это повернуть. Непостижимый дар жизни; самый факт жизни — удивление и счастье. Другой поворот: страх перед голым, непонятным и смертельным существованием (этот тошнотворный ужас описан Сартром в «La Nausée»).

Отвлечения человеческие располагаются на многих уровнях — от обжорства до философствования. Некоторые отвлекаются на уровне писания, потому что другие уровни для них неадекватны; они не утоляют щемящее, похожее на раскаяние беспокойство о зарытом таланте.

Человек отвлекается, потому что иначе ему остается нестерпимое, попросту невозможное, чистое ожидание конца. Он знает это, знает все (впрочем, может быть, ничего не знает), тем не менее хлопочет над неприменённым талантом. Это цепкая инерция огромного, принудительно действующего механизма потребностей, интересов, ценностей, к которому мы приделаны намертво. Только безумие, животный распад сознания может нас увести от всего надстроенного над темной биологической сущностью, — от культуры, от социума с его ценностями. Субъективными? Да, для атеистического сознания. Когда ценности объективны, человек уже не атеист; это, конечно, не значит еще, что он уверовал в бога.

Осознанные иллюзии едва ли не самые прочные, потому что им не угрожает разоблачение. Аналитический ум постиг тщету, но не может одолеть иллюзию, которую видит насквозь и понимает все ее уловки. Разрушительный разум в печальной и тщетной борьбе с навыками ценностных представлений, внушенных нам еще первой детской социализацией. Разум твердит о том, что писать уже не имеет смысла, а синхронно решает задачу — как бы получше написать о том, что писать не имеет смысла. О, проклятый замкнутый круг эгоцентрического сознания!

Но потуги эгоцентризма побеждены культурой и социумом, — живые и мертвые, мы идем им на потребу. Все это смахивает на кем-то поставленный эксперимент.

Волей-неволей мы служим культуре и социуму, хотя с эгоцентрической точки зрения столь же мало можем объяснить их смысл, как и свой собственный. Какое странное слово смысл,

когда оно превращается в смысл жизни. Его невозможно, собственно, объяснить посредством других понятий. Можно его описать с помощью вопросов: «А зачем?», «Ну и что?», «А что дальше?». Вопросов двуступенчатых: зачем созидать нереализуемое? — подход эмпирический; зачем реализовать даже реализуемое? — подход умозрительный. Любовь и счастье устраняют вопросы. Толстой говорил: бог есть любовь; можно сказать: любовь есть смысл. Непосредственная, непереводимая достоверность, дальше нерасчленяемая. Признак смысла и есть неприменимость вопроса: «А зачем?»

Но любовь к отдельному человеку непрочна и подвержена неудачам. Она имеет конец и потому несет в себе потенцию вопроса. Об этом у Кушнера: «Ну что тут такого — любил и любил…»

Любовь к богу (пусть сотворенному человеком), напротив, не рассчитана на конец. Трехмерное бытие имеет тогда обеспеченный верой смысл испытания, приготовления к бытию иной модальности, не отвечающему на земные вопросы.

Всеобщие ценности — родина, народ, гражданская свобода — тоже предмет веры. Это на уровне абсолютов; на эмпирическом уровне смысл — понятие иерархическое и структурное. Факты разрозненные не имеют для нас смысла. Они должны быть в системе. И ближайшая система должна быть включена в следующую — более общую и высокую. И так далее.

Классический пример отсутствия смысла — это бытовые дела. Мы тут созидаем порядок, чтобы его разрушать, производим движения, чтобы стоять на месте. Нет, кажется, лучшего символа бесцельности бытия, нежели мытье посуды.

Зловреднее всего бытовые дела, самодовлеющие и осознанные. Выход из тягомотины — в освобождающую сознание автоматизацию действий. Другой выход — в высшую структуру. Скажем, в идею семьи, или ублажения любимого человека, или собственного жизнеустройства. А зачем жизнеустройство? Затем, что оно входит в избранную таким-то модель личности. А зачем?.. И так далее. Пробегая иерархический ряд, можно дойти до структуры абсолюта, чью абсолютность удостоверяет вера. За эту черту вопрос «Ну и что?» не переходит. Я тоже ее не перехожу.

Паскалевскую идею отвлечения от ужаса бессмыслицы с гиперболической буквальностью изобразил Беккет. Его люди редуцированы физически и духовно. Живого от мертвого отличает только способность говорить, последний социальный акт — безответной, беспредметной, бесцельной коммуникации. Редукция у Беккета — символ одиночества. Одиночество — это когда твою жизнь никто с тобой не разделяет. Оно тоже бывает в

разной степени буквальным. Происходит скольжение от небуквального к буквальному. Один из симптомов настоящего одиночества — отвращение к контактам. Бывает одиночество, случившееся извне, — тогда отвлечение помогает. Но при одиночестве как внутреннем состоянии безлюбовности отвлечение не действует или действует механически (заполняя время) и механичностью раздражает. В состоянии одиночества одни ищут общения, отвлечения, другие — уклоняются от общения (от его неадекватности), третьи общаются для порядка. Известность, вплоть до славы, — своего рода общение. Очень соблазнительное, потому что честолюбие, славолюбие обладает тоже прямой психологической достоверностью. Но без выхода из себя (основное определение любви), — следовательно, неполноценной.

Успех имеет множество градаций по непосредственности контактов. Успех лектора, читающего с эстрады поэта, актера — материализован, измеряем аплодисментами. Существуют далее многие виды общения созидателя со своим потребителем. Наконец, заочный успех, также доходящий порой до буквальности. Эта разновидность мною изучена. Бывает и так — человек может знать, что где-то кто-то читает то, что он пишет, что написанное ведет свою какую-то жизнь. Но его ежедневное существование имеет с этим мало общего. Иногда полуслучайно разрозненные сигналы признания доходят из этого социального мира, — подтверждая его к нему принадлежность. Сигналы доходят и быстро затухают, оставляя чувство удивления.

Вообще успех — в отличие от любви — можно выключать и включать опять. И в отличие от любви он допускает вопрос: «Ну и что?» Он даже требует этого вопроса. Честолюбие неутолимо в еще большей мере, чем другие страсти. Достигнутого всегда мало, последующее всегда должно быть больше предыдущего. Достигнутое только мгновенная вспышка удовольствия, гаснущая сразу. В старости без успеха плохо. Но прекрасно честолюбие только в молодости, когда оно неизвестность, обещание и надежда. В старости успех не помогал и самым прославленным. Е. В. говорит: «Каждая жизнь кончается у разбитого корыта».

Неблагополучно даже с великими старцами, чей конец — обоготворение и апофеоз. Гюго на девятом десятке продолжает принимать, заседать, выступать и обольщать женщин. Восьмидесяти трех лет, за месяц до смерти, отметил в записной книжке любовное свидание. Очень уж суетливый апофеоз. Похоже на отвлечение.

Последние годы Толстого обезображены семейной распрей, глупостью толстовцев, мучительным несовпадением слов и дел,

вызывавшим пакостные попреки.

Но вот Гете, совершивший в пределе земном все земное, казалось бы, покоящийся в олимпийском великолепии и совершенстве. Но прочитайте внимательно Эккермана, — вы увидите, что божественный Гете страдает комплексом неполноценности. Он обижен романтиками, недостаточно покорными. Он посмертно завидует Шиллеру, его власти над молодыми умами. Очень много он говорит о том, что ученые не признали его теорию цвета; и теория цвета для него — как всегда в таких случаях — важнее «Фауста». Он уязвлен отношениями с герцогом, который, соблюдая все церемонии, показал все же, что может без него обойтись. Обходится без Гете даже веймарский театр, некогда созданный его усилиями. Его тревожит то, что для вольнодумцев он ретроград (то ли дело Шиллер!), слуга одного из бутафорских немецких монархов.

Ко всем этим темам Гете возвращается с упорством неудачника, а Эккерман делает свое дело, не подозревая, что благоговейно записывает речи о разбитом корыте.

Но Гете в самом конце написал вторую часть «Фауста», «Поэзию и правду». Значит, победил, — избежал смертельной старческой болезни разрушения импульсов.

Перечитываю N. Интересно, но что-то мешает. Может быть, злоупотребление правом и обыкновением каждого мемуариста быть собственным положительным героем. Модель — человек огромного витального напора, неистребимой жадности и любви к жизни, при любых ситуациях. Смерть не страшит. Смерть не инородно враждебна жизни, она ее атрибут, обязательная принадлежность, она входит в понятие жизни. Истинный жизнелюбец должен принять все, что входит в понятие жизни.

Движущий мотив этой книги — сказать, что на старости лет автор не у разбитого корыта. Старость — умудренность, освобождение от страстей и заблуждений. Не страшна смерть, одиночество питательно (одиночество, замечу, относительное — в кругу друзей). Каждая вещь мира сего содержит тайну счастья. Надо только уметь разгадать.

Прекрасная модель. Она была задумана для стареющего Гете. Но вот у Гете не получилось, а получилось у И. — Подозрительно.

*1978*

## *Разговор с Н. Я. Мандельштам*

Н. Я.: — Розанов, кажется, говорил, что есть писатели,

которые смотрят в зеркало, когда пишут, и писатели, которые не смотрят.

— Это отчасти, вероятно, то, что мы называем лирическим героем (пренадоедливый термин). Блок смотрел в зеркало, Маяковский смотрел, Ахматова… А Пастернак смотрел?

— Пастернак смотрел, но, к счастью, безуспешно. Он ведь вроде мамонта. Ну представьте себе — мамонт топчется перед зеркалом… Что он там может увидеть?

— Мандельштам до невероятного обходился без зеркала. И сознательно. Так он понимал современного поэта; о чем и говорил в стихах и прозе. А все же… Не было у него таких соблазнов?.. Таких аспектов саморассмотрения? Аспекта трагического поэта, гонимого…

— Нет, знаете, стоило прийти приятелям и принести ему вина и немного еды, он забывал сразу, что он трагический поэт.

Мандельштам — поздний Мандельштам — был убежден, что современный поэт — это не тот, кто высится над людьми, или отличается, или отделяется… Но это — один из всех, понимающий один за всех. И из всех типовых судеб судьба его самая типовая.

Глеб Семенов написал мне: когда поэт пробует быть *как все* — у него это все равно не получается.

Конечно, не получается… Поэт не может быть как все. Но современный поэт должен этого хотеть. Чем он и отличается от романтика.

Люди декадентской культуры в быту, не сморгнув, выносили ситуации, от которых человек должен лезть на стенку. Отличительное их свойство — железные нервы.

Повести Н. читать интересно. Есть сюжетные ходы. Есть диалог. Все ловко, особенно имитация правды, неприкрашенности. Положительные герои выпивают, дерутся, занимаются блудом. Есть и эмоциональные травмы, и трудный коммунальный быт, и убожество жизненных стереотипов. В основе же все если и не всегда хорошо, то может быть хорошим, и все хорошие: бабушки, девки, следователи. Все живут в добром и справедливом мире, по лицу которого пробегает рябь зла и страдания. Вещество остается розовым, несмотря на примесь блуда, мата и алкоголя.

А автор гордится смелостью, а знакомые говорят: и как это только напечатали…

Существует такое литературное направление — советский дамский сентиментализм.

В произведении высокого искусства бывает свой обман зрения (эмпирического зрения). В «Смерти Ивана Ильича» обман зрения состоит в том, что смерть является как бы личным и исключительным опытом Ивана Ильича. Все прочие — жена, дочь, врачи, сослуживцы даны так, как будто они-то никогда не умрут и не испытают предсмертной муки. Поэтому они так противны Ивану Ильичу и читателю.

Индивидуализм в культуре существовал как массовое явление (романтики, потом декаденты). Индивидуальные индивидуалисты нерелевантны.

Большие поэты не думали о «самовыражении». Они слишком полны тяжестью общего, которую приходится им нести. Это бремя знали и Пушкин, и Блок (зато собственной уникальности радовался Эллис). Гете (у Эккермана) упорно возвращается к мысли о том, что поэт почти все получает в наследство — и кое-что добавляет от себя.

«Сестра моя жизнь» — редчайший в мировой лирике случай декларативно прямого утверждения счастья жизни. (Ахматова говорила: «Стихи — это рыдание над жизнью».) Но любовь и в этой оптимистической книге конфликтна, неблагополучна. Есть счастливые стихи у Фета, например, но существуют они в контексте жестокого жизнепонимания.

Когда писатель умеет писать, ему нужно найти, *о чем* писать. Опыт (социально-биографический и черпаемый из традиции) выкристаллизовывается в идею произведения.

Происходит кристаллизация по-разному. У Достоевского выработалась идея противостояния России праведной и России богоборчества и нигилизма. Скрещение этой идеи со злободневными, даже газетными фактами порождало сюжеты, конкретные замыслы произведений. Их предвиделось столько, что жизни на них не хватало, — и не хватило.

У Толстого же не было пожизненного запаса. И он в промежутках каждый раз мучился и отбрасывал неудающиеся пробы в ожидании пока очередной личный нравственный опыт дойдет в нем до состояния книги.

Пушкину тему сначала подавала традиция или игра с традицией («Руслан и Людмила»). Потом началось преломление

эпохальных идей: судьба *молодого человека* (южные поэмы, «Цыганы», «Онегин»), историзм («Борис Годунов»). В 30-х годах — историзм, уже неотделимый от современной политической мысли и действительности. Кристаллизация огромного этого опыта — «Медный всадник». «Медный всадник» — история, политика и повседневность в неслыханном слиянии.

Романтизм, не выходящий за свои пределы, более всего поражает инфантильностью. Это может быть талантливо, занимательно, но это нельзя читать всерьез — ни «Атала», ни «Рене», ни «Жана Сбогара» и проч. Между тем то, что сделано до романтизма, нисколько не инфантильно. «Принцессу Клевскую», «Опасные связи», «Манон Леско» мы воспринимаем без скидки, без всякой историко-литературной усмешки или снисхождения.

Эмма Гервег в письме к Нат. Алекс. Герцен упрекала ее в «сердечном дилетантизме». Очень хорошая формула.

Мы воздаем почести храбрым людям, спокойным перед смертельной опасностью.

Но когда старики, которые скоро умрут, думают не об этом, но о разных делах и развлечениях, это принято считать не храбростью, но малодушием.

Недавно где-то — не помню где — попалась мне фраза: суть не в том, чтобы удовлетворять желания, а в том, чтобы иметь желания.

Наряду с обыкновенной завистью существует особая зависть беспринципных и потерявших себя к высоким неудачам и страданиям.

## *Поколение на повороте*

«Был Пугачев великодушный и бесстрашный мужичий царь…» — писала Цветаева в статье «Пушкин и Пугачев» (опубликована в 1937 году). Это она о хорошем Пугачеве «Капитанской дочки». Был у Пушкина и плохой Пугачев «Истории Пугачева»: «Был Пугачев низкий и малодушный злодей — Пушкин прав, давая его высоким и бесстрашным, ибо тьмы низких истин нам дороже…»

Пушкин Пугачеву как мужичьему царю не сочувствовал. Но он понимал историческую закономерность Пугачева, а в

«Капитанской дочке» прибавил к ней фольклорную, легендарную поэтичность, перед которой не мог устоять. Поэтичности нет в «Истории», только в материалах, к ней собираемых, — устных рассказах, народных преданиях, песнях.

Но речь сейчас не о Пушкине — о Цветаевой. Пушкин мыслил в других, не интеллигентских категориях. Цветаева мыслит интеллигентски, с сильнейшей примесью романтизма, который она сохранила в чистом виде от детского восхищения «Орленком» до своих поздних политических увлечений.

Пугачев хороший, потому что он благородный разбойник. Пугачев «Истории» плохой не потому, что он душегуб, но потому, что там он не выполняет норму поведения благородного разбойника. Плохой Пугачев «из страха отдал на растерзание любимую женщину и невинного младенца, на потопление — любимого друга, на удавление — вернейшего соратника, и сам, в ответ на кровавый удар по лицу, встал на колени». В пример ему ставится Стенька Разин, который любимую женщину утопил, собственноручно и очень романтически.

Грехи Пугачева перечислены; остальное не столь уж важно. И, главное, остальное не вызывает вопроса: как же это так, что мы *за*? Конечно, мы, интеллигенты — гуманисты, мы против жестокостей (неизбежных), но в общем мы за мужичьего царя.

Ефиму Добину также нравится Пугачев — об этом он написал в книге «История девяти сюжетов», предназначенной для подростков. Он поясняет сон Гринева: «Дорожный с черной бородой окажется Пугачевым, и все сбудется: и топоры, машущие во все стороны, и груды мертвых тел, и кровавые лужи. В то же время страшный мужик с черной бородой — посаженный отец Гринева. Так говорит сама мать Петруши (где-то в дальней дали является смутный образ матери Родины). Мать *приказывает* целовать мужичьи руки и *просить* благословения. А „страшный мужик“ — ласков и *сам* хочет благословить героя. Предвещены и кровавые события, и указано единственное спасение: подойти под мужичье благословение».

И опять — ни оглядки, ни вопроса. Почему не сработали самые простые вещи — сострадание Цветаевой, добродушие Добина, страх Добина? Достойно удивления, но я не удивляюсь. Все мы были такие — в пятнадцать лет. Что из того, что в пятнадцать лет… С тем бы и выросли, если б не то, что нас

… … … … … … … … … … … … как реку,
Суровая эпоха повернула.

Но молодые удивляются и задают не заданный в свое время

вопрос. На этом участке граница между поколениями отчетливее, чем где бы то ни было. Это не их душевный опыт. Они не пережили ожидание, мечту о революции, то чувство распахнувшейся, взявшей вдруг разбег жизни, с которым я пятнадцати лет, в марте семнадцатого года, ходила (с красным бантом) по улицам Одессы, запруженным мчащимися и ликующими. С приколотым красным бантом я пришла и в гимназию, и классная дама (не перевелись еще классные дамы) неуверенно сделала мне замечание, которое я пропустила мимо ушей.

Объяснить неиспытавшим нельзя, потому что вообще нельзя объяснить эмоцию. Человек, который никогда не любил, не может понять, что это такое, — то есть почему люди ведут себя так, как они ведут себя в этом состоянии.

Многие большие люди русской культуры не хотели революции, осуждали революцию. Но несогласие с существующим было опытом всей русской культуры. Все мыслящие были *против*, так или иначе, — и славянофилы, и Достоевский, и Владимир Соловьев. Один Леонтьев был *за*. Поэтому он — со своим эстетизмом — в сущности очень нерусский.

Русский интеллигент находил комплекс несогласия в себе готовым, вместе с первыми проблесками сознания, как непреложную данность и ценность. Потом уже речь шла о том, как совместить это с другими ценностями, даже противоположными. Человек одновременно подвержен разным веяниям своей эпохи; в нем совершается одновременная их интериоризация. Так, сочетание народнических, даже народовольческих традиций с авангардизмом, модернизмом породило в начале XX века новую интеллигентскую формацию, которая привела бы в ужас честных народников 1870-х годов. В «Климе Самгине» Горький отчетливо изобразил эту формацию.

Веяния исходили из разных сфер, но было у них и общее. Общее — идея безмерного расширения личности. А как, какими способами революция потом эту личность сузит — об этом пока можно было не беспокоиться. Весь русский авангард заглядывал в революцию. Символисты заглянули в 1905-м (некоторые из них еще раньше — юношами). Постсимволисты… Нельзя понять статьи Мандельштама 20-х годов без того, что он рассказал в «Шуме времени» о гимназическом чтении Эрфуртской программы, о духе народничества в семье его друга Бориса Синани. О внедрившемся с детства народовольческом идеале Пастернак говорит в поэме «Девятьсот пятый год»:

Это было вчера,
И родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Лаборантши изготовляли бомбы для террористических актов. Ахматова, казалось бы, от этого в стороне, но Ахматова с оттенком удовольствия рассказывала мне о том, что ее мать в молодости была знакома с народовольцами. «Моя мать любила говорить про какой-то кружок. Выяснилось потом, что этот кружок — Народная воля. Мама очень гордилась тем, что как-то дала Вере Фигнер какую-то свою кофточку — это нужно было для конспирации…» Точно по Пастернаку: «Приятельницы матерей…» От самых неподходящих как будто людей протягивались связующие нити, и не к каким-нибудь там реформаторам, а прямо к бомбометателям.

В 1915 году Маяковский писал:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника,
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Маяковский, считавший Блока хлипким интеллигентом, не знал блоковского чернового наброска 1907 года:

И мы подымем их на вилы,
Мы в петлях раскачнем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.

Так среди снежных метелей Блока 900-х годов очень явственно маячил хороший Пугачев.

На конец 10-х годов, на канун революции приходится отрочество или ранняя юность моего поколения. Опять сходный набор: эгоцентризм, элитарность, психологические изыски, стихи

новых поэтов — это хорошо. Пугачев — тоже хорошо, но Софья Перовская еще лучше, потому что, в отличие от Пугачева, — это красота жертвенности. Это жертва собой. Ну а как насчет жертвы другими? И невинными? Это тоже входило в набор.

Бомба, которую метнул Рысаков, царя не убила (убила следующая бомба — Гриневицкого), но между прочим убила подвернувшегося мальчика с корзинкой. Об этом мальчике можно было бы сочинить новеллу. Как он утром первого марта встал, чем занимался дома. Как его послали с корзинкой — что-нибудь отнести или за покупками? Как ему любопытно было поглазеть на царский проезд. Александра II заметили, заметили Гриневицкого, повешенных первомартовцев, но мальчика с корзинкой никто не заметил. Между тем он и есть нравственный центр события — страшный символ издержек истории. Многие из нас в той или иной мере стали впоследствии издержками истории.

Мальчик с корзинкой ставит под сомнение наши юношеские сочувствия народовольцам. Но парадокс в том, что, когда мы сочувствовали, мы были гораздо нравственнее — и в повседневности, и в политических мечтах, — чем потом, когда мы стали понимать и понимание оказалось смесью равнодушия и страха. Мы были нравственнее живым опытом иерархии высшего и низшего, пожертвования высшему низшим, что и составляет сущность этического акта.

Взращенные в материальном благополучии, мы не умели дорожить его возможностями. И потому подростки семнадцатого года переход от благополучия к абсолютной нищете как бы и не заметили (при всей моей психологической подозрительности и привычке отыскивать спрятанные мотивы, говорю твердо: не заметили), не обратили внимания. Головы были совсем не тем заняты. Да и среди старших разговоров об этом не помню. Считалось неприличным, «буржуазным». Пришел исторический катаклизм, всеобщий (разорение одной семьи переживалось бы совсем иначе). И с пеленок были воспитаны в стыде за свои преимущества. Сами от них не отказывались, но уж если их отобрала история — не жаловаться же на историю, когда она прекратила зло.

Интеллигенция как группа в деле освобождения народа имела свой групповой стимул — социальной активизации или даже реальной власти. Но каждый в отдельности субъективно совершал этический акт, приобщаясь к делу обделенного брата. Вернем долг обделенному нами брату! — который, может быть, уничтожит нас с нашей культурой вместе. Эта герценовская тема («С того берега»), тема русской интеллигенции неумолчно звучит у Блока. Она же пробивалась у Мандельштама:

За гремучую доблесть грядущих веков…

Тяжеловесный Брюсов сказал все это в лоб:

Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном…

*(«Грядущие гунны»)*

Пусть корень самоутверждения личности один, но он приносит плоды разного вкуса. Самоутверждение эгоистическое и самоутверждение альтруистическое — это разные переживания. Готовность к жертве — особая эмоция, вроде любви, потому что она может быть направлена только вовне. Властность, жертвенность, догматика — строительный материал для типологии людей революции. Понятно, что подростки 10-х годов выбирали для своей политической мечты жертвенный тип.

Формула была простой: народ страдает (абстрактное понятие народа), и потому нужно взять меч. Потом от меча погибали и бравшие и не бравшие. В том числе бывшие пятнадцатилетние. Что же это — случайность или ответственность пятнадцатилетних, мысленно взявших меч?

Итак, *до* в моей голове (беру себя как явление типическое) царила удивительная смесь из модернизма, индивидуализма, статей Толстого о вегетарьянстве (описание бойни пронзило), Софьи Перовской… Пугачев не был моим героем, но как-то само собой разумелось, что это тоже правильно.

В месяцы Февральской революции детский максимализм сработал естественно. Мимо презираемых кадетов, мимо Керенского (очень не нравилось, что он «все целуется») относило все дальше влево. Так было неоспоримо, что солдаты должны кончать войну и идти добывать землю.

После психологическая карта изменилась. Произошло перемещение составных частей. Тот ценностный центр, в котором индивидуализм и модернизм скрещивались с народолюбием, расщепился на два центра, сопряженных и противостоящих. То, что представлялось освобождением, расширением, сразу предстало запретом. Одно из первых восприятий — увешанные пулеметными лентами матросы. Кучками они ходили по городу и входили в любую квартиру, если хотели. Это внушало чувство беспомощности, отчужденность. Индивидуалистический элемент определился резче, сознательнее, непроизвольно встал на свою защиту. Это было не отказом от революции, но черновым наброском судьбы, ею порожденной, диалектически с ней

сопряженной.

В этих психологических микропроцессах отразились большие процессы расслоения молодой интеллигенции конца 10-х годов. В одной и той же социальной среде формируются разные исторические характеры — в зависимости от ситуации, от личных данных, от случайностей. Но этот набор формаций не безграничен. Личные психологические свойства укладывались в несколько разновидностей, образуя стойкую типологию. В основе этой типологии разные отношения между кровной связью со старым миром и традиционным от него отталкиванием (то и другое от младых ногтей).

Из той же среды, из той же иногда семьи одни шли в комсомол, другие в эмиграцию или фронду. Третьи оставались в синкретическом состоянии; это очень существенный и распространенный тип, развившийся потом в «попутчика». Он-то и стал основным персонажем эпопеи шатаний, приближений и удалений, интеллигентской эпопеи 20-х, отчасти 30-х годов. Разные начала тогда еще бродили и еще проявлялись многозначно. Но главное среди брожения было найти *точку совместимости*. На совместимость работали разные социально-психологические механизмы. Основными, вероятно, были три.

Из них первый — это прирожденная традиция русской революции, та первичная ценностная ориентация, на которую наслаивалось все последующее.

Второй механизм — желание жить и действовать со всеми его сознательными и бессознательными уловками. Тогда было много талантливости и силы, и сила хотела проявляться. Для того чтобы жить, надо было оправдать. Настоятельнее всего надо было оправдать того, кто все в себе вместил и все собой выразил. Оправдание это требовало состояния завороженности. Завороженность позволяла жить, даже повышала жизненный тонус, поэтому она была подлинной, искренней — у массового человека и у самых изощренных интеллектуалов. Молодой Гегель, увидев Наполеона, говорил, что видел, как в город въехал на белом коне абсолютный дух. Я помню разговоры Бор. Мих. Энгельгардта. Совсем в том же, гегелевском, роде он говорил о всемирно-историческом гении, который в 30-х годах пересек нашу жизнь (он признавал, что это ее не облегчило). Когда Сталин позвонил Пастернаку по поводу арестованного Мандельштама, Пастернаку трудно было сосредоточиться на этой теме. Ему хотелось что-то сказать и что-то услышать о смысле жизни и смерти. Пастернака упрекали, но надо помнить: телефонный провод соединял его в тот миг со всемирно-исторической энергией.

Завороженность возрастала с интенсивностью желания жить и действовать. Наглядно это можно было измерить реакциями Григ. Ал. Гуковского: он был сокрушительно активен, и его мысль — очень сильная — возбуждалась, как возбуждается страсть. Встречались и незавороженные. Большею частью это были люди слабого жизненного напора, не нуждавшиеся в оправдательных понятиях для возможности действовать. Напротив того, им нужны были оправдательные понятия, чтобы отпустить себе собственную бездеятельность, — подтвердив, что действовать все равно невозможно. Напор у меня был, но только интеллектуальный, — поэтому отношу себя к незавороженным.

Совместимость давалась тем легче, чем меньшему давлению подвергалась в данный момент данная социальная группа. Тем, кто оставался вне поля давления, казалось, что это их не касается, что это касается каких-то совсем других людей, занимающихся совсем другими делами. Среди интеллигенции многие думали так до 27—28-го — в эти годы поле давления переместилось. Однажды в 1927-м мне позвонила вдруг мать Б., растерянная, чтобы сказать, что его арестовали. Помню, что основным моим чувством было тогда удивление — до невозможности поверить. Как это так?

Третьим из основных механизмов совместимости было чувство конца старого мира. Я говорю не о поддающихся логике соображениях (это само собой), но о глубинном переживании конца и необратимого наступления нового, ни на что прежнее не похожего мира (недолговечный нэп спутал, но не искоренил это переживание). Он трудный (в то же время есть в нем какая-то облегченность обнаженности), но он есть единственная непререкаемая данность, реальность, в которой нужно жить иначе, чем жили, чем живут сейчас за ее пределами.

Мужчины и женщины этого мира иначе одевались, иначе сходились и расходились — среди вещей, названных новыми именами. Не гимназия, а школа, не солдат, а красноармеец. Французская революция тоже испытывала эту потребность: «Здесь клички месяцам давали, как котятам…» Ни французы, ни мы не думали о том, что имена возвращаются. Что мы еще увидим свадьбы, паспорта или белые передники школьниц.

Типовой участник исторического процесса, о котором здесь идет речь, нисколько не был монолитен. Он вперемежку утверждал и отрицал, отталкивался и примирялся. Понять жизнь и литературу тех лет и поведение больших людей этой литературы можно только помня: человек не есть неподвижное устройство, собранное из противоречивых частей (тем более не однородное устройство). Он — устройство с меняющимися

установками, и в зависимости от них он переходит из одной ценностной сферы в другую, в каждой из них пробуя осуществиться.

Люди мерят свою действительность разными мерами. Мерой абстрактного идеала разумного и справедливого, мерой своих групповых интересов и вожделений, прагматической мерой реальной необходимости и возможности, мерой своих вкусов, культурных и нравственных навыков и пристрастий. На каждом из этих сосуществующих уровней рождаются суждения о действительности.

Так было с Пушкиным в 30-х годах. Одновременно ему были даны: отвлеченный, с ранних лет усвоенный, просветительский идеал разумного; конкретный, и столь же недостижимый, идеал сословного (на английский манер) парламентаризма; непререкаемая (после крушения декабристов) реальность николаевского самодержавия; надежда (тщетная) на то, что разовьются в этой системе начатки культуры и разумной государственности; отвращение к тупым и грубым формам этой действительности.

Есть эпохи, когда уровни сближены, уравновешены. Но есть моменты резких исторических разрывов между необходимостью и идеалом, — между идеалами и интересами, между прагматикой поведения и нравственными предпочтениями.

Люди 20-х годов в стихах и прозе, в дневниках, в письмах наговорили много несогласуемого. Но не ищите здесь непременно ложь, а разгадывайте великую чересполосицу — инстинкта самосохранения и интеллигентских привычек, научно-исторического мышления и страха.

Есть несравненный стихотворный документ времени — «Высокая болезнь» Пастернака. В ней есть все что угодно по поводу интеллигенции и революции и вовсе нет желания свести концы с концами. Поэтому она действует так магически. Интеллигенция и революция — тема Блока. Но у Блока оценочные акценты расставлены твердо: на стороне революции всегда правда, на стороне интеллигенции — первородный грех преимуществ перед обделенным братом. У Пастернака акценты не расставлены; вернее, они поставлены по обе стороны.

«Высокая болезнь» — стык всех уровней староинтеллигентского сознания, опрокинутого в события, в факты жизни.

Интеллигентское самоотрицание:

> Мне стыдно и день ото дня стыдней,
> Что в век таких теней

Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.

Интеллигентское самоутверждение (групповое):

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены и сойду.

Это лирическое самоутверждение и самоотрицание — взгляд на поэта изнутри самого себя. Но «Высокой болезни» присуща скользящая точка психологического отсчета. То, что было видно изнутри, сгущается в извне видимый образ уже не поэта только, но вообще человека сходящей со сцены «среды».

А сзади, в зареве легенд
Дурак, герой, интеллигент…
…А сзади, в зареве легенд
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Лирический взгляд претворен в исторический. Глупость этого человека — высокоисторическая глупость. Без «глупости» он не был бы героем; во всяком случае, не был бы интеллигентом.

«Высокая болезнь» в высшей степени произведение 20-х годов, когда не только мыслили исторически, но исторически чувствовали, переживали жизнь.

От поэта, от интеллигента и дурака поэтическое движение ширится до охвата существования, но в свою очередь расслоенного на планы. Жестокие и плоские черты измельченной повседневности, но тут же ленинский разговор с историей накоротке — эпический прорыв в историю:

Рождается троянский эпос…

Молодые люди высокомерны. В свете будущего (оно уже стало прошлым) им все ясно; иногда им даже мерещится: дурак, герой, интеллигент, — не просто ли дурак? Но социальная жизнь всякий раз существует, как таковая (не в свете будущего), и, как

таковая, бывает продуктивна или непродуктивна.

Русская интеллигенция, «сошедшая со сцены», — это тип культуры со многими несогласуемыми вариантами (от революционных демократов до либеральных присяжных поверенных). В свете будущего она ошибалась, как ошибались в свете будущего все известные нам культуры (мы ведь не попрекаем античность многобожием, но любуемся изображениями ее богов).

Эта русская интеллигенция — культура, продуктивная умозрением, искусством, высоким моральным опытом. Она не могла бы делать свое дело без созидающего ума и без исторической глупости.

В мучительных оксюморонах «Высокой болезни» запечатлен человек среды, той самой, которая твердила наизусть декадентские стихи, поклонялась Софье Перовской и допускала, что Пугачев — это тоже правильно.

*1979*

## *«И заодно с правопорядком»*

*Г. М.*

В двадцатых годах есть ясность соотношений. С одной стороны — оппозиция, разная, в своих умеренных формах даже довольно откровенная, даже проникавшая в печать. Вплоть до невинной оппозиции формалистов, политически лояльных, но заявлявших упрямо, что в науке позволительно иметь свое мнение. С другой стороны — истинная вера в совершившееся пришествие наилучшего мира, в то, что зло второстепенно, скоропреходяще. Зло — это остатки.

Сороковые годы — война и военное сближение частных и государственных хотений. Когда сближение бывало неполным, эту неадекватность подавляли в себе, обходили. Потом среди проработок 46—53-го нарастал испуг, у интеллигентов чувство обреченности. Возникло оно из повторяемости (повторения не ждали), из ужаса перед узнаваемой и, значит, неизменной моделью. Кто-то сказал тогда: «Раньше это была лотерея, теперь это очередь». Пока что, впрочем, продолжали жить и применяться к жизни. Сороковые годы психологически проще тридцатых.

Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака,

Заболоцкого, Олеши и проч.

Нынешние всё недоумевают — как это было возможно? Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека. К основным закономерностям принадлежат: приспособляемость к обстоятельствам; оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается.

До известного предела (существует предел приспособления) человек применительно к обстоятельствам разрабатывает для себя некий образ жизни. С помощью двойного механизма — уклонения от страдания и поисков удовольствия (как плотского, так и вполне духовного), — удовольствия, предлагаемого ему в данных условиях. Толстой показал, как это бывает на войне. Того же порядка — кино, концерты, научные доклады (особенно после того, как полегчало с едой) в блокадном Ленинграде, — когда немцы стояли в пятнадцати километрах и стреляли.

Напрасно люди представляют себе бедственные эпохи прошлого как занятые одними бедствиями. Они состоят и из многого другого — из чего вообще состоит жизнь, хотя и на определенном фоне. Тридцатые годы — это не только труд и страх, но еще и множество талантливых, с волей к реализации, людей, и унаследованных от прошлого, и — еще больше — растормошенных революцией, поднятых на поверхность двадцатыми годами.

У некоторых из них было относительно много денег (по нашим понятиям). Сталин создавал элиту не только в среде чиновников, но также из писателей, академиков, профессоров и проч. Профессорам не возбранялись никакие совместительства, и многие имели запросто по три оклада. Элита задумана была как опора власти, но она же первая и погибала, потому что то и дело попадалась под руку.

Тридцатые годы — это ленинградский филфак во всем своем блеске (вторая половина тридцатых: Эйхенбаум, Томашевский, Жирмунский, Гуковский…) или великий ленинградский балет с враждующими балетоманами — одни за Уланову, другие за Дудинскую.

Страшный фон не покидал сознание. Ходили в балет и в гости, играли в покер и отдыхали на даче те именно, кому утро приносило весть о потере близких, кто сами, холодея от каждого вечернего звонка, ждали гостей дорогих… Пока целы, заслонялись, отвлекались: дают — бери.

Отвлечению особенно способствовал летний отдых. Имелась даже такая иллюзия: летний отъезд выводит вас из

просматривающегося круга. Иллюзия простодушная. Летом 37-го много знакомых ленинградцев поселилось в чудесном лужском Затуленье. Мы там вкушали прелесть лесных озер и Оредежа с его лугами и берегом красной глины. В прогулках, сухопутных и водных, деятельно участвовала и С., у которой тогда сидела сестра в ожидании приговора. Психологически это было возможно в силу типовой ситуации.

Летом 38-го года мы с Жирмунскими и Гуковскими жили в деревне на Полтавщине. Там все еще было полно памятью о голоде, за собой в Ленинграде мы оставили разгром. Время мы проводили самым приятным образом. Совершали экскурсии на челнах, высаживаясь на каком-то необитаемом острове. Ездили на несколько дней в Полтаву с разными смешными дорожными происшествиями. Совесть в это времяпрепровождение нисколько не вмешивалась. Вероятно, потому, что ведь с каждым могло случиться. Вроде как на войне.

Механизм приспособления, двойной механизм отвлечения от страдания и влечения к удовольствию, не мог бы работать без присущего человеку равнодушия к тому, что его не касается. Что касается и что не касается? Это переменно и растяжимо. Джеймс считал, что личность человека равна полю его интересов. Поле может сжиматься и расширяться. Человека могут касаться самые, казалось бы, отдаленные вещи, но для этого нужны импульсы, возбудители. Человека касается то, что непосредственно действует на его эмоции, нервы. Например, страдания, которые он *видит*. Нормальный городской человек не может зарезать курицу, но может есть ее с аппетитом — страдания жареной курицы его не касаются. Вегетарианец же отказывается есть курицу, потому что это воздержание для него идеологический акт — оно включено в его личность.

Наряду с непосредственно, эмоционально воздействующим, человека касается то, что становится фактом его реализации; то, за что он отвечает, и то, что он может изменить. Это ключ к участию человека — нередко жертвенному — во всевозможных общих движениях и ключ к равнодушию безответственных.

Человека касается то, относительно чего его среда создает установку внимания. На нее в наше время работают средства массовой информации, издавна же работало общественное мнение. Никто *не говорит* о том, о чем *не говорят*.

Борьба с голодом, в которой принимали участие Толстой и Чехов, стала даже модным занятием для скучающих дам (Чехов это изобразил). Это, кстати, совсем не плохо, потому что мода воплощает энергию общественного опыта. До нас же об украинском голоде доходили неясные, подавленные слухи. Мы ни

за что не отвечали и ничем не могли помочь; в наше поле это не вошло. Поэтому мы были равнодушны и занимались тем, что нас касается.

На этот факт не было установки, как не было установки на факт коллективизации (тоже подавленные слухи), на аресты, пока они совершались в другой среде и еще не стали прямой опасностью для пласта, к которому принадлежали равнодушные.

Наши старые записи удивляют сейчас сосредоточенностью на групповых делах, искренней незаинтересованностью в остальном. Из этого не следует, что они не имели исторического смысла. В уменьшенном виде это тоже один из возможных чертежей времени.

Нынешние недоумевают: как это жизнь могла идти своим порядком при том, что в этой жизни происходило? Но в мире всегда где-то что-нибудь происходит, и оно не мешает всем остальным жить своим порядком. Сейчас происходит даже не вообще в мире, а, в частности, в Афганистане. Об этом понемногу толкуют, но на образе жизни современников оно не отражается. И нынешние для себя считают это естественным.

Приспособление и равнодушие идут рука об руку. К ним присоединяется оправдание приспособления. Социальный человек не просто ищет удовольствий (определение недостаточное) и защищается от страдания, — его удовольствия, отчасти даже его страдания должны принять форму ценности. Личная реализация общих ценностей — регулятор социального поведения. Чтобы активизироваться — в чем человек испытывает неодолимую потребность, — надо с существующим примириться, — если только активизация не состоит в сопротивлении существующему. Чтобы притом сохранить чувство полноценности, необходимо оправдать себя и то, с чем примирился.

Пушкин написал:

> Начало славных дней Петра
> Мрачили мятежи и казни —

примерно через пять месяцев после казни декабристов. Позволил себе написать.

«Стансы» датируются 22 декабря 1826 года, а в начале января 1827-го декабристам уже послано было «Во глубине сибирских руд…». То есть создавалось оно почти одновременно. Это бессмертная модель многих примирений и оправданий. Они не захватывают сознание целиком, но оставляют место для совсем других, противоположных даже импульсов и реакций,

порожденных другими контактами с той же действительностью, другими системами ценностей. Потому что человек реализуется одновременно в разных системах ценностей. От степени их согласованности (или несогласованности) зависит «консеквентность» — как говаривал Герцен — поведения.

Человек одновременно находится под током разных реальностей. Комплекс представлений, чувств, символов, связанных с декабристами, оставался для Пушкина реальностью, хотя и отступившей в прошлое. Не сострадание только, но именно героическая символика. Другой, современной реальностью был Николай, с которым обстоятельства политические, государственные и личные побуждали мириться.

Как только чем-нибудь займешься попристальнее, оно начинает всюду попадаться навстречу. Стали наплывать разные свидетельства. Сначала книга Чудаковой о Зощенке, потом Оттен прислал своего Крымова, потом мандельштамовские материалы. Книга Чудаковой хороша пониманием времени. В ней все показано через отношение к языку, через зощенковское изображение языка современников показан слом тридцатых годов.

В двадцатых годах это у Зощенки изображение языка духовного недоросля. Во второй половине тридцатых слово этого самого человека становится эталоном мировосприятия. Зощенко отменяет дистанцию между персонажем и авторским словом; тогда как эта дистанция насмешки автора над рассказчиком составляла самую суть его прежней писательской манеры.

Совершилось интеллигентское (в традициях русской интеллигенции) отречение от своих духовных преимуществ. Но различие тут самое коренное. Народникам, вообще почвенникам мужик представлялся носителем своего рода народной и религиозной культуры, эманацией таинственной Почвы. В тридцатые же годы предложена была модель не загадочного мужика, а малограмотного городского человека с его представлениями о жизни. Это и было пожертвование — уже не материальным благополучием, но своим языком, следовательно — разумом, духом. Самоотвержение народников обращено было к слабым, притесненным, а тут, наоборот, отрицали себя во имя хозяев жизни, — другие времена.

Идея простоты завладевает в тридцатых годах Зощенкой, Заболоцким, Пастернаком. Мандельштам в стихах не допускал уступок, поэзия у него была крепко ограждена, но его жизневосприятие в высшей степени было подвержено эпохальным веяниям. Кузин в воспоминаниях о Мандельштаме начала

тридцатых годов рассказывает об этой жажде приятия, единения, о том, как притяжение тут же сменялось отталкиванием. Мандельштам так и существовал в этой чересполосице несогласованных импульсов, исходящих из разных комплексов ценностей. В основном из двух главных для русской интеллигенции XX века, в их великой несогласуемости — из комплекса модернизма, индивидуализма, элитарной душевной жизни и комплекса народнической традиции и воли к справедливому социальному устройству.

Мне попался свод любопытного материала о работе Мандельштама в конце двадцатых годов в «Московском комсомольце» (внутренние рецензии, ответы авторам). Не знаю, пишет ли он по конкретным поводам то, что действительно думает, но он действительно радуется приобщению, «Труду со всеми сообща / И заодно с правопорядком».

Особенно замечательно редакционное письмо тов. Кочину, автору деревенского романа «Девки». Письмо написано имеющим хождение языком и на ты, по-комсомольски. Роман он обсуждает со всей серьезностью и учит Кочина (крестьянского сына) писать о деревне так, чтобы не было барской дистанции между автором и предметом. А несколько раньше разговоров с Кузиным, в конце двадцатых годов Мандельштам в «Четвертой прозе» изобразил свою работу в газете с противоположной точки. «Четвертая проза» — полюс отторгнутости и обиды, на какой-то момент стабилизация этого полюса. Приведены в действие отрицательные возбудители, завтра могут вступить в действие другие. На них ответит нелицемерная воля к приобщению, к тому, чтобы взломать запертую перед ним дверь общественного устройства. Оказывается — я тоже могу как все, и, главное, они меня принимают всерьез.

N., тоже отторгнутый человек, во время войны принят был на работу в Радиокомитет. Он рассказывал мне о неиссякающем удовольствии, с каким он всякий раз предъявлял свой пропуск при входе в здание и еще особый пропуск в студию. Всякий раз это было переживанием признания, воссоединения с сочеловеками.

Можно, конечно, из отторгнутости сделать позицию и позу. Только это все хорошо на абстрактном уровне романтической игры. Но жутко, когда отторгнутость становится практической, буквальной, к тому же грозящей отнять кусок хлеба. Но не хлебом единым… Надо еще, чтобы признали, хотя бы на уровне литработника в газете.

А на своем поэтическом уровне, где не было уступок, Мандельштам все это выразил глубочайше:

Как я ступать и говорить умею…

Как я сумел заговорить с товарищем Кочиным на торжествующем языке, и меня слушают и понимают. Это выигрыш у отвергающих, которым надо гордиться, как Пушкин гордился успехами в высшем свете.

Человек хочет, конечно, быть лучше других, но этого ему мало. Главное, быть не хуже других; только это избавляет от комплекса неполноценности, а вовсе не сознание своей гениальности.

Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак…

Москвошвей — это место, где шьют для всех, для бедных, и плохо шьют. Где говорят на упрощенном языке. Но это язык всех тех, за кого на своем языке говорит поэт, поэтому поэт тоже имеет право быть одним из всех.

На этом праве особенно упорно настаивал Пастернак. Об этом есть в записях о Пастернаке Гладкова: «Б. Л. рассказывает, что в месяцы войны в Переделкине и в Москве до отъезда у него было отличное настроение, потому что события поставили его в общий ряд и он стал „как все“ — дежурил в доме в Лаврушинском на крыше и спал на даче возле зениток…»

Там же о том, как в чистопольской коммунальной квартире Пастернак попросил соседей выключить часами оравший патефон и дать ему возможность работать. После чего он не работал, «а ходил из угла в угол, браня себя за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей…»

Как измерить меру правды и меру неправды в уничижении перед коммунальными соседями? Как проследить в уничижении следы высокомерия? Высокомерие в притаившейся формуле: простым и равным хочу быть я (великий поэт знает себе цену).

Однажды — еще в «Высокой болезни» — Пастернак даже проговорился:

Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть как я.

Самые большие люди в своем роде демократичны — если не по убеждению, то по инстинкту. Они знают, что могут выдержать равенство. Они имеют силу (и дорожат этой силой) выполнять требования, предъявляемые к людям, — этим требованиям Пушкин дал себя убить… Сочетание же интеллектуализма с посредственностью способствует чувству элитарности.

В. В. Иванов в воспоминаниях о Пастернаке рассказывает, как он огорчился, обиделся, когда писателям скопом давали ордена, а ему не дали. Он даже просил по телефону кого-то похлопотать. Удивительно здесь не то, что огорчился. Кто из нас без греха слабости и суеты? Удивительно, что не скрыл, не постыдился огорчение обнаружить. Это не просто спонтанная инфантильность Пастернака. Это тоже поиски равенства: пусть все знают, что я тоже хочу орден — как все (как все определенного ранга).

В стихах оно обернулось публичным отречением от дара неимоверных сочетаний, от чуда «Сестры моей жизни», где всё замещает и всё объясняет всё. К этому яростному сумбуру Пастернак был неповторимо призван[22]. Но с такой же неотвратимостью заявил о себе под конец двойной пастернаковский комплекс — равенства в жизни и простоты в стихах. Так в некоей точке пересеклись пути Зощенки и Пастернака.

Другой пласт представляет Крымов; другое, прежде всего, поколение. Крымов тоже был из интеллигентской семьи, но он из тех, кто сразу безоговорочно ушли в Комсомол — замаливать первородный грех. У них не было ни двоемыслия, ни двуязычия. Они верили в новый мир и в «лес рубят — щепки летят». Это была всепримиряющая формула.

Оттен рассказывает историю повести Крымова, сюжет которой состоял в том, что жена донесла на любимого мужа-вредителя и из этого испытания вышла просветленной и очищенной, искупив собственное буржуазно-бюрократическое происхождение. От этого замысла все же шарахнулись окружающие (жена, друзья), и Крымов от него отказался. Преимущественно, впрочем, как от чересчур желто-детективного.

Крымов воевал храбро и по доброй воле. И храбро погиб.

Наплывают свидетельства прошлых лет. Вот посмертно изданная книга Гладкова о Мейерхольде. В Мейерхольда он был влюблен, годами погружен без остатка в его театр. Театр закрыт, Мейерхольда убили, а в 40-м году Гладков уже пишет веселую пьесу о девушке-гусаре 1812 года. Патриотическую комедию с героикой и переодеваниями, рассчитанную на одобрение. И все это не халтура, а увлечение. Субъективно — это творчество.

Инстинкт жизни. И нет никакой общественно-обязательной нормы поведения, которая стояла бы ему поперек. Референтная группа — вся того же состава. Скорбная верность прошлому — это означало бы голодное существование, может быть — несуществование…

Человеку одаренному нужно, необходимо переживать состояние творчества. А творчество есть оформление своего понимания жизни, следовательно, оно правдиво, — тому свидетельством классический симбиоз вранья и подхалимства с бездарностью.

Талантливые — художественно и человечески — поэтому особенно напряженно искали в себе или создавали в себе участки тождества. Это участок, занимая который можно сказать: и я того же мнения. И выразить это мнение с некоторым отклонением от эталона, другими вроде бы словами.

Техника тождества имела множество градаций. И вполне честное тождество, и, на другом полюсе, циническое: «масло каши не портит», и выискивание в себе подходящих участков, причем оставались и другие, неподходящие, так что менялись реакции — в зависимости от той или иной из систем ценностей, сосуществующих в сознании человека. Движущийся луч прожектора как бы выхватывает из поля сознания то тот, то другой сегмент.

Создавать участки тождества интеллигенту помогали разные механизмы. Среди них один из самых мощных — это народническое наследство, это с первыми детскими представлениями освоенная идея социальной справедливости. Об этом уже сказано в моем эссе «Поколение на повороте».

Что же я могу сказать по личному поводу? В основном, что не надо иметь никаких иллюзий, — ничто никому не прошло безнаказанно.

Личный случай здесь интересен, потому что это тоже типический случай, одна из разновидностей эпохального человека.

Все действовавшие были подвластны упомянутым механизмам — приспособления, оправдания, равнодушия, только у некоторых механизмы работали с перебоями и с помехами порядочности. У меня механизм оправдания был развит слабее других; мешала врожденная аналитичность. Зато механизм равнодушия работал безотказно.

Что касается приспособления, то разница между действовавшими несомненно была. Только ли количественная, или в иных случаях количество переходило в качество? Если переходило, то в том смысле, что кроме тождественности было

еще другое — не прикрепленный к участку тождества избыток, иногда обширный и важный.

Молодой читатель разучился (факт положительный) расчленять эти элементы. Поэтому он, например, не приемлет Г., который был в тождестве прям и груб. Пускай негибкость делает честь современному читателю, она же лишает его общения с умом большого богатства и силы. У Г. была сокрушительная потребность осуществления, и он легко всякий раз подключался к актуальному на данный момент и активному. Это называется следовать моде — на языке упрощенном, но выражающем суть дела. Мода — это всегда очень серьезно, это кристаллизация общественной актуальности. Г. был резко талантлив, поэтому он извлекал интересное из любого, к чему подключался. Так было у него с культурой символистического типа (включая религиозный опыт), с формализмом, с марксизмом. У Икса сменялись примерно те же ипостаси.

Удивительно, что взрослый, думающий человек способен был то уверовать в бога, то перестать верить — без особых душевных усилий. Но так оно именно и происходило. И верой и неверием управляла прямая зависимость от возможностей реализации. До какого-то исторического срока вера могла быть формой идеологической активности. С какого-то момента она могла быть только жертвой; тогда-то и совершался выбор и отбор.

Помню, как в 1926 году на одной панихиде Икс осенял себя крестным знамением. Было ему тогда за тридцать лет — возраст обдуманных решений. Переходы от фрондирующего православия к диалектическому и историческому материализму совершались не так, как в XIX веке переходы от веры к неверию. Просто выяснялось, что с этим больше нельзя функционировать (как еще можно было в двадцатых годах) или функционировать можно только в качестве человека, выброшенного из общества. Расположение к жертве требует особых исторических условий, требует среды, определенным образом настроенной и настраивающей. Условий не было. Из православия прямо попадали в альтернативу марксизма. Г. применил к марксизму свой талант и получил отличные результаты. Икс был по своей психологической сути позитивистом, по первоначальным культурным навыкам — человеком символистического круга (противоестественное, но стойкое сочетание). С марксизмом получалось у него наивно, но добросовестно.

Можно насчитать несколько разновидностей функционировавших. Были тогда честно совпадающие, были самовнушаемые, были цинические или предавшиеся резиньяции. Некоторые стремились сказать не максимум того, что побуждало

сказать тождество мнений. Градации зависели от степени талантливости или бездарности, от первичных социальных навыков, от социальной ситуации. Даже от умения выражаться. Г. говорил мне с иронией, отчасти завистливой:

— Ну, при изяществе вашего слога все это у вас получается благородно.

Так ли? Говорю вам: никаких иллюзий — никому даром ничего не прошло.

Ищу в прошлом свою разновидность. Это те, по-видимому, которые оставались при своем мнении в возможных пределах. Пределы раздвигались и сжимались. На рубеже сороковых и пятидесятых они сузились вплоть уже до исключения всякого избытка. Без него моя разновидность не работала, поэтому нас тогда надолго закрыли.

Каковы опознавательные признаки этого типа? Творческая способность и потребность ее реализации. И ради этой потребности готовность обойтись без материальных благ и места в иерархии. Способность хочет себя заявить — отсюда сочетание избытка мысли с участками тождества. Социология была таким участком. Марксизм был притягателен для умов аналитических, разлагающих. Помню, как меня увлекло «18 брюмера Луи Бонапарта» — именно силой своей аналитической хватки, демонстрацией скрытых пружин исторического движения.

Где была неправда? У какой границы искать ее начало? Она была не в методологическом принципе, не в общем понимании вещей, но в какой-то прорвавшейся интонации, в торопливом показе тождества, в том, как пользовались поводом, случаем заявить — «и я так считаю». Именно так. Вот текст — есть в нем мысли свободные и интересные. Но периодически текст сводит судорога напоминаний о своем согласии. Напоминаний не то чтобы неправдивых, но в данном месте необязательных.

Труднее всего мне сейчас перечитывать книгу о «Былом и думах». Писалась она в годы (рубеж сороковых — пятидесятых), когда литературоведение (как и литература) по большей части состояло уже из одних возгласов преданности. В этой же книге были мысли, поэтому она казалась сказочно свободной (шесть лет она провалялась в издательстве); а несвобода была глубоко сидящей несвободой само собой разумеющегося, непроверяемого. Имелся некий фон представлений о революции, о справедливом общественном устройстве, всосавшихся уже с первой социализацией, они не пересматривались с юных лет.

«Основная мысль главы „Venezia la bella“ — это мысль о том, что подлинное (народное, социальное) содержание уже выветрилось из итальянского национального движения,

вживающегося в общеевропейский буржуазный порядок. Разочарование в итальянском буржуазно-национальном движении ведет за собой скептическую и, конечно, ошибочную мысль о том, что на данном этапе реакция единственная реальная сила западного капиталистического мира». Правда это или не правда, — это омертвение ткани, поражавшее живую плоть книги. В тридцатых годах механизм уже существовал, но работал еще в здоровой словесной ткани. Среди исступленного раболепия последних сталинских лет казалось, что мы чистые. Это казалось не только нам, но и редакциям, которые нашу разновидность не печатали или печатали, скрипя зубами. А теперь перечитывать тяжко. Мучителен вид растраченной умственной силы.

Тогда казалось, что остался один язык, на котором всё говорит. Что он наша данность и ничего нет, кроме него. Мы резко ощущали поэтому отклонения от его законов, переживали смелость и радость своего сохраненного слова, не замечая, как всеобщий язык проникает и располагается в нашем слове. Да, ничто никому не прошло даром.

Гегель различал исторические и неисторические периоды в жизни народов. В жизни отдельного человека тоже есть исторические и неисторические периоды. Они могут не осознаваться, а могут осознаваться человеком в категориях историзма. Историзм и есть осознание событийной, движущейся общей жизни в ее изменяющихся формах (формализованность и сближает историю с искусством) — от самых объемных структур общественных отношений до подробностей нравов, быта, обстановки. Кристаллизация, отложение этих материальных и нематериальных форм движущейся жизни образует культуру.

Соотнесенность частного существования с историей всегда налицо, но она различна. Возможна между ними глухая связь, субъективно неощутимая, непроявленная объективно. Положим, косное бытие каких-нибудь не затронутых катаклизмами пластов (в наше время едва ли мыслимое). Возможна связь открытая, но не деятельная, когда человек и его пласт подвержены воздействию веяний и событий времени. И наконец, связь активная — участника деяния, движения, ответственного в разном смысле и степени, но как бы то ни было ответственного за событие.

Мое поколение и мой круг прошли через разные стадии — всегда под сильнейшим давлением времени. Отрочество и первая юность — пассивное подключение к огромным событиям мировой войны и революции. Двадцатые годы — для меня это Институт истории искусств, приобщение к культурно-историческому

течению, будто бы противостоявшему эпохе, на самом деле порожденному эпохой.

Опоязовское течение в широком смысле (гораздо более широком, чем опоязовцы и их ученики) было частью антисимволистической реакции (от футуристов и акмеистов до обериутов) на культуру начала века. Как и вся противосимволистская реакция, формализм многому учился и научился у символистов. Формализм быстро и в основном изнутри распался как догма, но как фермент он продолжал работать впрок. Эпохален формализм еще тем, что в своей склонности к аналитическому разъятию он был неузнанным двойником исторического и социологического анализа[23]. Антиподом и двойником — что как-то увязывалось в большом культурном развороте.

Исторический период, пережитый лично, в подробностях, — это научило понимать многое, непонятное тем, кто никогда не имел активно-исторического существования. Мы все же знали вкус *одействотворения* (как говорил Герцен), хотя и ущемленного. Мы под своим углом уже кого-то учили, печатались, затевали групповые сборники. Нам показалось — и недолго казалось, — что мы начинающие деятели начинающегося отрезка культуры. Вместо того в тридцатых — сороковых — принадлежность к эпохе сталинизма и войны, со всем, что отсюда следовало.

С половины пятидесятых кое-кто из нас стал действующим лицом оттепели. На правах стариков, хранителей огня, которых окружила оживившаяся молодежь. Одним из признаков оживления был бурный разлив стихов, в которые все вдруг — тоже ненадолго — поверили. И молодежи и старикам этот период принес историческое самосознание, крайне, впрочем, непрочное. Ренессанс не набрал силу и рассосался, молодежь не созрела, и попутно мы потеряли друг к другу интерес.

Кажется, наступил мой последний период — неисторический. Винокур в своей книге «Биография и культура» определяет биографию как «жизнь личности в истории». Из чередования страдательного переживания непомерных исторических давлений и полуиллюзорной активности — получается ли биография? Уж очень не по своей воле биография.

*1980*

У снов есть свои законы.

Старые видят себя молодыми. То есть осознают себя, — потому что человек *себя* во сне *не видит*.

У Фета:

И снится, снится: мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела…

Второй закон — мертвые во сне всегда живые (об этом писал Пруст), только в общении с ними есть что-то тревожное, какая-то непроявленная подоплека.

Третий закон — цель наших устремлений предельно близка, но ее почему-то, непонятно почему, нельзя достигнуть. Мы куда-то идем и не можем туда попасть, мы ждем и не можем дождаться, ищем и не можем найти. Согласно этому закону сделан «Замок» Кафки.

Повторяющийся мой сон. Я в каком-то чудесном городе. Но я его не видела. Не выхожу почему-то из какой-то квартиры. Пора уже уезжать. Надо бы выйти посмотреть — это так вожделенно. Но уже время упущено.

В снах старые молоды, мертвые живы, достижимое недосягаемо. Достижимое недосягаемо у одних сновидцев, у других — недостижимое достижимо. Потому что есть люди, которые видят во сне исполнение желаний. Я не из их числа.

В глупейших мемуарах — название глупой песни, полувековой давности шлягера. Быстрый укол. Странная реакция… Это наяву как во сне, когда мы видим себя и не себя такими, как тогда, — молодыми и злыми. Когда снится забытая злоба и нежность.

Гумилев говорил Анне Андреевне:

— У нас писатели кончали тем, что начинали учить людей. Когда ты заметишь, что я начинаю учить, — отрави меня, пожалуйста.

Русская традиция отречения от своих творений — гоголевская, толстовская — подхвачена была Пастернаком. В ней таится своего рода неуважение к читателю, для которого эти творения стали высоким духовным опытом.

На Западе писатели естественно обращались к элите и довольствовались элитой. Нашим же непременно подавай демократического, массового читателя. Об этом читателе мечтали Мандельштам, Пастернак. А. К. Гладков в своих мемуарах рассказывает, что в эвакуации Пастернак жадно, неотступно расспрашивал его, как это сделать так, чтобы написать пьесу, имеющую широкий успех.

— Как это так у вас получается?

Мандельштам тоже хотел, чтобы его непременно читали инженеры и вообще люди. Он не любил и потому не замечал своих реальных читателей.

Когда доходит до беды, самая плохая семья удобнее самых лучших друзей. Друзья, получавшие от человека удовольствие, вдруг должны с ним маяться. Неприятный переход, требующий необязательных усилий с одной стороны и чувства вины с другой. Плохой же семье он и без того надоел. Так что все на месте.

Две формы обращения с литературными ценностями прошлого — оплевывание и облизывание: Достоевский, Фет, Блок…

## Вопросов нет…

*А. Кушнер*

Человек сам не выдумывает вопросы… Они зарождаются в окружающей социальной атмосфере. Даже проблема смерти в иные периоды неактуальна, в другие же нестерпимо существенна. Наступает возраст, когда вопросов больше нет; в том смысле, что нет ни вопросов, ни решений, которые еще могли бы изменить жизнь. Человек для себя — очень, конечно, субъективно — уже знает последнюю правду. И меру всех от нее отвлечений.

Вопросов нет… Как хорошо, когда еще есть неразрешимые вопросы.

Вопросы человеку внушают те культурные системы, в которые он включен. Вопросы о смысле жизни и смерти, о справедливости, об обязательности этического акта, о вере и неверии… В истории русской культуры особенно ясно видно, как (в конце 1830-х годов и на многие десятилетия) приходит интеллигентское сознание со всем набором безотлагательных вопросов, со всей безотлагательностью усилий их решения. Во времена моей юности существовала еще активная инерция этого сознания с основными его слагаемыми.

Мое поколение успело еще испытать эту принудительность решений, без которых как будто и жить невозможно. Оказалось потом, что возможно. Нам досталась жизнь слишком крутая для избыточной проблематики. Благо тем, кому она оставила хотя бы насущный минимум нравственных сомнений.

Под конец выясняется — вопросов нет, потому что нет порождающего их культурного поля; в том числе вопроса смерти — как вопроса жизни, ее смысла или бессмыслицы.

В известном возрасте смерть из теории становится практикой. Проходит философский ужас (он особенно силен в молодости). Остаются реакции почти физические и зависящие от темперамента. Физический страх может быть притупленным у людей пониженного напора, заторможенных; и особенно нестерпимым может быть у людей чувственных. Впрочем, есть тип витальных людей, которые приходят к чувству исчерпанности, пограничной полноты опыта.

Римское самоубийство Лили Брик. В 86 лет — удивительно! Самоубийство обычно акт молодости, сохраняющей еще свежесть воли и чувства, которые восстают против унижения, страдания. Не согласны.

Она сломала шейку бедра и поняла, что ходить больше не сможет. Вот рассказ соседей по даче. Записка — традиционная, с прощанием и объяснением причин, написана была ясным почерком. Она не могла в этот час не думать о Маяковском. А внизу очень большими и уже шатающимися буквами приписано было: нембутал.

Что это — запоздалое сожаление, попытка облегчить задачу спасающим? Не обязательно. Теряя сознание, могла еще захотеть смутно что-то договорить, уточнить, подать последний сигнал.

Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать…

Странно, что мне всегда было легче узнать о самоубийстве человека, чем о любой другой форме смерти. Только самоубийцу она не тащит на привязи, как быка на бойню. Только он одолел тайну судьбы, сам выбрал себе «годовщину». Если бы только знать за собой эту силу, эту возможность, можно ведь жить, не боясь ничего — болезней, беспомощности, деградации, самой смерти.

Достоевский уже сказал это Кирилловым: перестанем бояться и будем как боги. У Достоевского, как всегда, это в наивысшем регистре. А можно и попроще…

Ну а как же страдания, которые довели человека? Страдания — это из области жизни и это вопросы другого ряда.

Навестила Лидию Корнеевну. Она дожидалась меня на улице, и мы вместе вошли в калитку дачи. Навстречу шла женщина, довольно молодая, и бережно и как-то торжественно несла что-то завернутое в бумагу. Оказывается, она собрала горсть земли, по которой ступал Чуковский. Она внимательно рассматривала Л. К.

— Вы Лидия Корнеевна? Да?

— Да.

— Вот мне и говорили, что у Чуковского еще дочь жива.

— Да, пока… — сказала Лидия Корнеевна.

Почитание Чуковского распространилось широко и возникло как-то спонтанно, в последний период его жизни.

Чуковский был очарователен, и он был очаровательно. Он был эстетическим фактом, артефактом. Со своей внешностью, столь многократно отраженной в карикатурах, — нескладно длинный, с огромным носом и огромными лапами, — он был красив и изящен.

То, что он говорил человеку ласковые слова и в то же время или вслед за тем его поносил, — общеизвестно. Именно общеизвестно. На то и рассчитано. Главный его фокус парадоксально состоял в том, что он показывал двойное дно своих отношений.

Первые мои встречи с Чуковским, еще молодым Чуковским, относятся к 1924 году, когда он меня поощрял и напечатал в своем журнале (закрытом на третьей книге) мою первую рецензию; последние встречи — это Переделкино, незадолго до его смерти.

На девятом десятке он физически постарел, конечно, но приемы разговора остались совершенно те же. И то же изящество.

*1980*

*Переделкино*

Ахматова считала Пастернака удачником по природе и во всем — даже в неудачах.

У А. А. был свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного Пастернаком в его автобиографии («Люди и положения»). Излагала она его так: четырехлетний Пастернак как-то проснулся ночью и заплакал, ему было страшно. В ночной рубашке, босиком он побежал в соседнюю комнату. Там его мать играла на рояле, а рядом в кресле сидел старик с бородой и плакал. На другой день мальчику объяснили, что старик — это Лев Толстой.

— Боренька знал, когда проснуться… — добавляла Анна Андреевна.

— Какие прекрасные похороны, — говорила она о стихийных похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина, Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле.

Какие прекрасные похороны… Оттенок зависти к последней удаче удачника.

Ахматова сказала мне как-то, что стихотворение «Не недели, не месяцы — годы / Расставались…» хочет переделать. Вместо; «Больше нет ни измен, ни предательств…» — «Больше нет ни обид, ни предательств…» — Почему, Анна Андреевна?

— Потому что измену простить можно, а обиду нельзя…

Строка, однако, осталась неизмененной.

Анна Андреевна утверждала: «Борис читал Рильке, но не своих сверстников. Мои стихи он никогда не читал».

Я, понятно, не верила этому и возражала. После выхода «Из шести книг» (А. А. послала экземпляр Пастернаку) она сказала мне с торжеством:

— Получила восторженное письмо от Бориса — доказательство, что он, в самом деле, моих стихов не читал. Он захлебнулся, открыв у меня замечательные строки:

На стволе корявой ели
Муравьиное шоссе.

Так ведь это в «Вечере» напечатано — 1912 год.

---

Что делать с вами, милые стихи?..

*Кузмин*

Существуют стихи не то что ниже, а вообще вне стихового уровня. И в краю безграничной раскупаемости книг — тучные их тиражи лежат нераскупленные на прилавках. Слова в них — и бытовые, и книжные — никак не трансформированы. Просто словарные слова, с которыми решительно ничего не случилось оттого, что они (по Тынянову) попали в единый и тесный ряд. Нет, все же случилось — механическая ритмизация не позволяет им с достоинством выполнять свое нормальное коммуникативное назначение.

Наряду с узаконенной стихообработкой официальных эмоций — неотрегулированная графомания, отнюдь не чуждающаяся модернизма. Эта разновидность особенно любит верлибр, где можно что угодно, не встречая сопротивления, совокуплять с чем угодно.

Это о плохих стихах. Но сейчас удивительно много людей пишут хорошие стихи. Трансформированное слово, поэтические

ходы мысли, стиховые средства — все на месте. Тут-то и начинается беда — драма ненужных хороших стихов. В них нет мысли; поэтическая мысль — не выжимка из стиха, а самая плоть его.

Бывали периоды поэтического расцвета и, главное, выраженных направлений, когда посредственные поэты служили хором для корифея или материалом для школы. Самодельного же существования посредственные стихи не выдерживают.

Проза — другое. Проза может оправдать себя сообщением интересного, размышлением, увлекательным сюжетом. Но стихи — это опыт жизни в магическом кристалле обнаженного смысла. Он обнажается в силу двух противоположных свойств: стихотворные слова выделены и одновременно взаимозаражаемы, взаимозаряжаемы. В «Разговоре о Данте» Мандельштам говорит, что поэтическое слово — «пучок» смыслов, «и смысл торчит из него в разные стороны…».

Настоящее стихотворение — до краев переполненное мгновенье, блиц-открытие жизни (открытие называют также миром поэта, картиной мира, узнаваемостью поэта).

В поэтическом слове проявлены ценность и значение вещей. Поэтическое значение может быть иносказанием (символисты возвели это в теорию и систему). Но современное сознание ищет в стихе не иносказание, а сверхзначение. Явление, вещь означают самих себя, но означают и другое, рождающееся из *пучка*, из семантических пересечений. Одномерная вещь переводится на язык этих пересечений. Подобный процесс, с меньшим напряжением, может совершаться и в прозе.

Ценность и значение — понятия общего, социального порядка; единичный человек не может их добыть из себя. Стихи выражают поэта в его погруженности в культуру, в социум. Отношения между поэтом и его культурой складывались по-разному. Где найти меру неотменяемости общего и меру независимости личного?

Как-то я излагала Кушнеру соображения о культурном подключении. В некий момент юный писатель подключается к существующим направлениям, школам, эпохальным идеям (философским, общественным, общекультурным, литературным). Так он начинается. А потом он может добавлять, изменять, сам основывать школы.

Как быть поэту без поэзии и без культурного контекста? Извлекать аспект мира из самого себя — трудно это или невозможно?

Кушнер ответил мне тогда, что не в том дело, что подключаться можно к содержимому жизни, — его хватает. Но

точка зрения на жизнь — чья она в таком случае? Она не может быть точкой зрения одного, данного человека, как не может быть язык человека его единоличным, не принадлежащим обществу языком. Может быть, писателю, лишенному литературного направления, достаточно выразить точку зрения социального пласта и своих *сопластников* (формула Герцена).

На днях разговор о том же с Алешей Машевским (ему 24 года). Он говорит, что для него есть направление; следовательно, отношение к жизни. Что направление соотносится со стихами Кушнера и в конечном счете с тем, что делаю я в моей прозе.

Сейчас в западном мире убывают эпохальные идеи, школы (по большому счету). Давно уже на смену большим стилям, чередовавшимся на протяжении XVII–XX веков, не приходит новый, требующий нового термина. Опадают многоохватные направления последних десятилетий — экзистенциализм, структурализм. Может быть, все это перерождение форм культурного процесса и оно позволяет, обходясь без направлений, брать жизнь, определенную только самыми общими историческими предпосылками и ожиданиями сопластников. Если так, то литературные факты оказываются в своем причинном ряду. Тем самым отношения с историей приведены в порядок.

У каждого поэта есть свои опасности. У плохих (в сущности непоэтов) — опасность нетрансформированного слова. Но поговорим о недавно появившихся настоящих. У Кононова — опасность чрезмерно трансформированного слова. В предельном случае оно может совсем оторваться от своей реалии, потерять поэтому сопротивляемость и стать произвольным. У Машевского опасность обратная — обнажение смыслового механизма (вспомним обнажение приема), когда слишком очевиден становится поэтический замысел. Оба очень талантливы.

Опасное положение молодых и относительно молодых поэтов состоит еще в том, что слишком трудно выбираться из семантического круга, очерченного поэзией, пришедшей на смену символизму. Особенно всепроникающей четверкой: Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева.

Великие поэты — это не те, которые пишут самые лучшие стихи. Совмещаться это может (Пушкин, например), но необязательно.

Великий поэт — это тот, кто шире всех постиг «образ и давление времени» (как говорил Шекспир). Для русского XX века это Блок — как для XIX-го Пушкин, — и никто другой в такой мере. Можно больше любить стихи других современников Блока.

Не в том дело. Блок вообще не поэт отдельных стихов; он *явление* в целом.

Он замыкает собой ряд русских писателей, которые отвечали на все и за все — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов…

Любовь к Пушкину (непонятная для иностранцев) — верный признак человека русской культуры. Любого другого русского писателя можно любить или не любить — это дело вкуса. Но Пушкин как явление для нас обязателен. Пушкин — стержень русской культуры, который держит все предыдущее и все последующее: Выньте стержень — связи распадутся.

Историко-литературные работы удаются, когда в них есть второй, интимный смысл. Иначе они могут вовсе лишиться смысла. Знаю это по грустному опыту. Есть и в числе моих работ возникшие по случайному поводу или как вообще возможная научная задача — и это не годится.

В ранних работах был смысл принадлежности к опоязовской школе, к течению, которое отвечало моему антиромантизму, — в этом и был для меня его психологический смысл.

Так возник Вяземский, интимно, вместе с моими по образцу Вяземского задуманными записными книжками. А потом пошла профессиональная инерция, — раз человек занимался прозой Вяземского, следует ему, естественно, заняться и стихами.

Первый замысел книги о «Былом и думах» был очень личным — промежуточная литература. Это в книге и есть органическое. По законам профессионального бытия скоро становишься специалистом по Герцену, который комментирует в «Литнаследстве» письмо Герцена к неизвестному корреспонденту.

«О психологической прозе» — самая интимная из моих литературоведческих книг. Там говорится о промежуточной литературе, о важных вопросах жизни, о главных для меня писателях.

Труднее судить о чужих скрытых мотивах и импульсах, но кое-что поднимается на поверхность. У Гуковского в ранней молодости (мы как раз тогда познакомились) был особый комплекс противостояния. Туда входила разная архаика, вкус к дворянскому укладу русской жизни. Эта наивная, задиристая позиция принесла, как ни странно, отличные плоды — открытие литературы русского XVIII века, работы очень личные, но с интимностью, зашифрованной высоким профессионализмом.

С Бахтиным я встречалась мало. Но личный смысл его ученых трудов проступает. Бахтин, очевидно, был человек полифонический и диалогический. В частности, он издал две

книги не под своим именем. З. В. Гуковская, общавшаяся с Бахтиным в Малеевке, со свойственной ей нецеремонностью, спросила его прямо — почему он печатался под чужими именами. Бахтин ответил, что это его друзья, к которым он хорошо относился, и почему бы ему было не написать от их имени книги. Почему бы и нет? Бочаров — душеприказчик Бахтина — считает, что казус сложный, что просто заменить при переиздании имена Волошинова и Медведева именем Бахтина нельзя. Потому что эти книги написаны иначе.

Они написаны полифоническим человеком.

— Почему при господстве материалистического мировоззрения у нас так любят помпезные похороны?

— Потому, вероятно, что имярек теперь обезврежен. Пробуждается потребность как-то его компенсировать.

———

В 1949 у Эйхенбаума был второй инфаркт. А. П. (видная проработчица), ездившая в Москву, сообщила пушкинодомской дирекции, что, если Б. М. умрет, приказано похоронить его по первому разряду.

— А если он не умрет, — сказала я, — приказано сделать то же самое.

Конъюнктурное искусство ближе всего к классицизму — есть такое ходовое утверждение. Совершенно неверное. Классицизм (особенно XVIII века) — структура воспитательная, дидактическая, с заданными оценками и заранее известными выводами. Все так. Но притом классицизм обладал философскими предпосылками и выражал, с блистательной точностью, соответствующее общее сознание. Оды, которые восхваляли, не выражая мировоззрение, считались низкопробными *шинельными* стихами.

Эту же литературу создают люди, прошедшие опыт XIX века (оставим в стороне неграмотных и просто взыскующих легкого заработка). Невозможно полностью устранить воздействие этого опыта на психику. Разрыв между психикой и продукцией усугублен тем, что чтение русских классиков не возбраняется, даже поощряется.

Конъюнктурная литература уникальный социальный факт; изолированная система, включаясь в которую сразу начинают играть по ее правилам.

Помню свои разговоры с молодыми литераторами 30-х годов. Меня поражало, что они в своем роде честны, хотя думают и пишут разные вещи. Это было двоемирие, и *другой* мир литературы обладал для них своими, заведомо другими не только эстетическими, но и социальными закономерностями.

Как-то мы с Ирой просидели почти до утра у Бор. Мих. Эйхенбаума. Там были Шкловский и Зощенко. Пили все очень много и почему-то всё разом — вино, коньяк, водку. Шкловский отвалился и ушел спать в соседнюю комнату.

Точнее не помню, но было это в середине 50-х годов, после второго захода травли Зощенко (после его ответов английским студентам). Зощенко говорил о том, что травлю 1946 года (более страшную) он переносил стойко, со свежими силами. Но возобновление оказалось невыносимо. И лицо его было лицом человека, страдающего непрерывно, — хотя он пьет и ест. Как от настойчивой зубной боли.

Хржановский показывал в переделкинском Доме любопытный свой фильм «Рисунки Пушкина». Средствами мультипликации рисунки Пушкина приведены в движение; рисунки строят биографию. Фильм сразу показался мне труднопроходимым. Пушкин, скажут, изображен недостаточно почтительно. Но сказали другое. Кто-то в комиссии, принимавшей фильм, заявил, что Пушкин известен ему как поэт, а художник он плохой, и незачем этим заниматься. Что сам он на заседаниях рисует профили на бумажке, но не претендует, чтобы их показывали в кино.

Забавно, но среди всеобщего умиленного слюнотечения, в котором утоплен Пушкин, — в этой истории есть даже нечто освежающее.

Ата и Симонов учились вместе в Литинституте и поженились году в 35-м. Симонов был тогда бедный и неустроенный юноша (лет 19-ти), которого в другие вузы не принимали по случаю дворянского происхождения. Он как-то подрабатывал на заводе. В стихах подражал Киплингу. Он показывал мне свои стихи, и мы с ним считали, что они не для печати. Работоспособности он тогда уже был необыкновенной, и он говорил, что завоюет себе место. «Я не самый, может быть, талантливый, но я достигну».

Впоследствии — они уже разошлись — Ата говорила: «Костя — это не человек, это учреждение». Она имела в виду неотклоняющуюся организованность.

Во второй половине 30-х годов Симонов начал достигать. Он

не только писал уже для печати, но уже получил первый орден. На этом именно отрезке своего пути Симонов попросил меня познакомить его с Анной Андреевной. Она разрешила его привести.

Поднимаясь в пунинскую квартиру по крутой и темной лестнице одного из флигелей Фонтанного дома (здесь, вероятно, жили привилегированные из шереметевской челяди), он спросил:

— А можно ей поцеловать руку? Как вы думаете?

— Даже должно.

Облезлая дверь около звонка была залатана полоской жести. Николай Николаевич (Пунин) — может быть, не без умысла — отодрал от банки тушенки кусок с сохранившейся надписью: «свиная».

Мы не успели еще позвонить, и Симонов вдруг быстро снял с лацкана пиджака новенький орден и сунул его в карман.

В феврале 1933-го Мандельштам приезжал в Ленинград; состоялся вечер его стихов. Анна Андр. позвала к себе «на Мандельштама» Борю и меня. Как раз в эти дни его и меня арестовали (потом скоро выпустили). А. А. сказала Мандельштамам:

— Вот сыр, вот колбаса, а гостей — простите — посадили.

*(Рассказала мне Ахматова.)*

Х. говорит, что из прозы сейчас можно читать Чехова, Пруста и отчасти Толстого. То есть «Анну Каренину», а насчет «Войны и мира» он уже не так уверен (я уверена).

Романы бесполезно читать, потому что этот вид условности перестал работать (условность стиха пока работает). Пруста можно читать, потому что это преодоление романа. И не нутром, как пытались это сделать авангардисты, а интеллектом. Вместо всегда условного словесного изображения жизни — высшая реальность размышления о жизни. Толстого можно читать, потому что он переступил через персонажа и писал о формах жизни, о типологии жизненного процесса. Самая принципиальная вещь у него — «Смерть Ивана Ильича» (типология умирания). Чехова можно читать потому, что печаль жизни он изобразил именно ту, которую мы в себе несем.

В «Литературной газете» дискуссия об этичности пересадки органов (в частности, сердца) от только что умерших людей. Предвидится казус: нуждающихся в пересадке всегда будет больше, чем доноров. Кому же достанется дефицитное чужое сердце? Один литератор высказался: конечно, тому, кто обладает

наибольшей общественной ценностью. Попробуем представить себе, как, какими критериями в хирургическом отделении больницы (или выше?) решается этот вопрос. Что, например, перевесит — ученая степень или занимаемая должность? Конечно, практически сердце, в случае надобности, получат те самые, которые получают сверхдефицитные лекарства. Но какой одичалый мозг мог эту мысль сформулировать и выдать во всеуслышание.

Разговоры о том, что такие-то стихи плохи, потому что литературны… Но литература и есть литература; в то же время она одна из ипостасей жизни.

Притом мы знаем, что литературные модели обладали в жизни человека страшной реальностью, даже смертельной. Они формировали идеал, они деформировали, они губили («Ступай к другим. Уже написан Вертер…»).

В Переделкине посетила Шкловского (у него там дача). Мы не виделись много лет. Для 86-ти лет он выглядит хорошо, но плохо ходит; нога забинтована.

Говорил он много и возбужденно, под конец устал. Он говорил бы точно так же, если бы к нему пришла аспирантка первого курса. Это ему все равно. Объяснял мне про психологический роман — в психологическом романе обязательно должно быть противоречие.

Говорил и про книгу «О психологической прозе»:

— Ну, про Толстого — вы понимаете — я и сам знаю. А где вы про французов, там я меньше знаю материал, так что мне было интереснее…

Ему жаль, что у меня не освещены сексуальные извращения Руссо. Интересная тема…

Он наглухо отделен от другого, от всякой чужой мысли. *Другой* — это только случайный повод. Ему кажется, что он все еще все видит заново и все начинает сначала, как 65 лет тому назад.

Надежда Яковлевна <Мандельштам> говорила о разном отношении начальства к Пастернаку и к Мандельштаму. Они все же понимали статус Пастернака. Пастернак — дачник. А Мандельштам был всегда непонятно кто.

___

В 30-х годах я несколько раз читала Ахматовой фрагменты из моих эссе.

Между прочим она сказала:

— Очень точно о любви. Даже неприятно слушать. Я гордилась оценкой столь великого знатока в этом деле.

Выступая на созванной в институте конференции для канонизации художественной прозы Брежнева, Б. сравнивал эту прозу с пушкинской. Это в чистом виде действие социальных механизмов. Он знал, что академиком его все равно не сделают, что, с другой стороны, ему решительно ничто не угрожает, если он не сравнит Брежнева с Пушкиным и даже если вообще откажется выступать. Что на этом деле он не выиграет и не потеряет.

Что же оно такое? — только сталинских времен привычка к бесстыдству. Страх искоренил стыд. Люди без защитных покровов, голые — и никто никого не стыдится.

Бахтин, враждовавший с формалистами, в широком историческом развороте включен вместе с ними в единое понимание литературы как деятельности специфической. В книге о Достоевском впервые рассматривались не идеи романа, но роман идей.

По телевидению показали обсуждение проекта молодежных передач. Один из организаторов сказал, что предполагается специальная молодежная передача для людей до 35-ти, — когда они уже не юноши, но еще не достигли зрелости.

Вдумайтесь в состояние общественного сознания, которое считает, что человек в 35 лет находится на ступени развития, требующей особых, приспособленных к его разумению текстов.

Похороны… Опять цепь бездумных и не имеющих смысла действий, полностью отчужденных от совершившегося события. Для безрелигиозного сознания наступило несуществование, *ничтожество*. О загробном ничтожестве писал восьмидесятилетний Вяземский и двадцатичетырехлетний Пушкин:

Ничтожество меня за гробом ожидает…

И вот ничтожество облекают в грубые формы бытовых представлений и плоских гражданских церемоний. И участники говорят: «Как все прошло хорошо». И испытывают удовлетворение.

У ничтожества нет имени, но имя с чинами и званиями пишут на гробовой доске. Все это нужно близким и нужно социуму, который не отпускает человека и не понимает небытия. И мы готовы в этом участвовать. Даже в непроходимой путанице странных обрядов, когда неверующие поминают душу неверующих.

В интеллигентской среде сейчас прочно вошли в обиход поминки, приличествовавшие людям совсем другого, традиционного склада, другого отношения к смерти. Знакомые сейчас не без удовольствия думают о том, что предстоит пообщаться, выпить и закусить — перед лицом небытия. А для близких — это одна из возможностей продлить иллюзии продолжающегося условного существования.

В самом ли деле я хочу, чтобы вместе с человеком исчезла память о нем и его свершениях? Нет, это невозможно. Но его имя, его дела, его книги или картины — все это уже не он. Это только отпавший от него факт общественных связей, социума, культуры. Он же есть несуществование, которое нельзя вообразить и которое поэтому живые загоняют в свои топорные оболочки.

На похоронах N. кто-то довольно долго говорил о том, что он является автором ценных библиографических справочников.

Всякий раз как предстоял выход книги большого поэта XX века (Андрей Белый, Мандельштам, Пастернак, Цветаева), вокруг нее во всех инстанциях поднималась паника. Как если бы от появления этой именно книги сразу должны были рухнуть устои. Но книга после многолетних мытарств выходила, а устои оставались на месте.

---

Читаем романы о 30-х годах… Читать местами мучительно. Вот так мы и жили. В разных вариантах, но так. З. Г. говорила: примета времени даже не террор, не жестокость (это бывало и в другие времена), а предательство. Всепроникающее, не миновавшее никого — от доносивших до безмолвствовавших.

По ходу жизни работают разные защитные механизмы.

Обволакивают, подстилают соломку. Чтоб мы не кричали от ужаса. Мы не видим картину проживаемой жизни. Всякий раз только частицу. И всякий раз она — частица — к нам или мы к ней приспособлены.

А теперь минутами ретроспективный ужас. Распахивается «бездна унижения». Как же это мы шли в эту бездну, шаг за шагом, ничего не пропуская…

*1987*

Как героическое воспринимается поведение людей, рискующих жизнью в политической борьбе или, скажем, в космических полетах. Они индивидуально отмечены. Но на войне миллионы самых обыкновенных людей, далеко не всегда по природе храбрых, ежеминутно рискуют жизнью и делают то, что от них требует ситуация войны.

В одном случае выбор, разумеется, общественно обусловленный — и все же психологически свободный; в другом — социальное принуждение. Не обязательно быть народовольцем, но быть военнообязанным — обязательно.

Потолок, последний предел героического — жертва жизнью. Война XX века превращает этот высший нравственный критерий в обыденную норму, в расхожее требование от любого человека, в том числе тылового (домашние хозяйки обязаны были дежурить на крыше и тушить зажигательные бомбы).

Конечно, на войне уклоняющегося ждут страшные кары. Смерть, которой он хотел избежать, ждет уклоняющегося с еще большей неизбежностью. Но в основном человеком управляет не страх расплаты, а всесилие нормы социального поведения. Человек широко нарушает такие нормы, но, по возможности, тайком. Трудно нарушать, если он на виду, если он просматривается своей референтной группой. Средняя норма поведения тем обязательнее, чем крепче и активнее референтная группа. Война скрепляет референтную группу круговой порукой жизни и смерти.

Социальные механизмы всемогущи. Высший, предельный акт самоотвержения (символ его искупительная жертва Христа) они могут сделать параграфом военного устава, предназначенного для общего употребления.

Социальные механизмы поведения столь могущественны, что они управляют эмоциями, страстями. Они способны тормозить рефлексы, реакции на раздражители. Поведение русского дворянина первой половины XIX века — удивительная смесь щепетильности раздражительных требований чести и

наследственных навыков смирения, воспитанных практикой самодержавно-полицейского государства.

Известно, по каким почти несуществующим причинам неоднократно стрелялся Пушкин. Соллогуб, по поводу собственной, едва не состоявшейся с ним дуэли, говорит, что Пушкин «по особому щегольству его привычек не хотел уже отказываться от дела, им затеянного». Соллогуб же в своих «Воспоминаниях» рассказывает о том, как Пушкин читал ему свое письмо к Геккерну: «Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти?»

Но вот против Бенкендорфа африканское происхождение не срабатывало. А Бенкендорф писал хамские письма с хамскими наставлениями. Конечно, они больно задевали пушкинскую социальную травму, мучили обидой, глухой злобой. Но сокрушительные рефлексы заранее были обузданы. Вместо «щегольских привычек» заданные условия социального устройства. Действия Бенкендорфа (как и царя) — за пределами кодекса чести. Они полицейское табу.

Многие сейчас пишут так, как если бы XX века, — включая Чехова, — никогда не существовало. Разве что Куприн. Как если бы не было и Горького, который писатель XX века; особенно в «Климе Самгине».

---

В 20-х годах Мандельштам писал ортодоксальные рецензии (в том числе внутренние). Они не столько были камуфляжем, сколько самовоспитанием. Это явствует из узнаваемости в них Мандельштама, его метафорических ходов. То же и ода Сталину 1937 года — замечательные, к несчастью, и в высшей степени его стихи. Значит, они соответствовали какому-то из несогласованных между собой поворотов мандельштамовского сознания.

Совсем другое — стихи о Сталине, которые Ахматова написала для «Огонька». Она пошла с ними к Томашевским, с которыми была очень дружна, и спросила, можно ли их послать. Борис Викторович, — рассказывала мне Ирина Николаевна, — ничего на это не ответил и молча сел за машинку перепечатывать стихи для отправки в Москву. При этом он по своему разумению, не спрашивая Анну Андреевну, исправлял особенно грубые

языковые и стиховые погрешности.

Когда поэты говорят то, чего не думают, — они говорят не своим языком.

## *Ларошфуко*

У Ларошфуко терминология моралиста, но хватка психолога. В духе XVII века он оперирует неподвижными категориями добродетелей и пороков, но его динамическое понимание человека и страстей человека в сущности стирает эти рубрики. Ларошфуко отрицает и разлагает моральные понятия, которыми пользуется. Он стремится рассматривать пружины и мотивы поведения, подвергая сомнению результаты и готовые видимости. Ларошфуко выводит поведение из единого, основного мотива, называя его гордыней (orgueil). Нечто очень близкое к новейшей воле к могуществу. В одном из своих «Предуведомлений читателю» он подчеркивал: «…слово *интерес* не всегда означает интерес имущественный, но чаще всего интерес чести и славы…» Поэтому система Ларошфуко может объяснить не только низкие, но и высокие поступки. Она допускает моральную иерархию.

Эпиграф к «Максимам»: «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки» — можно бы заменить другим афоризмом: «Интересу, которому приписывают все наши преступления, часто принадлежит заслуга наших хороших поступков».

Ларошфуко понял сублимацию. В какой-то мере он рассматривает уже поведение человека как непрестанную идеологизацию влечений (интересов). Это выгодно отличает его от плоской мизантропии, которая ничего не понимает в человеке, потому что видит в нем одну шкурность и не видит сублимацию шкурности. На одной шкурности нельзя было бы создать ничего похожего на человеческое общество.

## *Разговор*

— Но как вы понимаете быт?

— Примерно, как я понимаю характер. Что такое характер? Примышляемый принцип связи, он извне налагается на совокупность возобновляющихся психических проявлений человека. Быт — это принцип связи, который мы налагаем на вещи, явления, образующие среду обитания. Основная проблема состоит здесь в приручении вещей, в переманивании вещей на

свою сторону. Вот эти свои, обезвреженные вещи, эта область воздействия и ответственности отдельного человека — это его дом…

— Быт, дом… Все это так или иначе стык между человеком и миром.

— Разумеется. А самый опасный для человека стык — его профессия.

— Точнее это можно назвать социальной функцией…

— Пусть так. Во всяком случае, для созидающего человека главный вопрос — отношение профессии к творчеству. Идеальное решение: профессия совпадает с творчеством. На таком отношении и должна работать культура. Идеальное соотношение нам противопоказано. Существуют разные формы обхода. В том числе теория второй профессии… Пушкин говорил: пишу для себя, печатаю для денег. Это куда бы ни шло, но мы давно опрокинули формулу: одно пишу для себя, другое печатаю для денег. С изменением формулы немедленно встала и треснула нас по лбу проблема времени. Время это и есть жизнь, это и есть мысль; процесс, пребывающее и движущееся сознание. Именно эту реальность мы знаем. — осознаваемое, интеллектуально переживаемое время.

После важной, интересной, долгой научной работы можно вдруг очнуться с чувством — меня не было. Время не протекало в сознании, но сразу сплотилось многомесячным сгустком. Мысли через меня переваливались вовне, не оставляя на мне следа. Так называемая объективно значимая деятельность. Столь интересная, что при этом не замечаешь времени. Мы окружены людьми, которые не замечают и не имеют времени и гордятся этим. Нет таких почестей, силы и славы, которыми бы наши современники гордились так, как они гордятся отсутствием времени — то есть субстанции жизни. Вообще дело не в том, что время — деньги. Это годится для американцев. Для нас дело в том, что деньги — время. Время для своего дела.

## *Александр Кушнер*

Последняя книга Александра Кушнера «Дневные сны», так же и предпоследняя — «Таврический сад», воспринимается как единый поток. В более ранних его книгах присутствовало единство авторского взгляда и тона, но они в гораздо большей степени были книгами отдельных, отчетливо очерченных стихов. «Дневные сны» не собрание стихотворений, а именно книга — органическая связь, не событийная, но внутренняя связь

специфически поэтического сюжета. Преобладающая ее тематика — красота жизни, счастье жизни, постигаемой в таких ее проявлениях, как природа, творчество, культура, человеческие отношения.

Настоящая лирика всегда была разговором о жизненных ценностях, своего рода экспозицией ценности. Но в лирике нового времени, особенно любовной (ее вечный прототип — сонеты Петрарки), установилась традиция изображения ценностей, ускользающих от человека, утраченных им или ему недоступных. В искусстве существует глубокая соотнесенность между жизнеутверждающим и трагическим. Потому что трагедия — это всегда коллизия утраченной ценности, и без утверждения ценностей и высших для человека целей трагическое переживание невозможно.

С конца XVIII века на несколько десятилетий основной формой интимной лирики становится элегия с ее обязательной тематикой неблагополучной любви, разлуки, быстротечности жизни и ее радостей. Таким образом, основная лирическая форма уже по самым своим жанровым условиям предполагала меланхолическую тональность. Но и в позднейшей, уже внежанровой лирике редко писали о счастливой любви — эта тема не имела традиции. В сборнике «Сестра моя жизнь» Пастернак прямо говорит о счастье жизни, но любовь и в этой оптимистической книге конфликтна, неблагополучна.

Вразрез с господствующей традицией лирики Кушнер в «Дневных снах» пишет о счастливой любви. Но любовь эта у него тревожна. Счастливая любовь, как всякое счастье и красота, конечна; они принадлежат миру, которому присущи опасности, трудности и противоречия. Это чувство то просвечивает сквозь текст стихов, то прямо в них названо:

Страх и трепет, страх и трепет, страх
За того, кто дорог нам и мил…
С самой жаркой, кровной стороны,
Уязвимо-близкой, дорогой —
Как мы жалки, не защищены,
Что за счастье, вечный страх какой!

«Дневные сны» рассказывают о счастье жизни и о неутихающей за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая напряженность. В ней осуществляется взаимосвязанность жизнеутверждающего и трагического. Изображенный в книге человек радость данного ему мира приемлет как потенцию, как вечно присутствующую возможность,

которую надо достигать, добывать и в борьбе с самим собой.

Настойчивое жизнеутверждение включает книгу Кушнера в круг проблематики очень современной. Индивидуализм XIX и особенно XX века последовательно вел к отрицанию смысла существования, обреченного смерти. В своем логическом развитии индивидуализм, как известно, уткнулся в абсурд, стал культурно непродуктивным. Именно в мире, исполненном конфликтов и опасностей, таящем угрозу атомного уничтожения, насущнейшим оказался вопрос, почему, вопреки индивидуалистической логике тщеты и бессмысленности, человек продолжает любить, творить, радоваться существованию… Вопрос оправдания жизни, ее защиты.

В «Дневных снах» самый факт жизни уже чудесен («Обычной жизнью названное чудо…»). Существовать — несмотря на подстерегающие страдания — это удивительная удача, выпавшая на долю человека; пусть она и не может длиться вечно («Нам пригласительный билет на пир вручен, Нас просит облако дожить до юбилея…»). Но понимание это дается долгим и трудным опытом.

Смысл жизни — в жизни, в ней самой.
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти.
Душа, цепляясь по пути
За все, что высилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.

Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия.

Автор «Дневных снов» наделен повышенной остротой восприятия. Он сам говорит о тонком слухе, который «улиткой был завит», об осязании, которое «…любовно льнуло… к поверхностям…». Но в стихах Кушнера мы имеем дело не с бездумным восприятием чувственного мира, а с реакцией на него, претворенной в познание, в поэтическую концепцию.

Ей, мысли, нужно раздражение,
Телесный нужен отголосок…
…Сердцебиение, дыхание,
Мысль дремлет без их учащенья.

Среди безвкусного питания
Она так любит угощенье
Объемом, запах, осязание…

Восприятие, даже ощущение питает мысль. Мир вещей, природы, эмоциональных отношений для социального человека — это мир исторический, социально оформленный, интеллектуально переработанный. Кушнер в своей поэзии идет индуктивным путем — от частного и резко конкретного к поэтически обобщенному, экзистенциальному. Вот почему он может сказать о себе:

Я не вещи люблю, а предметную связь
С этим миром, в котором живем.

Предметная связь (название одного из разделов книги) — это также и связь предметов между собой, их пересечения в уподоблениях поэта. Так, например, подробно показанное картофельное поле уподобляется вдруг у Кушнера морю, тоже очень предметно воспринятому.

Для Кушнера интеллектуализация материального мира — это непрестанный труд поисков наиболее точного слова.

…Видишь: я рад перерыть,
Перетряхнуть наш словарь, выбирая
Определения. Господи, быть
Точным и пристальным — радость какая!..
…Видишь ли, я не считаю, что нет
Слов, я и счастья без слов бы не понял.

Счастье, утверждает поэт, реализуется в познавательной форме — в слове. Только словом можно остановить текучее настоящее, и оно же — слово — всегда обобщение. Такова диалектика слова.

В поэзии Кушнера устойчивое интеллектуальное начало связано с особым его отношением к явлениям культуры. Кушнера иногда даже упрекают в литературности, книжности. Но противопоставление литературы и жизни в принципе неправомерно. Культура — это историческая форма действительности, литература (настоящая, конечно) — один из аспектов самой жизни. Есть произведения, которые мы только читаем, а есть такие, с которыми мы живем. Включенные в

сознание, они всплывают по разным, непредсказуемым поводам, интерпретируя факты жизни. Именно таковы многочисленные культурные реминисценции Кушнера, его явные и скрытые литературные цитаты. Кушнер не пишет стихи в специально историко-культурном жанре. Культура свободно проникает в разные пласты его поэтического языка, в том числе и в самый бытовой, разговорный пласт.

В книге «Дневные сны» ряд стихотворений посвящен морю — пристально рассматриваемому, прекрасному и мощному. Но есть у Кушнера и интимное пляжное море. Оно отражалось в бутылях пляжного буфета, «лезло» в зеркальце, которое женщина вынимает из сумочки. И тут же в этот словесный ряд вступают подобающие морю напоминания о грандиозном. Гомер («Где Одиссей? Удивлялось: когда это было!»), Пушкин («Всех утопить? Или все-таки слушать пластинку…»). Здесь реминисценция пушкинской «Сцены из „Фауста“» (у Пушкина — «Всё утопить»). Она несет в себе динамику многообразных смысловых наслоений, образовавшихся вокруг каждого пушкинского текста; она раздвигает, ломает контекст.

С ролью культурных реминисценций, вообще категорий культуры в поэзии Кушнера связано распространенное восприятие его стихов как ориентированных на классические образцы русского XIX века. Но «классичность» поэта наших дней напрасно понимают иногда как повторение, воспроизведение. Воспроизводить через полтораста лет фактуру стиха пушкинской поры могут только эпигоны. Кушнер не изобретает стиховые формы, слова, но он изменяет их значение новым принципом смысловых связей. Он современный поэт, приобщенный к открытой XX веком повышенной суггестивности слова. Суггестивность — это и развертывание смыслового звена в неожиданную семантическую цепочку, и пропуск логических звеньев — внушение читателю неназванных представлений.

Как мы в уме своем уверены,
Что вслед за ласточкой с балкона
Не устремимся, злонамеренны,
Безвольно, страстно, исступленно,
Нарочно, нехотя, рассеянно,
Полуосознанно, случайно…
Кем нам уверенность навеяна
В себе, извечна, изначальна?

Что отделяет от безумия
Ум, кроме поручней непрочных?

Без них не выдержит и мумия
Соседство ласточек проточных:
За тенью с яркой спинкой белою
Шагнул бы, недоумевая,
С безумной мыслью — что я делаю? —
Последний, сладкий страх глотая.

Сюжет этого стихотворения невыводим из традиционных лирических формул. Изображено сложное душевное состояние: вечный, исконный порыв человека к полету, к преодолению земного тяготения и противостоящие порыву психологические запреты, материализованные в «поручнях непрочных». Образом ласточек «проточных» означено это граничащее с безумием освобождение. В то же время ласточка здесь реальная птица с белой спинкой.

У Кушнера, разумеется, есть ассоциативные ходы и метафорические аспекты вещей, но не это основное для его поэтики. Для нее характернее взаимодействие, динамическое рядоположение слов, преобразованных контекстом. Поэтому Кушнер любит называние вещей, перечисление, нагнетение лексически подобных определений. Поэтому ему часто нужен объемный синтаксис — фраза, охватывающая строфу.

Стихи Кушнера живут не метафорическими изменениями, но скрещениями и переливами значений, сохраняющих предметность, свой первичный логический смысл. Такова одна из возможностей современного поэтического языка с его подспудными соотношениями слов. В «Дневных снах» стиховая символика, минуя и открытую метафоричность, и обнаженную сюжетную связь, ушла в глубину текста.

Поэтические средства Кушнера современны потому, что они призваны выразить современную авторскую позицию — в принципе не романтическую. Романтизм насчитывал множество разновидностей, но их объединяло ключевое положение авторской личности, воспринимаемой как личность поэта.

В «Охранной грамоте» (1930) Пастернак, вспоминая 1910-е годы, писал о «романтической манере», с которой он сознательно расстался, — «это было пониманье жизни как жизни поэта». Такое понимание Кушнеру чуждо. В своих стихах он никогда не называет себя поэтом. Он осознает свою жизнь как жизнь человека среди подобных ему людей, своих современников.

*1986*

«Главное, не теряйте отчаянья», — любил повторять Николай

Николаевич Пунин.

Вспоминал ли он эти слова в концлагере, где он умер (уже накануне освобождения, после смерти Сталина), где, говорят, над ним изощренно издевался невзлюбивший его начальник.

Бердяев. Перечитываю автобиографию. Ведущая мысль — индивидуализм, философский персонализм. Раскаленный протест против всего его ограничивающего, — откуда бы оно ни исходило, даже от Бога. Но суть в том, что это индивидуализм религиозного сознания, то есть заведомо обеспеченного ценностями и смыслами. И в мире ценностей оно ведет себя непринужденно.

А безверию — где ему найти аксеологическую непреложность? Для этого существуют, конечно, механизмы социальных правил или настойчивые творческие и эмоциональные побуждения. Но между ними и последней этической истиной всегда для нас остается зазор, в котором мучительно шевелится необязательность.

Честертон настаивает на том, что главное, «чтобы человек, попросту сидящий в кресле, вдруг понял, что живет, и стал счастлив». «Все прекрасно по сравнению с небытием», — уверяет Честертон. Это красивая мысль. Она меня прельщает. Но есть в ней что-то от викторианской холености.

Честертон умер в 1936 году. Он видел еще не все, но многое видел; у него брат погиб на войне четырнадцатого года. И все же девятнадцативечное (вероятно, иллюзорное) чувство безопасности.

Они не понимали, что бывает существование — например, лагерное существование миллионов, — которое хуже небытия, которое от перехода в небытие удерживает только темный, дремучий инстинкт жизни.

## *Лолита*

Набоков преувеличен. Он большой писатель; он великолепен. Но он не гений, который открывает нового человека, — как открывали Сервантес и Шекспир, Толстой, Достоевский, Пруст, Чехов, да и Кафка. Лучшее, что Набоков написал (из мне известного) — «Лолита».

Недавно в «Литературной газете» состоялся «круглый стол» (с иностранцами), посвященный Набокову. Сотрудница «ЛГ» сказала, что Набоков — прозаик не ахти какой, зато очень

хороший поэт, вроде Бунина. Один из иностранцев заявил, что «Лолиту» Набоков написал с целью заработать на порнографии.

«Лолита» — роман моралистический; в развязке даже до навязчивости моралистический. Читатель ни на минуту не забывает о том, что герой творит черное дело. По «Лолита» также книга о великой любви, непредсказуемо порожденной черным делом. В конце он на последнем пределе любит ее — беременную, убогую жену убогого калеки.

Великая любовь — в отличие от любви умеренной — бывает похожа на болезнь, на опрокинутое равновесие. Для нее годятся любые, непредусмотренные ситуации; она их на свой лад обрабатывает.

Лена Ваулина сказала по поводу моих последних записей:

— Вы пишете все круче.

Иногда это приходит с годами. Так было у Герцена, например. Лишнее отпадает, а нужное уплотняется.

Старость этому способствует — пока не разрушила мозг.

Зато вещи большого объема я уже писать не могу…

Я прочитала Нине Павловне Снетковой последние записи, в том числе, что «пишу круто». Она сказала, что молодым нравится, чтобы было круто, а ей уже не подходит. Раньше у меня эмоция подавлялась, но обнаруживалась, пружинила. А теперь все рационалистично и безукоризненно; эмоцию, страсть в самом деле удалось подавить. Раньше мысль сама собою развертывалась, теперь она загнана в афоризм.

Я: — Ну, на этот счет я сделала прямое признание: я уже не могу писать вещи большого объема…

Н. П.: — Мне не обязательно нужен объем. Мне нужно пространство… И чтобы мысль в нем можно было повернуть так или иначе. От вашей мысли раньше можно было идти в разные стороны. А теперь, когда все вытесано из камня…

Существенный разговор. Свою прозу я всегда представляла себе как скрещение анализа с лирикой (рационалистический импрессионизм, — сказал когда-то один слушатель «Возвращения домой»). Если убрать рационалистичность, получится слюна. Если убрать эмоцию, получится наукообразие. Но как сохранить это двоящееся единство противоположных начал?

Все большие (относительно) вещи, которые я написала, — включая «Блокадного человека», — были аналитической моделью катастрофического опыта чувства. Впрочем, вымышленные сюжетные ходы тоже укладывались в эту модель.

А сейчас, кажется, все уже стало воспоминанием. Любовь стала воспоминанием. Отчаянье тоже; и так называемая беспричинная тоска, причина которой в необъяснимости существования. Воспоминанием стал даже страх. Потому что смерть больше не вопрос, решая который мы выясняем отношения с жизнью, — но близлежащая необходимость.

Не сковал ли все, что я могу еще сделать, холод отодвинутого времени…

## *О конфликте свободном и принудительном*

Шестов в «Философии трагедии» пробует проследить «перерождение убеждений Достоевского». Достоевский на каторге и после каторги сохранил гумано-демократические ценности своей молодости. Опыт смертного приговора и каторжного житья не вывел его из колеи, когда-то проложенной «Бедными людьми». Но в начале 60-х годов, без видимого повода, путем внутреннего, таинственного «перерождения убеждений» возникает герой «Записок из подполья» — архетип всех последующих подпольных людей разного уровня, от Ивана Карамазова до Смердякова. Включая Раскольникова, Свидригайлова, Рогожина, Ставрогина, Кириллова… Все они предъявляют счет дисгармонии жизни и жестоко расплачиваются по этому счету.

«Каторжная мудрость нагнала Достоевского через много лет», — говорит Шестов. И он уверен, что мысль подпольного человека — это и есть мысль самого Достоевского (то же, замечу, утверждал и Горький). Только мысль эта у него «прячется под формой обличительной повести».

Не буду вдаваться в историко-литературные соображения Шестова. Для меня важнее другое — идея самопроизвольно возникающего конфликта. Возникающего не под давлением обстоятельств, но потому, что человек, по самой своей интеллектуальной сути, поставлен перед набором экзистенциальных вопросов и то с тем, то с другим из них вступает в свободный контакт. Но вступившего мысль мертвой хваткой тащит в нужном ей направлении. Левиным, процветающим помещиком, счастливым отцом, счастливым мужем, влюбленным в молодую жену, вопрос смысла жизни и смерти вдруг овладевает с силой, прямо толкающей его в петлю. Самая интимная черта русской литературы — в изображении этого свободного и неотвратимого конфликта.

Дальше всех пошел Достоевский. Его роман — роман идей именно потому, что человек без всякой обусловленности

выбирает себе идею, которой он и обусловлен в своем поведении.

Все изменилось тогда, когда задача *как жить?* заменилась задачей *как выжить?* Экзистенциальные вопросы стушевались, потому что нравственный опыт претерпел прагматическое перерождение. Притом люди сейчас примеривают к себе неслыханную информацию, хлынувшую на них из прошлого. Раскольников вопрошал, можно ли во имя высших целей убить одно ненужное и зловредное существо. А люди наших дней читают о том, как, не смущаясь, убили и замучили миллионы невинных. Иван Карамазов возвращал билет, не вынеся слезы одного ребенка, а нам показали пучину безответных слез. Кириллов застрелился без внешнего повода, чтобы снять страх и заявить, что человек свободен. Мы же узнаём, как пускали себе пулю в лоб, чтобы избежать пытки и безмерного унижения.

Этим поколениям достались принудительные конфликты, бремя обстоятельств, а не сомнений, рожденных высоким произволом свободно выбранной трагедии.

Если все же изнутри возникает тревога, наши современники склонны успокаивать ее обращением к догме — православной, католической, даже буддийской. Это один из типовых уходов от экзистенциальных затруднений. Личность не чувствует себя в силах и вправе на личное решение.

Здесь я прибегну к автоцитате (из моего эссе «Авангард»): «Романтический индивидуализм состоял в том, что безусловно ценная личность присваивала себе безусловные ценности, ей внеположные, вплоть до божественных. Романтическое отношение субъекта и объекта нарушило уже декадентство конца XIX века. Объективные ценности взяты были под сомнение, но ценность личности еще не оспаривалась. XX век с его непомерными социальными давлениями постепенно отнял у человека переживание абсолютной самоценности». Индивидуализм без внеличных ценностей и без самоценной личности перестает быть индивидуализмом. Определяющей оказывается социальная роль человека.

Человека можно познавать на разных уровнях. На уровне его личных свойств, его поведения, наконец на уровне его общественной функции, то есть его соотнесенности с данной исторической структурой. Между оценочными категориями здесь остается зазор, они друг друга не покрывают. Возможно, например, такое соотношение: человек неплохих домашних качеств вполне может придерживаться поведения карьериста, приспособленца, а в конечном счете он же осуществляет положительную функцию, служа положительным социальным целям. Сейчас как раз много таких, поставивших на исторически

перспективную лошадь.

Психологический детерминизм XIX века объяснял поведение и тем самым его оправдывал. Но социальную функцию оправдать нельзя. Нам нет никакого дела до личных свойств и частных настроений фашистов и сталинистов. Они только функция — зло чистой пробы.

Разговор с Машевским. Его занимает новый, современный персонаж, который действует, не имея характера. Персонаж Кафки. Теперь Машевский нашел этого героя в моей прозе. Он не имеет характера, и поэтому нет оправдания для его вины.

Утраченный индивидуализм, вопросы, которых больше не задают, размытые грани характера — все это взаимосвязано. Характер — порождение психологии и литературы XIX века с ее отчетливым чертежом самосознающей личности.

Свойствами мыслили искони, начиная античным человековедением. И далее на протяжении многих веков. Девятнадцатый век открыл характер. Привел свойства в динамическую связь взаимодействия, соподчинения, противоречия. Этой системой управляли доминанты, позволявшие понять человека как разновидность той или иной типологической модели. Есть и сейчас люди с преобладающими свойствами, которых удобно моделировать. Но в целом человек XX века — человек неясных доминант да и свойств вообще (Музиль назвал свой роман «Человек без свойств»). Не характер, но латентный набор всеобщих и всевозможных реакций на возможные ситуации. Каждый при случае отвечает на ситуацию ревностью, завистью, тщеславием, состраданием, злобой, любовью…

Человека, не имеющего характера, задолго до Кафки открыл Чехов, который стоял у истоков прозы XX века. Персонаж Чехова — это социальная роль (очень важна для него профессия действующих лиц) и спонтанные реакции на очередной поворот жизни.

*1988*

Человек садится за письменный стол, берет перо. И начинается странный — если вдуматься — процесс. Какой-то участок еще бесформенного бытия отщепляется, высвобождается и с помощью слов, с усилием подбираемых слов становится значащей формой, произведением, вещью.

Искусство есть интерпретация опыта, — не действительности, потому что действительность мы знаем только в опыте. Интерпретация эстетическая. Эстетическое начинается вместе с

активным переживанием символического единства означающего и означаемого. Поэтому латентно эстетическое содержится в любой деятельности, на любых участках поведения.

# Из воспоминаний. Современники

# Проблема поведения. *Б. М. Эйхенбаум*

«Надо решать проблему поведения», — писал Эйхенбаум Шкловскому в 1929 году. Частичная публикация дневников и писем Эйхенбаума показала, что проблема поведения, научного и жизненного, всегда оставалась для него самой насущной.

Борис Михайлович Эйхенбаум — один из крупнейших наших филологов — не сразу нашел основную область своих интересов. До поступления на филологический факультет Петербургского университета он учился в Военно-медицинской академии (отец и мать Бориса Михайловича были врачами), изучал анатомию в Вольной высшей школе Лесгафта, одновременно посещая музыкальную школу. Музыкой он увлекался страстно, в будущем видел себя пианистом.

В пределах избранной наконец профессии позиция Эйхенбаума также была изменчивой. В самых ранних его работах (1910-е годы) литература предстает в философском преломлении, как выражение «сущности мира», «целостного бытия». Эйхенбаум круто порвал с этими установками, вступив в 1918 году в ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического языка). Пафосом ОПОЯЗа являлось теоретическое изучение произведения литературы в специфике его словесной материи и способов его построения. Эйхенбаум считал название «формальный метод» неудачно выбранным и в своих статьях предлагал называть его *морфологическим*. Борис Михайлович как-то сказал мне: «Нам следовало тогда назвать себя не формалистами, а специфистами».

В дальнейшем оказалось, что стоявшие на очереди исторические, эволюционные задачи не поддаются решению имманентным методом. Так начался кризис школы. На материале дневников и переписки Эйхенбаума М. Чудакова — в статье, напечатанной во втором «Тыняновском сборнике», — показала, что побудителем к пересмотру позиций оказалось не только внешнее давление на опоязовцев, но еще более — неуклонно назревающая внутренняя потребность. Для Эйхенбаума первоначальным выходом из переставшей удовлетворять имманентности был выход в теорию *литературного быта*, он начинает ее разрабатывать с середины 20-х годов. Литературный быт — это формы литературной работы и литературной (в частности, журнальной) борьбы и формы профессионального бытия писателя. Это вопрос: «Как быть писателем?» В таком виде Эйхенбауму первоначально открылось значение «многообразных исторических связей и соотношений». С годами понимание этих связей расширялось, и в более поздних трудах Эйхенбаума мир

писателя предстает уже в полноте социально-исторического охвата.

Через все периоды своего научного развития Борис Михайлович пронес присущий ему артистизм, — эту черту отмечали все, с ним общавшиеся. Его и с опоязовцами объединяло острое ощущение качества литературной вещи. В ОПОЯЗе Эйхенбауму были важны не только теории, но и стиль поведения. Связь с современной литературой, особенно тесная с футуристами. Даже скандалы на диспутах — великим мастером их был Шкловский — протекали по футуристической модели. Через несколько лет подобную писательскую атмосферу Борис Михайлович нашел и в Государственном институте истории искусств, где стихи сочиняли решительно все — профессора, и студенты, и даже наш величественный вахтер.

В ОПОЯЗе самыми близкими были Тынянов и Шкловский (и остались до самого конца). Шкловский изначально был писателем, Тынянов готовился им стать. Эйхенбаум не стал писателем в тесном смысле слова, но всю жизнь у него было писательское самоощущение. В молодости Эйхенбаум писал стихи (Гумилев даже кое-что напечатал в журнале «Гиперборей»), в 30-х годах написал роман «Маршрут в бессмертие» — о лексикографе Н. П. Макарове, в дневниках он не раз возвращается к мысли о беллетристике. Увлеченный «литературным бытом», он записывает в 1926 году: «Надо постараться еще что-то сделать с этим материалом — не попробовать ли беллетристику? Ведь тут нужно только повернуть энергию ума на новые рельсы…» Но главное в самосознании Эйхенбаума не эти порывы к беллетристике, а устойчивое отношение к своей научной прозе как к факту литературы. «Пишу в стиле не то мемуара, не то романа. Меньше всего похоже на исследование», — это он сообщает Шкловскому в 1928 году в разгаре работы над книгой о Толстом. Год спустя Борис Михайлович издал своеобразную книгу «Мой временник», построенную по типу журнала, с разделами: словесность (включая автобиографию), наука, критика, смесь. В предисловии к «Временнику» он писал: «В XVIII веке некоторые писатели выпускали такого рода журналы, заполняя их собственными произведениями». Автор помещает себя в ряд *писателей*.

«Историк литературы должен быть литератором», «история литературы плодотворна, когда она ориентирована на современную литературу», — повторял Борис Михайлович своим ученикам. Писательская установка нисколько, однако, не облегчала ему бремя науки. Он был ученый обширнейших знаний, строгий, поднимавший огромный материал. Он знал при

этом то, что не всегда понимают сейчас молодые исследователи: для настоящего филолога нет «черной» работы. Эйхенбаум был блестящим и скрупулезным текстологом и комментатором, неутомимо трудившимся над изданием русских классиков.

В том или ином объеме Эйхенбаум написал почти обо всех больших русских писателях XIX века, не обходя и писателей второстепенных. Он вышел и в XX век работами о Блоке, Маяковском, Ахматовой. Главные герои научного мира Эйхенбаума — Лермонтов и, в особенности, Толстой. Над их творчеством он работал с начала 20-х годов и до самого конца своей жизни. Толстому посвящены монументальная трехтомная монография Эйхенбаума, многочисленные его статьи.

Менее известна читателям замечательная ранняя книга Эйхенбаума «Молодой Толстой» (1922 год) — это зерно будущих исследований. Книга свидетельствует о том, что с самого начала узловой проблемой Толстого была для Эйхенбаума проблема исторического поведения писателя и человека. Под новым углом зрения он изучает ранние дневники Толстого как истоки его писательской работы. В этой связи в «Молодом Толстом» Эйхенбаум писал о «методологии самонаблюдения»: «…не столько выработка реальных, предназначенных к действительному исполнению, правил и программ, сколько самая их установка и потом наблюдение за тем, как вступает с ними в борьбу душа. Это — период экспериментирования, самоиспытывания, период *методологический* по преимуществу». Эйхенбаум исследует толстовское творчество и поведение в единстве их методологии. Отсюда, вопреки установкам раннего ОПОЯЗа, интерес к биографии автора, понимаемой как «личная жизнь в истории» (формулировка Г. Винокура в его книге «Биография и культура»). Позднейший монументальный труд Эйхенбаума о Толстом — это своего рода творческая биография, изображение и исследование всего того, внешнего и внутреннего, что служило материалом творчеству. И это уже на самом широком социально-историческом фоне.

В «Молодом Толстом» остро и смело сформулирована мысль, краеугольная для Эйхенбаума: «Не такова природа, как ее изображают, не такова война, не таков Кавказ, не так выражается храбрость, не так люди любят, не так живут и думают, не так, наконец, умирают — вот общий источник всей Толстовской системы… обличительные, разрушительные силы скрыты почти в каждом его приеме». И в позднейших трудах Эйхенбаума дело Толстого предстает беспощадным разрушением поверхностных представлений о вещах, неустанной проверкой их истинной сущности.

В 1922 году я стала ученицей Эйхенбаума. В Институте истории искусств не было регламентированной программы. Преподаватели читали о том, о чем сами в это время думали, над чем работали. Поэтому студенты уже с первого курса встречались там лицом к лицу с наукой. Мы разделили с Борисом Михайловичем тогдашнее его увлечение русской прозой 1820—1830-х годов. Параллельно он вел семинар (тогда говорили — семинарий) по теории романа. Я прочитала в нем непозволительно длинный доклад о романе Гофмана. В дневнике Эйхенбаума есть запись (18 марта 1924 года), решаюсь ее привести, потому что мне дорог отзыв Бориса Михайловича, дошедший до меня через шестьдесят лет: «…Вечером Л. Я. Гинзбург читала свою статью (сокращенный доклад из моего семинария по теории романа) о „Коте Муре“. Слушали Витя <Шкловский> и Жирмунский. Оба остались довольны — статья, действительно, очень хорошая».

Лекции Борис Михайлович читал с тем изяществом, которым отличался весь его облик, его жизненная манера. У него было удивительно острое чувство художественного материала, поэтому на лекциях он любил цитировать. И цитировал он как-то особенно впечатляюще — выражением, интонацией истолковывая концепцию текста.

Своим ученикам Эйхенбаум дал очень много — он воспитывал в них научную мысль. Но в 20-х годах для него жива опоязовская традиция антиакадемичности. В дневниках этого времени можно встретить скептические замечания о «профессорстве», даже вообще о педагогической работе. В 1926 году я как-то сказала Борису Михайловичу, что зачеты и лекции мешают заниматься. Он рассмеялся: «И мне лекции мешают заниматься». После паузы: «Вот было бы хорошо, если бы все сговорились. Мы вдруг перестали бы читать лекции, а вы их слушать».

Припоминаю еще один разговор — примерно через год, летом в Одессе, где Борис Михайлович несколько дней гостил у меня на даче. «Не понимаю, — сказал он задумчиво, — как это вы могли от моря, солнца, акаций и прочего приехать на север с таким запасом здравого смысла. Если бы я родился в Одессе, то из меня бы, наверное, ничего не вышло». Это все та же подчеркиваемая поза неакадемичности.

Но легкость эта обманчива. Эйхенбаум был человек твердый и храбрый. Человек большого общественного мужества и упорной творческой воли. Он продолжал свое научное дело в конце 40-х годов, когда его прорабатывали и вынудили уйти из университета. В блокадном Ленинграде в состоянии дистрофии

он работал над книгой о Толстом, не отрываясь от письменного стола. Он вспоминает об этом после смерти жены в дневнике 1947 года: «Никогда в жизни так не работал и не понимал многого — разве что во время блокады и голода».

Сочетание в Эйхенбауме изящества и твердости своеобразно выразил Шкловский, назвав его (в письме 1958 года) «железным кузнечиком». Письмо так и начинается: «Дорогой железный кузнечик!» Сочетание твердости и изящества Эйхенбаум сохранял и в полемике, устной и письменной. А полемист он был сокрушительный. Героями процветавшего в Институте истории искусств домашнего стихотворства часто были наши учителя. В одном из моих шуточных стихотворений Эйхенбауму-полемисту посвящена строфа:

Его удел не грубый смех,
Ему на случай ссор и сшибок
Дана тончайшая из всех
Академических улыбок.

В конце 1924 года Эйхенбаум и Тынянов организовали семинар для группы своих учеников. Он собирался дома у Бориса Михайловича. Из докладов участников сложился в следующем году сборник «Русская проза», изданный под редакцией руководителей. Сначала Борис Михайлович был доволен. В декабре 1924 года он записывает в дневнике: «Радует домашний семинарий — хорошая компания. Был очень недурной доклад Л. Г. Бармина о каламбуре. Степанов, Скипина, Бухштаб, Зильбер, Гуревнин, Гинзбург — все это хорошие силы». Потом, как это часто бывает, среди учеников начался разброд, в 1927 году семинар распался. «Нам больше нечему их учить», — говорил Борис Михайлович.

Последним толчком к распаду послужило обсуждение в семинаре эйхенбаумовской теории литературного быта. Теорию мы встретили с неодобрением. Борис Михайлович сказал: «Семинарий проявил полное единодушие. Я — в ужасном положении. Но положение могло быть еще ужаснее. Представьте себе, что так лет через пять вы начали бы говорить какие-нибудь там новые, смелые вещи, и я бы вас не понимал. Ведь это было бы ужасно! К счастью — сегодня все получилось наоборот!»

Эта реплика была не только искусным полемическим выпадом; в ней таилась занимавшая тогда Эйхенбаума концепция исторического поведения поколений. Поколения, утверждал он, сменяются каждые десять лет; в жизни личности десятилетие — тоже сигнал изменения. В 1926 году Эйхенбауму исполнилось

сорок лет. Он переживал это как событие и говорил с нами о необходимости биографического перелома. Биографическое равнозначно здесь историческому. «Творчество <…> есть акт осознания себя в потоке истории…» — писал Эйхенбаум в статье о Некрасове.

Все это порождено атмосферой 20-х годов, когда люди не только мыслили, но и чувствовали в категориях историзма. Две ипостаси времени — история и современность, они нераздельны.

Для Эйхенбаума на одном полюсе историзма — поведение героев его научных книг. «Он играл свою роль в пьесе, которую сочинила история…» — это из той же статьи «Некрасов». На другом полюсе — поступки самого ученого, литератора, личности.

Историко-литературным работам особую динамичность придает их подспудное личное значение, скрытое отношение к жизненным задачам писавшего. У больших научных трудов Бориса Михайловича Эйхенбаума был свой интимный смысл — проблема исторического поведения личности.

# Ахматова. *Несколько страниц воспоминаний*

Бóльшая часть появляющихся сейчас воспоминаний об Анне Андреевне Ахматовой относится к позднему периоду ее жизни. Немногие уже могли бы сейчас рассказать об Ахматовой поры «Четок», «Белой стаи». Мои первые воспоминания об Анне Андреевне восходят к периоду сравнительно раннему. Зимой 1926–1927 года я познакомилась с ней в доме Гуковских. Ахматова посещала их часто — Наталья Викторовна Рыкова, жена Григория Александровича Гуковского, в 20-х годах была одним из близких ее друзей.

В 1926 году, под редакцией Эйхенбаума и Тынянова, вышла «Русская проза» — сборник статей их учеников. Там была напечатана моя первая статья — «Вяземский-литератор». Оттиск этой статьи я, волнуясь, вручила Наталье Викторовне для передачи Ахматовой. Вскоре мы встретились у Гуковских. Наталья Викторовна представила меня: «Вот та, статью которой…»

— Очень хорошая статья, — сказала Анна Андреевна.

Это была первая фраза — я очень ею гордилась, — услышанная мною от Анны Андреевны. С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто — в 30-х годах и после войны, во второй половине 40-х; реже — в 50-х и 60-х, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве. Вот почему в моей памяти особенно отчетлив облик Ахматовой 30—40-х годов и даже конца 20-х, когда ей было лет 37–38.

Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахматовой были упорядоченны, целенаправленны. Она в высшей степени обладала системой жестов, вообще говоря, несвойственной людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.

Меня всегда занимал вопрос о сходстве или несходстве поэта со своими стихами. Образцом *сходства*, конечно, был Маяковский — с его речевой манерой, голосом, ростом. Иначе у Ахматовой. В ее стихах 10—20-х годов не отразились ее историко-литературные интересы или ее остроумие, блестящее, иногда беспощадное. В быту Анна Андреевна не была похожа на своих героинь. Но Ахматова, с ее трезвым, наблюдающим, несколько рационалистическим умом, была как-то похожа на свой

поэтический метод. Соотношение осуществлялось.

Ахматова создала лирическую систему — одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта — трудом поэта. И для Ахматовой — это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна в тишине.

— В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна…

— Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил.

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

— Нутром долго ничего нельзя делать, — сказала Анна Андреевна, — это можно иногда, на очень короткое время.

— А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

— У него это как-то иначе…

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преображение внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство *другого слова*, где нет стыда и тайны принадлежат всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преображения поэт смеет говорить о самом личном — из личного оно уже стало общим.

Ахматовой было присуще необычайно интенсивное переживание культуры. Лирика и культура — это важная тема. Здесь не место в нее углубляться; скажу только, что культура дает лирике столь нужные ей широту и богатство ассоциаций.

В творчестве Ахматовой культура присутствовала всегда, но по-разному. В поздних ее стихах культура проступает наружу. В ранних она скрыта, но дает о себе знать литературной традицией, тонкими, спрятанными напоминаниями о работе предшественников.

О первом (1910—1930-е годы) и втором (1940—1960-е) периодах творчества Ахматовой говорю здесь условно, не вдаваясь в подлинную сложность ее эволюции. Во всяком случае,

решающие изменения в поэтическом методе Ахматовой очевидны. Для первого периода характерна предметность, слово, не перестроенное метафорой, но резко преображенное контекстом. Вещь в стихе остается вещью, конкретностью, но получает обобщенный, расширенный смысл. В поэзии Ахматовой это — своеобразное преломление великих открытий позднего Пушкина.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос музы еле слышный.

Об этом стихотворении хорошо говорил когда-то Григорий Александрович Гуковский:

— В стихах о Петербурге всегда упоминалась *река* — Нева. А вот Ахматова увидела в Петербурге *реки*, дельту. И написала: «Широких рек сияющие льды…»

Это стихотворение 1915 года. В поздних стихах Ахматовой господствуют переносные значения, слово в них становится подчеркнуто символическим. Для некоторых старых читателей Ахматовой (для меня в том числе), чей вкус воспитывался на ее первых книгах, книги эти остались особенно близкими. В них им впервые раскрылось неповторимое ахматовское видение мира с его всеобъемлющей точностью — предметной, психологической, даже точностью отвлеченных понятий.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен… —

писал об этом Пастернак в стихотворении «Анне Ахматовой» (1928).

Все это отнюдь не попытка сравнительной исторической оценки периодов творчества Ахматовой. Речь идет только о том субъективном восприятии поэта, на которое каждый читатель имеет право.

Анна Андреевна угадывала предпочтения своих читателей, даже если они молчали, и давала им это понять, вспоминая слова Маяковского:

— А помните, что сказал Маяковский: говорите о моих стихах все, что хотите; только не говорите, что предпоследнее лучше последнего.

Символическому слову поздних стихов Ахматовой

соответствует новая функция культуры. Историческими или литературными ассоциациями культура вступает теперь в текст. Особенно в «Поэме без героя» с ее масками, реминисценциями, ветвящимися эпиграфами.

Функции культуры менялись в поэзии Ахматовой, но ее погруженность в культуру оставалась неизменной. И она обладала особым даром *чтения*. В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто.

Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек — по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась.

Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) — она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы цитата осталась нераскрытой.

Данте, Шекспир, Пушкин — это был постоянный фон ее чтения. Но охватывало оно очень многое, в том числе злободневное. В середине 30-х годов Анна Андреевна показала мне как-то небольшую книжку со словами:

— Прочитайте непременно. Очень интересно.

Это было «Прощай, оружие!» еще неизвестного нам Хемингуэя. Роман тогда у нас только что перевели.

В культурном мире Ахматовой существовало явление ни с чем не сравнимое — Пушкин. У русских писателей вообще особое восприятие Пушкина. Других классиков можно любить или не любить — это вопрос литературной позиции. Иначе с Пушкиным. Все понимали, что это стержень, который держит прошлое и будущее русской литературы. Без стержня распадается связь.

У Анны Андреевны было до странного личное отношение к Пушкину и к людям, которые его окружали. Она их судила, оценивала, любила, ненавидела, как если бы они были участниками событий, которые все еще продолжают совершаться. Она испытывала своего рода ревность к Наталии Николаевне, вообще к пушкинским женщинам. Отсюда суждения о них, иногда

пристрастные, незаслуженно жесткие, — за это Ахматову сейчас упрекают.

Анне Андреевне свойственно было личное, пристрастное отношение даже к литературным персонажам. Однажды я застала ее за чтением Шекспира.

— Знаете, — сказала Анна Андреевна, — Дездемона очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на N. N.

Анна Андреевна назвала имя женщины, о которой она говорила:

— Если вы, разговаривая с ней, подымете на воздух и перелетите через комнату, она нисколько не удивится. Она скажет: «Как вы хорошо летаете». Это оттого, что она как во сне; во сне все возможно — невозможно только удивление.

Здесь характерна интимность, домашность культурных ассоциаций. В разговорах Анны Андреевны они свободно переплетались с реалиями быта, с оценкой окружающих, с конкретностью жизненных наблюдений.

Вспоминая Ахматову, непременно встречаешься с темой культуры, традиции, наследия. В тех же категориях воспринимается ее творчество. О воздействии русской классики на поэзию Ахматовой много уже говорили и писали. В этом ряду — Пушкин и поэты пушкинского времени, русский психологический роман, Некрасов. Еще предстоит исследовать значение для Ахматовой любовной лирики Некрасова. Ей близка эта лирика — нервная, с ее городскими конфликтами, с разговорной интеллигентской речью.

Но все эти соотношения совсем не прямолинейны. «Классичность» некоторых поэтов XX века, вплоть до поэтов наших дней, критика понимает порой как повторение, слепок. Но русская поэзия, сложившаяся после символистов, в борьбе с символистами, не могла все же забыть то, что они открыли, — напряженную ассоциативность поэтического слова, его новую многозначность, многослойность. Ахматова — поэт XX века. У классиков она училась, и в стихах ее можно встретить те же слова, но отношение между словами — другое.

Поэзия Ахматовой — сочетание предметности слова с резко преобразующим поэтическим контекстом, с динамикой неназванного и напряженностью смысловых столкновений. Это большая поэзия, современная и переработавшая опыт двух веков русского стиха.

В личном общении мы с чрезвычайной ясностью ощущали эту стихию наследственной культуры — и девятнадцатого, и двадцатого века. И притом никакой архаики, никакого разговора

на разных языках. Анна Андреевна всегда умела говорить на языках тех культурных поколений, с которыми время сводило ее на протяжении ее долгой жизни.

*1977*

# Встречи с Багрицким

Так же, как Эдуард Багрицкий, я выросла в Одессе. Все же по-настоящему мы познакомились хотя и в Одессе, но уже тогда, когда Багрицкий постоянно жил в Москве, а я в Ленинграде. Летом 1926 года наш общий приятель Николай Иванович Харджиев привел Багрицкого в «Аркадию», ко мне на дачу.

«Дума про Опанаса» не была еще напечатана, или был напечатан только первый ее вариант в «Комсомольской правде». Багрицкий читал ее нам. Тогда в первый раз я услышала и «Думу», и столь характерную интонацию Эдуарда. С тех пор до конца жизни Багрицкого мы встречались в Москве, в Ленинграде. Во время этих встреч Багрицкий всегда читал стихи — новые и старые.

Думаю, что настоящий поэт всегда читает свои стихи именно так, как нужно, несмотря на отсутствие техники, несмотря даже на недостатки произношения. Гумилев картавил, Кузмин запинался, но, конечно, они были лучшими чтецами своих стихов. Навсегда запомнился голос Блока, глухой и монотонный, читающий «Возмездие» (Блока я слышала один только раз, за несколько месяцев до его смерти). Но есть поэты, у которых дар чтения — это второй дар, занимающий особое место в их творческой жизни. Таким был Багрицкий, и этой чертой, при всем различии масштабов и стилей, он подобен Маяковскому.

Маяковский, замечу, читая стихи, никогда не кричал. Своим голосом, мощным, глубоким и по-своему мягким, он владел с абсолютной точностью, и он выражал все, что хотел, без тени тех грубых нажимов, к которым прибегают профессиональные чтецы стихов Маяковского.

Мое поколение прошло через многие увлечения ощутимыми поэтическими средствами. Сейчас мне кажется самым важным другое — самое трудное для поэта: энергия скрытых поэтических средств и сила обнаженной мысли. Но и сейчас понимаю, не перечеркиваю то, что влекло нас к Багрицкому.

По всему своему психическому складу, по восприятию жизни Багрицкий был в высшей степени поэтом — с превосходным пониманием поэтического дела, со страстной любовью к стиху произносимому. Казалось, он был переполнен ритмами (хотя писал медленно и трудно). Не музыка прежде всего, а именно ритм. Не мелодичность, поглощающая слово, а ритм, его выделяющий. Он так и читал, с особой ритмической раскачкой:

Уже, окунувшийся

В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать…

Формальные элементы, как таковые, заметны только в несостоявшихся стихах, в состоявшихся — они *значат*. Багрицкий утверждал: «„Опанас“ был написан из-за синкоп, врывающихся, как махновские тачанки, в регулярную армию строк» («Записки писателя»)[24]. Это неточно: не из-за, а в одновременности поэтической мысли и неотделимого от нее ритма.

Ритмы Багрицкого выражали его жизненный напор. О жизнелюбии Багрицкого говорили много. Лирика — это прежде всего разговор о самых больших жизненных ценностях, и потому поэт не может не любить того, о чем пишет. Это относится даже к самым трагическим поэтам. Ведь любовь к жизненным ценностям — условие трагического переживания их гибели, их утраты. Любовь к жизни предстает в лирике иногда в очень сложных, косвенных формах. У Багрицкого речь о ней идет прямо, в лоб, хотя это любовь к трудной жизни, трудной исторически и лично, отмеченной болезнью, нуждой, противоречиями человека переходного поколения.

Ритмы Багрицкого, его узнаваемая интонация помогали сплавлять разнохарактерные элементы в единый поэтический образ. Этот образ питали противоречия поколения Багрицкого, противоречия среды. С самого начала смешалось здесь многое: наследие русского модернизма 10-х годов, литературная богема, босяцкая стихия портового города (в свое время она привлекала молодого Горького) — со всей спецификой Одессы. Потом повела за собой революция; потом — гражданская война, военный коммунизм. В поэзии Багрицкого все отлагалось характерными языковыми пластами. Тут и фольклор — украинский, русский, — и специально одесские диалекты, тут традиционно поэтические формулы, смешанные с самыми бытовыми словами, и язык гражданской войны и первых лет революции. Все разное, и все это Багрицкий, именно в этой пестроте. То же и с голосами поэтов — его современников: не заглушая интонации Багрицкого, они слышатся в его стихах. Недаром Багрицкий писал:

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак…

Пастернаком Багрицкий увлекался, охотно говорил о нем, о его поэзии.

Из встреч с Багрицким больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я бывала у него несколько раз; впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты Багрицкого был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все, знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Для людей была оставлена тахта у стенки: на нее можно было садиться, ставить пепельницу и класть книги.

Багрицкий — большой, уже располневший, со своим птичьим носом, с клоком волос, прямо свисающим на глаза, улыбался, нагнув голову набок. Читал стихи, задыхаясь от дыма (он непрерывно курил), от тяжелого астматического кашля и как будто от ритмов, которым уже тесно в груди.

Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела несколько иначе. Птиц уже не было, Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать; собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали, но от аквариумов исходил легкий запах. Багрицкий объяснил: менять воду в аквариумах часто не следует, — это знают все подлинные специалисты. В этот день у Багрицкого собралось несколько человек, среди них Рина Зеленая, которая твердой рукой открыла окно. «Не можете ли вы приезжать хоть раза два в неделю? — сказала жена Багрицкого, Лидия Густавовна. — Он не позволяет нам открывать окна, кричит: вы хотите, чтобы мои рыбы простудились и умерли!»

В 1928 году Багрицкому материально приходилось туго. Он не жаловался, но попутно шутил на эту тему. Кто-то из присутствующих стал его убеждать написать между делом халтуру, для денег. Если жалко имени — можно под псевдонимом. Разговор весь шел в шуточном тоне. И вдруг, ломая его, Багрицкий сказал очень серьезно, как говорят о вещах, крепко продуманных:

— Не в том дело. Я всегда боюсь, что в халтуру попадет строчка из настоящего стихотворения, из будущего, понимаете? И пропадет. Так нельзя…

Одно из проявлений блестящего профессионализма Багрицкого — его пятиминутные сонеты. Сонет писался в пять минут, по часам, тут же, на заданную кем-нибудь тему. Об этом рассказывает Олеша в своей книге «Ни дня без строчки».

Рассказывает о том, что Багрицкий в аудитории одесского университета писал на доске сонет на тему «Камень»: «Крошился мел, Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, пошел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал… Аудитория в это время читала слово, другое, третье — и целиком всю строчку, которую получала, как подарок, под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета»[25].

У меня сохранился автограф одного из этих сонетов-импровизаций. Написан он в Кунцеве, в январе 1928 года, на заданную мною тему: «Одесса». Багрицкий написал его в шесть с половиной минут, то есть опоздал на полторы минуты. Он был огорчен этим, сердился и говорил, что мы, гости, мешали ему своими разговорами.

В Одессе на двух концах знаменитого Приморского бульвара расположены были с одной стороны — «Белый дом», бывший дом Воронцова, с другой — большой бронзовый бюст Пушкина. Это расположение Багрицкий обыграл в своем сонете:

***Одесса***

Еще стучатся волны о маяк,
Еще играют чайки над буруном, —
А в городе мечтательном и юном
Над белым домом полыхает флаг…

Над круглой площадью тяжелый шаг —
То Воронцов встает в сиянье лунном,
Он новую теперь принес игру нам —
Глядеть на Пушкина и так, и сяк.

Ну что ж из этого! Пора в дорогу.
Глухая ругань, подымаясь к богу,
Тревожит мрак отчаянной божбой.

И кажется — с бульвара — там, с опушки,
Без ног и рук выходит мертвый Пушкин
И Воронцова вызывает в бой…

В поэзии Багрицкого тема Одессы настойчиво, неизменно вызывала образ Пушкина. Багрицкий преданно любил Пушкина — как подобает русскому поэту.

*1966*

# Заболоцкий двадцатых годов

С Николаем Алексеевичем Заболоцким я довольно много общалась в 1928–1929 годах. Иногда он приходил ко мне. Чаще мы встречались у моих друзей — Виктора Гофмана и его жены Софьи Аньоловны Богданович. Гофман — он погиб потом в дни ленинградской блокады — был талантливый литературовед и лингвист, автор книги «Слово оратора» и большой, очень интересной статьи «Язык символистов». У Гофмана постоянно бывал и Н. Л. Степанов. К 1928 году относится начало дружбы Заболоцкого со Степановым, — дружбы, пережившей все испытания, неизменной до самого конца. Все мы и еще кое-кто из молодых ленинградских филологов собирались принять участие в затеянном обериутами (в 1929 году) и несостоявшемся сборнике — он должен был называться «Ванна Архимеда» (у Хармса есть стихи на эту тему)[26].

В 1927 году Заболоцкий демобилизовался и еще донашивал красноармейскую шинель. Зимой 1927–1928 года я снимала комнату на Загородном. Моих хозяев обслуживала веселая девушка Нюша, недавно приехавшая из деревни. Открыв дверь Заболоцкому, она кричала в коридоре: «Лидия Яковлевна! К вам солдат пришел!» Думаю, что и помимо шинели что-то в облике Заболоцкого (несмотря на очки) соответствовало представлениям Нюши о солдате. Само слово «солдат» бытовало тогда в деревне; горожане говорили «красноармеец».

Заболоцкий 1928–1929 годов — это Заболоцкий «Столбцов» и активного участия в группе «Обериу». Об установках Заболоцкого этого времени уже писали, писал и он сам. Заболоцкому, по-видимому, принадлежат две первые части опубликованной в начале 1928 года декларации обериутов[27], призывавшей поэтов обратиться к конкретным предметам, очищенным ют «литературной и обиходной шелухи». В книге «Николай Заболоцкий» А. В. Македонов приводит рассказ Александра Гитовича о том, как в 1927 году Заболоцкий на вопрос о его отношении к Пастернаку ответил: «Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, еще начнешь подражать»[28] (позднее, в своей автобиографии Заболоцкий вспоминал, что в юношеских стихах начала 20-х годов подражал «то Маяковскому, то Блоку, то Есенину»)[29].

Припоминаю и мой разговор с Заболоцким, но уже лет шесть спустя, в 1933-м. Заболоцкий не боялся уже за свою самобытность, и Пастернака он прочитал; прочитал, но не принял ни Пастернака, ни ряд других старших своих современников.

Тогда я с Заболоцким спорила, а теперь понимаю, как неизбежна такая несправедливость, как невозможно требовать от писателя всеядности, особенно от молодого, потому что писатель зрелый обычно шире, терпимее, беспристрастнее. Но писатель в процессе становления ищет и берет то, что ему нужно, иногда совсем неожиданное[30], на посторонний взгляд неподходящее, и порой нетерпеливо отталкивает то, что не может ему сейчас пригодиться, особенно литературу недавнего прошлого, даже самую высокую. Так, в 1933 году Заболоцкий отвергал Пастернака, Мандельштама. Это бормотание, утверждал он, в искусстве надо говорить определенные вещи. Не нужен и Блок (этот петербургский интеллигент). В XX веке по-настоящему был один Хлебников. Есенин и тот переживет Блока.

Тогда же мы заговорили о прозе, и Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды.

В декларации обериутов Заболоцкий объявил задачей воспитанного революцией поэта «очищать предмет от мусора истлевших культур». Для этого нужно было покончить с доставшимися от прошлого словами — так думал молодой Заболоцкий, и отсюда настороженное отношение к Пастернаку, Ахматовой, Мандельштаму.

В декларации Заболоцкий предлагает поэту посмотреть «на предмет голыми глазами». Так у раннего Заболоцкого, у Хармса возникла подсказанная хлебниковской традицией имитация первозданного называния предметов. Заболоцкий иногда проделывал это вызывающе:

> На службу вышли Ивановы
> В своих штанах и башмаках.

Если бы, скажем, в *серых* штанах, уже ничего не было бы удивительного; энергия слова здесь именно в отсутствии эпитета.

В голых словах авторская оценка дана в скрытом виде; раскрыть ее предоставляется читателю. Но Заболоцкий «Столбцов» знает и другое отношение к слову. По самой сути лирика — своего рода экспозиция идеалов и жизненных ценностей человека, но также и антиценностей — в гротеске, в обличении и сатире. В «Столбцах» мир антиценностей — это мир мещанского понимания жизни, отраженный в словах умышленно скомпрометированных, будь то слова грубо-бытовые или подчеркнуто книжные, «красивые». В этом плане с Заболоцким 30-х годов сближается Олейников с его гротескной стихией

«галантерейного» языка в новом обличии.

Антиценность в поэзии всегда соотнесена с ценностью, явной или подразумеваемой. В стихах раннего Заболоцкого рядом с разоблачением живет утверждение — природы, знания, творческой мысли. И, утверждая, Заболоцкий, подобно Хлебникову, не боялся прекрасных слов, освященных традицией.

Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная все, кому расскажет он
Свои чудесные виденья?
Ночь глубока. На темный небосклон
Восходят звезд соединенья.
И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

А в «Торжестве земледелия» — о могиле Хлебникова:

Вкруг него томятся ночи,
Руки бледные закинув.
Вкруг него цветы бормочут
В погребальных паутинах…

Для Заболоцкого все это не было уступкой «истлевшим культурам». Одухотворенным предстает лицо коня, о Хлебникове говорит бык. Заболоцкому понадобились здесь высокие слова, но в его контекстах они, сохраняя испытанную временем эмоциональность, должны были освободиться от своих наследственных смыслов; они тоже должны были стать чистым и точным называнием предмета, но только предмета прекрасного.

В подлинной поэзии традиция служит новым целям. Чем традиция хронологически ближе, тем упорнее навязывает она слову свои собственные значения. И Заболоцкий среди сложных своих счетов с «истлевшей культурой» недавнего прошлого искал опору в прошлом отдаленном, в обращении к русскому XVIII веку.

В конце 20-х годов имелось у меня нечто вроде альбома. Полностью он не уцелел, но сохранились листы с автографом Заболоцкого. В доме Гофманов обсуждался (вероятно, не очень

серьезно) проект: раздобыв моторную лодку, совершить на ней большое путешествие, — подробности уж не помню. Путешествие не состоялось, к моему огорчению, — я выросла на Черном море и на всю жизнь сохранила пристрастие к воде и всевозможным лодкам. По этому случаю и был написан в мае 1928 года «Драматический монолог с примечаниями» — стихотворение шуточное, пародийное, в значительной мере стилизованное под XVIII век (особенно примечания[31]). Стилизован в этом духе даже почерк. «Монолог» любопытен тем, что интерес Заболоцкого к XVIII веку вышел в нем на поверхность — в шуточной, но характерной для Заболоцкого форме.

Привожу текст целиком, с пропуском двух упомянутых в нем фамилий.

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ
с примечаниями.

Обладательница альбома сидит под сению лавров и олеандров. Вдалеке видны величественные здания храмов и академии. Подходит автор.

**Автор**
*(робко и несколько растерянно)*

Смиряя дрожь своих коленок,
стою у входа в Иллион[32],
Повсюду тысяча……
и… миллион.
О Лидья Яковлевна, каюсь —
я так недолго протяну;
куда пойду, куда деваюсь,
в котору сторону шагну???

*(Оглядывается по сторонам, горько улыбается и замолкает. Проходит минута молчания. Затем автор устремляет взор в отверстые небеса и продолжает мечтательно.)*

Одна осталась мне дорога —
терновый заказать венец,
а также вымолить у бога
моторной лодки образец.
И перед склонами Урала
про все на свете позабыть,
стрелять волков из самопала[33],
киргизок маленьких любить…

*(Внезапно умолкает. Воспоминания тучей ползут на его челе. Глаза горят недобрым пламенем. Скрестив на груди руки, он продолжает глухим голосом.)*

А здесь любить? О, Sancta mater!
Здесь дамы строже старика,
литературных дел Ковнатор
и та была не так строга.

*(Внезапно спохватившись.)*

Ай-яй, я, кажется, не то
хотел сказать… Ну, не буквально…
Но жизнь, ей-богу, так печальна:
стихи, обед, вино, лото —
не то! Ей-богу — все не то…

*(Умолкает. Тишина. Вдруг — протягивая руки к обладательнице альбома.)*

Ах, до свиданья, до свиданья!
Бокалы выше головы!
Моторной лодки трепетанье
слыхали ль вы, слыхали ль вы?[34]
…Повсюду тишь и гладь реки,
свистят, играя, кулики,
и воздух вятского затона
прекраснее одеколона.
Дышали ль вы?
  Нет! Не дышали!
Слыхали ль вы?
  Нет! Не слыхали!
И я как будто не слыхал…

*(Посмотрел на собеседницу. С отчаянным воплем.)*

Я, Лидья Якольна[35] нахал!
Мошенник я, мерзавец, тать!
Как можно этим Вас пытать?

*(Вкрадчиво)*

Но Вы не сетуйте на время,
мой незабвенный меценат,
Вергилий в дебрях „Академий“[36],
в версификациях — Сократ.
Не сетуйте, ведь все мы, люди, —
мерзавцы, тати и лгуны[37],
но все-таки выходим „в люди“[38]
и долетаем до луны[39],
и вот Вам вывод, даже тати
имеют нечто людям дати…[40]

*(Секунда молчания)*

Но этот вывод горделивый
хотел бы я смягчить. И вот —
представьте дом неприхотливый,
в столовой гроб, в гробу — урод…[41]
Тут, видите ли, — вместо крыс
уральский волк меня загрыз[42].
Я знаю, вид такого дома
немножко мрачен для альбома,
но дело в том, что если гроб —
то и конец. Довольно! Стоп![43]

12/V 1928
*Н. Заболоцкий*

Монолог сей — есть опыт автора малоуспешного, хотя и самоуверенного. Таланты сии отнюдь не расцветают по природным дарованиям своим, но все же терпеливым прилежанием и трудолюбием в достойных авторов обратиться могут. Посему всякое легкое поощрение и просвещенное содействие сему сочинителю послужит на великую пользу».

В шуточном «Драматическом монологе», несомненно, чувствуется Заболоцкий «Столбцов». От «Столбцов» пародийность, черты примитива и архаики, даже отдельные образы: волк, урод, самопал… «Монолог» открыто напоминает о связи раннего Заболоцкого с поэзией XVIII века. Впервые отметил эту связь Н. Степанов в рецензии 1929 года на «Столбцы», с тех пор не раз говорилось об обращении Заболоцкого к одической интонации, одической лексике Ломоносова или Державина. Но для Заболоцкого не менее важна и «легкая поэзия» конца XVIII — начала XIX века, особенно анакреонтическая лирика позднего Державина. Именно здесь мог найти Заболоцкий ту

первозданность восприятия, конкретную и наивную, которую он стремился воссоздать, особенно в стихах о природе (не включенных в «Столбцы» 1929 года).

Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит.
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.

Это из стихотворения Заболоцкого «Прогулка» (1929). А вот строки из державинского «Возвращения весны» 1797 года:

Сильфы резвятся, порхают,
Зелень всюду и цветки
Стелют по земле коврами;
Рыбы мечутся из вод;
Журавли, виясь кругами
Сквозь небесный синий свод,
Как валторны, возглашают;
Соловей гремит в кустах,
Звери прыгают, брыкают,
Глас их вторится в лесах.

В том же 1797 году написано стихотворение «Развалины», где под именем Киприды воспета недавно умершая Екатерина II:

Киприда тут средь мирт сидела,
Смеялась, глядя на детей,
На восклицающих смотрела
Поднявших крылья лебедей;
Иль на станицу сребробоких
Ей милых сизых голубков;
Или на пестрых, краснооких
Ходящих рыб среди прудов;
Иль на собачек ей любимых,
Хвосты несущих в верьх кольцом,
Друг другом с лаяньем гонимых,
Мелькающих между леском.

Для попытки взглянуть на мир «голыми глазами» годилась не только традиция Хлебникова, но и традиция удивительной державинской анакреонтики. И все же близость эту не следует понимать буквально. Заболоцкий считал себя поэтом «голых, конкретных фигур» (декларация «Обериу»), но в его поэзии «голые фигуры», «голое» зрение — только одно из начал, порой непосредственно сочетающееся с нагнетанием очень сложных и очень современных метафор. Но и к чистому называнию предмета Заболоцкий прибегает иначе, чем поэты XVIII века. Заболоцкий уже не мог быть наивным: его инфантильность обдуманная, внутренне противостоящая другим поэтическим системам. «Целует девку — Иванов» — простота подобного словосочетания — кажущаяся простота.

Поэзия всегда живет контекстом, но по-разному. В поэзии XVIII, даже начала XIX века решающим был не контекст данного стихотворения, но лежащие за его пределами контексты жанров, стилей, откуда слово приходило уже заряженное определенными поэтическими смыслами. Активность данного, индивидуального контекста непрерывно возрастала от XIX века к XX. Послесимволистическая поэзия отбросила сверхчувственные значения символизма, но осталась повышенная способность слова вызывать неназванные представления, ассоциациями замещать пропущенное. В символистическом наследстве жизнеспособнее всего оказалась напряженная ассоциативность.

Ранний Заболоцкий — поэт конца 1920-х годов, чьим неотъемлемым достоянием является опыт его предшественников. Самоутверждаясь, он боролся с этой поэтикой, и все же она была у него в крови, поэтика индивидуальных контекстов и ветвящихся ассоциаций.

Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь.
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.

Великолепный конь Ломоносова может быть воспринят как самостоятельный образ, отвлечен от текста этой именно оды. Но кони Заболоцкого обретают свое значение лишь в общем контексте таких вещей, как «Лицо коня», «Движение» («А бедный конь руками машет…»), «Торжество земледелия». Традиция русского XVIII века нужна была Заболоцкому, но переплавленная опытом современного поэта.

Под конец еще о «Драматическом монологе». Он

свидетельствует о том, что ранний Заболоцкий именно в шуточных стихах считал возможным открыто и прямо говорить от первого лица. В серьезных стихах того же времени авторское «я» спрятано. Оно присутствует только как лирическое сознание, как отношение к миру. Это тоже, очевидно, был способ освобождения от «стародавних культур», от их носителей — всевозможных лирических героев, вообще от обычных форм выражения авторского сознания.

# Николай Олейников

К величайшему сожалению, у нас до сих пор нет издания Олейникова. Существуют только публикации отдельных стихотворений в ленинградском «Дне поэзии», «Литературной газете», «Вопросах литературы» и других журналах и газетах. Николай Макарович Олейников примыкал к литературной группе «Обериу» — «Объединение реального искусства» (Заболоцкий, Хармс, Введенский, Бахтерев, Дойвбер Левин, Разумовский), сложившейся в Ленинграде в конце 1920-х годов. Олейников не входил формально в это объединение и никогда не принимал участия в публичных выступлениях обериутов. Но он постоянно с ними общался и, главное, писательски был гораздо ближе к обериутам (особенно к Заболоцкому «Столбцов»), чем, например, участник объединения Ватинов.

На рубеже 20—30-х годов я много встречалась с этим необыкновенным человеком. Евгений Шварц в своих воспоминаниях назвал его «демоническим». Вот запись об Олейникове, сделанная мною в марте 1933 года:

Олейников один из самых умных людей, каких мне случалось видеть. Точность вкуса, изощренное понимание всего, но при этом ум его и поведение как-то иначе устроены, чем у большинства из нас; нет у него староинтеллигентского наследия.

Не знаю, когда и чему он учился. Вот что он мне как-то о себе рассказал. Юношей он ушел из донской казачьей семьи в Красную Армию. В дни наступления белых он, скрываясь, добрался до отчего дома. Но отец собственноручно выдал его белым, как отступника. Его избили до полусмерти и бросили в сарай с тем, чтобы утром расстрелять с партией пленных. Но он как-то уполз и на этот раз пробрался в другую станицу, к деду. Дед оказался помягче и спрятал его. При первой возможности он опять ушел на гражданскую войну, в Красную Армию.

Неясно, успел ли он учиться, но знает он много, иногда самые неожиданные вещи. В стихах он неоднократно упоминает о занятиях математикой. Бухштаб однажды подошел к Олейникову в читальном зале Публичной библиотеки и успел разглядеть, что перед ним лежат иностранные книги по высшей математике. Олейников быстро задвинул книги и прикрыл тетрадью.

Олейников говорит:

— Не может быть, чтобы я был в самом деле поэтом. Я редко пишу. А все хорошие писатели графоманы. Вероятно — я математик.

Ахматова говорит, что Олейников пишет как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи[44]. Вкус Анны Андреевны имеет пределом Мандельштама, Пастернака. Обернуты уже за пределом. Она думает, что Олейников — шутка, что вообще так шутят.

Олейников продолжает традицию, в силу которой юмористы подвержены мрачности или меланхолии (Свифт, Гоголь, Салтыков, Зощенко). На днях мы разговаривали долго. Он был мрачен и говорил, что человеку необходимо жениться, потому что это избавляет от ощущения беспросветности существования, свойственного каждому. «Самое страшное — утром просыпаться в комнате одному».

Заговорили о его стихах.

— Это не серьезно. Это вроде того, как я вхожу в комнату, раскланиваюсь и говорю что-нибудь. Это стихи, за которыми можно скрыться. Настоящие стихи раскрывают. Мои стихи — это как ваш «Пинкертон», как исторические повести для юношества.

— Нет, это несоизмеримо. Но я понимаю… Вы хотите сказать — вещи не из внутреннего опыта.

— Есть разные внутренние опыты. Может быть опыт умного и остроумного человека. Человека, который умеет сделать то, что хочет сделать. Это все может пойти в условную вещь. Только это не самый главный внутренний опыт.

Мы говорили еще о том, что непонятно, как писать сейчас прозу. О том, что нас тяготит фиктивность существующих способов изображения человека. Я сказала, что еще Толстой в конце жизни утверждал — уже невозможно описывать, как вымышленный человек подошел к столу, сел на стул и проч., что интересен эксперимент Пруста. Вместо изображения человека — у него изображение размышлений о человеке, то есть реальности, адекватно выражаемой в слове. Слово и есть материя размышления, тогда как по отношению к материи всякого предмета слово есть знак, речевой эквивалент. Прустовская действительность — это комментарий; люди и вещи вводятся по принципу примеров, а разговоры по принципу цитат.

Олейников (возвращаясь к теме «не главного внутреннего опыта»):

— Я уже говорил, что вещи, решающие условную задачу, читать не стыдно.

— Ну да, и если там кто-нибудь садится на стул, то отвечает за это не автор, а предшественники автора…

Здесь кончается запись 1933 года.

Свободный от староинтеллигентских навыков в бытовом общении, в своей жизненной манере, Олейников вовсе не был

свободен от культурного наследия; он знал русскую поэзию XIX и XX века. У его собственной поэзии были источники — Мятлев, Козьма Прутков (Олейников называл себя внуком Козьмы Пруткова, посвящал стихи его памяти), шуточные стихи А. К. Толстого, поэты «Искры» и поэты «Сатирикона»[45].

И одновременно — Хлебников. Поэтической практике Олейникова многое в Хлебникове чуждо — его мифологизм, славянская стихия, корнесловие, его утопии и философия истории. Казалось бы, важнейшие слагаемые хлебниковского мира. И все же традиция Хлебникова живет в олейниковском понимании слова, в принципе его словоупотребления.

Этот принцип объединял Олейникова с обериутами. Олейников с его сильным и ясным умом очень хорошо понимал, где кончается бытовой эпатаж обериутов и начинается серьезное писательское дело. В 30-х годах он как-то сказал мне о Хармсе:

— Не расстраивайтесь, Хармс сейчас носит необыкновенный жилет (жилет был красный), потому что у него нет денег на покупку обыкновенного.

Козьма Прутков, Саша Черный и Хлебников — что могло получиться из такого скрещения? Получилась система чрезвычайного единства, принадлежащая поэту, узнаваемому по любой строчке (узнаваемость вообще неотъемлемое свойство настоящего поэта). Признаки этой системы: умышленный примитивизм, однопланный синтаксис при многопланной семантике, гротескные несовпадения между лексической и стилистической окраской слова и его логическим содержанием. Целостность, но образуемая сложно соотнесенными слагаемыми.

Поэтический язык Олейникова несет разные функции, порождающие разные типы стихотворений.

Есть у него стихи прямо шуточные. «Бюджет развратника», например:

Рупь —
на суп.
Трешку —
на картошку.
Пятерку —
на тетерку.
Десятку —
на мармеладку.
Сотку —
на водку.
И тыщу рублей —
на удовлетворение страстей!

Олейниковской шутке присуще также то, что Тынянов, применительно к «арзамасскому» и пушкинскому кругу, называл *домашней семантикой*. Домашняя семантика зарождалась в атмосфере Детгиза, где в редакции прелестных детских журналов «Еж» и «Чиж» работали Олейников, Евгений Шварц, юный Ираклий Андроников; Детгиз постоянно посещали обериуты. Это была атмосфера непрекращающейся блестящей буффонады, розыгрышей, мистификаций. Николай Чуковский вспоминал Детский отдел Госиздата: «Там постоянно шел импровизированный спектакль, который ставили и разыгрывали перед случайными посетителями Шварц, Олейников и Андроников»[46]. Разыгрывался этот спектакль и на других площадках. Например, Т. Липавская в воспоминаниях о Заболоцком рассказывает о том, что Заболоцкий, Хармс, Олейников и Л. Савельев решили вчетвером организовать по воскресеньям «Клуб малограмотных ученых»[47].

В «домашних» стихах Олейникова (стихи этого типа писали и Шварц, и Заболоцкий) присутствуют постоянно всплывающие персонажи из детгизовского окружения. В первую очередь Шварц, с которым Олейникова до конца его жизни связывала тесная дружба.

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет,
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Ненавижу я Шварца проклятого,
За которым страдает она!
За него за умом небогатого
Замуж хочет, как рыбка, она.

В шуточных «детгизовских» стихах Олейникова намечается уже травестийный метод — игра сменяющимися масками. Есть у Олейникова маска высокопарного обывателя и есть маска резонера — «мудреца-наблюдателя», «служителя науки».

Маски Олейникова — языковые маски. Их образуют разные пласты его лексики. Но в основе этих стилистических вариантов — единый олейниковский язык, какими-то своими существенными признаками восходящий к традиции Хлебникова.

Напомню некоторые характеристики языка Хлебникова. «Детская призма, инфантилизм поэтического слова… — говорит Тынянов. — <…> Детский синтаксис, инфантильные „вот“,

закрепление мимолетной и необязательной смены словесных рядов — последние обнаженной честностью боролись с той нечестной литературной фразой, которая стала далека от людей и ежеминутности»[48]. В книге о Хлебникове Н. Степанов писал: «Стихи Хлебникова можно сравнить с картинами художников „примитивистов“. Такая же наивная композиция, лишенная перспективы, условная линейная схема в изображении фигур…»[49]. О том же пишет и Берковский в посвященной Хлебникову статье 40-х годов: «Сплошные именительные падежи, устранены косвенные отношения, каждая вещь вставлена в группу отдельно, лицом прямо к зрителю…»[50].

Итак, инфантилизм и примитивизм, линейность, честная обнаженность слова. В какой-то мере эта модель применима к стихам Олейникова, хотя осуществляется она иначе и на другом материале.

У Олейникова короткая фраза, синтаксический примитивизм, словосочетания, которые прикидываются прямолинейными; притом необычайно резкая лексическая, семантическая фактура слова. В его стихах слова тоже «лицом прямо к зрителю». А между тем все не совпадает — содержание с выражением, стилистические уровни с ценностной окраской. Одним из самых активных средств этой бурлескной неадекватности является для Олейникова «галантерейный язык» — в новой своей формации.

Галантерейный язык — это высокий стиль обывательской речи. В среде старого мещанства его порождало подражательное отношение к быту выше расположенных социальных прослоек. В галантерейном языке смешивались слова, заимствованные из светского обихода, из понаслышке освоенной литературы (особенно романтической) со словами профессиональных диалектов приказчиков, парикмахеров, писарей, вообще мелкого чиновничества и армейского офицерства.

Смесь ложноромантической высокопарности и «красивости» с элементами галантерейного языка характерна для вульгарного романтизма 1830-х годов. На этой основе сложилась своеобразная, сокрушающая нормы поэтика самого талантливого его представителя — Бенедиктова.

Олейников обратился к новой, современной формации галантерейного языка, — в другом социальном варианте к ней обращался и Зощенко. Галантерейный язык XIX века и галантерейный язык 1920—30-х годов — это, конечно, разные исторические явления, но их объединяет некий тип сознания. Это сознание не производит ценности, оно их берет, хватает где попало. Поэтому оно не может понять, что ценности требуют ответственности, что они должны быть гарантированы трудом,

страданием, пожертвованием низшим высшему. Отсюда непонимание несовместимости разных уровней, разных форм человеческого опыта, воплощенных в слове. Совмещение несовместимого как принцип словоупотребления. Принципиальная стилистическая какофония.

Из стилистической какофонии проступает во всем своем великолепии галантерейный персонаж. Он любит красивое и путает словесные ряды.

Над системой кровеносной,
разветвленной, словно куст,
воробьев молниеносней
пронеслася стая чувств.

…И еще другие чувства…
Этим чувствам имя — страсть.
— Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к вам припасть!

*(«Послание артистке одного из театров»)*

*Кровеносная система и любовь до гроба, страсть и деятель искусства*, к которому автор просит разрешения *припасть*, — все это слова не на своем месте.

Анализируя словоупотребление раннего Зощенко, М. О. Чудакова говорит, что его «интересует… слово испорченное, слово-монстр, употребленное не по назначению, не к месту»[51].

У Бенедиктова стилистическая какофония — результат путаницы ценностных представлений — была неосознанной, простодушно серьезной. У Олейникова она сознательная, умышленная и потому комическая. Это его устойчивая маска.

Эту маску тут же оттесняет другая; Олейников сам определил ее как образ «мудреца-наблюдателя». Этот персонаж — «служитель науки», натурфилософ, математик. Здесь травестируется исследовательское мышление — абсурд в оболочке научных формулировок.

Хвала изобретателям, подумавшим о мелких
и смешных приспособлениях:
о щипчиках для сахара, о мундштуках для папирос.
Хвала тому, кто предложил печати ставить
в удостоверениях,
кто к чайнику приделал крышечку и нос…
…Хвала тому, кто первый начал называть котов

и кошек человеческими именами,
кто дал жукам названия точильщиков, могильщиков
и дровосеков,
кто ложки чайные украсил буквами и вензелями,
кто греков разделил на древних и на просто греков.

*(«Хвала изобретателям»)*

В этих стихах — в гротескной форме — подчеркнуто присутствует хлебниковская традиция. Вещи, освобожденные от «косвенных отношений», стоят «отдельно». Традиция доведена до абсурда сопоставлением синтаксически подобных формул, уравнивающих вещи, взятые из самых различных, несопоставимых смысловых рядов. Хлебниковская традиция служит здесь пародийной маске «мудреца-наблюдателя».

Зачем нужны эти маски? Они нужны были в той борьбе, которую литературное поколение 20-х годов вело против еще неизжитого наследия символизма с его потусторонностью и против эстетизма 1910-х годов. Все мы терпеть не могли всяческое эстетство, «красивость», стилизаторство, — все это были бранные слова. В начале 1928 года была опубликована («Афиши Дома печати» № 2) декларация обериутов, призывавшая поэтов освободиться от «литературной и обиходной шелухи». У обериутов это хлебниковская установка. По словам Тынянова, «новое зрение Хлебникова… не мирилось с тем, что за плотный и тесный язык литературы не попадает самое главное и интимное, что это главное оттесняется „тарою“ литературного языка…»[52]. Жажда увидеть мир заново, содрать с него шелуху привычного присуща была в искусстве многим молодым школам. Особенно сильной, понятно, была она у молодых поэтов послереволюционного времени. Новый поэт среди крушения старых ценностей должен все сделать сам и все начать сначала.

Декларация обериутов объявляла задачей воспитанного революцией поэта «очищать предмет от мусора истлевших культур». Для этого нужно было покончить с доставшимися от прошлого смысловыми ореолами слов, с их установившимися поэтическими значениями.

Декларация обериутов предлагала поэту посмотреть «на предмет голыми глазами». У раннего Заболоцкого, у Хармса, у Олейникова возникает подсказанное опытами Хлебникова *голое слово*, слово без определения. Это попытка освободить слово от ореолов, пустить его в строку голым — пускай само набирает значения, какие может.

Ни одному поэту еще не удавалось — и не удастся — в самом

деле посмотреть на мир «голыми глазами». Это иллюзия, нередко овладевающая молодыми литературными школами. Поэзия, даже самая новаторская, питается наследием, традицией, хотя бы от нее самой скрытой, бессознательной. Хлебников же вполне сознательно ориентировал свои поэтические ценности на фольклор, на древнерусскую национальную культуру. Но раннему Заболоцкому, обериутам в их писательском самоутверждении нужна была иллюзия первозданности, «голого слова».

В 1910-х годах целеустремленную борьбу с символистическим наследием начали футуристы, многому притом научившиеся у символистов. Но Хлебников, Маяковский были окружены тогда плотной атмосферой русской «новой поэзии» начала века. Поэтому борьба была внутренней, и разыгрывалась она на площадке собственного творчества. Для поколения Заболоцкого, Олейникова символистическое наследие было уже фактом внешним, на который можно посмотреть со стороны. С их точки зрения враждебные значения поэтических слов притаились и в творчестве поэтов послесимволистской поры. В начале 30-х годов мне случалось разговаривать и спорить на эти темы с Заболоцким. Он отвергал тогда Блока, Пастернака, Мандельштама, Ахматову. В XX веке, утверждал он, по-настоящему был один Хлебников.

О символистах и постсимволистах Олейников говорил примерно то же, только с большим пылом и раздражением, чем сдержанный, обдумывающий свои речи Николай Алексеевич.

— Они пишут слова, которые ничего не означают, — и, ах! — какие они красивые! — говорил Олейников.

В отличие от большинства пародистов (от Козьмы Пруткова, в частности) Олейников пародировал не определенные произведения, не узнаваемых авторов, но именно «красивость», эстетство и вообще слова, не отвечающие за свое значение.

Отзывы Олейникова сердили меня сначала. Кто-то заметил: «Если ему нравятся его собственные стихи, ему не должны нравиться стихи Мандельштама». Очень верно. Это проблема отбора и отказа — нужного и ненужного для становления поэта. Это и есть признак поэта и литературной школы. Мешает именно тот, кто сейчас (или сравнительно недавно) выражает то, что хочет выразить данный поэт. Иначе классики; они в другое время выражали другие вещи, иногда очень нужные. И Олейников наизусть читал лермонтовскую «Любовь мертвеца», которая была ему нужна для баллады «Чревоугодие».

Однажды я сказала Олейникову:

— У Заболоцкого появился какой-то холод…

— Ничего, — ответил Олейников как-то особенно

серьезно, — он имеет право пройти через это. Пушкин был холоден, когда писал «Бориса Годунова». Заболоцкий под влиянием «Бориса Годунова».

Определять развитие близкого Олейникову Заболоцкого должен был Пушкин, — никак не поэты XX века (кроме Хлебникова).

Социальные адресаты насмешки Олейникова скрещивались с адресатами литературными. Издевательское словоупотребление Олейникова, его образы, выпадающие из своих стилистических рядов, его искривленные языковые маски (среди них маска вульгарного эстета) — все это реализация борьбы с системой бутафорских значений, литературной «тары» для уже несуществующих ценностей. Олейников хотел окончательно забить вход в мир символизма, еще живший в своих производных. Для этого особенно пригодился галантерейный язык.

Но поэтическая система Олейникова сложна и не замкнута его масками. Олейников — настоящий поэт, и за масками мелькает, то проступая, то исчезая, лицо поэта. Речь, конечно, идет не об эмпирическом, биографическом авторе, но о литературном образе поэта — субъекте данной поэтической речи. Почему этот поэт заслоняется бурлескными личинами, почему говорит на не своем языке? Этот вопрос не решается до конца на уровне литературных пародий и социальной сатиры. Это вопрос о типе исторического сознания.

Олейников сформировался в 20-е годы, когда существовал (наряду с другими) тип застенчивого человека, боявшегося возвышенной фразеологии, и официальной, и пережиточно-интеллигентской. Олейников был выразителем этого сознания. Люди этого склада чувствовали неадекватность больших ценностей и больших слов, не оплаченных по строгому социальному и нравственному счету. Они пользовались шуткой, иронией как защитным покровом мысли и чувства. И только из толщи шуток высвобождалось и пробивалось наружу то подлинное, что они хотели сказать о жизни. На высокое в его прямом, неконтролируемом смехом выражении был наложен запрет.

Но у поэта есть свой язык, существующий наряду с языками его масок. В стихах Олейникова совершается как бы непрестанное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно. Поэтому язык Олейникова выворачивает наизнанку не только сознание его бурлескных персонажей, но в какой-то мере и сознание самого поэта. Он в какой-то мере берет на себя ответственность за своих героев.

Сквозь маски Олейникова просвечивало и саморазоблачение

и самоутверждение поэта. Самоутверждение в неотторгаемых от поэзии ценностях, — скрытых толщей шутки, — в лирическом и трагическом восприятии мира. Об этом уже говорили люди, хорошо знавшие Олейникова и его творчество. Николай Чуковский писал: «Чем ближе подходило дело к середине тридцатых годов, тем печальнее и трагичнее становился юмор Олейникова». И. Бахтерев и А. Разумовский пишут в статье «О Николае Олейникове»: «…За шуткой чувствуется лирическая взволнованность, душевная сила подлинного поэта».

Между голосами масок и голосом поэта граница порой размыта. Серьезное, подлинное мерцает на грани смешного. Серьезное поэтому тоже как бы взято под сомнение. Порою трудно уловить, зафиксировать эти переходы.

От экстаза я болею,
Сновидения имею,
Ничего не пью, не ем
И худею вместе с тем.

Вижу смерти приближенье,
Вижу мрак со всех сторон
И предсмертное круженье
Насекомых и ворон.

Это две соседние строфы стихотворения. Первая из них — откровенная буффонада. Во второй строфе уже движение между буффонадой (постоянная у Олейникова тема насекомых) и подлинным разговором о смерти.

В стихотворении «Ольге Михайловне» среди гротескного текста возникают лирические строки, которые как будто хотят и не могут до конца освободиться от буффонады:

Так в роще куст стоит, наполненный движеньем.
В нем чижик водку пьет, забывши стыд.
В нем бабочка, закрыв глаза, поет в самозабвеньи,
И все стремится и летит.

И я хотел бы стать таким навек,
Но я не куст, а человек.

На голове моей орлы гнезда не вили,
Кукушка не предсказывала лет…
Люби меня, как все любили,
За то, что гений я, а не клеврет!

Здесь удивительное переплетение и взаимодействие разных ценностных уровней, скрещение травестированного с настоящим. Куст, «наполненный движеньем», вокруг которого «все стремится и летит», — в самом деле прекрасен. И начинает казаться, что поэт в самом деле хочет, чтобы его любили, но не смеет об этом сказать другими, нетравестированными словами.

Те же соотношения в заключительной строфе уже цитированного стихотворения «Служение науке»:

Зовут меня на новые великие дела
Лесной травы разнообразные тела:
В траве жуки проводят время в занимательной
беседе,
Спешит кузнечик на своем велосипеде,
Запутавшись в строении цветка,
Бежит по венчику ничтожная мурашка…
Бежит… Бежит… Я вижу резвость эту, и меня
берет тоска,
Мне тяжко!

Строфа вышла из буффонады, и многое в ней (в частности, несерьезное слово «резвость») тянет туда обратно. Но лесные травы и жуки живут своей странной, инфантильной жизнью хлебниковского примитива. Но прорывается прекрасный стих:

Запутавшись в строении цветка…

Он борется с гротескным контекстом с тем, чтобы настроить его лирически. И читателю уже мерещится, что «Мне тяжко!», что тоска — это лирическое высказывание.

Стихотворение «Скрипит диванчик…» (озаглавлено «Любовь») — кульминация галантерейного языка и соответствующих представлений о любви («Ушел походкой / В сияньи дня…»). Последние его строфы:

Вчера так крепко
Я вас любил —
Порвалась цепка,
Я вас забыл.

Любовь такая

Не для меня.
Она святая
Должна быть, да!

Опять все двоится. Может быть, это гротескная гримаса, а может быть, в самом деле это о высокой любви. Ведь олейниковский поэт не мог бы произнести словосочетание «святая любовь» — прямо, не погрузив его в защитную среду буффонады.

У Олейникова есть стихотворение «Посвящение»:

Ниточка, иголочка,
Булавочка, утюг…
Ты моя двуколочка,
А я твой битюг.

Ты моя колясочка,
Розовый букет.
У тебя есть крылышки,
У меня их нет…

Непредсказуемый подбор вещей, становящихся атрибутами женского начала, — им противополагается битюг. *Двуколочка, колясочка* — метафоры нежности, колеблющиеся на острие шутки. Так возникает олейниковская лиричность, избавленная от традиционной лирической «тары».

Предвижу, что со мной могут не согласиться. Существует восприятие Олейникова как поэта только комического, пародийного, осмеивающего обывательскую эстетику с ее «красивостью» и лексическим сумбуром. Все это несомненно присутствует у Олейникова, но все включено в сложную систему смысловой двупланности, целомудренно маскирующей чувство. О двупланности поэзии 1820-х годов Тынянов писал, что ей свойственно «за стиховым смыслом прятать или вторично обнаруживать еще и другой»[53].

Именно так поэт сам понимал свои стихи.

Я сказала как-то Олейникову:

— Я люблю ваши стихи больше стихов Заболоцкого… Вы расшиблись в лепешку ради того, чтобы зазвучало какое-то слово… А он не расшибся.

Он ответил:

— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало.

Это свидетельство — ключ к самым значительным

стихотворениям Олейникова, выступающим из ряда блистательных домашних шуток.

Одно из таких стихотворений — «Чревоугодие». В нем представлены оба словесных начала Олейникова — слово, умышленно скомпрометированное, и слово, наконец-то зазвучавшее. «Чревоугодие» имитирует балладное построение, интонацию. Но это поверхностный аспект. В 1930-х годах пародировать балладный жанр было бы бесцельно и совсем несвоевременно. Суть же стихотворения в скрещении разных пластов поэтического языка Олейникова.

Олейников убежден в том, что предшествующая поэзия не способна больше выражать современное сознание. Это у него общеобериутское. Но Заболоцкий, Хармс связаны с хлебниковской системой ценностей природы и познания и через Хлебникова с прошлым. Олейников пошел дальше. Он начинает с уничтожения наследственных сокровищ. Для того чтобы расчистить дорогу новому, слову, ему нужно умертвить старые. Этому служат его языковые маски. Прежде всего маска пошляка, галантерейного человека, потому что язык подложных ценностей — самый разрушительный для любых ценностей, к которым он прикасается.

Однажды, однажды
Я вас увидал,
Увидевши дважды,
Я вас обнимал.

А в сотую встречу
Утратил я пыл,
Тогда откровенно
Я вам заявил…

Это первые строфы «Чревоугодия». Синтаксис их подчеркнуто примитивен, семантика обманчиво линейная. На самом деле она игровая, искривленная. *Дважды, пыл, откровенно, заявил* — все это слова, перемещенные из разных смысловых рядов, «слова не к месту».

Дальше развертываются характерные для баллады темы любви и смерти. К ним присоединяется тема голода, столь актуальная для людей, прошедших сквозь годы гражданской войны. Но традиционное выражение этих тем скомпрометировано словами то «грубыми» (масло, мясо, квас, горох с ветчиной, кухня, котлеты), то галантерейными.

В качестве языка любви галантерейный язык выражает

сознание людей, уверенных в том, что на месте ценности — мерзость, но что в хорошем обществе о мерзости говорят так, как если бы на ее месте была ценность.

От мяса и кваса
Исполнен огня,
Любить буду нежно,
Красиво, прилежно…
Кормите меня!

Грубые и «красивые» строки почти правильно чередуются. А слово *прилежно*, не принадлежа ни к одному из обоих рядов, служит верным признаком галантерейной какофонии, безответственного совмещения несовместимых категорий оценки — *заявил, увидевши, обнимал, страсть, вяну*, дурацкое в своей серьезности слово *пища*. Тема голода оборачивается вдруг неудовлетворенным обывательским желанием «покушать».

И снова котлета —
Я снова любил.

Галантерейно мыслящий персонаж проговорился — обнаружил свое истинное отношение к любви.

В «Чревоугодии» травестируется традиционное тематическое сочетание любви и смерти. Тема смерти была Олейниковым продумана. Он говорил: «Я видел несколько раз во сне, что я умираю. Пока смерть приближается, это очень страшно. Но когда кровь начинает вытекать из жил, совсем не страшно и умирать легко.

И признак жизни уходил из вен и из аорт.

*(Из стихотворения А. Введенского)*»[54].

Смерть героя предстает в скрещении романтического ужаса с мрачной буффонадой.

Дрожу оттого я,
Что начал я гнить,
Но хочется вдвое
Мне кушать и пить.

Мертвец по ходу баллады становится все галантерейнее, он

требует «красивых конфет», лимонада. Бурлескное преломление лермонтовского:

Я перенес земные страсти
Туда с собой.

И вдруг смешное кончается и начинается тоска:

Но нет мне ответа, —
Скрипит лишь доска.
И в сердце поэта
Вползает тоска.

Это настоящая тоска, и принадлежит она настоящему поэту. Но это уже не та тоска и не тот поэт, какие завещаны нам поэтической традицией.

Язык Олейникова поражает разные цели от обывателя до символистов (по мнению Олейникова, их объединяет пристрастие к фразеологии красивой и ничего не значащей). Но поэту, говорящему на этом языке, — как всякому настоящему поэту, — нужны высокие слова, отражающие его томление по истинным ценностям. Как ему добыть новое высокое слово? Он их не придумывает, он берет вечные слова: *поэт, смерть, тоска* (они легче воспламеняются) — и впускает их в галантерейную словесную гущу. И там они означают то, чего никогда не означали. В них перерезаны связи. Слово *поэт*, уцелевшее в подобном контексте, — не может означать того поэта, какой был у Державина, у Пушкина, у Веневитинова, у Фета, у Блока, у Маяковского. Тем не менее он поэт — человек страдающий и стихами говорящий о любви, о голоде и о смерти. Провернутое через множество слов с отрицательным знаком ценности, оно, общепоэтическое слово, удержало эмоциональный ореол, но отдало свои наследственные смыслы. Так получается новый языковый знак для обозначения поэта другого качества.

Традиционные поэтические темы любви и смерти скомпрометированы словами то «грубыми», то галантерейными. По законам иронии, иронии в ее современном ракурсе, сквозь эти гротескные словесные массы пробивается высокое значение вечных тем. Но прежде чем зазвучать, они должны еще пройти сквозь кривое зеркало галантерейного языка с его смысловой какофонией, неизбежной, потому что носитель этого языка не знает о том, что порождение ценностей исполнено противоречий, усилий, самоограничения. Галантерейное растление слов

предназначено предохранить непрочную эмоцию современного поэта от гибельного стереотипа подложных ценностей в «красивой» оболочке.

Это я и имела в виду, когда сказала Олейникову, что он «расшибся в лепешку» ради того, чтобы «зазвучало какое-то слово»…

«Чревоугодие» имеет подзаголовок «баллада». Такой же подзаголовок присвоен и стихотворению «Перемена фамилии». В нем та же двупланность, и комическое причудливо дублируется серьезным. Своим синтаксическим строем стихотворение напоминает экспериментальный примитивизм некоторых вещей Хлебникова. Инфантильно построенными фразами рассказывается о том, как герой, внеся в контору «Известий» восемнадцать рублей, переменил имя и фамилию:

Козловым я был Александром,
Но больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

А дальше на том же бурлескном языке речь идет о потере собственной личности, о раздвоении сознания. Герой видит в зеркале чужое лицо, «лицо негодяя», его окружают отчужденные, враждебные вещи.

Я шутки шутил! Оказалось —
Нельзя было этим шутить;
Сознанье мое разрывалось,
И мне не хотелося жить.

Герой кончает самоубийством:

Орлова не стало, Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!

Стихотворение до конца сохраняет пародийную оболочку. Но очевидно — смысл его не в том, чтобы пародировать уже малоактуальный балладный жанр, но чтобы сказать о страхе человека перед ускользающей от него, двоящейся личностью, — старая тема двойника, воплощения затаившегося в личности зла.

В большом стихотворении, героиней которого является блоха мадам Петрова, — разные языки Олейникова, разные его обличия

переплетаются и неуследимо переходят друг в друга. Стихотворение адресовано приятелю, человеку из мира детской литературы начала 30-х годов, особого мира со своими правилами игры. Соответственно начало стихотворения — шуточная «домашняя семантика»:

Так зачем же ты, несчастный,
в океан страстей попал,
из-за Шурочки прекрасной
быть собою перестал?

Дальше возникает хлебниковско-обериутская тема насекомых,

…Кто летали и кусали
и тебя и твою Шуру
за роскошную фигуру.

Так в текст просочился галантерейный язык. Галантерейный язык разворачивается и строит сразу после этих строк возникающую тему влюбленной блохи Петровой:

И глаза ее блестели,
и рука ее звала,
и близка к заветной цели
эта дамочка была.

Она юбку надевала
из тончайшего пике,
и стихи она писала
на блошином языке…

Блоха Петрова — галантерейное существо с его миропониманием, его эстетикой и искривленными представлениями о жизненных ценностях. Но убогое сознание переживает свою убогую драму. «Прославленный милашка» затоптал блоху Петрову «ногами в грязь».

И теперь ей все постыло —
и наряды, и белье.
И под лозунгом «могила»
догорает жизнь ее.

Значение слов двоится, буффонада становится печальной. В этом можно было бы усомниться, если бы не непосредственно следующие строки; в них маска сдвигается, появляется от себя говорящий автор, поэт. Эти строки ретроспективно перестраивают смысл повествования о блохе Петровой:

Страшно жить на этом свете,
в нем отсутствует уют.
Ветер воет на рассвете,
волки зайчика грызут…

Плачет маленький теленок
под кинжалом мясника,
рыба бедная спросонок
лезет в сети рыбака.

Блоха мадам Петрова включается, таким образом, в ряд беззащитных, беспомощных существ. Они гибнут от руки человека, и в то же время они сами травести человека, обреченного гибели.

…Дико прыгает букашка
с беспредельной высоты,
разбивает лоб бедняжка,
разобьешь его и ты.

Что это — пародия на лермонтовский перевод из Гете: «Подожди немного / Отдохнешь и ты»? Но пародия на Гете и Лермонтова не имела бы исторического смысла. Скорее это реминисценция, возвращающая травестированным образам их человеческое значение.

Беззащитное существо, растоптанное жестокой силой, — это мотив у Олейникова повторяющийся. Герой стихотворения «Карась» построен по тому же принципу, что блоха мадам Петрова, — то же чередование животных и человеческих атрибутов. Вплоть до авторского обращения к карасю на «вы»:

Жареная рыбка, —
Дорогой карась, —
Где ваша улыбка,
Что была вчерась?

Так же как блоха Петрова, карась возникает из толщи галантерейного языка, несущего убогие представления о жизни. Карася обожали «карасихи-дамочки». Однажды ему встретилась «В блеске перламутра / Дивная мадам». Потерпев любовную неудачу, герой ищет смерти и бросается в сеть. И тут начинается рассказ о жестокости — карася отправляют на сковороду:

Ножичком вспороли,
Вырвали кишки,
Посолили солью,
Всыпали муки.

Бытовая лексика рассказа о жестокости ведет за собой неожиданную фольклорную интонацию:

Белая смородина,
Черная беда!
Не гулять карасику
С милой никогда.

…Плавниками-перышками
Он не шевельнет.
Свою любу «корюшкою»
Он не назовет.

Фольклорная интонация несет в себе лиричность. Но это лиричность олейниковская — двоящаяся, дублированная бурлеском, — карась, смотрящий на часики, «корюшка» в качестве слова любви…

Еще явственнее мотивы жестокости и беззащитности в стихотворении «Таракан». Ему предпослан эпиграф: «Таракан попался в стакан (Достоевский)». Привожу эпиграф в том виде, в каком он дан в публикации «Таракана» сыном поэта А. Н. Олейниковым («День поэзии», Л., 1966). Но и при чтении — «Таракан попал в стакан» — оказывается, что такой строки у Достоевского нет.

У Достоевского:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,

Полный мухоедства…[55]

Олейникову не нужна была точность цитаты; ему нужно было установить связь между гротескным обличием своей поэзии и гротеском Достоевского. В «Таракане» опять двоящийся животно-человеческий образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над беззащитным. Рассказывает на олейниковском языке, потому что не умеет, не хочет пользоваться традиционными наречиями поэзии, по его убеждению уже потерявшими способность *означать*.

Коллизия жестокости и беспомощности заострена все больше нагнетаемой гиперболичностью, — на маленького таракана направлены огромные, многообразные орудия пытки и убийства. Таракан сидит в стакане и ждет казни.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

К таракану подходит палач, который «Громко ржет и зубы скалит».

«Таракан» Олейникова вызывает неожиданную ассоциацию с рассказом Кафки «Превращение». Это повествование о мучениях и смерти человека, превратившегося вдруг в огромное насекомое (некоторые интерпретаторы считают, что это именно таракан). Совпадают даже некоторые сюжетные детали. У Кафки труп умершего героя служанка выбрасывает на свалку, у Олейникова —

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет…

Скорее всего, это непроизвольное сближение двух замыслов, потому что в те времена Кафка не был еще у нас известен, и Олейников едва ли его читал. Между тем историческое подобие между Олейниковым и старшим его современником несомненно существует.

Классическая трагедия и трагедия последующих веков предполагала трагическую вину героя или трагическую ответственность за свободно им выбираемую судьбу. XX век принес новую трактовку трагического, с особой

последовательностью разработанную Кафкой. Это трагедия посредственного человека, бездумного, безвольного («Процесс», «Превращение»), которого тащит и перемалывает жестокая сила.

Это коллизия и животно-человеческих персонажей Олейникова: блохи Петровой, карася, таракана, теленка, который плачет «под кинжалом мясника». Сквозь искривленные маски, буффонаду, галантерейный язык, с его духовным убожеством, пробивалось очищенное от «тары» слово о любви и смерти, о жалости и жестокости.

Олейников — сам человек трагического мироощущения и трагической участи. Он был осужден и погиб. О своем настоящем поэтическом слове он сказал:

— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало…

# Четыре повествования

# Возвращение домой

Зимой переход от сна к дню совсем другой, нежели летом. Это замедленный, во всех подробностях заметный процесс. Он заметнее всего в тот момент, когда ноги уже спущены на пол — в холодный мир, в день, а спина, прикрытая одеялом, остается еще далеко позади в безопасности… Пока переход по-летнему прост. Голые люди, сами того не замечая, из-под простыни попадают на террасу, — они при этом думают о другом. Быть может, лучшее переживание каждого дня, самое неомраченное, когда в первый раз за день сходишь с крыльца прямо в нежный утренний холод, в свет солнца, еще смешанный с пятнистой тенью листвы.

Это был маленький четырехугольный крымский сад, в котором засуха выжгла землю и зелень; там росли сорные травы разных сортов — высокие и редкие, — и несколько необыкновенно маленьких фруктовых деревьев с кривыми стволами и глянцевитыми листьями. Между деревьями на вбитой в землю доске висел зеленый рукомойник. Рядом с садом — пустой и открытый двор; оттуда видны горы, кусок моря и кусок деревни. Дома здесь довольно большие, аккуратно обмазанные глиной или оштукатуренные, белые и даже белые с голубым. У дома темно-желтый стог и какая-нибудь обмазанная хозяйственная постройка. И от не заполненных зеленью промежутков вещи кажутся не стоящими и не растущими, но кем-то расставленными на поверхности… Будто можно огромной рукой взять дом или стог — как предмет — и переставить. Ощущение макета — странное для человека, если он вспоминает при этом северную деревянную деревню. Здания тоже могли бы делиться на органические и неорганические. Органические — это деревянное, нештукатуренное жилье, которое стареет, темнеет, ссыхается, гниет, прорастает мхом, сочится смолой, обновляется резкими, желто-розовыми и белыми, пахучими заплатами.

Украинская деревня живописна. Живописность — это свойство вещей, на которые можно смотреть, не думая. Северная деревня — выразительна. Здесь, как и искусстве, условие выразительности — единство материала. Изба свидетельствует о себе и своем владельце — наклоном крыши, расщепившейся ступенькой крыльца, окном, разбитым и заткнутым желтой подушкой, колючими, неровными пучками соломы на амбаре; неисчерпаемыми подробностями и чертами несходства в деревянном и сером единстве.

Деревянное строение — оно даже иначе, органичнее реагирует на свет. Угол желтого каменного дома выступает в

закатном луче все такой же желтый, только светлее и резче. Но избы и сосны, воспламененные закатом, — стали темно-розовыми… Скоро они погаснут.

В Крыму же вещи — впрочем, не такие уж нужные и с которыми жить было бы странно, — но на которые интересно смотреть.

Из всех здешних вещей главная, разумеется, — море. Гуляющие по берегу любят, когда море не своего цвета. В часы восхода и заката оно бывает голубым, розовым и зеленым; оно бывает темно-желтым и мутным в прибой; бывает — перед грозой — серое, плоское, с синими и багровыми потеками. Я предпочитаю море в широком и тусклом блеске солнца, поднимающегося к зениту, утреннее море морского цвета, который нельзя с чем-нибудь сравнить или назвать иначе (вообще много сравнивать бесполезно)…

Море — огромная масса воды, той самой, которую можно зачерпнуть рукой, и в глубине ладони она несколько мгновений стоит — бесцветная и ничего общего не имеющая с морем (тогда как снег, который я беру на ладонь, — это тот самый снег, что покрывает передо мной дорогу). Чем нейтральнее материал, тем неожиданнее и шире его выразительные возможности. Любой пейзаж, в зависимости от времени года, от времени дня, от погоды, от множества более мелких и более случайных причин, — выражает разные идеи. Пусть это будет дом на холме, окруженный деревьями. Ночью он означает иное, чем на полуденном солнце; но основные элементы этого зрелища устойчивы, они не позволяют особым, частным его аспектам разбежаться слишком далеко друг от друга. Дом, деревня, стог, холм сошлись в пейзаж. В речном пейзаже вода — только один из сочетающихся элементов, вместе с глинистым берегом, с кувшинками и кустами. Но ночное море и море в полдень — явления разного порядка, именно потому, что в море как зрелище нет сочетания вещественных элементов; потому, что мы можем зачерпнуть рукой только бесцветную абстракцию воды. Но море как зрелище состоит из цвета, из шума, из запаха, из бесконечности и движения.

Море для нас почти всегда только поверхность. Мы не мыслим ни дно, ни глубину — словом, яму, наполненную водой, но поверхность — неизвестно чего… В иные же дни вода бывает светло-сизого цвета, без теней и без блеска, как бы зализанная, или заглаженная, или затянутая тусклой и жирной пленкой. Под пленкой, может быть, даже бьется настоящая прохладная вода. Море топчется на месте огромной слитной массой,

приподнимается и тотчас же валится обратно. Это мертвая зыбь. От заглаженности и слитности вода кажется издохшей. Такое море напоминает о смерти, о морской болезни и соленой рыбе. Грести противно. Человек гребет уже руками, потерявшими с туловищем связь. Все скучнее становится двигать веслами, и вдруг перестаешь понимать смысл своего отвращения — что это, страх морской болезни или она сама, наполняющая рот слюной и сердце невообразимым томлением…

Но море морского цвета, в короткой и крепкой волне, помогает найти формулу здоровья и формулу преодоления страха. Здоровье — мужество организма, который живет, хотя знает о бедствиях возможных и неизбежных, в том числе о собственной смерти.

На горизонте сплошной, еще не измельченный зыбью блеск. Будто он истекает оттуда, постепенно дробясь и суживаясь в зыби; идет по волне байдарке наперерез. Гребец держит на горизонт, оставляя за собой потухающую воду. Беспорядочно движется смятая, в разорванном блеске поверхность. Движется на человека ветром, солью, силой. Спина и пятки упираются в дерево, живот напряжен; на дне под доской шлепает просачивающаяся вода. Это ничуть не похоже на поездку на пароходе, катере, даже в лодке. Вероятно, это больше похоже на верховую езду.

Зыбь бьет. Забавно думать, что она плывет, эта ерунда из трех досок, с потрепанными бортами, с течью, с рваной пробоиной в фанерной облицовке носа. Можно положить наискось двухлопастное весло, удобно упереться локтями, согнутой в колене ногой прислониться к борту, вытянуть другую по мокрому дну и сощурясь смотреть на волну, пока три плохо сбитых доски будет толкать, качать, нести, поворачивать боком…

Это здоровье — оголтелое мужество тела, которое не верит уже в шквал, в глубину, в судорогу и изменившее сердце. Сущность в том, чтобы найти формулу здоровья на суше.

У хорошего пловца — чувство второго, не совсем понятного существования в воде (на глубоком месте можно стоять, лежать, сидеть), и он так же далек от мысли утонуть, как каждый нормальный человек далек от мысли провалиться сквозь землю. Перед началом — отвращение к мокрому и холодному, сопротивление, короткое усилие, и — нежная вода, снимающая земную пыль, пот, страх. Телом, потерявшим свою тяжесть, пловец не ложится, но откидывается на спину, примерно как в шезлонге. Он видит небо, не имеющее цвета, и справа низкие горы сухих серых и розовых тонов. Ему нравится, что он видит все это, в этой именно перспективе, благодаря собственному усилию. Даже не усилию — усилие незаметно; скажем, благодаря

собственному желанию держаться на поверхности воды. Вообще он существует сейчас только собственной волей. Это особенно ясно, когда плывешь против короткой и крепкой волны, систематически бьющей в рот и подбородок. В самодовольство пловца входит, конечно, представление глубины, но очень абстрактное. Глубина плохо понятна — разве море в самом деле яма, наполненная водой? Откинувшись на спину, он смотрит вниз на свои змеящиеся, струящиеся, вытягивающиеся ноги. Они скорее похожи на бледное отражение ног. Они вытягиваются вниз, в глубину, и глубина на мгновение становится конкретной. И на мгновенье — противное чувство неуверенности, почти как на суше.

Ставни — с детства знакомые южные ставни — прикрыты по-послеобеденному. Тело, прожженное солнцем, обмытое водой, просоленное солью, обветренное ветром, — на прохладной простыне. Именно здесь в затененной комнате, в быстро и глухо заволакивающем послеобеденном сне — все отдельные ощущения сосредоточились сразу в том давнишнем переживании свежего, приятно отяжелевшего тела. Спина горит, и под коленями прохладно. От соли волосы слиплись сосульками; тугая бесцветная кожица легко отдирается на плече. Губы жестки, а во рту вкус морской воды, горький и тающий, как воспоминание. И в самом деле все это, кажется, только воспоминание уже изменившей чувственной конкретности мира.

Выход в горы — перевал Военно-Сухумской дороги разочаровывает в ожидании высоты. Всегда замкнутое пространство, подымающееся по мере того, как подымается путник. Путник знает о высоте, но никогда не видит высоту. В горах вообще важно знать. Знание удивляет и внушает почтение, тогда как на глаз непривычный человек не отличит большую гору от маленькой.

Впечатление высоты дают тела, устремляющиеся от зрителя прямо вверх и прямо над ним заполняющие пространство. Иногда сравнительно небольшие предметы: дом, скала, сосна (если зритель стоит у подножья), — но не гора в четыре тысячи метров, сокращенная перспективой, притупленная пологими склонами, окруженная бесконечностью. Неудовлетворенность от гор, не доросших до полной высоты, от праздно пустующего пространства доходит до нервного раздражения.

Но увлекательно другое: из каждого движения вверх, вниз, вбок возникают новые ракурсы и повороты, переменные отношения между знанием о вещах и обликом вещей. Помню вид

из Теберды на хребет Большого Кавказа, на край горы, белый до хрупкости и до хруста. Однажды между Кавказским хребтом и мною встало облако. Облако несомненно было двугорбым верблюдом, но вместе с тем оно, как лебедь, выпячивало грудь и изгибало шею. Оно не наткнулось на вершину и не зацепилось, как это случается в горах с облаками, когда они ватными хлопьями рвутся и отдираются от горы. Оно остановилось на расстоянии, и расстояние между облаком и хребтом было видно сквозь облако. Это был интеллектуальный толчок — внезапный и новый опыт пространства.

Вам говорят — этот предмет мал, а тот велик, один находится рядом, другой за десятки километров… В непрестанной борьбе между знанием и впечатлением напрягается мысль. Отлогий спуск в долину, и из долины опять подъем в горы. Путник спускается, глядя в подъем. Так возникает внутреннее движение, подобное раскачиванию на качелях; сложное и восхитительное впечатление стелющейся под ноги высоты, легкой высоты, одолеваемой сознанием.

Самое сильное в горах — именно новое понимание категорий расстояния, размера, высоты, спуска, подъема; реализация их в каком-то особом опыте — физиологическом, мускульном и в то же время с небывалой ясностью проникающем в их значение.

Когда гора близко — видны расстояния между стволами. Деревья, как и следует, растут вверх, и потому к склону под углом. От этого кажется, что гора нарочно утыкана деревьями, быть может даже ненастоящими. Если гора далеко, остаются только заходящие друг за друга вершины. Она покрыта тогда неслыханной растительностью, сплошной, слоистой и курчавой, без стволов и ветвей, вовсе не похожей на кустарник, скорее похожей на особое лиственное вещество, вторую материю горы. Самые дальние цепи будто поросли травой. Это сосны.

Проходишь лесной тропинкой, и огромные сосны, удивительно чистой формы, мерят высоту. Подножья их ниже тропинки; они пересекают ее, меря высоту вверх и вниз, так что высота, обозначенная ими, — в то же время и глубина.

Переменные расстояния и размеры. Единственный в своем роде опыт пространства — одновременно мускульный и интеллектуальный. А по ту сторону провала чередуются склоны, утыканные ненастоящими деревьями, бьющее через край лиственное вещество, трава — и все это сосны.

Море осталось по правую руку. Среди маленьких крымских гор мы шли по хребту, который длинно суживался перед нами. Люблю эти пологие подъемы, скрывающие землю и прямо

входящие в небо. За спиной садилось солнце. На западе горы стояли в четыре неровных ряда. Ближний ряд, еще вещественный, с цветом земли, зелени и глины. За ним ряды все абстрактнее: от мутно-синего до дымчатого и облачного. Солнце опускалось с горы пустым слепящим белым кругом. В пересохший хребет грубо врыты большие с ржавчиной камни, и земля засыпана острым каменным сором. Так все пересохло, что под ногами травы стоят отдельно одна от другой. Какая-то звездчатая травка, похожая на мох, и просто стебли, на корню сожженные в солому. Соломенные надломленные стебли стоят поодиночке, так что в свете низкого солнца от каждого падает отдельная ясная тень. Справа — море; одноцветное — с такой высоты. Слева соседний маленький хребет, плотный, голый, весь из поперечных толстых складок. От солнца он темно-розовый и мясистый, с глубоко вдавленными тенями, с чернотой, заливающей через край неровные желоба между складками. Солнце, опускаясь, быстро желтеет; оно окружено теперь колышущимся оранжевым полем. Солнце горит у нас за спиной, пока мы поднимаемся, ступая по пересохшей земле, по синему каменному лому и соломенным травам.

Море, неподвижное — с такой высоты — с неподвижными белыми мазками, следами течений и ветров. Наверху с края хребта откроются влево три маленькие бухты. На границе каждой бухты лежит мысом скала. Три скалы изогнули спину и уткнулись в воду острием. За нами солнце — дико оранжевое без лучей — ушло в мутную гору; и небо перед нами ясно окрасилось розовым и голубым. Быстро холодеет ветер. Рыжий пламенеющий блеск на траве потух. Соседний хребет совсем изменился. Мясистые и розовые складки стали черствыми. Тени сплыли, и выступили, прежде затопленные тенью и светом, углы, сухие рубцы, белесые воронки, бороздящие гипсовую материю горы. Теперь небо неестественно нежное — над сухой и темной землей.

— Почему это может вам нравиться?

— Мне нравятся эти вещи, когда они выражают мое сознание… некоторое состояние сознания…

— А это выражает что?

— Например, пустоту. Нет, не думайте, — еще не победившую пустоту, еще одолеваемую усилием. Но это усилие не разделит никто… А вам что — нравятся мирты и олеандры?.. Словом, это подобно пустоте и неразделенной борьбе с пустотой… Смотрите, мы, кажется, дождались луны.

— Да. Уйдем отсюда, пожалуйста.

К миртам и олеандрам у меня непобедимое равнодушие. На

Кавказе — горбатые носы и бурки, вечные снега, ущелья, горные потоки темно-голубого цвета и сосны, упавшие в поток. Оказалось, что Кавказ — разумеется, не деловой Кавказ колхозов и строек, но Кавказ путешествующих — для меня зрелище. Это как превосходная декорация для человека, равнодушного к театру. Как прочно закрепляет за собой каждая культура отдельные участки бытия! Так, Кавказ остался за романтизмом. Не только нужен гениальный человек, чтобы описать Кавказ иначе, но этот гениальный человек, собственно, и не нужен… Если бы нужно было иначе написать о Кавказе, это сделал бы Толстой. Но Толстой только заменил Кавказ — людьми, находящимися на Кавказе, душевной жизнью находящихся там людей.

Русская деревня никогда не была зрелищем, тем менее отрадным зрелищем. Деревня до сих пор содержит предпосылки неотъемлемой важности для нашего миропонимания, нашего эстетического мышления, для нашего чувства родины и природы. Точнее, для того чувства земли, физического желания земли, которое испытываешь, глядя в окно вагона на невозможно ровную русскую равнину.

Старая деревня — форма бытия пережиточная, но не изжитая в нашем культурном сознании, в котором она существует всей связью интеллигентских традиций. И тут — следует строго следить за собой, потому что быть эстетом в социальных вопросах — безнравственно.

Для того, кто вырос на юге, в городе и на даче, деревня была возвращением домой. Хотя и убогим, потому что настоящее умение распознавать признаки родины человек выносит из раннего детства, когда он такой маленький, что ему видно все, что делается на земле.

Мы располагали именами, и это был путь, обратный пути человечества, познающего мир. Вместо процесса называния вещей — процесс подыскивания вещей к названиям. Так осуществлялись в трех измерениях слова — дорога, изба, амбар, рожь, стог, серп. Мы дергали лен, мы пытались жать, невзирая на порезанные пальцы, и в этом была настоятельная потребность самым практическим, самым физическим образом проверить сочетания слов: ехать в телеге, спать на сеновале, сидеть на завалинке, пить в поле квас…

Сочи… южная ночь, пахнущая цветами и морем. Южная ночь — лягушки, цикады, малярийные комары, звезды и кипарисы. О кипарисах и звездах думаешь, пока на них смотришь; и, пока о них думаешь, — думаешь только о них. Но если идти через поле

навстречу красному, желтому, зеленому закату, — можно думать о самых печальных и самых радостных в жизни вещах, глядя, как на закате стоят избы, стога и стреноженные лошади.

* * *

В окне тесное сочетание зеленых и красных крыш, пустырь и белый казарменный дом у пруда. Здесь начиналось возвращение. На краю неба крыши и необыкновенно худые сосны с растрепанными перьями ветвей. Начиналась печаль — давно остывшая и которая не мешает работать.

Это подмосковный поселок, уже тяготеющий к пригороду, но еще сохранивший черты дачного места. Сухие северные дачи; архитектурная нелепость, в которой есть нечто альпийское, и нечто псковское, и нечто даже готическое, экономия строительных материалов и великая жажда иллюзий. Основа от избы, но изба утратила свою закономерность, но волнообразное чередование благородных круглых бревен выродилось в дощатую щелястую плоскость. Вытянутый кверху и узкий — отчего он кажется тощим — дом сцеплен из двух срубов с двумя островерхими крышами, поставленными перпендикулярно; под одной из крыш, кроме того, рогом единорога торчит маленький мезонин. Сбоку дома пристроена веранда — вся в мелкое стекло; на нижней веранде сидит верхняя, такая же, но поменьше. Странные эти постройки десятками стоят вдоль дороги.

Но после горных дорог, кончающихся на каждом повороте, после дороги, которую поглощает подъем, так что только в лиственной сплошной глубине она лежит кое-где желтыми разорванными кусками, — все-таки здесь опять настоящая долгая дорога. Она внушает желание идти, беспредметную жадность, рационально необъяснимую в человеке, который знает, что за ельником будет плоское поле, за полем — быть может, пустошь, отделенная от дороги канавой с редкими березами по краю, потом ельник, деревня, поле, пруд, бывший помещичий дом, кладбище, поле, ельник…

Полностью это начинаешь понимать от противного, на юге. Украинское жилье организовано по принципу оазиса. Кругом степь, по ту сторону тына дорожная белая пыль, глубокая, как песок. А за тыном, с его однообразным и прелестным орнаментом, хата, поглощенная зеленью. Это хозяйственная, культурная растительность, поэтому она рассажена в отдельности и в порядке, но от густоты на малом пространстве она путается в глазах; так что одно начинается там, где другое еще не

кончилось. Маленькие лохматые деревья, торжественные подсолнечники, грубые цветы картофеля, узкие падающие листья кукурузы смесились в тесноте и независимости домашнего оазиса, вокруг вечно обновляющейся хаты. Как это непохоже на нестираемые признаки времени и бедствий, бороздящие стены избы. Как непохоже на избу, когда она, неприкрытая, стоит на мирской дороге, между двумя березами и полосатым огородом, и ветер параллельно земле вытягивает листву берез.

Там, на Украине, путник попадает в окружность, иногда очень просторную, с расположенными в ней хатами, деревьями и стогами. Это пространство между прочим пересекают несколько дорог, довольно невнятных и как бы не имеющих отношения к ландшафту.

В силу беспрестанного, сложного перемещения предметов содержание круга меняется. Путник переходит из круга в круг. Вернее, его оцепляют все новые круги. Сначала — легкий склон; позади железные и соломенные крыши как попало расставленных украинских домов. Впереди распаханные холмы; справа неровный гребень зелени — на самом горизонте; слева маленькие массивы кустов, и за ними тоже далекий гребень. Все сомкнуто между собой, согнуто в границу круга. Внутри — луга с объеденной травой, разноцветные посевы, смятые ветром деревья.

С усилием пытаюсь поймать процесс перемещения. Вот на пути дерево; оно быстро передвигается, увеличиваясь. Слева с такой же быстротой отступают назад мягкие кусты, но голубая хата почему-то не движется, пока не поравняешься с ней; тогда она поворачивается углом и дает место деревьям, еще не бывшим в поле зрения. На пригорке молодые с бело-зеленой корой тополя стоят в ряд, и сквозь их стволы, как сквозь прутья решетки, проходят холмы, облака и куски чистого неба.

Продолжаю идти по легкому склону. Сзади деревня расползается все шире. Слева лежавшее на отлете поле подсолнечников (таких красивых, что кажется — они посажены нарочно для красоты) вдруг вдвинулось в путь. Еще немного — и поле подсолнечников станет отрезком границы нового круга. Впереди, вместо ускользающих вниз холмов, поднялся новый ряд хат. Дорожка как раз взяла вправо, и кусок луга с коническим стогом вдруг повернулся вокруг себя и встал по другую руку. Внутри нового круга путник замкнут опять вместе с хатами, деревьями и стогами.

Северная русская дорога ведет и разделяет. Нечто находится справа, нечто находится слева (ельник, поля, разрезанная дорогой деревня), что-то осталось позади, что-то нас ждет впереди. Даже если это дорога между соснами и дачами в глубь дрянного

дачного леса, — она уже соблазн, вечное побуждение идти и не останавливаться. Она входит в лес просекой, открывающей небо, и значение ее усложняется, включая в себя высоту. Уже не одна земля, но и воздух (нужен разрез аллеи, просеки, чтобы увидеть воздух) участвует в беспокойстве, в желании идти и неясных обещаниях путнику.

Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе… —

сказал Блок.

Вещественные элементы долгих дорог исчезают в чистом чувстве движения; мускульного движения, уже оборачивающегося течением мысли.

Кроме болезни, усталости, лени — существует еще равнодушие. Есть защитное равнодушие — к несущественному при наличии существенного; и есть равнодушие вообще, самоубийственное равнодушие. Берегитесь, — защищаясь равнодушием, можно незаметно прикончить себя.

Равнодушие иногда отличается буквальностью. Человек уже не уверен в том, что имеет смысл есть виноград, или курить, или пойти в кино. Но пусть равнодушие остановится здесь, у пустырей и убогих подмосковных сосен. Чтоб не захватило оно ни земли, ни ветра, ни белых черствых южных дорог от скалы к скале, ни северных дорог — однообразных и устремленных — от мысли к мысли. Если равнодушие умертвит кожу до неспособности кожей чувствовать землю и ветер — сохраним дорогу и ветер в качестве наилучших условий движения мысли.

Чего человек боится — смерти, болезни, умственной деградации, нищеты, одиночества, может быть раскаяния?.. Может быть, остановки желаний, уничтоженных обвалившейся на него попыткой — жить в самом деле? И тогда сквозь все, что в нем погибло, сквозь омертвевшую нежность и омертвевшую злобу, — он пробирается к формуле спасения: хочу хотеть писать.

Труднее всего хотеть. А чтобы писать — кроме способности писать, — нужны самые патриархальные вещи: здоровье и усердие.

— Основное ваше свойство — лень.

— Вздор какой! Спросите людей… Я сижу за столом по двенадцать часов.

— Нечего спрашивать. Вы ленивы… ленивы… и от лени все зло, какое в вас есть.

Чтобы понять это в человеке, нужно знать его на большой

глубине озлобления.

Душевная лень — тайный порок, ничего общего не имеющий с обыкновенной ленью. Это бессознательное отвращение перед тем крайним напряжением сознания, которым человек достигает своего предела. Вдохновение, вероятно, акт преодоления лени и страха. Лень и равнодушие предохраняют от слишком разрушительных усилий.

Двенадцать часов за письменным столом — быть может, это только предлог для праздности. Профессиональные неудачи, гонорары, любовь — все это, может быть, только предлог; особенно неудавшаяся любовь, заставляющая работать на себя воображение и рассудок. Что же касается поденной литературной работы, то злоупотребление ею приводит к состоянию, в котором животная бессознательность постыдно смешана с переутомлением мозга. Против бессознательности есть одно только средство — додумать до конца свои мысли.

---

Люди, много страдавшие от разлуки, могут, конечно, любить дорогу, но навсегда сохраняют боязнь перед железнодорожными предметами. Темная платформа и черные в своем земляном русле рельсы. За путями под фонарем слепые без окон строения и зияющие окнами отставленные на ремонт вагоны. Ветер, дымный и металлический. Мелкие цветные фонари и возня железнодорожных людей в тужурках и блузах. С платформы видно, как в окнах тускло блестят верхние полки бесплацкартного вагона. На вещевой полке, против окна, расставлены кошелки, зеленые сундучки и черные чемоданы. Можно отчетливо представить себе мигающую светотень жесткого вагона; деревянные скользкие поверхности, от верхних полок — большие треугольные тени. Неподвижный, с храпом, воздух. Сверху свесились пятки лежащего на животе человека, и нудно углом сползает одеяло. Внизу раскрытый во сне рот. Пассажир на боковом месте не ложился спать. Складным ножом он режет скрипучий хлеб. Подробности чужого тела и платья раскрываются в насильственной физической близости. Полосатые чехлы полощутся в открытом окне мягкого вагона. На столике флакон с притертой пробкой, две бутылки нарзана, что-то еще, прикрытое салфеткой. Узкая светящаяся коробка ждет, чтобы под ее защиту торопливо вернулся человек, высунувшийся на черную станцию, на перекресток разбегающихся путей; она явно хочет быть контрастом, очагом безопасности, залогом обыденной жизни — в

лязгающей и мчащейся ночи.

На платформе, спиной к нехитрым иллюзиям мягкого вагона, слежу, как слова и строки сами собой вступают в сознание… Толкнуло и потащило ее, и сразу погасла свеча, при которой Анна читала книгу, исполненную обмана и горя. Или —

Вагоны шли привычной линией…

Или лучше —

Тоска дорожная, железная,
Свистела, сердце разрывая…

Железнодорожный ландшафт разбит на параллельные планы. На первом плане деревья мчатся мимо; кусты сливаются; телеграфные столбы отрываются от края окна и плавно ускользают. По мере того как первый план отступает, из-за него надвигаются предметы следующего плана, за ними третьего, четвертого… железнодорожный ландшафт охвачен вращательным движением. Маленькие отрезки первого плана быстро проносятся в кадре окна, и медленно проходят большие пространства горизонта. Иногда, параллельно первому ряду строений или кустов, строения или кусты стоят близко на втором плане. И при встрече оба ряда рывком раздирает в разные стороны. Круглые группы деревьев с удивительной четкостью вертятся вокруг своей оси. Пустая равнина все так же лежит в окне; но непрерывно сменяются отрезки разных почв и посевов. От этого цвет земли напряжен и текуч.

В стекле, запачканном раздавленными каплями дождя, — железнодорожный ландшафт. Телеграф перебирает в небе вздымающимися и падающими проводами. Мимо окна мчатся кусты и мокрые шпалы. Сзади согнутая полукругом земля тихо движется по движению поезда. И если связать оба движения, кажется — видишь вращение земли.

В пятнистом стекле, как уже много раз, знаки возвращения. Лесная зелень разного зеленого цвета — черного, синего, серого, желтого, рыжего, — но в конечном счете зеленого; в однообразной пестроте блеск белых пятнистых берез. Или тусклые кусты глухим рядом у полотна. Или за оборвавшимися кустами — низина, мокрая, кочковатая, клочковатая; тоже бурая, рыжая, зеленая. В самом деле можно испугаться.

Зелень леса и зелень болота на этом перегоне — такое же условие дороги, как стук под полом вагона, как вздымающиеся и

падающие под углом провода, и в проводах темный разорванный дым. Ветра нет, и дым не стоит над составом толстой завитой колбаской, он валится с проводов и без сопротивления уходит в листву.

Чего же, собственно, человек боится? Небеленного потолка своей комнаты? визита к знакомым? домработницы? рукописей на столе? жироприказов из жакта или разговоров в издательстве? С этими вещами можно жить, но безостановочно; при возобновлении же происходит замирание души.

Семафор долго закрыт у маленькой станции.

Оштукатуренный вокзал. Внутри служебные окошки и гладкие тоскливые скамьи. Сбоку отгороженная площадка, на которой стеснились телеги, хозяева и жующие лошади. Худая девочка, подгибая колени, вытянув свободную руку, тащит чересчур тяжелое ведро. Длинный деревянный дом (начальника станции?) с занавесками и цветами в горшках, которые существуют на самом деле, хотя мы считаем их стершейся литературной деталью. Серая виселица качелей; между двумя осинами гамак, и девушка запуталась в сетке гамака каблуками; над гамаком двое парней в майках и пиджаках. По вечерам люди долго ходят взад и вперед перед вокзалом. По одну сторону вокзала пыль, в засохших комьях большая дорога, бревенчатые дома с вывесками: «Универмаг», «Почта», на телегах свалявшееся сено. По другую сторону, за полотном — внезапное отсутствие строений… Голое поле — бесконечность земли, и рельсы — бесконечность пути.

* * *

Когда человек возвращается из отлучки, он возвращается к дому, к труду, к любви. Я расскажу об одном возвращении человека — назовем его Игрек.

Встрече предшествовал страх. Так действует молодое вино — бросается в ноги, оставляя голову спокойной. Есть такой темный физический страх, проникающий в колени, в кончики пальцев, в живот, — и не имеющий отношения к ходу мыслей. Мысли при этом обыкновенные; только впечатления извне несвоевременно доходят до сознания.

Улица, автобус и лестница прошли незамеченными. Страх собрался в короткую мысль: может быть, что-нибудь уже случилось… Поэтому раскрывающаяся дверь, волосы (почему-то всего заметней), улыбка навстречу и голос, назвавший имя, —

были огромным поразительным облегчением. Страх спадал. Он спадал все быстрее, когда тело уже было сжато руками и губы прижимались к чему попало — к волосам и воротнику. Потом мгновение, когда двое, рассматривающие друг друга, оказываются перед необходимостью заговорить. Они поспешно употребляют какие-то слова, не имея понятия о том, какие, собственно, слова подходят к случаю.

— А я тебя ждал дома…

— Я не знала, в котором часу он приходит…

— Эти же все поезда утром. Покажись… Нет, я думал, будет хуже.

— Я уже здесь потеряла…

— Я тут нашел все письма и телеграмму. Как же я мог ответить?..

— Я ничего не знала…

Бессмысленный и нервный разговор, смысл которого в том, что он рука в руку и воссоздает домашнюю связь мелочей и жизней.

Вот оно — чувство передышки. Удовольствие от падающего страха.

Если бы можно было работать не отдыхая, многие из нас не стали бы возражать против одиночества. Но отдыхать одному нельзя, потому что одиночество (если только оно не способствует отупению) способствует тому высшему, трудному состоянию сознания, при котором процесс постижения и творчества невозможно полностью остановить. Одиночества не снимает ни взаимное понимание, ни хорошее отношение, ни хождение в гости… Его снимает только наличие человека, на которого обращено ожидание счастья, осуществимое или неосуществимое — все равно.

Игреку же нравилось послать телеграмму (значит, в этом городе он не один), или домашность общего обеда и каких-то покупок; особенно же употребление всех этих словосочетаний с *мы, моя, обойдемся, я решительно против*, — с их ответственностью и зрелостью.

Но сейчас — попутно облегчению, попутно произносимым словам — он вспоминал, как они прощались. Он тогда смотрел на нее, запоминая, — потому что он мнителен и, прощаясь, не верит в предстоящую встречу. Он обнял ее у печки, и его испугало, как долго сходились руки, не встречая препятствия. Тело, оказывается, занимало незначительное пространство в центре пустого скользящего круга объятий. Когда же руки сошлись наконец — ощущение непрочности стало страшно ясным. Он узнал его; оно было то самое, которое сопутствовало всему,

перебивая другие — будь то ощущение зрелости, или ответственности, или успокоения. Оно оформлялось точно — ежевечерним вопросом: встретимся ли мы еще? Значит, сможем ли встретиться и захотим ли мы встретиться?

Он вспоминал, с беспокойством присматриваясь к сходству между прощанием и встречей. С каждым месяцем все понятнее становилось, почему начало этой любви походило на удивление или на боль в области сердца.

— Для себя я больше не жду ничего… Я не знаю, уменьшилось ли мое чувство. Оно хуже чем уменьшилось — стало бескорыстным.

— Почему хуже?

— Больше похоже на равнодушие. От равнодушия оно отличается только затихающей болью. И этого мало. Жизнеспособное чувство от равнодушия должно отличаться еще ожиданием.

Это было следующее по счету возвращение Игрека. Оно существенным образом отличалось от предыдущего.

В своем дневнике он тогда записал: «Любовь, вероятно, состоит из трех иллюзий: иллюзии вечности, незаменимости и неисчерпаемости. Без них любви нет, а на ее месте могут действовать другие (и очень сильные) импульсы — чувственное возбуждение, самолюбие, привычка.

Любовь, как и сильная боль, непременно сопровождается непредставимостью прекращения этой любви или боли. Потому что представить себе прекращение — это и значит на данный момент прекратить. Так образуется иллюзия вечности. Иллюзия незаменимости — это уверенность в том, что любимый человек если и не самый лучший, то единственно возможный. Но главная из трех иллюзий — в непрерывности ожидания, в том, что любимый человек — неисчерпаемая сила, вырабатывающая счастье. И творческому действию этой силы подвержены любые явления мира: кинокартины, пирожные, розовые закаты… Нет нужды перечислять. Влюбленные ходят в театр, ездят за город, вместе читают книгу. Это бессмертное желание всю действительность пропустить через любовь, или осуществлять любовь на разных материалах.

Эротическое ожидание — ожидание счастья, то есть душевного состояния, абсолютного, неразложимого и не допускающего вопроса: *зачем?*, ни вопроса: *что дальше?* Эротические ценности — объекты, относительно которых дифференцируется и посредством которых осуществляется ожидание, — всегда в то же время и цели. В любви желание равно

ожиданию; ожидание же — это желание с расчетом на достижимость. Бывает любовь неудовлетворенная, но неудовлетворимой любви нет, — это состояние скоропреходящее или непереносимое. Если такая любовь не убила человека — человек убивает любовь чем придется: волей, работой, развратом, рассеянностью. Если ничего такого не случилось, значит неудачник нашел эротический эквивалент, предмет осуществимого желания. Смотря по обстоятельствам, по темпераменту, по воображению — эквиваленты очень различны; и в разной мере удалены от естественных целей счастливой любви. Человек может желать, или быть вынужденным желать, только целовать любимую женщину или только коснуться ее руки; встречать ее на прогулке, смотреть на ее портрет; или только говорить о ней, или только думать о ней.

Любое из этих действий, если оно стало предметом ожидания, — станет источником удовлетворения, пускай печального в своей условности. Об этом писали Шиллер и Жуковский:

Там — сияло ль утро
ясно.
Вечер ли темнел —
В ожидании, с мукой
страстной,
Он один сидел.

И душе его унылой
Счастье там одно:
Дожидаться, чтоб у милой
Стукнуло окно;
Чтоб прекрасная явилась,
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.

И, дождавшися, на ложе
Простирался он;
И надежда: *завтра то же!*
Услаждала сон.
Время годы уводило…
Для него ж одно:
Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно…

Покуда его любимая девушка не ушла в монастырь, рыцарь Тогенбург просто хотел на ней жениться. Так подстановка эквивалентов, все удаляющихся от первичной цели, оказывается страшным возбудителем. Недостижимое разрослось; и ожидание, мучительное и отвлеченное, всей своей силой ложится в узкий участок бытия, еще доступный материально, — в прикосновение, в слово, в письмо. В любви всякий имеет то, что он заслуживает… а иногда даже то, к чему бессознательно или тайно стремится.

Существует предел, близ которого разрушается эротический эквивалент — предмет осуществимого желания. Предел разный для людей разного сексуального типа — в разных обстоятельствах. Одни еще вознаграждают себя, провожая любимую женщину из театра, но уже не находят удовольствия в том, чтобы, прячась между деревьями, незримо присутствовать при ее прогулке. Иные начинают скучать, лишь только им не остается ничего другого, как смотреть на освещенные окна. Установить предел заранее трудно. Но где-то каждый теряет свое ожидание».

«Мне же, — писал Игрек в своем дневнике, — в этих отношениях нужна была обыкновенная близость — невзирая на эквиваленты. Я бываю слаб, покуда мне чего-нибудь хочется. Так возникает заблуждение, будто меня можно без опасения гнуть. На самом деле меня можно гнуть только до точки, определяемой равновесием между желанием и достижением; причем формулу этого равновесия я храню про себя. У женщин есть в обращении с людьми дурацкая неосторожность… Стоит меня перегнуть — и я становлюсь совсем деревянный, сухой и глухой, навсегда очень вежливый, и меня уже нечем взять».

*Она:* — Мне надоело, что вокруг все люди старше тридцати лет. Что-то в них есть неприятное.

*Игрек:* — Я объясню вам — что в них неприятного. Люди после тридцати лет хотят, чтобы их любили. От тридцати до сорока лет человек нетерпим. До тридцати, видите ли, мы не умеем себя беречь. В юности это умеют только глупые эгоисты.

— Что же после сорока?

— Ну, после сорока человек охотно делает скидку. Но у нас, у тридцатилетних — тридцатипятилетних, есть какое-то чувство невозвратимой полноты, максимума, который жалко продешевить.

— Так это и есть неприятное?

— Да. Вы, например, когда кончилась наша счастливая любовь, полагали, что теперь-то начнется моя — несчастная… Неверно. Мою способность к безнадежной любви я в юности всю

истратил… вы догадывались об этой истории. Вы же говорили когда-то: какая бессмыслица любить человека, у которого была несчастная любовь… и объясняли очень резонно: несчастная — значит, настоящая. И это много лет, — говорили вы мне, — что от тебя осталось?.. Да, все, что было потом, могло быть только видимостью неудавшейся любви. Видимость возникала, потому что я умею сокращать эротические требования в их объеме, незаметно сохраняя за ними интенсивность. Вас же я любил всегда — при условии взаимности. Под конец это могла быть странная взаимность — например, основанная на вашей душевной праздности. Когда в последнее время вы повторяли мне, что глубоко ко мне равнодушны, — я не верил. Это непостижимо, но я не верил. Я думал, это надрыв. Потом… Помните разговор на даче? Вы тогда говорили: твое чувство как бумеранг — оно всегда возвращается к тебе. И еще в какой-то n-ый раз сказали, что вы ко мне равнодушны. И это как-то так подошло… все давящее и темное стало вдруг до облегчения ясным. И сразу, посреди разговора, в первый раз я поверил. Я перестал ждать.

— Не понимаю. Ждать — чего?

— Счастья ждать, отдыха ждать. Ждать тебя.

Общеизвестно, что влюбленные — подобно детям, дикарям и поэтам — занимаются словотворчеством. Разговор их — диалект со своим кругом узуальных значений, не только потому, что у них существуют отдельные, им одним понятные интересы, воспоминания, привычки, но главным образом потому, что любовь заведомо превращает в ценность слово любимого человека. И чем больше в этом слове от случайного, от иноязычного, от грамматического ляпсуса — тем вероятнее, что любовь поймет его как неповторимо-подробное, единственно точное выражение неповторимых соотношений. И закрепит в своем диалекте.

Но вот как они разговаривали за обедом, когда Игрек на этот раз вернулся из отлучки:

— А я не в силах есть консервы после этой дороги, когда мы опоздали. Мне опротивело; я ела судака всю дорогу. У нас не было вагона-ресторана, и вообще мы всю дорогу голодали.

— Я уж думал, когда сходил в Киеве, что вы ничего не найдете; я эту банку положил на выступ под столиком. Между прочим, мой сумасшедший родственник встречал меня до пяти утра, сидел на вокзале. Главное, если б он вышел на перрон, он бы меня нашел. А он боялся меня пропустить, номер вагона не знал и стоял у выхода. В буфете потом искал.

— А утром он вас встретил?

— Нет. Не хватало, чтоб он до половины десятого… Я прямо поехал к ним.

— А того, с верхней полки, в Ленинграде почему-то встречали две страшные старухи.

— И что они с ним сделали?

— Ничего. Все вместе поехали.

— Его должна была встретить машина.

— Не видала. Мы же опоздали на десять часов.

— Вы не можете больше судака. А я с этими котлетами… Она сделала чудовищное количество. Я вчера котлетами завтракал, обедал; сегодня завтракаю, обедаю…

— Они вкусные.

— Хотите еще?

Каждый, кто любил и переставал любить, знает опустошающие встречи с предметами и словами, которые только что были обещанием и движением — и стали одномерными и удручающе равными себе самим.

К одномерным вещам неприменима гипотеза неисчерпаемости, самая важная из всех гипотез любви. Всякое прямое, несимволическое наслаждение заранее представимо по содержанию и объему. И потому его можно желать и требовать, но нельзя ожидать особым, в глубину уходящим ожиданием.

Ожидание разрушается много медленнее, чем любовь, чем иллюзия неисчерпаемости, придающая ему силу. Чего человек ждет? — стука в дверь, улыбки в раскрывающейся двери, чувства падающего страха… Ждет бессмысленно, зная, сколько длится улыбка и облегчение.

*Дневник:* «Инерция — двигательная сила, противоположная ожиданию, но эквивалентная ему в динамике душевной жизни. Самые дробные знаки неосуществившихся эмоций даны нам не только в зрелище уходящего поезда, но в движении руки, берущей перчатки, но в тяжести пальто, когда мех, притрагиваясь к губам подающего пальто у двери, возбуждает печаль, которая некогда казалась неизлечимой. По макету эмоций разум все еще познает их строение. И далеко на периферии знакомые сокращения нервов воспроизводят преданность быстро и безошибочно. Это условные рефлексы преданности и печали, воспитанные долгой привычкой чувств и маниакальностью мысли, годами устремленной в одну точку. И человек, который давно спокоен, маниакально дорожит старым несчастьем. Он дорожит измененным состоянием сознания, свободным от холодной нормы справедливости, от унылой нормы самолюбия;

опрокинутым равновесием… и так велика прочность этого невозможного равновесия, что оно переживает годы, страдания и, что удивительнее, — переживает страсть, которая сделала его возможным».

Тишина в жизни человека (от тишины не избавляют чужие шаги по коридору) — то же самое, что неторопливость в жизни человека. Это мир его никуда не зовет. Равнодушие подобно темному воздуху комнаты, тишине, нищете или отсутствию аппетита.

У человека, например, нет денег. Ему подают картошку без масла, и он садится за стол, с некоторым удивлением и удовольствием чувствуя, как ему безразлично — ветчину он будет есть или картошку, с маслом она или без масла. В тарелке размята беловатая и зеленоватая неприятная на вид масса. Он осторожно нажимает вилкой, и сухая картошка узкими крошащимися и рушащимися стенками выдавливается сквозь зубцы. Такие вещи делают дети, не умеющие себя вести за столом. В детстве это кажется интересным.

Неясно — можно ли жить, не отдыхая. Если мы не отдыхаем, то часто не потому, что у нас нет времени, но потому, что для отдыха у нас нет поводов, кроме усталости. Это недостаточный повод. Если отдых — только остановка работы, если, по сравнению с работой, он лишен нового положительного содержания, то усталость все равно никуда не уйдет. Она только на время освободит мускулы и веки, — загнанная в глубину, ближе к сердцу, и там, в глубине, мешающая сердцу биться.

Хорошо было бы тишину приблизить к спокойствию. Пока что тишина натянута ожиданием. Что, если для него это последнее ожидание стука в наружную дверь, еще стука, голоса, срывающего тишину? Ожидание бессмысленное, или имеющее чересчур ограниченный смысл, — потому что оно в самом деле направлено на стук, на раскрывающуюся дверь и бесконечно короткое облегчение, на улыбку бессмысленного облегчения.

Случайности отпадают, теснимые закономерностями, пока не останутся в чистом виде — человек и мысли человека. Это, собственно, сюжет «Робинзона». Робинзону пришлось жить в чистом виде — и он не погиб. Дефо рассказывает о том, как он не погиб. А что сталось бы с Робинзоном, если бы у него не было Пятницы, то есть иллюзии, что в мире он не один?

Из соединения двух человек, потерявших способность любить, не получается ничего, кроме соединения; и если оно оказывается до странного прочным, то именно по принципу

встречи на необитаемом острове. Каждый из них находит другого не как незаменимую ценность, но как подходящую случайность и средство применения пустующих душевных способностей. Одному нужно препровождение времени, другому — отдых. И он дергается и нервно отстаивает свой отдых, заключенный в единственном человеке. И от нервности по временам ненавидит и даже любит хозяина своего отдыха. И хотя они проводят время друг с другом очень плохо, но, как все слабые люди, они боятся времени и потому не могут перестать его проводить.

Эти связи, основанные на душевном бессилии действующих лиц, выдерживают годы злобы и скуки, чтобы потом мгновенно погибнуть под новым содержанием жизни.

*Игрек:* — Итак, в своей жизни я устанавливаю сюжет «Робинзона»… Человек, оставшийся с миром один на один, — спасается.

*Она:* — Между прочим, это очень скучный сюжет. Потому что Робинзон все время делает то, что и без него давно уже сделано.

— А-а-а… в самом деле… Об этом я не подумал…

— Я испортила вам сюжет?

— Да. Я вам отомщу. Дело в том, что вы — Пятница.

— Почему Пятница?

— Пятница нужен для того, чтобы Робинзон воображал, что он на земле не один.

— Так я могу быть Пятницей для вас и еще чем-нибудь для себя. Разве обидно быть Пятницей?

— Ну, он ведь эфиоп какой-то…

— Не смущайтесь.

— В самом деле… Как это мне не пришло в голову… Все, что делает Робинзон, — уже сделано…

— Это мне еще в детстве ужасно не нравилось.

*Дневник:* «Помнишь — непроходимо долгий день на маленькой станции. Пыльный ветер, и небо прямо над чемоданами. Скверный обед в столовой с оловянными ложками, которые глухо стучат о тарелку. Сильнее всех чувств было чувство удивления перед этой вязью обыденных действий, уцелевших в разорвавшейся жизни… Помнишь разговор на бревнах, непонятной обыденностью похожий на обед… Это ощущение подвешенного, раскачивающегося времени, которое нам дает очевидность ссоры, смерти, третьего звонка. Это настоящее, которое еще длится, хотя, собственно, его уже нет, потому что очевидность конца изменила его до неузнаваемости. И то, что оно все-таки длится, наполняет нас бессмысленным удивлением».

* * *

Через Канал, Марсово поле, Фонтанку — к Неве.

У города тоже есть своя легкость, свои способы вызывать ровный шаг, который уже не хочется остановить. Асфальт и большие ряды домов помогают телу найти меру шага, меру дыхания и меру покачивания рук. Когда же в дали улицы, между домами, открывается вдруг слабо окрашенное небо, путник переживает чувство дороги. Темную необходимость идти и идти до конца — он переживает больнее и взволнованнее, чем ему случалось пережить ее в лесных просеках. Ведь что бы путник ни говорил по этому поводу, он знает в душе, что идти ему не лесом, не полем, а городом.

Ровнее всего дыхание на Неве, где внезапно прервавшийся, широко расставленный город. Фонтанка изогнулась серым парапетом. В конце мост короткой дугой, и на Неву выходят три пустых овала. В левом овале прошла маленькая моторка. Фонтанка блестит на солнце гранитом и сальной водой с рыжей и радужной накипью у парапета. Вода затенена деревьями и облаками. Крупные черные, синие и серые пятна зелени, неба и облаков сплываются в медленной вязи желатиновых овалов. У Летнего сада в воду падают листья. Пестрые листья засыпали темное отражение листвы. Над выгибом моста — верхушки зданий, которые в этом городе сочетаются так, как если бы лучше уже нельзя было сочетаться.

Очевиднее всего это у Дворцового моста. Автобус, кренясь, заворачивает к Университету. Можно сойти на углу и стать посреди прекрасных вещей. Огромное небо, Нева и гранит, в сквере подстриженные деревья, низкий фронтон Фондовой Биржи, Петропавловский шпиль, в который ослепительно ударило солнце; грубая и великолепная лепка Ростральных колонн; расставленные колени Нептуна… грязный гипс и зеленая медь на красном торсе колони… этот от моста идущий свободный поворот отливающего чернотой асфальта; двойное течение асфальта к набережной и к Бирже, означенное рельсами и ребристыми следами проходящих машин. Широкие плоскости неба, воды и асфальта, и между асфальтом и небом — зеленый, в белых перчатках милиционер, прямоугольными жестами регулирующий уличное движение.

Этот город — не только социальное целое; он существует еще и сам по себе, подобно фактам природы или искусства. Но в какой-то другой инстанции оказывается, что он своими плоскостями и широкими поворотами, водой, камнем, листвой — имеет близкое отношение к способности мыслить, к упрямству, к

тому, как человек поднимает свою тяжесть, к движению судьбы, которую надо отжимать и отжимать, пока она не станет целесообразной.

Что ж, в солнечный день возвращение домой приобретает окраску оптимизма? И не торжествует ли малооригинальная схема — индивидуалист, запутавшийся в собственных сетях, спасается творчеством и трудом, принадлежащими общему?

Пока отвечу: сильнее всего я хочу, чтобы восторжествовала эта малооригинальная схема.

Два витых металлических столба у середины Дворцового моста с силой возбуждают всегда одно и то же воспоминание. Сначала долгий летний закат неестественно пышной раскраски. Потом еще дольше — послезакатные цвета, вязкие и нежные, молочно-розовые и водянисто-голубые. Постепенно все становится стертым, ровным, непонятно светлым. Все, кроме узкой закатной зари, которая останется до утра последним видимым источником света. Фонари безжизненно горят на мостах и на Марсовом поле. Над шлемом Суворова встала единственная звезда. Через Троицкий мост, уходящий в зарю, переваливаются машины. Проходят последние трамваи. У них собственный желтый свет, отделяющийся от освещения ночи. Они проходят по мосту, до пояса светящиеся и прозрачные, унося в решетке опущенных окон пустое небо и маленькие головы пассажиров.

Третью ночь жадно хожу по улицам, чтобы только поймать подъем. Площадь осталась позади, и разведенный мост неторопливо встает навстречу. Эту странную процедуру, совершающуюся в недоступной тьме третьего часа, обнародовала белая ночь. Мост остановился стеной; если зайти сбоку — он стоит двумя вздыбленными обрубками. Под прямым углом к верхнему краю, над пролетом воды и неба, крестом запрокинут трамвайный столб.

Эта ночь не безлюдна. В скверах тесно (теснее, чем позволяет свет) сидят влюбленные, и бездомные дремлют, свесив голову на руки, на мешки и баулы. У парапета торчат мрачные удильщики. Белой ночью вам непременно встретится человек, который бродит здесь потому, что с ним случилось несчастье. На гранитной скамье девушка с непокрытой головой, в жакете, надетом поверх ситцевого платья, перелистывает книгу. Она явно готовится к зачету, не обращая внимания на белую ночь и на солнце, встающее за Александровской колонной.

И среди людей, которые в этом диковинном свете любят, тоскуют, удят, читают, упрямо пережидают ночь, все туже и туже натягивается ощущение жизни.

В юности, претерпев неудачу, человек говорит: «Ах, так… в таком случае я ухожу от мира». После тридцати лет начинаешь понимать, что от иных вещей уйти нельзя, а уход от других безнадежно суживает сознание. Суть жизни не в том, чтобы поднять самую большую тяжесть, но в том, чтобы поднять самую большую из посильных тяжестей. Это основная проблема организации труда. Для творящих — мир никогда не был самоценен. Но они оставались в миру, он был для них чувственной радостью, опытом, отдыхом. Никто из них не отказывался от опыта, и сколько я знаю, мало кто отказывался от отдыха (будь то семья, или охота, или карты).

Есть вечные формулы, еще не требующие замены. Так — днем человек работает и вечером отдыхает. Целый день он поднимает свою тяжесть, чтобы вечером сбросить ее у порога. Ничего лучшего пока все равно не придумали. Потому что день не календарная условность. Каждый день кончается на границе ночи и сна, как действо с собственной развязкой.

Мы знаем: если зрителю обещан благополучный исход, он спокойно, как на ненастоящее, смотрит на очередные бедствия и страхи. Это happy end — и ничто не сравнится с его оптимистической, утешающей силой.

Много ли надо вечером человеку? — Чтобы отходили мышцы и нервы, чтобы размягчались мысли, чтобы от закипающего чайника поднималась в лицо бесцельная теплота. Чтобы горе, отложенное до утра, пришлось бы на новую единицу времени.

*Игрек:* — Не выношу, когда ты вечером от меня уходишь.

— Я не всегда могу…

— Нет… Когда ты уходишь утром, днем — я не спорю. Известно, что днем есть дела, и нужно ходить по делам. Но уходить вечером неестественно. Это непонятно до боли…

Тем, кто находит смысл в преходящих и разрозненных ощущениях, по всей вероятности все равно, в котором часу испытать радость. Но люди рассудочные и сентиментальные понимают нелепость дневных встреч, с развязкой прощания. Безумцы, сами себе расставляющие тоску, которая захлопнется безошибочно.

Вечер механически выдвигает задачу отдыха. Человек нерешительно стоит посреди комнаты; он даже думает не пойти ли в гости? И, когда эта мысль наполняет его соответствующим отвращением, он ложится отдыхать на диван. Он остановил работу и ждет, когда же наступит качественно иное состояние души. Но ничего такого не заметно.

Вместо того на него падает скука — плод неудавшегося отдыха. Время, которое он теряет, дошло наконец до сознания. Он

слышит, что время шумит у него в висках, как кровь, что время течет, как дыхание… Тогда человек встает в испуге и ищет сброшенную дневную тяжесть, чтобы скорее поднять ее на себя.

*1931*

# Мысль, описавшая круг

## *1*

Умер Кузмин. Литфонд разослал отпечатанные на машинке повестки с приглашением на похороны члена Союза писателей «Кузьмина М. А.». Кроме грубости и невежества — мягкий знак в фамилии покойного и поставленные после фамилии инициалы — в составлении текста принимала участие еще хитрость. Объяснив, что Михаил Кузмин состоял членом Союза, Литфонд придал делу погребения ведомственный характер. Большая часть пригласительных повесток пришла на другой день после похорон. Притом руководители литературных организаций сами не явились и прислали оркестр из трех унылых музыкантов в шинелях. Эстетам это понравилось. Я думаю, это понравилось бы Кузмину, который был прожженным эстетом и знал толк в нелепых и горьких вещах.

Хоронили из больницы имени Куйбышева. Провожающих пришло немного, но они забили узкое помещение перед мертвецкой. В мертвецкую входили теснясь и вытягивая шею. Это были похороны без родственников.

За гробом шли под легким дождем. Присутствующие вполголоса осуждали отсутствующих; они чувствовали, что совершают акт необязательный и культурный. Искреннее других были тронуты старые эстеты; их прошлое — их полноценное прошлое — умерло еще раз.

Юркун рассказал о последнем дне Кузмина. Юркун сидел у него в больнице. Они разговаривали о разных вещах. Кузмин вдруг сказал:

— Идите домой.

— Почему? Я хочу еще побыть с вами.

— Нет, — сказал он настойчиво и добавил: — В основном жизнь пройдена, остаются только детали…

Юркун ушел, и он умер приблизительно через час.

Вечером у Пунина пили водку. Я припоминала, сбиваясь:

Как люблю я стены посыревшие
Белого зрительного зала,
Сукна на сцене серевшие,
Ревности жало…

Анна Андреевна сказала: этой ночью не мы одни читаем его стихи…

Больная, она не пошла на похороны. Это ее расстроило, потому что она терпеть не могла покойника (в качестве корифея салона Анны Радловой), и ей приятно было бы показать беспристрастие.

Она сказала:

— Николаша вас почему-то не видел.

— Я не дошла до кладбища.

— Николаша последние дни все время рычал. А сегодня пришел с кладбища в таком чудном настроении. Говорит, что чудные похороны; так, под дождем, хоронили французских импрессионистов.

— Да, да, — сказал оживленный Николай Николаевич, — почему вы не пошли на кладбище? Жаль. Все там подходили ко мне, спрашивали об Анне Андреевне. У меня все время было такое чувство, что они еще что-то хотят мне сказать.

— Вероятно, — сказала Ахматова, — они хотели вам сказать: передайте А. А., что когда она умрет — мы тоже придем на кладбище.

Так, — теперь они оба кокетничают наперебой. Но не будем сердиться. Они заплатили за это. Его прошлое, которое столько раз умирало, — умерло еще раз. А для нее слова о конце и забвенье имеют вполне личный смысл.

Так случилось, что рассказ Юркуна, что слова: «…в основном жизнь пройдена, остаются только детали…», что смерть поэта, любимого в годы юности, смерть человека, вовсе почти незнакомого (только однажды он неожиданно подошел ко мне в коридоре издательства с похвалой «Старой записной книжке» Вяземского; я при этом подумала, что он как бы гниет, но не так, как плоть, а как, крошась и усыхая, гниет благородное старое дерево), — что эта смерть стала одним из опорных пунктов в ряду впечатлений, который, все разрастаясь, прямо вел к этой теме, к теме понимания смерти — как к необходимой для понимания, может быть для оправдания, жизни.

В ряду впечатлений, накапливавшихся сперва бессознательно, первое сознательное звено относится только к весне 1928 года. Потому что это была первая для меня не вообще смерть, но смерть, увиденная в ее единичности.

Все тогда началось разговором с домработницей. По телефону.

— Никого нету. В больницу уехали.
— Что же у вас слышно?
— Да неблагополучно…
— Что же?!
— Да неблагополучно… Говорят, Н. В. померла.

Я вешаю трубку. Я понимаю вдруг, что это сомневающееся «говорят» (сомнений быть не могло, ей сразу всё сказали) — логически несостоятельно, что оно эвфемизм. Она твердо выговорила «померла» — родные, вероятно, сказали бы «скончалась», — но включила слово в формулу слуха, бессознательно маскируя его необратимость, быть может приготовляя меня минутной фикцией сомнения.

Телефонным разговором началось переживание этой смерти, потянулось панихидами, чужими родственниками, изматывающей чередой непривычных действий. Преобладало сознание, что это нельзя понять, а понять необходимо (иначе какие-то концы жизни останутся навсегда спутанными) и что когда-нибудь тут непременно надо будет добиться понимания. В ожидании чего мы реагируем на смерть понаслышке, не имея о ней собственного мнения.

Все притом беспрестанно раздваивалось на очевидный и невероятный факт исчезновения и на то, что люди вокруг делали с этим фактом. В большой и пустой мертвецкой хирургического отделения — тело под простыней на высоком столе и волосы, свесившиеся до самого пола (никто почему-то не знал, что у нее волосы так хороши). Тело не пугало и не отталкивало, но оно было непонятно для меня и, быть может, непонятно — хотя и привычно — для того врача с кровавыми пятнами на халате, который подошел, постоял молча и вдруг, снизу подобрав ее волосы, сам не зная зачем, взвесил их на руке.

Но тело было понятно для двух старых женщин, которые потом бережно и уверенно расчесывали волосы покойницы, хотя под волосами на шее бежали уже синие и красные пятна тления. У этих женщин было благообразное отношение к жизни и смерти, которое выше эстетического, потому что нет в нем страха и слабонервности, желающей, чтобы мертвые благоухали, а живые тем более. Слабонервность — она враг всякой здравой мысли, всякой силы и человечности на земле. Эстетизм так же несостоятелен в отношении к смерти, как он несостоятелен в искусстве. С этими старыми женщинами в мертвецкую вступил уже мир ритуальности.

Все дальнейшее предстало мне борьбой ритуала с непонятным все еще продолжающимся вещественным бытием мертвого тела и одновременно с невозможной идеей небытия

того, что только что было этим телом.

Система церковного погребения хочет быть системой понимания. Но атеистическому сознанию этот чуждый процесс казался процессом вытеснения мертвеца, замещением первичного факта смерти рядом все более абстрагирующихся представлений.

Вот почему ужасно и необыкновенно впечатление от знакомого имени в обобщенном тексте панихиды. «Рабы твоея…» Имя, вырванное навсегда из множества иных словосочетаний… И всякий раз со страхом чувствуешь приближение имени, раздирающего целительный туман своей нестерпимой конкретностью.

Каждая процедура погребения (независимо от своих особенностей) скрывает в себе конфликт между ритуальной и вещественной природой вещей. Ритуал — театрален, а театральность символична. В театре и храме зритель должен видеть не предметы, а некоторые признаки предметов. Одни предметы имеют только блеск, другие — только форму, а третьи — только благоухание.

Труднее всего с людьми. Священнослужитель во время службы мыслится в качестве структуры, состоящей из прекрасно расчесанной бороды, облачения, голоса, произносящего ритуальные слова, и какой-то гипотетической настроенности, соответствующей этим словам. Религиозное и эстетическое сознание равно не пропускают в эту структуру представления о человеческом организме, о человеческих ощущениях (тепла, холода, неудобства), о сепаратных мыслях, таких, которые могут быть отделены от строя молитвенной речи. Все это принадлежит к числу действительных, но заштатных фактов, как то, что у священника под рясой — брюки и у актера под гамлетовским камзолом — сорочка из кооператива. Об этих заштатных фактах размышляют люди, размышляющие также над тем, что под розоватой кожей юного лица в сущности находится голый череп и что у самого образованного человека есть кишки.

Это люди с наивным отношением к миру. Они уличают действительность. Уличают любовь прыщиком на носу любимой женщины, уличают смерть запахом тления, литературу уличают гонорарами и опечатками. Они начинают догадываться, что их обманули, что кишки и есть подлинная реальность, а молодая кожа и ямбы — шарлатанская выходка. Они думают, что для того чтобы получить настоящие губы, нужно стереть с них губную помаду, и что настоящая голова — та, с которой снят скальп. Так по жизни бродят люди, уверенные в том, что, сдирая с вещей кожу и кожицу, они получают сущность. Не знаю, как назвать это мышление. Во всяком случае это тип мышления

противоположный символическому.

Погребальная процедура пытается превратить неудобное мертвое тело в символический предмет, снабженный только необходимыми качествами, как и все другие атрибуты погребения. И мертвое тело своей тяжестью, своей косностью, своим гниением сопротивляется инерции ритуала, стремящейся вовлечь его в хорошо налаженную систему.

Помню сутолоку и расстроенные лица мужчин; они явно путались в своем отношении к предмету, которым оперировали. Это был гроб, и он же был тяжелый ящик неудобной формы, который надо было поднимать, опускать, нести.

Чем больше материальных средств вложено в процедуру, тем меньше фактов, выпадающих из системы. Выпадают, например, рабочие, роющие могилу, со своими куртками, сапогами и голосами. Но ведь это вопрос постановки; есть склепы. Могильные черви, следы разложения на любимом лице — все, что связалось со смертью тугой сетью символических ассоциаций, даже это может быть устранено — бальзамированием, кремацией. Так система, распространяясь, снимает один за другим вещественные признаки смерти. Пока не остановится перед неснимаемым, перед мыслью о несуществовании.

Всякий знает характерную заминку, которая наступает на кладбище в момент, предшествующий опусканию гроба. Прямоугольная яма аккуратно приготовлена. Все, — нет ни одного, кто смотрел бы мимо, — пригнув головы, внимательно смотрят в нее. Цветом и влажностью внутренность ямы отдаляется от земли, на которой стоят зрители. Через отверстие переброшены балки, на которые станет гроб. В этот момент какая-то ни на что не похожая техническая заинтересованность проникает в людей сквозь сопротивление всех других чувств. Чисто ли сработают могильщики?

Все технично вокруг незарытой могилы — разрыхленная земля, балки, лопаты, испачканные глиной сапоги рабочих и их здоровое кряхтенье. Совсем рядом, на соседней могиле, которая тоже в свое время была развороченной землей и раскрытой раной, аккуратными, тесно посаженными маленькими яркими цветочками уже цветет устоявшаяся символика.

Я сказала Б. об ощущении тупости и непонимания, не оставлявшем меня весной 1928 года.

— Со мной было то же самое. Это оттого, что мы не привыкли. Вот мама привыкла терять близких; когда я сказал ей о смерти Н. В., она сразу поняла и стала плакать.

Лет семь спустя мы опять говорили о смерти (тема этого

повествования тогда уже стала необходимой).

Я: — Инстинкт самосохранения и страх смерти, — это, конечно, было всегда. Но страх смерти как меру вещей, так сказать, как идеологию — это во второй половине девятнадцатого века выдумали от эгоцентризма. Иван Ильич твердил силлогизм: все люди смертны; Кай — человек; значит, Кай — смертен. Так ведь то — Кай, некто Кай, а то — Я, Иван Ильич, Ваничка, у которого был полосатый мячик… Толстой имел право об этом писать. Когда в Севастополе ему показалось, что он недостаточно храбрый, он стал выходить из блиндажа и назначал себе — какое число минут простоять под огнем. Зато Тургенев… Помнишь историю с пожаром на пароходе? Тургенев, высокий, с тонким голосом, бросался ко всем и ломал руки. И всегда он о смерти писал не стыдясь. В письмах он маниакально писал о черной ночи или о черной яме — я уж не помню… которая только и ждет, чтобы проглотить… А ты что об этом думаешь?

— О чем?

— О смерти.

— Я об этом не думаю.

— Как? Но человек, который думает, должен об этом думать.

— Пока я довольствуюсь тем, что Кай смертен.

— Но нельзя же, чтобы возможность жить без ужаса была основана только на недомыслии. Чтобы от времени до времени это ударяло в голову — и забывалось до следующего раза. Так до последнего раза, который, быть может, застанет душу, визжащую от страха. И с этой вот недодуманностью люди так и войдут в самую большую войну.

— Что не помешает им храбро умирать.

— Разумеется. Людям ничто никогда не мешает умирать. Но жить помешает. В четырнадцатом — восемнадцатом все хорошо умирали. А оставшиеся в живых наполнили западный мир хандрой потерянного поколения… Я против, это надо предусмотреть, пересмотреть…

— Но Кай тем не менее — человек…

— Уверяю тебя, у меня совсем не комплекс страха. У меня вообще здоровая психика. Но от этого решения, от правильности этого решения зависят вопросы жизни.

— Не знаю. Для меня есть вопросы гораздо более важные и совсем независимые. Например, вопросы социальной эволюции человека…

— Но без теории смерти — я лично рассчитываю все-таки на теорию, пригодную для жизни, — как ты установишь смысл труда, мысли, любви, государственной жизни…

— Не знаю. Я привык начинать с другого конца… Должно

быть, это все потому, что ты гораздо индивидуалистичнее меня.

— Да. Мне придется с этого начать. Но потом я попробую пойти дальше.

---

Одни избегают разговора о смерти, боясь повредить наивный механизм вытеснения, которым они себя защитили. Другие стыдятся этой темы, слишком прямо ведущей к тайному сочетанию малодушия, цинизма и унижения, которые они в себе носят. Третьи — самые деловитые — презирают эту тему, порожденную, по их мнению, праздностью и страхом.

Вообще же в разговоре о смерти люди осторожны и лживы как никогда. Но в человеке почти всегда что-нибудь отзовется, если притронуться к нему таким возбудителем. Интересно одним и тем же возбудителем притронуться к разным людям. Таким средством мне показалась случайно прочитанная в газете статья о теоретически возможном удвоении лимита человеческой жизни.

Разговор со старой женщиной, жизнерадостной и малодушной:

— В газете написано, что люди теперь будут жить сто восемьдесят лет.

— Кто это говорит?

— Такие производятся опыты…

— Ну, эти опыты…

— Нет, отчего, это очень серьезно.

— Что же для этого будут делать?

— Во-первых, нужна умеренность в пище.

— А что еще?

— А потом придумают такой способ… Но пока его еще нет…

— Способ… Ну, ну, посмотрим…

Возраст придает теме практическую конкретность. В меру конкретности страха возрастает сила вытеснения. У этих людей нет сложных, развернутых средств вытеснения, которыми располагают люди деятельной жизни. Это грустное и наивное вытеснение, сводящееся к тому, чтобы не вспоминать, не думать, не говорить. Но вдруг страшная мысль в первый раз появляется в новой, облегченной, обещающей утешение форме. Она спрашивает, стыдясь выдать личный интерес. Но в вопросах — растущая жадность, сомнение, внутреннее применение к себе. Лучше не уточнять дальше, чтоб не разочароваться… Так обрывается разговор.

Разговор с молодой женщиной, склонной к резонерству.

Есть люди не то чтобы мыслящие, но искренне приверженные к познавательной деятельности. Они получают истинное удовольствие от происходящих в них интеллектуальных процессов; и потому безостановочно и, так сказать, стихийно применяют формы и приемы дискурсивного мышления — высказывают суждения, выдвигают возражения, аргументируют. Достаточно одному из собеседников быть резонером, чтобы получился резонерский разговор.

— Так вы хотели бы жить сто восемьдесят лет?

— И все будут жить? Тогда все соответственно изменится… Но тогда должна отодвинуться старость… Но вот смешно, если будет такой препарат и долго жить будут только некоторые! А откуда они это взяли?

— Оказывается, человек по своей организации приближается к долго живущим существам и зря умирает молодым. Потом известно, что какие-то кавказские народы живут долго.

— Это, наверное, — горный воздух. А кто из зверей долго живет?

— Ворон страшно долго живет. Какие-то рыбы…

— Ну, это не похоже на человека.

— Слон…

— Тоже не подходит. Хотя — не обязательно, чтобы у человека тоже был хобот. Может быть, какое-нибудь там строение ткани похоже. Вообще, наверное, главное — ткани. Но что это будет на земле, если люди начнут так долго жить, и, значит, производительный период у них тоже увеличится вдвое…

— Но вам-то лично хотелось бы жить сто восемьдесят лет? По-моему, это скучновато.

— Так мы ведь уже не будем жить сто восемьдесят лет.

— Отчего? Могут успеть придумать.

— Нет, уж это, наверное, с младенчества будут накачивать. Нам уже не придется.

— Между прочим, там сказано, что нужна умеренность в пище.

— Видите — это мне не подходит.

Стоит потянуть за их личное отношение, как пропадает даже резонерство, остается один защитный рефлекс. У интеллигентов к вытеснению приспособлены ирония и небрежность. Есть тип интеллигентного человека, который не говорит о смерти серьезно, потому что не понимает ее и ему нечего по этому поводу сказать; потому что вытесняет идею смерти чем придется — в том числе шуткой; потому что одновременно боится выдать и разбередить свой страх.

Входит муж.

— Слушайте. Мы тут как раз говорили… В «Известиях» написано, что скоро люди будут жить сто восемьдесят лет.

*Жена:* — Я вижу, это произвело на вас неизгладимое впечатление.

— Да, конечно.

*Муж:* — А что для этого нужно?

— Быть умеренным в пище…

*Муж:* — А я думал — идеологически выдержанным… Товарищи, постановлено все-таки насчет филиала Пушкинской выставки. Кажется, это передается в Эрмитаж…

А, он не хочет говорить об этом! Я его знаю, он боится. Но этого именно физического ужаса люди стыдятся в особенности, как стыдятся половых вожделений. Об этом не принято говорить вслух, и неприлично интересоваться способом продления жизни.

Чем физиологичнее страх, тем тщательнее его скрывают. О страхе уничтожения охотнее говорят люди мужественные или холодные.

Человек, впрочем, готов признать, что боится смерти — вообще, теоретически, философски. Но только не в каждом данном отдельном случае. В каждом отдельном случае он признает, что боится простуды, или заразы, или грабителей, или собак (в этом уже труднее признаться), или власть имущих, — но только не смерти.

Если человек не решается сесть в самолет, он поясняет:

— Понимаете, у меня это какая-то совершенно иррациональная штука. Дело же не в опасности… Статистика показывает, что опасности больше при езде по железной дороге…

Если человек отказывается от предложения вскочить на ходу в трамвай, он добавляет:

— Право, не имею ни малейшего желания остаться без ноги…

И ни один не скажет просто — боюсь… Это не принято. Это значило бы выдать страх уничтожения; обнажить последний, интимный пласт самосознания.

Врач сказал А.:

— Пришлите ко мне ваших родственников.

— У меня нет родственников.

— В таком случае предупреждаю вас лично: сократите работу, ешьте то-то, спите столько-то и проч. и проч. — иначе вы умрете весной.

А. рассердилась и сказала:

— Я еще вас переживу.

Месяца через два после разговора врач этот действительно

умер. Она же скрыла его диагноз от всех.

Смерть — в частности, от туберкулеза — для нее вполне конкретная тема, от которой она не уклоняется никогда. Очень молодая, она уже страдает законченной пустотой, нигилистическим воззрением на жизнь. Как все, она боится смерти, но роль вытеснения в ее душевном обиходе ничтожна. Впрочем, там, где нравственная опустошенность сочетается с равнодушием к чувственным радостям жизни, — там нечем и вытеснять. Она принадлежит к числу людей, быть может и слабых, но больше всего боящихся унижения; такие не соглашаются быть подавленными и слабыми до конца. Всем защитным уловкам они предпочитают высокомерное созерцание трагических истин бытия. Процесс созерцания их утешает. Нигилизм ее питается мыслью о смерти (раз помрем — то тем более все равно); а беспредметный культ мужества находит поддержку в нигилизме, который, как все отрицательные воззрения, никогда не отрицал, что люди должны «с готовностью идти туда, куда не могли не идти…» (Ларошфуко). Этой вот голой храбростью — способом неутешительным, но годным и для философов и для детей — она силится одолеть задачу. Недавно умер человек, который ее любил и которого она обидела. Он был квалифицированным мотоциклистом, то есть постоянно и добровольно подвергался смертельной опасности. Умирал же от рака тяжело, со страхом. Для перелетов, для охоты на тигров и восхождения на ледники достаточно, может быть, умения не думать о развязке, но для туберкулеза и рака это совсем не годится. Он умирал долго; А. бывала у него каждый день; и вместе с физическим утомлением росла усталость ума, непрерывно занятого все новыми подробностями неразрешимой задачи.

— Знаете, человек может покончить с собой только в самом начале. Как только он узнал. Я уверена… Пока у него психология здорового человека. Потом поздно. Он ни за что, ни за что этого не сделает. Ему всякая жизнь приятна.

— Ну да. Когда человек «с психологией здорового» узнает, что он смертельно болен, он видит перед собой страдания и конец всего, всех своих целей и интересов. У больного же создается свой круг интересов. Негативных по существу, но глубоко забирающих. Почему живут больные раком?.. Почему живут каторжники?.. Потому что у каторжника цель — поесть досыта или отдохнуть лишние полчаса. Человек, вероятно, может вынести все, кроме отсутствия целей.

— Скажите, а вот что это значит? Он жаловался на что-то. Я сказала ему — «бедняга»… Он вдруг сказал: «Был бедняга! Теперь

я ни на что не надеюсь…» И замолчал. Скажите — может так быть, что человек мучится только пока надеется?.. Я не могу понять, может ли это быть?

— Вероятно. То есть это бывает в другом — в любви, в работе. Значит, и в смерти может быть так…

— Они продолжают ему вкручивать, и, кажется, это неправильно. Там была какая-то трескучая дама. Она все время говорила с ним о будущем — где они встретятся летом. Она так много об этом говорила, что видно, что нарочно, и он раздражался. Вкручивать ему может мать, потому что она сама чему-то верит, и потому это не раздражает его. Вы не думаете, что с человеком, который умирает, — нужно говорить как раз об этом?

— Возможно. Между прочим, когда-то нельзя было скрывать от человека, что он умирает; он должен был проделать религиозные процедуры. Собственность, семья тогда тоже обязывала, ждали распоряжений. У нас, например, писали, что злодей Арендт, которому Николай приказал уморить Пушкина, нарочно для этого говорил ему, что он безнадежен. Представьте себе — от Пушкина, от Пушкина, вышедшего на смертный бой, скрывать, что он умирает… Страшнее всего этот принятый нами расчет на слабодушие, на физический ужас.

— Так вот, — как они посылали священника, — надо посылать умирающему лектора, чтобы он говорил ему о прекрасном сне материи…

— Что?!.

— О сне материи. Лектор будет рассказывать о том, что ничего не будет…

— Какую дичь вы говорите, дитя!

— Почему дичь? Вам в душе это нравится…

— Да. Мне вообще нравится мужество. Не потому, что у меня его много… Потому, — что я боюсь страха.

— Подумайте — что мы все делаем. Мы умирающего оставляем одного. Никто не говорит с ним об этом. Но ведь он об этом думает.

— Да, да. Он только об этом думает. Например, ночью…

— Никто не помогает ему. Ему стыдно говорить о смерти. И он чувствует, что он боится и все вокруг боятся. И потому он до конца совсем один.

На этом отрезке разговора я излагаю теорию удвоенного срока жизни.

— Как это? Кто это? Это мы будем жить сто восемьдесят лет?

— Неизвестно. Может быть, и мы.

— Какой ужас! А что для этого надо делать?

В этом восклицательно-вопросительном сочетании — защитная аффектация пренебрежения и наивный интерес.

— Это еще придумают. В общем, человек по природе должен жить вдвое больше, но от большого, что ли, ума умирает молодым.

— А, так наверное будут изымать ум; и человек будет жить полтораста лет в идиотическом состоянии.

— Вы лучше скажите — вам хотелось бы жить еще, скажем, сто шестьдесят лет?

— Как же это будет? И так на старика невозможно смотреть, весь скрюченный…

Характерное для нигилистического сознания отвращение к старости, как вообще к тяготам и неудобствам органического жизненного процесса (например, к беременности).

— Так нет же, тогда он будет позже стареть.

— Это другое дело. Тогда это интересно.

— Вам не кажется, что все-таки скучно так долго…

— Нет. Тогда можно было бы несколько раз все менять.

— Зачем?

— Я бы, например, тогда опять начала акварель. Потом еще что-нибудь. Теперь, когда остается лет тридцать, — все равно это ни к чему. Нет, тогда все-таки можно будет пробовать…

— Но ведь это не разрешает вопрос…

— Нет. Смерть — это каждый должен решить для себя.

— Лучше, когда это решено для всех. Во всяком случае, необходимо иметь отношение.

— Нет. Все равно заранее ничего нельзя придумать…

— Необходимо…

— Нет. Все равно, что бы вы ни придумали — окажется все неверно. Когда заболеешь — надо думать…

— Поздно. Но как разрешить это для одного себя?

— Не знаю. Так, чтобы относиться спокойно. Вы не боитесь спать. Когда мы спим — нас тоже нет. Главное, не бояться уничтожения.

— Как его не бояться?

— Когда умрет много близких людей — уже не так страшно. Страшно — пока не видел смерть. А тогда делается понятно. Ну, все постепенно переходят… Знаете, после смерти мамы мне некоторое время приятно было узнавать, что умер какой-нибудь знакомый. Не из злорадства, просто меня это успокаивало. Успокаивала распространенность факта смерти.

Так это плохо защищенное человеческое сознание, — не понимая и не вытесняя, — хочет одолеть загадку своей полудетской храбростью.

Газета со статьей профессора Лондона об удлинении срока человеческой жизни попалась мне в парикмахерской. Оказывается, человек почему-то умирает не вовремя, и потому только умирает так неохотно. Наука все это приведет в порядок. И тогда смерть станет потребностью, как сон.

Не перечитать ли Мечникова? Мечников понимал, что удлинение жизни (отчасти с помощью простокваши) само по себе ничего не разрешает. И он придумал свою оптимистическую теорию пессимистической юности, оптимистической старости и смерти, отвечающей желанию.

Есть наивно-утешительные мысли, вроде того что пока я состарюсь — придумают способ продлевать жизнь, очень надолго… Но когда из тайной ночной фантазии это становится медицинским проектом, оно выглядит совершенно иначе, почему-то гораздо менее утешительно…

Парикмахерская ступеньками выходит на Невский; останавливаюсь у двери. День еще без вещественных признаков весны, но с легким солнечным небом, с приятной и новой в апреле сухостью тротуаров. По Невскому густо и медленно двумя встречными потоками движется нескладная апрельская толпа — люди в расстегнутых шубах, люди в макинтошах, люди без шапки или в одном пиджаке. При лимите жизни в восемьдесят лет в таких случаях думают: и все это будет, а меня не будет… При воображаемом двойном лимите начинаешь вдруг сомневаться — стоит ли на это смотреть еще сто двадцать или сто сорок лет.

Пусть мы выигрываем огромные запасные пространства будущего, пусть мы выигрываем право отложить вопрос… Все равно сегодняшний человек не в силах поднять эту новую меру. Вероятно, для нормального переживания жизни нужна торопливость, жадность к времени и сожаление об уходящем. В пределах стовосьмидесятилетней жизни ощущение непрочности возобновилось бы в ином масштабе, потому что зависит оно, разумеется, не от сроков, но от отношения между сроками. И тогда будет казаться, что в сто восемьдесят лет все равно ничего не успеешь, а вот если бы прожить триста!..

И все это сцепление представлений, поднятых газетной статьей, подтверждало зыбкую мысль о страхе бессмертия, соперничающем со страхом смерти (о глубинной тяге к смерти писал Фрейд). Религиозные представления о бессмертии переключали человека в иную модальность, непостижимую для смертного ума. И только переключение могло сделать мысль о вечности выносимой. Впрочем, Гекльберри Финн, который своим позитивным умом не мог понять эту новую модальность, говорил,

что не хочет попасть в рай, так как нет ничего более скучного, чем в течение вечности ходить в белых одеждах, играя притом на арфе.

Мысль же о вечном, даже бесконечно долгом существовании в земных условиях, если всмотреться в нее, — нестерпима. Это свифтовский бред об отвратительных бессмертных струльдбругах. «Читатель поверит, — говорит Свифт, — что после всего мной услышанного и увиденного мое горячее желание быть бессмертным значительно поостыло».

Одно из неизбывных противоречий индивидуалистического сознания: оно не может примириться со своей конечностью и не может хотеть земного бессмертия. «Смерть страшна, но еще страшнее было бы сознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь», — писал Чехов Мережковскому.

Сознание естественной смертности — одна из самых основных предпосылок нашего психического устройства, — об этом говорили философы, от Гете до Макса Шелера. Человек обходит ее, когда может, и в то же время исходит из нее, как исходит из того, что у него две ноги, а не четыре, что он передвигается по земле, а не летает… Поэтому мысль о смерти для обыкновенного человека не может быть совсем невыносимой; она бывала невыносима только для отдельных упорно и страстно мыслящих умов.

С собственной конечностью человек встречается не только в конце, но уже в самом начале своего сознательного бытия, именно как с существующим фактом, к которому надо применить все остальное.

Чувство конечности награждает нас творческим нетерпением. На нем зиждятся категории трагического и лирического. Оно стало формой нашей любви и мерой нашего времени. Оно определяет понятия — влюбленный, герой, поэт, искатель неоткрытых истин.

В течение тысячелетий человечество исправляло сознание земной кратковременности верой в потустороннее бессмертие. Опыт, однако, показал, что и лишенные этой веры живут и действуют, следовательно психически применяются к своей конечности.

Для атеистов, однако, нет метафизически заведомых решений. Есть социальные нормы, а сверх того каждый справляется как может. И так как люди довольно похожи друг на друга, то индивидуальные решения оказываются, в сущности, типологическими.

Здесь в обновленном виде вступает в силу старое рационалистическое учение о преобладающей душевной

способности. Она становится преобладающей формой переживания ценности.

Люди большого жизненного напора, люди с господствующей волей к воздействию на мир располагают несравненными средствами вытеснения мысли о смерти. Это одна из форм храбрости. В смертельной опасности человека определяет вовсе не его мировоззрение. Великие индивидуалисты XIX века, выносившие в своем творчестве философский ужас перед уничтожением личности, были хладнокровными дуэлянтами, храбрыми офицерами, искателями сильных ощущений. Отношение к опасности определяет не философия, но социальные навыки человека, его склонность к гневу, к азарту или, напротив того, его способность к самопринуждению, его тщеславие, его заинтересованность в технической стороне процесса; еще множество обстоятельств, которые невозможно предугадать. Как раз люди равнодушные к жизни бывают трусливы именно по вялости импульсов, по скудости отвлекающих, вытесняющих впечатлений.

Волевой человек — будь он авантюристом или энтузиастом — обращен к некоторому объекту, созидаемому им в предметной действительности, даже если это его собственное преуспеяние. Объект этот человек действия называет своим делом и влечется к нему неудержимо. И если дело осуществимо только ценой смертельной опасности, он соглашается на смертельную опасность, он использует ее как крайнее средство расширения своей воли и силы. Тогда уже страдание, смерть не насилие над душой, не убытки судьбы, но высшая форма реализации.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог…

Наполеон созидал свое гигантское **Я**, которому мир должен был служить подножием. Но любая пуля могла на Аркольском мосту уничтожить Наполеона. Что же — Аркольский мост был бессмыслицей? Нет, — он был условием игры.

Человек воли и действия принимает смерть как условие и как помеху, устраняет ее из сознания.

Для людей пассивных и чувственных жизнь разорвана на множество бессвязных импульсов и самодовлеющих удовольствий. Мысль о распаде организма, о хрусте костей на смертном колесе вызывает у них припадки слепого ужаса, с физиологической напряженностью которого никогда не сравнится

протест против уничтожения души.

Розанов был чувственный человек с сексуально окрашенным восприятием мира. Он ненавидел смерть и кричал об этом без всякого камуфляжа: «Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь» («Опавшие листья»).

Строителям, честолюбцам нужен рост и приумножение; остановка на достигнутом для них подобна деградации. Но вожделения и радости чувственного человека неувядаемы; они непрестанно возобновляются на прежней основе. Нужда, старость, болезнь изменяют объем, но вовсе не качество вожделений.

Борис Михайлович Энгельгардт рассказывал о смерти старухи родственницы.

— Так умирать страшно. Я никогда не видел человека, который бы так сильно, так физически любил жизнь. Она безумно боялась смерти. Последний год, больная, она во всем была урезана — ни поесть, ни попить, ни даже посмеяться. Но как она ела этот позволенный ей кусочек селедочки…

— Она ведь, кажется, верила. Это не помогало?

— Знаете, я заметил, что люди неверующие и никогда не верившие преувеличивают значение веры. Не такое уж это решительное средство против страха. Если бы вера действительно снимала страх смерти, — неужели вы думаете, мог бы случиться повсеместный крах религиозного сознания? Ей, во всяком случае, это не помогало. На даче надеть в воскресенье белую кофту, в церкви завести обстоятельный разговор с какими-то старушками… Это ей доставляло удовольствие. И какое удовольствие! Об удовольствиях такой силы мы не имеем понятия. Но бог тут был ни при чем. Я никогда не видел у нее в руках Евангелия. Зато «Известия» она прочитывала во время болезни от объявлений до передовой.

Факт смерти вообще недоступен опыту; и люди боятся поэтому сопровождающих его разнообразных явлений. Боятся страха, или предсмертных мучений, или разлуки с близкими, или покойников…

Внимание бессознательных гедонистов направлено на агонию, на хруст костей. Они требуют от смерти, чтобы она их как-нибудь обманула. Собрался спросить чашку чая, раскрыл рот — и умер! Это смерть в легкой форме. Предел мечтаний для житейского гедонизма.

Лучшее же из всего, на что способен гедонизм философский, — это резиньяция перед последней необходимостью.

Меня удивляло, с каким подъемом Икс — человек храбрый,

но пассивный и вялый — говорит о войне. Притом говорит в неожиданном для скептического интеллигента юношеском, патетическом преломлении: «К чему дожидаться старости, медленного гниения? Что может быть прекраснее, чем смерть в бою?»

Что-то тут не вязалось. Как-то в другой связи, в другом совсем разговоре выясняется неожиданно — этот человек напряженно боится смерти. И боится суеверно, фантастически. Его преследует, например, мысль о том, что смерть это нечто вроде летаргического сна, при котором сознание не вполне исчезло…

Такой страх питается не жадным жизненным, напором, не чувственной цепкостью, но скорее всего истерическим воображением эмоционального человека. Наследственные суеверия усилены травмами души, с детства испытуемой впечатлениями насильственной гибели. Икс в юности раза три покушался на самоубийство (вероятно, не совсем всерьез), и возвращение к жизни каждый раз доставляло ему острое наслаждение, не соизмеримое ни с какими другими радостями бытия. Но освеженного самоубийством жизнеощущения хватало ненадолго.

Представьте себе страх, оформленный суеверием, воображением… В фокусе сознания не столько смерть как таковая, сколько ее аксессуары, ее эмоциональная обстановка. Ночь, одиночество, предсмертные мысли, запах лекарства, последнее удушье, шорохи смерти, шелесты смерти… И вот возникает мечта — смерть в бою! Не шепчущая, но гремящая, не подкрадывающаяся, но внезапная, смерть в действии, смерть на людях, дневная…

Так применяется к собственной смертности сознание, воспринимающее мир в преломлении воображения и чувства. Как же примениться тем, кем владеет исключительная воля к познанию?

Равнодушие к объектам непосредственного волевого воздействия лишает интеллектуального человека мощных способов вытеснения. К тому же на то они и интеллектуальные люди, чтобы пристально всматриваться в печальные истины бытия. Но у них есть свое преимущество; в них ослаблена та органическая, физическая приверженность к жизни, в которой таится фермент смертного ужаса.

Не вещи, а концепции вещей — так открывается закономерность конечности, исчерпаемости каждого индивидуального понимания. Не беспредельность вселенной, не многообразие явлений, вновь и вновь предстающих перед

испытующей мыслью, — но только возможности этой мысли. Она же, каждая личная мысль, имеет предел, у которого должна остановиться. Хочет ли интеллектуальный человек вечного кружения своей исчерпавшейся мысли?

— Они могли бы совершить доброе дело, — вдруг говорит веселая, эгоистичная и любящая комфорт женщина, — и притом получить даром комнату, отравив меня.

— Как это?

— Безумно надоело жить.

— Вы же два дня тому назад говорили, что ни за что не хотите помирать.

— Ну да, умирать очень страшно, но если бы просто перестать существовать…

Интеллектуальные люди боятся небытия; чувственные — боятся умирания.

Мы как раз и не хотим перестать существовать, то есть понимать. Но мы бы не согласились стать своего рода бессмертными струльдбругами, вечно понимающими одно и то же.

Пусть еще столько-то лет на осознание всего, что можно еще осознать. В конце великое насыщение и усталость. Не та усталость от тщетного наслаждения, от рассеивающего труда, которая придает времени неощутимость и возбуждает праздное желание вернуть и исправить все поглощенное временем, — но усталость от времени замедленного и переполненного, подробно отраженного сознанием; от того, что дни были долгими.

Старое кладбище лавры превращено в музей-некрополь. Небольшую площадку старого кладбища подчистили, освободили от лишних, по мнению администрации, покойников. Кое-кого перенесли с общего кладбища. У входа в двух местах вывешены таблички с правилами: воспрещается езда на велосипедах по дорожкам, распитие спиртных напитков, игра на музыкальных инструментах, появление лиц в нетрезвом виде; воспрещается также делать надписи на могильных памятниках.

По правую руку стоят добротные надгробия русских композиторов с бюстами и барельефами покойных. Воротнички, лацканы сюртуков, бородатые лица интеллигентов второй половины XIX века, грузные аллегории той же эпохи. Большие ангелы на могиле Чайковского. Слева, на писательской дорожке, кое-где попадается ампир, — Гнедич с полуколонной, Дельвиг с маленькой фигуркой, скорбящей над урной. Посредине некрополя черная каменная Комиссаржевская стоит в натянутой позе. Ничто так не вопиет о тленности и исчезновении, как телесное

изображение человека на его могиле. Оставлены только памятники хорошей сохранности. Между ними пространство расчищено и в промежутках кое-где воткнуты на палочках одинаковые черные дощечки с белыми надписями, вроде тех, что употребляются в ботанических садах. Надписи составлены в помощь экскурсоводу: «Такой-то (годы) — покровитель „могучей кучки“», «К. Данзас (годы) — друг, лицейский товарищ и секундант Пушкина».

Но что же такое экспонат этого музея — монумент, или имя, или гладкое место, на котором написано, что здесь превращался в прах такой-то человек (исторический)? На это вам здесь не ответит никто. Потому что все, что здесь сделано, сделано в силу огромного, исходного непонимания смерти, — столь законченного, что оно спутало профессиональные навыки честного музейного работника. Он ведь знает, что во всяком музее экспонируют вещь, а если оставить вместо вещи одну только надпись, то посетитель рассердится. Но здесь тот самый посетитель, который не ездит на велосипеде по дорожкам и не играет на музыкальных инструментах, постояв перед гладким местом с фамилией Данзаса, пополняет тем самым свой культурный багаж.

Во всем этом нет никакого цинизма. Инерционное представление о величии смерти просто смешалось с иерархическо-бюрократическо-культпросветовской уверенностью в том, что неисторических покойников можно выбросить, а исторических, собрав по возможности в одном месте, превратить в выставочный объект, крайне неясный по своему предметному содержанию. Непонимание небытия, раскрепощенное от ритуальных форм, бурно вырвалось на свободу.

Традиционно-ритуальные формы представлены рядом, на большом кладбище лавры. Речонка отделяет демократическое заречье от высокой площадки, прилегающей к церкви. Эту часть кладбища в основном занимают чиновные покойники второй половины XIX века. Здесь сплошь громоздкие сооружения; иные сделаны по дешевке, и в них-то проявилась вполне безвкусица эпохи. Потому что из мрамора и гранита никак не сделаешь такого, как из жести и кирпича. Есть усыпальницы-клетки (даже проволочные); усыпальницы — навесы на трамвайной остановке (даже с водосточными трубами); в особенности усыпальницы — киоски для продажи мороженого и газированной воды. Стекла выбиты, каркас порыжел, отчего еще беспощаднее выступают жестяные завитки и крестики с закрученными штопором перекладинами.

Резца дешевого нелепые затеи…

От вещей символического назначения человек требует внутреннего подобия неким идеальным представлениям. Не всякое место, где похоронены мертвые, похоже на кладбище. Бывает и так, что оно похоже на огромный склад погребальных украшений или на странный поселок из надмогильных киосков.

Это все отсебятина, индивидуальный подход, противоречащий духу смерти, уравнивающей и однообразной. Только символика устойчивая, абстрактная соответствует органическому ощущению смерти. Это не обязательно культовая символика. Гранитная облицовка могил на Марсовом поле — это мысль о гражданском служении, о революционной жертве, как крест — мысль об искуплении и вечности.

Внизу, в непритязательном заречье — белые, посеревшие, иногда голубые, иногда металлические кресты образуют простой, устойчивый и отвлеченный мотив смерти. Традиционная символика предохраняет от несуразностей личного вкуса. В какой мере эта символика реальна?.. Для многих из числа тех, кто за последние полвека хоронил здесь своих близких, крест был знаком раздумья и печали… Но для многих ли он подлинно был залогом бессмертия?.. Вот на белый крест повешено застекленное лукошко; внутри съежившийся венок, образок, фотография, изображающая усатого пожилого человека в гробу и над ним плачущую женщину; тут же кусок картона с надписью: «Горячо любимому, незабвенному мужу Федюше от жены Танюши». Что она думала, Танюша, вешая над фотографией образок? Подлинно ли верила в воскресение и встречу?

Атеистическому сознанию на территории лавры отведен особый участок — с другой стороны, против главного монастырского входа. Это кладбище, где заранее устранены иллюзии загробной жизни, по неумелости устроителей приобрело черты какого-то символического нигилизма, в сущности вовсе ненужного. Прямоугольником отгорожен кусок двора, плоского, едва поросшего травой, прилегающего, как нарочно, к прохожей дороге.

На этом скупом пространстве чрезвычайная теснота предметов. Здесь есть постаменты с мемориальными досками, пропеллеры на могилах летчиков, одна очень страшная статуя — неизвестно чья — из гипса, с позолоченным лицом и руками. Но основной мотив — это увенчанная звездой деревянная пирамидка. Пирамидки выкрашены в оптимистические цвета —

красный, иногда зеленый. Здесь мало личного произвола; ограниченность в средствах породила стандарт или несколько стандартов. Каждая могила стремится для порядка отгородиться от соседних. Почти все снабжены заборчиками, — тоже красными или зелеными, — реже проволочными клетками. Впрочем, попалась мне и могила, опутанная колючей проволокой.

Попробуйте взглянуть на все это сразу, со стороны. Тесно стоят заборчики, пирамидки, сетки, группами поднимаются пропеллеры. Странное впечатление от предметов, смежных в пространстве и не вступающих между собой в структурную связь…

Есть люди, вполне равнодушные ко всякому ритуалу, ко всем процедурам, каким еще можно подвергнуть мертвое тело, непоправимо несовпадающее для них с любимым и утраченным человеком. Эти, казалось, могли бы схоронить своего мертвеца здесь — так же, как в любом другом отведенном для этого месте.

Но я вижу другое. На этом голом, пыльном, загроможденном отрезке двора не заметно ни малейшего равнодушия. Здесь, на этом участке громко провозглашенного отрицания бессмертной души, происходит то самое, что происходит среди деревьев и птиц, цветов и крестов старого кладбища.

Посмотрите на свежевыкрашенные заборчики, на воткнутые в серую травку искусственные цветы, на застекленные венки и фотографии. Любовь и отчаяние борются до конца с мыслью о тотальном исчезновении любимого человека, с тем, что уже ничего нельзя для него сделать и никак нельзя с ним снестись. Неистребимый алогизм атеистического ума — это именно сохранение связи с мертвым, оказывание ему услуг.

Могила двух летчиков, вместе погибших при аварии. Фото красивого человека в морской форме, и надпись на ленте, снятой с венка: «Милому Шурочке от жены». Ведь она-то не верит в воскресение и встречу — но слова у нее те же, что у женщины со старого кладбища, над фотографией мертвого Федюши повесившей образок.

Ритуал, и церковный и гражданский, всегда оперирует неким бытием человека, и чем меньше ритуала, тем легче поверить в исчезновение.

Когда умер М. М. и домработнице сказали, что будут гражданские похороны, она возмутилась:

— И что ж, его так и зароют, как животную?..

Ее оскорбило не то, что мы в бога не верим, — она и сама, пожалуй, не верит, — но то, что ей представлялось нигилистической откровенностью процедуры.

Правый угол площадки занимают могилы почетные, дорогие,

и потому приближающиеся к обычному типу. На черном мраморе высечены слова: «Человек, умирая индивидуально, соматической смертью, не умирает общественно. Переливаясь своим поведением, делами и творчеством в живое окружение общества, он продолжает жить в тех, кто остается в живых, если жил при жизни и не был мертв. И коллектив живой воскрешает мертвых». Подпись — Н. Я. Марр. Это его могила, его изречение. Вот она, формула преодоления смерти, которую предлагает позитивизм на собственной могильной плите…

Дело не в том, насколько утешительно или желательно социальное бессмертие, и не в том, насколько идея о нем хорошо обоснована философски (скорее всего, она плохо обоснована), — но в том, что оно достоверно как необъяснимая и необходимая предпосылка социальной жизни, как то, что позволяет человеку сражаться, изобретать, растить детей, составлять завещание и, хороня своих мертвых, писать на камне их имена.

Наше сознание содержит историю и культуру исчезнувших поколений, и в силу непреодолимых аналогий мы мыслим себя в чужих сознаниях, в бесконечной связи людей, вещей и поступков, в предметной действительности, возвращающей нам наш собственный образ.

Но одновременно индивидуалистический человек сопротивляется. Он охвачен встречным, обратным движением мысли. Слушая речь у открытой могилы, он думает: а его-то все-таки нет, совсем нет… Даже когда в разговоре упоминают покойника имярек, ему становится странно, что может быть имя без человека.

Есть чувство отвращения к посмертной славе. Это чувство неудачников. Человек утомлен, затравлен; он со скукой думает о том, что потомки когда-нибудь вытащат его наружу (потомки вытаскивают все, что угодно, вплоть до Ореста Сомова) и дни его будут собираться по кускам в неестественно резком свете истории. И будущая, уже ненужная человеку, реставрация его холодной, темной, поспешной жизни — оскорбительна. Приятнее было бы прекратиться совсем, со всем, из чего состоит существование. Утомленный, неудавшийся человек возражает против принудительного, никому не принадлежащего бессмертия. Ему кажется — это от равнодушия к тому, что будет после него; на самом деле это от заинтересованности… И то, что будет, имеет силу его дразнить и над ним насмехаться.

— Вот я, скептик, умру — трава вырастет, и не все ли равно, что станется с моим телом, с моими тетрадями, с теми, кого я любил…

Нет, оказывается — один скептик хочет, чтобы его зарыли,

другой, чтобы его сожгли; все скептики хотят, чтобы то, что они сделали, дошло когда-нибудь до людей, чтобы тем, кого они любили, было и без них хорошо.

Воля к осуществлению и идея исторической объективности человека питают друг друга. Дух скептика и эгоиста возмущен; он предпочел бы ничто — двусмысленности этих иллюзий. Читая в газете извещение о смерти, он пожимает плечами: почему у абсолютного небытия — имя и отчество? На каком основании то, чего нет, называется доктором наук или инженером?..

Раздраженный, он берет перо, чтобы записать эту мысль у себя в тетрадке.

Бедный скептик, вступивший в очередное противоречие с действительностью! Он записал свою мысль, — то есть отдал ее навсегда внеположному, переживающему его миру.

В доиндивидуалистические времена люди испытывали, конечно, страх смерти, но растерянность не была возведена в принцип. Принципиальным, напротив того, являлось понимание смерти, включенной в систему религиозных, философских или социальных представлений — будь то личное бессмертие, пантеизм, метемпсихоз, культ предков, абсолютная идея рода или государства или непререкаемость требований чести. Одни из этих систем отрицали уничтожение единичного сознания; другие отрицали само единичное сознание, как не имеющее значения по сравнению с абсолютом бога, вселенной, государства, рода. Так мыслил дошедший до предела в этих вопросах Восток. Христианский Запад — вместе с ценностью каждой отдельной души — открыл принципиальный страх смерти: не инстинкт, не рефлекс, не предсмертную судорогу тела, но осознанный человеком протест против уничтожения неповторимого человека.

Индивидуализм рос, и с ним вместе росло непонимание того, что я умру, если смертен Кай. Оно росло, пока не стало навязчивым представлением второй половины XIX века — бредом Кириллова, который, чтобы не бояться смерти, застрелился; мыслью Толстого, который от непонимания нарочно стоял под севастопольскими ядрами, от непонимания смерти хотел повеситься и по той же причине создал своего бога. В XX веке все это увенчалось «Жизнью человека» Леонида Андреева, Метерлинком с его шелестами и шорохами.

Мы же дети времени, склонного отрицать не только абсолюты классического идеализма, не только бессмертную душу положительных религий, но и самодовлеющую душу индивидуалистов, незаконно обойденную бессмертием.

Тему смерти мы получили в наследство от людей,

говоривших: что нужды, что Кай смертен и Кай человек, — я-то совсем не похож на Кая. Мы получили это наследство с тем, вероятно, чтобы восстановить старый жестокий силлогизм.

Что остается за пределами понимания? Спонтанная, нераздумывающая храбрость (очень важное и весомое начало общественного поведения) и на другом психологическом полюсе — бессмысленный ужас или холодное примирение скептиков с бессмысленной необходимостью. Но со скептической резиньяцией трудно жить социально, с затянувшимся ужасом вообще невозможно жить. И человек, который не понимает, — чтобы жить, — вытесняет смерть из сознания. Акт этот основан на коренных свойствах психики — на способности человека вообще устранять из сознания то, что ему мешает, на его способности всякий раз направлять внимание к предлежащей цели, так что все остальное оказывается уже не в фокусе, на неспособности большей части людей смотреть мысли в лицо, если только она не порождена единичной, конкретной ситуацией.

Здоровый человек, счастливый семьянин должен быть Толстым, чтобы без особой причины заболеть страхом смерти, Иван же Ильич, пока он здоров и благополучен, не может думать о смерти, как не может сосредоточенно думать по любому другому отвлеченному поводу.

Но мысль эта от других неприятных мыслей отличается тем, что она вечная потенция, которую ежеминутно сны, слова, впечатления могут реализовать судорогой страха. Иногда на поверхность ее вызывает просто отсутствие других представлений, занимающих ум; так бывает в ночи, когда человек пробуждается пустой и вдруг на переходе к бодрствованию с омерзением и сопротивлением представляет себе собственное небытие.

Об этом прояснении и затемнении представлений писал уже Ларошфуко: «Колебания, которым подвержено мужество многих доблестных людей, объясняется тем, что смерть по-разному предстает их воображению. В различные моменты она присутствует в нем с разной степенью ясности… Единственное, что в его <разума> силах, — это посоветовать нам отвратить от нее взоры и сосредоточить их на чем-нибудь другом. Катон и Брут обратились к возвышенным помыслам, а не так давно некий лакей удовольствовался тем, что пустился в пляс на том самом эшафоте, где его должны были колесовать. Невзирая на то, что побуждения различны, — результат один и тот же».

За триста лет до психоанализа, до теорий подсознательного и бессознательного механику отвлечения и вытеснения понял

человек, который, по свидетельству госпожи де Севинье, сам умирал так, как если бы в этом событии «не было для него ничего нового».

Ларошфуко знал, что храбрость не тождественна пониманию смерти, примирению со смертью, что один и тот же человек может быть то бесстрашным, то испуганным независимо от степени опасности, но в зависимости от того, попала ли мысль о гибели в фокус его сознания. «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор».

Догматическая вера в бессмертие души не избавляла от органически присущего страха. Однако мысль о смерти социально воспитуема. В особенности она воспитуема той системой оценок, которую социум внушает каждому, даже самому субъективному человеку.

Принудительность этой системы непомерно велика; и если из нее, например, вытекает, что быть храбрым хорошо, а трусом — плохо, то стремление оказаться не ниже действующей нормы пересиливает защитный инстинкт; сильнее страха смерти — страх общественного порицания и внутреннего переживания неполноценности (обратное соотношение — мы называем паникой).

Человек может бояться головоломной горной дороги, или бурного моря, или ночью глухих, сомнительных переулков и чувствовать одновременно, как этот страх парализуется, задвигается нежеланием в нем признаться. Странное дело, с одной стороны, такое огромное событие — смерть; с другой стороны, такое маленькое, как укол самолюбия, и маленькое пересиливает. Потому что угроза смерти находится за пределом опыта, тогда как угроза унижения очевидна и неотвратима; она и занимает поле сознания.

Необычайный документ дневник капитана Скотта свидетельствует о том, что Скотт и его спутники умирали в полярных льдах с величием духа, и величие это имело выраженную социальную окраску. Они не упускали из виду, что умирают именно как английские джентльмены. Перед самым концом Скотт написал письмо матери своего товарища: «Дорогая миссис Боуэрс!.. Я пишу в ту минуту, когда мы очень близки к концу нашего путешествия, и оканчиваю его в обществе двух доблестных и благородных джентльменов. Один из них ваш сын». Какая ясная иерархия ценностей нужна для того, чтобы Скотт написал это матери погубленного им человека.

В крепостной и самодержавной России, в условиях насилия и рабства, рядом с боевой героикой существовал цинизм бытового бретерства. В высшем кругу традиции вольтерианского скепсиса

сопрягались порой с офицерским презрением к человеку. Вяземский уже под старость лет рассказал следующую историю 1808 года: «В ожидании обеда гуляли в саду. В числе прочих был Новосильцов… Он имел при себе ружье. Пролетела птица. Новосильцов готовился выстрелить в нее. Князь Федор Федорович Гагарин (оба были военные) остановил его и говорит ему: „Что за важность стрелять в птицу! Попробуй выстрелить в человека“. — „Охотно, отвечает тот, хоть в тебя!“ — „Изволь, я готов. Стреляй!“ И Гагарин становится в позицию. Новосильцов целит, но ружье осеклось. Валуев, Александр Петрович, кидается, вырывает ружье из рук Новосильцова, стреляет из ружья, и выстрел раздался… Гагарин говорит Новосильцову: „Ты в меня целил: это хорошо. Но теперь будем целить друг в друга; увидим, кто в кого попадет. Вызываю тебя на поединок“. Разумеется, Новосильцов не отнекивается. Но тут приятели вмешались в наездничество двух отчаянных сорванцов и насилу могли прекратить дело миролюбивым образом. Сели за стол, весело пообедали, и вся честная компания возвратилась в город благополучно и в полном составе».

Гагарин и Новосильцов проявили храбрости не меньше, а хладнокровия даже больше, чем капитан Скотт, но это поведение другого морального качества. В дневнике Скотта сильнее всего то, что смерть для него так трагична, что он принимает ее ради совершенной полноты и ценности той самой жизни, с которой он расстается. Он говорит в последнем письме к жене: «Как много я мог бы рассказать тебе об этом путешествии! Насколько оно было лучше спокойного сидения дома в условиях всяческого комфорта! Сколько у тебя было бы рассказов для мальчика! Но какую приходится платить за это цену!» В бретерстве, напротив того, пытается осуществиться то самое «презрение к смерти», которое осудил глубокомысленный Ларошфуко. В бретерстве презрение к жизни и к смерти — плод огромной работы вытеснения; образ смерти замещен мгновенным наслаждением собственной силой. Бретерство даже совместимо с малодушием. Если ему придется умирать у себя в постели, бретер может оказаться трусом; потому что он — вместо того, чтобы понять смерть, — презирал смерть, а она этого не любит.

На человека в опасном предприятии работают мощные факторы вытеснения. Он не только подчинен принятой норме социального поведения, но он вместе с тем заинтересован предметной, технической стороной дела, которая поглощает внимание. Решающая разница существует между гибелью неизбежной и почти неизбежной. Необязательность смерти —

даже в самых страшных условиях — позволяет сосредоточивать мысль на этом почти, на мельчайшем шансе… Тем самым объект переживания уже замещен, он уже не смерть в чистом виде.

### *Разговор со студенткой Горного института*

— А вы полетели бы через Северный полюс в Америку?

— Нет.

— Почему же?

— Как-то… Не знаю… не хочется…

— Жалеете свою молодую жизнь?

— Нет. Должно быть — не потому…

— Ну, почему бы и не пожалеть свою молодую жизнь?..

— Не знаю. Мне еще ничего такого не угрожало. Должно быть, пока человеку не грозит смерть, он не может понять, как относиться к жизни.

— Вы думаете… А с парашютом вы прыгали?

— Нет. Если бы мне нужно было — я бы прыгнула. Но нарочно — это мне было неинтересно. Я сама раньше думала, что не прыгнула из трусости. Но потом в шахте я ведь лазила туда, куда никто из практикантов не лазил. Значит, с парашютом дело было бы не в трусости, а в равнодушии к этим… ощущениям.

— А под землей в дыру лазить — это не сильное ощущение?

— Но это имело для меня смысл. Это мое занятие… Но может быть, лазишь там всюду потому, что совершенно не думаешь, что что-нибудь может случиться.

— Но теоретически ведь ясно…

— Теоретически — конечно. Но там никто об этом не думает. Это все говорили. Может быть, еще оттого, что с непривычки такая страшная подавленность, что человеку уже все равно.

— А привычные?..

— Меня поражало, что рабочие совсем небрежно относятся к безопасности. Правда, на работе невозможно все время об этом думать. Отнимает слишком много времени. И вообще, все заняты другим. Но там есть одна вещь — перед тем как взорвать пласт, они должны за две-три минуты кричать: «палим! палим!», чтобы все успели разбежаться и стать под крепления, чтобы не посыпалось что-нибудь на голову. Ох, это ужас! Эти две минуты, когда после крика ждешь взрыва, я не могла выносить. И, знаете, старые шахтеры, которые вроде на все плюют, — это они не любят.

Понятно. Они не любят это потому, что в течение двух этих минут им нечем занять внимание, разве что возможностью конца.

Общепринятая норма поведения, сосредоточенность на технической стороне, необязательность гибели — служат основой профессионального мужества. Они позволяют самым обыкновенным людям систематически заниматься делом, сопряженным со смертельной опасностью, Такие занятия, как укрощение львов, как трюк американского летчика-циркача, который поджигает в воздухе самолет и в самый последний момент выбрасывается с парашютом, — возможны именно потому, что смертельная опасность профессионализирована в них как таковая. За нее-то и платят деньги. Так подменяется объект переживания. Для больного техническую, отвлекающую сторону процесса составляет лечение. Но у лечения есть своя мрачная диалектика: если оно оттесняет мысль о смерти, то с тем, чтобы снова привести ее за собой.

— Человек действия, воспитанный опасностью, — сказал доктор М., — не хочет умирать от болезни, изнутри. Знаете, как умирал кто-то из самых храбрых генералов двенадцатого года? Не помню кто… Умирал у себя в деревне. Ему шел девятый десяток, и он метался в постели от страха, от несогласия с происходящим. И он так был еще силен, что чуть не задушил врача, который не мог его вылечить.

Крайнее интеллектуальное усилие позволяет в иные минуты прикоснуться мыслью к несуществованию, к *ничтожеству*, как некогда говорили. Но в обыденном состоянии человек боится иначе, не понимая того, чего он боится. А не понимает он ни вечности, ни бесконечности, ни небытия.

Впервые, смутно еще, это померещилось мне в ранней юности. Годы гражданской войны — город занимала Красная Армия. На улицах стреляли. На обратном пути из школы пришлось зайти в подворотню. В подворотне стоял студент и на ступеньках присела женщина в платке, с кошелкой. За углом трещал пулемет; вдалеке что-то ухало. Женщина очень боялась, вздрагивала, шептала, крестилась. Треск вдруг прекратился. Мы выжидали в тишине. Потом женщина встала, взяла кошелку.

— Погоди, тетка, — сказал студент, — не время сейчас ходить.

— Нет, уж пойду, — в наступившей тишине она говорила совсем спокойно, хотя за несколько минут перед тем бормотала и всхлипывала, — пойду, печка у меня затопленная.

И тут вдруг до меня дошло — еще смутно, — что она боится иначе, чем я. Что она боится пулеметного треска и вздрагиванья земли при далеких раскатах (мне было шестнадцать лет, и бояться этого казалось мне тогда недостойным), но небытия,

развернающегося мгновенно, она не боится, потому что не может его себе представить.

## *2*

Бывшие резиденции создавались для очень определенной цели — притом оскорбляющей наше гражданское чувство — и с уничтожением этой цели приобрели общий им всем характер пустоты и бесцельности. Казармы, парки и дворцы… сверх того провинциальный центр с рыночной площадью, почтой и аптекой, — центр, без всякого промежутка переходящий в окраину. Из пригородного уровня выпирают особняки и казенные здания с их регулярным николаевским ампиром. Помещичьи дома без усадьбы и городские без города — вот характерная черта резиденций. В наши дни дома отдыха, санатории придают целенаправленность этим странным городам. Для отдыха это даже хорошо именно тем, что так непохоже на обстановку, приспособленную к чьей бы то ни было обыденной жизни или работе.

Гостиница, в которой я отдыхаю, занимает одно из дворцовых зданий. Окно выходит на какой-то сарай, за сараем пустырь, за пустырем бело-желтый кусок другого дворцового здания. В общем, довольно успокоительно. В гостиницах, более или менее чистых и добропорядочных, убогие номера (без фигурных пепельниц и плюшевых кресел, внушающих легкое омерзение) хороши своей непроизвольной конструктивностью. Белый умывальник, кровать под негнущимся больничным одеялом, ночной столик, стол с гранитолевой обивкой и высохшей чернильницей, за которым можно писать, стол с перекрахмаленной скатертью и графином, за которым можно есть, шкаф. У шкафа — маленький чемодан в чехле. Вещи отобраны на три-четыре дня тоже по конструктивному принципу. Если в комнате есть что-то лишнее — это ящики, которых удивительно много во всех столах и во всех отделениях шкафа. Отобранные на три дня вещи займут до смешного малую часть этого пространства. Ощущение конструктивности от светлого скудно обставленного номера и хорошо уложенного чемодана — ощущение дорожной легкости и свободы; свободы от ассоциаций, от напоминаний, от всего дергающего, отягченного, наболевшего, натертого, очаровательной свободы, которую дарит нам чужой город и чужая постель. Обнажившееся сознание смелее и отчетливее воспринимает мир.

Здесь самый скучный из ленинградских парков — плоский и

узкий, без всяких иллюзий. Но для зимнего отдыха достаточно деревьев и снега. Снег на солнце крупитчатый с блеском. Странно, что повсюду в таком количестве навалено драгоценное вещество снега металлической благородной белизны. Он лежит перекатами, слегка вздымаясь у каждой сосны. За соснами солнце, так что длинные тени исполосовали снег. Тень, холодная на земле, на снегу кажется теплой. Необычайна чистота материалов — снега, дерева, облаков, тени и света. Это легкость дыхания, драгоценная ткань жизни. До того чистая, что неприятно вспомнить лето — с потом, песком, влажными жалящими мухами; весну — с топью, сырым воздухом, нервностью, с беспокойной пестротой земли.

Зимний пейзаж слагается из ограниченного числа элементов — снег, хвоя, стволы и ветви голых лиственных деревьев с выпуклой резьбой коры. А в многоснежную зиму, с инеем и сугробами, элемент только один — снег; все прочее лишь остов пейзажа. Хвойные лапы елей — подставки для снега, голые стволы осин и берез — грубая основа для кристаллической лепки инея. И на все это еще и еще падает снег. Даже не падает (падает дождь), — снег летит, сверху или сбоку, или отделяясь от земли. Быть может, это все одна и та же доза снега, захваченная вращением. Коловращение снежинок довершает для человека этот мир — отъединенный, упрощенный, почти искусственный. Стабильный и однозначный, этот мир разгромождает сознание и сообщает сознанию сосредоточенность, невозможную в цветущей пестроте, в столкновении сил, в движении лета, весны и осени. Снежный пейзаж не только освобождает мысль от всяческой суеты, — он освобождает ее от самого себя. Не поглощая и не задерживая мысль, он сквозь себя пропускает ее дальше.

От высоко стоящего дворца открываются радиусами аллеи нижнего парка. Они двухцветны — белый тон снега и темный тон хвои и дерева. По левой диагонали идет маленький черный на снегу человек. Сверху видно, как он движется по белому дну, наискось исполосованному тенями, по белому полосатому дну, вытянутому между двух сбегающихся стенок деревьев. Удивительно просто мне предстают — высота, глубина, светотень, протяженность, движение.

Эту режущую ясность восприятия, эту драгоценную ткань зимы — их нельзя уже отделить друг от друга, ни от чистого чувства жизни, — переполняющейся, подробно переживаемой, запоминаемой жизни. И долгий день, сплошь осознанный день, извергнувший из себя небытие и животную рассеянность, полон мыслей о жизни и о смерти тем самым.

Мысль о жизни часто кончается и часто начинается мыслью о смерти. В чем смысл жизни, если все всё равно умрем, — вот с чего начинается. Как будто бессмыслица, длящаяся вечно, лучше временной бессмыслицы? Дело не в бесконечности, а в оправдании жизненного процесса. Формула: жизнь не имеет смысла, потому что человек смертен, — логически неверна, но обладает чрезвычайной обиходной цепкостью. Протест против кратковременности и личной жизни, и даже объемлющей ее исторической культуры этой формулой выражает настоятельное желание принадлежать к некоей безусловной целостности.

Смысл — это и есть структурная связь, включенность явления в структуру высшего и более общего порядка. В произведении искусства, например, ни один элемент не равен себе, но вмещен в символическую связь расширяющихся представлений. Это эстетическое соотношение может служить моделью и для других смысловых соотношений. Структуры иерархического ряда жизнеосмысления, вмещаясь друг в друга, набирают высоту. Так что смысл и ценность образуют неразложимое переживание.

В отличие от физического наслаждения, от материального блага ценности невыводимы из замкнутой личности. Они некий сублимированный, идеальный опыт, не всегда абсолютный, но и в своей относительности всегда имеющий всеобщее значение (для определенного социально-исторического пласта).

Самые непосредственные, неоспоримые, неразложимые свидетельства о смысле и ценности человек получает в актах любви и творчества. Заключенный в себе самом человек беспомощен и беззащитен; его терзают лишения, скука, страх. Сексуальная любовь и семья — простейший, первичный способ выхода из себя (об этом в «Оправдании любви» Владимира Соловьева). Пока любовь длится — цели любви обязательны и правила любви неотменяемы. Вот почему эгоцентрическое сознание в любви делает первый шаг к объективации мира. Преодоление субъективности, объективация, снимающая одиночество и страх, поднимаются из темной сферы эмоций. Любовь и семья — истинно демократические ценности; для их реализации не нужно избранных, или нужны избранные совсем в другом смысле. В любви — величайшая общедоступность самых, казалось бы, редких вещей — пафоса, блаженства и, что особенно важно, — простота и бытовая общедоступность жертвы. Нет чувства эгоистичнее любви, нет социального института эгоистичнее семьи, — но этот эгоизм знает, что есть вещи, настолько нужные для единичной жизни, что они уже переходят ее пределы. Эгоцентрическое сознание на пути объективации мира следующий шаг делает в творчестве. Если принцип любви в

том, что вне меня находящееся становится мною, то принцип деятельности (творчества) в том, что я становлюсь вне себя находящимся. И надо сказать — это почти один и тот же принцип.

Голая самоцельность творчества мучительна для каждого неизвращенного человека. Спасаясь от самоцельности, мы делаем еще один шаг на пути объективации, колеблющийся шаг в историческое сознание. Творчество переживает творца; какой бы злобой, насмешкой, сопротивлением ни встречал эту формулу субъективный и позитивный ум, — он принужден ей покориться как условию. И Пруст, постигший все, что касается субъективного сознания, написал: «Я утверждаю — жестокий закон искусства состоит в том, что живые существа умирают, и мы сами умрем, исчерпав все страдания, с тем, чтобы росла трава, не забвения, но вечной жизни, густая трава плодородных творений». Это одна из последних страниц «Le temps retrouvé», — значит, написанная почти умершим человеком.

Творческая память для Пруста формообразующее начало не только искусства, но и жизни — потока, непрестанно ускользающего в щель между прошлым и настоящим. У Бергсона бессознательная память объемлет всю полноту пережитого и включается в мировую связь. Достаточно было, сохранив гегемонию памяти, лишить ее этой связности, чтобы получилось катастрофическое жизнеощущение Пруста. В отличие от органической памяти — интеллектуальная память фрагментарна, и все ею не сбереженное, все невосстановимые куски жизни мучат тогда, как ноет колено целиком ампутированной ноги. В трудной борьбе с забвением творческая память превращает прошедшее в настоящее, переживаемое вечно. Чтобы замкнуть, чтобы упрочить это переживание, — не лучше ли до конца создавать одно творение? Пруст, с его обостренным чувством пожизненного умирания, так и поступил.

Аллея довела меня до решетки парка. Справа за решеткой холм, белый, лоснящийся в свете низкого солнца, обтекаемый мягкой тенью, раскатанный лыжниками. Лыжники врезаются с разгону в аллею и пестреют между стволами, перемещаясь из просвета в просвет. Это воинская часть. Одинаковые бойцы в зеленых гимнастерках и в шлемах катятся вниз на согнутых ногах, неподвижно выставив руки с лыжными палками, — как механизированные; распрямляются у подножья холма, продолжая свой ход широким лыжным шагом. Что-то успокоительное — в регулярности этих движений, в мелькании одинаковых лиц, молодых, выбритых, красных от ветра и усилий. Вероятно, это впечатление храбрости. Человек в военном мундире — храбрый

человек; это старое неистребимое отождествление. Человек в военном мундире имеет профессиональное отношение к смерти; он — получивший предупреждение.

День прошел в тихом блуждании по парку; сумерки сняли драгоценную светотень. Теперь все свелось к тусклой плоской белизне земли, расчерченной ветвями и стволами. Незапушенное снегом лиственное дерево стоит ущербное и кривое, со своими узлами и корявостями, вовсе не заметными в листве. Это подступает оттепель — тяжелый от влаги воздух, снег без блеска и деревья в истерических позах.

Осень — отрицание лета, но весна — вовсе не отрицание зимы. Это непохоже на смысл весны, переполненной собственным, уходящим в будущее, движением. Недаром между зимой и весной лежат пространства мартовских оттепелей и апрельской пустоты… Умирание зимы — это оттепель, отрицающая в зиме все солнечное, крепкое и легкое. В оттепели, как в осени, есть тишина, сожаление и уныние. И подобно осени, оттепель — процесс, тогда как зима стабильна. Из всех времен года только зима — остановка, замыкание. Зима поэтому символ смерти.

Стало совсем темно. Я стою опять у дворца; там же, где утром мне открылась глубина и протяженность аллей нижнего парка. Есть не только темно-синий, темно-серый, темно-коричневый цвет, но и темно-белый. Цвет ночного снега. Деревья определились вполне как графическое начало линии и формы. Теперь аллея — холодная неизбежная дорога, темно-белая с черными стволами.

Сегодня в самом деле долгий день. Раскрепощенный снегом и чужим городом, это день особого напряжения; а за ним опять пойдут короткие, мутные дни. Но сейчас — усталость и отрадное чувство предела, у которого наконец позволительно остановиться. Быть может, это даже прообраз той свободной от сожалений предсмертной исчерпанности, которая обещана человеку, додумавшему до конца свои мысли. И в меня проникает последнее впечатление дня — деревянная улица, заснеженная, в светящихся окнах.

В больших зданиях освещенные окна строго локализованы и изолированы в черноте и непроницаемости каменного корпуса. В маленьком деревянном доме окно занимает непомерно много места; со своими наличниками оно плоско лежит на поверхности стены, и нам понятно, что дом сам светится весь изнутри, прорываясь светом в окно, как в отдушину. Дом светится в снегу слабым желтым и розовым светом теплящейся жизни.

Древняя идея огня жизни впервые мне уяснилась в

неожиданном месте — на Ай-Петри. На Ай-Петри полагается встречать восход солнца. Мне довелось встречать его дважды, причем оба раза оно — как там принято говорить — «не взошло». Но перед рассветом мы видели ялтинские огни. В пустынности гор и моря — небольшая густая шевелящаяся россыпь огней. Будто человеческая толпа стала плечом к плечу и подняла над собой огни, свидетельствуя о жизни, защищаясь от небытия и мрака. Что нужды — что на самом деле там сияет курортная набережная с мороженым, с тирами, с девушками в завивке и крепдешиновых платьях… Тот же смысл у заснеженного света этих деревянных домов. Это светится жизнь с рождениями и смертями, с хамством, с зарплатой, с примусом, с любовью; жизнь — грубая, хрупкая, путаная и священная.

Огонь чужой жизни манит и дразнит в ночи одинокого путника.

> Doch weiter, weiter, sonder Rast.
> Du darfst nicht stille stehen.
> Was du so sehr geliebet hast,
> Solst du nicht wiedersehen…[56]

Этот долгий день продолжает длиться. Поздно вечером в дверь моего номера постучали. Должно быть, приехал отдыхать кто-нибудь из знакомых и зашел поболтать перед сном. Так и есть. Входит И. Т. Сегодня это, пожалуй, самое подходящее. И. Т. человек умный, абстрактный и имеющий жизненную позицию. Скорее всего, разговор дойдет до вещей, занимающих меня сегодня.

И. Т.: —…Ведь я психологией никогда вплотную не занимался… Есть еще один раздел философии, который я терпеть не могу, — это этика.

— По-видимому, вы неэтичный человек.

— Я — неэтичный человек.

— Но… если говорить всерьез… не стоите же вы за кустарное разрешение основных вопросов. Человек в конце концов может жить без гносеологии, но, не решив вопроса о ценности, он толком не может жить.

— Я именно стою за кустарное решение. Никакое другое решение в этом деле никогда не удавалось. Видите ли, я думаю, что есть три рода людей. У большинства последние ценности вообще не доходят до сознания…

— А! То, примерно, что я называю эмпирическим человеком.

— Я не гонюсь за тем, чтобы это назвать. Есть трансцендентные люди, которым необходимо, чтобы крайняя

ценность лежала вовне…

— Вероятно, в широком смысле слова это люди религиозного мышления… то есть люди веры, хотя вовсе не обязательно, чтобы она была верой в бога… Ну и, конечно, имманентные люди…

— Нетрудно догадаться — раз есть трансцендентные. Имманентные люди как-то переживают ценность в себе.

— Именно — как-то…

— Заметьте, я не претендую на то, что имманентные люди выше трансцендентных.

— Боюсь, вы это подразумеваете. Но представьте себе — человек, нерелигиозный во всяческих значениях этого слова, но с повышенным переживанием ценности. И он неблагополучен. Ему все мерещится, что только безусловное упорядочивает людей и отдельному человеку объясняет, зачем он живет (раз есть то, что дает жизни свои законы) и зачем он умрет — раз есть нечто, что выше его жизни. Этого имманентного человека мучит произвольность его собственного душевного устройства.

— Значит, он не имманентный человек. Ему просто нужны внеположные ценности.

— Нужны! Но если их нет…

— О, тогда ему плохо. Очень плохо!

— Понимаю: не будем смешивать имманентных людей с трансцендентными людьми без трансцендентных ценностей. Но тогда самый ваш трансцендентный человек — как он отделается от подозрения, что все его критерии обман?

— Чей обман? В чью пользу вы обмануты? Кто вас обманывает?

— Скажем — самообман…

— Но ведь обман или самообман могут мыслиться лишь относительно некоторой действительности, истинной действительности. А если вы не знаете и не можете вообразить иную действительность, кроме той, которой вы пользуетесь?..

— Хорошо. Вы говорите — в чью пользу вы обмануты? Но у нас есть понятие природы. Как говорит Шопенгауэр, природа все делает для рода и никогда ничего — для индивида. Так вот бабочка-однодневка, которая порхает, как дура, а к вечеру, положив яички, помрет, — ей в конце концов все равно, потому что она не знает об этом. Но человек — не расстраивайтесь, что я сплошь говорю вам вещи тысячелетней давности, — человек, он устроен так, чтобы не только порхать и рождать, но чтобы еще, при любых обстоятельствах, придумывать идеологию, — человек-то знает. И он, в сущности, жертва приспособляющего механизма природы…

— А вы бы поменялись с тем, кто не знает?

— Я? Ни в коем случае.

— Так какая же вы жертва?

— В том смысле жертва, что кому-то — природе этой, что ли, — почему-то нужно, чтобы мы жили…

— Кому это может быть нужно, чтобы вы жили? Только вам это может быть нужно. Дело не в смысле жизни — даже непонятно, что это значит, — но в ценности жизни. Человек родился, и при этом его мнения не спрашивали. Но у него достаточно возможностей впереди, чтобы оценить факт жизни — в ту или другую сторону. Для человека, который заслуживает называться разумно-мыслящим, только так и стоит вопрос: я живу — значит, я признал ценность жизни.

— Но откуда он, этот ваш человек, вообще берет понятие ценности? Ценность всегда социальна. Значит, он получает ее извне. И по отношению к ней он не свободен. Скажите прямо — получает он ценность извне?

— Генетически — конечно. Но ведь не это определяет устройство каждого единичного сознания. Я свободен относительно любых ценностей, потому что в любой момент я могу уйти. Они существуют для меня постольку, поскольку я дал согласие оставаться.

— Теперь понятно, что из всего девятнадцатого века вы признаете главным образом Достоевского. Кириллов, в доказательство, что он свободен, — застрелился.

— Я не настаиваю на общеобязательности суждений этого рода. Если окажется, что есть еще люди, которые так думают, — мне будет все равно. Другое дело идеи в области гносеологии или истории. Словом, там, где я мыслю научно.

— Этика исключается?

— Я спокойно отношусь к смерти. Этика же, она начинается, кончается, она вся выходит из мысли о смерти.

— Это страшно верно.

— Я думал о смерти в своей жизни три ночи. Мне тогда было четырнадцать лет.

— Что ж вы придумали?

— Что — пожалуйста… я готов.

— Так с тех пор и стоите на этом?

— Так и стою. Впрочем, к жизни я тоже отношусь спокойно. Я думаю, что ничего тут нет такого уж особенного. В конце концов можно было бы и не существовать.

Он полагает, что освободил свое миропонимание от навязчивого воздействия мыслей о конце; на самом деле его миропонимание держится только идеей свободного согласия и свободного ухода, то есть идеей философского самоубийства.

И. Т. — классик, рассматривающий себя на фоне античного скепсиса и гедонизма. В действительности же мы имеем здесь дело не со стилизацией под античность, — что было бы никому не интересно, — но с состоянием сознания, принадлежащим XX веку. Человек не понимает, не приемлет, однако не возражает… Это установка бессвязной импрессионистической души, с подсознательным, с бессознательным, запутанной между прошлым и настоящим, между памятью и забвением и вовсе не уверенной в том, что она существует. Ей дано непосредственно лишь хаотическое, неизвестно кому принадлежащее чувство жизни; некая до безумия непонятная сущность, которую человек этот носит в себе, относительно которой вся его сознательная душевная жизнь — только недостоверное явление… При всей субъективности это сознание, в сущности, неиндивидуалистично, — оно не смеет уже удивляться собственной конечности. Оно, если хотите, не трагично, потому что смерть ему не противоречит.

Но вот разговор с человеком другого склада — сокрушительной силы самоутверждения. Он притом интеллектуален и поэтому ищет во что бы то ни стало выхода из собственной замкнутости в спасающее безусловное.

*Я:* — …А Шопенгауэр говорит, что не должно быть и страха смерти, потому что смертно в человеке только личное, то есть интеллект, который вообще не испытывает никаких эмоций, в том числе и страха. Воля же безлична и бессмертна, так что она не должна бояться…

*Собеседник:* — Тем не менее она боится… Что в конце концов двигало людьми… скажем, людьми 1789-го? Что, кроме веры в объективную истину, объективное благо, — снимает страх? Что — состояние аффекта?

Вот состояние аффекта — это как раз то, что понимают боящиеся; лучше всего они понимают спасительность аффекта и религиозного пафоса.

— Я убежден, — продолжает собеседник, — объективное благо — коренной вопрос жизни, условие жизни.

Прекрасно сказано, но я-то знаю, что́ это значит в данном психологическом контексте. Чтобы жить, необходимо то, что дороже жизни. Это голос боязни. Это человек так боится конца, что мечтает найти единственно успокоительное — то, что дороже жизни; что, следовательно, сильнее смерти. Ему не приходит в голову, что сильнее смерти может оказаться желание сделать прыжок с трамплина.

— Хорошо, — чтобы понять смерть, достаточно признать

сверхличную объективность существования. Должно быть, вы понимаете… раз у вас этот исторический абсолют?..

— Не знаю, на такие вопросы может ответить разве что религия.

Но у него-то нет религии. Значит, ему, как и мне, никто не может ответить на такие вопросы. И его исторический абсолют — только оболочка. Нечто вроде саморазвивающихся идей немецкого идеализма; с той разницей, что у него они развиваются в неизвестном направлении и что он не верит в их метафизическую реальность.

*Разговор о моем собеседнике между двумя его друзьями*

— Ммм… Почему ему так нужны эти абсолюты… Ты как думаешь?

— Потому что он за них не отвечает. Его ум с чрезвычайной легкостью их концепирует, что само по себе приятно. Как мыслитель, он понимает, что иметь абсолюты возвышеннее, чем не иметь абсолютов. А для него главное — быть выше других.

— Это все верно. И еще другое — он боится.

— Чего — идей?

— Зачем идей? Идей он как раз не боится. Он боится смерти, боится собак, коров, грабителей, мало ли чего… Поэтому он не понимает, что люди в общем все, что угодно, но не трусливы; и легче приучить человека к опасности, чем к честности, к порядку, к тому, чтобы чистить зубы… Но он мыслит исторически, политически современно и знает, чем существуют народы. Так вот необходимы, сию же минуту необходимы абсолюты, чтобы снять страх.

Представьте себе человека огромного жизненного и творческого напора, эгоцентрика с неудержимой потребностью в самоутверждении, саморасширении. В сочетании с храбростью тут получится все, что угодно: завоеватель, авантюрист, Наполеон… Иначе получается непомерный рефлекс самосохранения, которому служит сильный и гибкий ум, изощренный научной диалектикой.

На замечание, что война и ожидание войны создают культуру мужества, следует ответ: еще требуется доказать, что мужество — положительный факт. Это дерзкое самоутверждение эгоцентрика, отводящего всякую противопоказанную ему моральную ценность.

Состояние опасности, говорит он, противоестественно. Людьми тогда движет только идеология, принадлежащая этому состоянию, как таковому, то есть идеология победы. В остальном одеревенелость и зверство, называемые храбростью. В то же

время, историк и исторически мыслящий человек, он не намерен оставаться на позициях классического гуманизма. Согласно последнему слову истории, он утверждает, что социальный аппарат должен завинчивать гайкой воющее от эгоизма **Я**. Отсюда один только умозрительный ход до объективных целей развития, смиряющих эгоизм и утишающих страх. Он, разумеется, делает этот успокоительный ход. Только вот в его личном опыте цели пока не раскрыты. Что кстати, потому что нераскрытые цели ни к чему определенному не обязывают.

Разговор продолжается.

*Я:* — Для меня несостоятельность субъективизма доказана его бессилием понять смысл жизни и смерти.

*Собеседник:* — Для меня — фактом творчества. Зачем мы все пишем? Скажите, пожалуйста, зачем я прихожу измочаленный и сажусь писать книгу, от которой во всяком случае будут одни неприятности…

— Так я вам это всю жизнь говорю…

— Да, но вы ведь считаете, что творчество — физиологическая потребность. Вроде человеку захотелось почесаться.

— А вы думаете…

— Я думаю, что за творчеством стоит еще что-то…

— Что — этого мы не знаем. Но мы знаем психологическую реальность: человек хочет деятельности, то есть творчества и труда; и нередко хочет опасности.

Он соглашается. Но принять этот факт как психологический он не может. Нутром, нервами — он сопротивляется идее человека, «ищущего опасности». И кроме нервов сопротивляется неукротимая воля к самоутверждению. Ведь храбрый человек, по шкале моральных оценок, вероятно, окажется самым лучшим. Тогда как самым лучшим должен быть он. Вот почему из неудобной психологической сферы мы немедленно переходим в сферу логических отношений. Есть человек как человек (он не хочет опасности) и человек как Человек, представитель рода, народа; и тот хочет самых противоестественных для человека вещей. Эмпирический субъект раздираем противоречием между личными и роевыми (о роевом говорится в «Войне и мире») устремлениями. Но всякий безошибочным внутренним опытом знает, что роевое выше личного.

*Я:* — Почему?

*Собеседник:* — Потому что оно выводит человека из себя. Творчество, деятельность, любовь, эстетическое чувство — все это выводит из себя.

— Почему это хорошо?

— Потому что это единственно возможное для человека счастье.

— Почему?

— Потому что — это бессмертие.

— Я не понимаю не личное бессмертие.

— Дело не в том, чтобы понимать это как реальность, а в том, что это есть всеразрешающее *переживание* бессмертия.

— Но из чего следует, что переживание бессмертия есть самое высшее?

— Из того, что все мы знаем — со смертью невозможно согласиться.

Разговор замкнулся.

Субъективизм, обуреваемый протестом против небытия, из себя строит защитную мечту об абсолюте. О, это не тот абсолют, который предстоит строгому, ясному мышлению гражданина, признавшего себя частью целого; это мечта эгоиста, мучимого своей уединенностью, ищущего аффекты и трансы, которые выведут его из себя.

— Что же, у вас получается, что это дурман?

— Я этого не думаю. Но думаю, что, к несчастью, это так для современного европейского человека.

Но мировая история, вечно полагающая цели, обещает ему, что за дурманом спряталась истина.

В XIX веке индивидуалистическое самоощущение было столь обязательно, что самые бесстрашные люди (Толстой в том числе) теоретически не могли примириться со смертью, ни с чьим бы то ни было правом предписывать смерть единичному и единственному человеку. Сейчас же даже трус, если только он мыслит общими категориями, — судорожно ищет социальную силу, имеющую право и власть принуждать его к жертве (притом оставляя за собой право от жертвы уклониться). Оказывается, нельзя мыслить смерть как конец, как тотальное уничтожение личности и одновременно утверждать безусловную ценность единичной жизни. Только механизм вытеснения или недомыслие позволяют совмещать две эти идеи. Это один из резких психологических разрывов. Умеющим мыслить нужен выбор.

Религия так или иначе отрицала тотальность уничтожения. История показала, что религиозное чувство, интуиция абсолютного, может обращаться на социальные объекты. Перерастающие, переживающие человека, они обещают ему тогда своего рода бессмертие. Только в отличие от церкви история не платит человеку ни царствием небесным, ни отпущением грехов.

А как же тот, кого не устраивает безличное бессмертие, кто утратил интуицию связи? Чтобы не остаться с голым страхом уничтожения, он обесценивает жизнь и себя самого. Он говорит: в конце концов можно было бы и не существовать.

Так поступал высокий гедонизм, это самопознание и самоограничение умов, замкнутых на себя. Не религия отвергала жизнь (она отвергала только *ненастоящее* бытие в пользу *настоящего*), но гедонизм, разорвавший жизнь на бессвязные мгновения наслаждения и страдания, регулируемые философским самоубийством.

Скептицизм новейшего времени не обладает античной ясностью и бесстрашием. Он охотно осуждал, унижал самого себя и облизывался, глядя на абсолюты.

Вот человек прожил благополучную жизнь, а умер катастрофически. Если смотреть на чужую жизнь со стороны (можно смотреть со стороны и на собственную), то последнее из мгновений бросает свой отсвет на все бывшее, перестраивает его ретроспективно. Смерть окрашивает прожитую жизнь. Но и сама она определяется изнутри жизни. Иван Ильич умирает так ужасно, потому что ужасна своей бездумностью его жизнь. Чтобы не умирать так, надо жить иначе. И делать это безотлагательно. Понимание смерти возможно, когда жизнь осознается как факт истории и культуры. Как биография. А биография — структура законченная и потому по самой своей сути конечная. Тогда жизнь не набор разорванных мгновений, но судьба человека. И каждое мгновение несет в себе бремя всего предыдущего и зачаток всего последующего.

Структурное представление о жизни порождает порой героическое мироощущение. Не только смертельная опасность, но самая смерть представляется тогда вершиной реализации, последним звеном в ряду исторического бессмертия. Для людей религиозного или революционного действия жертвенная смерть не страшная необходимость, не случайность, но совершенное завершение судьбы. Это — «Умрем! — ах, как славно мы умрем!» Александра Одоевского накануне 14 декабря.

Гибель как последняя проверка и условие абсолютной свободы и силы, которая покупается готовностью исчезнуть на острие любой минуты. Люди пушкинской поры высоко ценили этот род наслаждения. Пушкин и творчеством и своей судьбой выразил идею полноты жизненного мгновения, исполненного готовности к уничтожению и освобожденного от страха[57].

Пушкин, умирая, сказал: «Кончена жизнь…» Безмерна вместимость этих слов, произносимых умирающим Пушкиным. В

конце XIX века каждый уже считал себя средоточием вселенной и не мог примириться с собственным исчезновением. А Пушкин мог; со всем, что в нем было, он мог это понять. Не только под конец — сломленный, — но и в пору своей юности, атеистической и полной ожидания, он бросался под выстрелы. Так оплачивалось пушкинское ощущение жизни — катастрофической, но побеждаемой. Бессмертья, может быть, залог…

Апрель опять на несколько дней привел меня в тот же пригород. Апрель с его голыми сучьями и прошлогодними листьями на земле — вовсе не похож на осень. Это давно мертвые листья, тогда как осенью листья живые и умирающие. Апрель — как пространство между оттепелью и весной, остановка перед движением. Апрель — как задержанное дыхание… Апрельский пейзаж негативен, он отличается отсутствием зелени, отсутствием снега, отсутствием листопада. Он как бы остов природы.

Залив еще не вскрылся у берега. Плоские лужи, островки с черенками гнилого тростника, отмели и сизый полурастаявший лед. С береговой дорожки — промерзлой и топкой — далекая перспектива грязного льда и голого дерева; пустынность и сырость, проникающая до самого сердца.

Природа показывает, что ей вовсе не обязательно украшаться и волновать человека прелестью; что для власти над человеком ей достаточно вечной символики ее элементов. Сейчас она особенно некрасива; красивы, пожалуй, только лакированные прутья вербы с меховыми серыми почками, которые приятно трогать губами.

Стволы — старые спутники каждой прогулки по парку — тихо вращаются и перемещаются на моем пути. Что я воспринимаю? Стволы, мертвые разноцветные листья, пятна, блики и тени, вырванные из тени куски неизвестно чего и необязательные их сочетания — эмпирический хаос, бессмыслицу, осмысленную импрессионизмом. Чтобы понять мир, с этим еще придется бороться; с идеей, что мы видим то, что отражается на нашей сетчатке. Мы видим то, что мы знаем и что мы хотим увидеть.

В самом низу, под массивом зелени, вертикальные палки и между ними блеклый просвет. Но я вижу совсем другое — залив между деревьями и деревья, растущие на берегу. Вещи из интеллектуального опыта, с их заданной формой, с основным цветом, с социальным назначением, с их символикой и эмоциональным тоном.

Когда человек смотрит с откоса вниз, в ночную зимнюю аллею, его одновременно волнуют явления глубины, высоты, протяженности, — символика дороги, быть может символика

смерти.

Высвобождается все, что в молниеносном сокращении содержится неуследимым мгновением. И если осознание действительности уходит в самые общие познавательные категории, то другим концом оно входит в единичную вещь, увиденную в преходящем повороте. Каждая новая шероховатость, открытая на поверхности единичной вещи, — это новый узел познания. Чем подробнее мгновенное впечатление, тем больше интеллектуальных рядов расходится из него в разные стороны.

В фокус восприятия может попасть сплошной массив леса, или просека, группа деревьев, на дереве кора. Взгляни на белую пятнистую березу; потом подойди вплотную — и поверхность дерева станет странной, как под увеличительным стеклом. Вырванные куски, так что виден нижний коричневый и растреснутый слой коры; еще глубже — светлое скользкое дерево. Березовая же белизна бересты определяется, собственно, самой верхней серебряной пленкой, у которой тугая и розовая подкладка. Береста отдирается, загибается углами; местами она заскорузла зеленоватым, серым, однообразным и сложным узором.

Апрельская голая природа богата подробностями. Топкая земля вся в пучках серой прошлогодней травы. Местами уже прорастают свежие травинки. Пластом лежат залежавшиеся с осени листья. Темные или бесцветные, намокшие, потом ссохшиеся, распластанные, свернутые в трубку, разнообразно скореженные, с завернутыми краями, с белесыми ребрами, круглыми дырочками и пятнами на тыльной стороне…

Все несходное, дробное, и все перепуталось соками и корнями, смесилось в общий запах, в лесную однообразную пестроту. Природная, растительная связь встретилась со связью психического опыта, который травы, иглы, сучья, листья, раздавленные консервные банки в придачу — разнесет по их предметным рядам и одновременно соберет в парковый пейзаж.

Идеология природы до сих пор не может отделаться от старого руссоистического комплекса. Она все еще населена тенями — чувства, свободы, вечности и чуть ли не естественного права. В наивном, в неверном противопоставлении природного социальному (как будто переживание природы не социально) — неувядаемый соблазн.

Угрюм-Бурчеев все шел и шел вперед, «проектируя прямую линию», пока не наткнулся на реку.

«Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось

что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет. Да, это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого».

Природой как антитезисом администрации злоупотребляли неудачники. Неудачники, меланхолики, люди, по социальным, а иногда по биологическим причинам отторгнутые от типовой человеческой жизни, тянутся к природе как к месту, куда можно отступить и где, в случае чего, удобнее переменить правила игры. Это понимание бесплодное и узкое, от которого следует отказаться, но отказаться трудно.

Есть трудовое и производственное отношение к природе. Есть отношение чувственное, когда природа — это солнцем разогретая кожа, это горячая нежная пыль под босыми ногами, или вода, отнимающая у тела его тяжесть, или тугая, скрипящая, пахнущая трава, в которую погружаешься, как в воду…

Я же хочу сейчас сказать о человеке, для которого природа — материал или условие работы творческой памяти. Возобновляемость элементов, повторение их соотношений — это однообразие природы, о котором с некоторым презрением говорил Гегель, — сравнивая его с изменчивостью исторических ситуаций. Между тем именно однообразие природы раскрепощает сознание. Свободная от хаотических впечатлений города, возбужденная созерцанием прекрасных и полных значения вещей, уверенная в том, что вещи эти никуда от нее не уйдут, и она застанет их в том же соотношении, когда захочет вернуться, — мысль пересекает природу и идет дальше. Это психологический факт, знакомый каждому, кто любит думать, гуляя.

В природе ценности — от идеи божественности до физиологического наслаждения запахом, цветом, теплом — проявлены с необыкновенной отчетливостью; символика ее — иносказание самого главного: рождения, смерти, любви, труда, созидания, радости и печали. Природа вся, от вулканов и ледников до сухой былинки, подверглась подробнейшей символической обработке. Так что каждый, сам того не замечая, носит в себе великое множество натурфилософских смыслов.

Есть что-то успокоительное во всеобщности, в неотменяемости значений природы — как если б они обещали, даже скептическому уму, достоверность мира.

Так мысль, описавшая круг, приходит опять к вопросу о

ценности — о понимании жизни и смерти. Той же аллеей, с которой началась прогулка, медленно возвращаюсь в гостиницу. Здесь месяца два тому назад с моим собеседником мы говорили о трансцендентных и имманентных людях. Трансцендентные люди требуют от своего времени абсолютов. И, когда время им не дает абсолютов, иные из них над своей праздностью, над кривыми путями, над вялостью импульсов воздвигают последнее самооправдание: мысль о ценности столь высокой, что ее нельзя взять из себя самого, и о том, что эта ценность не выдана временем.

Поступившиеся своими способностями ради своих вожделений оправдываются отсутствием объективной истины, люди слабых возможностей оправдываются отсутствием побуждений. Этим остается хотеть, чтобы все были как они; они ногтями врезаются в доказательства всеобщей бесплодности. Но не все вокруг согласны быть бесплодными, — в том числе имманентные люди, наделенные творческой волей. Как возможен вообще человек с имманентным переживанием ценности? То есть как может эгоцентрик найти в своем опыте предельную для него ценность, не только не выводимую из наслаждения, но почти никогда не совместимую с наслаждением? Только если самая форма прирожденного каждому переживания ценности высвободилась и сама для себя подыскивает содержание. Творящий работает на внеположную социальную действительность, даже не понимая ее объективности, в силу неутолимой воли к осуществлению своих возможностей в созидании и труде. У него иногда даже есть свой проект идеальной смерти: творческая исчерпанность, предел, у которого он познал все, что мог познать; потому что познавание не бесконечно.

Для человека этого типа жизнь равна осознанию жизни, и все неосознанное, как все забытое, падает в провал небытия. Единство сознания — для него это связь материалов творческой памяти в ее непрестанной борьбе со смертью, изнутри норовящей урвать еще и еще кусок действительности.

Пусть человек говорит: зачем жить, если я умру? зачем любить и трудиться, если содержание неизвестно? — он задает бесполезные вопросы и высказывает сомнения, которые не могут отразиться на практике. Что бы человек ни думал и ни говорил по этому поводу, он все разно будет любить, потому что любовь входит не спросясь; будет трудиться, потому что творческая способность принуждает, как закон, и мучит, как совесть.

И все же в работе этих форм душевного опыта ему мерещится что-то абсурдное. Так найти примирение с жизнью и смертью

могут равнодушные и уверенные в том, что «…в конце концов можно было бы и не существовать».

Недостаточно равнодушные втайне надеются на то, что форма свидетельствует о содержании.

*Конец 1930-х*

# Заблуждение воли

*(Вариация к теме — «Мысль, описавшая круг»)*

Есть тип сознания, мироощущения, которое можно назвать имманентным. Люди этого склада лишены безусловных, внеположных им ценностей. Их ценности (без ценностей человек действовать не может) — либо заданные им правила социума, либо порождение собственных их влечений, способностей и возможностей. Этот тип сознания существует в глобальном объеме, и глобален поэтому вопрос нравственной победы или поражения в схватке с его погибельной бессвязностью.

Имманентному сознанию труднее всего отрешиться от того грубого пространственного понимания времени, с которым боролся Бергсон. Душевная жизнь для него — не длящаяся связь взаимопроникающих элементов, но набор уединенных мгновений, на которые время рассечено автоматически. Эта концепция, в сущности, не может служить даже целям гедонизма, потому что мгновение, принимаемое ею за единицу, либо еще не возникло, либо уже прошло; оно навсегда недоступно сопереживанию. И эта концепция в конечном счете отрицает то самое наслаждение настоящим, ради которого она отрицает все остальное. Но человек, всегда недовольный, недоволен и тем, что забвение снимет его боль. В непрочности, в бесцельности страдания есть нечто еще более оскорбительное, чем в мгновенности наслаждений, — какое-то неуважение к человеку.

Имманентное сознание не в силах установить связь элементов жизни. Но и со смертью у него обстоит не лучше. Если эмпиризм хочет быть честным и притом не хочет визжать от страха, он может только сказать словами Эпикура: смерть нас не касается. Когда есть мы — нет смерти, когда есть смерть — нет нас.

Имманентное сознание не понимает наслаждения, провалившегося в щель между прошедшим и настоящим; не понимает страдания, потому что в бесследно проходящем страдании для него смысла не больше, чем в исчерпанном наслаждении. Оно не может иметь отношения к смерти, поскольку смерть его не касается. Оно вечно пусто, — как решето, подставленное под льющуюся воду.

Основные факты социальной жизни — бытовые, правовые, моральные — это факты связи, предполагающие действительность прошедшего. Только так обосновываются — вина, возмездие, несмываемая обида, честь и потеря чести, заслуга, долг…

Пусть гедонизм изгнал понятие связи из своего обихода; это понятие вернется к нему с другого конца и беспощадно докажет свою достоверность. И если эгоистическое сознание может порой обойтись без долга, без чести, то все равно ему не обойтись без раскаяния…

Предметы раскаяния, так же как и предметы истории или искусства, одновременно принадлежат настоящему и прошлому (если б они не входили в настоящее, раскаяние не было бы так мучительно; если б они не принадлежали прошлому, оно не было бы так непоправимо). Раскаяние — один из самых мощных механизмов воображения и памяти, вырабатывающий представления, подробные, необратимые, ужасные именно тем, что когда-то представляемое было в нашей власти. Раскаяние неотделимо от чувства неиспользованной власти над действительностью. Это вина и трагедия воли. Шопенгауэру принадлежит мысль, что раскаяние — казнь воли, которая сделала не то, что она хотела. Глубинная воля, постигающая свое единство с другими, сама себя не узнала. Ее запутали поверхностные хотения злобы, корысти, тщеславия, малодушия, лени. Одна из формул раскаяния — это онегинское «привычке милой не дал ходу…». Зачем, зачем не дал? Еще бы немножко уяснить себе тогда свое желание. Нет в раскаянии ничего более раздирающего, чем эти *немножко*, эти *почти*.

Жизнь и смерть близкого человека — лучшая пища для раскаяния. И это потому, что все, чем мы ему отвечали — равнодушие, раздражение, рассеянность, — не могло быть обнаружением нашей воли, но только ее заблуждением. И это еще потому, что так несомненна власть над жизнью близкого и любившего нас человека. Очертания этой жизни могли быть изменены, стоило только направить правильно волю… Это как драгоценная вещь, побывавшая у нас в руках и по невежеству отброшенная прочь. Структура его плачевной жизни удваивается теперь другой структурой с воображаемыми и неосуществленными поправками. Его уже нет, но обе структуры — бывшая и долженствовавшая быть — ведут в нас, а быть может, и вне нас свое непонятное существование. И за все, что хотели исправить и не исправили, мы несем вину, как творец за несозданное творение.

Здесь рассказана история одной вины. Вины человека, именуемого Эн.

Каждый раз как эта тема подступала к нему, она шла долгим потоком разорванных мыслей. И уже непонятно — теперешний ли это поток или тот самый, который непрестанно гудел в голове в

те первые дни после смерти отца. Гудение каждый раз почему-то начиналось наплывом светло-желтых стен соседнего дома (он стоял по другую сторону двора в том пригородном поселке, где все это случилось), потом уже следовало все остальное. Круговорот представлений, весь смысл которых состоял в их мучительности. Этим потоком управляли две силы — раскаяние (когда представления начинали работать, они с болью проникали глубже и глубже) и самооправдание, логичное и тусклое.

Да, имелись, конечно, объективные причины для невнимания: усталость — от бедности, от неудач, от жалкой семейной муры. И потом как раз эта любовь (так некстати все совпало…), как раз эта любовь, эта попытка всамделишной жизни. Притом уже вступившая в фазу катастрофы, когда он ломал и ломал и тут же хватался за обломки, а они уплывали; и все, что отвлекало его от этого занятия, раздражало нестерпимо.

— Ах, так! — говорит раскаяние. — Раздражало… Ты поступил, как поступают все абстрактные и фантастические люди, которые глубиной души не верят в действительность чужой жизни. Ты взял обязательства, не понимая их обывательского смысла. Ты оторвал старика от привычного места, от работы, чтоб успокоить свои изнеженные нервы — они плохо переносили тревогу на расстоянии. А потом, когда ты скверно устроил эту жизнь, ты, чтобы по-прежнему жить для себя, стал вытеснять, забывать, озлобляться. О, плачевное заблуждение эгоистов! — Я так близко, что в любую минуту могу прекратить боль, которую я причиняю… преступная иллюзия поправимости. Но, — отвечает самооправдание тусклым голосом, — может же, может же человек наконец построить что-нибудь для себя; очень одинокий человек — построить видимость жизни вдвоем… Зато он так мало брал для себя в узком смысле этого слова. Бывали дни, когда он недоедал (однажды он приехал туда голодный и застал у старика с навещавшей его теткой кофе и какой-то вкусный соус из овощей, и этот контраст приятно успокоил его совесть); он даже стер ноготь на большом пальце ноги, потому что у него были мучительные ботинки, к несчастью неизносимые, и он не решался их выбросить.

Но раскаяние не так просто остановить; оно хочет опускаться глубже и глубже. Оно отвечает: что за безграмотный разговор о себе в узком смысле слова… И не думаешь ли ты меня взять великодушием человека, который в узком смысле ходил голодный и покупал в то же время шоколад — для себя в широком смысле этого слова.

Просто имела место одна из вечных коллизий: с одной стороны, человек, родной и лично уже ненужный; с другой

стороны, любимая, для которой что ни делаешь — делаешь для себя (широкий смысл в этом и состоит). Исконная борьба между долгом и чувством, в которой чувство, чтобы победить, пользуется раздражением, опутывает раздражением предметы долга. Но и возмездие в этом деле однообразно. Оказывается — при сведении счета, — что судьба этих любимых, как только они перестают быть любимыми, любившего больше не касается, и тяжелая кровная объективность для него только в бытии ненужного родного человека, потому что он сам сделал это бытие и ничем, никакими ухищрениями ему от него не отделаться. И когда рассеивается, всегда слишком поздно, туман эгоизма и малодушия — человек открывает в себе ядовитый источник жалости.

Не всегда страдание возбуждает жалость. Оно может возбуждать отвращение, ужас или благоговение. Жалость не следует смешивать со здоровым, активным началом сочувствия. Это особое переживание в другом унижения, втайне применяемого к себе. В чем и состоит личный и постыдный смысл жалости, заставляющий содрогаться целомудренного человека. Жалость бывает близка к отвращению, к презрению, если мы полагаем, что объект ее потерял свою ценность (жалкий человек). По отношению ко всему, что мы любим, подобные представления недопустимы, они замещаются представлением о ценности, умаляемой неправомерно, которую нам дано восстанавливать и беречь. Тогда жалость близка к нежности и, как упражнение в эротической нежности, даже приятна. В языке народном существовало уподобление: жалеть — любить.

Подобно трагическому, комическому, возвышенному, жалкое перестраивает для себя материалы действительности, пользуясь притом откровенно эстетическими приемами. Жалость действует выбором, символами, аналогиями и, в особенности, подробностями — складкой на шее, выпавшим зубом, прорехой… А антропоморфическая жалость к растоптанному цветку с его нежными грязными лепестками, с мутной каплей в надорванном стебле… Вечная символика срубленного дерева, сока, подобного слезам и крови, мертвых ветвей. Или трагедия суки, у которой утопили щенят, разработанная как подобие трагедии матери, так что ускользает то обстоятельство, что она через два дня навсегда позабудет о существовании этих щенят.

Жалость определяется не объективно-логическим содержанием своего предмета, но его выразительностью; решающее значение имеют — с логической точки зрения бессмысленные — условия пространственной и временно́й близости, детализации, наглядности. Невозможно в полную меру

чувства переживать страдания людей времен египетских фараонов и даже страдания наших современников в Новой Зеландии. Но когда мы узнаем, что вчера на Литейном человека раздавил трамвай, то это уже эмоциональный факт, хотя этот незнакомый нам человек логически равен для нас любой жертве египетского произвола. Пусть незнакомый этот человек попадет под трамвай у нас на глазах — и переживание материализуется до неузнаваемости. Но, быть может, жалость потребует дополнений; чтобы в смешении ужаса, омерзения, боли почувствовать характерный укол жалости, нужно, быть может, чтобы попавший под трамвай человек нес домой в кульке яблоки; чтобы бумажный кулек размок в крови и яблоко хрустнуло под сапогом подбежавшего милиционера.

Когда источником жалости становятся факты искусства, она нисколько не теряет своей напряженности, напротив того… И в этом сказывается особый, созерцательный и бесплодный характер жалости. Искусство с таким совершенством выражает и возбуждает жалость, потому что только искусство может, — отмерив нужные материалы, — остановить ситуацию. Тургеневу, которому многое не удавалось, удались старики Базаровы на могиле сына. Но мог ли он позволить старикам Базаровым пить потом дома чай и препираться с домочадцами?.. Сотни жалостных литературных концов основаны на ложной стабилизации мгновения. Подлинная же трагедия действительности, не понятая в литературе почти никем кроме Толстого и Пруста, — в том, что печаль немногим прочнее радости… Если старики, потерявшие сына, пьют чай или даже ходят в кино, то состраданию, здравому и стремящемуся помочь, это не помешает. Иное дело жалость… жалости нужен допинг в виде вечной слезы, полузасохшей в старческой морщине.

Жалость, не очищенная искусством, — возбуждение нервов и воображения; и этому чувству, с его эстетическим бесстыдством, бывают подвержены и очень дурные, эгоистичные и даже жестокие люди.

Но жалость не только эмоция, она и социальный факт. И, как социальный факт, она требует двух условий: чувства дистанции и чувства ответственности. Чтобы болезненно пережить чужую ущербность, нужно быть в данный момент от этой ущербности свободным. Безногий, встретив безногого, может почувствовать что угодно — от злобы до деятельного сострадания, но он не почувствует жалости, в которой всегда нечто от удивления, от непонимания и взгляда со стороны. В каждой жалости, быть может, немного той самой боли, которую возбуждает вид слепого трясущегося человеческого обрубка, лежащего на тротуаре рядом

со своей тарелочкой для копеек; и мы проходим, не понимая, как это живет и мироощущает, не смея, не желая понять, на ходу утешаясь тем, что как-нибудь совсем иначе… Если человек жалеет человека, пораженного той же бедой, то лишь ощущая подлинную или кажущуюся дистанцию. На тонущем судне, в тюрьме — сильный жалеет слабого, потому что считает, что слабому труднее; любящий жалеет любимого, потому что для него ценность любимого важней его собственной, и в ее ущербности он для себя находит страдание, обособленное от его собственных страданий. Жалость к себе самому — всегда отчасти метафора или игра, парадоксальная поза разглядывания себя со стороны.

По мере приближения к человеку — мы часто теряем жалость. Мы теряем непонимание, теряем дистанцию, созданную эстетической работой жалости, которая строит для себя объект и знать не хочет о фактах, не поместившихся в этой конструкции. Жалость накладывается извне, как форма, на эмпирический хаос. Изнутри же видно слишком много разных вещей. Там, где предположительно должно находиться жалостное, мы находим вдруг равнодушие, злобу, противодействие или неуместное довольство (жалкий человек может вовсе не знать о том, что он жалок). Мы подошли слишком близко, и нас обступило эмпирическое многообразие душевной жизни, в котором теряется созерцательный отбор, тускнеют изощренные конкретности и детали — возбудители, веками приводившие в действие жалость.

Если человек, проезжая в машине, видит бредущих под конвоем арестантов, то он мельком жалеет их и в то же время старается оттолкнуть от себя ситуацию как невозможную лично для него и вообще невозможную для жизни. Но вот у него изменились обстоятельства, он сам стал бредущим под конвоем арестантом, и оказалось, что он все-таки может жить и даже иметь некие жизненные цели и интересы. И тогда он, теряя чувство неравенства, теряет жалость к себе подобным. Собственные страдания нейтрализуют совесть; человек считает себя избавленным от трудной необходимости жалеть.

Для развития жалости недостаточно расстояния между субъектом и объектом. Требуется еще одно условие, как бы обратное: объект, отодвинутый от субъекта, в то же время должен иметь к нему отношение. Никто не станет тратить свое чувство на то, что его не касается.

Ответственность бывает разная. Ответственность власти чаще всего приводит не к жалости, а к жестокости. Потому что власть подытоживает людей, для власть имущего стираются границы отдельных существований. Для развития жалости нужно другое:

не власть как общественная действительность с ее практически необходимой жестокостью, но власть как психологическая возможность с присущим ей мечтательным великодушием.

Богатые жалели бедных, потому что они *могли бы* разделить с ними свое имущество. Сильные жалели слабых, потому что сильные могли бороться за социальную справедливость. Умудренные жалели неразумных… Возможность помочь становилась обязанностью помочь, как возможность создать становится неодолимой потребностью созидания.

Люди XIX века ко всему на свете хотели иметь отношение. Они верили, что можно исправить социальное зло социальными средствами, и эта уверенность наделяла их сознанием долга и в особенности сознанием вины. О, они умели жалеть! Их жалость во французском романтизме дошла до истерики, в русском народничестве — до мученичества. Чем шире была дистанция между жалеющим и жалеемым, тем судорожнее жалеющие старались заполнить ее покаянием. Всегда ли выигрывали на этом жалеемые? Но жалеющие выигрывали чувство нравственной полноценности, отделявшее их от нежалеющих и лишенных сознания своей социальной вины.

С новым веком пришли другие люди, непрочные, неблагополучные, не располагающие дистанцией между человеком и его бедой. Они знали, что с ними может случиться все, что только случается с человеком. Из них многие безжалостны, потому что ни к чему не имеют отношения. Они не могли помочь и потому не хотели помочь. Они уже наказаны и потому больше не считают себя виновными.

Жалость не пропорциональна объему бедствий; разве что обратно пропорциональна. Мы вмещаем чужое страдание только в ограниченном пределе. Что сверх того (быть может, это защитный рефлекс души), лишь отупляет чувство. Кровь, война, тысячи смертей, вкоренившийся страх, катастрофический быт — это школа равнодушных, и близлежащее страдание становится суммарным и статистическим, как рассказ о событиях времен египетских фараонов.

И не повторяйте в новой форме старую формулу: о чем ты пишешь и что ты оплакиваешь в дни, когда мир в ожидании невообразимых бедствий?

Тема войны — это не только тема смерти, бесконечно умноженная, ужас войны — не только увеличенный страх смерти, а героика войны — разросшийся акт его преодоления. В войну, кроме смерти, входит множество других вещей. Почти все содержание действительности, преображенное, но не настолько, чтобы его нельзя было узнать. Но это другая тема, которая, к

несчастью, еще впереди.

Надо помнить: тысяча смертей — это цифра, конкретна же смерть одного человека; и тысячи смертей страшны именно тем, что тысячу раз повторяется смерть одного человека.

Сквозь привычную катастрофу, сквозь стойкость применившихся, сквозь круглые цифры газетных сообщений — приходится возвращаться к единичной смерти, богатой подробностями, замедленной, к смерти Ивана Ильича… Потому ли, что смерть одного человека понятна в своей конкретности, потому ли, что только она непонятна.

Многие месяцы Эна неотступно преследовала жестокая работа памяти. Так все сошлось — одно к одному: ответственность его за эту жизнь, которую он мог изменить и переделать своей волей, и не изменил, и выразительность этой жалкой жизни.

Есть люди большого жизненного напора. Как здоровый организм извергает из себя вредные для него вещества, так их психический аппарат отделяет и выбрасывает все, что могло бы его разрушить. Это не всегда люди волевые и твердые; на низшей ступени это просто цепкие люди (таких много среди женщин), наивно и неразборчиво хотящие жить, и жить как можно лучше. Они подтасовывают и передергивают, лгут, чтобы скрыть обиду, и хвастают неудержимо. Не презирайте хвастовство — оно выражение утверждающего, оптимистического жизненного начала; в худшем случае — проявление сопротивляемости.

Тетка (сестра старика) — как раз замечательный образчик этого рода. Побывав в гостях, она рассказывает о том, как любовно ее встретила домработница, хозяйский ребенок, кошка, жена квартуполномоченного; о том, как ее принимали сами хозяева, ее друзья, к которым она пошла в гости, она не рассказывает, потому что тут все само собой разумеется. Возвращаясь из клуба, куда она ходит по пропуску сына, она рассказывает о том, что швейцар низко ей кланялся и широко улыбался; это сомнительно, поскольку она дает ему только пятнадцать копеек, но так она видит вещи. Когда она направляется в ванное заведение, после трехдневного перерыва, она видит, как ей кивают дежурная сестра и две банщицы, и слышит, как они говорят: «Что это вас так давно не было?..» В своем страстном самоутверждении она видит вещи улыбающимися, поощряющими ее, уступающими ей дорогу. Но встретясь с обидой, с чем-нибудь нехорошим, — будь то кухонная склока или явное невнимание сына, — она промолчит; болтливая старая дама, постоянно причиняющая близким неприятности

лишними разговорами, — она промолчит, упрямо и осторожно скроет унижение.

Вот почему тетку оскорбляло и раздражало все, что говорил и делал ее брат. Тот первым делом увидел бы, что швейцар презирает его и злобствует, потому что он дал ему только пятнадцать копеек, а ведь больше дать он не может. Характерно для людей слабого жизненного тока. Это люди медленные и нерешительные, потому что только сильные импульсы побуждают быстро и точно выбирать среди множества предлежащих объектов; нелюдимые, потому что в них не развита воля к воздействию и власти, влекущая человека к человеку; скупые, потому что они боятся будущего и не уверены в том, что смогут его одолеть. В самом выраженном своем виде — это холостяки, потому что семейная ответственность — сильнейшее побуждение к борьбе, действиям и решениям.

У старика когда-то была жена, с которой он быстро разошелся, и единственный сын жил с матерью (она умерла, когда он был еще юношей), а к отцу ходил в гости. Он любил отца, любил его странный холостяцкий уклад и ту атмосферу товарищества и мужского доверия, какая установилась между ними. У отца сложился быт, особенно удобный тем, что в нем не было ни полного одиночества, ни полноты житейской ответственности. В пожилые годы это был человек немного чудаковатый — эта репутация ему нравилась, — немного брюзгливый и мнительный, со все больше определяющейся склонностью к скупости, немного эгоистичный и занятый мелочами своего обихода. Он резонерствовал, потому что в людях этого типа резонерство само собой разбухает в пустоте, образовавшейся за счет чувственности и воли.

Резонерство его питалось общеинтеллигентскими предпосылками и воспоминаниями юности, материалистически-атеистически-демократической юности 80-х годов. Воспоминания окрасили сытое бытие неясным народолюбием, и природная несообщительность человека слабого напора представлялась ему самому уединением среди пошлой буржуазной толпы. Он жил благополучно (уже подсчитывая, не купить ли машину), но за вялостью импульсов не вгрызался в материальные блага. В резонерстве он черпал приятное чувство превосходства над знакомыми инженерами и врачами и резонерством поддерживал вокруг себя особую атмосферу старого интеллигентского демократизма. Так все шло и шло. Потом пришла революция и уничтожила сочетание социалистических симпатий с небольшим капиталом в банке. Но так ограничены были в нем вожделения, так сильна привычка к народническому покаянию, что он никогда

не позволил себе внутреннего сопротивления. Он мог считать революцию жестокой, но не мог не считать ее справедливой. К тому же он работал по специальности, и все складывалось опять неплохо. Все рухнуло сразу, как только он бросил работу (сын считал ее уже непосильной), как только убрали подпорку внешних, вошедших в привычку обязательств.

Оказалось, изнутри он не может сопротивляться. Эти люди пониженного волевого напора с ужасной естественностью и легкостью совершают непоправимое — признают себя жалкими. Они уже не боятся унижения, не сопротивляются ему; напротив того, они настаивают на унижении. И все вокруг помогало в этом старику. В прямолинейном и грубом быту все твердило и повторяло на разные голоса, что он потерял социальную ценность. Это выразилось, например, в том, как ему дали пенсию в шестьдесят рублей и как затем вдруг эту пенсию отняли (восстановили после трехмесячных хлопот).

Выразителями прямолинейного и грубого быта в начале 30-х годов стали жакты. Аппарат, приспособленный для непрестанного напоминания человеку, что он не должен жить так, как ему хочется, и что он имеет всегда больше, чем заслуживает. Аппарат отрицания прав человека — на место, на воздух, на уборную; именно теоретического, принципиального, идеального отрицания, потому что на практике управдом принужден был терпеть эмпирического жильца, занимающего известную часть пространства. Но в жактовское мышление никак не укладывалось, что старик-пенсионер один занимает хорошую солнечную комнату. Они угрожали выселением, вселением, переселением, вымогали, подсылали людей с портфелями. Все это было незаконно, абсурдно и ни к чему не могло привести. Но хамство встречалось в какой-то точке с тем чувством униженности и страха, которое носил в себе старик. Вопреки бытовой и юридической очевидности, ему вселение и переселение казалось убедительным. Так же как председатель правления, он верил в душе, что недостоин занимать солнечную комнату. И Эн, угнетенный этой уверенностью, тупо ходил в прокуратуру объясняться.

Унижение и страх питались и обновлялись бытом, который Эн сам создал для старика. Это был одинокий (тетка бывала только наездами), бабий, старушечий быт, с примусом, с хождением на рынок, где нужно было высчитывать копейки… Теоретически, да, теоретически — ничего не было страшного в том, что старик, которому нечего делать, сам варит себе любимый соус из овощей. Ничего страшного… Но все это несло в себе свои смыслы, и они, как ядовитые выделения, медленно проступали

наружу. Он нарезывал кубиками розовую брюкву, и это уже означало, что он больше не социальный человек, не мужчина… Ох, какое это было тогда затмение, какая тупость — эти оправдательные размышления о том, что у старика ведь есть минимум жизненных благ, больше, чем у него самого… Как это он тогда проглядел, недопонял принцип человеческой жизни, главный двигатель — убеждение в собственной ценности. И пока неверной рукой старик размешивал в кастрюльке морковку и брюкву, в нем гасло и гасло это убеждение.

О жизненных благах и о том, что он лично еще меньше обеспечен, Эн размышлял грубо, валяясь на кровати. Он приезжал туда и валялся на кровати, считая себя переутомленным, и позволял прислуживать себе. Был такой случай с ванной… Он позволил затопить для себя ванну (конечно, это было не трудно, делалось с помощью маленьких полешек); ванна не удалась, дрова чадили и гасли. Это вывело его из себя; его душила вообще атмосфера затруднений. Он ведь хотел одного — отгороженного быта, пусть собачьего, но легкого, чтоб его можно было не замечать… Но здесь, в этом доме, все было до отчаяния заметно: каждое полено дров, каждая брюква, каждый жироприказ — были трудностью и унижением. И старик не только не сопротивлялся, но в каждой вещи сам искал все трудности и всё унижение, какие она могла дать.

Эн взорвался вдруг от этой неудавшейся ванны (он ведь с удовольствием думал о том, как, усталый, ляжет в теплую воду); он что-то такое наговорил насчет того, что здесь ничего не умеют (имея в виду и тетку), ни о чем не могут подумать… И ушел гулять, ходить по деревянным улицам поселка, по грязному снегу. Он знал, что старик остался сидеть у колонки, страшно расстроенный, ему так хотелось угостить дорогого труженика этой ванной. Эн ходил до сумерек и думал о том, что он жертва, и все-таки немного о том, что он сукин сын. Дома старик все еще сидел у колонки, в старом летнем пальто, в валенках и пестренькой тюбетейке; в бледных, с вздувшимися склеротическими жилами руках он держал полешко. Он был доволен: колонку удалось переупрямить. Эн принял ванну — полухолодную, потому что пришлось долго держать дверь открытой, выпуская остатки дыма.

Вспоминать об этом — тяжелый нравственный труд. Не оттого ли все это могло случиться, что он не понимал, не понимал тогда принцип жизни, тот самый, в силу которого старик отказался признать, что не может и никогда больше не будет работать.

Дома как бы принято было считать, что он не работает

временно; регулярная служба для него, конечно, трудна, но он еще что-то такое напишет по специальности — свяжется с какими-то изданиями. Он несколько раз давал Эну список книг и журналов, которые нужно достать. Эн терпеть не мог доставать что бы то ни было… Однажды он повел старика в Публичную библиотеку, это было мучительно. Старик растерялся, не понимал того, что ему говорила сотрудница, не мог разобраться в простой картотеке. Эн злопамятно вспоминал эту сцену каждый раз, как дело доходило до списка специальной литературы. Он говорил: «Да, да» — и засовывал списочек в карман, в ящик стола, забывая о нем мгновенно и совершенно честно.

Несколько раз старик осторожно упрекнул его в невнимании. Однажды же вышел нехороший разговор — по другому поводу. Эн забыл уже, по какому поводу. Но тогда он вдруг сорвался с цепи и сказал что-то в том смысле, что у него и своих хлопот довольно, и припомнил Публичную. Для тебя, мол, слишком трудно и утомительно… Вот это и был удар в спину, самая крупная подлость. Старик оскорбился, до ужаса нескрываемо, так что, вспылив, сказал: это неправда… Да, это была самая крупная подлость, и притом выраженная словами.

Свои слова Эн вообще контролировал, но рано или поздно это должно было случиться, потому что слишком много набралось дурных мыслей, сходившихся в некоей ключевой формуле: как тягостна праздная, душевно паразитическая старость.

Формула далась Эну нелегко. Она была признанием одной из его катастроф. В студенческие, одинокие (несмотря на академический подъем), холодные, полуголодные годы он мечтал о воскрешении дома. Уже тогда эта мечта представлялась ему в холостяцкой форме. В сущности ему не нужен был свой созидаемый, поглощающий усилия home, ему хотелось бы иметь home на отлете, не вошедший в состав жизни, не изменяющийся вместе с жизнью, но стабильный, вынесенный за скобки. Там жил бы отец, и тетка вела бы хозяйство — и он приезжал бы туда в часы усталости. В идеале дом должен был находиться за городом. Он приезжал бы туда снежным, пушистым, искрящимся вечером. Там — белая скатерть, и лампа, и чайник, и он за столом, с усталой головой, с сердцем, смирившимся перед чайником, перед белой скатертью.

Есть странное свойство старых мечтаний, воспитываемых годами и сросшихся с волей человека, — они почти всегда исполняются; и это необыкновенно печально. Мечта о загородном доме — ее предметные очертания удивительно точно совпали с действительностью, вплоть до приездов в снежные, искрящиеся

вечера. Только из сочетания элементов выпала — любовь. К юношеским проектам Эна любовь была естественной предпосылкой. Предполагалось просто продолжение той любви, которая связала когда-то стареющего мужчину, немного чудака и резонера, с мальчиком, немного диким и с детства искавшим свою позицию. Это была дружба, с прогулками, с греблей, с баловством, с громкими спорами обо всем на свете, в пылу которых мальчик злился на интеллигентские глупости, на пацифизм или непонимание Блока. Но когда через годы они снова вплотную встретились — все успело уже измениться. Не пожилой чудак, любящий скромный комфорт, споры и греблю, но старик, привыкший быть жалким, перед которым мир сжимался все тесней и тесней, все быстрее сбегался узкой воронкой равнодушия; так что для сына, для интересов сына в этом микроскопическом мире уже не хватало места.

Но навстречу рассеянности тускнеющего ума Эн нес свою собственную рассеянность. Это был теперь человек утомленный, с дурными нервами и нескладной судьбой, занятый своими мыслями и, вообще говоря, равнодушный к вещам и людям, но в то время как раз, кроме своих мыслей, занятый еще путаной и обреченной попыткой устроить себе человеческое счастье. Эти два человека встретились снова, по привычке ожидая друг от друга добра, и удивили друг друга эгоизмом. И младший, на чьей стороне теперь была сила, почувствовал, как трудно ему быть добрым. И старший — начал бояться… «Ты на меня кричишь…» — сказал он однажды с обидой. Это означало: «Раньше, когда я был силен, ты разговаривал со мной иначе…» Это случилось, когда они как-то заспорили о том, что у старика в комнате надо исправить печку. Старик говорил, что это невозможно, потому что дорого, и вообще изыскивал разные трудности. Эн говорил, что необходимо, что достанет денег, и злился — мало того, что дорого и трудно, так они еще всё, как всегда, затрудняют. И именно потому, что он, по его мнению, в этом споре был великодушен (не жалею денег…), — он перестал контролировать свое раздражение, и грубость и раздражение мгновенно вышли наружу. А может быть, это даже случилось в другой раз, во время теоретического спора, когда он рассердился на «староинтеллигентские глупости» — «Ты на меня кричишь…» — как можно, как можно, как можно было до этого допустить…

Но самой гнетущей была сцена с ливерной колбасой. Старик как-то приехал к нему, и они вдвоем неплохо позавтракали. Потом Эн вышел из комнаты; входя в комнату, он увидел, что старик у стола ковыряет ножом в тарелке с остатками ливерной колбасы. Эн вошел внезапно, и старик, слегка дернувшись, быстро

оставил тарелку с колбасой. Он стыдился показать, что ему хочется еще. Эна ударило в сердце. Хлынула боль и донесла до сознания давний образ: он, мальчиком, у старика в кабинете. Поджав ноги, он сидит на диване; в тарелках перед ним любимые китайские орешки и мандарины… Удар, такой резкий, что на мгновение готов был разорваться туман малодушия и жестокости… Но начало боли показалось ему слишком сильным, обещающим безмерное расширение боли. И, торопливо задвигая все, что могло разогнать туман, он дал ход брезгливости — самой подлой реакции, какой только можно было ответить на сцену с ливерной колбасой.

Эна уже раздражало все, исходившее оттуда, — больше всего лишения, которые терпел старик. У него голландская печь испортилась, в комнате застоявшийся холод. И Эн зло говорил, что не может ездить туда, что у него стынут внутренности; и действительно, зимой не приезжал по два месяца. Но старик-то там жил. Согревал комнату керосинками, отравлявшими воздух, грел у керосинок руки, от чего кожа на руках неприятно натягивалась. Старик уверял, что он привык и ему не холодно; он в самом деле привык, только дома он ходил в тюбетейке, в валенках и драповом пальто. С керосином плохо, его приходилось возить из города, а возить запрещали — и очень резонно — из противопожарных соображений (штраф 100 рублей). Старик обертывал бутылки бумагой, упаковывал их в корзинку. Однажды в поезде случилось несчастье — керосин у него пролился, на пол натекла лужица (штраф 100 рублей!). Красноармеец с соседней скамьи пожалел: дал газету прикрыть лужу — «кладите горбом, чтоб не промокла»; сам сел рядом, заслоняя. Старик рассказывал об этом, волнуясь, долго хвалил красноармейца с добрым лицом.

Из-за трудностей с керосином старик как-то, простуженный, прожил у Эна дней десять. Лиза тогда как раз почти каждый день приходила со специальной целью объясняться и ссориться. Присутствие старика в соседней комнате мешало им ссориться и, в особенности, мириться. Под конец Эн уже плохо скрывал нетерпение: с мрачным лицом рассматривал термометр — 37,3 — конечно, с температурой ехать невозможно… И старик как-то вдруг недовольным тоном сказал: «Я тебе не мешаю…» Эна резнуло стыдом; он стал что-то объяснять, затирая грубость. Старик наконец уехал. Он отправился к трамвайной остановке, как всегда с мешочком, в котором возил продукты. Эн провожал его до трамвая, шел с сжатым сердцем, с неясным стыдом, с неясным желанием вернуть и все переделать. Но если бы в самом деле пришлось вместе вернуться домой (если бы вдруг разразилась метель, остановились трамваи), желание это сразу же

сменилось бы злобой на все, что мешает жить. На трамвайной остановке он целовал старое лицо, говорил мягко, подсаживал и подавал мешок; и уходил очень утомленный.

Если сделать усилие, то, собственно, можно припомнить и другое. У старика была хорошая комната, хорошие соседи. В поселке хороший воздух; там тихий бульвар, где старик любил сидеть, читая газету. Он говорил, что, с тех пор как он переехал туда, у него стал лучше работать желудок. Как-то у Эна были гости, и кто-то из гостей, одна из женщин, сказала, что у старика отличный вид, что он молодеет, и тому это было приятно.

Нет, такие воспоминания явно не клеятся, они тусклы и насильственны. Структурная работа раскаяния с силой отметает все, что ему не подходит. Зато раскаянию вполне подходит то, что однажды сказал старик, не Эну прямо, но тетке, — вероятно, для передачи; сказал: лучше бы он давал мне определенную сумму в месяц, а не так, как случится. Лучше — это значит, больше похоже на пенсию или на зарплату, во всяком случае не так обидно… Как можно, как можно было допустить до обиды…

В последнее лето Эн уехал в деревню с Лизой, там он занимался своей психологией. Тетка тоже уехала, к родственникам. Старик на два месяца остался один. И вдруг он сделал то, чего никогда не делал. При всей своей склонности ощущать себя жалким, он никогда не жаловался Эну на жизнь прямо и в целом; щадил его или стеснялся. И, щадя его и стесняясь, оставлял Эну лазейку непонимания. Но теперь он вдруг прямо написал, что денег не хватает, что ему одиноко и скучно… Эн сам все это знал, но как бы надеялся, что старик этого не знает, — не знает, например, что ему скучно. Прошедшая через сознание старика, выраженная словами, написанная — эта жалоба пронзила Эна. Он затосковал, особенно потому, что был далеко, и ему отчаянно захотелось изменить все, сию же минуту. Он был далеко, и обычные раздражающие впечатления не разрушали его тоску. Он немедленно написал письмо («теплый ответ», за который старик благодарил его потом); он главным образом объяснял, что сам без денег и живет очень скудно. Он написал это не с тем, чтобы уклониться, напротив того, все-таки сразу наскреб и послал денег, — но потому, что просил прощения и утешал самого себя. Дня два он еще дергался, а потом, как всегда, задвинул. Задвинул тем проще, что так и не посмел, не заставил себя понять то, о чем пишет старик, понять его скуку. Повторяющиеся дни с чтением газеты на бульваре, с прогулкой на рынок, с примусом, с упорной печалью, остановившейся в коснеющем мозгу. Дни, очень тихие, потому что говорить не с кем; и ночи, полубессонные — он по-стариковски мало спал, — с

ночными мыслями, которые могли быть только мыслями об одиночестве, о ненужности и смерти, о том, что на рынке за яйца сегодня просили опять дороже, что опять, кажется, начинает болеть нога.

Они *были,* эти медленные стариковские ночи со всеми подробностями течения мыслей о ненужности, о ноге, о смерти. И никак нельзя вынуть из раскаяния это звено, чтобы не было тех дней и ночей и мыслей. И достаточно представить себе их ясно, как *бывшие,* чтобы захотелось головой удариться об угол стола.

Нельзя разрешить трагедию желаний — с вечным противоречием между желанием и достижением, — но старческое желание покоя иногда достижимо. Стареют по-разному. Идеальная старость — естественное и примиренное изживание сил — встречается редко. Чаще встречается плачевная старость, которая не хочет сама с собой примириться, — ей трудно помочь, почти так же трудно помочь, как юности. Но вот старость, потерявшая цели, старость с неуклонно помрачающимся сознанием. Ей можно помочь простыми материальными средствами. Это деформированное душевное состояние, при котором покой и комфорт действительно могут стать предметом желания. Но это уже социальный разрез драмы.

Старики могли быть благополучны, когда, теряя деятельность, они не теряли власти над жизнью и юностью, оставляя за собой власть в качестве хранителей, завещателей жизненных благ; либо когда дети, уверенные и сытые, с приятностью исполняли сыновний долг, воздав старости почтением и комфортом. В нищей среде старики всегда были ненужны и трагичны. И раздражение молодых и замученных людей против отжившего свой век соглядатая жизни вторглось наконец в мир интеллигентов, сквозь сопротивление всей интеллигентской слабонервности, стало там проблемой психологического паразитизма. При отсутствии прирожденного и пожизненного места в иерархии, в тесном и развороченном быту, обнаженном от условных целей и фикций (сравним: клубы, благотворительность, синекуры, аффектация почета — все, что старый мир на социальных верхах предлагал обеспеченной старости), притязания стариков кажутся незаконными.

— Почему родители так хотят развлекаться? — говорит с раздражением женщина, еще красивая, но уже не имеющая времени быть красивой. — Они хотят развлекаться нашей жизнью… Они присасываются к работе, к любви, к скуке своих детей. И этого не выдерживают и те, кто выдержал все вещественные тяготы.

Один из самых печальных законов жизни — так называемая неблагодарность детей. Это закон несовпадения между ценностью, какую отцы и дети представляют друг для друга. Для отцов дети — это реализация и творчество, преодоление одиночества и обещание бессмертия. Для детей отцы — объект долга, или жалости, или, в лучшем случае, привязанности, бескорыстной и потому незаинтересованной. Эн пассивно и вяло жертвовал всем, что имел. Но когда оказалось, что этого мало, что, одолевая быт, надо отдать время, растратить мозг — этого он не вынес, он уклонился. Между тем он держал в руках нити трагедии, поправимой простейшими средствами.

Эн никогда не верил в деньги; то есть он не мог поверить в действительную власть денег над жизнью и смертью человека. Рассеянный, равнодушный к вещественным благам, занятый своими мыслями, он был бедняком, сам того не замечая, легким бедняком, которому не приходило в голову применить к себе это слово. И вид осознанной, названной вслух, не стыдящейся себя нищеты, которая стала его собственной нищетой и его виной в то же время, — был для него нестерпим. В серой обывательской бедности физические страдания вовсе не самое характерное. Это комплекс гнета, зависимости, вкоренившегося неуважения к себе и страха. Это, например, уверенность в том, что нужно, что *естественно* простоять четыре часа в приемной бесплатной амбулатории, чтобы не пойти в платную, где заплатить надо рубль; это формулы вроде — я не такая барыня, чтобы в баню ходить во второй класс… Это, в особенности, комплекс трудности и скрытой враждебности всех вещей. Для бедняка — как для художника — в жизни нет ничего, что оставалось бы незамеченным. Он ходит и помнит при этом, что стирает подметки своих сапог, он садится в трамвай и знает, что должен заплатить столько-то копеек; он отправил письмо и заметил, как наклеивал марку. Он лишен автоматических жестов. В его окружении — ничего плавного и покорного. И Эн, державший нити в руках, развязал трагедию нищеты…

Это мельчайший эпизод вечной борьбы слабого с сильным, в которой сильный заранее побежден раскаянием. Неотразимое оружие слабого — бесстыдство слабого, с которым он выставляет напоказ все, что сделало его жалким. Он мучит сильного кровным унижением, отраженным в том с большой точностью. И сильный, чтобы жить, озлобляется, вытесняет, не видит того, что видели все. И теперь, когда он увидел — слишком поздно, — он побежден и наказан и в сердце у него незакрывающаяся рана. И ничем — ни трудом, ни страстью, ни усталостью — нельзя оправдаться.

Особенно плохо человек ведет себя со своими близкими не только потому, что он их не боится, но и потому, что по отношению к ним он питает безумную уверенность, что исправить зло никогда не поздно. «Я как бальзам, которым в любое мгновенье могу утишить боль, которую я сам причинил». Осязаемая близость близкого человека вводит в заблуждение. Вон он сидит — можно распоясаться; он здесь и я здесь, следовательно возможность для исправления зла обеспечена. Но пусть он вышел из дому, пусть на полчаса ушел за покупками, и равновесие становится шатким. А вдруг что-нибудь случится? Или уже случилось?.. И тогда это зло, эта жестокость окажется последней…

Никто так не склонен к семейной мнительности и панике, как люди деспотичные и грубые в домашнем быту.

---

Старик хворал. Как-то Эну дали знать, что стало хуже, и он вдруг заметался, решил, что необходимо усиленное питание. На все, какие были, деньги он купил курицу, апельсины, сливки. Покупая, трясся от нетерпения — скорей, скорей довезти туда, скорее курицей и апельсинами заместить переживание нищеты. В темноте он шел через двор, с пакетами, оттягивающими пальцы, спотыкаясь, потому что смотрел на окна. Казалось — если окна освещены, как всегда, то не может быть, чтобы случилось… Только бы успеть — любовью и курицей отменить предыдущее. Не переступая порога, с искривленным лицом спросил — как? Все оказалось по-прежнему. Потом старик сказал, что сливки ему вредят, и молоко уже достали, что куриный бульон тоже ни к чему, так как доктор советует только вегетарианское. И все было куплено зря, и страх, с которым все покупалось, тоже был зря. Страх непоправимости, мгновенно изменивший соотношение всех элементов, прошел; Эн сидел тупой, опущенный, вяло отвечая на вопросы. Ему хотелось с головой окунуться в одиночество, как в воду.

Теперь только он понял недопонятое тогда. Надо было остановить эту смертельную быстротечность… Он ясно видит теперь то, чего не было. Будто он сидит рядом. Будто положил ладонь на руку старика, лежащую на колене. Он гладит руку, пальцем обводя припухшие склеротические жилы (так он делал ребенком и потом в грубой и торопливой жизни позабыл этот жест). В нем крепнет странная иллюзия прочности, как будто уже нельзя отнять у нас человека, сидящего плечом к плечу. Это как

драгоценная вещь, которую держишь как можно крепче, чтобы не отобрали. Сильней, сильней он сжимает эту руку, всем напряжением воли удерживая скользящее мгновенье. Пусть оно сотрет все прошлое зло, пусть будущее конца по сравнению с ним покажется недействительным. Он думает: вот я делаю то самое, о чем говорят, глядя назад, — зачем я этого не сделал?.. не понял… не остановил… Я углубляю и углубляю настоящее. Но ведь этого не было. Воля не воплотилась в нужном жесте. Сознание возвращается в эмпирический хаос разорванных и равноправных мгновений, которые бестолково теснят и поправляют друг друга. Пока не наступит непоправимое.

Смерть вырывает участок бытия из темноты. Чтобы избежать боли, мы не позволяем себе понять жизнь родного человека. Но боль, причиненная смертью, так сильна, что она не боится никакой другой боли и раздирает завесу. Мы ищем для себя концентрацию боли, потому что смерть близкого человека переживается как наша вина, требующая внутренней казни. Так смерть поднимает раскаяние. А раскаяние любит подробности и умеет устанавливать упущенную связь.

Как это все случилось — то, что стало потом этой смертью? Началось все с испорченного телефона. У Эна испортился телефон. Собственно, это началось еще с вечеринки, которую тетка устроила на городской квартире. Старик тоже был приглашен — и не приехал. Дамы ели сладкие пирожки. Эн зашел к тетке и ел пирожки. Он не мог отвязаться от беспокойства — отчего старик не приехал? И, как всегда, он раздражался на все это, даже больше, чем всегда, потому что через несколько дней ему предстояло делать доклад и в особенности нужно было иметь свободную голову.

Сугубая тишина, праздно висящий телефонный ящик с заглохшими кнопками — это ввязалось потом в переживание смерти. Старик заболел, — то есть у него сначала разболелась нога — в тот самый день, когда должен был приехать. Он попросил соседку (она ездила в город на службу) позвонить сыну, сказать, чтоб к нему приехали. Но телефон был испорчен. Соседка не дозвонилась; никто туда не поехал. В тот день старик сам принес охапку дров из сарая. Сосед встретил его на лестнице и помог донести. Старик кашлял уже немножко. Может быть, ничего б не случилось, если бы телефон не был испорчен…

На другой день соседка сама зашла со службы (если б она зашла накануне, может быть ничего бы не случилось…). Эн немедленно сделал то, что вошло у него в привычку: раскричался на тетку. Он пошел к ней и кричал, что это безобразное

невнимание к старику, что сам он замотан — у него доклад, что если так, то он все бросит, поедет сам… Сам он не поехал, но добился отъезда тетки. Доклад прошел с успехом, какого он давно не переживал — со студенческих лет. Ночью у него пили. За последние годы Эн успел уже усвоить позицию неудачника; не озлобленного неудачника, — он считал это неприличным, — но во всяком случае скептического неудачника, не предъявляющего к судьбе никаких претензий. Успех разбередил в нем юношеские, давно затравленные желания. Он был возбужден, утомлен. Ему не хотелось работать, хотелось много говорить, отдыхать, чувствовать легкость жизни.

Утром, до работы, зашла Лиза. Несмотря на всю свою склонность к противодействию, она на этот раз как-то подчинилась атмосфере успеха и соглашалась ее разделить. Это был неожиданный и важный элемент торжества. Они разговаривали, и Эн сам удивился тому, как много и плавно он говорит. Днем, часа в два, позвонили оттуда, с переговорной станции (телефон уже работал). Оказывается, старик совсем расхворался, уже несколько дней. Сыну не хотели сообщать, чтобы не расстраивать перед докладом. Он сказал: хорошо… сейчас… непременно… Сердце у него оборвалось. Он испугался за старика и сразу, как всегда, испугался раскаяния. Его сразу пристукнуло. Надо было покупать съестное и ехать, вместо того чтобы переживать победу. Главное, надо было оставить Лизу, которая так неожиданно согласилась переживать с ним победу. Он поехал.

Так испорченным телефоном, гостями тетки, докладом началось то, что потом продолжалось недели две, до конца: езда туда и обратно пригородным поездом, приблизительно через день. Эн был очень занят (в связи с докладом ему предложили спешно написать статью); от этих поездок он тупел. Несмотря на февраль стояла въедливая оттепельная погода. В пригородном поезде всегда было полутемно. Ничего не удавалось разглядеть за мокрым оконным стеклом. Иногда было особенно холодно от пустоты вагона, иногда приходилось стоять, с отвращением тычась лицом в отсыревшие воротники соседей. С вокзала он шел потом по оттепельному снегу, с пакетами, оттягивающими руки; думал нарочно о своем отупении: так я и буду всегда… Но когда он не ездил, его неотступно мучило беспокойство и желание все немедленно изменить. Тогда он срывался с места. Так, примерно, и выходило, что он ездил через день: день он мучился раскаянием и страхом еще горшего раскаяния, день он чувствовал себя жертвой и злился. Получилась ловушка.

Он ехал туда с желанием исправиться и исправить, с

сожалением о том, что в нем уже нет любви, — таким сильным, что оно граничило с любовью… Он придумывал по дороге, как он расскажет там о своих успехах, или проектах, или о чем-нибудь смешном; но там ему становилось холодно, лень было выговаривать слова, ему казалось теперь, что отцу это вовсе не интересно. Он сидел, озябший, скучный, опущенный, соображая, когда можно будет уехать и не пропадет ли сегодня свидание с Лизой. Как-то раз, ежась у полухолодной печки, он стал рассматривать стоявшие в комнате вещи (разрозненные, добротные и безвкусные вещи из старой среднебуржуазной квартиры); он смотрел на стол и стулья и на старика, который, тихо пожевывая губами, лежал на модернистом диване, с зеркалом, нелепо вделанным в высокую спинку. Он подумал о том, что — очень возможно — старик умрет, что придется ликвидировать площадь, перевозить вещи… какая гадкая будет возня с домоуправлением, с транспортом. Побольше бы ликвидировать… это… это… вот разве этот черный возьму себе… Что я почувствую, когда он умрет?.. Может быть — ничего… Надо попробовать себе это представить… может быть — ничего… Вот я сейчас, кажется, ничего не чувствую…

Глупец!

Но хуже цинических мыслей была всегдашняя малодушная торопливость. Он зяб и скучал, вечер с Лизой должен был вознаградить его и успокоить (на самом деле получалось совсем другое), и он вдруг начинал грубо торопиться. Он знал, что вокруг больного беспорядок, что комнату плохо топят и нужно найти женщину для черной работы. Он сердился и требовал, чтобы приняли меры; улещая совесть, оставлял там последние свои деньги, но он не сделал того единственного, что надо было сделать, — не остался сам и не взял все в свои руки. Он знал, что ему следует поговорить с врачом, но врача дождаться можно было только после девяти-десяти часов — тогда вечер был бы потерян.

В последний раз перед началом конца, прощаясь и вынимая из бумажника деньги, Эн сказал:

— На днях приеду.

— Твои приезды очень меня утешают, — сказал старик. Старик с Эном был всегда сдержан в словах, застенчив. И это жалостное слово *утешают* прозвучало вдруг слишком ясно. Это было так же неприятно и нетерпимо, так же хотелось немедленно это пресечь, как когда старик громко стонал от ломоты в ноге. И, торопливо задвигая боль, которую несло это слово *утешают*, Эн с неожиданной для себя самого жестокостью сказал:

— Только меня-то не очень устраивает часто ездить. Я страшно занят сейчас.

От собственных слов у него отяжелело сердце. Он выложил на стол больше денег, чем собирался сначала. Почти всё…

— Я пошел. Ну, поправляйся, пожалуйста.

Старик смотрел на него с увенчанного зеркалом дивана.

— Постараюсь, — сказал он и на прощанье не улыбнулся.

Это был их последний разговор.

Накануне решающего дня Эн позвонил к соседу отца на службу — узнать, как там? Сосед говорил довольно резко.

— Нехорошо, по моим впечатлениям. Вам бы следовало с доктором лично…

Эну это вмешательство не понравилось. В тот день он остался дома. На другой день, прежде чем ехать, встретился с Лизой, вместе зашли в магазин купить для больного апельсинов. Лиза сказала:

— Что, уже все те триста рублей ушли?.. Оо!

— Конечно, — сказал он и сразу почувствовал себя жертвой. В то же время его это устраивало — расходы успокаивают совесть.

Дорогой он почти ни о чем не думал. Должно быть, потому, что уже много раз он томился в дороге и, подходя, со страхом смотрел на освещенные окна — только бы, только бы еще ничего не случилось… Много раз ему отворяли дверь, возясь с запорами. В самом деле особенного ничего не случилось; и отступающий страх освобождал место раздражению и скуке. Эта последовательность душевных движений вошла уже в привычку. Повозившись с запорами, тетка открыла дверь. И как всегда, откликаясь на открывающуюся дверь испугом (очередное в установившемся ряду душевных движений), он быстро спросил: как?

— Слабость, — сказала тетка, уходя обратно на кухню, — вечером поднималась температура.

Больше она ничего не сказала, но впечатление, что опять ничего не случилось, такое впечатление не возникло.

Эн вошел в комнату. С дивана старик смотрел на него светлыми глазами, пустыми и внимательными. От этого Эн почувствовал неприятную заторможенность. Он поздоровался, и старик не ответил. Но Эн еще не хотел понять значение происходящего; он у стола развязывал пакет. Распорол кожуру апельсина розеткой и поднес его на ладони. Он, робея, спросил молчащего человека на диване: «Хочешь сейчас апельсин?» Старик с непонятным выражением смотрел ему в лицо. Не меняя направления взгляда, протянул к апельсину слегка трясущуюся руку. Эн придвинул свою. Ощупью, как слепой, — он продолжал смотреть сыну в лицо — старик нашел апельсин, помял пальцами, отодрал дольку от кожуры, понес ко рту, медленно стал

прожевывать; потянулся за второй. Движения его всё замедлялись, будто за каждым мельчайшим отрезком движения следовала пауза. Эн стоял, цепенея. Потом положил апельсин на стул, не оглядываясь, вышел из комнаты. На кухне тетка кипятила молоко.

— Почему он молчит? — разговаривая с теткой, Эн не мог отделаться от оцепенения. — Все время молчит?

— Не знаю, полчаса тому назад разговаривал. Я говорила: почему ты не приезжаешь? Наверное, не приедешь. Он сказал: «Ну, пока он соберется…»

Эн перебил ее:

— Посмотри…

Они пошли вместе. Лежа на спине, старик прямо смотрел на подлокотник дивана. Тетка заговорила с ним, он не ответил. Больше нельзя было не понимать.

— Что же это?.. — сказал Эн, громко он не смел говорить и затрясся. Ужас сметал с него оцепенение. И тотчас же он начал действовать, последовательно, с какой-то автоматической дельностью.

Врач, который лечит старика, сейчас у себя в больнице. Эн ворвался в нижнюю квартиру, где телефон дурацкой конструкции с вертящейся ручкой. Соединяют не с тем отделением больницы — он вертит ручку; соединяют с нужным отделением, доктор вышел, — он вертит ручку. Сейчас все сосредоточилось в желании дозвониться. У телефона собрались жильцы нижней квартиры; им даже не приходит в голову скрыть свое любопытство. Врач передал через дежурную, что сам до вечера не сможет зайти, он сейчас пришлет ассистентку сделать укол.

Наверху старик лежал по-прежнему тихо. Тетка рассказывала вполголоса: ночью ему нужно было сходить, и она помогала ему, и они немного облили простыню… Он сказал тогда: я слаб, как муха… Доктор был вчера вечером и сказал, что уколы все-таки делать не нужно, но прописал камфару вовнутрь.

— И принимает он камфару?

— Еще не успели купить.

А, не успели купить… В самом деле ей трудно успеть, но его-то тут не было, чтобы сходить. И тотчас же он подумал о том, что, если бы по пути на вокзал он так долго не разговаривал с Лизой, он приехал бы на час раньше. Старик был бы еще в сознании, он увидел бы, как старик обрадовался апельсинам, и они еще раз, в последний раз, говорили бы друг с другом.

Эн пошел за камфарой. Блеск аптечного стекла, разноцветно и ловко упакованные предметы санитарии и гигиены внушали ему отвращение и страх. Особенно противна была кассирша, как в

гастрономическом магазине выбивающая чеки. Дома он застал ассистентку, высокую вялую женщину со шприцами. За ней следом проникли две женщины из нижней квартиры. Для больного пользовались их телефоном — теперь они вправе войти в этот дом. Эн понял — запах смерти разнуздывает людей; двери раскрываются и стены падают перед ними. И в часы смерти они торжествуют победу над застенчивостью тех, кто привык запирать свою дверь.

Ассистентка казалась несколько уязвленной. Очевидно, доктор велел ей не лечить, а только сделать укол. Но она ведь врач, не медицинская сестра. Все-таки, прежде чем сделать укол, она посадила больного, поддерживая его рукой, подняла рубашку, чтобы выслушать сердце, так что оголился желтый в седых волосах живот. Соседки смотрели с интересом.

— Выйдите, пожалуйста, — сказал Эн, — ему может быть неприятно…

Уходя, соседки удивленно оглянулись: больной явно без сознания, каким образом ему может быть неприятно?

Эн вышел за ассистенткой в переднюю.

— Что? Как вы находите?

— Я ничего не могу сказать, — у нее были обиженные интонации, — собственно, я не выслушивала больного.

— Посмотрите его, пожалуйста, — предложила тетка, которой всегда хотелось угодить посторонним людям.

— Нет, — сказал Эн, — не надо его тревожить. Все-таки как вы находите?

— Не знаю… Серьезное положение…

Вместо профессионально-обидчивых интонаций в ее голосе послышалось человеческое смущение.

— Да, серьезное положение…

Так впервые было названо то, что происходило в этой комнате.

Вечером пришел врач, случайно зашла знакомая докторша, приятельница тетки. Они, кажется, старались не уронить друг перед другом достоинства. Они щупали больного — он лежал теперь с закрытыми глазами — и говорили довольно громко. Они говорили, что плохо, что, очевидно, отнялась правая сторона, и, завернув одеяло, они приподымали и роняли правую ногу, которая падала как неживая. Старик при этом громко дышал, но лицо у него было спокойное. Эн подумал, что, может быть, — ему говорили, что так бывает, — старик слышит и понимает слова, что надо им запретить громко здесь разговаривать. Но из скверной робости перед этими самоуверенными людьми — он не сказал ничего.

Врач вскрывал у стола прозрачную желтую ампулу; они впрыскивали камфару и говорили о том, что это совершенно бесполезно. Жизнь Эна — с писанием, с неудачами, с Лизой — отодвинулась куда-то, стала посторонней, по сравнению с этой новой сферой, ни на что не похожей сферой, вращавшейся вокруг тела на диване. И тело было тоже чем-то неописуемым — оно не было живым человеком, потому что из него уже ушло все, что составляет сущность человека, а все оставшееся с наглядностью и неимоверной быстротой стремилось к конечному уничтожению. И это тело не было трупом, потому что, пока оно дышало, все равно невозможно было поверить в непреложность предстоящего, потому что оно требовало забот и возбуждало сумасшедшее желание удержать его непременно по эту сторону уничтожения.

Эн делал мелкие домашние дела и брал на себя все, что ему подворачивалось, и ему хотелось взять на себя как можно больше, потому что он не боялся уже ни труда, ни боли; напротив того, искал их как средства против единственного, чего он теперь боялся, — против раскаяния. Он хотел сам делать все, что только можно было делать в этой все суживающейся сфере смерти, но он не приобрел ни малейшей уверенности, свойственной чужим людям, распоряжавшимся в комнате, в обращении с тем, кто громко и ровно дышал на диване.

Знакомая докторша, наклонившись над диваном, в упор, настойчиво повторяла:

— Вы не узнаете меня? Не узнаете меня? Отвечайте.

По лицу старика вдруг прошло какое-то движение, и со странной жалобной интонацией он пробормотал фамилию докторши. Значит — проблеск сознания. Почему же он сам не подошел так, не наклонился, не стал звать его в упор? Почему он не сказал слова любви и утешения, не исторг последнего проблеска? Просто не придвинул стул к дивану, не сел лицом к лицу, не взял за руку. Вместо того он оцепенело стоял за изголовьем. Эн стеснялся, сам не зная чего… и застенчивость его все возрастала. То ли от значительности происходящего, то ли он переживал за старика унижение и бессилие умирающего, которым распоряжаются чужие люди; или ему казалось бестактным обратиться к старику с выражением чувства, вызывать его на ответ, потому что ведь и старик должен стесняться чувств и того, что он умирает.

Словом, это была совершенная путаница понятий, и к основной путанице припутывались всякие мелочи. Вдруг Эну приходило в голову, что старик так хотел апельсинов, а теперь, оказывается, он напрасно их привез. Он обрадовался, когда доктор сказал, что все-таки нужно питание, и велел сделать

апельсинный сок с сахаром. Старика кормили с ложечки; он глотал, не открывая глаз, и все были довольны, что он проглотил много апельсинного сока. Но Эн подумал — все равно теперь он не сознает, что ест апельсины, которых ему хотелось. Потом из этого вообще ничего не вышло: у старика сделалась отрыжка и розовый сок тек по подбородку, стекая на рубашку, на одеяло.

Наступала ночь. Оказалось, на эту ночь невозможно найти сиделку и некому впрыскивать камфару. Знакомая докторша не согласилась остаться. Уходя, она сделала укол, уверяла, что пульс стал ровнее, что ночью надо только следить за пульсом; утром она придет, еще раньше придет сестра сделать укол.

Они остались втроем — Эн, тетка и тело на диване. Тетка, не раздеваясь, забилась на кровать. Она испуганно выглядывала оттуда. Эн тоже не раздевался; он прилег на кушетку. Ему казалось, что он засыпает и просыпается поминутно. Он вслушивался — старик дышит громко и ровно. Опять Эн засыпал и опять просыпался с готовым ужасом. Вскакивал смотреть пульс. Левая рука, непарализованная, сползала все время с узкого дивана; влажная, бледная, свешивалась, будто налитая тяжестью. Почему-то это особенно запомнилось; еще много месяцев спустя, когда собственная его рука во сне сползала и свешивалась вниз, он отдергивал ее в страхе. Эн ловил повисшую руку больного, неумело искал пульс. Всякий раз ему казалось, что пульса нет, и у него самого останавливалось сердце. Еще через мгновение большой палец, растерянно шаривший по холодной и потной коже запястья, ощущал удар. Таинственная жила жизни с неестественной ясностью билась под большим пальцем, билась глубокими рывками. И Эн, прижав ее пальцем, чтоб не ушла, сбиваясь, считал пульс. Он ничего не мог понять; только одно — что жизнь, что кровь бьется и борется в неподвижном теле. Он ложился опять и опять просыпался, как будто разбуженный регулярно действующим механизмом.

Под утро он вдруг заснул на час или на два. Когда он проснулся, в комнате было полусветло. Старик все так же лежал в своей тюбетейке; рука, которую Эн много раз подбирал и укладывал на одеяле, снова свесилась вниз. У Эна болела спина. Утренний сон успокоил его немного, и сейчас ему не было страшно. Они ведь сказали, что пульс несколько лучше. Прежде чем сделать усилие и встать, он думал о том, что надо будет сходить на рынок, по дороге зайти в аптеку, наладить потом множество разных дел; начнется безвыходно долгое существование в кругу этой болезни; пульс ведь лучше, сказала докторша.

Докторша скоро пришла сама.

— Нет, пульс опять значительно хуже… — Она покачала головой. — Почему сестра, когда забегала утром, не сделала укол?.. Она не должна была рассуждать, должна была делать то, что ей сказано.

Докторша взялась за шприц со смущенным видом (ведь ее так просили остаться на ночь). Эн мрачно молчал; он понимал, что сестра рассуждала, вместо того чтобы сделать укол, потому что боялась опоздать на работу. Докторша ушла, потом пришел доктор. Он постоял, присел, посмотрел, потрогал, и вдруг негромко сказал, что… Да, совсем плохо, правая сторона парализована, кровоизлияние, вопрос нескольких часов, странно все-таки, что так получилось, — по ходу болезни не было ничего угрожающего…

Эн подошел к окну, отвернулся и заплакал. За его спиной громко плакала тетка.

Искусственная неизвестность распалась, и все, что теперь делалось, могло делаться только в ожидании смерти, как приготовление к этой смерти, как смягчение смерти; все, что здесь делалось и происходило, было смертью. В связи с этой смертью существовали уже и не терпели отлагательства вопросы жилплощади, жакта, вещей тетки. Предстояло ехать в город, доставать нужные бумажки. Эн не возражал, казалось — легче проездить несколько часов, чем стоять у этого дивана. Но уже на платформе, под большим циферблатом, началось все возрастающее томление. От пригородного поезда, от двух вокзалов и двух трамваев, от цепи ожиданий — хотя и коротких в отдельности — время безмерно растягивалось. Затрудненное пространство и время легли между ним и телом на диване. Чего он боится? Чего вообще осталось бояться? Что отец умрет без него, что он не увидит смерти?..

В городе он ходил по делам, достал бумажки, звонил насчет сиделки. Он делал это с оцепенелым наружным вниманием, с единственным неотступным желанием — скорее добраться обратно, как если бы там его ждало облегчение.

Соседи позвали его обедать (у них были блины). Он вспомнил, что почти ничего не ел. Но за столом сразу почувствовал, что его присутствие здесь невозможно. Если бы это были котлеты, он доел бы обед, но есть блины с икрой — было слишком противно.

Эн ехал обратно, проталкивая время, втягивая в себя пространство, лежавшее между ним и смертью. Нет, смерть еще не пришла. Теперь он мог быть уверен, что с нею не разминется.

В его отсутствие у них там наладился и протекал очень четко какой-то новый, предсмертный быт. Появилась в помощь какая-то

женщина — прислала сестра — безмолвная и грязная с виду, но наводящая чистоту и порядок. Чем ближе умирающий без сознания человек придвигался к мгновению прекращения всех желаний, тем больше появлялось вокруг вещей, желанных и недоступных для него живого.

Истопили печку, и в комнате стало тепло — в первый раз за зиму, сколько Эн мог припомнить; оказывается, нужно было просто как следует топить печку. Тело на диване вымыли и переодели.

— Зачем он у вас такой закутанный? — спросила услужающая женщина. — Ему тяжело.

Все очень заботились, чтобы ему не было тяжело, хотя уверяли, что он ничего не чувствует. Доктор несколько раз присылал из больницы сестру для уколов (он еще утром признал, что уколы бесполезны) и для того, чтобы больного облегчить от мочи.

Тетка повеселела немного. Она гордилась, что так хорошо удалось организовать умирание. Эн думал: «Почему все хорошее сделали теперь, когда ему безразлично и будет все безразличнее… Какое у него спокойное лицо… Почему я не приехал в тот день на полчаса раньше? Зачем я упускал время — искал эти апельсины?»

На эту ночь осталась сиделка, хотя именно теперь никто уже не сомневался в том, что сиделка совсем не нужна. Это была жизнерадостная женщина, которая с аппетитом ела, выходила в коридор покурить, относилась доброжелательно к умирающему и ко всем остальным. Эну она не мешала. Он курил с ней в коридоре, иногда разговаривал. В ее отношении к смерти не было ни грубости, ни страха. И профессионализм этого отношения умерялся благообразием, исконным русским крестьянским благообразием в деле смерти.

Делать ей было решительно нечего — она ела, курила, спала, придвинув кушетку к дивану. Этой ночью дыхание стало звучать по-новому; воздух теперь проходил вовнутрь с протяжным ритмически-ровным шумом. Дыхание это не выражало мучений, но для Эна каждый долгий, слегка клокочущий вдох был ужасен; прослушав его, уже надо было вслушиваться в приближение следующего. Ночью Эн положил подушку на большой сундук в коридоре. Он засыпал, просыпался, заглядывал в комнату, ходил за водой на кухню, сиделка выходила к нему покурить.

Утром старик все так же неподвижно лежал на спине, полузакрыв глаза (будто испортился механизм век), так же ровно и хрипло дышал, но лицо его изменилось. Оно вытянулось; вытянулось и запало в щеках и над беззубой челюстью. Это было

чужое — не то сердитое, не то удивленное лицо. Только лоб не изменился, характерный лоб с двумя круглыми костистыми выступами над бровями, между которыми росла маленькая мягкая бородавка. Стоя за изголовьем, Эн видел только лоб, заканчивающийся двумя выпуклостями — в детстве он их называл «шишечками» и любил обводить пальцем; лоб был очень спокойный. Сиделка сказала, что он умрет часа через два. Зашел врач и сказал полувопросительно:

— Не стоит мучить его камфарой…

И Эн ответил:

— Не знаю… Должно быть, не стоит…

Теперь ничего уже не осталось — ни посторонних людей, ни дел, которые нужно делать, ни сомнений. Только смерть. Чистое, пустое, звенящее от пустоты ожидание смерти. Время, прозрачное, как в тюрьме. Тело на диване агонизировало. Чтобы облегчить существование этому телу, с него сняли теплое тряпье, рубашка распахнулась, и желтая седая грудь поднималась и опускалась с хрипом. Эн увел тетку из комнаты. Он закрыл дверь и остался вдвоем с сиделкой. Он-то должен вытерпеть боль до конца. В самом конце ему показалось, что он одеревенел, что боль больше в него не проходит; на самом деле он с таким напряжением души вбирал в себя эту смерть, что потом ему на годы хватило материала для снов, в которых она являлась ему под разными шифрами. Все проходило своим чередом — умирающий икал, температура — ее с медицинской тупостью измеряли каждые пятнадцать минут — с 39-ти падала и падала, пока цифра ее не стала несомненным показателем смерти.

— Сердце-то какое все-таки сильное. Борется как! — сказала сиделка.

Тело боролось; боролась грудь, которая хрипела все короче и чаще; боролись жилы, бившиеся на шее так, что пульс можно было считать глазами. Но лицо оставалось равнодушным и чуждым всему, что происходило с телом.

— Вот смотрите, — сказала сиделка, — когда потекут скорбные слезы, будет конец.

Эн сидел теперь у дивана вплотную, чтобы не проронить ни одного дыхания. Его поразило то, что сиделка сказала про скорбные слезы; он сидел, повторяя про себя эти слова, — в ожидании их осуществления. Но он никогда не мог вспомнить потом, действительно ли увидел слезы на лице умирающего. Лицо еще больше вытянулось и стало вдруг сокращаться. Оно вытягивалось и сокращалось ритмически, принимая теперь участие в предсмертной борьбе. В этой агонии не было ни проблеска осознанного страдания, но муки бессмысленной

материи раздирали своего свидетеля. И в порыве последнего эгоизма он повторял: «Ооо… если бы он страдал… что было бы со мной сейчас…»

Смерть не ударила и не загремела. Какой-то из вздохов и всхлипов оказался последним. И сиделка с облегчением сказала: «Кончился». Эн встал и наклонился над диваном, проверяя себя; он не знал, испытает ли страх, коснувшись мертвого тела. Он не испытал страха. Он погладил и поцеловал спокойный лоб с шишечками, которые нисколько не изменились.

Все, что за этим последовало, что собственно относилось уже к ликвидации этого тела, этой жизни, имело для Эна какой-то оттенок лживости. Он обсуждал с заведующим похоронным бюро, из какого материала заказать гроб, интересовался на кладбище, не затопит ли могилу весной, выслушивал сомнения тетки — хоронить ли в пиджаке или в куртке. Он делал все, что полагается делать (пришлось еще сходить в загс, где первую страницу паспорта перечеркнули крест-накрест, поговорить с управдомом, занять денег); он устраивал относительное благообразие, но сам был благообразию чужд. Потому что для него вопрос смерти и уничтожения имел мало общего с могилами и гробами, и даже с этим телом. Быть может, потому был оттенок лживости в той минуте, когда он закрыл глаза покойному и еще раз поцеловал его в лоб. Несколько раз в течение дня Эн приподнимал простыню с дивана. Под простыней старик лежал в нижнем белье, очень маленький, сухой, совершенно не страшный, с седой щетинкой, проросшей на скулах. Но все это почти не имело отношения к тому, что в зачатке лежало уже на сердце, что должно еще развернуться, заполняя собой существование. Быть может, в часы похорон, занятый последним устройством мертвого тела, Эн был спокойнее и рассеяннее, чем в течение многих будущих месяцев.

Это были тихие похороны, без гостей. Когда гроб опускали в яму, тетка вдруг заплакала, очень жалобно; прижимая платок к губам, она повторяла:

— Зачем так глубоко, зачем роют так глубоко…

Эн понял, что она думает о своей предстоящей смерти.

Эн отправил тетку домой с извозчиком, расплатился с кладбищенскими рабочими за пронос гроба и за еловые ветки, которыми выложили могилу, и пошел один, снежным полем. Он знал, что теперь, наконец, будет думать, но легче было начать думать на ходу, под морозным и солнечным ветром.

Так началось то, что продолжалось потом очень долго, — коловращение, поток разорванных мыслей, уже бессмысленных в своей повторяемости, и смысл которых был единственно в том,

что они составляли неистребимую материю раскаяния… Старик ждал его и ждал апельсины, но он опоздал на полчаса. Он разговаривал с Лизой… Еще накануне некому было сходить за камфарой, может быть, если бы послали за камфарой… Конечно, все эти средства вздор, но если бы на него не нашло затмение и он догадался бы для уколов вызвать сестру из города, или если бы докторшу уговорили остаться на ночь… Но у него не хватило настойчивости, он стеснялся, стеснялся предательски. И тут же он думал о том, что мало заплатили сиделке — это очень совестно. И тут же о том, что он скверно устроил эту доверившуюся ему жизнь и что все это еще беспредельно долго будет вращаться в его мозгу…

«Отец Горио» — очень неверная книга. Разве бывают, разве могли быть когда-нибудь дети, которые из-за званого обеда не хотят пойти к умирающему отцу. На самом деле все хуже и проще: дети всегда идут к умирающему отцу, спешат к умирающему отцу, после того как испортили жизнь живому.

Лиза это поймет, она сама такая. Лиза когда-то сказала ему:

— Ты заметил, люди, которые в самом деле любили своих родителей, к их смерти относятся довольно спокойно. Мучаются же эгоисты — вместо того, чтобы думать об исчезнувшем человеке, они думают о своей вине.

---

Аберрация поправимости — наивное представление об изолированном поступке, свободном от соотнесенности греха и возмездия, — одно из обнаружений имманентного, лишенного общих целей сознания.

Бытие для него — не то эмпирическое месиво мгновений, равноправных в своей бессмысленности, не то тупая последовательность мгновений, поочередно отменяющих друг друга. И последнее из мгновений — смерть, которая отменяет все.

Такова логика достигшего предела индивидуализма. Но сильнее логики экзистенциальная практика. Она требует от мимолетного человека, чтобы он жил так, как если б его поступки предназначались для бесконечного исторического ряда. Она настаивает на неотменяемых связях общего бытия, любви и творчества, жалости и вины.

# Записки блокадного человека

В годы войны люди жадно читали «Войну и мир», — чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал «Войну и мир» в блокадном Ленинграде.

Толстой раз навсегда сказал о мужестве, о человеке, делающем общее дело народной войны. Он сказал и о том, что захваченные этим общим делом продолжают его даже непроизвольно, когда они, казалось бы, заняты решением своих собственных жизненных задач. Люди осажденного Ленинграда работали (пока могли) и спасали, если могли, от голодной гибели себя и своих близких.

И, в конечном счете, это тоже нужно было делу войны, потому что наперекор врагу жил город, который враг хотел убить.

Об этом кое-что здесь рассказано.

Мне нужно было показать не только общую жизнь, но и блокадное бытие одного человека. Это человек суммарный и условный (поэтому он именуется Эн), интеллигент в особых обстоятельствах.

День ленинградской весны 1942-го. Впрочем, слово «весна» звучало странно. Хлебный паек повысили, по размороженным улицам нерешительно ходили трамваи. Немцы перестали бомбить, но каждый день, несколько раз в день обстреливали город. Самые сильные и жизнеспособные уже умерли или выжили. Хилые продолжали замедленно умирать. Слово «весна» звучало странно.

Просыпается Эн, блокадный человек, по состоянию зрения не подлежащий мобилизации. Прошлым летом он просыпался иначе — всегда в шесть утра, от звука репродуктора, для общего пользования установленного в коридоре. Потом, уже по привычке, он стал просыпаться за десять-пятнадцать минут и лежал, прислушиваясь. Минуты за три, не утерпев, он в пижаме выходил в коридор. Там стояли уже соседи, полуодетые, с жадно-напряженными лицами. Казалось, если диктор своим всегдашним неестественным голосом перечислит радиостанции — это значит, сегодня ничего не случилось особенного… Эн знал — это аберрация, и не мог от нее отделаться. Впрочем, все начиналось не диктором, а коротенькими звонами и паузами, выводившими звуковую фигуру. Никогда мы не слыхали более печального звука. Потом перечисление радиостанций с его хрупкой аберрацией

стабильности. Наконец, страшно короткая информация (казалось, они становятся все короче), в те дни состоявшая из направлений. И люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, принимая очередное направление. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. Направление… Люди знали — потом будет лужское, потом… Так было летом 1941-го.

Страшная была жадность на информацию. Пять раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту, или к власти, или к источникам информации. А расспрашиваемый сердился на бестолковые вопросы. Потому что спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война, как это будет…

Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события.

Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Воскресенье. Небольшая очередь у пригородной кассы. Рука берет сдачу и картонный прямоугольник билета. И в самый этот миг голос, как будто удивленный (или это не удивление?):

— Там Молотов говорит… Он что-то такое говорит…

Люди уже столпились на подъезде вокзала. Выходили из репродуктора слова, и каждое, независимо от своего смысла, было контейнером предлежащей муки, огромной, всенародной муки. Кончилась речь. Возвращаюсь домой, до боли прижимаю к ладони билет, купленный в пригородной кассе. Там сегодня меня долго ждут на перроне и не дождутся. Не прошло и получаса, а нас уже неудержимо относит от довоенного строя чувств.

Возвращаюсь домой по улицам, будто еще довоенным, среди предметов еще довоенных, но уже изменивших свое значение. Еще нет ни страдания, ни смертной тоски, ни страха; напротив того, — возбуждение и граничащее с легкостью чувство конца этой жизни.

В первый миг совершающегося события показалось, что нужно куда-то ужасно спешить и что ничто уже не может быть по-прежнему. Потом оказалось, что многое пока по-прежнему. Еще ходят трамваи, выплачивают гонорары, в магазинах торгуют обыкновенными вещами. Это удивляло. Чувство конца прежней жизни было сперва столь нестерпимо сильным, что сознание, минуя все промежуточное, полностью сосредоточилось на

развязке. В неслыханных обстоятельствах оно не хотело метаться; ему хотелось быть суровым и стойким. Самые неподготовленные не нашли для этого других средств, как сразу начать с конца и примериться к собственной гибели. Они честно говорили друг другу: «Что ж, среди всего неясного самое ясное — мы погибли». Недели две им казалось, что это проще всего остального и что они относятся к этому довольно спокойно. Потом уже выяснилось, что погибнуть труднее, чем это кажется с первого взгляда. И они же потом с усилием, по частям, вырывали свою жизнь у дистрофии, а многие из них сознательно или бессознательно делали общее дело.

Потом репродуктор стали слушать иначе. Обыденнее. Выветрилось это сочетание крайне личного (каждому репродуктор вещает судьбу) с исторически событийным и эпохальным. Чаша сия никого не миновала, и все узнали — какая бывает война. Образовалась новая действительность, небывалая, но и похожая на прежнюю в большей мере, чем это казалось возможным. В ней надо было разобраться. Людям казалось теперь, что судьба их решается не формулами диктора, но фактами гораздо более дробными и близлежащими: занятием пункта Н., батареей, установленной в Лигове, прорвавшейся баржой с хлебом. Зимой же утреннее пробуждение — уже только включение в ряд возобновляемых страданий, длящихся до нового сна.

Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила: «На Западном фронте без перемен» — в тот самый день, когда на этом фронте погиб его герой. Типовое проявление того индивидуалистического пацифизма, который стал реакцией на первую мировую войну. Люди этих лет (особенно западные) не хотели понимать, что социальная жизнь есть взаимная социальная порука (иначе она только гнет и насилие). Мы же знали, что про тот день, когда любого из нас убьет гитлеровским осколком, — где-нибудь будет сказано: «Ленинград под вражескими снарядами жил своей обычной трудовой и деловой жизнью». Зато каждый здесь говорил: мы окружаем Харьков, мы взяли Орел… Войска ворвались, закрепились, продвинулись… За формулами суммированных действий — тысячи единичных людей, которые в них участвовали, погибли и не пожнут плодов. А за ними — еще миллионы, которые не участвовали, но плоды пожнут. Что за дело до всего этого погибающим и зачем это им? Незачем. Разумеется, незачем. Только с точки зрения религии мертвому что-нибудь может быть нужно. Но это нужно живому. Живые питаются кровью. Одни как паразиты, другие как честные гости на пиру, ответившие предложением собственной крови. В

уклонившихся чувство неполноценности не заглушают ни доводы себялюбия, ни соображения насчет того, что они полезнее на другом участке, ни утверждение своей творческой избранности. Не следует только думать, что понимание законов связи избавило понимающих от практики эгоизма, триумфально ввело их в героическое жизнеощущение. Для неподготовленных законы эти оставались ужасными и теоретически непосильными.

В обстоятельствах блокады первой, близлежащей ступенью социальной поруки была семья, ячейка крови и быта с ее непреложными требованиями жертвы. Скажут: связи любви и крови облегчают жертву. Нет, это гораздо сложнее. Так болезненны, так страшны были прикосновения людей друг к другу, что в близости, в тесноте уже трудно было отличить любовь от ненависти — к тем, от кого нельзя уйти. Уйти нельзя было — обидеть, ущемить можно. А связь все не распадалась. Все возможные отношения — товарищества и ученичества, дружбы и влюбленности — опадали как лист; а это оставалось в силе. То корчась от жалости, то проклиная, люди делили свой хлеб. Проклиная, делили, деля, умирали. Уехавшие из города оставили оставшимся эти домашние жертвы. И недостаточность жертв (выжил — значит, жертвовал собой недостаточно), а вместе с недостаточностью — раскаяние.

Сейчас начинается лето. Благосклонное, нежаркое лето. Каждый день, просыпаясь, Эн испытывает удивительное, еще не изжитое чувство отсутствия страданий. Это первое впечатление дня — и самое лучшее. Ноги, руки спокойно лежат на диване, довольно гладком и мягком. Окно открыто. Ему не холодно, не жарко. Вокруг светло. И светло будет всегда, всю белую ночь напролет. Ему даже не хочется есть. Это, впрочем, уже готовится, это где-то присутствует всегда (как во влюбленном любовь); но об этом пока можно не думать. Эн отбрасывает простыню, подставляя тело светлому, легкому, не холодному, не жаркому воздуху.

Но Эн знает — стоит повернуться на левый бок, к комнате лицом, и он увидит поджидающий его хаос (тогда, впрочем, гуманитары не толковали еще об организации, информации и энтропии). Бытовое столпотворение — тарелка с окурками, выброшенная хаосом из своих недр, пиджак на футляре заглохшей пишущей машинки. Почему? Потому что бессильная дрожь раздражения овладела вчера усталым человеком, и он не смог донести пиджак до более подходящего места. Вещи вообще сползли со своих мест, они мутные, с размытыми границами (значит, без формы). Только на прижатых к стене стеллажах в странном мертвом порядке стоят посеревшие книги. Всё же вещи

частью вернули себе свое назначение. Не то что зимой…

Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело. Теперь передышка, а зимой оно было вечной потенцией страданий — со своими все новыми углами и ребрами, особенно жуткими для склонных к полноте и боровшихся с полнотой посредством молочно-яблочной диеты (раз в неделю). Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела, расщепление сознательной воли и тела как явления враждебного внешнего мира. Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице (с трудом и в то же время с какой-то новой, мучительной бесплотностью), или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто — ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение углублялось. Наконец все раздвоилось странным образом: истощенная оболочка — из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, — и душа, расположенная отдельно, где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма.

В период наибольшего истощения все стало ясно: сознание на себе тащит тело. Автоматизм движения, его рефлекторность, его исконная корреляция с психическим импульсом — всего этого больше не было. Оказалось, например, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение; сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось, как с обрыва. Воля должна была поднимать его и усаживать или вести от предмета к предмету. В самые худшие дни трудно было уже не только подниматься по лестнице, очень трудно было ходить по ровному. И воля вмешивалась теперь в такие дела, к которым она отродясь не имела отношения. «Вот я хожу, — говорила она, — то есть это, собственно, ходит мое тело, и надо за ним хорошенько следить. Скажем, я выдвигаю вперед правую ногу, левая отходит назад, упирается на носок и сгибается в колене (как она плохо сгибается в колене!), потом она отрывается от земли, по воздуху движется вперед, опускается, а правая в это время уже успела отойти назад. Черт ее знает! — надо проследить, как она там уходит назад, не то еще можно упасть». Это был преотвратительный урок танцев.

Еще оскорбительнее в своей внезапности бывала потеря равновесия. Это не слабость, не пошатывание от слабости, совсем другое. Человек хочет поставить ногу на край стула, чтобы зашнуровать ботинок; он теряет равновесие в эту минуту, со стуком в висках и замиранием сердца. Это тело выскользнуло из рук и хочет упасть пустым мешком в непонятную глубину.

В отчужденном теле совершается ряд гнусных процессов — перерождения, усыхания, распухания, непохожих на старую добрую болезнь, потому что совершающихся как бы над мертвой материей. Иные из них даже незаметны для пораженного ими человека. «А ведь он уже пухнет», — говорят про него, но он еще не знает об этом. Люди долго не знали, пухнут ли они или поправляются. Вдруг человек начинает понимать, что у него опухают десны. Он с ужасом трогает их языком, ощупывает пальцем. Особенно ночью он подолгу не может от них оторваться. Лежит и сосредоточенно чувствует что-то одеревенелое и осклизлое, особенно страшное своей безболезненностью: слой неживой материи у себя во рту.

Месяцами люди — большая часть жителей города — спали не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованное одеждой, и там, в глубине, изменялось, перерождалось. Человек знал, что оно становится страшным. Ему хотелось забыть, что где-то далеко — за ватником, за свитером, за фуфайкой, за валенками и обмотками — есть у него нечистое тело. Но тело давало о себе знать — болями, чесоткой. Самые жизнеспособные иногда мылись, меняли белье. Тогда уже нельзя было избежать встречи с телом. Человек присматривался к нему со злобным любопытством, одолевающим желание не знать. Оно было незнакомое, всякий раз с новыми провалами и углами, пятнистое и шершавое. Кожа была пятнистым мешком, слишком большим для своего содержимого.

Сейчас тело вышло опять на поверхность. Оно погружалось в воздух, дышало. Это и была передышка.

Вообще все состояло сейчас из трех пересекающихся планов. Где-то в безвозвратном отдалении маячила та жизнь… Она казалась нам крайне неблагоустроенной, когда мы ею жили; а сейчас это было как в сказке: вода, бегущая по трубам, свет, зажигающийся от прикосновения к кнопке, еда, которую можно купить… Существовала память и инерция зимы… Существовала передышка. Передышка в своей непрочности была печальной и нервной.

Пересекаются вещи и жесты, принадлежащие к разным планам. От той жизни гравюра над книжной полкой и на полке глиняный крымский кувшин — подарок. Подарившая сейчас на Большой земле, и воспоминание о ней стало для Эна необязательным и вялым. Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки — нечто вроде Поганкиных палат или развалин Колизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить). Потом вещи начали медленно возвращаться к

своему назначению. Эн привыкал к этому тоже медленно и недоверчиво. Это было — как снять валенки. Эн все не вылезал из валенок; ему как-то мерещилось, что валенки — это уже необходимая принадлежность человека. Он дотянул до слякоти, до полной невозможности. И тогда сменил сбитые, заскорузлые валенки на почти еще не ношенные, со свежим скрипом ботинки. Никто вокруг почему-то этому не удивился. А для Эна это было странным и важным фактом — открывшейся возможностью возвращения вещам их первоначального смысла. Он почти еще ничего не читал, но теперь уже стеллажи, вздымаясь над беспорядком сдвинутых стульев, над пустыми и полными банками на краю письменного стола, — уже предлагали вновь выполнять свое назначение. А автоматический жест, которым Эн заводил на ночь часы и осторожно клал их на стул около дивана (зимой часы эти не шли — замерз механизм), был совсем из той жизни. Зато торопливость, с какой люди теперь, ложась спать, сбрасывали с себя все до нитки, — это было от передышки. В этом была жадность и нервность временного состояния перед второй зимой, думать о которой не хватало храбрости; была в этом зимняя травма неснимаемой одежды.

Обязательно, встав с постели, подойди к окну. Многолетний, неизменный жест утреннего возобновления связи с миром. На заднем плане деревья, подымающиеся над решеткой сквера, трамвайная остановка на повороте, заваленная теперь кирпичом и бревнами. Трамвайная остановка зазвучала по-новому. Сваливаемые бревна бухают, как артиллерийский разрыв; грузовые трамваи, описывая кривую, поют, как воздушная тревога. Люди у остановки отсюда маленькие и торопливые. Они как россыпь школьников на перемене. Удивительно, как среди них могут быть профессора, врачи, на которых робко смотрят пациенты, ответственные работники.

Год тому назад многолетний утренний взгляд из окна получил новый смысл — стал вопросом, обращенным к миру, и ожиданием ответа. Мир в эти дни мог таить все, что угодно, вплоть до самого худшего; и от него хотелось как можно больше свидетельств продолжающегося течения вещей. Трамвай был успокоителен, как голос диктора, объявлявший радиостанцию. Существовал центр, невидимо управляющий красными трамвайными вагонами. Вагоны бежали, центр работал. Рельсы вытекали из него и впадали обратно. Своей дугой каждый вагон был прикреплен к системе, централизован. Сдвинув штору, Эн с облегчением следил, как потрепанный красный вагон, скрипя, огибает угол, послушный центру, ограниченный рельсами, на

привязи у дуги.

В час утреннего возобновления отношений мир явственно представал в своей двойной функции — враждебной и защитной. То, что давило, что гнало, и отравляло, и жгло, — оно же служило защитой или заменителем зла. Оно служило физической защитой и последним прибежищем и покровом среди страха внутренней изоляции.

Таким год назад был мир при первом взгляде в окно. Потом были долгие месяцы, когда мир ушел из окон, покрывшихся слоем льда.

Покоя той зимой не было никогда. Даже ночью. Казалось бы, ночью тело должно было успокоиться. Но, в сущности, даже во сне продолжалась борьба за тепло. Не то чтобы людям непременно было холодно — для этого они наваливали на себя слишком много вещей. Но именно поэтому тело продолжало бороться. Наваленные вещи тяжко давили, и — хуже того — они скользили и расползались. Чтобы удержать эту кучу, нужны были какие-то малозаметные, но в конечном счете утомительные мускульные усилия. Нужно было приучить себя спать неподвижно, собранно, особым образом подвернув ногу, которая придерживала основу сооружения. Иначе все сразу с неудержимой жестокостью могло поползти на пол. И тогда в темноте, в убийственном холоде придется опять кое-как громоздить сооружение, совсем уже шаткое и негодное. Нельзя было раскинуть руки или приподнять колени под одеялом, или вдруг повернуться, уткнув лицо в подушку. То есть тело и нервы полностью никогда не отдыхали.

В своих квартирах люди боролись за жизнь, как борются погибающие полярники. Утром они просыпались в мешке или в пещере, которую с вечера устраивали из всех вещей, какие удавалось на себя натащить. Просыпались в четыре часа, в пять. За ночь удавалось согреться. А вокруг стоял холод, который будет весь день неотступно мучить. Все же люди с нетерпением ждали — даже не утра, потому что утро (свет) наступало гораздо позже, — они ждали повода встать, приближаясь к началу нового дня, то есть к шести часам, когда открываются магазины и булочные. Это не значит, что человек к шести часам уже всегда отправлялся в булочную. Напротив того, многие старались оттянуть (сколько хватало сил) момент получения хлеба. Но шесть часов — это успокоительный рубеж, приносивший сознание новых возможностей. В своем роде это был даже лучший момент — хлеб еще весь впереди, но он уже достижимая реальность сегодняшнего дня. Голодное нетерпение пересиливало страх

холода. Оно гнало людей из обогретой дыханием пещеры на мороз собственной комнаты. Вставать было легко, легче, чем в той жизни, когда человека ждала яичница, о которой можно было не думать. Притом упростился переход. Спали почти не раздеваясь; достаточно было поскорее сунуть ноги в валенки, валявшиеся у постели.

Типический блокадный день начинался с того, что человек выходил на кухню или на темную лестницу, чтобы наколоть дневной запас щепок или мелких дров для времянки. Ночь едва начинала рассеиваться, и в разбитом стекле лестничного окна стены противостоящих домов еще не желтели, а темнели. Колоть приходилось ощупью, осторожно вгонять в полено косо поставленный топор, потом уже ударяя. Очень плохи были руки. Пальцы скрючивались и замирали в какой-нибудь случайной позе. Рука теряла хватательные движения. Теперь ею можно было пользоваться только как лапой, как культяпкой или палкообразным орудием. Человек нашаривал в темноте и сгребал рассыпавшиеся по каменной площадке щепки, зажимал кучу щепок между двумя культяпками, бросал их в корзину.

Потом еще нужно принести воду из замерзшего подвала. Ледяной настил покрыл ступеньки домовой прачечной, и по этому скату люди спускались, приседая на корточки. И поднимались обратно, обеими руками переставляя перед собой полное ведро, отыскивая для ведра выбоины. Своего рода высокогорное восхождение.

Сопротивление каждой вещи нужно было одолевать собственной волей и телом, без промежуточных технических приспособлений. С пустыми ведрами человек спускался по лестнице, и в разбитом окне перед ним лежало суживающееся пространство двора, которое предстоит одолеть с полными ведрами. Внезапная ощутимость пространства, его физическая реальность возбуждала тоску. Странно — эта вода (вообще странно, что бесцветная, быстротекущая вода тяжела, как камень), которая камнем висит на руках, на плечах, вжимает человека в землю, она же, оставляя за собой этажи, легко взбегает по трубам. Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация. К человеку повернуто дружеское лицо двуликого мира. Но техника, связь вещей — это общее. Мир, дарующий технику, хочет твоей жизни — за воду, бегущую по трубам, за свет, послушный маленькому рычажку.

С полными ведрами можно отдохнуть на нижних ступеньках. Закинув голову, человек мерит предстоящую ему высоту. В далекой глубине потолок с какой-то алебастровой нашлепкой.

Нашлепка приходится как раз посредине прямоугольного висящего зигзага лестницы. Оказывается, лестницы действительно висят в воздухе (если вглядеться — очень страшно), удерживаемые невидимой внутренней связью с домом. Закинув голову, человек измеряет вздыбленное лестничное пространство, сквозь которое ему предстоит собственной волей, собственным телом пронести давящую, как камень, воду.

В течение дня предстоит еще много разных пространств. Основное — то, которое отделяет от обеда. Обедать ведь лучше в ведомственной столовой, где каша больше похожа на кашу. Обедать он побежит по морозу сквозь издевательски красивый город в хрустящем инее. И рядом, и навстречу бегут (или ползут — среднего не бывает) люди с портфелями, с авоськами, с судками, подвешенными к концам палкообразных рук. Люди бегут по морозу, одолевая овеществившееся пространство. Наиболее интеллигентные вспоминают при этом Данте, тот круг Дантова ада, где царствует холод. В столовой тоже будет так холодно, что после улицы пальцы не распрямляются, и ложку приходится зажимать между большим пальцем (единственным действующим) и смерзшейся культяпкой.

Самый обед — это тоже преодоление пространств; малых пространств, мучительно сгущенных очередями. Очередь перед дверью, очередь к контролеру, очередь к месту за столом. Обед — нечто мгновенное и эфемерное (тарелка супа, столько-то граммов каши) — был гипертрофирован и заторможен, по классическим законам сюжетосложения. Людей спрашивают — что вы делаете? И они отвечают: обедаем.

Был период многократных, подряд возникающих воздушных тревог. По дороге к обеду приходилось отсиживаться в подвалах или пробиваться сквозь пальбу зениток и свистки милиции. И люди ненавидели спасавшего их от бомбежки милиционера, а бомбежку воспринимали как препятствие на пути к обеду. Некоторые отправлялись обедать часов в одиннадцать утра (обычно это было еще тихое время), возвращались оттуда иногда в шесть-семь.

Некоторые приносили что-нибудь с собой для домашних (если еще были домашние). Дома было совсем темно. Растапливали времянку и при свете дымящей времянки переливали принесенный суп из банки в кастрюлю, разрезали на ломтики граммов сорок хлеба. Потом тот, кто пришел из внешнего мира, где он обедал, — придвигался вплотную к дымящейся и пламенеющей дверце и грел руки. И пока не кончался дневной запас щепок, его ничем нельзя было оторвать от этого наслаждения. В комнате за плечами бушевал холод,

стояла тьма. Только у самой дверцы очерчен был маленький круг тепла и света. Круг жизни. Согреть, в сущности, можно было только выставленные вперед ладони. Ладони всасывали пробегающий по ним огонь. Это было безмерное наслаждение, впрочем, отравленное тем, что дневной запас щепок бесповоротно иссякал.

Это было то самое ожидание конца, то понимание неотвратимого иссякания данных нам жизненных сил, которым отравлена всякая радость и самое чувство жизни. Блокадные обстоятельства сделали эту формулу вполне наглядной. А вечно возобновляемое достижение вечно разрушающихся целей они довели до наглядности бега по замкнутому кольцу.

Какими усилиями проталкивал себя человек от одного мучительного действия к другому? Нет, не требовалось особых психологических усилий. Каждое страдание — судки на морозе, ведра на лестнице — было избавлением от худшего страдания, заменителем зла. Утопающему, который еще барахтается, — не лень барахтаться, не неприятно барахтаться. Это вытеснение страдания страданием, это безумная целеустремленность несчастных, которая объясняет (явление, плохо понятное гладкому человеку), почему люди могут жить в одиночке, на каторге, на последних ступенях нищеты, унижения, тогда как их сочеловеки в удобных коттеджах пускают себе пулю в лоб без видимых причин. Страдание непрестанно стремится с помощью другого, замещающего страдания отделаться от самого себя. Цели, интересы, импульсы страдания порождают ряды закрепившихся действий, все возобновляемых и уже не обременительных для воли. Но воля бессильна разорвать этот ряд, чтобы ввести в него новый, не закрепленный страданием жест. Так сложился круг блокадного зимнего дня. И среди передышки это движение, вращательное и нерасторжимое, еще продолжается, постепенно затухая. Люди несут в себе это движение, как травму.

Сейчас, в периоде передышки, когда импульсы страдания не так могущественны и принудительны, для занятий бытовыми делами требуется даже больше душевных усилий. Зато мы не делаем уже какие попало судорожные движения, отыскивая частицу еды, тепла, света. Бег по кругу приобретает отчасти характер режима. Для многих режим, рабочий порядок всегда был недостижимой мечтой. Не давалось усилие, расчищающее жизнь. Теперь жизнь расчистило от всяческой болтовни, от разных заменителей и мистификаций, от любовных неувязок или требований вторых и третьих профессий, от томящего тщеславия, которое гнало людей туда, где им быть вовсе не следовало, но где

преуспевали их сверстники и друзья, что, естественно, не давало покоя. Мы, потерявшие столько времени, — вдруг получили время, пустое, но не свободное.

Эн тоже всю жизнь мечтал о рабочем режиме дня и даже считал, что режима не получается только из-за привычки поздно вставать (привычка ленинградцев, если они не связаны ранней службой). Все всегда начиналось с того, что утра уже нет, что уже непоправимо испорчено прекрасное переживание полноты, непочатости предстоящего дня. Все уже все равно было испорчено, и потому Эн с облегчением выпускал себя из рук, и дальше оно уже шло как придется. Теперь же причинно-следственная связь импульсов и поступков была грубо обнажена и завинчена. Он просыпался в шесть часов, потому что, как и все в городе (кто не дежурил), рано ложился, и сразу вставал, потому что ему хотелось есть или он боялся, что ему захочется есть. Он делал с утра домашние дела — не сделать их, отложить было бы смерти подобно. Он шел в редакцию, где работал, поскольку по крайней близорукости его не взяли в ополчение и в армию. В определенный час он шел в свою столовую, потому что никоим образом нельзя было пропустить там обед, который, может быть, дадут без выреза талона (в этой столовой так иногда бывало). После обеда он опять шел в редакцию, где еще много было работы. Потом возвращался домой, потому что еще полагалась вечерняя еда, да и идти больше было некуда. Таня уехала, сказав все возможные слова о том, что она уезжает и оставляет его (разумеется, он уговаривал ее уехать) совсем не потому что… а, напротив того, потому что… Друзья и товарищи ушли на фронт или тоже уехали. Он ужинал и сразу ложился, так как вставал в шесть часов, и в десять ему хотелось спать.

Но этот уклад, непререкаемый и точный, в основном управляемый триадой еды, еще не был режимом, но безжизненной схемой режима. Режим существует для чего-то. Эн не чужд дистрофической идее восстановления сил, мотивировавшей всякую всячину, и в особенности тотальное подчинение времени трем этапам еды. Но он уже спрашивает: для чего восстанавливать силы? Он не спрашивал бы, если бы воевал или стоял у станка на заводе. Но он периферия войны, почти слитая с фронтом и отделенная от него иным качеством своей несвободы. В периферийном мире все пока негативно. Даже работа. Даже самая полезная тыловая работа расположена в том же кругу, где еда, где забота об огне и воде. Тяжким усилием воли, привыкшей к однообразной серии жестов, нужно где-то, в каком-то месте раздвинуть круг и втиснуть в него *поступок*. Если человек умеет писать, то не должен ли он написать об этом и о

предшествовавшем. Где-то, скажем, после домашних дел часполтора (больше не отдаст вращательное движение дистрофической жизни), чтобы писать. Тогда оживут и потянутся к этому часу все другие частицы дня, располагаясь вокруг него иерархически.

Может быть, с утра, на отрезке домашних дел, вынося грязное ведро или прочищая времянку, можно будет обдумывать. Или на ходу, когда идешь в булочную или обедать. В очередях думать невозможно, и невозможно думать или писать после обеда. Это время упадка воли. К вечеру опять становится легче. В часы же послеобеденной режущей тоски вообще не следует думать. Лучше сидеть в редакции и работать (плохо тем, кто не работает, а только ест и голодает) и слушать рассеянно голоса сослуживцев (хорошо, что вокруг голоса!).

Ну, а нужно ли писать? А вот нужно ли еще писать? Или один только есть поступок — на фронт! Драться с немцами… Прочее от лукавого.

А увидевшим то, о чем пишущие хотели написать, должно быть, уже никогда не понадобится, чтобы им писали об этом, о чем бы то ни было… Но память не соглашается отступить; она стоит на своем, и забвение стоит на своем. Забвение сохраняет жизнь вечным обновлением сил, желаний и заблуждений. Оно вернет жизни необходимую ей суету сует — после мук плоти и духа столь безмерных, что возвращение казалось уже невозможным.

Тянется, до отказа натягивается резиновая ткань жизни; но вот ослабел нажим, ее отпустили, и резина мгновенно устремилась обратно, к исконным своим пределам и формам. То, что открывается человеку в пограничных ситуациях, — закрывается опять. Иначе, например, люди нашего поколения были бы давно непригодны для дальнейшей жизни.

Не метафизическая субстанция, не сама себе равная душа XIX века, но непрерывная смена ситуаций, вызывающих реакции, рефлексы. Пусть так, но в ситуацию всякий раз попадает некая относительно устоявшаяся система биологических и социальных данных, вступивших между собой в единственное — одновременно и типовое — сцепление (единичный характер), а мы все удивляемся — то неизменности человека (ничего не забыл и ничему не научился), то его изменяемости. Между тем оба начала взаимодействуют. Устоявшаяся система непрерывно приспособляется к переменным ситуациям и непрерывно стремится к своему исходному состоянию.

Толстой понимал обратимость пограничных ситуаций. Он знал, что небо Аустерлица распахивается только на мгновенье;

что Пьер в промежутке между дулом французского ружья и царским казематом будет опять либеральным барином.

А нам-то тогда казалось… Разумеется, вам казалось: после этого разве возможно когда-нибудь снова болтать, например, о лирическом герое… Да, казалось… но почему, но кем установлено, что дистрофия — реальность, а обыкновенная жизнь — наваждение? Что, раз заглянув в реальность, не захочешь наваждения?

Вот мы и блюдем закон забвения, один из краеугольных в социальной жизни; наряду с законом памяти — законом истории и искусства, вины и раскаяния. О нем Герцен сказал: «Кто мог пережить, должен иметь силу помнить».

Быть может, и Эн дорвется до своего свободного часа, и ему покажется мало. Он будет томиться и перебирать все часы вращающегося дня, чтобы добыть где-то еще полчаса, еще двадцать минут. Чувство потерянного времени — начало выздоровления. Начало выздоровления — это когда в первый раз покажется: слишком долго стоять в очереди сорок минут за кофейной бурдой с сахарином.

Пока это только мечтание. Пока практически речь идет еще только о том, чтобы рационализировать домашние дела. Вместо судорожных движений найти автоматику движения. Автоматика — правильно решенная задача, и точность решения переживается мускульно и интеллектуально. Все чаще удается теперь поймать правильное движение, — подымающего ведро или пилящего доску, в одиночку или вдвоем. Пилка особенно безошибочно проверяет движение. Найдено ровное, без нажима, и у пилы, заедавшей, мучительно цеплявшейся каждым зубцом, зубцы вдруг сливаются вместе, и не человек уже водит пилой, а она ведет за собой не делающую усилий руку. И ход пилы, как верный ход всякого механизма, подтверждается верным звуком — ровным, широким и шипящим звуком пилки. Тогда человек вдруг замечает свою позу и чувствует, что это и есть поза пилящего; что он именно так подался вперед, выставил ногу, согнул другую в колене. Он нашел телесную проекцию процесса и потому испытывает удовлетворение.

Утром нужно наколоть на весь день мелких полешек для времянки. И когда топор не долбит, а стремительно падает и попадает в самое верное место, и полено легко и сухо раскалывается пополам, — это приятно. Неприятно рубить для времянки мебель и видеть под топором знакомые ручки, резьбу, металлическую бляшку, узнавать форму ножки, дверцы. Это вроде того, как хозяйка, распорядившись зарезать выросшую в

доме курицу, предпочитает съесть ее в виде котлет: ее беспокоит форма куриного крылышка, лапки.

Потом непременно нужно вынести нечистоты. Это дело жизненной важности, и потому Эн относится к нему по-деловому. Он немного сжимается, как бы пытаясь установить дистанцию между собой и вонючим ведром. Это первый за день выход на улицу, и в нем есть своя прелесть. Это выход из комнаты, окруженной зиянием заброшенной квартиры, комнаты, в которой царят изоляция и не до конца подавленный хаос. Выход в объективно существующий мир…

Летом сорок второго года в городе мало людей и очень мало заводов, и ленинградский воздух по-новому чист. Эн видит гранитный изгиб набережной, узорную решетку, за которой слипшаяся от нечистот, потерявшая цвет и текучесть вода. Ассоциации же у него в этот утренний час какие-то деревенские — от непривычки к городскому лету, от странно чистого воздуха, пустоты, тишины, оттого, что люди почти босиком выходят на улицу с ведрами.

Эн приподнимает ведро над решеткой, быстро, не глядя, опрокидывает все в воду. Чувство облегчения… Чувство облегчения сливается с минутной легкостью жизни. Ветер прошелся по волосам. С физической остротой вспомнилась вдруг деревенская улица, яблони за забором. Он жил там летом подростком; мать по утрам посылала его к соседям за молоком. Ступая в пыли босиком, осторожно, чтоб не расплескать, он несет молоко в кувшине. Главное, одновременность ощущений: босые ноги топчут нежную дорожную пыль, а в ладонях разогретая солнцем глина.

Да и всегда он любил прекрасные контексты природы. Не природу для любования, но природу, вечно присутствующую и всегда участвующую в любых делах человека. Хорошо сходить умыться на речку; чистить зубы, стоя по щиколотку в воде, а по воде чтобы бежал солнечный свет и на близком другом берегу вздымалась и шумела листва.

Потом в точно установившемся порядке следует выход в булочную или в магазин, если есть выдача. Проходят трамваи, люди идут на работу и в магазин. А город по-прежнему тихий и прибранный — как ни странно. В свете еще невысокого солнца тепло лоснится асфальт. Хорошо, правильно, что город гордится подметенной улицей, когда по сторонам ее стоят разбомбленные дома; это продолжается и возвращается социальная связь вещей.

Каждодневные маршруты проходят мимо домов, разбомбленных по-разному. Есть разрезы домов, назойливо

напоминающие мейерхольдовскую конструкцию. Есть разрезы маленьких разноцветных комнат с уцелевшей круглой печью, выкрашенной под цвет стены, с уцелевшей дверью, иногда приоткрытой. Страшная бутафория аккуратно сделанных, никуда не ведущих дверей. Разрезы домов демонстрируют систему этажей, тонкие прослойки пола и потолка. Человек с удивлением начинает понимать, что, сидя у себя в комнате, он висит в воздухе, что у него над головой, у него под ногами так же висят другие люди. Он, конечно, знает об этом, он слышит, как над ним двигают мебель, даже колют дрова. Но все это абстрактно, непредставимо, вроде того, что мы несемся в пространстве на шаре, вращающемся вокруг своей оси. Каждому кажется, что пол его комнаты стоит на некой перекрытой досками почве. Теперь же истина обнаружилась с головокружительной наглядностью. Есть дома сквозные, с сохранившимся фасадом, просвечивающим развороченной темнотой и глубиной. А в пустые оконные выбоины верхних этажей видно небо. Есть дома, особенно небольшие, с раскрошившейся крышей, из-под которой обрушились балки и доски. Они косо повисли, и кажется — они все еще рушатся, вечно падают, как водопад.

К домам появилось новое отношение.

Люди стали говорить о домах, думать о домах. Воспринимаемой единицей города стал дом, тогда как прежде единицей была улица, сливающаяся из недифференцированных фасадов. Невнимательные люди увидели вдруг, из чего состоит их город. Он слагался из отдельных участков несравненной ленинградской красоты, из удивительных комплексов камня и неба, воды и листвы, а в остальном из домов второй половины XIX века с некоторой примесью предреволюционного модерна и коробок первых лет революции. Бездарная архитектура второй половины прошлого века, с боязнью линий и плоскостей, гладкой поверхности и незаполненного пространства, побуждавшей ее каждое свободное место забивать какой-нибудь оштукатуренной бессмыслицей. Теперь мы увидели эти дома облезлыми, стоящими в сырых и ржавых потеках краски плохого качества. В тяжелые осенние дни казалось, что эта ржавая промозглость проступает у них изнутри. Они не обещали ничего доброго.

К домам появилось новое отношение. Каждый дом был теперь защитой и угрозой. Люди считали этажи, и это был двойной счет — сколько этажей будет их защищать и сколько будет на них падать. Мы познали объемы, пропорции, материалы домов. Восприятие дома стало аналитическим. Он расслаивался на своды, перекрытия, лестничные клетки. Лестничная клетка — это звучало специально и жутковато. Спускаясь по черным лестницам

своих жилищ, люди присматривались к каким-то выступам и захламленным нишам, о которых они ничего не знали. Теперь это были укрытия. Как будет лучше, в случае чего, прислониться здесь к правой или к левой стенке? Иногда человек пытался представить непредставимое: эти выступы и ступени, висящие в высоте, действительно в мгновение обрушатся, упадут на голову, на грудь. Лестничная клетка раздавила грудную клетку… Грудная клетка — это тоже специально и жутковато.

Если дом воспринимается аналитически, то восприятие города, напротив того, синтетично. Город уже не серия мгновенных комбинаций улиц, домов и автобусов. Город синтетическая реальность. Это он, город, борется, страдает, отталкивает убийц. Это общее понятие — материально. Мы познаем теперь город как с самолета, как на карте. Это предметное целое, отграниченное зримой границей. Границу смыкают заставы; границу расчленяют ворота (у города есть двери, как у каждого человеческого жилья). К воротам рвется враг; заставы и ворота не подпускают врага.

Мы снова постигли незнакомую современному человеку реальность городских расстояний, давно поглощенную трамваями, автобусами, такси. Проступил чертеж города с островами, с рукавами Невы, с наглядной системой районов, потому что зимой, без трамваев, без телефонов, знакомые друг другу люди с Васильевского, с Выборгской, с Петроградской жили, месяцами не встречаясь, и умирали незаметно друг для Друга.

Районы приобрели новые качества. Были районы обстреливаемые и районы, излюбленные для воздушных налетов. Иногда переправиться через мост означало вступить в зону иных возможностей. Были районы пограничные, готовившиеся принять штурм. Так увеличивалось значение малых расстояний. Реки города стали военным фактом, мосты через реки с установленными на них зенитками стали военным фактом. Реки расчленяли районы с их особыми качествами. Они были возможной границей. И можно было представить себе войну по районам и между районами.

С начала войны город стал обрастать непривычными деталями. Прежде всего появились крестообразные наклейки на окнах (чтоб стекла не вылетали). Мероприятие это было предложено населению уже в первые дни войны. Среди неустоявшейся тоски этих первых дней, когда новые формы жизни еще не определились, это механическое занятие успокаивало, отвлекало от пустоты ожидания. Но было в этом и что-то мучительное и странное, как, например, в сверкании

хирургической палаты, где нет еще раненых, но где они непременно будут.

Кое-кто наклеивал полосы довольно замысловатым узором. Так или иначе ряды стекол с бумажными полосками складывались в орнамент. Издали, в солнечный день, это выглядело весело. Вроде резных фестонов, которыми украшаются богатые избы. Но все менялось, если в дурную погоду вглядеться в наклейки низко расположенных окон. Желтизна просыревшей бумаги, пятна клейстера, проступающий грязью газетный шрифт, неровно обрезанные края — символика смерти и разрушения, которая только не успела еще отстояться, прикрепиться к крестообразным бумажкам.

Позднее стали заколачивать витрины и окна. Одни забивали окна, потому что вылетели стекла, другие — для того, чтобы они не вылетели. Иногда в дело шли свежие, почти белые листы фанеры, иногда корявые, очень мрачные доски. Заколоченное окно — знак покинутого жилища. Но осенью дома еще не были пусты; трехмиллионное охваченное кольцом население еще наполняло их до краев. В те осенние дни знак заколоченных окон получил ужасное обратное значение — он стал знаком заживо погребенных и погибающих в тесноте, в нем была погребальная символика досок, замурованность подвалов и тяжесть этажей, падающих на человека.

В городе стояла однообразная пестрота подробностей, выразительных, в отдельности разных, но сведенных воедино. В промозглых стенах проступали окна, заделанные свежей фанерой, забитые корявыми досками, заклеенные бумагой — синей оберточной, цветной, газетной, заложенные кирпичом. Иногда в одном окне совмещались секторы фанеры, кирпича, стекла, проклеенного бумагой. Знаки колебались и путались; не успев оформиться, расплывались тягостные ассоциации. Потом уже стало все равно. Окна покрылись льдом. Люди на улице не смотрели теперь на дома. Они смотрели себе под ноги, потому что тротуары обледенели и люди боялись упасть от скользкоты и слабости. Особенно они боялись упасть с наполненными супом судками.

Зимой уже не говорили о затемнении (в тридцать девятом, во время финской войны, о нем говорили много). Света теперь не было, на улицу поздно нельзя было да и незачем было выходить. Казалось, на улице, даже ночью, не так темно, не так страшно, как дома. Трамваи же (пока они шли), трамваи с синими лампочками казались прибежищем. Там был свет, пусть синий, но свет, были люди, успевшие надышать немного тепла, там деловито огрызается кондукторша… И человек успокаивался,

нырнув туда после ожидания на пустынной остановке.

Никто уже не думал о затемнении и о многом другом. Сто двадцать пять граммов, вода из невской проруби, холод, который не отпускал никогда, ни во сне, ни во время еды, ни в часы работы; тьма, наступавшая среди дня и рассеивавшаяся поздним утром; трупы в подворотнях, трупы на саночках, вытянутые и тонкие — похожие больше на мумию, чем на нормальный человеческий труп.

Звук возникал аккуратно, в определенный час — разный для разных периодов этой осени, с отклонениями в пределах получаса. Но, как это бывает, именно тогда человек о нем не думал. Забыв ожидание звука, он спешил до тревоги разогреть на времянке чайник. Звук внезапно отрывался от диска громкоговорителя, заполняя квартиру с комнатами, обитаемыми и необитаемыми. Так начиналась процедура бомбоубежища. Был период, когда вечерние тревоги начинались около восьми часов. Немецкая аккуратность входила продуманным элементом в расчеты психической атаки.

Тревоги были разной продолжительности, частоты, силы, процедура же была до ритуальности однообразна. Люди надевали калоши, пальто. Жаль было недопитого чаю, и не хотелось спускаться в холодный подвал. Прислушивались — не будет ли тихой тревоги? — зенитки били чаще и громче. Тогда люди спускались, в темноте ощупывая знакомую лестницу. В подвале у многих были привычные места, там встречали знакомых, разговаривали, дремали, иногда читали, если удавалось пробраться к лампочке; выходили к дверям покурить; ежедневно переживали радостное облегчение отбоя. После отбоя спорили — стоит ли подниматься сейчас или переждать следующую тревогу (в разные периоды были разные данные для расчетов), поднимались, иногда спускались опять; поднимались окончательно, пили остывший чай и ложились не раздеваясь. В ритуальной повторяемости процедуры было уже нечто успокоительное. В последовательность ее элементов входило нервное тиканье репродуктора, поиски калош в темноте, дремотная сырость подвала, самокрутка, выкуренная у выхода, медленное возвращение домой (чем медленнее — тем лучше, на случай повторения сигнала). Но попадание, рушащиеся своды и кровавая каша не входили в этот опыт и потому не казались реальными. Ритуал начинался звуком, сорвавшимся с диска, и кончался возвращением к дотлевающей времянке. Вот почему — вопреки всякой логике — напряжение нервов падало, уже когда человек выходил на лестницу, направляясь в убежище. Это было вступлением в процедуру, — благополучный ее конец проверялся

ежедневно на опыте. Многим даже казалось — именно процесс спуска и отсиживания в подвале обеспечивает благополучный исход; им не приходило в голову: на этот раз дом точно так же уцелел бы, если б они остались наверху, в своих квартирах. Их удивило бы это соображение, столь очевидное.

Утром люди узнавали о ночных событиях. Они смотрели на растерзанные дома, на дико растерзанное существование человека, содрогаясь от омерзения перед имевшим здесь место актом. А вечером процедура вступала в свои права.

Иногда в бомбоубежище тянулись тихие, пустые часы. Тогда казалось, что почему-то это уже невозможно, что больше уже не будет. Потом вдруг возникал круглый звук вместе с глубоким содроганием земли. Собственно, это был именно удар, круглый и тянущий вверх. Но вместе с тем он всегда казался звуком. Люди в подвале подымали головы, чтобы взглянуть друг на друга. «Положил», — говорил кто-нибудь. Мужчины вяло обсуждали — где и какого веса.

Навсегда памятное переживание опрокинутого времени. Неуследимо короткое настоящее, которое для сидящих здесь стало прошлым, прежде чем страхом дошло до сознания; а там для кого-то уже заполнилось огромным, ужасным содержанием, уже стало концом всего или началом долгой муки.

Гипертрофированный обед, ритуальное отсиживание в подвале. Предел несвободы и отрицания ценности человека. Не подвергнуться этому возможно было ценой прямого участия в войне.

Типовое отношение к бомбам, обстрелам, к смертельной опасности несколько раз изменялось, его изменяла судьба города, общегородская ситуация.

В блокадном Ленинграде мы видели всякое — меньше всего боязни. Люди невнимательно слушали свист пролетавших над головой снарядов. Заведомо ждать снаряда, конечно, гораздо труднее; но все знали, — полет его слышит тот, в кого на этот раз не попало.

Количественная градация опасности, точнее, вероятность гибели (степень вероятности) имеет решающее психологическое значение. Между гибелью несомненной и почти несомненной — расстояние необъятное. В Ленинграде опасность была повседневной, систематической, в своей систематичности рассчитанной на выматывание нервов, но статистически она не была особенно велика. Проверенная ежедневным опытом опасность от бомбежки и обстрелов уступала огромным цифрам дистрофических смертей. К этой же, медленной, смерти человек проходил совсем другую внутреннюю подготовку. Отношение к

снаряду, к бомбе в Ленинграде было, конечно, иным, чем на фронте или чем впоследствии у жителей городов, дотла выжигаемых воздушными налетами.

В Ленинграде мало кто боялся бомбежки, — только люди с особым, физиологическим предрасположением к страху. Бежать скоро стало некуда. Никто поэтому не бежал, и никто не думал: как же это я остаюсь, если все уезжают? Спокойствие стало тем всеобщим и средним уровнем поведения, несовпадение с которым труднее и страшнее реальных опасностей. Чтобы сохранить хладнокровие среди всеобщей паники, нужно быть чуть ли не героем. Но попробуйте кричать и метаться, когда все вокруг делают свое дело, — это требует особой дерзости.

Когда нормально еще работали парикмахерские, мне как-то пришлось застрять в парикмахерской во время тревоги и наблюдать, как обыкновенные девушки под звук зениток продолжали делать шестимесячную завивку, перебрасываясь, впрочем, замечаниями о том, что это очень страшно.

Успешное вытеснение возможно именно потому, что смерть недоступна опыту. Она — абстракция небытия или эмоция страха. В первом случае она принадлежит к числу непредставимых представлений (вроде вечности, бесконечности). Чтобы конкретно мыслить мгновенный переход от комнаты и человека к хаосу кирпича, железа и мяса, а главное, к несуществованию, — нужна работа воображения, превышающая возможности многих.

От большинства ленинградцев художник Х. (хороший художник) отличался страхом перед бомбежками. Он перебрался к знакомым, потому что они жили в нижнем этаже. Дочка их, лет двенадцати, заглядывала к нему, когда он беспокойно ходил по комнате: «Идемте чай пить. Они сейчас кончат» (они — это немцы). Он отвечал ей: «У тебя нет фантазии, поэтому ты не боишься. Понимаешь, надо быть очень умным, чтобы как следует испугаться».

В той мере, в какой страх смерти есть эмоция, он подвержен всем капризам и непоследовательностям эмоций. Он возникает и пропадает не по законам разума, регистрирующего объективную опасность, но в силу игры импульсов и рефлексов. Здесь я напоминаю вещи, давно уже сказанные. Например, можно проснуться в самое мирное время, у себя в постели, цепенея от ужаса при мысли о неизбежном уничтожении, и можно рассеянно и равнодушно ходить под обстрелом (в одном случае ночная, без помех, сосредоточенность, в другом — отвлечение внимания). У человека, страдающего философской смертобоязнью, нервы могут быть хорошо приспособлены к специфическим толчкам и свистам — и наоборот.

Легче иногда, идя на смертельную опасность, не думать о смертельной опасности, нежели идти на службу и не думать о полученном выговоре в приказе. Нет другой области, в которой с такой наглядностью обнаруживалась бы мощь социального давления.

С древнейших времен и до наших дней слово *трус* — магическое слово. Можно бояться насморка, но смерти бояться стыдно. Как удалось внушить такое человеку, с его волей к самосохранению, воспитать его в этом? Вероятно, удалось потому, что иначе существование общества, государства вообще невозможно и сюда была брошена вся сила внушения.

Вот рассказ М., женщины средних лет; в начале войны она работала в каком-то ленинградском учреждении машинисткой. Постепенно все уезжали. Ее учреждение, как и некоторые другие, формально еще функционировало. С начала войны у них были заведены ночные дежурства сотрудников в кабинете директора — на всякий случай. Восьмого сентября дежурила М. Каждый раз, около 20-ти часов, немцы педантически напоминали о себе безрезультатной тревогой. Это стало уже распорядком дня. М. взяла с собой книгу; потом можно будет прилечь на диване, подремать до утра. В 20 часов — тревога. Это привычно; кончится, и можно будет прилечь. Но вдруг что-то новое, никогда не испытанное. Не то звук, не то толчок, звук — он же толчок. Тяжело содрогнулся пол, на потолке закачалась лампа. Еще, еще раз. Если бы не затемнение, было бы видно зарево Бадаевских складов, горевших с хлебом Ленинграда. Первые бомбы первой бомбежки падали поблизости от учреждения. Учреждение было сугубо штатское и в те дни уже никому не нужное. Но дежурный должен дежурить у директорского телефона на случай — чего? — вероятно, указаний. М. стояла посреди кабинета; тремя этажами ниже помещалось бомбоубежище. Опять содрогнулся пол. А на суконно-бронзовом директорском столе молча стоял телефон. Уход от него — трусость, антигражданственность. Мысли о трусости, боязнь обнаружить трусость и одновременно мысль о никому не нужной опасности так всецело ее занимали, что настоящий физический страх она не успела почувствовать. Она вышла на площадку внутренней лестницы и вернулась, вышла еще раз и вернулась, чувствуя, как смертный страх, самозащита крепко зажаты оцепенением. В директорском кабинете нервно тикало радио. Защищаясь от одиночества, от какого-то нового качества тоски, М. бесцельно сняла телефонную трубку. Соединения не последовало. Абсолютная беззвучность — значит, линия где-то уже повреждена. Тогда она сошла вниз. У входа в убежище теснилось несколько человек. Один с наскоро

перевязанной головой. Это прибежали с соседней улицы, из первого разбомбленного дома. По коридору сновал сослуживец, начальник местной дружины ПВО. Он готов был ко всему, в том числе к смерти. «Почему вы не на местах? Все по местам! Вы что здесь делаете?» — «Телефонная связь прервана…» Но он не слушал ее, он кричал, пробегая дальше по коридору. Он вообще не имел права ей приказывать, никто не мешал ей спуститься в подвал. Но она не спустилась. Дом опять дернулся и содрогнулся. Она медленно поднялась наверх, в директорский кабинет и потрогала рукой неживой телефон. Дотронувшись до телефона, вспомнила, что нельзя позвонить домой (в сентябре еще действовали частные телефоны), что муж, может быть, уже знает, что бомбили в этом районе. Стало тихо. Почему-то часто мигал потускневший свет. Она медленно спустилась по лестнице. Не в убежище, а так — постоять в нижнем коридоре.

Настоящий страх она пережить на этот раз так и не успела. Настоящий страх вытесняет все остальное как несущественное. Она же слишком была занята другим — мыслями о том, как бы не обнаружить страх и сделать то, что все делают, или о том, как ненужно то, что все и она делают в уже ненужном учреждении.

Рано утром она возвращалась домой; на смежной улице тесно стояла кучка людей. Молча, внимательно они рассматривали воронку в асфальте, свою первую воронку.

Люди с Большой земли, попав в Ленинград, терялись. Они спрашивали: «Почему это у вас никто не боится? Как это сделать так, чтобы не бояться?» Им отвечали: «Прожить здесь полтора года, голодать, замерзать… Ну, объяснить это нельзя».

Одной привычки мало. Привычка лишь ослабляет импульсы страха и самосохранения, помогает их подавлять, замещать другими. Для этого надо было обзавестись другими импульсами, всепоглощающе, всеподавляюще сильными в своей первозданности.

Блокадный человек осени сорок первого года сменился человеком зимы сорок первого — сорок второго. Вот этот человек идет по улице во время обстрела. Он знает, что это очень опасно и страшно. Но он идет в столовую обедать. И вместо того чтобы бояться, он раздражается (не дадут даже спокойно пообедать…); вместо того чтобы бояться смерти, он боится, что его по дороге задержат, остановят, загонят в укрытие, чтобы он не подвергал свою жизнь опасности. Возможность гибели существует в сознании этого человека, но его непосредственное переживание — голод и в особенности страх голода и голодная торопливость, слепо устремляющаяся к цели. Можно одновременно осознавать

разные вещи, но нельзя их одновременно с равной силой желать.

Человек просыпается ночью по сигналу тревоги. Надежда на *тихую* тревогу непродолжительна. Все ближе бьют зенитки. Какой резкий удар зенитки! Или это уже бомба? Он уже не думает о том, чтобы встать, отыскать калоши и идти в промерзающий подвал. Он думает, что не следует засыпать. Не хочется, чтобы *это* случилось во сне. Он не хочет проснуться среди падающего на него мира с тем, чтобы в кратчайшее, тут же гаснущее мгновение пережить свою гибель. Лучше — с подготовкой. Лучше лежать, прислушиваясь к приближающимся ударам. Лучше введение в катастрофу. Он думает о том, что не следует засыпать, но через несколько минут он засыпает, потому что устал.

Происходящее очень страшно. Вот сейчас, в любое мгновение, прежде чем он успеет натянуть одеяло, прежде чем он выдохнет дыхание, сейчас расширяющее ему грудь, — вот сейчас известная ему действительность может смениться другой, неимоверной — воющей, звенящей, из предельного страдания падающей в небытие.

Все это так, но он не в силах бояться. Ему хочется спать. Ему удивителен тот человек, каким он был сначала. Тот человек просыпался в час, в два часа ночи от звука тревоги. Звука было достаточно, чтобы мгновенно оставить разогретую постель ради промерзлого подвала. Это была наивная цельность и свежесть инстинкта самосохранения, еще не разъеденного усталостью и непрестанной борьбой со страданием. В итоге этой борьбы — разогретая телом постель, тело, спокойно лежащее в постели, стали благом, стали желанием, которое не мог уже пересилить интеллектуальный материал страшных представлений.

Я знаю, что это страшно. Я хочу жить. Если это случится, то последнее сознательное мгновение будет проклятием моему безрассудству. Я знаю, что нужно бояться и принимать меры. Но я не боюсь и не могу бояться, потому что мне хочется спать.

Человек лета 1942 года… В его реакциях появились новые оттенки. Сейчас это уже только привычное напряжение нервов; оно исчезает вместе с вызвавшим его раздражителем. Минута отбоя — своего рода физическое удовольствие, легкость, как после внезапно прекратившейся зубной боли. Отсюда эти странные со стороны переключения, странные своей быстротой. Вот они прислушивались к смерти, а вот уже болтовня, редакционные сплетни, у оживающих женщин намерения достать чулки, переделать платье.

В нервной реакции уже не участвуют ни стойкие чувства, ни воображение, ей не противостоит сознательная воля. Все это успели переработать могущественные импульсы

сопротивляемости. Те, в ком не работают эти импульсы, оказались на положении больных.

Почему самым сильным врагом сопротивляемости (немцы это понимали) был голод? Потому что голод перманентен, невыключаем. Он присутствовал неотступно и сказывался всегда (не обязательно желанием есть); мучительнее, тоскливее всего во время еды, когда еда с ужасающей быстротой приближалась к концу, не принося насыщения.

Назначение утреннего выхода на улицу — магазин. Продовольственный магазин заменяет и булочную. На дверях даже висит объявление: «Магазин торгует хлебом». Уж не зазывает ли он покупателей? В магазине сейчас пустовато и тихо. Продавщицы в белых спецовках, на полках блестит бутафория, раздражающая покупателей, то есть прикрепленных, а на прилавке расставлены еще не выданные продукты, которые нельзя купить.

Сейчас это как-то похоже на жестокую прибранность амбулаторий; охраняя человека, они возбуждают в нем злобу и страх неумолимостью своего механизма. И человек, холодея от белых коридоров, от белых халатов, от щемящего сердце запаха, от страшных металлических штучек под стеклом, — ненавидит уже не болезнь, но то, что хочет его спасти от болезни.

Магазин с его незыблемыми законами (он не примет оторванный талон, он не отпустит хлеб на послезавтра) — это неплохо организованное недоедание. В хлебном отделе на полках плотно уложены аккуратные буханочки. Их так много, они так тепло пахнут, продавщица так лениво снимает их с полки — никаких внешних признаков их запретности. Хлеб лежит, цена его один рубль двадцать пять копеек или один рубль десять копеек кило, норму вы получите без очереди, без всяких усилий… Но он — табу. Это почти иррационально.

Зимой все, напротив того, было логично. В магазине стояла тьма, непроходимая теснота, гул голосов, угрожающий и молящий. Продавцы из-за прилавка боролись с толпой. Зимой были дни, когда окончательно замерзли в городе трубы и воду возили из проруби. Пекарни стали давать меньше нормы. С четырех, с пяти утра, в темноте, на морозе, сотни людей стояли в очереди за хлебом. Человек вспоминает вдруг, как он стоял в первый раз. Стоял и думал о том, что достигнуть цели все равно невозможно, невероятно (он не ел ничего со вчерашнего супа). Но тут же он думал, что даже если этому предстоит продолжаться еще пять, шесть или семь часов, то все-таки время всегда идет и непременно пройдут эти пять или шесть часов — какой бы

мучительной неподвижностью они ни наполнились для отдельного человека, — что, значит, время само донесет его до цели. Булочная была тогда на углу, а до булочной — заколоченный досками магазин с длинной вывеской: *мясо, зелень, дичь*. За полтора часа он прошел слово «мясо», он прошел «зе» и надолго застрял под буквой «л». В очереди материализовалась огромная идея куска хлеба, а вывеска воплотила инфернальное томление очереди.

Теперь все до удивления просто (оно подобно удивлению человека, который настроился поднять полный чемодан, а поднял пустой). К хлебу можно протянуть руку через прилавок. Мешают этому только общие понятия, абстрактное социальное табу.

Хлеба зимой могло не хватить (потом это опять наладилось), очереди имели смысл. Но были и другие очереди — порождение голодного безумия. В день объявления выдачи жиров и «кондитерских изделий» часам к пяти утра у магазина уже стояла толпа. Люди претерпевали все муки многочасовой очереди, зная, что в десять-одиннадцать в магазине будет уже пусто. Психологически невозможно спать или заниматься любым другим делом, просто существовать, не включаясь в процесс приближения к жирам и кондитерским изделиям — с того момента, как они стали возможностью.

Очередь — собрание людей, обреченных на принудительную праздную и внутренне разобщенную общность. Праздность, если она не осмыслена отдыхом, развлечением, — страдание, кара (тюрьма, очередь, ожидание приема). Очередь — сочетание полной праздности с тяжелой затратой физических сил. Особенно плохо переносят очередь мужчины, привыкшие к тому, что их время оценивается. Дело даже не в объективном положении вещей, а именно в наследственных навыках. Работающие женщины унаследовали от своих бабок и матерей время, которое не учитывается. Быт не дает заглохнуть этому атавизму. Мужчина считает, что после работы он должен отдыхать или развлекаться; вернувшаяся с работы женщина работает дома. Блокадные очереди вписались в многолетний фон выдаваемого, доставаемого, в привычную раздражительность и привычное женское терпение.

Зато почти каждый из появляющихся в магазине мужчин пытается пролезть к прилавку без очереди. Мужчины не могут объяснить, откуда у них это чувство внутренней правоты при внешней явной неправомерности поступка. Но они твердо знают: очередь — это бабье дело. Может быть, им представляется смутно, что справедливость их притязаний основана на том, что их в очереди так мало. Они, впрочем, не мотивируют; они либо

хамят, либо произносят классическую фразу: «Спешу на работу». — «А мы не спешим на работу?! (Обязательно *мы*; мужчина в очереди чувствует себя случайным индивидом, женщина — представителем коллектива.) Все теперь спешат на работу», — сердится женщина с портфелем. Мужчина воровато прячет уже полученный хлеб. Сказать ему нечего; но про себя он знает: пусть она в самом деле работает столько же, сколько и он, больше, чем он, но отношение к времени, к ценности, употреблению и распределению времени у них разное. И его отношение дает право получать хлеб без очереди. Продавщица, как лицо не заинтересованное, это понимает — обычно она поощряет претензии мужчин.

В очередях крайне мало людей, читающих книгу, даже газету. Это удивляет только никогда не стоявших в ежедневных, многочасовых очередях. В психологии очереди заложено нервозное, томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию пустующего времени; томление вытесняет все, что могло бы его разрядить. Психическое состояние человека, стоящего в долгой очереди, обычно непригодно для других занятий. Интеллигент наивно взял с собой книгу, но он предпочитает следить за ходом вещей. Пробравшись сбоку к прилавку, он смотрит, как продавщица отпускает впереди стоящим. Внутренней судорогой проталкивания он отзывается на замедление ее жестов (если продавщица на мгновение отошла от прилавка — это мучит, как внезапная остановка поезда), или удовлетворенно включается в четкий ритм ее работы, или ликует по поводу случайно выигранного времени (например, кому-нибудь суют его карточки обратно — не прикреплен он к этому магазину).

Человек впадает в подлинную истерику из-за одного вклинившегося перед ним претендента, а потом, уже получив выдачу, тот же человек тут же полчаса разговаривает со знакомым, но уже разговаривает как свободный, как находящийся здесь по своему усмотрению. Пока он в очереди, он, как и вся очередь, охвачен физической жаждой движения, хотя бы иллюзорного. Задние кричат передним: «Да продвигайтесь вы, чего застряли!» И какой-нибудь резонер, не понимающий механики душевных состояний, непременно откликнется: «Куда еще продвигаться? — от этого быстрее не будет».

Зимние дистрофические очереди были жутко молчаливы. Постепенно, с ростом хлебного пайка, с весенним теплом и появлением зелени (люди покупали и варили ботву) повадки очереди менялись. Очередь стала разговаривать. Человек не выносит вакуума. Немедленное заполнение вакуума — одно из

основных назначений слова. Бессмысленные разговоры в нашей жизни имеют не меньшее значение, чем осмысленные.

Ход разговора в своем роде детерминирован, но эти пружины скрыты от разговаривающих. Субъективно они совершают акт почти независимый от сопротивления объективного мира, тяготеющего над каждым *поступком*. Разговор — свободный эрзац подвластного закономерностям действия. Он смутный прототип искусства, тоже особая действительность, и человек сам создает и сам разрушает предметы, ее населяющие.

Разговор — макет страстей и эмоций; любовь и тщеславие, надежда и злоба находят в нем призрачное осуществление. Разговор — исполнение желаний. В разговоре за чашкой чая или бокалом вина берутся неприступные барьеры, достигаются цели, которые в мире поступков стоят многих лет, неудач и усилий.

Разговор — разрядка, и он же объективация вожделений, ценностей, идеалов, способностей и возможностей, познавательных, эстетических, волевых. Прежде всего разговоры с ближним — сильнейшее средство самоутверждения, заявление о собственной ценности. Высказывание реализуется, получает социальное бытие — это один из основных законов поведения.

В своем диалоге с ближним человек утверждает себя прямо и косвенно, лобовыми и обходными путями — от прямолинейного хвастовства и наивного разговора о себе и своих делах до тайного любования своими суждениями о науке, искусстве, политике, своим остроумием и красноречием, своей властью над вниманием слушателя. Самоутверждение скрылось в объективно интересном, ушло в информацию или в эстетически значимое. Иногда информация — только предлог, иногда самоутверждение лишь сопровождает информацию. Так или иначе, самоутверждение — нетленная психея разговора.

Есть ситуации — экзистенциалисты называют их пограничными, — когда, казалось бы, все должно измениться. На самом деле вечные двигатели продолжают свою великую работу (это открыл Толстой). Только скрытое становится явным, приблизительное — буквальным, все становится сгущенным, проявленным. Таким стал разговор блокадного человека — в очередях, в бомбоубежищах, в столовых, в редакциях.

Очередь — принудительное соединение людей, друг против друга раздраженных и в то же время сосредоточенных на общем, едином круге интересов и целей. Отсюда эта смесь соперничества, вражды и чувства коллектива, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против общего врага — правонарушителя. Разговоры развязаны здесь вынужденной праздностью и одновременно связаны определенностью

содержания, прикреплены к делу, которым занимается очередь.

Дело добывания пищи, понятно, требует высказываний коммуникативного назначения (Кто крайний? По какому талону? До какого талона? Есть ли сегодня конфеты «Южные»? Правда ли, что конфеты «Иран» в бумажках? — тогда это невыгодно!) и высказываний, посвященных борьбе с правонарушителями. Формально они также коммуникативны (установка на практический результат). На самом же деле практический элемент в них ничтожен, как ничтожна для домохозяйки ценность времени, которое уйдет на лишнего затесавшегося в очередь человека. Незначительно в ее душевном обиходе и правовое чувство, к которому она взывает. Практическая направленность подобных реплик — прикрытие для разрядки раздражения, нетерпения, всех накопившихся аффектов. Их эмоциональная суть подтверждается немотивированной грубостью и злобой в ответах на безобидные вопросы: «Не знаете, до какого талона по рабочей?» или: «А как вы их приготовляете?» — «Вы что, в первый раз получаете?», «А вы что, никогда не готовили?» (Здесь проступает подозрение, не имеешь ли дело с барыней, считающей, что она для этого не предназначена.) Зимой никого ни о чем нельзя было спрашивать, любой вопрос был вожделенным предлогом для дикого, разряжающего злобу и муку ответа. В лучшие времена, наряду с грубым ответом, встречается ответ словоохотливый и обстоятельный — отвечающему нравится роль руководителя и советчика.

Но душа очереди в другом разговоре, заполняющем вакуум бездействия, круто детерминированном и иллюзорно свободном. Разговор о еде (о жизни и смерти) — в незатейливой оболочке профессиональных интересов домохозяек.

Для интеллигентов, для молодежи, даже вообще для мужчин — это свежий разговор, с которого только что снят запрет; они создают в нем какие-то новые неловкие и выразительные обороты. Они не в силах от него удержаться, но стыдятся его как признака деградации. Для домохозяйки это продолжение ее исконного разговора. Для домохозяйки предвоенного времени не новы ни очереди, ни карточки, ни вопрос «Что дают?». Так что фразеологию не пришлось обновлять коренным образом.

Все же кое-что изменилось. Во-первых, этот разговор вытеснил все другие ее профессиональные разговоры (о школе, о покупках, о домработницах). Во-вторых, разговор, на котором тяготело презрение мужчин и деловых женщин (особенно молодых), с которым ей запрещено было соваться к умникам, — разговор этот восторжествовал. Он приобрел всеобщую социальную значимость и значительность, оплаченную страшным

опытом зимы. Он, разговор о том, что пшено лучше при варке не солить, потому что тогда оно лучше *доходит*, — стал разговором о жизни и смерти (пшена ведь становится больше). Сократившись в объеме (блокадная кулинария), он обогатился перипетиями одолеваемых трудностей и разрешаемых задач. И, как основной для данной жизненной ситуации, он вобрал в себя всевозможные интересы и страсти.

Когда эта очередь ведет разговор о еде, в нем содержится все: эмоциональная разрядка в попреках и сетованиях, и познавательное обобщение в рассуждениях о наилучших способах добывания, приготовления, распределения пищи, и рассказывание «интересных историй», и всяческое самоутверждение. Тут и заявление своего превосходства над другими все в той же области добывания, приготовления, распределения пищи, и в том же плане просто рассказ о себе, о своей личности, со всем, что к ней относится и ее касается, — психологические наблюдения, фактические подробности, вплоть до простейших констатаций:

— А у нас в столовой появились щи без выреза, только очень худые…

— Ну и что ж, что тюлька. Я их пропущу через машинку с маслицем. Муж придет, покушает. Все-таки приятно.

Прямое утверждение своих достижений. А *маслице, покушает* — ласкательные формы в применении к самому насущному.

— А как вы ее варите?

— Щи варю. Как всякую зелень. Можно подумать, что вы не знаете…

Это грубость на всякий случай, профилактическая. Что, если вопрос задала белоручка, считающая, что она выше этого… тем самым выше отвечающей на вопрос.

— Лично я стала оживать, как только появилась зелень.

— Мы тоже с самого начала варили лебеду, крапиву.

— Нет, я крапиву употребляла исключительно сырую. Совершенно другое самочувствие.

Староинтеллигентские обороты (лично я, исключительно, самочувствие), наложенные на содержание, общее для всех в очереди стоящих. Прямой разговор о себе и разговор о еде — для интеллигентов с них снят запрет. Все же тема слегка замаскирована имеющим общий интерес самонаблюдением или поучением собеседника.

— Мы опять там прикрепились. И, знаете, так хорошо дают. Сестра вчера принесла две порции супу, так буквально полбанки у нее риса.

Факты общего значения, а в качестве личной, подводной

темы — демонстрация достижений.

— Ой, вот я хлеб начала. Теперь боюсь — не донесу до дому.

— Никогда нельзя начинать.

Третья женщина (стоит за кондитерскими изделиями):

— Спокойнее всего, когда с ним покончишь. Пока оно есть, так тянет, как магнит. Как магнит.

— Пока не съешь, не успокоишься. И забыть о нем нельзя.

— Как магнит, тянет.

— Я уж, знаете, конфеты по сто грамм выкупала.

— А полкило хлеба, с маслицем — сразу и конец. Прямо страшно его домой нести.

Удовлетворение разговором о себе дублируется удовлетворением от интеллектуальных процессов. Самонаблюдения, переходящие в обобщение опыта. «Никогда нельзя начинать» — это уже сентенция; «как магнит, тянет» — художественный образ.

— Ну вот, это мы с ребенком и съедим.

— На один день?

— Какой день? На один миг. Раньше-то двести граммов масла на день брали.

— Да, на троих как раз.

— Мои-то раньше были не дай бог. Вдруг гречневой каши не хотят. Свари им овсянку. И суп овсяный, и кашу. Я им говорю: уж одно из двух — либо суп овсяный, либо кашу… Нет, вари им и то, и другое. Ладно, сварю овсянку…

— А мой мальчик — семь ему, но они теперь насчет еды все понимают. Как объявят по радио детскую выдачу, — он все слушает. Сахар там детям до двенадцати лет… Он говорит: мама, это мой сахар, я тебе не дам. А я ему говорю: а я тебе не дам конфет.

Рассказ о себе, о своей семье; именно о том, как семья ела, — отсюда его всеобщий, объективный интерес. Что и подтверждается вопросительной репликой собеседницы («На один день?»). У рассказа о том, как раньше ели, есть подтекст самоутверждения: насколько я и мои были и можем быть выше вещей, сейчас властвующих над нами. Ответная реакция показывает понимание; означает, что собеседница тоже выше и принадлежит к тому же кругу, именно кругу людей, которые брали двести граммов масла в день на троих.

Семья так хорошо жила, что дети в порядке чудачества (с жиру, как прежде господа ели ржаной хлеб) требовали не лучшего, а того, что похуже, — вот подводная тема рассказа о гречневой и овсянке.

Дальше на новом и страшном материале вечный женский

разговор о детях. Рассказ о мальчике, который все уже понимает «насчет еды», имеет отчасти сюжетный, художественный интерес; но главное — подразумевается, что это развитой не по летам мальчик, который не пропадет и который уже действует как взрослый, но с милой детской наивностью. Но этот приспособленный к жизни ребенок тут же терпит поражение. Потому что собеседница говорит вдруг о другом мальчике, который тоже поступал как взрослый:

— Нет, а мой мальчик, который умер, — тот все делил. Удивительно. Мы с отцом не можем терпеть. А он спрячет конфеты в карман. Похлопает по карману и говорит: сейчас нельзя больше. И такой был не жадный. Свое отдавал. Говорит: мама, ты ведь голодная, возьми от моего хлеба.

Зимой людьми, подходившими к этому прилавку, владела одна всепоглощающая страсть. Они почти не говорили; с маниакальным нетерпением они смотрели вперед, через плечо соседа на хлеб. Сейчас не то; но и сейчас у самых весов прекращаются посторонние разговоры. Шея вытягивается. Напрягаются мускулы лица. Покупатель вступает в контакт с продавцом. Оба молча, сосредоточенно борются за грамм недовеса или перевеса. Человек у прилавка смотрит, как продавщица непринужденно берет с полки буханочку, как разрезает корку, вскрывая красивую шоколадного цвета мякоть. Она отрезает или добавляет прямоугольные плотные кусочки, они лежат тут же на доске, их нельзя взять и съесть. Табу. Весь огромный общественный механизм ограждает эти кусочки от тянущейся к ним человеческой руки. Больше между ними сейчас нет ничего — ни замков, ни милиции, ни очереди. Только великая абстракция социального запрета.

Внимание человека пригвождено к автоматическим весам с движущейся стрелкой. Отчасти потому, что его могут обмануть, главным образом потому, что он переживает иллюзию участия в жизненно важном процессе взвешивания. Нечто вроде игры на бегах, когда каждый бежит вместе с лошадью, уносящей его ставку, — хотя он неподвижен и бессилен повлиять на исход состязания. Стрелка делает первое размашистое движение, и, все сокращая охват, долго качается на фоне белого диска, ищет среди цифр себе место. Вот заехала за нужную цифру, — это всегда неприятно: значит, продавщица непреклонным жестом отрежет прямоугольник от лежащего на весах куска. Хорошо, если стрелка не дотянула: значит, еще не все. Значит, будет еще кусок, может быть, довольно большой… нет, совсем маленький; странно, что такой маленький может выровнять стрелку. Психическое

соучастие в процессе взвешивания хлеба сопровождается какой-то абсурдной и обреченной надеждой — что вот сегодня кусок почему-то будет больше, чем всегда. Если продавщица сразу угадывает вес — это бесперспективно. Если довесок большой — тоже нехорошо, потому что до дома его нельзя трогать — такова блокадная этика. Лучше всего маленькие довески, которые как бы в счет не идут и по обычному праву на месте принадлежат получившему хлеб (даже если дома семья). Удачно, если их два, совсем маленьких. Довесок съесть можно, но отломать от пайка кусочек — крайне опасно; так по кусочку съедают все, не донеся до дома, до завтрака. И вместо завтрака дома будет только голодная скука. Лучше уж аккуратно отрезать ломтик ножом. Это сохраняет пайку непочатость первоначальной формы, прямую поверхность разреза — его защитный покров.

Зимой трамваи выходили из употребления постепенно. В городе говорили: «Вот, сегодня уже нет тока; притащился пешком с Петроградской». На другой день трамваи кое-как шли. Никто не думал, что это конец. Как-то они не ходили несколько дней, а потом трамвай вдруг догнал Эна по дороге и подвез. Потом все это кончилось, и со временем дело дошло до мостовых, покрытых ледяной корой, под которой нельзя было вообразить трамвайные рельсы, до вмерзших в мостовую троллейбусов. Они стояли у берега тротуаров с приспущенной дугой.

Бег по кругу был самым конкретным бегом — от дома к учреждению, от учреждения к столовой, от столовой к столовой, от второй столовой в учреждение…

В апреле город откапывал трамвайные рельсы. Эн тоже откапывал со своим учреждением. К трамваям Эн долго не мог привыкнуть. Ему все казалось, что это нечто ударно-показательное, чем практически пользоваться нельзя. Он с удивлением смотрел на людей, которые всерьез, деловито, как будто с трамваями ничего не происходило, тискались у дверцы и кричали: «Куда вы лезете!» Он еще продолжал ходить пешком, объясняя это тем, что давка, что долго ждать и проще дойти пешком. На самом же деле окостеневшее бытие выталкивало новый элемент. За время перерыва в трамвайном сообщении оно успело твердо сложиться из серии повторяющихся рефлекторных жестов.

Потом он попробовал — оказалось, этим можно практически пользоваться. И он сразу стал крайним приверженцем трамвайного передвижения. В его рационализаторских размышлениях о быте это определялось как наименьшая затрата физических сил. На самом деле важнее было другое — так

противно представить себе пространство, отделяющее от цели и которое шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать своим телом. Легче было ждать. Ждать приходилось долго.

С остановки он шел на угол, откуда виден поворот. С усилием близорукого человека он вглядывался, принимая вдруг за трамвай ворота поперечного дома, или листву дерева, или ряд окон в стене. Чуть ближе дорогу пересекала другая трамвайная линия. Это обманчиво; но хорошо, что даже чужие трамваи ходят позванивая, — значит, ходят. Трудно разобрать, какой это появился трамвай, — темно-красный массив трамвая уже несомненен — может быть, опять поперечный. Но он уже явственно заворачивает мордой вперед и тащит свой корпус по полукругу.

Поездка в трамвае — один из лучших, подъемных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос. Среди всех упорствующих вещей, ушедших из-под нашей власти, среди вещей, которые надо двигать и поднимать собственными мышцами, собственной волей, — вдруг одна послушная вещь, служащая тебе механическая сила.

Ежедневно Эн с удовольствием возобновляет забытый было автоматизм движения, которым человек, взявшись за поручень, слегка откинувшись, вталкивает себя на площадку. Он остается на площадке. Ему сейчас вовсе не хочется заниматься рациональным сохранением своих физических сил (для этого следовало бы сесть). Ему хочется переживать чудесное механическое движение, совершаемое им, за него, для него. Враждебный мир на мгновение обманут; из него вырван клок.

Рядом на площадке стоят два красивых, очень молодых краснофлотца в бескозырках. И подрагивающая площадка вдруг представляется Эну палубой; на ней кто-то стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы, с папироской в зубах. Соленый ветер дует в лицо. Трамвай идет, подрагивая, позванивая на остановках. Он сам, без содействия пассажиров, отодвигает улицу дальше и дальше. Низкая рама стекла легко перерезает дома, разбомбленные и неразбомбленные, недействительные вывески, постовых милиционеров. Мгновенье она несет в своем кадре пешеходов и оставляет их на дороге.

Движение — позванивающее, подрагивающее, успокаивающее торопливость.

И вдруг тревога. Обстрел. Надо выходить из трамвая. Эн заходит в подъезд. В этом доме он когда-то довольно часто бывал, у знакомых. Они тоже уехали. Несколько ступенек ведут там к площадке с большими окнами. Это нехорошо, зато есть

подоконник, на котором можно посидеть.

В подъезде собрались уже люди.

— Начинается, — говорит кто-то.

Появилась дежурная по дому:

— Отойдите от окон, пожалуйста. Пройдите сюда.

— Чем же здесь лучше? Тоже окна.

Слышен близкий разрыв.

— Идите вниз, товарищи.

— Вы куда стали, барышня? Под самое окно. Незачем выставляться.

С улицы всё заходят. На лестнице уже довольно много народу.

Ругают фрицев. Женщина на подоконнике очень громко, увлеченно рассказывает другой — как она ест. Она не ест в столовой, потому что там обманывают, а дома можно приготовить гораздо вкуснее. Подробный рассказ о том, как она даже сейчас вкусно готовит, так что все восхищаются.

Двое мужчин, довольно молодых, спорят о силе поражения осколком и о том, пробивает ли он одну капитальную стенку или две. Мужская тенденция к обобщениям, особенно к обобщениям технического порядка. Один из них, поглупее, путано рассказывает про дом, разрушенный двумя снарядами полгода тому назад. Ему хочется рассказывать об этом, потому что он сам в этот момент чуть не зашел в булочную в том доме и только по счастливой случайности зашел в другую. Ему еще до сих пор хочется рассказывать об этом. Но он уже облекает это сообщение в форму объективно значимых рассуждений о пробивной силе снаряда.

Одна девушка другой:

— Пускали бы, я бы пошла. А то так — одно томление.

— Пускают.

— Да нет, далеко не уйдем.

— Тут как раз место такое, милиция кругом. Да, не ходите. Тут что вчера было…

— Нет, пошли бы лучше к тебе, в подвале бы посидели.

— В каком подвале?

— В твоем.

— Он не мой. И ключа нет.

— У тетки нет?

— У меня нет.

— До чего я устала. Прошлую-то ночь не спала совсем. А с шести опять рабочий день. Ой, не могу стоять больше. Пойдем на лестнице посидим. Есть у тебя газета?

— Какая газета?

— Подстелить.

— Чего подстилать, садись.

— Нет, так — как же это садиться?

— Собрание-то у вас провели?

— Нет еще. Эх, я думаю иногда, знаешь: что сейчас надо — трамвай пускать надо. Аварии исправлять надо. А остальное…

— Так ведь ты и трамвай не пустишь, и ничего. Если народ не будет мобилизован, в готовности. Если не поговорить с людьми.

— Да, это верно…

— Ну, как ты устроилась?

— Ну их. Не хочу я с ними. Я у Игнатьева попросила разрешения перейти, а он мне говорит с такой с насмешкой: вам тут не нравится? Хотите, могу вам предоставить кухню отдельную.

— Может быть, это и лучше.

— Что же лучше? Сырость там, темно, крысы. Кухня есть кухня.

Разговоры усталых, до точки дошедших людей. Они говорят об этом, но они продолжают работать. И, главное, они знают, что нужно работать. И эти две девушки знают, что нужно держать людей в готовности. Это внутреннее согласие.

В квартире налево, где Эн когда-то бывал, в маленькой комнате живет портниха. Она не уехала. Она выходит на лестницу, провожая заказчицу. У заказчицы явно литерные карточки. Такой у нее вид (может быть, актриса?), вот она и заказывает…

*Заказчица:* — Что на улице? Радио что?

*Портниха:* — Ничего. Скоро песни петь будет…

*Заказчица:* — Теперь это наши стреляют. Не беспокойтесь. То стреляют, то песни поют. Комедия.

— Так и живем. И живем и умрем. Нет, уж я скажу — смерть к нам приближается медленно, но верно. Конечно, теперь на других-то фронтах хорошо. На харьковском. Но нам-то больше всех достается, и никакого нам не видно конца…

— Ужас! И самое ужасное, что люди стали на себя не похожи. Отупели, очерствели. Болото стоячее.

— Ну, вы живой человек…

— Я живой человек! Какой я живой человек? Разве я могу на что-нибудь реагировать. Два года тому назад, десятого сентября, я хорошо этот день помню, — первые бомбы упали на нашу улицу. Через два дома. Я думала — с ума сойду. Когда я утром вышла и увидела эти стены, осколки, этот дом разрушенный, я так плакала, я рыдала от горя — вот тогда я была живой человек. Я ушла из дому и три дня не приходила домой. Ночевала у себя

на работе на столе. Мне казалось — если я вернусь и еще раз увижу этот дом, я с ума сойду. А потом что… Потом я по улице через трупы шагала. Вот так. И мне было смешно, что они такие закутанные. И головки у них качаются. Не то человек, не то кукла. Я всегда больше всего боялась пережить кого-нибудь из близких, всегда думала — как это будет. А потом как я бабушку равнодушно похоронила. Я ведь ее мамой называла. Ну, конечно, поплакала, ничего не скажу.

— Ваша бабушка такая славная была старушка. Чистенькая, аккуратненькая. Я ее все в переулке встречала.

— Чудная была бабушка. Смешная. Она когда-то представить себе не могла, как это можно выйти замуж без лисьей шубы.

— Как же, приданое шили.

— У нее ротонда была. Я помню.

Стоящая рядом девушка:

— А какая она, ротонда?

— Они без рукавов. Набрасывались, как плащ. А зачем даме рукава были? Зачем ей руки? Корзины, что ли, она носила? На улицу выходила только чтобы покрасоваться. Завернется в бархатную эту ротонду — легкое все, на лисьем меху. И пробежится. Очень бабушку я любила. А вот умерла бабушка — и ничего. Нет, я одеревенела, одеревенела. Не человек, а грязная вода. Болото. Такое ко всему равнодушие. Такое равнодушие.

*Девушка:* — Мы такие потому равнодушные, что знаем, что каждую минуту можем умереть. Потому мы такие равнодушные.

*Портниха:* — Знаете, не могут же люди два года подряд на все реагировать. На фронте не может человек нормально реагировать на смерть, на гибель товарищей.

*Заказчица:* — Вы не думайте. Они очень там даже реагируют; гораздо больше, чем мы. Я ведь была на самом переднем крае. Мы там в палатке сидели, так когда сверху начали крыть — здорово все рвалось, так начпрод там был — молодой человек — испугался, убежал и спрятался в сене.

— А вы?

— А я осталась. Всю ночь просидела. Я им сказала: я дистрофик. Мне что. У меня осталась полная палатка консервов, хлеба, сахару. И вестовой — Коля — со мной. Он каждую минуту спрашивал: «Вам налить, барышня? Вам положить?» Там был еще капитан. Пожилой. Молодец — ничего не боялся. Он выйдет, отдаст распоряжение. Потом придет, полежит, выпьет водки. Утром мы над этим начпродом так смеялись. Нет, вы не думайте, они очень даже реагируют. Ну, пойду я.

— Вы не боитесь?

— Чего бояться? Сяду в трамвай и поеду.

— Вы не боитесь, что вдруг трамвая не будет?

— А, я ничего не боюсь. Я хотела бы уж чего-нибудь испугаться.

Портниха ламентирует, заказчица занята построением собственного образа, обе с вожделением говорят о дамах в ротондах, которым не нужны были руки. А все же нет у них несогласия с происходящим. Они лично могут жаловаться и уклоняться, но их критерии и оценки исторически правильны. Они знают, что надо так, потому что нельзя иначе. Их критерий: Гитлер — мерзавец, немец — враг, и его надо уничтожить. Капитан — молодец, потому что не боится. И сама я молодец (невзирая на все дистрофические мотивы), потому что не испугалась и осталась в палатке, пусть для того, чтобы доесть консервы, — не в этом суть. А начпрод, который спрятался, — дрянь.

Так в сбитых с толку, вожделеющих легкой жизни женщинах, как в кривом зеркале, отражается общая воля. И эта женщина, утешающаяся ролью дистрофической истерички, бессознательно делает свое дело — тем, что пришла сюда заказывать платье, как можно более красивое, и тем, что пойдет сейчас на простреливаемую трамвайную остановку.

И все столпившиеся здесь люди — в том числе ламентирующие, ужасающиеся, уклоняющиеся, — повинуясь средней норме поведения, выполняют свою историческую функцию *ленинградцев*.

Задыхаясь вбегает пожилая женщина с молодой дочкой и маленькой внучкой.

— Что же это, безобразие какое! Все парадные на замке. Бежим от самого моста, и все парадные заперты. Разве можно? Безобразие!

Другая женщина:

— Что вы так волнуетесь? Вы же ленинградка. Ленинградцы должны быть спокойные.

— Да, спокойные. Вы, может быть, здоровая, а я больная, — это разница. Вы инвалид?

— Почти что…

— Вы инвалид второй группы? Зарегистрировались? Нет. Это разница. Вы, может быть, неразбомбленная, а я разбомбленная. Тоже разница… Немец проклятый! Гадина! Садит и садит. Когда его уже уничтожат, проклятого! Чего делает!

Третья женщина:

— Это они злятся. Злятся, что плохо пришлось. Они злятся на Ленинград, что ничего сделать не могут. Вот хулиганят здесь.

— Мерзавцы проклятые! Видят теперь на фотографиях, что у

нас физиономии стали потолще, — и злятся. Ничего он здесь не получит.

— Ну, это конечно. Только они здесь здорово закопались.

— Да, запрятались. Жалко только, что им наши труды на пользу пошли. Ямочки наши, которые мы рыли. Вы куда это собрались?

— Пойду. Попробую. А что?

— А то — что штраф заплатите. Нас вот на днях на пятьдесят рублей оштрафовали. Я ему говорю: хоть бы с одной только взял, а то что это — и с меня, и с дочки. Разве можно? А он говорит: вот только с нее не беру (показывает на внучку), скажи спасибо. Разве можно так? Где ж это денег взять? Я ему сорок семь рублей набрала. Еще спрашивает, где дочка работает, говорит — на службу придет.

— Да ерунда, не придет.

— Нет, видите, она кассиршей работает. Так он думает получить что-нибудь.

Дочка:

— Каши получить захотел. Вопросы питания еще все-таки очень важные. (Девочка начинает хныкать и теребить бабушку: «Пойдем, пойдем!»)

— Нет, не пойдем, подожди. Вот когда немца убьем, тогда будем ходить свободно. Когда немца убьем. Дедушка твой его из-под Тулы гонит. Дедушка ее там. Я как услыхала про Орел, так у меня все поднялось. Есть, значит, у наших сила…

Вот оно — настоящая бабушка разговаривает как бабушка из очерков и рассказов. Никогда этого не бывало. Только в языке войны народное на мгновение сближается с газетным.

---

Мания еды, маниакальные про нее разговоры — все это крайне усилилось вместе с передышкой. В дни большого голода люди много молчали. Возможности были срезаны подчистую, так что не оставалось места для психологического обогащения фактов, для использования их вечной человеческой волей к утверждению ценностей.

Количество страдания переходит в другое качество ощущений. Так, тяжко раненные в первый миг не испытывают боли, а замерзающие под конец впадают в приятное состояние. Настоящий голод, как известно, не похож на желание есть. У него свои маски. Он оборачивался тоской, равнодушием, сумасшедшей торопливостью, жестокостью. Он был скорее похож на

хроническую болезнь. И, как при всякой болезни, психика была здесь очень важна. Обреченными были не самые почерневшие, исхудавшие и распухшие, но те, у кого было не свое выражение, дико сосредоточенный взгляд, кто начинал дрожать перед тарелкой супа.

А. приходил в столовую с раздутыми, темно-красными губами; и это еще не самое худшее. Однажды в столовой исчезла со столов соль, и кашу выдали недосоленную. Тогда А. впал в отчаяние. Он бросался от стола к столу, бормоча: «Нельзя же несоленую кашу… нельзя же… Ох, боже мой, а я и не захватил…»

Вот это был дурной знак.

В. пришел однажды в столовую в пальто с выдранным большим клоком на животе. Он не дал по этому поводу никаких объяснений. Он в этом пальто сидел за столиком и разговаривал с соседями. Но соседка сбросила вдруг в чью-то пустую грязную тарелку ложку (чайную) постного масла из каши. «Вы чрезмерно расточительны», — сказал В. светским тоном и, выловив его своей ложкой, это постное масло съел. Недели через две он умер в стационаре.

В годы гражданской войны голодали иначе, стихийно и хаотически (особенно в провинции). Ели фантастическую еду: шелуху, крыс и т. п., в то же время что-то комбинируя, меняя; и вдруг добывали мешок картошки. Блокадный голод был голод неплохо организованный. Люди знали, что от кого-то невидимого они получат тот минимум, при котором одни жили, другие умирали — это решал организм.

Заторможенные люди монотонно ходили в булочную, в столовую, ожидая развязки. Им дана была непреложность ста двадцати пяти граммов, тарелки супа, порции каши, умещавшейся на чайном блюдце. Что сверх того — нельзя было ни купить, ни достать, ни украсть, ни вымолить. Друг и брат сидел рядом, зажимая свои сто двадцать пять. Несмотря ни на какие терзания, их нельзя было попросить у лучшего друга, и если бы друг сам предложил — их нельзя было взять (будучи в здравом уме).

Гамсун описал совсем другой голод, голод от нищеты — окруженный соблазнами и надеждами. А вдруг человек найдет работу или ему дадут взаймы, вдруг он украдет, или выпросит, или под приличным предлогом пообедает у знакомых… Голодные вожделения бедняка омрачены просчетами, завистью, унижением, но их не раздавила еще непреложность.

Весной открыли рынок, понемногу выползали спекулянты. Оказалось, что ботву или даже стакан пшена или гороха можно купить — невероятно дорого, с трудом, но можно. Возрождение

фактора денег было душевным переворотом. Появились возможности, и вокруг возможностей заиграли страсти и интересы. С этих именно пор еда стала средоточием умственных сил (зимой говорили — если говорили — не о том, кто как ест, но кто как умирает). Она стала сферой реализации и немедленно обросла разными психологическими деталями.

На фоне всеобщей, общегородской эволюции каждый проделывал свой собственный путь — от непонимания и легкомыслия до голодной травмы. Индивидуальное притом было включено в групповое, в типические реакции разных пластов населения на трагедию еды.

Имелась в том числе типическая реакция интеллектуалов тридцатых годов, мужчин и женщин, более или менее молодых, с их установкой тратить на бытовые дела как можно меньше времени и энергии. В этом кругу был разрешен интерес не к еде, но только к ее психологическим атрибутам: уют, отдых, дружеский разговор (под рюмку водки), продуманный ужин с девушкой. Иначе интерес к еде был бы уже зависимостью низшего порядка.

Определялись черты блокады, а интеллигенты этого толка все еще гордились свободой от низших зависимостей, из чего — на первых порах — вытекало наивное непонимание голода. То есть они понимали, что бывает голод в деревне, и особенно в пустыне — с верблюдами и миражами, — когда человек много дней совсем ничего не ест и от этого умирает в мучениях. Но они ничего не знали о дистрофии и не верили в то, что обитатели большого города могут умирать голодной смертью.

Эн проглядел начало ужасной голодной эпопеи города — как и многие другие, вначале сравнительно легко переносившие нарастающие ограничения. Он удивился (ему нравилось удивляться), когда кто-то сказал: «Вот он — голод…»; когда соседка с двухлетним ребенком вдруг перестала спускаться в бомбоубежище, потому что все равно не от бомбы, так от голода пропадем (она действительно умерла в феврале). Ему нравились удивление и непонимание как признаки психики высшего разряда.

Потом пришло время, когда не понимать стало уже невозможно. Вокруг умирали, хотя и не так, как умирают в пустыне. О первых случаях смерти знакомых людей еще думали (и это мой знакомый? среди бела дня? в Ленинграде? кандидат наук? от голода?), еще говорили, с ужасом рассказывали о том, как жена в последние дни, пытаясь все-таки спасти мужа, купила кило риса за пятьсот рублей.

Разговоры постепенно сжимались до констатации факта. Весной разговоры опять разветвились, но для зимы это было занятие слишком наивное. Норма защелкнулась вокруг хлебного пайка и обеда. Хуже того — обед, дарованный человеку законами новой действительности, не был его обедом. По законам новой действительности, лицам с иждивенческой карточкой не полагалось обеда, иждивенческая карточка не вытягивала ежедневный обед. И блокадный человек, прикрепленный к ведомственной столовой, — делил. Он съедал то один суп, то только кашу или полкаши. Остальное в бидончике или пластмассовой коробочке уносил домой. Странно, что полкаши уносили домой в веселых голубых и желтых коробочках. Делить было грустно, и делящие завидовали тем, кто съедал свой обед целиком. Таких, впрочем, было немного, особенно вначале, когда иждивенцы еще не умерли или не попали в эвакуацию. Завидовали делящие не столько даже сытости неделящих, сколько неомраченному переживанию обеда.

Однажды за столиком ведомственной столовой остались двое. Один из них держал в руке голубую коробочку и печально стряхивал в нее с ложки кашу — полкаши, которую он не доел и оставил у себя на тарелке. Другой уже кончил есть; он внимательно следил, как сползала с ложки склизкая жижа. И вдруг сказал:

— А, вы можете еще делить? Да? А я не могу… Знаете, я уже не могу делить…

И деливший ощутил тогда на мгновение прилив гордости и силы.

Эн наконец понял. Но худшее для него наступило тогда, когда, казалось бы, стало уже легче: он получал тогда уже четыреста граммов по рабочей карточке. Четыреста граммов не могли остановить истощение. Истощение подбиралось к переломной точке. И как только достигло точки — началась невоздержанность. Эн вдруг стал съедать сразу все, что возможно. Сначала без заранее обдуманного намерения, каждый раз с чувством греховности, потом уже он возвел это в принцип.

С хлебом это происходило так: рано утром он получал свои четыреста граммов, довесок съедал на месте, а кусок уносил в учреждение, где он работал и где жил на клеенчатом диване, потому что дома было уже много ниже нуля. В каком-нибудь еще пустом служебном помещении, за канцелярским столом, он перочинным ножом отрезал от куска первый ломтик — примерно, на глаз, намечая, сколько можно съесть утром. По мере приближения к этой границе тоска по хлебу росла. Он отрезал еще ломтик (потоньше), переходящий границу. Потом еще. Это и

сопровождалось чувством грехопадения. Потом, когда граница была уже непоправимо нарушена, рождалась дикая мысль и страшно простая: что, если вдруг разрешить себе съесть все, до конца? Он замирал на точке колебания, замирал и срывался. Недозволенное, спотыкающееся, заторможенное сменялось неудержимым скольжением вниз, с зажмуренными глазами. В самый миг снятия запрета возникала даже иллюзия, что теперь-то именно вовсе и не хочется съесть все до конца, что хлеба еще много; иллюзия, разумеется, исчезавшая вместе со следующими двумя-тремя ломтиками.

Товарищ дал Эну пропуск в такую столовую, где снисходительно резали талоны вперед, а иногда отоваривали дополнительные, обычно мертвые талоны. В первый раз, когда Эн замыслил съесть два вторых, ему почти невероятным казалось, что это в самом деле осуществится. Это — переворот, изменение жизненного принципа. Увеличение хлебного пайка или нормы закладки крупы — это было замечательно, но принцип оно не отменяло; принцип, в силу которого обед мыслился замкнутой неподвижной единицей. Не мог он разомкнуться и включить в себя вдруг лишнюю тарелку супа.

Имелась, впрочем, в блокадном быту ситуация, ненадолго размыкавшая круг. Это когда умирал кто-нибудь в семье и до конца месяца можно было отоваривать его карточки.

В каком-то из закоулков какого-то из учреждений стояла женщина, обмотанная платками. С темным, неподвижным лицом она ела ложку за ложкой из банки кашу. По тогдашним понятиям, каши было довольно много.

— А у меня мать умерла, — остановила она проходившего мимо малознакомого человека, — каша вот по ее талонам… Такая тоска, невероятная. И ни за что не проходит. Думала — какое счастье съесть сразу три каши, четыре каши… Не получается, не хочу… Глотаю и глотаю, потому что тоска, она там глубоко, внутри: мне все кажется — станет легче. Эта каша, жижа опустится туда, вниз, придавит тоску, обволокнет ее, что ли. Ем, ем, а тоска не проходит.

К весне люди чувствовали себя очень плохо, многие — хуже, чем в период ста двадцати пяти (тогда силы еще не иссякли), но состояние их стало уже похожим не на что-то другое, а на самое себя, на желание есть… Люди страстно захотели есть.

Вспоминая зиму, Эн в основном вспоминал не еду и не голод, а хроническую болезнь с разными ее признаками и вообще маски голода, его психологических оборотней. И все это было менее унизительно и животно, чем то, что происходило с ним в пору

начавшегося облегчения. Ему все время хотелось есть. С безумным легкомыслием, возведенным теперь в систему, он резал талоны. Он сгребал в тарелку три порции каши, чтобы казалось, что ее много. И приходил в отчаяние оттого, что ее все-таки мало. Он не только стал думать об этом, после того как долго вообще ни о чем не думал, но им овладела маниакальная сосредоточенность мысли. На улице, на ходу он медленно вспоминал все, что съел утром или вчера, он обдумывал то, что еще предстояло съесть сегодня, или занимался расчетами, комбинируя выдачи и талоны. И в этом были поглощенность и напряжение, какие он прежде знал только додумывая, дописывая что-нибудь очень важное. Странное, искривленное отражение интеллектуального действа — оно было унизительнее всего. И ему мерещилось сквозь дистрофический туман, что подмененное интеллектуальное действие — это вообще самое постыдное, куда постыднее любых физических отправлений. К несчастью, мы этого не понимаем… или к счастью?

В дни выдач или покупок дома иногда оставались резервы. Это даже сообщало уверенное отношение к жизни. Занимаясь служебными делами, человек мог в любую минуту объемно, материально представить себе: на второй полке баночка, на треть наполненная золотистым пшеном, в соседней банке ловко улеглись серебряные кильки. И кильки и пшено — красивы.

Многие еще совсем не стеснялись. Литератор В. говорил:

— Знаете, я теперь в постели, перед сном, развлекаюсь. Составляю меню удачного дня. Например: завтрак — зеленая (это из ботвы) каша с хлебом, поджаренным на олифе, и чай с подсушенным хлебом; обед — два овсяных супа и каша пшенная. Потом дома — две чашки соевого молока с конфетой (ее можно принести из столовой); ужин — лепешка из зелени с хлебным мякишем (обедаю зато без хлеба). Или, например, завтрак: натертый рыночный турнепс с постным маслом; ужин — запеканка из соевой колбасы…

Иногда наступало просветление. Тогда хотелось наесться до тошноты, до отвращения к пище, до рвоты, — чтобы только покончить с этим стыдом, только бы освободить свою голову. Но дистрофическим мозгом овладевал страх — что же будет, если этого не будет? Если рассосется вдруг этот комплекс желаний и целей?

А на что это так омерзительно похоже? На что именно из прошлой жизни? Ах, да, — на неудавшуюся любовь, когда она медленно разжимает тиски, а человек боится потерять с нею уже не надежду, не чувство, но обеспеченное, привычное заполнение вакуума.

Однажды Эн не утерпел и в редакции, сидя за своим рабочим столом, пробормотал:

— Главное сейчас — не думать о еде.

В комнате, кроме него, сидели двое сотрудников, мужчина и женщина. Женщина быстро сказала:

— Я об этом не думаю.

«Врешь», — подумал Эн.

А мужчина сказал, неприятно улыбаясь:

— Это нам за то, что мы не на фронте. Должно же быть что-нибудь за это? А? За то, что нам разрешено печься о нашей любимой жизни.

«На фронте не думают о еде», — подумал Эн.

К концу зимы законы нормированного бытия обмякли. Просочились какие-то сверхвыдачи, покупки, соевое молоко, позднее — рынок с ботвой и крапивой. Зиму лучше всего перенесли люди, которым чувство самосохранения помогало вытеснить из сознания разрушительную тему еды. С появлением возможностей пали охранительные запреты, и манящая стихия еды открылась сознанию.

Еда — в многообразных своих социальных жанрах — искони являлась предметом сублимации. Вспомним о ее обрядовой приуроченности к праздникам и событиям, о ритуале приемов и банкетов, о значении семейного обеда в помещичьем или буржуазном быту, о неувядаемом смысле ужинов вдвоем.

Блокадные люди не угощали друг друга. Еда перестала быть средством общения.

— Простите, что я не вовремя, — сказал как-то Икс Игреку, зайдя к нему по делу как раз в тот момент, когда Игрек жарил себе на времянке лепешки. — Я вам помешал. Еда сейчас дело интимное.

При этом у Икса было странное, бесчеловечное выражение. Да, еда стала делом интимным и жестоким.

Но человеческих дел без психологии не бывает. Утратив свои психологические качества, еда очень скоро приобрела другие. Включенная некогда в распорядок дня, она сама превратилась теперь в его распорядок; сопровождавшая события — сама стала событием, одновременно сферой социальной реализации и обнаженных вкусовых ощущений.

Люди, привыкшие к бифштексу, к закускам, открыли теперь вкус каши, постного масла, овсяных лепешек, не говоря уже о хлебе. Фантазия принимала разные направления — в зависимости от умственного склада. Одни предавались сюрреалистическому переживанию жареного гуся или слоеных

пирожков и сардинок. Другие мечтали о том, чтобы съесть много, очень много того, что они ели сейчас. Им хотелось бесконечной протяженности тех самых вкусовых ощущений.

Ресторан с рябчиками — абстракция, а это — реальность. Но мечта хотела сделать эту реальность огромной. Мечта о количестве была не только гиперболой насыщения, но и борьбой с тоскою и страхом перед мгновенным, неумолимо преходящим существованием порции, — пусть даже двойной или тройной.

Людям открылось множество новых вкусовых ощущений, но ни с чем не было связано столько открытий, как с хлебом. Эта область была особенно неизведанной, потому что в интеллигентской среде до войны многие не очень даже точно знали — почем кило черного хлеба.

Некоторыми в чистом виде владела мания хлеба. Только хлеб, хлеб наш насущный… Другие развертывали мечту о хлебе. Им хотелось, например, сидеть перед темной буханкой, отрезать от нее толстый ломоть за толстым ломтем и макать его в постное масло. А. Ф. говорил, что хочет только одного — вечно пить сладкий чай с булкой, намазанной маслом. Третьи хлебную тему варьировали. Они думали о мучной каше, сладостно залепляющей рот, об овсяной каше с ее ласковой слизью, о тяжести лапши.

Весной хлеб уже поджаривали, подсушивали. К чаю особенно хороши были толсто отрезанные корки, которые подсыхали снаружи, внутри сохраняя свежесть. Если хлеб не хватать руками со сковородки, а есть с помощью вилки и ножа, — тогда получалось блюдо.

З. рассказал мне о том, как в блокадные времена ему случилось побывать по делу в одном привилегированном доме. Наливая ему чай, хозяйка сказала:

— Знаете что — не стесняйтесь с хлебом. У нас его больше чем хватает.

З. посмотрел на хлебницу и увидел невозможное: прежний обыкновенный хлеб, доблокадный. Неделеный, небереженый. Хлеб и булка неровными кусками вперемешку лежали среди каких-то мелких отрезков и крошек. Булка притом успела зачерстветь.

З. ел, не стесняясь и не испытывая вожделения к этому хлебу; его угнетало разочарование. Этот немереный хлеб был бы уместен во сне, а в действительности он, очевидно, требовал другой, неблокадной апперцепции.

К весне дистрофический человек настолько оперился, что опять захотел гордиться и самоутверждаться. Одни умели добывать, распределять, приготовлять пищу — и гордились этим

как признаком силы. Другие всего этого не умели, чем и гордились как признаком высшей душевной организации. С возобновлением рынка одни начали гордиться тем, что особенно дешево покупают ботву или крапиву, другие — тем, что тратят много денег.

Академический паек, безвырезный обед, посылка с Большой земли уподоблялись повышению в должности, или ордену, или хвалебному отзыву в газете. Притом иерархия проявлялась здесь необычайно ясно и грубо. Союз писателей получал теперь иногда из Москвы посылки. Удивительные посылки — с шоколадом, маслом, сухарями, консервами, концентратами. Правление определяло нормы выдачи. По списку — он имелся у отвешивавшего масло кладовщика — одни писатели, входившие в писательский актив, получали кило восемьсот граммов масла, другие — кило (не входившие в актив из посылок вообще ничего не получали). Получившим кило восемьсот стыдно было этим гордиться, но они не могли удержаться и гордились. Для получавших кило — масло было отравлено. Многих обрадовали бы больше, скажем, пятьсот граммов, но чтобы это и было свидетельством литературных и общественных заслуг.

Блокадный человек возвращался домой с добычей. Он нес в портфеле, в судках, в авоське — хлеб, полученный по карточке первой категории, безвырезный суп, две-три репы, которые он купил, имел возможность купить по цене, установленной спекулянтами. Ученый нес полбуханки, которые ему дали с собой за лекцию на хлебозаводе; актер бережно нес свой чемоданчик, куда после выступления ему сунули несколько кусков сахара, пьянящих, как аншлаг. Человек нес с собой свое социальное признание.

Существенной в этом плане была разница между теми, кто жил одиноко — таких становилось все больше, потому что в каждой семье одни умирали, других отправляли на Большую землю, — и теми, у кого были иждивенцы, с их иждивенческой карточкой, не дотягивавшей до ежедневного супа.

В бытии добывающего блокадного человека значение иждивенцев было двойственным. Оно было роковым, часто смертельным, потому что добывающий делил и, деля, жил в вечном чаду грубости, раскаяния, жестокости, жалости. В то же время они — домашние — были последним этическим фактом, близлежащим символом социальности. Вот человек, уносящий добычу, чтобы поглотить ее молча в своем одиноком жилище. А вот другой, который придет домой, выложит добычу на стол, и кто-то восторженно на нее отзовется.

Среди собранных мною блокадных историй есть история О.,

одного из тех, кто изредка получал кило восемьсот граммов масла, а также сухари и концентраты. В Ленинграде застряла его сестра (она на много лет была старше). У сестры, при разных обстоятельствах, все погибли, и он вынужден был взять ее к себе — уже в необратимо дистрофическом состоянии.

О. — человек, способный к рационализации и системе. Но в блокадном быту, который он пробовал одолеть разумно направленной волей, сестра была началом упорного, сопротивляющегося беспорядка. Его раздражали ее все возраставшая бесполезность и жертвы, которые он ей принес и продолжал приносить. И с грубостью, удивлявшей его самого, он говорил ей об этом. Но тут же рядом существовал другой пласт сознания и в нем очевидность, что без сестры молчание было бы окончательным, неимоверным. И невозможны были бы те мрачные отдыхи и забавы, которые он за собой оставил. Процессы приготовления и поглощения пищи уже не были тайными манипуляциями маньяка; присутствие второго лица сообщало им оттенок человечности. Он смотрел на женщину, спотыкавшуюся вокруг времянки, с руками маленькими, цепкими и черными, совсем не похожими на прежние, — и говорил грубо, уже потому только, что грубость стала привычкой:

— Сейчас будем есть. Поставь тарелки. Вытри, чтобы сесть за стол можно было по-человечески. Убери это свинство…

Дистрофическая сестра была объективирующей средой, аудиторией, оценивающей успех — концентраты и сухари, полученные согласно довольно высокому положению в иерархии.

Такова блокадная история О., рассказ о жалости и о жестокости…

Существовали две основные системы: у одних еда была расчислена на весь день, другие съедали сразу все, что возможно съесть. Первые принимали меры против самих себя. Они знали, что лучше всего защищена закрытая еда — консервы, неочищенная селедка, соевая колбаса, пока у нее цела шкурка. Вторые утверждали, что лучше быть иногда сытым, чем всегда полуголодным. Первые гордились выдержкой и презирали вторых за распущенность. Вторые гордились удальством и дерзанием и относились к первым, как бурш относится к филистеру.

В пору большого голода вопрос был прост: съедает ли человек свои сто двадцать пять сразу или в два или три приема. В период облегчения вопросы умножились. Образовались разновидности еды с разным к ним эмоциональным отношением.

Существовала нормированная еда, почти бесплатная и оплачивавшаяся драгоценными талонами. Ее психологическим

сопровождением была жестокость, непререкаемость границ. Поэтому она возбуждала печаль. Существовали дополнительные выдачи: соя, соевое молоко, знаменитые шроты (отходы сои), приводившие в изумление тех, кто попадал в Ленинград с Большой земли или с фронта, кости без мяса (мясо уже съели другие), из которых варили студень. Это была оптимистическая еда, подарок, чистый выигрыш, и поглощать ее можно было мгновенно, с чувством правоты.

Существовала, наконец, еда, за которую платили бешеные деньги (здесь тоже имелись свои разновидности — рынок и тайная спекуляция). Отношение к ней было болезненным, заторможенным. Логически было, собственно, безразлично — резать ли талоны, которых все равно не хватит до конца месяца, или съедать крупу, купленную из расчета шестьсот рублей кило. Но чувство и воображение не могли отделаться от шестисот рублей. И бесшабашно истребляющий выдачи и талоны ужасно боится перехватить, отмеривая себе разовую порцию купленной крупы.

На черном рынке за крупу платили шестьсот — семьсот рублей, в столовой каша стоила пятнадцать копеек. Самое же странное начиналось, когда, возвращаясь из магазина, человек вдруг понимал, что несет хлеба на восемьсот рублей и масла на тысячу. Что стоит отказаться от этого масла, и самые недоступные вещи с абсурдной легкостью станут его достоянием.

Стоимость денег становилась теперь переменной — не в абстрактном процессе инфляции, но осязаемо, как при игре в карты (особенно ночью и фишками). Пока длится игра, деньги невесомы, безотносительная их значимость неприятным образом возвращается к ним поутру.

Еда нормированная, безвырезная, покупаемая — чтобы все это согласовать, требовалась рационализаторская работа. Завтрак, например, в основном строился на хлебе, потому что больше всего его бывало с утра. В дни изобилия талонов за обедом можно было обойтись без хлеба, но для этого нужно успеть попасть и во вторую столовую, где дадут с вырезом еще две каши. Если талоны на исходе, то сведенный к ежедневной норме обед лучше взять домой и подмешать к каше зелень, — значит, предварительно требовалось сходить за ботвой на рынок. До вечера хлеб не сохранялся; поэтому крупа или мука, купленные у спекулянта, чаще всего предназначались на ужин.

Неудачи переживались трудно. Невозможно было вернуться к взгляду на еду как на принадлежность мгновения, вместе с мгновением исчезающую. Теперь для всего этого существовала связь — человеческий организм, жизнь организма. Потерянный

талон, упущенная безвырезная выдача — их нельзя было восполнить возможностями завтрашнего дня. Теперь это было незаменимой утратой (утраченная частица должна была стать и не стала частицей организма), и забывалась она лишь в силу легкомыслия человека, забывающего любые утраты.

Рационализацией особенно увлекались интеллектуалы, заполнявшие новым материалом пустующий умственный аппарат. Т., чистокровный ученый, принципиально не умевший налить себе стакан чаю, теперь часами сидел, погруженный в расчет и распределение талонов. Он вкладывал в это дело свой сильный логический ум. Вообще в период большого голода лучшими организаторами процессов насыщения оказались вовсе не домохозяйки (хозяйство они опять взяли в свои руки весной), а самые далекие от хозяйства люди, особенно мужчины, свободные от навыков, непригодных для блокадного быта. Особенно те самые интеллигенты, которые всю жизнь боялись притронуться к венику или кастрюле, считая, что это поставит под сомнение их мужские качества. Тогда как на самом деле, чем мужественнее мужчина, тем естественнее и проще он делает немужские дела (солдат должен уметь сварить кашу и пришить себе пуговицу), они не задевают в нем никаких комплексов.

Блокадная мания кулинарии овладела самыми неподходящими людьми. Однажды мне пришлось наблюдать, как мальчик лет шестнадцати (возраст наибольшего презрения к бабьим делам), нахмуренный, закусив губу, пек овсяные лепешки. Тут же вертелась его мать, приговаривая: «Дай я… Ты же не умеешь…» Но он молча, грубо отталкивал ее от времянки.

Чем скуднее был материал, тем больше это походило на манию. Маниакальные действия исходили все из единой предпосылки: съесть просто так — это слишком просто, слишком бесследно. Блокадная кулинария — подобно искусству — сообщала вещам ощутимость. Прежде всего каждый продукт должен был перестать быть самим собой. Люди делали из хлеба кашу и из каши хлеб; из зелени делали лепешки, из селедки — котлеты. Элементарные материалы претворялись в блюдо. Мотивировались кулинарные затеи тем, что так сытнее или вкуснее. А дело было не в этом, но в наслаждении от возни, в обогащении, в торможении и растягивании процесса…

Иногда выдавали табак (курение хорошо заглушало голод). Курили все самокрутку. Здесь действовал тот же принцип приятно отвлекающего торможения. Насыпать табачное крошево в бумажку, свернуть, заслюнить, сунуть в мундштук — это и предвкушение, и проникновенная возня с драгоценным веществом. В папиросах же, когда они появились, было, напротив

того, что-то разочаровывающее и плоское — слишком просто, слишком сразу.

Голодное нетерпение, которое гнало человека домой, вынуждало его, не снимая пальто и галош, бросаться растапливать печку, — оно как-то утихало, когда начиналась самая возня с материалом пищи. В эти минуты человек меньше, чем когда бы то ни было, думал о своем голоде; он был отвлечен страстным интересом к происходящему.

Жена профессора П. говорила робко:

— Вот твои пирожки разваливаются. И зачем из нее пирожки? — она имела в виду пшенную кашу. — Съедим ее так… Даже холодную хорошо…

А он в отчаянии кричал:

— Что ты в этом понимаешь? Что ты понимаешь? Сейчас же подбрасывай щепки!

Стряпня литераторов и доцентов сопровождалась чрезвычайным беспорядком, проистекавшим из торопливости и дилетантизма. Обжигая лицо, дилетант наклоняется к раскрытой дверце времянки, чтобы подбросить полешко. Другой рукой он помешивает в кастрюле. А кастрюлю нужно уже передвинуть и поставить на ее место чайник, потому что как следует разогревается только то, что стоит посредине, особенно там, где печка уже прогорела. Одновременно надо следить за подсушивающимся хлебом, чтобы вместо темно-золотистой корки он не покрылся черными пятнами гари. Руки закопчены и промаслены — это даже нравится дилетанту.

Вокруг нарастает хаос. Почему-то уже три ложки, и в руки сама идет то одна, то другая. В пустой сковороде на полу очутилась крышка от кастрюли. На трубе времянки, на спинке стула, на корзинке со щепками бесформенно повисают тряпки. Ему кажется, что всякий раз он берет нужную вещь и обращается с ней должным образом. Но вещи уплывают в хаос. Впрочем, это не враждебный хаос, пахнущий едой и теплом.

Интеллектуальные кулинары, при всей своей изобретательности, портили материал именно потому, что приготовляемую еду они никак не могли оставить в покое. Они поминутно приподнимали крышку, что-то помешивали, переворачивали. Были блюда с этой точки зрения скучные и интересные. Суп, например, был очень скучен. Он долго, нудно закипал, и с ним, собственно, ничего больше не происходило. Увлекательны же были наглядные изменения. Каша набухала, росла (чудесно, что ее становилось больше), потом начинала посапывать и дышать под вьющимся над ней легким паром. Клецки падали с ложки в закипающую воду и в ней оживали,

делали пируэты — это даже походило на фокус. Лепешки могли безобразно развалиться, а могли сразу отлиться в обтекаемую форму.

Бронзового цвета жидкое ржаное тесто, приготовленное для клецок или оладий, сладостно было растирать ложкой и хотелось его лизнуть, как шоколадный крем.

Интеллектуальный кулинар вдруг замирал среди своих манипуляций. Промерцала и уплыла в хаос мысль о том, что все это на что-то отвратительно похоже. Кажется, на любовь… Еще Ларошфуко утверждал, что любовь — это потребность в окольном достижении цели.

Эн — один из интеллектуальных кулинаров блокады — приготовился наконец позавтракать. У стола, придвинутого к времянке, он внимательно разрезает ломоть хлеба на маленькие квадраты. Их предстоит опустить в кипящую воду и раздавить ложкой. Мальчишкой он на даче смотрел иногда, как играют девочки. Они играли в обед и готовили лепешки из травы и пирожки из песка. Он презрительно смотрел на бабьи игры, но ему было скучно, и постепенно он придвигался все ближе и с равнодушным видом принимал участие. Ему как мужчине поручали тяжелую работу — перочинным ножом делать из сучьев дрова или в ведерке носить из ручья воду. Игра затягивала, и он уже вместе с девочками сосредоточенно превращал песок в тесто и траву в начинку. Примерно то самое, чем он занимается сейчас.

День располагался теперь вокруг трех средоточий: завтрак, обед, ужин. К первому из них все было устремлено с пяти-шести утра, все, что происходило дома и в магазине. И вот в момент кульминации каждый раз что-то срывалось. После всего, что Эн с минуты пробуждения делал для этого завтрака, после того как с некоторой торжественностью он садился за стол, предварительно обтерев его тряпкой, он съедал все рассеянно и быстро, хотя знал, что теперь еда должна быть осознанной и ощутимой. Он хотел и не мог сказать мгновению: «Verweile doch! Du bist so schön!»[58]

Совсем как в прошлой жизни, когда мгновения, не останавливаясь, снимали все, что было чувственным и умственным опытом, страданием и счастьем, усилием и жертвой. Завтракая, Эн вспоминал блокадную теорию наслаждения едой. Нет, уж сегодня не стоит, когда все почти съедено… Попробую в следующий раз…

Но и в следующий раз невозможно было остановить мгновение.

Зимой желание есть — это было как болезнь; сытость — прекращение болезненного состояния. Поэтому возобновление желания есть — через несколько часов или поутру —

переживалось с каким-то удивлением и огорчением. Как рецидив температуры или вернувшаяся боль при глотании, когда считалось, что ангина прошла.

Теперь люди реже испытывают голод, но постоянно стремятся его предотвратить. Именно потому они реже его испытывают. Реже даже, чем в доблокадные времена, когда он казался естественным и даже приятным — в ожидании обеда.

Впрочем, теперь блокадные люди иногда уже говорят (особенно перед едой): «Я зверски хочу есть, я адски голоден». Это фразы из мирной жизни. Зимой так не говорили. Это показалось бы невозможной, бесстыдной откровенностью желания. Возвращение этих фраз — признак выздоровления. Но к ним еще не привыкли. Всякий раз они еще удивляют слушающего и говорящего. Как это можно — так, по-старому просто произносить эти ужасные слова. Означающие страдание и отчаяние, а вовсе не аппетит перед обедом.

Сытый не разумеет голодного, в том числе самого себя. Отъедаясь, человек постепенно терял понимание себя — такого, каким он был в месяцы большого голода. Блокадные люди все прочнее забывали свои ощущения, но они вспоминали факты. На свет правил поведения, уже тяготеющих к норме, факты медленно выползали из помутившейся памяти.

…Так ей хотелось конфет. Зачем я съел эту конфету? Можно было не съесть эту конфету. И все было бы хоть немного лучше…

Это блокадный человек думает о жене, матери, чья смерть сделала съеденную конфету необратимой. Рассеивается туман дистрофии, и отчужденный от самого себя человек лицом к лицу встречает предметы своего стыда и раскаяния. Для переживших блокаду раскаяние было так же неизбежно, как дистрофические изменения организма. Притом тяжелая его разновидность — *непонимающее* раскаяние. Человек помнит факт и не может восстановить переживание; переживание куска хлеба, конфеты, побуждавшее его к жестоким, к бесчестным, к унижающим поступкам.

…А крик из-за этих пшенных котлет… сгоревших… Крик и отчаяние, до слез…

Быть может, он еще будет сидеть в ресторане, после обеда, помрачневший от слишком обильной еды, которая наводит уныние и отбивает охоту работать. Быть может, в ожидании официанта со счетом он случайно уставится в хлебницу с темными и белыми ломтиками. И этот почти нетронутый хлеб сведет вдруг осоловелое сознание судорогой воспоминаний.

Жалость — разрушительнейшая из страстей, и, в отличие от любви и от злобы, она не проходит.

Толстой (в «Воспоминаниях детства») писал о тетеньке Ергольской, какая она была хорошая и что он без жестокого укора совести не может вспомнить, как он иногда (будучи очень стеснен) отказывал ей в деньгах на сласти, которые она любила держать у себя, чтобы угощать его же. Она, бывало, грустно вздохнет. «И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости…»

Уцелевшие дистрофики много бы дали за эти помещичьи укоры.

Круг — блокадная символика замкнутого в себе сознания. Как его прорвать? Люди бегут по кругу и не могут добежать до реальности. Им кажется, что они воюют, но это неправда — воюют те, кто на фронте. Им кажется, что они не воюют, а только питаются, но и это неправда, потому что они делают то, что нужно делать в этом воюющем городе, чтобы город не умер.

Так бывает с людьми, если действия их не поступок, а только реакция. Как разомкнуть круг поступком? Поступок — всегда признание общих связей (без которых можно только мычать), даже вопреки человеку для него обязательных, хотя эгоцентрики твердят и будут и впредь твердить (в мировом масштабе) о самообманах и неконтактности и об абсурде.

Пишущие, хочешь не хочешь, вступают в разговор с внеличным. Потому что написавшие умирают, а написанное, не спросясь их, остается. Может быть, замкнутому сознанию проще было бы обойтись без посмертного социального существования со всеми его принудительными благами. Может быть, втайне оно предпочло бы уничтожиться совсем, со всем своим содержимым. Но написавшие умирают, а написанное остается.

Написать о круге — прорвать круг. Как-никак поступок. В бездне потерянного времени — найденное.

*1942–1962—1983*

# Вокруг «Записок блокадного человека»

## Записи в дни блокады

Не следует думать, что все коренным образом изменилось. Изменился, действительно, материал, но многие механизмы по инерции продолжали работать. Между тем все хотели изменений, ждали психологических изменений.

Думая о том, «как это будет» (все ведь об этом думали…), мы постоянно допускали просчет, придавая чрезмерное значение фактору смертельной опасности. Оказывается, проще было пойти на фронт, чем остановить механизмы. Неравный выбор между опасностью близлежащей, несомненной, знакомой (неудовольствие начальства) и исходом еще отдаленным, еще нерешенным и, главное, непонятным.

Размытые границы между ложью и правдой, правдой тех, кто, может быть, и не прочь были бы уклониться, но, раз попав в ситуацию войны, твердо вели себя по ее законам, правдой мальчиков, которые просто считали, что нужно идти как можно скорее; мальчиков таких было необозримое множество. Вот письмо (июнь 1941) одного, восемнадцатилетнего, сохранившееся у женщины, к которой оно обращено:

«Здравствуй, Ирина!

Я буду свидетелем необычайного и очень значительного — еду на фронт! Ты знаешь, что это значит? О, нет, ты не знаешь этого.

Это проверка себя, своих взглядов, вкусов, качеств. И это не парадокс — быть может, я лучше стану понимать музыку Бетховена и гений Лермонтова и Пушкина, побывав на войне.

Ну, писать не имею времени. А теперь я чувствую над тобой превосходство. Я буду иметь возможность окунуться в вихрь жизни, а ты, ты обречена на зубрежку, увы, схоластики.

Насчет „схоластики“ — загнул?

Ничего. Быть может, встретимся когда, а?

Жму руки крепко, крепко.

*Олег*».

Они не встретились. Олег очень скоро погиб.

О повести Окуджавы («Будь здоров, школяр») говорили, что изображен в ней трус, слюнтяй, психологический дезертир, и никто не отметил любопытную черту: этот мальчик, который несчастен, который боится и жалеет себя и хочет, чтобы мама его пожалела, — ни разу, ни на мгновение не усомнился в том, что

надо было идти и делать это страшное дело.

Страх привычного и понятного (например, боязнь нарушить действующие правила поведения) сильнее, чем страх непонятного, или быстрее; этот рефлекс раньше успевает сработать. Вот условие сохранения психической нормы — вплоть до той минуты, когда смертная опасность, овладевая эмоциями, станет всепоглощающим переживанием ужаса или восторга.

Как далеко отстоят эти состояния от нормального человека? На каком они располагаются плане душевной жизни? По мнению Толстого — на отдаленном; исходя из этого он и строил свою психологию войны.

Человеческому сознанию противопоказана мысль об исчезновении сознания, и оно, как известно, породило сложнейшие системы подавления, вытеснения, обезвреживания этой мысли. Изменялась терминология, но открытие системы вытеснения насчитывает века; об этом твердили мыслители от Ларошфуко до Фрейда и экзистенциалистов. Война отчасти парализовала эту систему, отчасти, напротив, создала для нее предпосылки: социальное подавление личных вожделений и целей, мощные идеологические и эмоциональные возбудители, привычка, дистрофическое равнодушие или нервный подъем.

В Ленинграде в целом люди проявили так мало физической трусости, что она не могла даже парализовать прочие слабости и пороки. Вот, например, классическое склочное собрание — под артиллерийским обстрелом (в это здание им уже случалось попадать). Начальника одного из отделов редакции сняли и отправили во фронтовую газету. Преемник — милый человек — выполняет весь ритуал: осуждение прежнего руководства (есть и статья в стенгазете, подписанная: Пегас), самовыгораживание в форме самокритики, кивок в сторону товарищей, выдвинутых предшественником. А лично уязвленный писатель (в военном обмундировании) точно разыгрывает партию с дебютом «Не могу молчать…» по поводу — в данном случае — малоквалифицированных редакторов, которые «все еще не научились…». Присутствует ли тут что-нибудь, имеющее отношение к свисту и равномерным разрывам? Да, — дополнительная фразеология: «Сейчас больше чем когда бы то ни было…»

Бесперебойное действие механизмов особенно поражало в инстанциях, где восстанавливали, вернее, не восстанавливали утраченные продовольственные карточки. Потеря карточек была явлением массовым — очевидно, следствием истощения и перенапряжения нервов. В инстанциях жуткое сочетание старой (канцелярской) формы и нового содержания (голодная смерть

человека). А типы секретарш все те же, традиционные.

Например, довольно распространенный среди административного персонала садистический тип. Это злая секретарша. Если сейчас ее посадили вырезать в столовой талоны, она с удовольствием говорит вам, что вторую кашу взять нельзя или что на ближайшую пятидневку — странно, что вам это неизвестно, — на вашей карточке нет уже ни одного крупяного талона. Если ее посадили туда, куда ходят люди, потерявшие карточки, она говорит с ними громким голосом с разработанными интонациями отказа, слегка сдерживая административное торжество.

Есть томная секретарша, еще не по-блокадному одетая, с красивыми, еще жирно подведенными глазами. Эта занята своими личными соображениями. Она смотрит на человека беззлобно, с единственным желанием поскорее отделаться от помехи, и отказывает лениво, даже несколько жалобно (жалуясь на помеху). Есть, наконец, деловая женщина. Для некоторых женщин самый факт занятия общественно важным делом еще не автоматизировался (любопытный атавизм). Они переживают свою деловитость, вызывая этим неудержимое раздражение окружающих. Женщины-врачи этого склада любят в разговоре с интеллигентным пациентом объяснять свои предписания, тут же переводя терминологию с латыни на русский язык. Притом они говорят: «Мы называем это…»

Если злая секретарша находит в службе источник властолюбивых удовольствий, если для томной секретарши служба — необходимая уступка действительности, то деловая женщина ценит самый служебный процесс. Она отказывает величественно, но обстоятельно, с поучениями и резонами. И хотя она интересуется только тем, что она говорит, но человеку, который без карточек, скорее всего, на днях умрет, от резонов на мгновение становится легче. Склочники и секретарши, сердитые чиновники и обиженные писатели — все это странным образом сохранило свои формы и функции. В толстовском понимании эта стабильность эгоистических интересов и застарелых привычек была объективно нужной. Она означала, что целое существует, что бесчисленные устремления по-прежнему связаны одним узлом. Дело страны, дело войны делалось бы иначе и лучше без склочников и чиновников? Конечно. Но целое не могло извергнуть их на ходу, на ходу войны. Не до того ему было.

Под артиллерийским обстрелом нормально работали механизмы общественного зла, вместе с мужеством, вместе с терпением. Это истерзанная страна побеждала. И она же, сама того не зная, готовилась войти в новый разгул социального зла.

Утопическое мышление не хотело понять, что социальное зло неизбывно (хотя и заменимо), что человечество получало заменителей зла. Иногда это были наиболее подходящие, прогрессивные, так сказать, заменители. А все же… если ты ропщешь на социальное зло — посмотри, не занимает ли оно места зла еще более смертельного. В отличие от социального гедонизма, религия не заклинает зло и не обещает его уничтожить (только в царствии небесном), но включает его в свою систему двух миров — *посю-* и потустороннего. Что касается *поту-*… то уж тут — что кому дано. Для того, кому не дано, насущнейшая задача — как без религии выйти из эгоизма. Какова та гражданственность, та любовь, тот высокий труд, с которыми он выйдет из инфернальной тоски эгоизма?

Эгоистический человек подобен дикарю. Первобытное сознание исполнено ужасом перед враждебностью мира. Его побеждает культура — иерархическая связь ценностей, творчество, делающее свое чужим, любовь, делающая чужое своим.

При распаде системы ценностей происходит вторичное одичание культурного человека. При развале быта у него появляются пещерные замашки, пещерное отношение к огню, к пище, к одежде. Эгоистический человек слепо бродит среди явлений то агрессивно, то равнодушно-враждебных, отыскивая для себя лазейки наименьшего зла. Конкретные носители величайшего зла, взявшие на себя его теоретическое обоснование, — стоят у ворот. Мы все хотим их убить; мы хотим убивать как можно больше, отнюдь не вдаваясь в подробности их человеческого существования. Читая в газете о взлетающих в воздух руках и ногах фашистов, интеллигент испытывает удовлетворение.

Разновидности зла странно скрещиваются, исключают друг друга и в то же время работают заодно. Проходя по двору с мусорными ведрами или с другими ведрами, чтобы набрать в склизкой прачечной воды, люди рассматривали большой замок на дверях домовой конторы. Это выглядело успокоительно. Поколение 60-х годов уже этого не поймет. Сейчас домоуправления с большим или меньшим успехом обслуживают свои дома и в них живущих. В 30-х годах они существовали с совсем другой целью, им самим, может быть, не вполне ясной. Не только для слежки за обитателями дома; еще более для того, чтобы напоминать ежечасно этому обитателю, что все, чем он располагает, даже в частном быту, можно прекратить, отобрать, запретить. Они были сталинским форпостом… И вот это зло заперто большим замком; дистрофический управдом уже не

может добраться до своей конторы. Диалектика разновидностей зла.

Страдания и массовая гибель никогда не были исключительным признаком войны; эпидемии и стихийные бедствия поглощают целые города. Специфику же войны образует сочетание этих возможностей с предельной несвободой, откровенной, громко заявленной, отложившей попечение о камуфляже.

Буржуазные демократии все сомневаются в праве государственного закона требовать от свободного человека, чтобы он в нетрезвом виде не садился за руль машины, но не сомневаются в праве государства, в известных обстоятельствах, потребовать у человека его жизнь и, в случае уклонения, судить его как изменника. Мир ужаснулся предложению Мао уничтожить половину человечества с тем, чтобы оставшаяся половина на развалинах капитализма основала блаженное общество. Однако новым и устрашающим в этом проекте является, в сущности, фактор количественный. Недавно президент Джонсон, выступая по телевидению, говорил: «Мы скорбим о погибших (во Вьетнаме) с той и с другой стороны (уж другую-то сторону оставили бы в покое), но нет той силы, которая заставила бы США отступить от дела свободы и справедливости». Эта логика ничем не отличается от маоистской, разве тем, что в одном случае речь идет о половине рода человеческого, а в другом об энном количестве американских жизней. С индивидуалистической же точки зрения совсем не в том дело, что погибает миллион человек, а в том, что миллион раз погибает один человек. Логика Мао — это необходимая логика государства (в том числе капиталистического, буржуазно-демократического и проч.), только в азиатской ее наготе и масштабности.

Абсолютная несвобода психологически может предстать человеку как новое для него качество общественного бытия или, напротив того, как дальнейшее развитие привычных тягот и бедствий. В узнаваемости бедствий — сила и слабость противоиндивидуалистических структур.

Вот человек, воспитанный гедонистическими иллюзиями и закамуфлированными формами принуждения. То, что ему приказывают, запрещают, урезывают и нормируют его жизненные блага, — это все для него экзотика, новое качество, рожденное потрясающей ситуацией, требующей подъема всех душевных и физических сил. Ему даже кажется, что у него спросили согласия, и потому свои действия он рассматривает как *поступок*. А у поступков есть своя психологическая атмосфера — гордости и

тщеславия, самоотверженности и страсти.

А вот те, для кого во всем этом нет принципиально нового. Одни реагируют попытками уклониться. Другие — великой стойкостью. Иногда сначала — попытками уклониться, а потом стойкостью. Как бы то ни было, для них это очередная фаза в давнишних отношениях с Левиафаном. Так — именем воспетого в книге Иова могучего чудовища — назвал Гоббс всесильное государство. У Левиафана разные бывают подопечные: единомыслящие, инакомыслящие, вовсе не мыслящие. Взаимоотношения складываются разные, в разных социальных и психологических формах. Возможно совпадение устремлений, сознательное или стихийное; возможно сопротивление, тоже как сознательное, так и стихийное. Особую, теоретически важную разновидность общественной психологии дает сочетание абсолютной власти с абсолютным эгоизмом подвластного ей человека. Они притерты друг к другу и в то же время друг для друга непроницаемы.

Здесь тоже много градаций — от позиции сноба, с его иллюзиями внутренней независимости, до состояния раба, самого эгоистического из всех состояний. Кто эгоистичнее вечного гребца, прикованного к трюму галеры? Всякое объективное содержание жизни отнято у него, и оставлено ему только его страдающее тело. Эгоизм рабов заслонен силою их страданий и ничтожностью их желаний и целей, но, в сущности, он безграничен.

Имманентный человек, отчужденный от абсолютов и всеобщих ценностей, как массовый, социально типический, существовал в разных обличиях, на разных ступенях общества. Сейчас буду говорить только об интеллигентском его обличив. Я имею в виду то сознание, которое в России завязалось в 1880-х годах, придя на смену народнической традиции. Оно дало не только присяжных позитивистов, но дало декадентов (опыт чистой культуры эгоизма), в конечном счете — символистов, с их романтической попыткой ухватить объективное субъективным, и многое последующее, с поправками и без поправок на объективный смысл.

Еще Блок очень проницательно и со знанием дела сближал столь разные, казалось бы, вещи, как позитивизм и декадентство. Блок понимал, что они сцеплены между собой субъективностью, агностицизмом. Сознание это являло парадокс: в качестве интеллигентского оно предназначено было вырабатывать ценности и идеалы, в качестве позитивистского и субъективного оно закрыло для себя те источники, откуда берутся ценности и идеалы.

После первой мировой войны западными интеллектуалами владела эстетика распада, отрицания жизни и проч. (потерянное поколение). У нас многие из этого слоя пошли сначала в попутчики, — чтобы оставить за собой возможность участия в общей жизни, но также и в силу исконной (от Герцена до Блока) русско-интеллигентской ненависти к старому миру. Попутчики говорили наивно и горделиво: «Вот это у вас хорошо, а уж это плохо; принимаем отсюда и до сих пор…» — и с ними обращались осторожно. Впоследствии бывшие попутчики кричали: «Гениально!» — ползая у ног, а их методически истребляли.

С четырнадцатого года началась эра великих опытов и испытаний. Жизненные позиции имманентного сознания непременно требовали хотя бы минимума материальных благ. Только при этом условии могла состояться философия, начинавшаяся фразой: А имеет ли жизнь смысл? У бедствующего эгоиста тотчас же находится если не смысл жизни, то интерес, цель, задача выжить. Но он теряет тогда свое убранство и остается страшно голым.

Среди войны (предельной несвободы) эгоистический человек набрел на странную, зыбкую свободу — в размытости границ между открытыми и скрытыми формами принуждения. Не все ли равно, что кто-то не воспользовался какими-то правами и благами, если результат один; и даже, чем больше было прав и благ, тем хуже результат. Кто же удачники и кто неудачники? Где карьеристы с учреждениями, в которых они делали карьеру? Вон стоят их разграбленные квартиры, а хозяева носятся по дорогам войны. Какая разница между напечатанными и ненапечатанными книгами — если нет уже ни авторов, ни читателей? И что нам до катастрофической развязки вековой драмы индивидуализма, когда некому и некогда думать об этом. У нас другие заботы.

Если первое испытание мировой войной вызвало у европейско-американских интеллектуалов резко индивидуалистическую реакцию, то второе могло только удостоверить ее несостоятельность. (Горе эгоистам и гедонистам! Нет в мире ничего более хрупкого и беззащитного.) Дважды и трижды превращенному в крошево поколению открывалась неизбывность социального зла и призрачность единичного сознания. Распадались одновременно два великих заблуждения, казалось бы противоположные, на самом деле имеющие общий источник в гуманизме XIX века.

Истребляемый, испытуемый катастрофами человек не в силах верить в красоту и абсолютную ценность единичной души. Гораздо естественнее ему испытывать отвращение к этой голой

душе и горькую и тщетную жажду очищения во всеобщем, в некоей искомой системе связей — в религии? В экзистенциальном самопроектировании? В новой гражданственности?

Переживание общности есть — сознательное или бессознательное, сильное или слабое, возведенное в религиозный догмат или робеющее от собственной нелогичности. Это первичное свойство своей социальной структуры человек получает вместе со всеми знаковыми системами, составляющими его культурное сознание, вместе с языком (то есть мышлением) — как носителем общих значений. Человек принимает огромное содержание общего с тем, чтобы своей непрочной жизнью внести в него изменения, большие или малые; в конечном счете малые — по сравнению со всей этой толщей.

Вот почему переживание общего столь же действительно, как и скрещивающиеся с ним интенсивные — до зверства — вожделения эгоизма, скрещивающиеся в том же человеке (создать питательную среду для тех или для других — это дело социально-исторических ситуаций). Даже поступая эгоистически, человек склонен притом оценивать поступки — в особенности чужие, отчасти и свои — по нормам общего. Нормы общего, впрочем, далеко не всегда призывают к гуманизму — даже в своей официальной, камуфлирующей фразеологии. Самые жестокие и корыстные интересы коллектива тоже требуют от личности жертвы, даже тотальной (фашизм это продемонстрировал).

То общее представляется нам иллюзией, обманом, алогизмом, то — единичная личность. Вероятно, и то и другое в отдельности — иллюзия; а реальный наш опыт — это их взаимодействие.

Для западноевропейской мысли второй четверти века характерна история экзистенциалистов. Чистую личность в ее *существовании*, они поспешили нагрузить бременами сверхличного. Одни — религиозным оправданием жизни (когда бог, то оправдание заранее задано). Другие — этикой французского Сопротивления.

Камю написал превосходный роман «Посторонний», превосходный по классической ясности разговора о жизни[59]. Одновременно он написал философский комментарий к роману — «Миф о Сизифе», небольшой, но многословный (так же, как его «Взбунтовавшийся человек»), в котором концы не сходятся с концами.

Лучшее, что есть в этом трактате, — эпиграф из Пиндара: «O mon âme, n'aspir pas a la vie immortell, mais epuise le champ du possible[60]».

В «Постороннем» первооснова сознания — бессмыслие, шевелится хаос, непостижимость, наводящая ужас на заброшенного в нее человека. Дальше — чувственная оболочка доступной нам жизни. Первая ступень ее оправдания. На этом Камю и остановился в романе, а в трактате сделал отсюда логически неудавшийся ход к героическому утверждению бытия. Привело же к неудаче отрицание очевидного — той иерархии, той связной системы социальных ценностей, которая ложится на хаос непостижимого и на смутный чувственный опыт. Это вторая ступень оправдания жизни. Есть еще третья — абсолюты… Но это уже не про нас.

Без иерархии что можно возразить заявляющему: «Ну-ка, попробуйте доказать обязательность предъявляемых мне моральных требований». Главный аргумент тогда против практики эгоизма — ее хрупкость, ее неспособность защитить человека.

Что касается философии эгоизма и гедонизма, то она вопиюще не подходит к нашему времени. Для этого было нужно что-то совсем другое — наивность рабовладельческого общества? Абстрактность просветителей? Прекраснодушие утопистов или сытость эстетов?

Камю с его обращенным к интеллектуалам предупреждением: «Говорю вам — завтра вы будете мобилизованы!» — человек французского Сопротивления. Коллаборационист Жионо предложил другую формулу (она произвела скандал): «Лучше живой трус, чем мертвый герой». Логично? Логично. Но логика здесь непременно требует дальнейшего развертывания. Собственно, это вариация на библейскую тему живой собаки и мертвого льва. Но тогда остается стремиться к состоянию собаки, состоянию животности, сулящему изолированные удовольствия и незапоминаемые страдания. Кто говорит: живая собака лучше мертвого льва — должен в конечном счете сказать: живая собака также лучше живого льва — то есть счастливее. Это и есть мысль Екклезиаста: «…И псу живому лучше, нежели мертвому льву». Не пес лучше, а псу лучше.

Лев храбр, и готовность к гибели входит в структуру льва. Голый принцип продления жизни (любой жизни) и приумножения разрозненных удовольствий возможен логически только при отрицании культуры. Потому что культура — факт социальный, и она замещает категорию удовольствия категорией ценности. А понятие ценности предполагает расплату. Общественный человек живет рискованным актом личной реализации общего. Свобода, родина, наука, искусство, любовь, семья, честь — все это очень опасные вещи. Жертва тут просто условие пользования. Об этом

написан «Колокол» Хемингуэя. Никто ведь не оспаривает условия, поставленные летчикам, мотогонщикам, альпинистам.

Не помню, кто это сказал в ответ на разные медицинские предостережения: «Опасно жить — от этого умирают».

Интеллигентам хотелось измениться. В смятении первых дней хотелось избавиться от одиночества, от эгоизма, усугублявшего страх. Это было инстинктивным движением, у которого имелась долгая интеллектуальная предыстория: вечная мечта о выходе из себя, об ответственности, о сверхличном. Все это выразилось сумбурно в странном чувстве совпадений. Интеллигент теперь должен был сам захотеть того самого, чего от него хотело общее. Старая утопическая задача (как она увлекала Герцена!) — не разрешится ли она синтезом логики государства с логическим абсурдом самоценной личности?

Не подлежавшим мобилизации хотелось безотлагательно что-то сделать — пойти в госпиталь, предложить себя в переводчики, написать в газету статью, и даже казалось, что нельзя взять за нее гонорар. Эти намерения и желания попадали в машину, совершенно неприспособленную к подобному психологическому материалу. С привычной грубостью и недоверием к доброй воле своих подопечных она от одних участков отбрасывала человека, в другие втягивала его принудительно.

Через несколько дней в Союзе писателей объявили, что все поедут в неизвестном направлении рыть противотанковые рвы или строить заграждения. Одни тотчас же отправились за медицинскими справками, другие — наиболее интеллигентные — с презрением говорили о людях, которые в такой момент считают себя выше физического труда.

— А вы знаете, что такое физический труд? — сказал по этому поводу Максимович, недавно вернувшийся из лагеря. — Вы когда-нибудь пробовали? Рыть лопатой, если знаете, что то, что нароете, даже отдаленно не похоже на норму. Ух, эти интеллигентские слюни… Ковырять землю мучительно, особенно потому, что совершенно бесполезно. Ну, вы увидите…

Увидели. Число медицинских справок быстро росло. Впрочем, скоро сверху перестали настаивать. Механизм работал формально, он поступал с человеком согласно тому, к какой категории в каждый данный момент был отнесен данный человек, вернее, данный общественный слой. В Ленинграде писатели, художники и другие — это сначала была категория добровольно зачисляемых в ополчение. Необученных, почти невооруженных, их мгновенно бросили под свежие немецкие силы. Погибли все. Довольно скоро писатели, художники, ученые стали категорией

золотого фонда, который следовало эвакуировать и беречь. Шостаковича сначала посылали на крышу тушить зажигательные бомбы, потом вывозили из Ленинграда специальным самолетом. И тем и другим очень гордились. От писателей и прочих скоро потребовалось то же, что и всегда, только в большей мере.

Фронт жил по своим законам. Там были задачи, которые кто-то решал или не решал, или ожидание задач. Глубокий тыл тоже имел свой распорядок. Там делали пушки или хлеб; там же откровенно отсиживались. А вот в прифронтовом, простреливаемом тылу, где почти нечего было делать (людям партикулярным), установилась какая-то странная действительность, иными чертами похожая на действительность 37-го года.

У тех и у этих были свои сроки. Эти прилетали вначале в строго определенные часы; немецкая аккуратность входила в программу психической атаки (что хотим, то и делаем). Те были менее точны; считалось, однако, что позже четырех часов утра они приходят редко. Часов с четырех утра и до вечера человек воображал себя в безопасности. Эта воображаемая передышка многих, вероятно, избавила от помешательства.

В темноте, в немоте — ожидание вырванного с мясом звонка или серия взаимосвязанных звуков, возвещающих начало бомбежки. Утренняя неизвестность… Постепенно выясняется — прямое попадание в угловой дом. Постепенно выяснялось — из знакомых за ночь арестованы имярек и имярек. Раньше усиленно бомбили центр, например Моховую или пытались попасть в Радиокомитет. А сейчас, заметьте, они явно интересуются Выборгской стороной. Вот уже недели полторы, заметьте, как они систематически обходят центр. В центре у нас, может быть, больше ничего и не будет. — Ну, разумеется, липа. Но почему именно эта липа? Не случайно. А. был связан с такими людьми… Б. — неосторожен, он разговаривал. У В., знаете, эти родственники. Если не иметь родственников и не разговаривать, — может быть, ничего не будет. — Центр как-никак оставили в покое. Ну, конечно, случайное попадание… Помрачающая разум чересполосица.

Можно ли жить, когда они в пятнадцати километрах? Или когда вечером не знаешь, где встретишь утро? А общество жило, выделяя тем самым соответствующие бытовые формы.

Несвобода войны вразумительнее всего, когда она достигает регламентации. В прифронтовом тылу партикулярный человек не работает или работает формально (оставшиеся заводы, медицинские учреждения в той или иной степени военизированы), потому что производить ему нечего. Блокада

предоставила непонадобившемуся человеку заниматься сохранением своей жизни. Это было дозволено, узаконено.

— Что вы делаете? — спрашивали блокадной зимой застрявшего в Ленинграде профессора Р. Он отвечал:

— Я обедаю.

Странное, усугубленное отражение прежней действительности, ее несвободы и ее эгоизма. Но человек, переживая бессмысленность эгоистических страданий, не знает пока о смысле своего поведения, о том, что все, что он делает, имеет еще второе значение — он хранит и спасает в себе затухающий огонь жизни. Что в другом, историческом плане его воля к самосохранению служит огромному, многосоставному целому воюющей страны.

## Оцепенение

*(Признания уцелевшего дистрофика)*

Этот психологический эпизод реконструирован мною (от первого лица) на основе рассказов блокадных людей о своем блокадном опыте.

Я сидел за бывшим своим рабочим столом, вплотную придвинув стул, тесно зажатый между краем стола и стулом, — в оцепенении. Мне поручили сделать ответственный перевод. Этого импульса было достаточно для того, чтобы перо двигалось по бумаге. Но я уже с отвращением думал о том, что предстоит его, перо, обмакнуть или перевернуть страницу. Если нужно было дотянуться до края стола, чтобы взять бритвенное лезвие и очинить карандаш, я продолжал писать затупившимся карандашом или карандашом вместо пера, чтобы не протягивать за пером руку. Дело было не в утомлении, не в истощении, которое начинало даже уже проходить. Много месяцев продолжался бег по кругу. Весна принесла нечто вроде остановки; вернее, замедление темпов. И с замедлением открылась болезнь физической лени — особая заторможенность воли.

Легче всего совершать было действия, вызванные неодолимой потребностью минуты или инерцией привычных ситуаций. Психологически проще, возможнее было сходить на другой конец города пообедать или втащить на лестницу ведро воды, чем потянуться за карандашной точилкой. По дорогам к обеду нас влекли могущественные стимулы добывания; ведра, колка дров были заведенной инерцией, не требовавшей вмешательства воли. Каждый предмет, не входящий в заведенный порядок дня, требовал каждый раз нового отношения между собой и

действующей на него волей. И каждый раз это было мучением. Воля сжималась и цепенела в страхе перед контактом, перед мельчайшим усилием воздействия на мир, ставший источником вечного страдания.

На письма с Большой земли я не отвечал. По многим психологическим причинам. Но главным образом потому, что нужно было возиться с конвертом (в продаже их не было), с покупкой марки и почтовым ящиком. Это были все действия мельчайшие, но не механические, не стертые инерцией, и потому они требовали усилия воли.

Автоматическими же были безнадежные действия, направленные на удовлетворение непрерывно и однообразно возобновляющихся потребностей. В них иногда было трудно включиться, труднее, чем их выполнять, при всей их физической затрудненности. Так прежде чем пробиться сквозь все заторы враждебного мира к обеду, предстояло еще, например, вымыть банки (в них что-то приносилось домой), протереть их леденеющими, разбухшими от воды пальцами. Опять? Омерзение! Не могу!.. Но усилие включения сделано. Омерзение отпускает, я уже даже стараюсь поаккуратнее протереть пальцами края банки.

Лень была заболеванием воли, с симптомами отвращения и страха перед контактами с миром.

И мир повернется другой стороной…

Он к нам повернулся страданием. На исходе зимы 42-го года далеко не все уже было страданием реальным, но сознание было ушиблено ожиданием страдания, непреодоленной к нему привычкой.

Война была основным содержанием этого мира, его тотальной действительностью. Фактическая и психологическая тотальность этой войны не оставила возможности тех обходных путей, какие оставляли прежние войны. Каждый, не принимавший прямого участия, знал (невзирая ни на какие доводы), что он отлучен от общей действительности. Он мог, конечно, считать, что собственная жизнь важнее исторической действительности, но он знал, что сделан выбор.

Дистрофия была крайней степенью отлучения, и она даже избавляла от выбора. Она избавила от нравственного беспокойства, потому что мы, дистрофики, понимали, что мы пожертвованы войне, но мы не понимали тогда, что и мы тоже — общее, пусть отраженное и тусклое. Что враг хочет меня убить, а я живу, что враг хочет убить город, а город живет, и я — почти бессознательная частица его сопротивляющейся жизни.

Этого мы не знали. Дистрофия оставила человеку защитное равнодушие, под покровом которого он мог облегченно умирать. Она оставила человека лицом к лицу с обнажившейся, первобытной двойственностью удовлетворения и страдания.

---

Зима — это сияющая красота, легкое дыхание и веселый огонь, нежный снег, нежный мех… А непобежденная зима — это тьма, ведра, замерзшие и тяжелые как камень; это холод, всегда холод, от которого ноет сердце. Способы побеждать мир вещей, — побеждаемый любовью, познанием, конструкцией, — исчезли в хаосе и развале предметов цивилизации.

Но я ведь был уцелевший дистрофик, и ко мне возвращалась возможность мыслить. Мысленно я распределял по своему усмотрению явления мира. Но я мучительно не хотел физических с ним соприкосновений. Все было прикосновением к болезненно раздраженной коже или душе. Большие страдания зимы постепенно сменились непреходящим нервным раздражением.

Очками для дали я пользовался не всегда. Надевая их, я любил праздничность этого перехода. Мир внезапно придвигался и вспыхивал; и можно было опять притушить эту мешавшую сосредоточиться яркость. Но как-то весной, — как раз стали ходить трамваи, — в трамвае мне раздавили очки (я их сунул в карман). Имелся рецепт, но оказалось — заказать стекла невозможно. Стекол не было. И мир стерся, потух. Я проходил мимо памятных ленинградских сочетаний и не мог им вернуть ту немного искусственную радужную отчетливость, которую я так в той жизни любил. Это раздражало. Раздражение преобладало настолько, что зрительную полноценность возвращать уже вовсе не хотелось.

Еще мучительнее обувь. Рваные калоши. Весна, например, это главным образом мокрые ноги, всегда мокрые ноги. Когда добираешься наконец до места, садишься — кажется, что нет ни носков, ни ботинок, что ноги облеплены тяжелой набухшей резиной. Ботинки (новые достать невозможно) скорежились, задеревенели, пошли какими-то буграми. Я ходил, опустив голову, думая о своих ногах. Именно ноги осуществляли непосредственный физический контакт с миром. Отвратительный контакт.

Я понял, что значит хромать на обе ноги, — это когда ни одна нога не выдерживает тяжести тела. Когда-то, в той жизни, я любил думать на ходу. Любил этот двойной, перекликающийся

ритм внешнего и внутреннего движения. Я любил слушать свое дыхание, когда шел через мир по улицам и дорогам. По нашим дорогам, с прекрасной их повторяемостью, возбуждающей слепое желание идти и идти… с вечно обманчивым ожиданием того, что откроется наконец за поворотом… С каким-то необъяснимым, алогичным презрением к себе я вспоминал об этом теперь, медленно ковыляя.

Раздражения, унижения пронизали жизнь. При некоторых столовых, в учреждениях были уборные, страшные, без воды. У уборной стояла очередь. Люди не скрывали того, что не в силах ждать (один из дистрофических симптомов). В редакции, где я бывал, уборная была одна. Девушки, обыкновенные девушки без всяких похабных намерений, кричали засевшему в уборной мужчине, чтобы он поскорее выходил. И мужчина (молодой) хладнокровно отвечал из-за двери — тоже без нарочного похабства: «Что же мне, к вам без штанов выходить, что ли?»

Еда также была обставлена множеством раздражающих условий. В пору большого голода импульсы, толкавшие к еде, покрывали все раздражающее. Теперь не то. Начиналось с покупки. В магазине всегда темно и мокро. Ноги отсыревали и болели. И я катастрофически не умел справляться со всеми предметами, которые приходилось одновременно держать в руках. С удивлением и завистью я смотрел, как женщины свободно и ловко оперировали сумочками и сумками. Я так не мог. Нужно было вытащить бумажник, из бумажника, отыскав ее, нужную карточку (при этом не вытряхнув остальные, с которыми она сложена вместе). Потом деньги. Сзади напирали, и я не успевал засунуть обратно сдачу. Со сдачей, карточкой и бумажником в руках я шел к прилавку. Зажатый под локтем портфель неудержимо ускользал вниз. Я был уверен, что если засунуть в карман перчатки, их немедленно вытащат. Но если не засовывать перчатки, то тогда уже решительно не было ни одной руки, чтобы расправить авоську, в которую предстояло уложить 300 граммов селедок. Все скапливалось под конец в руках — портфель, бумажник, авоська, сдача, перчатки, карточка, которую я держал изо всех сил, селедки, плохо завернутые продавщицей в бумажку. С отвращением я сжимал все это в кучу, прижимал к себе, ковыляя в угол к заброшенному прилавку, чтобы там все свалить и разобраться; оглядываясь при этом через плечо, не подкрадывается ли кто-нибудь сзади.

Враждебный мир давил на тело — на наболевшую, натруженную поверхность. И тело — форпост этого мира — давило на сознание. Помимо всего прочего, в этом мире стреляли. И, странное дело, сейчас это воспринималось не

столько по существу, как смертельная опасность, сколько побочными и сопровождающими раздражениями. Опять загоняют… Не дадут спокойно пообедать. Не стоять же с мокрыми ногами, с набитой авоськой в подворотне. К чертям!..

Мир давил на натруженное, наболевшее сознание. Лучше всего ему пребывать в оцепенении. Когда в комнате бывало тепло, это было не тягостное оцепенение. А за окнами в странной вещественной близости, в безмерном интеллектуальном удалении лежал мир, со множеством вещей, когда-то любимых. В ближайшей близости за слепыми окнами лежал город, замученный город, с которым мне и сейчас трудно было бы разлучиться. Труднее, чем с людьми, уехавшими из этого города. Город я любил со всей его знаменитой символикой, с туманом и слякотным снегом, с гарью и ветром. Особенно этот ветер… Я знал, как могу любить свой город — пустые улицы, в скверах сугробы, израненные дома… Но сейчас я был наболевшей поверхностью, и я просил город меня не трогать.

Я привык не желать внешнего мира. Когда в сознание прорывалось, что голубеет небо, что есть почки и будут листья, шумящие на ветру, я пугался, я боялся нового времени года, несущего угрозу оцепенению. Я как сумасшедший боялся, что все это кончится. Ведь тогда должно было кончиться странно простое, сведенное к минимуму существование, которое я вел, мучительное и до крайности облегченное. Должна была начаться сложная, трудно восстановимая нормальная или будто бы нормальная жизнь, с ее утомительными желаниями. А сейчас оцепенение. Мир, потухший из-за разбитых очков, непроходимый из-за скореженной обуви. Мир без любви. Я сидел в тихом оцепенении, и всякая любовь, прошлая и будущая, казалась мне непомерно хлопотливой историей.

Я был болен особой, блокадной болезнью воли. И единственно вожделенным, разрешающим выходом мечтался выход из нее в обыкновенную, прежнюю человеческую болезнь. Болеть было невозможно по множеству технических причин. Но болезнь, обыкновенная болезнь была бы идеальным состоянием. Сонливое, затуманенное жаром сознание отложило бы все ответы на требования враждебного мира. Болезнь была высшим правом на оцепенение.

Болезнь наконец пришла, и тогда неодолимые бытовые препятствия непредвиденным образом уладились. Тогда я стал с жадностью предаваться болезни; и даже казалось, что мне это никогда не наскучит. Хуже всего человек переносит отсутствие целей. Но болезнь давала странное, в своем роде единственное сочетание оцепенения с непрестанной целеустремленностью, как

бы непрестанно осуществляемой. Жар вызывал необходимость расслабленной неподвижности, отключенности от страшного мира. Это была необходимость, непосредственно, физически переживаемая, и выполнение ее само по себе было целеустремленным. Так состояние жара, тяжелой дремоты (дремота приносит особое наслаждение сном, потому что это ощущаемый, осознаваемый сон), в то же время было переживанием совершаемого нужного действия, как бы отрицательного.

Я лежал, и от меня отступали все расстояния, которые я прошел натруженными ногами, все пространства, отделявшие меня от воды, от полена дров, от хлеба. Я лежал, и мне нравилось доводить оцепенение до предела. Неподвижностью я достигал постепенно исчезновения тела. Опротивевшее, враждебное, страдающее тело больше не давало о себе знать. Нечто подобное испытывает пловец, когда, закрыв глаза, лежит на воде, уже не чувствуя воды, и из всех ощущений осталось ему только ощущение глубокого своего дыхания.

Ощущение дыхания осталось и мне. В дремоте я подолгу следил, как дыхание, зарождаясь в глубине, росло и струилось вверх, как бы само по себе существующее, единственно существующее прокладывало себе путь через неощутимое тело.

Блаженному полному отчуждению тела мешало сердце. С левой стороны иногда возникали ощущения неудобные, тянущие. Я старался тогда особенно плоско и неподвижно уложить левое плечо, руку. Уложить сердце. Но сердце должно было работать. Неприятно было думать о том, что сердце нельзя на время остановить, что оно все ведет и ведет свою самопожирающую работу. И как долго это может продлиться?.. Но сердце ведь не всегда давало о себе знать.

Так я покачивался на волнах болезни. И, не думая об этом, я знал, что так уходят в легкую смерть дистрофиков. Смерть без сопротивления. Смерть без удивления: был человек, и нет человека! Невероятно! Нет, очень, очень даже вероятно. Самое из всего вероятное.

Смерть, не оставляющая от жизни следа. Корова языком слизала.

Бесследно все, и так легко не быть…

Совсем не так, как Иван Ильич. Не так, как Лев Николаевич.

А жизнь уже медленно проступала, со своими уцелевшими хотениями. С желанием жить, с готовностью к смертельному риску, мерцавшими сквозь оцепенение.

# Отрезки блокадного дня

## *I. Торопливость*

Не сразу Эн понял, почему каждый день на работе часу во втором им овладевает странное болезненное состояние. Потом он догадался — это торопливость, один из оборотней голода или голодной травмы. Торопливость как маска голода — непрестанное устремление от одного этапа еды к другому, сопровождаемое страхом что-нибудь упустить. Торопливость особенно связана с обедом. Обед отпускает казенная инстанция, равнодушная. То есть у нее на все есть объективные причины (действительно есть и действительно объективные). А вдруг не хватит? Зимой несколько раз не хватило каши.

Теперь в столовой всегда дают все, что положено. Теперь торопливость — отражение психики, пробег от одной к другой бесцельной цели. Цели расположены по кругу в никуда не ведущей повторяемости.

Мотивировка обыкновенным чувством голода — это нечто оздоровляющее, успокоительное. Как раз в этот час оно начинает обостряться. Но травмированный человек плохо переносит желание есть; оно в свою очередь порождает томление и страх. Эн сосредоточен теперь на желании уйти (у него ненормированный рабочий день). Он вычитывает машинопись, с усилием ведя себя от строчки к строчке. Неприятней всего переносить правку из первого экземпляра во второй, в третий. Тройное торможение пробега. Теперь уже надо соблюдать приличия, и он соблюдает, — тщательно замедляя жесты. Он говорит скользящим тоном:

— Так вы передадите. Мне сейчас необходимо уйти. Я буду часам к четырем, если кто будет интересоваться…

Кто-то спрашивает:

— Вы в столовую?

— Да, то есть я там буду. У меня сначала дела.

Нельзя обнаруживать торопливость.

Секретарша говорит бодрым голосом:

— А знаете, будет чудесно, если вы мне сейчас напишете эту бумажку.

С точки зрения секретарши это задержка на несколько минут. Она не понимает, эта милая девушка, что врезалась во внутренний бег травмированного сознания, что это больно.

Эн не может сделать уже ни одного тормозящего движения. Не может дойти до своего стола. Он просит у секретарши листок бумаги, хотя бумага у него с собой в портфеле, но надо щелкнуть

еще замком портфеля. Он хватает ближайшее почти не пишущее перо, куда-то присаживается, пишет не своим почерком эти несколько строк, выигрывая на этом минуту. Он пишет и думает о том, что ему предстоит одолеть выход на улицу, трамвай, очередь у контроля, очередь в столовой, медлительность подавальщицы… И в этом ряду затрудненных действий то, ради чего они совершаются, — порция супа и 200 граммов каши — оказывается неуловимо кратким и эфемерным.

После трамвая очень противно оставшееся пешеходное пространство. По дороге встречаются возвращающиеся из столовой. Трудно удержаться от вопроса: «Что дают?» — и хочется удержаться, чтобы не отрезать себе сразу все возможности ожидания. Можно также умозаключать по тому, как они держат свои сумки, бидоны или портфели. За углом уже видна входная, всегда приоткрытая дверь. Уже ничто (включая обстрел или воздушную тревогу) не помешает дойти и войти. В глубине темного коридора просвет, где мелькает иногда лысая голова буфетчика — это отрадный знак дополнительной выдачи. Иногда же уныло блестит гладкая плоскость прилавка.

Зимой (особенно до всеобщего отъезда в эвакуацию) здесь, у контроля, стояли многочасовые очереди. Стояли покорно. Обед, избавлявший от голодной смерти, казалось естественным добывать любыми усилиями. К тому же люди стояли не на морозе, только в холодном коридоре. Сейчас у контроля пусто — именно потому все страшно торопятся. Путаясь в карточках, деньгах, пропусках, каждый хочет прорвать плотину этих трех-четырех медленно продвигающихся спин, каждому, чтобы успокоиться, нужно скорее схватить бирки (только бы их не потеряла подавальщица…). Работает старая травма.

Теперь это на вид средней руки столовая (подражание нормальному быту) с неполиваемыми цветочными горшками на столиках, полугрязными скатертями, почти чистыми подавальщицами. Сразу не заметно (зимой все было заметно сразу), что люди занимаются здесь трагическим делом. Понять это можно, если приглядеться, как они быстро облизывают ложку (лизать тарелки уже не принято), выскребают тарелку, с наклоном держа ее на весу, пальцем обводят край банки с кашей, как они замолкают перед поданной едой и рассматривают ее внимательно, как их головы автоматически поворачиваются вслед за подавальщицей.

Из всех трапез обед меньше всего похож на свое название. Суп не исполнен еще безнадежности. Он не так вкусен, и его больше; и, главное, он первое блюдо. В обеде самое печальное — это съедание каши; кратчайший акт, столь краткий, что в нем

начало соприкасается с концом. Достаточно двух взмахов ложкой, чтобы внести непоправимые разрушения в эту круглую выложенную на тарелке пушистую массу с ямкой посредине, залитой десятью граммами темно-золотистого жира.

## *II. После обеда*

Печаль над опустевшей маслянистой от каши тарелкой знаменует конец предобеденной целеустремленности. Здесь начинается спад блокадного дня. В явлении послеобеденного спада нет ничего прежде не бывшего. Настоящий обед (не то, что человек хватает в обеденный перерыв) всегда был переломом. Поздний семичасовой обед был уже непосредственным переходом к вечернему отдыху. Ранние обеды перерезали день. Чехов утверждал, что работать можно только до обеда. Обед приносит не только лень, сонливость, но ощущение начала дряхлости, старости, исчерпанности, умирания дня. Для многих это были выморочные часы, тянувшиеся кое-как, пока наконец не оформлялся вечер со своими собственными закономерностями и целями.

Сейчас, когда люди оказались в первобытной зависимости от течения суток, от температуры, от света, — чувство умирания дня особенно конкретно. В разгаре белых ночей — это зимняя травма, страшно цепкая, как все травмы этой зимой. В послеобеденной депрессии ощущение чрезмерной сытости замещено теперь разочарованием, обидой, которую приносит быстротекущий обед.

Блокадный круг состоит из повторяющихся, возобновляющихся отрезков. С такой же регулярностью, как все прочее — как, например, обстрелы, — возникает в свое время послеобеденная тоска. Сознание ненадолго освобождается для тоски, и до него вдруг доходит все в другие часы подернутое туманом. Доходит со щемящей болью бесцельность целей, доходит повторяемость жестов, сопровождающих пробег. В особенности же — отторгнутость. Отторгнутость от тех, кто уехал, кто на Большой земле. Они непредставимы, существование их нереально. Отторгнутость от рядом бегущих…

Эн пешком медленно возвращается из столовой в учреждение. Справа в глубине переулка Нева. В час тоски это надо обойти, не трогать. Нынешним летом он видит только переезжая мосты, из трамвая торжественную Неву с военными кораблями. Он ни разу не касался рукой потеплевшего на солнце гранита, не сидел на полукруглой скамье, не спускался от нее по ступенькам к воде, неожиданно интимной, вещественной, — с

песочком на дне и запахом рыбы, — вдруг открываемой среди декоративной речной перспективы.

Поворот Фонтанки со старым домом. Сюда Эн ходил в гости. Люди, к которым он ходил, эвакуировались. Он приходил сюда всегда очень поздно, начинал собираться гораздо позже, чем ложится теперь спать. Там всегда была водка, легкая закуска. Странно… Люди сидели, разговаривали, разговаривали. Что-то читали друг другу. Спрашивали небрежно: «Что, выпьем чаю сейчас или дочитаем?» — «Дочитаем, конечно…»

Хождение в гости, с ужином, отодвинутым разговорами. Или этот ветер и по ветру вечный бег привязанной к ветвям листвы — все это та жизнь. Но тоска делает еще один ход. Она уже не хочет возвращения. То ли потому, что та жизнь совсем другая, до нереальности непонятная, то ли, наоборот, потому, что она слишком похожа — как наваждение.

Не оглядываясь, сосредоточенный на своем, Эн идет из столовой в учреждение. Вдруг до сознания доходит знакомый тяжелый, содрогающийся звук. И тотчас же доходит, что это не первый такой звук, что было их уже несколько подряд. Это обстрел; пока что, очевидно, другого района. Теперь Эн оглядывается. Если б не этот звук, нельзя было бы догадаться о происходящем. Прохожие с ленинградским хладнокровием, которое стало здесь безраздельно властвующей над человеком средней нормой, занимаются своими делами. Они идут по улице (пока не загнали в подворотню), неся портфели, судки и авоськи, стоят в очереди, разговаривают и прикуривают друг у друга. Слышатся реплики: «Кажется, наши стреляют». — «Да как же, — наши!» Или: «Здорово бахнул!»

Повторяющийся звук уже не уходит из сознания. И, как всегда, слушая этот звук, Эн испытывает сумасшедшее чувство какой-то опрокинутости, вывернутости явлений. Путаницы в категориях времени и пространства. Свист снарядов над головой — страшнее, но понятнее. Он знаменует пространственное присутствие — они действительно сейчас здесь, над головой, — и временную протяженность (длительность свиста). Совсем другое звук отдаленного разрыва. Это неуследимое настоящее, которое, дойдя до сознания, уже стало прошлым. Обратный порядок: сначала звук, потом страх перед тем, что уже не совершилось. Потом тишина, и в короткой тишине заново решается вопрос о жизни и смерти человека. Решается тем, что он сделал два шага лишних к трамвайной остановке, или нагнулся за уроненным портфелем, или с тротуара шагнул на мостовую. Человеку кажется, что все пойдет по порядку — что будет свист, потом разрыв, который он увидит со стороны, и потом уже что-то с ним

случится. Он знает — это аберрация.

Это аберрация причинно-следственных связей, а есть еще аберрация безопасности — когда человек убыстряет шаг под обстрелом, чтобы его не настигло. Именно так поступает Эн, когда раздражен тем, что на улице задерживают и мешают дойти до учреждения, где в эти часы бывает кипяток и можно выпить кипятку с оставшейся от обеда конфетой.

Эмоция страха замещена эмоцией еще более непосредственной — раздражением, производным от травмы голода. Если не произошло замещения эмоций, Эн заходит в подворотню, говоря себе и другим, что следует поступать разумно — без паники и без глупой неосторожности.

## *III. Вечер*

Кончились послеобеденные часы работы. Предстоит возвращение домой. В первом, дневном выходе из учреждения преобладало нервное напряжение, торопливость; во втором преобладает оцепенение.

Эн медленно идет по улице. Сейчас вечер, перед белой ночью, с великолепным холодным (даже в душные дни) косым светом, в котором горит асфальт Невского проспекта. Привычное удивление, когда, после позднего рабочего дня, выходишь из темноватых комнат и застаешь на улице свет в его неувядаемом разгаре. Это и есть та неисчерпаемость длящейся жизни, которую так любят настоящие ленинградцы. Это чувство непочатого еще запаса жизни, отпускаемого на каждый день.

Не отсюда ли у Эна взялась мечта, занимавшая его в юности. Мечта о жизни, состоящей из долгих дней. Из дней переживаемых, осознаваемых во всей своей протяженности и в каждой частице своего состава. Но сейчас у хода жизни свой порядок — вопреки белым ночам. Круг должен замкнуться (чтобы начаться сначала — поскольку он круг). Ход вещей определяет усталость, исчерпанность ритуальных жестов дня, наступающий час последней еды. Круг печально стремится к своему несуществующему концу.

Что-то тревожное есть в несовпадении состояния дня с состоянием человека. Немеркнущий свет, напрягая нервы, напоминает о том, что сейчас только можно бы начать большую прогулку вдоль извилин реки, что можно бы еще многое… В белой ночи проступает ее жестокость. Блок это понимал: «Май жестокий с белыми ночами…» Они жестоки к человеку, который хочет, чтобы его защитила тьма, начисто срезал сон. День забит

множеством отвлекающих, путающих, затемняющих сознание вещей. Ночью же, освобожденной от суеты и не смягченной мраком, обнажаются основные очертания жизни. Это страшнее сейчас, чем когда бы то ни было.

Дома предполагается еще ужин — заключительная еда, отсчет вечера. В той, прошлой, жизни у Эна вечер начинался поздно, затягивался, переходил в ночные бдения, до двух-трех часов и позже. Это была часть дня, нередко рабочая, но в принципе разрешающая безделье; единственная часть дня, когда безделье было законным и легким. И все вокруг заполняли его развлечениями, любовью, дружескими разговорами за водкой. Все это можно было предвкушать как своего рода отдых. Особенно когда отдых не прерывался, переходил в следующую единицу времени. Когда, например, можно было до следующего дня не расставаться.

Сейчас эрзацем всего этого — ужин. Осознанно или бессознательно неполноценный ужин (скажем, разогретая ботва без хлеба) сообщает эмоциональную окраску послеобеденной половине дня. А предстоящий полноценный ужин примиряет как happy end.

Ужин окончен. Эн сидит у времянки. В ней еще догорают щепки, и времянка немного дымит. Длинной щепкой Эн ворошит головешки в тесном железном пространстве, прикуривает. В прежней жизни у папиросы была своя типология. Была папироса перед сном, и папироса утренняя, и ленивая послеобеденная папироса, папироса делового разговора и дружеской болтовни. И еще были папиросы, которые он докуривал, со смятым концом и следами губной помады.

В блокадные месяцы папироса приобрела множество новых и важных значений. Она стала средством физического заглушения голода и отвлечения мыслей от голода. В бытии, совершенно не предназначенном для удовольствий, папироса была едва ли не единственным актом чистого удовольствия, не сопряженным с пользой (как еда или сон), скорее с вредом. По своей бескорыстно гедонистической природе папироса была каким-то остатком обыкновенной человеческой жизни. Папироса — особенно самокрутка, с развернутым ритуалом ее приготовления — была запасной возможностью заполнения пустоты, какого-то отрезка пустоты. Что еще предстоит?.. Что еще предстоит?.. Можно еще покурить, — отвечал себе человек, успокаивая тоску.

В течение дня папиросы были разные. Голодная папироса, которую Эн курил перед самым супом, когда подавальщица медлила и раздражение поднималось до предела. Послеобеденная папироса — когда-то она возникала в тумане

кейфующей сытости; теперь она заглушала тоскливую неудовлетворенность обедом. Служебная папироса. Он думал о ней с удовольствием по дороге в учреждение. Она входила там в комплекс общения с безразличными людьми, болтовни, бюрократических ритуалов и электрических приборов (там, экономя спички, прикуривали от плиток). Была еще последняя, вечерняя папироса. С ее дымом, казалось, исходит исчерпанное за день сознание. Несмотря на тематическое распределение папирос, курение все же в этом существовании акт, быть может, самый свободный, наименее прикрепленный к ситуации.

Эн ковыряет длинной щепкой в печурке, докуривая вечернюю самокрутку, продолжающую, затягивающую процесс еды. Последний, увязший в пепле огонь промерцал у края мундштука. И в это мгновенье (так бывало уже не раз) чувство круга, пробега по кругу стало вдруг пугающе ясным. И страшнее всего не повторяемость даже, а предвидимость, совершенно точная. Он видит уже разворачивающийся ряд движений, завтрашних, послезавтрашних… Видит, как именно он берет портфель, как опускает в карман ключ, как, слегка задыхаясь, подымается по лестнице учреждения, как заглядывает через плечо машинистки — подвинулась ли рукопись. Из связного ряда ничего нельзя исключить, и невозможно ввести туда непредрешенный, неритуальный жест.

Все это не совсем уж ново. И в прежней жизни его мучила иногда предвидимость будущих действий. От самого себя отделялся и уходил в будущее двойник, автоматически точный. Почему-то особенно неприятен он был при отъезде из города на месяц, на два. Жутко было заранее видеть, как отчужденный двойник через месяц берет билет, сидит в купе, отпирает закрытую квартиру.

Тогда это были психологические миражи; в блокадном существовании все приобретает странную буквальность. Вместе с жестами предрешены прикрепленные к ним ощущения. Безошибочно должно было возникнуть чувство уверенности в ту минуту, когда Эн на пороге учреждения предъявлял охраннику пропуск; чувство облегчения, когда из-за поворота показывался нужный трамвай; чувство тоскливой опустошенности, когда под первыми же двумя ударами ложки непоправимо исчезала каша; чувство полноты, неисчерпанности, когда утром он вынимал из портфеля еще нетронутый хлеб.

Абсолютная несвобода душевных движений, пригвожденных к вещам, стоявшим когда-то на низших ступенях иерархии ценностей.

В торопливом пробеге от еды к еде — нечто бессознательное,

полярное тем долгим дням, — насквозь осознанным, переработанным мыслью, — о которых мечталось когда-то.

Почему-то сегодня давно не испытанная ясность мыслей, возбуждение мыслей, как будто пытающихся освободиться. Почему он вспомнил о долгих днях? Это начинает отступать дистрофическое затмение, это медленно крепнет связь с общей жизнью, стоящей на своем, сопротивляющейся врагу.

## СОДЕРЖАНИЕ


### ЭССЕ

Записи 1920—1930-х годов . . . . . 4
Записи 1950—1960-х годов . . . . . 183
Записи 1970—1980-х годов . . . . . 278

### ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

СОВРЕМЕННИКИ

Проблема поведения. *Б. М. Эйхенбаум* . . . . . 352
Ахматова. *Несколько страниц воспоминаний* . . . . . 358
Встречи с Багрицким . . . . . 364
Заболоцкий двадцатых годов . . . . . 369
Николай Олейников . . . . . 379

### ЧЕТЫРЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ

Возвращение домой . . . . . 402
Мысль, описавшая круг . . . . . 430
Заблуждение воли . . . . . 481
Записки блокадного человека . . . . . 517
Вокруг «Записок блокадного человека»
Записи в дни блокады . . . . . 579
Оцепенение . . . . . 592
Отрезки блокадного дня . . . . . 598

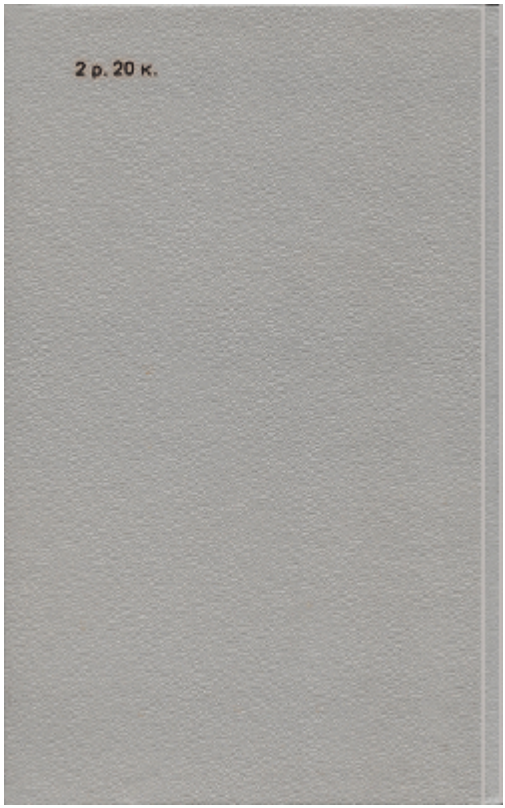

ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА ГИНЗБУРГ

**ЧЕЛОВЕК ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ**


ЛО изд-ва «Советский писатель», 1989, 608 стр.
План выпуска 1989 г. № 25

Редактор *М. И. Дикман*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *Е. Ф. Шарапова*
Корректоры *Ф. И. Ларушина* и *Е. Д. Шнитникова*
ИБ № 7083.

Сдано в набор 18.08.88. Подписано к печати 03.04.89. М 24094. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 32,02. Уч.-изд. л. 31,81. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1713. Цена 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.




**notes**

# Примечания

Позднее я узнала, что это утверждал и сам Пастернак.

## 2

У тебя бриллианты и жемчуга… (*нем.*).

# 3

«В поисках утраченного времени» (*франц.*).

## 4

ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. Здесь каламбур: Vox populi — vox Dei! (*лат.*) — глас народа — глас божий.

«Исповедью» (*франц.*).

# 6

Если бы юность могла, если бы старость знала… (*франц.*).

# 7

На свете есть два несчастья: страсть, встретившая препятствие, и dead blank (*англ.*) (абсолютная пустота). Стендаль (*франц.*).

## 8

С досады (*франц.*).

То есть относительно праздными. Необходимо отличать общественно-полезную занятость от занятости как таковой. Светская женщина была страшно занята не только по распределению времени, обязательному и в значительной мере независимому от ее воли, но и по обилию целей и предметов вожделения, заполняющих вокруг нее пространство. Современная женщина этой психической структуры очутилась в такой пустоте, что она спешит поступить на службу.

# 10

Лень без досуга, тревожная косность — вот последствия северного самодержавия. Кюстин, «Россия в 1839» (*франц.*).

# 11

До Хемингуэя это открыл Гамсун (*позднейшее примечание*).

# 12

Вижу ощущающим взглядом, ощущаю зрячей рукой (*нем.*).

# 13

Здесь описан полет 1930-х годов на маленьком и низко летящем самолете.

# 14

Тот, кто сорвал один из этих цветков, — не желай другую сестру. Пусть наслаждается тот, кто не может верить. Это истина вечная, как мир. Кто может верить, пусть откажется от наслаждения. Мировая история — это всемирный суд (*нем.*).

# 15

Занавес! Занавес! (*франц.*)

# 16

Здесь и далее суммы обозначены по тогдашнему денежному курсу.

# 17

Сейчас «Правила» висят уже в смягченной редакции. Очевидно, в Литфонде кто-то спохватился. Но запрещение *перемещаться* оставлено без изменений. (*Позднейшее примечание*.)

# 18

Не думай, что я застрелюсь, как бы плохо ни обстояли дела. Все это, моя милая, со мной уже однажды случилось (*нем.*).

С этой точки зрения подавление страха, требование хладнокровия перед лицом смерти есть требование обывательского сознания.

# 20

В 20-х годах слова этого не было (говорили: история литературы, теория литературы). Оно появилось гораздо позже, как раз тогда, когда начало кончаться то, что оно означает.

# 21

Разные, кстати, вещи — не всякое развлечение отвлекает и не всегда отвлечение развлекательно.

# 22

С Ахматовой случилось как раз обратное. Она была призвана к точности и под конец отступилась от точности ради поэтических загадок. Большому поэту всегда дано нечто, что только он может сделать. Он же порой начинает делать — и хорошо делать — то, что могли бы сделать и другие.

# 23

Я не имею в виду неловкие тогдашние попытки их объединения.

День поэзии. Л., 1966, с. 66.

*Олеша Юрий.* Ни дня без строчки. М., 1965, с. 137.

# 26

В мае 1929 г. я находилась в Москве, и В. А. Каверин писал мне туда по поводу «Ванны Архимеда»: «Сборник, о котором Вы знаете (с участием обериутов), составляется. Есть данные предполагать, что он будет напечатан в Издательстве писателей. Отдел поэзии Вам известен (возможен и Тихонов). С отделом прозы — хуже, и именно по этому поводу мы решили побеспокоить Вас. Не можете ли Вы зайти к Олеше и рассказать ему о нашей затее? Было бы очень хорошо, если бы он дал в сборник хотя бы маленькую вещь или даже отрывок из большой. Участвуют в этом отделе еще Добычин, Хлебников, я, Хармс и предположительно Тынянов. В отделе критики лица Вам отлично известные. Они (вместе с Вами) думают написать „Обозрение российской словесности за 1929 год“. Кроме того, будут участвовать Бор. Мих. <Эйхенбаум>, Юр. Ник. <Тынянов> и Виктор Борисович <Шкловский>, к которому за этим делом просим мы Вас обратиться».

Афиши Дома печати, 1928, № 2.

# 28

*Македонов А.* Николай Заболоцкий. Жизнь. Творчество. Метаморфозы. Л., 1987, с. 115.

*Заболоцкий Н.* Собр. соч. в 3-х тт., т. 1. М., 1983, с. 491.

Такой неожиданностью является, например, интерес Заболоцкого к некоторым стихотворениям Бенедиктова, малоизвестным, не замеченным современниками (в отличие от нашумевших произведений 1830-х годов). В 1937–1938 годах я подготавливала издание Бенедиктова для «Библиотеки поэта». Об этом издании зашла как-то речь с Заболоцким, и он сказал мне, что любит несколько бенедиктовских стихотворений 1860-х годов, особенно «Бессонницу», где ему нравились строки:

Дума, — не дума, а что-то тяжелое
Страшно гнетет мне чело;
Что-то холодное, скользкое, голое
Тяжко на грудь мне легло:
Прочь! — И, как всползшую с ядом, с отравою
Дерзкую, злую змею,
Сбросил, смахнул я рукой своей правою
Левую руку свою.
Вежды сомкну лишь — и сердце встревожено
Мыслию: жив или нет?
Кажется мне, что на них уж наложена
Тяжесть двух медных монет…

# 31

Они подобны примечаниям Козьмы Пруткова к «Военным афоризмам».

# 32

Автор не силен в мифологии, но все же термин сей примечателен. — Здесь и далее примечания к тексту Н. Заболоцкого, автора-сочинителя.

# 33

Употребление сего орудия свидетельствует о героической натуре автора, который решается выйти на охоту со столь древним приспособлением.

# 34

Явный, но неудачный плагиат.

Сие сокращение слогов как нельзя лучше свидетельствует о душевном волнении автора.

Имеется в виду издательство. — Примеч. Л. Гинзбург.

Сего понять невозможно иначе как явную ложь и клевету.

И сие свидетельствует лишь о низменном состоянии души сочинителя.

# 39

Безрассудная самонадеянность и ложь.

Сии скорее отъемлют, нежели дают. Поистине сочинитель потворствует падению нравов.

# 41

Непонятное, неуместное кощунство, которое, однако, можно было ожидать после предшествующего.

# 42

Сие — вредный вздор. Волки, хотя бы и уральские, крысами не питаются.

## 43

Оправдание сие — смешно и нелепо. Оно свидетельствует также о вредном свободомыслии сочинителя, который как бы не верует в загробное бытие.

## 44

Антокольский в воспоминаниях о Заболоцком рассказывает следующий эпизод: его жена З. Бажанова, прослушав чтение Заболоцким стихов из «Столбцов», сказала вдруг: «Да это же капитан Лебядкин!» Заболоцкий, «нимало не смутившись», ответил: «Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение». Далее Заболоцкий процитировал первую строфу из стихотворения Лебядкина о таракане (Воспоминания о Заболоцком. Изд. 2-е, М., 1984, с. 199).

Вот, например, очень «олейниковские» строки из стихотворения сатириконца П. Потёмкина «Влюбленный парикмахер» (1910):

Невтерпеж мне дух жасминный,
Хоть всегда я вижу в нем
Безусловную причину,
Что я в Катеньку влюблен…

…Жду, когда пройдешь ты мимо…
Слезы капают на ус…
Катя, непреодолимо
Я к тебе душой стремлюсь.

# 46

Мы знали Евгения Шварца. Л. — М., 1966, с. 35. О Детгизе этой поры см. также: *Рахтанов И.* «„Еж“ и „Чиж“» — в его кн.: На широтах времени. М., 1973. *Богданович С.* То, что запомнилось (Из встреч с Заболоцким) — в кн.: Воспоминания о Н. Заболоцком, М., 1984.

## 47

*Липавская Т.* Встречи с Николаем Алексеевичем и его друзьями. — Там же, с. 52.

*Тынянов Ю.* Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965, с. 289–290.

# 49

*Степанов Н.* Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. М., 1975, с. 90.

*Берковский Н.* О русской литературе. Л., 1985, с. 369.

*Чудакова М. О.* Поэтика Михаила Зощенко. М., 1979, с. 57 и др.

*Тынянов Ю.* Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965, с. 292.

*Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968, с. 73.

## 54

Запись Л. Липавского (Савельева). Воспоминания о Н. Заболоцком, с. 55.

## 55

Для этого стихотворения капитана Лебядкина Достоевский, как известно, использовал начало и конец стихотворения Мятлева «Фантастическая высказка».

# 56

Но вперед, вперед без отдыха. Ты не должен останавливаться. То, что ты так любил, ты больше никогда не увидишь. *Гейне (нем.).*

# 57

Михаил Лунин из сибирской ссылки писал своей сестре: «К полноте бытия моего недостает ощущений опасности. Я так часто встречал смерть на охоте, в поединке, в сражениях, в борьбах политических, что опасность стала привычкой, необходимостью для развития моих способностей. Здесь нет опасности. В челноке переплываю Ангару, но волны ее спокойны. В лесах встречаю разбойников, они просят подаяния».

Остановись! Ты так прекрасно! (*нем.* Гёте, «Фауст»).

# 59

«Чума» — напротив того, аллегория. Если хочешь сказать о фашизме, зачем говорить о чуме?

## 60

«О моя душа, не стремись к бессмертию, но исчерпай поле возможного». (*франц.*).